

Лица

БИОГРАФИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
STUDIA BIOGRAPHICA



БИОГРАФИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

7

Феникс ♦ Atheneum
Москва – С.-Петербург

1996

ББК 83.3Р 1
8 Р 1

Л-659

Редактор-составитель А.В.Лавров

Л 659 **ЛИЦА: Биографический альманах. 7. — М.; СПб.:
Феникс; Atheneum. 1996. 510 с., ил.**

ISBN 5-85042-046-0
ISBN 5-85042-057-6

В альманахе собраны неопубликованные материалы к биографиям как известных деятелей XX в., так и тех, чьи имена не знакомы большинству читателей. Сборник содержит обстоятельно откомментированные материалы о женщинах-писательницах А.Даманской, А.Мар, Н.Санжарь, Л.Столице; дневниковые записи об А.Белом, воспоминания В.В.Шульгина, документы о Блоке, переписку Иванова-Разумника; мемуары о Волошине, Ахматовой, Чуковском и др.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся жизнью русских литераторов.


Л $\frac{4702010200-008}{Д 20 (03) - 96}$ 96 без объявл.

ББК 83.3Р 1

8 Р 1

ISBN 5-85042-046-0 (Феникс)
ISBN 5-85042-057-6

© «Феникс», 1996

A stylized, hand-drawn letter 'P' in black. The vertical stem is a thick, solid black bar. The top horizontal bar is a thin black line that extends to the left and then curves downwards to meet the stem.

Портреты

М.В.Акимова, Л.Я.Дворникова
«ДИОНИСОВ ЧУДНЫЙ ДАР»
Материалы для биографии Л.Н.Столицы

Любовь Столица — яркая и самобытная поэтесса начала XX века. Вершина ее славы пришлась на предреволюционные годы. Волна революции и гражданской войны вынесла ее за пределы России. В Болгарии, вдали от крупных центров русской эмиграции, провела она последние годы жизни.

Существует свидетельство (или легенда?), что архив ее, бережно сохранявшийся сыном, Евгением Романовичем Столицей, был сожжен им перед своей смертью. Незадолго до этих печальных событий в его квартире на улице Гочо Гопина в центре Софии — появился один из почитателей таланта поэтессы Иосиф Наумович Мороз¹ и с согласия Е.Р.Столицы ксерографировал рукописи его матери. Таким образом творческий архив поэтессы был спасен, но до сих пор остается не востребовавшимся и в значительной своей части неопубликованным (хранится у И.Н.Мороза).

Наследие Л.Столицы — это три сборника стихов и роман в стихах, изданные на родине, поэмы, две из которых составили единственную напечатанную в Болгарии, но уже посмертную книгу; стихотворные волшебные сказки, пьесы, а также критические статьи и рецензии.

Первым и единственным биографом² поэтессы можно назвать автора очерка ее жизни и творчества, подписанного псевдонимом Ерь и помещенного в последней книге Л.Столицы «Голос Незримого»³. Дополненный архивными материалами, письмами,

¹ Приносим благодарность И.Н.Морозу (Болгария) за предоставленные сведения о судьбе архива поэтессы. И.Н.Мороз подтверждает место ударения в фамилии поэтессы на втором слоге.

² См. также статьи о Л.Н.Столице в изданиях: Писатели современной эпохи: Библиографический словарь русских писателей XX века. Т.1. / Ред. Б.П.Козьмин. М., 1992 (репринтное воспроизведение издания 1928 г.); Краткая литературная энциклопедия. Т.7. М., 1972.

³ См.: Ерь. Биографический очерк // Столица Л.Н. Голос Незримого: Поэмы. София, 1934. С.7-13. (Далее сноски на этот текст: Ерь. Биографический очерк, с указанием страницы данного издания). Учитывая то, что очерк был написан вскоре после кончины поэтессы и что в нем использованы архивные материалы, которые

воспоминаниями современников, а также творческими материалами, этот очерк-некролог позволил восстановить канву жизни незаслуженно забытой талантливой поэтессы.

Любовь Никитична Ершова родилась 29 (17) июня 1884 в Москве в семье зажиточного ямщика. Ее детство и юность прошли в самом центре Рогожской слободы на 2-й Рогожской (ныне Библиотечной) улице в собственном доме (не сохранился). Несмотря на утраты, этот район и поныне остается заповедным, богатым достопамятностями уголком Москвы. Близость Спасо-Андроникова монастыря, связанного с именами преп. Сергия Радонежского и Андрея Рублева, Конная площадь и многочисленные ямщицкие дворы вдоль Владимирской дороги, Калитниковское и старообрядческое Рогожское кладбища делали этот район своеобразным и неповторимым центром народной жизни.

Будущая поэтесса сформировалась в полукрестьянской-полукупеческой среде, сохранявшей строгую религиозность, не без оттенка раскольничества. Воспитанная в ней с детства верность исконно русской старине нашла впоследствии отражение в ее творчестве, особенно в ранний и заграничный периоды. «Первые литературные попытки, — отмечает биограф, — относятся к раннему периоду детства, в девические годы она совсем прекратила эти занятия и предалась изучению истории и математики»⁴. С этим свидетельством любопытно сравнить строфы романа «Елена Деева», в образ главной героини которого поэтесса внесла немало автобиографического. Так, очевидно, достоверным дополнением к словам биографа о ее детских увлечениях является рассказ о круге чтения героини, в который входили:

...эпос: песнь, сказанье
(Да не прозой, а стихом),
Чтоб под скучное вязанье
Напевать его потом.

Словно жемчуг желтоватый,
Словно розан темно-алый,
Ей ценился Гайавата,
Ей любима Калевала.
Мил ей сказ об Иоасафе
Столько, сколько об Зигфриде,

в то время, очевидно, могли быть доступны только близким Л.Столице людям, можно предположить, что автором очерка был один из ее родственников: муж Роман Евгеньевич Столица, или брат его Михаил Евгеньевич, или, что представляется наиболее вероятным, сын поэтессы Е.Р.Столица.

⁴ Ерь. Биографический очерк. С.8.

И изучен ей Овидий
Не слабее, чем акафист.
Из вещей же современных
Только Гамсуновский Пан
В круг тех книг, навеки пленных,
Был ей часто, часто бран⁵.

Героиня романа, подобно его автору, занимается математикой и философией, что тоже не лишено биографической основы. Повествование об этих занятиях в «Елене Деевой» связано с образом учителя — магистра Эспера Мертваго, который

Много — неокантианец,
И немного — теософ. /.../
С ним Елена занималась,
Выбрав несколько предметов. /.../
Всякий день и вечер каждый
С математикой высшей,
С философией начальной...⁶

Если героиню романа побуждала к занятиям наукой несчастная любовь, то в жизни поэтессы все обстояло иначе. Окончив в 1902 с золотой медалью Елисаветинскую гимназию в Москве, она вышла замуж за студента V курса механического отделения Московского Технического училища Романа Евгеньевича Столицу. Венчание их состоялось 11 сентября 1902 в церкви 1-го Лейб-гренадерского Екатеринославского имп. Александра III полка, командиром которого был отец Р.Е.Столицы. Интересная деталь: дата венчания была, по-видимому, приурочена ко дню крещения Р.Е.Столицы, которое состоялось 11 сентября 1879 (восприемником младенца был император Александр II)⁷. Эти подробности немаловажны, так как характеризуют новую для будущей поэтессы среду, которая оказала на нее большое влияние.

В 1905 Л.Столица поступает на историко-философское отделение Московских Высших женских курсов, но после их закрытия в связи со студенческими беспорядками занятий не возобновляет, «ибо царящие там революционные настроения претили ее убеждениям и не давали возможности серьезно работать»⁸.

Первое выступление Л.Столицы в печати состоялось в 1906: в журнале «Золотое руно» были помещены три ее стихотворения «Жизнь ночи», «Пламенем объятые», «На качелях» и рецензия на

⁵ Столица Л. Елена Деева: Роман в стихах. М.: «Виноградье», 1916. С.17.

⁶ Там же. С.36-37.

⁷ См.: Московское объединение архивов. Ф.372. Оп.3. Ед.хр.741. Л.2.

⁸ Ерь. Биографический очерк. С.8.

книгу К. Д. Бальмонта «Стихотворения» (СПб., 1906)⁹. Напечатанные в символистском издании, эти произведения свидетельствовали о расположении автора к тому направлению, которое представлял журнал. Так, некоторые стихи неясного содержания, например:

Кто-то срывает
Звезды, заткавшие видимой вечности грудь,
Звезду посылает
В таинственно-скрытый и тенями призрачный путь
(«Жизнь ночи»), —

очевидно, представляли собой попытку говорить языком символизма. Более четко литературные пристрастия автора обозначены в рецензии на издание К. Д. Бальмонта в дешевой библиотеке «Знания». Любопытно, что эта рецензия не только в основной тональности, но и в отдельных положениях перекликается с напечатанным месяцем ранее критическим отзывом В. Я. Брюсова на ту же книгу¹⁰. Как и Брюсов, Л. Столица подчеркивает соответствие между низкой ценой на книгу (3 коп.) и собственно поэтической ценностью сборника. Если Брюсов дает более подробную оценку формальных достоинств: «Стих не только не обличает знакомого нам виртуоза формы, но большею частью вял и незвучен; рифмы бледны и неряшливы; образы — банальны»¹¹, — то Л. Столица ограничивается замечанием: «О былой изысканности стиха нет и помину»¹². У Брюсова говорится о том, что «Бальмонт лепечет с милой наивностью слова из газетных фельетонов», что «его стихи довольствуются "общими местами", /.../ трафаретными выкриками»¹³, у Столицы — аналогичные оценки: «Поэт даже целиком переписывает боевые кличи разных партий...»¹⁴ Таким образом, дебют Столицы на страницах «Золотого руна» продемонстрировал осведомленность автора в современной поэзии.

Сотрудничество в этом журнале в 1906-1907 способствовало знакомству поэтессы с Брюсовым, Андреем Белым, Б. А. Садовским; она посещает вечерние приемы, которые устраивались редакцией для сотрудников¹⁵. К этому времени относит-

⁹ Золотое Руно. 1906. №10. С.33-35, 91-92.

¹⁰ См.: Весы. 1906. №9. С.53-55.

¹¹ Брюсов В. Среди стихов: 1894-1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С.213.

¹² Золотое руно. 1906. №10. С.91.

¹³ Брюсов В. Среди стихов. Указ. изд. С.213.

¹⁴ Золотое руно. 1906. №10. С.91.

¹⁵ См.: Виноградов С. А. О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах: Из моих записок // Воспоминания о серебряном веке. М.,

ся ее увлечение В.Я.Брюсовым¹⁶. Однако иронический пассаж Брюсова о Л.Столице в письме к З.Н.Гиппиус от 27 декабря 1906¹⁷, а также тот факт, что в составленной им таблице под названием «Мои "прекрасные дамы"» ее имя значится под 1906 г. в графе «Мы играли в любовь» (напротив 1907 г. место в этой графе отведено уже В.Ф.Коммиссаржевской)¹⁸, не позволяет говорить о сколько-нибудь глубоком его чувстве к начинающей поэтессе.

Вскоре Л.Столица начинает осознавать «свою идейную чуждость»¹⁹ писателям-символистам, на время отходит от литературной среды²⁰, пытается найти собственный способ поэтического выражения.

Результатом уединения явился сборник «Раиня» (М., 1908; обложка художника Н.П.Крымова). Стихотворения сборника, главным образом посвященные деревенской природе и проникнутые восторгом перед каждым ее проявлением, выстраиваются в сюжет: историю нежданного обретения героиней земного рая весной и потери его осенью. Сохранение в стихах каждого раздела («Весна», «Лето», «Осень», «Дни») общего эмоционального тона, варьирование одного и того же мотива позволяет детализировать изображение. Природное явление становится ощутимым благодаря приему перечисления примет, который можно увидеть как в построении целого стихотворения, так и в отдельной строчке, например:

Утро, солнце, люди, звери, запах, звуки, пятна²¹.

В некоторых стихотворениях движению лирического сюжета соответствует ритм разностопного стиха, свободное владение которым демонстрирует Столица в своем первом сборнике. Здесь можно найти такие редкие образцы разностопности, как анапест с чередованием строк из четырех, одной и двух стоп (Ан441242,

1993. С.430; Садовойской Б.А. Записки (1881-1916) // Российский архив. Т.1. М., 1991. С.154.

¹⁶ См. ее письма к нему (1907): РГБ. Ф.386. Карт.104. Ед.хр.4.

¹⁷ См.: Литературное наследство. Т.85: Валерий Брюсов. М., 1976. С.688.

¹⁸ См.: РГБ. Ф.386. Карт.1. Ед.хр.4. Л.2.

¹⁹ Ерь. Биографический очерк. С.7.

²⁰ Из этого круга Л.Столица исключает одного лишь Андрея Белого. 21 марта 1907 в письме к нему поэтесса признавалась: «Вы совсем иной, чем те поэты, что зрела я раньше /.../ Вашему творчеству мало удивляться, им хочется дышать, любить его без конца...» (РГБ. Ф.25. Карт.23. Ед.хр.9. Л.3). В этом письме выразилось беспокойство, связанное с выбором литературного пути: «Куда же идти? С кем говорить? У кого учиться?» (Там же. Л.5).

²¹ Столица Л.Н. Раиня. М., 1908. С.40.

«Весна») или сочетание одностопного анапеста с трех- и четырехстопным (Ан313143, «Вторник»)²².

И.Ф.Анненскому лиризм Л.Столицы («Дионисов чудный дар») показался «страшным» своей «яркой чувственностью, осязаемостью /.../ видений»²³. В интуитивно-импрессионистической манере поэт определил суть творчества и предсказал мотивы будущих стихотворений Столицы²⁴: «Но если, точно, когда-нибудь женщины на Кифероне или Парнасе выстрадали своего бога, своего Вакха /.../, а это был исконно их женский бог /.../, то в этой толпе женщин хоть раз была и Любовь Столица»²⁵. Упомянув о погрешностях сборника, но не останавливаясь на них, поэт указывал на признаки мастерства: точность и многозначность эпитетов, соответствие темы выбранному стихотворному размеру. Так, например, Анненский показывает, что в стихотворении «С гор» ритмика вольного стиха настолько точно передает ощущение при катании с гор, что «каждую выбоину чувствуешь»²⁶. Одобрительным был и отзыв В.И.Нарбута²⁷, который, однако, советовал Л.Столице избавиться от покаянных мотивов и от образов, навеянных поэзией А.Блока. Напротив, Ю.Н.Верховский считал «блоковские» стихотворения единственной удачей Столицы: показательно, что в целом ее поэтика не встретила сочувствия у этого представителя символистского направления. То, что Анненский считал только «ошибками, дерзаниями и всевозможными придумками Любви Столицы»²⁸, которые он готов был простить начинающей поэтессе, в отзыве Верховского превращается в неисправимый порок. С его точки зрения, сборник характеризует «явное незнание простого языка и щегольство ужасающими неологизмами; неумение найти простое определение и

²² Книга вообще довольно богата метрически. Здесь можно найти, например, элегические дистихи (эпиграф), сверхдлинные размеры с внутренними рифмами (семистопный ямб с цезурой после 8-го слога, «Весенняя муза»; семистопный хорей с цезурой после 8-го слога, «Среда»), четырехстопный анапест с двумя постоянными словоразделами после 3-го и 6-го слогов («Вихрь»), короткие размеры (двустопный хорей, «Сын земли»), логазды («Успение»). Не имея возможности в данном очерке устанавливать поэтическое родство Л.Столицы, укажем лишь на один стих «Раини», который позже использует Н.А.Клюев: «Природы радостная схимница» (С.31). Ср. у Клюева: «Природы радостный причастник» («Набух, оттаял лед на речке...», 1912).

²³ Анненский И.Ф. О современном лиризме // Аполлон. 1909. №3. Отд.1. С.24.

²⁴ Ср., например, сонет «Иах и Иоанн» (Ипокрена. 1918. №2/3. С.27) или гимн кружка «Золотая гроздь» (о нем ниже).

²⁵ Аполлон. 1909. №3. Отд.1. С.26-27.

²⁶ Там же. С.26.

²⁷ См.: Gaudeamus. 1911. №6. С.14.

²⁸ Аполлон. 1909. №3. Отд.1. С.27.

постоянная игра чудовищными эпитетами; беспомощное построение фразы и высокомерное презрение к грамматике; младенческая техника стиха и отыскивание небывалых рифм и строф /.../; воодушевление во что бы то ни стало; отсутствие религиозного искания и искусственная молитвенность, поверхностный чужой пантеизм, примитивно перенятая эротика, и все непременно — худо или хорошо — *по-своему*, с яркой печатью своей "индивидуальности"²⁹.

Во втором стихотворном сборнике «Лада» (М.: «Альциона», 1912; обложка С.Т.Коненкова) Любовь Столица сохраняет принципы композиции первой книги (мало изменены даже названия разделов), с той разницей, что здесь все природное (вплоть до «буйной девственной силы» Лады, выступающей от первого лица) воплощается через олицетворения, так что создается как бы индивидуальная авторская мифология. Исчезновение религиозных сюжетов, более простой, по сравнению с первым сборником, язык, частое использование образных формул народной поэзии — все это, вероятно, отвечало замыслу автора написать «Песенник» (как обозначено в подзаголовке).

«Лада» была оценена критикой строже, чем первая книга Столицы. В.Брюсов в статье «Сегодняшний день русской поэзии»³⁰ и В.Нарбут³¹ отмечали, что сложные, безупречно выстроенные формы неуместны в сборнике, ориентированном на народную поэзию. Последний находил у Столицы, наряду с образцами самостоятельной «подлинно-природной»³² лирики, следы влияния книги С.М.Городецкого «Ярь».

Несколько ранее М.А.Волошин в статье «Поэты русского склада» (1911) сближал с «Ярью» (а также со «Стихотворениями» А.К.Герцык, сборником А.Н.Толстого «За синими реками» и «Песнями» С.А.Клычкова) «Раиню» — книги, представляющие собой «попытки говорить народным складом и русскими словами, не отходя при этом ни от современного стихосложения, ни от современного стиля»³³. Н.С.Гумилев в рецензии на альманах «Антология» (М.: «Мусагет», 1911) определял помещенные здесь стихотворения из «Лады» как «сильные, смелые и законченные», но содержащие «какое-то сюсюкающее сладострастие, произво-

²⁹ Русская мысль. 1909. №1. Отд. II. С.5.

³⁰ См.: Русская мысль. 1912. №7; То же: Брюсов В. Среди стихов. Указ. изд. С.371-372.

³¹ См.: Новая жизнь. 1912. №5; Современник. 1912. №6.

³² Новая жизнь. 1912. №5. Стлб.273.

³³ Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С.535. Ср. сходное замечание Б.Рунт в ее статье «Любовь Столица» (Женское дело. 1914. №13).

дающее неприятное впечатление»³⁴. Другие рецензенты положительно оценивали книгу³⁵.

В 1910-е годы произведения Л.Столицы появляются во многих журналах: «Gaudeamus» (1911), «Женская жизнь» (1915-1916), «Женское дело» (1914, 1916, 1917), «Заря» (1914), «Мир женщины» (1914), «Новая жизнь» (1910, 1914, 1915), «Новый журнал для всех» (1910), «Путь» (1913), «Русская мысль» (1916), «Свободный журнал», «Современный мир» (1911), «Современник» (1912), «Школьная жизнь», в газетах «Биржевые ведомости», «Московская газета», «Столичная молва».

Несколько особняком среди журналов, с которыми сотрудничала Л.Столица, стоял журнал религиозно-философского направления «Новое вино» (1912-1913), издававшийся религиозным публицистом и сектантом И.П.Брихничевым³⁶. В двух номерах журнала Л.Столица выступила как критик³⁷, поместив статьи об А.Блоке и Н.Клюеве.

Статья о Блоке «Христианнейший поэт XX века» при всей свойственной поэтессе чрезмерности суждений (например, сравнение Блока со святыми мучениками) замечательна не только тем, что дает представление о понимании автором творчества мастера, но и тем, что в ней сформулировано восприятие его поэтами из народа:

По-моему, А.Блок глубоко народен, подлинно общественен, а потому особенно у нас на Руси, и особенно ныне чрезвычайно нужен и полезен.

Во-первых, дух блоковских произведений с самого начала его творчества и до сей поры неизменно, неуклонно, непоколебимо христианский. Более того, он именно христианский в русском

³⁴ Гумилев Н.С. Собрание сочинений: В 4 тт. Т.4. М., 1991. С.271. В подобном роде высказывался и С.П.Бобров (в письме к Андрею Белому от 16 февраля 1911: «прекрасные стихи, но очень бесстыжие, "шалые" и "простоволосые"») (Лица: Биографический альманах. Вып.1. М., 1992. С.158). «Примитивная эротика» в стихах Л.Столицы высмеивалась в пародии Дона Аминадо (см.: Новый Сатирикон. 1916. №37. С.8).

³⁵ См.: Волькенштейн В. // Современный мир. 1912. №4. С.314; Новинский Н. // Мир женщины. 1913. №19; Федор Б. Любовь Столица // Мир женщины. 1915. №3.

³⁶ Об И.П.Брихничеве и его религиозно-издательской деятельности см.: Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1. М., 1989. С.328-329. О журнале «Новое вино» см. в кн.: Азадовский К.М. Николай Клюев: Путь поэта. Л., 1990, С.125-131. В альманахе «Вселенское дело» (Одесса, 1914), инициатором издания которого был И.П.Брихничев, Л.Столица поместила стихотворения из цикла «Страстные песни» и «Добрый пастырь».

³⁷ В «Новом вине» (1913. №2. С.8) напечатано также ее стихотворение «Рождество».

понимании этого слова, т.е. страдальческий и сострадальческий, вменяющийся, кающийся. /.../

Блок с юности — избранный служитель Богоматери, ревнейший причетник в ее храме, /.../ вернейший живописец икон ее, /.../ нежнейший чтец ее канона. /.../ Для него она — живое Божество, а не метафизический термин и не библейский миф. Отсюда то особое светлое долженствование, та грядущая любовная мораль, то новое высокое учение, что струится ручьем со страниц его книг, что тянется лучами за каждой строфой его. Учение это — в гордом служении дальней златокудрой Марии—Деве—Жене—Купине—Заре и в великодушном прощении ближней рыжекудрой Магдалине—блуднице—колдунье—маске—ночи. Стих его — девиз будущего чудного ордена рыцарей «вечной Розы» и «ночной Фиалки». Песнь его — клич дивного войска юных витязей, защитников Руси от тьмы и неправды, как встарь от лихой татарвы. Вот отчего я называю поэзию А.Блока в глубокой степени общественной и учительной. Вот отчего считаю я ее особенно нужной теперь, в годы слабейшей нравственности и сильнейшей безыдейности³⁸.

³⁸ Столица Л. Христианнейший поэт XX века // Новое вино. 1913. №2. С.12. Блоку поэтесса подарила три своих книги. С одной из них связано единственное известное ее письмо к Блоку:

1912 года 14-го февраля
Москва

Многоуважаемый Александр Александрович!

Простите, что посылаю Вам свою «Раиню» без надписи, боюсь выразюсь снова неудачно на Ваш взгляд, а писать банальности Вам... мне как-то не хочется. Кстати, сравнивая Ваши стихи с «черными розами», я ничуть не пыталась охарактеризовать их в целом, а просто с некоторым поэтическим легкомыслием взяла Ваш же особенно восхитивший меня образ (из «Ночных Часов»).

То, что моя книга окажется в большей части своей Вам чужда — я знала заранее: это видно из того же злосчастного четверостишия...

Но ждать выхода 3-ей книги, которая, как более строгая и скорбная, будет, мне думается, Вам ближе, — мне показалось долго. Я же столько часов своей жизни провела в наслаждении Вашей поэзией, что было бы даже несправедливым не принести Вам какого-либо дара.

С уважением

Любовь Столица

(РГАЛИ. Ф.55. Оп.2. Ед.хр.67).

«Смиранный» тон письма явно противоречит его оформлению. Письмо написано на листе почтовой бумаги, украшенном медальоном с изображением нарядной женской головки. Под «злосчастливым четверостишием» Столица определенно подразумевает свою дарственную надпись на сборнике «Лада» (см.: Библиотека А.А.Блока: Описание / Сост. О.В.Миллер, Н.А.Колобова, С.Я.Вовина. Т.2. Л., 1985. С.288: «Александру Блоку — Любовь Столица. / Вы рассыпаете черные розы / Сладких и страшных, как полночь, стихов — / Я же зеленою ветвью березы / Вею Вам шелест улыбочивых слов... / 1912 года 1-го февраля. Москва»). Сохранилась также дарственная надпись на форзаце книги «Русь» (М., 1915): «Александру Блок —

Статья о Н.А.Клюеве, ведущем авторе журнала «Новая земля» (1910-1912, предшественника «Нового вина»³⁹), была напечатана в первом номере за 1912 год. Она раскрывает основы религиозного мировоззрения поэта, столь близкие автору, что статья называется «О певце-брате». Действительно, религиозная тематика не исчезает из поэзии Столицы. В это же время она готовит третью книгу стихов «Русь», включающую стихотворения о христианских праздниках. Разработке религиозных мотивов поэтесса предполагает посвятить целиком четвертую книгу стихов «Спас», которая, однако, осталась незавершенной и неизданной. Собственно, уже в «Раине» можно заметить тот подход к изображению природы, который будет характерен и для Клюева. Так, если в «Раине» Столица обожествляет природное явление, уподобляя его тому или иному евангельскому событию (например, пробуждение природы весной — Воскрешению Лазаря), то Клюев делает это, метафорически «облачая» природу в церковный наряд⁴⁰. Таким образом, обращение Столицы к творчеству Клюева в специальной статье представляется неслучайным, оно позволяет судить о поэтических идеалах самого автора.

Характеризуя поэзию Клюева, Столица выделяет в ней два начала — земное и небесное:

...Как озеро вспоены они [«Братские песни». — М.А., Л.Д.] светлым небом нового религиозного сознания; как луг, вскормлены темною землею древнего народного творчества. /.../

Тут он всему брат: и травам, и ветрам, и зверям, и человекам, но брат старший, мудрейший, сильнейший /.../ Тут он помнит по земле родной, всходит на эшафот, умирает на кресте. /.../

Но вот поет он мир *тот*, т.е. землю новую, грядущую, и тогда ликует и торжествует, достигает, крылатый, нездешних высот, постигает нездешние красоты⁴¹.

необычайному певцу / необычайной Руси — / верная в любви к его творениям / Любовь Столица / 1914 года ноября 23-го дня. Москва» (РГАЛИ. Ф.55. Оп.2. Ед.хр.67. Л.3).

³⁹ Об участии Клюева в изданиях И.П.Брихничева см. в книге К.М.Азадовского «Николай Клюев: Путь поэта» (С.81-87, 97 и далее) и в его же статье «Раннее творчество Н.А.Клюева (Новые материалы)» (Русская литература. 1975. №3. С.191-212).

⁴⁰ Азадовский К.М. Николай Клюев: Путь поэта. Указ. изд. С.90.

⁴¹ Столица Л. О певце-брате // Новое вино. 1912. №1. С.13-14. Л.Столице принадлежат также критические статьи о художниках «Голубой розы» (Радуга // Золотое руно. 1907. №7-9), о Н.М.Мешкове (Свободный журнал. 1914. №11), Г.И.Чулкове и М.А.Кузmine (О двух новых романах // Столичная молва. 1915. 26 октября), А.К.Герцык (Поэтесса-вещунья // Возрождение. (Париж). 1925. 1 сентября).

В 1913 был завершен, а в 1915 напечатан третий сборник стихов «Русь» (М., «Новая жизнь»). Представления Любови Столицы об идеальной, давно ушедшей русской деревенской жизни получили здесь форму этнографического обзора, последовательно, в 12 циклах, описывающего «Деревенский год», «Деревенский день», «Деревенские промыслы», «Деревенскую любовь» и т.д. Привычная циклизация сопровождается в книге строгой формальной унификацией стихотворений, затрагивающей их синтаксис, композицию, строфику и метрику. Так, например, все стихотворения цикла «Бабы» представляют собой пять четверостиший трехстопного амфибрахия, причем начало первой строфы всегда номинативное предложение, обозначение места действия, а начало последней — неполное предложение, называющее само действие (ср. сценические ремарки). Кроме того, в последней строфе появляется какой-нибудь сопровождающий героя зверек и природная декорация:

Шинкарка

Крыльцо. Голубое затмение
Лежит на сугробах вокруг.
Нескладное, пьяное пенье...
Упорный, неистовый стук...
Красивая, в грубой сорочке,
В тяжелых стеклянных серьгах
И злая, как ведьмы на кочке,
Встает она с лавки в сердцах.
У ней плясовая походка
И белая, теплая грудь.
Хмельна ее мутная водка:
Ни слова сказать, ни дохнуть...
Подходит с заветной бутылкой
И требует деньги вперед.
Получит — и руганью пылкой
Проводит до самых ворот.
Торгует. Лихая собака
В сенях ее лает и рвет,
И льется из сизого мрака
Рассвета белеющий мед.

Знахарка

Погост. Пролетают пугливо
Златистые крылья зарниц.
Кресты и дуплистые ивы...
Унылое уханье птиц...
Не зная ночами покою,
Она из села приплелась,
Горбатая, с толстой клюкою,
С огнями зелеными глаз.
Ее голова уж трясется,
В лице бородавок не счесть.
Она корешком запасется
И будет давать его есть.
От грязи, огневиц и трясавиц,
Для чар, приворотов и ков,
Испортит румяных красавиц,
Отравит седых стариков.
Сбирает. К ней старая кошка
Прижалась острым ребром,
И скрылась Жар-птица сторожко,
Махнув золотистым пером⁴².

Подобное формальное единство стихотворений присутствует и в остальных разделах сборника. В таком виде книга может показаться поздним ученическим опытом. Кроме того, сборник свиде-

⁴² Столица Л. Русь. М., 1915. С.75-76, 83-84.

тельствует, что у автора уже третьей книги стихов не ослабевает интерес к формальному эксперименту, что можно объяснить учебной у поэтов-символистов, в частности, у В. Брюсова. Не случайно, надписывая ему свою следующую книгу «Елена Деева», Л. Столица отмечает его «мастерство»:

Валерию Брюсову — первому учителю своему — с неизменным восхищением пред его мастерством — Любовь Столица
1916 год, январь, день 2-й⁴³.

Эксперимент в «Руси» был замечен критикой как нежелательное «тяготение к программности»⁴⁴, но вместе с тем рецензентов восхищала точный, богатый диалектной лексикой язык, создающий «непривычную яркость картин»⁴⁵ и напоминающий современникам то о поэзии Э. Верхарна⁴⁶, то о «маявинских красках»⁴⁷. Критики отметили в книге эпический взгляд на природу, который «оживляет», но не «одушевляет», видит русскую деревенскую жизнь «неглубокой и несложной»⁴⁸ и тем самым «дает душе читателя иллюзию примирения с миром»⁴⁹.

Завершая рассказ о раннем периоде творчества поэтессы, следует сказать, что стихи ее привлекали внимание композиторов. Так, романс на слова Л. Столицы «В роще березовой» вошел в сборник Р. М. Глиэра «Семь романсов» (М., 1913) вместе с романсами на стихи А. Блока, Ф. Сологуба, С. К. Маковского. На стихи Л. Столицы писали музыку А. Т. Гречанинов, В. И. Ребиков⁵⁰, И. И. Крыжановский⁵¹.

Стремление Л. Столицы к эпосу получило выражение в созданных в 1914-1918 стихотворных волшебных сказках: «Неж-

⁴³ РГБ. Ф. 386. Книги. № 1402.

⁴⁴ Федор Б. Любовь Столица. Указ. изд. С. 9. Ср. рец. А. Журина в «Свободном журнале» (1914. № 3. Стлб. 119-121). Систематизация материала, видимо, мешала воспринимать «Русь» как поэтическую книгу, что приводило к курьезам: «Роль Власия, как покровителя скота, не отмечена», — констатировал педантичный рецензент (Там же).

⁴⁵ Рунт Б. Любовь Столица // Женское дело. 1914. № 13. С. 12.

⁴⁶ Там же. С. 13.

⁴⁷ Федор Б. Любовь Столица. Указ. изд. С. 9. Ср. также: Заречная С. [Качановская С. А.] // Там же. 1916. № 3. С. 10. И. Северянин в сонете «Любовь Столица», написанном после смерти поэтессы, сказал о ней: «И красочностью ярче, чем Маявин» (Золотой петушок. 1934. № 2/3. С. 23; сонет приводится ниже).

⁴⁸ Заречная С. // Мир женщины. 1916. № 3. С. 10.

⁴⁹ Славянова З. М. Лекции о женщинах поэтессах. ОР ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 253. № 224. К/п 266932/9. Л. 26, 27. См. также рец. Е. Выставкиной (Женское дело. 1915. № 2).

⁵⁰ См.: Иванов Г. К. Русская поэзия в отечественной музыке. Вып. 1. М., 1966. С. 331.

⁵¹ Партитуру см.: РГАЛИ. Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 385. Л. 8.

ная княжна»⁵², «Песнь о Золотой Олоне» (1914)⁵³, «Сказка о молодой рукавичке и о нежити-невеличке» (1916)⁵⁴, в поэмах «Зоя и Авенир» (1915, не опубликована) и «Лебединая родина» (1916), романе в стихах «Елена Деева»⁵⁵.

Этот роман, написанный строфическим стихом⁵⁶ и «благоговейно» посвященный «памяти Пушкина», сохраняет некоторые композиционные приемы, способ повествования «Евгения Онегина», но разворачивается на современном, отчасти автобиографическом материале, к которому относятся сцены детства героини, рассказ о литературном салоне Елены. Однако попытка автора создать «женский» богемно-купеческий вариант «Евгения Онегина» придает роману лубочный и несколько комический оттенок.

Пушкинское наследство, по мнению рецензента, мешало автору строить сюжет в соответствии с характерами персонажей⁵⁷. В отзыве С.Заречной⁵⁸, напротив, сказано о логике в развитии сюжета и о несомненной привлекательности для читателя образа главной героини, в которой найдено то соединение религиозного, прагматического и богемного начал, которое свойственно современной русской женщине⁵⁹.

Образ Елены Деевой был близок и дорог поэтессе, что подтверждает ее дарственная надпись матери Анастасии Михайловне Ершовой на своей книге:

Дорогой, горячо любимой матери, в которой есть кровь Деевых, всегда ее Люба. 1915. Декабрь. Рождество⁶⁰.

Успеху романа способствовал фильм «Дочь Замоскворечья (Елена Деева)», поставленный в 1916 режиссером московского Театра Незлобина А.А.Чаргоным. Картина вошла в список лучших фильмов сезона⁶¹. Сам же роман за короткое время выдер-

⁵² См.: Альциона. Кн.1. М., 1914. С.127.

⁵³ См.: Женское дело. 1917. №1/4.

⁵⁴ См.: Там же. 1916. №24. С.3-5.

⁵⁵ Впервые: Новая жизнь. 1915. №2-5; отд. изд.: М.: «Винограде», 1916.

⁵⁶ Двенадцатистишиями четырехстопного хоря с конфигурацией рифм АБАВГГВДеДе.

⁵⁷ См.: Т.Г. [Проскурнина (Ганжулевич) Т.Я.] // Летопись. 1916. №2.

⁵⁸ См.: Мир женщины. 1916. №3.

⁵⁹ Другие рецензии: Богданов М. // Голос. 1916. №92; Шт. Ал. // Одесские новости. 1916. №1001; Шершеневич В. // День. 1916. №20; Ш. Вл. [Шарков В.В.] // Южный край. 1916. №13228; Доброхотов Ан. // Северное утро. 1916. №85; Измайлов А. // Биржевые ведомости. 1915. №14937; Уманский А. // Нижегородский листок. 1916. №38.

⁶⁰ Лидин В.Г. Друзья мои — книги // Книга: Исследования и материалы. Сб.10. М., 1965. С.302.

⁶¹ См.: Сине-фоно. 1917. №1.

жал четыре издания: в Москве в 1916 (дважды) и в 1917, в Берлине в 1923 (издательство «Медный Всадник»).

В 1910-е имя поэтессы становится широко известным. Она посещает собрания («Среды») в Литературно-художественном кружке, участвует в вечерах⁶², диспутах, печатается в литературных сборниках: «В помощь пленным русским воинам» (под редакцией Н.В.Давыдова и Н.Д.Телешова. М., 1916), «Война в русской поэзии», «Россия в родных песнях» (оба составила Ан.Н.Чеботаревская, предисловие Ф.Сологуба. Пг., 1915) и др. О Л.Столице второй половины 1910-х, когда она стала довольно заметной фигурой литературной Москвы, сохранились воспоминания современников.

В.Г.Лидин рассказывает о школьном вечере в Лазаревском институте восточных языков, где он учился:

Я бережно привез на извозчике пышную даму, весьма напонившую мне впоследствии кустодиевских, красивых славянской изобильной красотой купчих. Да и ротонда на поэтессе была плюшевая, а розовое ее лицо тонуло в мехах. Моя юность навсегда запомнила этот образ, запомнил я и то, что поэтесса на обратном пути пожелала покататься на лихаче по морозным аллеям Петровского парка, читала мне под обледенелой луной стихи: «Юнош бледный, юнош стройный, ты совсем меня пленил», — а «юнош» мучительно высчитывал, хватит ли у него денег на лихача, и мерзнул в своей шинелишке рядом с теплой ротондой⁶³.

Похожий эпизод, участник которого, как явствует из текста стихотворения, кончил жизнь трагически в советской России, помнился и поэтессе:

...Под фуражкой узкой ученической —
Лик нежданно-дорогой,
Прелести иконной и девической
В кудрях светлых, взвеянных ваххической
Русскою пургой...
Смутно помню там, в его училище,
Бал-концерт и выход мой.
Помню мчащийся автомобиль еще,
Где в какой-то радости бессилающей
Ехала домой...

⁶² Л.Столица бывала, в частности, в доме Ирины Павловны и Ивана Алексеевича Белоусовых; ее стихотворение «Дорогой Ир.П.Б.» вписано в альбом хозяйки 28 апреля 1913 (См.: ГЛМ. Ф.240. Ед.хр.ОФ—5322. Л.35об., 36).

⁶³ Лидин В.Г. Друзья мои — книги. Указ. изд. С.302. В коллекции писателя сохранились три книги Л.Столицы с дарственными надписями.

Вся Москва, по-зимнему затейная,
Там, за стеклами неслась. —
Инейная, бисерно-кисейная,
Милая, узывная, увейная,
Закружила нас...⁶⁴

Обширные воспоминания о встречах с Любовью Столицей оставила художница и поэтесса Нина Яковлевна Серпинская (1893, по др. сведениям 1895-1955). При фактической достоверности «Мемуаров интеллигентки двух эпох», подтверждаемой другими источниками, воспоминания Серпинской страдают поверхностностью и тенденциозностью. Создавались они в конце 1930-х, поощрял автора к их написанию К.Л.Зелинский, помогавший ей вступить в Литфонд. Естественно, что эти воспоминания о поэтессе-эмигрантке были весьма недоброжелательны и злоречивы, что не мешало мемуаристке в те же годы поддерживать дружеские отношения с А.М.Ершовой, матерью Любви Столицы⁶⁵.

В начале 1916 Н.Я.Серпинская была приглашена на «Вечер поэтесс», в организации которого Л.Столица принимала деятельное участие. На этом благотворительном вечере (25% сбора поступало Комитету военнопленных в Стокгольме), состоявшемся 22 января в Политехническом музее, выступили: Л.Д.Рындина с докладом «Женщина в поэзии», поэтессы Л.Ф.Копылова, М.Л.Моравская, С.Панаиотти, С.Я.Парнок, графиня Н.М.Подгоричани-Петрович, Е.Рачинская, Н.Я.Серпинская, Л.Н.Столица, А.А.Чумаченко; актриса Л.В.Эрарская прочла стихи М.А.Лохвицкой и Н.В.Крандиевской, Е.Рачинская — стихи З.Н.Гиппиус, В.Л.Юренева — стихи А.А.Ахматовой, предполагавшееся выступление которой, так же, как и объявленное — М.И.Цветаевой, не состоялось.

Вместе с некоторыми из участниц вечера Н.Я.Серпинская получила приглашение Л.Столицы на очередное заседание литературно-художественного кружка «Золотая гроздь» и вскоре стала его постоянной посетительницей. Кружок объединял, в основном, молодых поэтов, порою «религиозно и национально настроенных»⁶⁶, разделявших, по свидетельству А.И.Тинякова, мнение об

⁶⁴ Столица Л. Поминание // Перезвоны. 1929. №42. С.1328. Приводится по сб.: Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. В.Крейд. М., 1991. С.351.

⁶⁵ Ср. дарственную надпись А.М.Ершовой Н.Я.Серпинской на фотопортрете Л.Столицы: РГАЛИ. Ф.1463. Оп.1. Ед.хр.24. Можно предположить, что сведения об эмигрантских скитаниях Л.Столицы Н.Я.Серпинская получила также от А.М.Ершовой (1863-?) и брата поэтессы А.Н.Ершова.

⁶⁶ Литературное наследство. Т.92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн.3. М., 1982. С.166 (вступит. статья Н.В.Котрелева и З.Г.Миц).

А.Блоке как о «верховном вожде Русской поэзии» и противопоставлявших его Брюсову⁶⁷. На вечерах у Л.Столицы бывали: Н.А.Архипов, Н.С.Ашукин, М.П.Гальперин, Е.В.Гельцер, А.Н.Ершов, Н.А.Клюев, Л.Ф.Копылова, Анна Мар, С.Я.Парнок, Н.Ю.Поплавская, С.Я.Рубанович, Л.Д.Рындина, Д.Н.Семеновский, Н.Д.Телешов, А.И.Тиняков, В.Ф.Ходасевич, Вера Холодная, А.Я.Цинговатов, В.Л.Юренева, а также зоолог, член Государственной думы М.М.Новиков, П.А.Герцен — внук писателя — с женой Ниной Евгеньевной (урожденной Столицей)⁶⁸.

Атмосфера вечеров кружка Любви Столицы заставляет еще раз вспомнить отзыв И.Ф.Анненского о «Раине». Дело в том, что в устройстве «Золотой грозди» поэтесса использовала образ служанки Вакха, увиденный Анненским в стихах ее первой книги. Приглашенных встречал брат поэтессы, Алексей Никитич Ершов:

в венке из виноградных лоз на голове, с позолоченной чарой вина, которая подносилась каждому приходящему /.../ Любовь Никитична — хмельная и ярко дерзкая, с /.../ вакхическим выражением крупного лица с орлиным властным носом, серыми, пристальными, распутными глазами, в круглом декольте, с приколотой красной розой и античной перевязью на голове, с точки зрения комильфотной элегантности, выглядела и держалась претенциозно, вульгарно и крикливо. Говоря о ней, дамы всегда вспоминали ямщицкое происхождение Ершовых, дед которых держал постоялый двор. /.../

Длинные столы с деревянными, выточенными в псевдорусском кустарном стиле спинками широких скамей, убранство столов с такими же чарками и солонками подчеркивали мнимую национально-народную основу творчества хозяйки. Большая чарка, обходя весь стол, сопровождалась застольной «здравицей»:

Наша чарочка по столику похаживает,
Золотая по дубовому погуливает,
Зелье сладкое в глубокой чаше той,
Это зелье силы вещей, не простой:
Всяк, кто к чарочке волшебной ни притронется,
От любви огневой не ухоронится.
Эх, испейте свое счастье с ней до дна,
Молодые и румяные уста.

На каждом приборе лежали приветственные стихи, соответствующие какой-нибудь характерной черте присутствующего го-

⁶⁷ Литературное наследство. Т.92. Указ. изд. С.404-405 (письмо Тинякова к Б.А.Садовскому от 11 октября 1912).

⁶⁸ Столица Н.Е. (1887-1931) — вторая жена П.А.Герцена. Их дочь — Наталия Петровна Герцен (1917-1983).

стя. Вели себя все, начиная с хозяйки, произносящей по общей просьбе разные стихотворные тосты, /.../ — весело, непринужденно, разговорчиво. Было несравненно оживленной, чем /.../ в салонах богатых меценатов, не говоря о светских банкетах и ужинах после благотворительных концертов. Там /.../ люди искусства боялись сделать какой-нибудь «faux pas», не соответствующий вкусам хозяев, от которых они зависели или думали чего-либо добиться /.../ Здесь все считали себя людьми одного круга, веселились и показывали таланты без задней мысли о конкуренции. После ужина, все в лоск пьяные, шли водить русский хоровод с поцелуями, с пением — хором гимна «Золотой грозди»⁶⁹:

Гроздь хмельная, золотая —
Дар таинственной земли!
Хороводами блуждая,
Мы тебя в саду нашли.
Улыбайся же, улылый!
И, усталый, отдыхай!
Обнимайся с милой милый!
И, влюбленный, не вздыхай!
Полны светлые фиалы,
Росны свежие венки.
Наши губы влажны, алы,
Ноги быстры и легки.
Други! Други! Сблизим с лаской
Пальцы верных, нежных рук
И помчимсястройной пляской
Девы! Юноши! вокруг.
Гроздь хмельная, золотая —
Дионисов чудный дар!
Пенным соком услаждая,
Нас исполни светлых чар⁷⁰.

⁶⁹ Серпинская Н.Я. Мемуары интеллигентки двух эпох // РГАЛИ. Ф.1463. Оп.1. Ед.хр.9. Л.119-123.

⁷⁰ Текст гимна дается по рукописи из фонда Н.С.Ашукина (РГАЛИ. Ф.1890. Оп.3. Ед.хр.554. Л.1). В воспоминаниях Н.Я.Серпинской отсутствует третья строфа и имеются разночтения. В.Ф.Ходасевич в статье из цикла «Книги и люди», представлявшей собой отклик на кончину поэтессы, отмечал, что Л.Столица «всегда исполнена была жизни, движения, даже и удалства», «состояла председательницей и вдохновительницей содружества "Золотая Гроздь"», собиравшего на ночных пиршествах до 40 человек и более: «Скажу по чести — питья были зверские, а продолжались они до утра — в столовой, в гостиной, в зале. Порой читались стихи, даже много стихов, подходящих к случаю, — только уже не все способны были их слушать. Бывали и пения хором, и пляски. Случалось, на "Золотой Грозди" завязывались и любовные истории. Перебывала же на "Золотой Грозди", кажется, вся литературная, художественная и театральная Москва /.../ Почему-то отчетливее других всплывают в памяти лица Софии Парнок, Семена Рубановича, одного из ранних символистов, членов беловского кружка "аргонавтов", незамечательно

Возможно, «Золотую гроздь» посещал С.А.Есенин. Его стихотворный экспромт:

Любовь Столица, Любовь Столица,
О ком я думал, о ком гадал.
Она как демон, она как львица, —
Но лик невинен и зорьно ал,⁷¹ —

изображает поэтессу почти такой, какой запомнила ее Н.Я.Серпинская. Есенин познакомился с Л.Столицей в Москве в сентябре 1915. Комментируя дарственную надпись поэтессы Есенину на книге «Русь», датированную 30 сентября 1915, А. и И.Ломан высказали предположение, что их знакомство состоялось в кружке при журнале «Млечный путь»⁷². Но Л.Столица не печаталась в этом журнале и вряд ли посещала его собрания. Издатели журнала братья А.М. и Н.М.Чернышovy объединили преимущественно начинающих писателей и художников. Однако связь кружка с «Золотой гроздью» могла существовать, так как среди посетителей кружка Столицы встречается имя поэта Д.Н.Семеновского⁷³, товарища С.А.Есенина по Народному университету А.Л.Шанявского и по «Млечному пути». С «Золотой гроздью» Есенина могло связывать и сотрудничество в журнале «Северные записки», где были напечатаны его стихотворение «Русь»⁷⁴ и повесть «Яр»⁷⁵. Участница собраний у Столицы, постоянный критик журнала С.Я.Парнок поместила (под псевдонимом Андрей Полянин) в №6 за 1916 рецензию на первую книгу Есенина «Радуница» (Пг., 1916). Л.Столица и ее брат А.Н.Ершов также публиковались в «Северных записках» в 1916. В 1919 А.Н.Ершов входил вместе с Есениным в литературное объединение «Звено». Возможно, именно на квартире Л.Столицы состоялось знакомство Есенина с С.А.Клычковым (осень 1915 — весна 1916?)⁷⁶.

Накануне революции Любовь Столица выступила еще в одном качестве — драматурга. Свою первую пьесу «Голубой ковер» (1916)⁷⁷ она посвятила «тайне женского существа /.../, его неиз-

го поэта, но очень умного, образованного и вообще прекрасного человека, ныне тоже оставившего уже мир; помню своеобразную, меткую речь Е.В.Гельцер и заунывное чтение К.Липскерова» (Возрождение. 1934. 15 марта. №3207. С.3).

⁷¹ Есенин С.А. Собрание сочинений: В 6 тт. Т.4. М., 1978. С.216. См. также письма Есенина Л.Столице (Там же. Т.6. М., 1980. С.66-67, 70, 85).

⁷² См.: Ломан А., Ломан И. «Товарищи по чувству, по перу...» // Нева. 1970. №10. С.199.

⁷³ См.: Архив А.М.Горького. Т.14. М., 1976. С.360-361.

⁷⁴ См.: Северные записки. 1915. №7.

⁷⁵ См.: Там же. 1916. №2-6.

⁷⁶ См.: Клычков Г.С. Медвяный источник // Наше наследие. 1989. №5. С.96.

⁷⁷ См.: РГАЛИ. Ф.2030. Оп.1. Ед.хр.255.

менной изменчивости в сердечных переживаниях /.../, тоске по новом — высшем и лучшем существовании»⁷⁸. Колоритные сцены мелодрамы, действие которой разворачивается вокруг таинственной любовницы хана Узбека, были навеяны природой Крыма, где Столица побывала в 1916. Пьеса была поставлена А.Я.Таировым в Камерном театре (на премьере 23 января 1917 в главных ролях были заняты А.Г.Коонен и Н.М.Церетели⁷⁹) и имела успех у публики, хотя и вызвала разноречивые критические отзывы. Ю.Соболев отметил «искусное» владение «драматургической формой» и неумение создать ни «этнографической или исторической верности», ни «подлинной сказочности»⁸⁰. В.Константинов утверждал, что в пьесе «нет элемента исканий Камерного театра»⁸¹, и, следовательно, выбор ее явился для А.Я.Таирова случайным⁸². М.А.Кузмин точнее определяет аудиторию, у которой пьеса имела бы успех: это «исчезнувшая публика Малого театра», ибо, несмотря на «неплохие стихи», это «достаточно банальное» сочинение — «типичное произведение дамы с темпераментом» и относится к модным увлечениям прошлого⁸³.

В сезон 1917-1918 гг. в театре-кабаре «Летучая мышь» прошли скетчи и миниатюры Л.Столицы, стилизующие быт — эллинский («Два зрота», «Пояс Афродиты»⁸⁴, «Девкалион и Пирра»), александрийский («Анахорет и красавица»), восточный («Зеркало девственниц»⁸⁵), китайский («На весах судьбы»), итальянский («Под звон кампаниллы, или Проученный ханжа»⁸⁶), голландский («Фламандские зеленщицы»⁸⁷), рококо («Рог маркиза»), русский дворянский («Дама в голубом»), купеческий («Московские невесты»), крестьянский⁸⁸ («Красная, то бишь зеленая горка»⁸⁹).

Неверно было бы полагать, что в 1917-1918 Л.Столица оставалась далекой современной действительности. Достаточно в этой связи привести еще одно стихотворение поэтессы из малодоступ-

⁷⁸ Столица Л. Я о своей пьесе // Кулисы. 1917. №3. С.11.

⁷⁹ Л. Столица посвятила этому актеру сонет-акrostих «Фамира Кифаред» (Кулисы. 1917. №2. С.6).

⁸⁰ Рампа и жизнь. 1917. №5. С.11-12.

⁸¹ Ср.: Таиров А.Я. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970. С.134.

⁸² Театральная газета. 1917. №5. С.6-7.

⁸³ Кузмин М. Наивные вопросы // Жизнь искусства. 1919. №113. С.2-3.

⁸⁴ Рец.: Волин В. [Шмерлинг В.Г.] // Театральная газета. 1918. №21. С.7.

⁸⁵ См.: Ипокрена. 1918. №2/3. С.3-13.

⁸⁶ Рец.: Инбер Нат. // Театральная газета. 1918. №13. С.9; Икс // Рампа и жизнь. 1918. №13. С.10.

⁸⁷ Рец.: К.Ф. [Фамарин К.] // Театральная газета. 1918. №26/29. С.5.

⁸⁸ Ерш. Биографический очерк. С.9.

⁸⁹ Рец.: Инбер Нат. // Театральная газета. 1918. №13. С.9.

ного издания — еженедельника политики, литературы и общественной жизни «Накануне». Первый номер журнала (от 1 апреля / 25 марта 1918) был посвящен итогам Февральской революции и задачам демократической интеллигенции на ближайшее будущее. Провозглашались: отказ от революционных идей, государственность, твердая власть, патриотизм. Участниками журнала были объявлены К.Д.Бальмонт, Н.А.Бердяев, В.Я.Брюсов, С.Н.Булгаков, И.А.Бунин, А.А.Кизеветтер, П.Б.Струве, Г.И.Чулков и др., преимущественно университетская профессура, вскоре высланная из страны. Помещенный в журнале сонет Л.Столицы — едва ли не первое произведение на тему утраченной родины, которая станет главной в творчестве поэтессы в годы эмиграции:

Родине

Страна прославленных в бою курганов,
Я ныне на тебя поднять не смею вежд!
О, сколько золотых священной надежд
В тебе погребено! Исчезло, в прахе канув...
Ты, как боярышня, от долгих дрем воспрянув,
Добычей сделалась безумцев и невежд,
И что осталось от всех твоих одежд, —
От марев розовых и голубых туманов?
Лоскутья жалкие... И трепетна, нага,
Ты полонянкою лежишь у ног врага!
Куда укрыть мне взор от тягостного вида?
Вкруг — свежие холмы немеющих могил,
Вверху же — тонкий вопль и шелест темных крыл...
Страна моя! Ты вновь лишь с Девой-Обидой!⁹⁰

Несколько ранее в поэме «Лебединая родина» (1916; публикуется в приложении), повествуя о любви ссыльного революционера-аристократа и девушки-старообрядки, Л.Столица символически «обручила» сказочно-былинную, заповедную Русь с просвещенной и утонченной демократией. Теперь же, по свидетельству биографа, поэтесса «встала в решительную оппозицию к революции и /.../ стала мечтать о том, чтобы покинуть не оправдавшую надежд родину:

Часто, часто теперь я думаю,
Как на родине жить нам далее.
Не исполнить ли уж мечту мою —
И надолго умчаться в Италию?

⁹⁰ Накануне (М.). 1918. №1. С.2.

Здесь жила, и творя, и грезя я...
А теперь лишь молчу от боли я...
Здесь нужна ль вообще поэзия?
А моя... а моя — тем более.

(«Тринадцатая весна»)⁹¹

Принять окончательное решение о выезде из Москвы, по-видимому, заставила Л.Столицу реквизиция Комитетом Бедноты ее пишущей машинки, письменного стола и получение охранной грамоты Наркомпроса на библиотеку, находившуюся «в б.Московской губ., Богородского уезда, Буньковской вол., даче Ершова»⁹² и насчитывавшую 7500 томов. Обращение к В.Я.Брюсову с просьбой о помощи⁹³ оказалось напрасным, и в октябре 1918 Л.Столица с семьей выехала из Москвы. Некоторое время жила в Ялте, четыре месяца второй половины 1919 провела в Ростове-на-Дону, где окончательно сложился цикл стихотворений «Тринадцатая весна», содержащий отчаянное неприятие большевизма и революцию и включенный в новый поэтический сборник Столицы «Лазорев Остров» (не опубликован).

Из воспоминаний А.М.Дроздова «Интеллигенция на Дону»⁹⁴ известно, что Л.Столица была постоянной участницей «субботников» у поэтессы Е.Ф.Никитиной, уроженки Ростова, скрывавшейся здесь с мужем, министром Временного Правительства А.М.Никитиным. Вечера давали возможность в дружеских беседах ненадолго отвлечься от переживаемой трагедии. По словам Дроздова, «ядро» ростовских «субботников», помимо его самого и Л.Столицы, составляли: И.Я.Билибин, Л.Н.Голубев-Багрянородный, В.Н.Ладыженский, Б.А.Лазаревский, Е.Е.Лансере, И.С.Ломакин, А.М.Никитин, Е.Ф.Никитина, Е.Н.Чириков, В.Е.Иолшина-Чирикова, Л.Е.Чирикова. У Никитиных бывали также Е.Р., М.Е. и Р.Е.Столица, К.Г.Житков, Андрей Оль, В.В.Сиповский, Г.Н.Михайловский, Н.С.Котельникова (народная сказительница), Л.В.Эрарская и др.⁹⁵ Участники собраний читали и обсуждали свои произведения, художники рисовали авторов. Л.Н.Голубев-Багрянородный между прочим изобразил и Л.Столицу (портрет

⁹¹ Ерь. Биографический очерк. С.9-10.

⁹² Друзанов И.А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в 1918-1925 гг. // Советская библиография. 1934. №3/4. С.151.

⁹³ См.: РГБ. Ф.386. Карт.104. Ед.хр.4.

⁹⁴ См.: Архив русской революции. Т.1/2. М., 1991 (репринтное воспроизведение берлинского издания 1921 г.). С.54-55 (вторая пагинация).

⁹⁵ См. протоколы заседаний кружка «Никитинские субботники»: ГЛМ. Ф.357. Оп.1. Ед.хр.5-7.

обнаружить не удалось). Из произведений, прочитанных в кружке поэтессой, известны лишь миниатюра «Зеркало девственниц» и стихотворение, приуроченное к юбилею «субботников», — «Е.Ф. и А.М.Никитиным»⁹⁶. Остальные сочинения: цикл стихотворений «Тринадцатая весна» (прочитан 7 декабря 1919), сказка в стихах «Жемчужный голубок», предназначавшаяся для детского сборника⁹⁷ (прочитана 12 октября 1919), пьеса «Святая блудница»⁹⁸ (прочитана 21 сентября 1919) — остаются недоступными.

Пребывание Любови Столицы в Ростове-на-Дону не было пассивным. В местной газете «Жизнь» объявлялось ее участие в ежемесячном журнале искусства и литературы «Орфей», первый номер которого должен был выйти к 15 ноября 1919. Редакторы С.А.Кречетов и Е.Е.Лансере (помощник редактора — В.Ю.Эльснер) предполагали помещать в журнале художественные репродукции, стихи, беллетристику, статьи по вопросам культуры, хронике художественной жизни, критику и библиографию. Помимо Столицы, авторами первого номера были названы: В.Ю.Эльснер, С.А.Кречетов, Б.В.Олидорт, А.М.Дроздов, Б.А.Лазаревский, Л.Д.Рындина, А.Силин, В.Плетнев⁹⁹.

Л.Столица в конце 1920 эмигрировала из Ялты, с большими трудностями (через Константинополь и Афины) добралась до Галлиполи, однако финансовое положение не позволяло следовать дальше. 1921 год она провела в Салониках и, наконец, поселилась с семьей в Софии. По воспоминаниям Серпинской, «через Евгения Чирикова они послали владельцу "Летучей мыши" — Никите Балиеву — просьбу выслать гонорар за идущую с успехом в Париже пьесу Любови Столицы "Московские невесты"». Балиев прислал 500 франков. /.../ Так и застряли Столицы в Софии, где кое-как мужчины устроились на заводе инженерами, а мальчик подрабатывал игрой на рояле в кино и ресторанах»¹⁰⁰.

В Софии поэтесса была постоянной участницей собраний, устраиваемых русскими эмигрантами. В 1921-1922 с успехом прола в Болгарии около 50 лекций на литературные и общественные темы. Оторванность от издательских центров не давала возмож-

⁹⁶ См.: протоколы заседаний кружка «Никитинские субботники»: ГЛМ. Ф.357. Ед.хр.7.

⁹⁷ А.М.Дроздов свидетельствует, что в конце 1919 в Ростове-на-Дону вышла книга сказок Е.Н.Чирикова, Л.Н.Столицы, А.М.Дроздова, Б.А.Лазаревского и Е.Ф.Никитиной (см.: Дроздов А. Интеллигенция на Дону. Указ. изд. С.55. Упомянутый сборник не обнаружен).

⁹⁸ Так — в протоколах. Очевидно, имеется в виду пьеса, которая у Ера значится как «Мириам Египетская» (см.: Биографический очерк. С.9).

⁹⁹ Жизнь (Ростов-на-Дону). 1919. 10 ноября. С.4.

¹⁰⁰ Серпинская Н.Я. Указ. соч. Л.200.

ности Л.Столице напечатать свои сочинения: драмы в стихах «Триумф Весны» (1919, на сюжет из эпохи итальянского Возрождения) и «Звезда от Востока» (1921, о русской интеллигенции первой половины XIX в.); книгу стихотворений (1919-1921)¹⁰¹. О поэтической манере, перешедшей от яркой эпической изобразительности к лирической саморефлексии, а от разнообразия и открытой демонстрации формальных средств к их экономии, можно судить лишь по отдельным публикациям в эмигрантской печати — таким, как сонет «Порой и зелень вешняя язвит...» (Сполохи. 1921. №1), стихотворения «Незабвенное» (Перезвоны. 1927. №28), «Поминание», «Благодатный богомаз» (Там же. 1929. №42 и 43), «Воспоминания» (Медный Всадник: Альм. Кн.1. Берлин, 1923), «Лампаду синюю заправила...», «Я стала старше, зорче...» (Русская мысль. 1922. №5 и 6/7), стихи из цикла «Волжский альбом» (Золотой петушок. 1934. №1-3)¹⁰². Произведения Л.Столицы печатались в газетах «Возрождение», «Россия», «Россия и Славянство» (все три — Париж), «Голос», «Голос труда» (обе — София), в разное время включались в антологии русской поэзии, что порой вызывало недоумения критиков¹⁰³. Примечателен сборник «Русская история в русской поэзии» (сост. П.А.Казаков, ред. К.И.Зайцев. Харбин, 1941), который открывают строки Л.Столицы из стихотворения «Житие преподобного Сергия», помещенного здесь же.

Последним произведением Л.Столицы было слово «Облик Москвы», произнесенное ею 4 февраля 1934 на собрании Общества русских писателей в Болгарии. В ночь с 11 на 12 февраля 1934 на балу русских студентов Л.Столица поставила написанную еще для «Летучей мыши» и уже не раз упоминавшуюся пьесу «Московские невесты», в которой сама сыграла одну из ролей. «Вскоре после окончания спектакля Л.Н. почувствовала себя плохо и, перевезенная /.../ домой, почти сейчас же скончалась от паралича сердца»¹⁰⁴.

¹⁰¹ Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 1918-1921 гг. // Новая русская книга. 1922. №8. С.38.

¹⁰² Часть стихотворений эмигрантского периода вошла в сб.: Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. В.Крейд. М, 1991.

¹⁰³ См.: Русский Парнас / Сост. А. и Д.Элиасберг. Leipzig, 1920 (рец. Н.Яковлева // Новая русская книга. 1921. №6. С.16); Русская лирика от Жуковского до Бунина / Сост. А.А.Боголепов. New York, 1952 (рец. В.Вейдле // Опыты. 1954. №2. С.195-196). См. также стихи Л.Столицы в антологии: *Antologia dei poeti russi del XX secolo*, a cura di R.Naldi-Olkienizkaja. Milano, 1924.

¹⁰⁴ Золотой петушок. 1934. №2/3. С.24. Другие некрологи: Меч (Варшава). 1934. №3/4. С.21; Димитров Крум. Една загуба за руската поезия // Вестник на жената. 1934. №563. С.6; Знаме. 1934. 12 февраля. №33. С.3. (сведения по болгарской библиографии предоставил Р.Д.Тименчик).

На смерть поэтессы откликнулся И. Северянин. Свой надгробный сонет автор не включил в книгу «Медальоны. Сонеты» (Белград, 1934), не вошло это произведение и в его последующие сборники:

Любовь Столица

Воистину — «Я красками бушую!»

Могла бы о себе она сказать.

Я в пеструю смотрю ее тетрадь

И удаль вижу русскую, большую.

Выискивая сторону смешную,

Старались перлов в ней не замечать

И наложили пошлости печать

На раковину хрупкую ушную...

И обожгли печатью звонкий слух...

А ведь она легка, как яблонь пух,

И красочностью ярче, чем Малявин!

О, если б бережнее отнестись, —

В какую вольный дух вознесся б высь,

И как разгульный стих ее был славен!

Кишинев

1 марта 1934 г.¹⁰⁵

В 1934 в Софии посмертно вышла книга Любви Столицы «Голос Незримого», включающая одноименную поэму («беженскую эпопею», по определению автора) и поэму «Лазорь Чудный», одним из источников которой послужило «Послание архиепископа Новгородского Василия к владыке Тверскому Феодору» (не позже 1347). По замыслу Столицы, между этими поэмами должна была располагаться еще одна, образуя трилогию. В соответствии с желанием поэтессы художник Е.П.Вашенко изобразил на голубом фоне обложки книги белую райскую птицу с ветвью в клюве. Этот образ, появляющийся и в поэме «Лазорь Чудный», может в какой-то мере послужить символом поэтического творчества Л.Столицы, обращавшейся к теме рая на протяжении всей жизни.

В поэме, посвященной описанию райских обитателей, мы находим, наконец, ту «таинственную» землю, то царство, вестником которого считала себя поэтесса:

Замер я... На ровном взгорье море лоз

Винограды золотое разрослось

¹⁰⁵ Золотой петушок. 1934. №2/3. С.23.

С древним дровом посреди в плодах сверкающих
 «А сия обитель — Истины Алкающих».
 Громко вымолвил Вожатый. И пошли
 Мы по мелким янтарям взамен земли
 Между куш с янтарно-вызревшими гроздами
 Под янтарно-раскатившимися звездами...
 И увидел тут я птицу, аки снег,
 Ростом большую, чем статный человек,
 Что стояла под листьем, полна величия...
 «Птица — Астрафель, праматерь рода птичьего»¹⁰⁶.

Значительная часть литературного наследия, в том числе созданные в Болгарии комедии «Два Али» (1926) и «Рогожская чаровница» (1928), а также некоторые упомянутые выше сочинения, остается неопубликованной. Поэтому и теперь актуально звучат слова ее первого биографа: «В лице ее с арены русской литературы сошел крупный и самобытный талант, до сих пор недостаточно оцененный. Эпический размах, столь необычный для женщин, тонкое и верное чутье сцены, исключительное знание русского языка и, наконец, безукоризненное мастерство стиха — все эти качества должны обеспечить ей место в истории русской литературы. /.../ Достоинно пройдя тернистый путь жизни, она теперь ждет, чтобы ее литературное наследство было узнано и справедливо оценено»¹⁰⁷.

Приложение¹⁰⁸

Любовь Столица

ЛЕБЕДИНАЯ РОДИНА

[Глава I]

I

Зимой Вологодским краем,
 Седым, болотисто-лесистым,
 Возок тащился, увлекаем

¹⁰⁶ Столица Л. Голос Незримого. Указ. изд. С.94.

¹⁰⁷ Ерь. Биографический очерк. С.13.

¹⁰⁸ Текст поэмы публикуется по неавторизованному рукописному списку 1916-1920 (?) гг., хранящемуся в РГАЛИ. Ф.1346 (Коллекция стихотворений). Оп.1. Ед.хр.386. Поэма переписана на 18 листах, сложенных вдвое в виде книжечки. На титульном листе указаны: автор, заглавие, на месте выходных данных написано: «Г.Ц.» В конце текста (Л.18) рукою переписчика: «Любовь Столица». К тексту прилагается «Указатель диалектных и малоупотребительных слов», встречающихся в поэме.

Конем соловым, нерысистым.
Был день морозный и алмазный,
А путь — атласный и хрущатый.
Как голубь, грустно, глуховато
Гурлил бубенчик неотвязный.
В возке сидели: стражник сильный
С заиндевелой бородой
И под дохой оленьей — ссылный,
Угрюмый, бледный, молодой.

II

Его не радовали дали
Страны неведомой родимой,
Где, розовея, улетали
Дремучих деревенок дымы;
Где боры хвойные гудели
Домровым старострунным гудом
И сахарным слоистым спудом
Поля подснежные блестели;
Где векши, легки, пышношерсты,
Одни встречались ему
И вешки гибкие, как версты,
Вели сквозь мхи, и мглу, и тьму...

III

В нем тихо бунтовали думы:
Как? Из свободы в заточенье?
Как? После зал шумливых Думы
В немое темное селенье?
И он, свои крутые брови
При виде снежных пустошь хмурия,
В их блеске взор свой черный жмурия,
Закутывался в мех суровой...
И только локон ярко-рыжий,
Ездой отваян, трепетал...
Но пункт назначенный все ближе,
Возок все тише, тише... Встал.

IV

И ссылный, воротник откинув,
С усмешкой горькой огляделся:

Из-за окольных частых тынов
Поселок северный виднелся —
Ворота, избы и верей,
Крыльца, повети и оконца —
В сосульках, инее и солнце...
Здесь серебрясь, а там серея,
Как город Леденец досюльный,
Он стыл жемчужно-слюдяным,
И голубела главкой дульной
Церквушка древняя над ним.

V

Кругом же, — то взмываясь круто,
То заворачиваясь слабо,
Грядую плыли изогнутой
Снегов увалы и ухабы.
Так, вскинув крылья, выгнув шеи,
Огромная лебязья стая
Плывет, и брызгами блистая,
И оперением белея...
И, может быть, Царевна-Лебедь
Сейчас объявится среди них, —
Присушит, приманит, прилепит
И увлечет от всех живых?!

VI

На миг сменила греза думу...
Но с ямщиком завздорил стражник:
«Куда везти? Да к Аввакуму!
Хоть старовер — зато не бражник».
И вот уж сани — перед домом,
Бревенчатым, крепковенечным,
С крестом в дверях восьмиконечным, —
Подобным сказочным хоромам!
Резной, точеный верхний ярус
Под острой крышей тесовой
Еще был убран в снежный гарус,
Украшен фольгой ледяной!

VII

И там, в окне, случайным взглядом
Наш путник женский лик заметил,

Что, как икона под окладом,
Был дивно-строг и чудно-светел.
Из-под платка, как из убруса,
Синели очи, словно море,
Уста алели, словно зори,
Струились косы нивой русой...
В морозных кружевах, бахромах
Вверху сиял волшебный лик!
Внизу ж, как вешний сад черемух,
Ольшаник побелевший ник...

VIII

Они вошли. Сначала в сенцы,
В большую горницу оттуда.
Здесь рдели в прошвах полотенцы,
Цвела поливою посуда,
Стояли с розаном укладки,
Лежала скатерть с васильками,
В углу с живыми огоньками
Висели алые лампадки.
Там с темного письма иконы,
Из складня древнего, как Русь,
Глядели с грозностью исконной
Никола, Спас и Деисус.

IX

На все то, шубу сняв у двери,
Приезжий, к мистике не склонный
И чуждый вер и суеверий,
Смотрел с насмешкой удивленной.
Его дивил тут воздух жаркий
С сладким запахом ковриги
И толстые, в застежках, книги,
И тонких, желтых свеч огарки,
И старый, сумрачный хозяин,
В поддевке, с сивой бородой,
Что, словно идол, в пне изваян,
Стоял — кряжистый и прямой.

X

Тот долго, в спорах неустанен,
Принять жильца не соглашался:

Табашник, шепотник, мирянин...
Погубит душу, кто с ним знался!
А стражник умолял, грозился,
Шептал, что гость его — богатый
И князь... Наверно, тароватый!
И наконец старик смирился.
Но, заглядысь на свет угольный,
Усольцев спорам не внимал
И так под кров свой подневольный
Вступил, рассеян и устал.

XI

Он был могучий и мятежный, —
Тот русский, что, как дикий кречет,
Ширяет к грани зарубежной,
В чужие гнезда взоры мечет!
Он бредил юною порою
Любовью пламенной стихийной,
Потом — работою партийной
И политической борьбою.
И вот за дорогое дело,
Кляня лукавую судьбу,
От колоннады думской белой
Попал в крестьянскую избу.

XII

И началась жизнь иная
Здесь в чистой и пустой светлице —
Без папирос, газет и чая, —
Но чудная, как небылицы!
Все дни светлы, как день единый!
В окне — лишь небо да сугробы,
Что хлебы пышной нежной сдобы,
Да серебристые рябины...
Мелькнет лазурный хвост сорочий
Иль беличий златистый хвост, —
И день прошел... А ночи, ночи! —
Все в гроздах крупных бледных звезд!

XIII

Все дни светлы, как день единый!
К колодцу ходит Василиса

С склоненной шеей лебединой
И мягкою походкой лиса.
А в розовый морозный вечер
Справляет службу, псалм читая,
Подручник пестрый расстилая
И тепля золотые свечи.
Творит начал, метанья, отпуск...
И видится в дверях порой
Платок, повязанный на роспуск,
Иль черный сарафан с каймой.

XIV

Великодушный, откровенный,
Со староверами своими
Борис сдружился постепенно, —
Беседовал, работал с ними.
Ему уж нравились обряды
Их веры вековой уставной,
Старинной жизни ход исправный,
Былые плавные наряды...
И, вольнодумец! брал Псалтирь он
И Апокалипсис читал,
Где синеперый реял Сирин,
Где алый Алконост витал.

XV

Любил он промысел их сканный
С посеребреньем, позолотой:
Солонки, ларчики, стаканы
Сквозной финифтяной работы.
Любил, как пахнет ладан росный,
Как пахнет розовое масло,
Лампаду, что в углу не гасла,
Обед обильный, вкусный, постный.
Врозь ел и пил он постоянно,
И, по привычке не крестясь,
С крестовой ложкой деревянной
Садился все же кушать князь.

XVI

Он не скучал. Живой и пылкий,
Здесь, близ земли, в уединенье,
Охотничьей старинной жилки
Почувствовал он пробужденье.
На лыжах липовых скрипящих
Со старой ржавой одностволкой
Он под зеленой хвоей колкой
Блуждал в душистых, мшистых чащах,
Следил рудых, косых зайчишек
В излогах прихотливый бег
И розовых смолистых шишек
Паденье мягкое на снег.

XVII

Он понял родины красоты
И любовался с гор и скатов
В который раз! Быть может, в сотый —
Явленьем пасолнц и закатов:
Игранием столбов багровых,
И настов зыбью голубою,
И изумрудной городьбою
Лесов еловых и кедровых.
В красе той белой лебединой
Он понял женские черты
И нес в ложбины и долины
Мужские смелые мечты!

XVIII

Постигнул душу он природы:
Медвежью лень и ум барсучий,
Крота таинственные ходы
И короеды путь ползучий.
Постиг он всякий голос птичий:
Призыв любовный и тревожный,
И постук дятла осторожный,
И домовитый свист синичий.
В повадке куньей или собольей
Девичью прелесть видел он
И шел через луга и поле,
Неведомо в кого влюблен.

XIX

Но дома помысл все упорней
Влекла-манила Василиса.
Любовь росла; пускала корни
В душе испытанной Бориса.
Он не кончал страницы писем,
Когда она, оконца мимо,
Шла, недоступна, несмутима, —
И вслед глядел, пленен, зависим...
Стучал сапфирною печаткой
На крупном родовом кольце
И грезил с болью странной, сладкой
О страшном и святом лице.

Глава II

I

Усольцев был происхожденьем
Из старокняжеского рода,
Чье древо с пышным разветвленьем
Генеалог чертил три года.
Тот род был славный и богатый,
Имевший встарь владений область,
Пожалованную за доблесть,
Но странную судьбой чреватый.
В семейных блекнувших архивах
Хранился роковой их герб:
На синем поле в желтых свивах
Скрещались копьё и серп.

II

И дед один, боец блестящий
Очакова и Измаила,
Покинул двор, его клеймящий
За связь с донской казачкой милой.
Другой же дед, герой суровый
Бородина, Аустерлица,
В отставку вышел, чтоб жениться
На девушке своей дворовой.

Их имена остались громки,
Забвенью жизни предались...
О том старались все потомки,
Но вспомнил их теперь Борис.

III

Он унаследовал от дедов
Их золотисто-рыжий волос,
Нрав воинов и непоседов,
Высокий ум и низкий голос.
Легко он кончил курс лицейский,
Прекрасно — университетский,
Но скоро бросил круг свой светский
И рано — важный чин судейский.
Любил он женщин... Но, как деву,
Одну свободу он любил!
За вольный Лондон и Женеву
Россию смирную забыл.

IV

И вот она — в окне! У двери! —
Еще чудесней и неожиданней:
Не грубых лишь полна поверий,
Не жутких горевых преданий,
А полная глубинной верой,
Невидным делом, скрытым смыслом,
То со свечой, то с коромыслом,
То с книгою, то с яблок мерой...
Ах, эти косы русой пряжи,
Что до полу, струясь, висят!
И стан невиданно-лебяжий,
И несказанно-синий взгляд!

V

Сияла северная полночь,
Глубокая и голубая.
По небу плавал месяц полный,
Черпак молочный проливая...
Лежала тень черно и четко,
Дрожала тишь мертво и звонко,

Лишь легкий храп вздыхал за тонкой
Филенчатой перегородкой.
Там спали: на больших дощатых
Кроватях в пологах цветных
И на лежанках изразчатых
В перинах, думках пуховых.

VI

Борис не спал. Из дряхлых кресел,
Из маленьких и душных комнат
Глядел в студёный сад... И грезил
О тех, что ждут его и помнят.
Он получил письмо от Леи
И быть сейчас хотел бы с тою,
Кого считал своей женою,
С кем жил, одну мечту лелея.
Он вспомнил тонкий нос с горбинкой,
Льняные локоны ее, —
И только. Словно паутинкой,
Весь лик заткало забытьё...

VII

Зато пришли на память ныне
Крестьянка та и та казачка —
Две сарафанницы — княгини...
Он грезил... Вдруг былой заплачкой,
Старинной песней причитальной
Заслышалось среди молчанья
Глухое девичье рыданье
Из горницы хозяйской дальней.
Тогда по переходцам крытым,
По лестничкам то вверх, то вниз,
По клетям, рухлядью набитым,
Пошел на голос тот Борис.

VIII

В холодной, темной боковуше,
Где встали рундуки с ларями,
Полны мукой, сушеной грушей,
Полотнами и янтарями,

Где приторно и нежно пахло
Изюмом голубым кувшинным,
А жолкнушим по связкам длинным
Грибом — остро, немножко затхло,
Где мышь проворная иль крыса
Шуршала громко в уголке, —
Рыдала тихо Василиса,
Полулежа на сундуке.

IX

А в мерзлое оконце лились
Лучи светло, похолодало,
На стеклах тонко серебрились
Лебязьих перьев опახала.
Блистал сроненных четок бисер,
И жесь на сундуке сверкала,
А девушка в слезах сияла, —
И князь к ней твердый шаг приблизил.
На белой вьющейся овчине
Бок о бок сев и взор во взор,
В порыве — он, она — в кручине,
Свели душевный разговор:

[X]*

Борис

Что вы не спите, Василиса?
О чем здесь плачете? Скажите...

Василиса

Ох, княже... Не о горстке риса
Пропавшей, не о сгнившем жите! —
О юности своей невместной,
О красоте своей никчемной...
Да скорбь моя тебе безвестна!
Мое печалованье темно!

* Далее в рукописном источнике отсутствует нумерация строф до конца главы. Мы посчитали нужным ее восстановить, так как порядок чередования рифм остается неизменным (за исключением второго катрена строфы [X], где рифма перекрестная вместо опоясывающей, и стихов 10 и 12 строфы [XII], где женские окончания вместо мужских) и между строфами, следующими за диалогом, обозначены интервалы.

Борис

Откройте! Мне понятно будет:
Как вы, обижен я судьбой.

Василиса

Ой, выскажусь, коль сердце нудит,
Не потаюсь перед тобой...

[XI]

Житье мое, голубчик, скушно,
Как вековуши, перестарка...
В моленной день-денской так душно,
Ночь-ноченскую в спальне жарко!
Справляешь утрени, вечерни,
Ослопные вставляешь свечи
Да зришь головушку Предтечи
Иль Спасов лик в венце из терний...
До жизни ль тут? До счастья ль нам уж?
Соблазн: о смерти мыслю я!

Борис

Постой! Полюбишь — выйдешь замуж!

Василиса

И думать — грех! Я — молея.

[XII]

Борис

Так что ж?

Василиса

Раскольничьим заветом
Вторая дочь судится Богу.
И мне родители обетом
Ту с детства выбрали дорогу.
За них молещицей готовой,
Читалкою и головщицей
Должна я жить и не миршиться
И быть невестой лишь Христовой.

Я ль старины сменю обычай?
Я ль клятву батюшки нарушу?
Нет, свековать мне век девичий,
Спасенницей спасти их души!

[XIII]

Но как мне ране было трудно
Блюстись супрядок и гулянок!
Зимой не знать игры подблюдной,
Весной не петь, как все, веснянок!
Не вить вьюнов в Семик зеленый,
На Аграфену — не купаться,
Читать Четьи-Минеи, святцы,
Стихиры петь да бить поклоны!
На сестриной веселой свадьбе
Смущал меня блудливый бес, —
И не могла я быть в усадьбе —
Бежала плакать в синий лес...

[XIV]

А ныне я — уж уставщица —
Опора Спасова соглася.
Забыла, как в шелка рядиться,
Забыла вкус сластей и мяса.
Но нет на мне перста Господня!
Когда так ночи распрекрасны,
Окатын месяц, звезды ясны,
И сон тревожен, как сегодня, —
Захочется мирского счастья,
Любви, покуда молода, —
И убежала б из согласья
Я в белый бор, как и тогда!

[XV]

Борис

Туда б и я пошел с тобою...
О, милая, тебя люблю я!
Тебя б я нес лесной тропюю,
Голубя, нежа и милую...
Унес бы я тебя далече...
Над нами б голубела елка,

Метели пели... Очи волка
Горели, как святые свечи...
Я стал бы витязь твой влюбленный
И никогда бы, видит Бог!
Твоею красотой мудреной
Упитья вдоволь я не мог!

[XVI]

Василиса

Молчи. Мне слушать то негоже!

Борис

Иль все во мне тебе не мило?

Василиса

Нет... ты — на солнышко похожий,
Рудой и нежный, как Ярило!
И гордые такие взгляды...
И белые такие руки...
Для нас бы не было разлуки!
Конца б не виделось услады!
Но ты...

Борис

Я не был бы любовник:
Я был бы твой любимый муж!

Василиса

Уйди. Ты — шепотник, церковник
И государев враг — к тому ж!

[XVII]

Он не ушел. Но жизни бури
Поведал ей, во всем доверясь...
Как с медом рог, злаченный турий,
Уж гнулся луч... Как конь иль ферязь
На пестрой шахматной тавлее,
По белой движась половице,
Уж тени начали ложиться
Все вычурней и лиловее...

Он говорил про все недуги,
Какими родина больна,
И с пониманием подруги
Его прослушала она.

[XVIII]

Так между них возникла близость.
Чуть утрело, в светелке малой,
Где стлалась розовость и сизость,
Он был. Она не прогоняла.
И, вышивая накомодник
Иль кружево плетя искусно,
Рассказывала плавно, грустно,
Как спасся старец, жил угодник...
Она была, что птица Сирин
С сладчайшим пеньем алых уст!
И князь узнал, что молвил Сирин,
Что проповедал Златоуст.

[XIX]

Узнал он в этих сизых утрах
Из Василисиных сказаний,
Всегда простых, всегда премудрых,
Тьму нашептов, примет, гаданий...
Узнал про папороть волшебный,
Про спрыг-траву, что рвет оковы,
Про архилин, что вержет злого,
Про цвет любовный, цвет лечебный...
Узнал... И о своей природе
Стал мыслить глубже и нежней
И выше, лучше о народе,
Что так красиво мнил о ней.

[XX]

А деве сделались известны
Его рассказы путевые,
Что, как апокрифы чудесны,
Являли ей края чужие, —
Где снежно-розовые горы,
А небо вешне-голубое,

Иные люди, все — иное:
Слова, и нравы, и уборы...
Где зреет виноград — не клюква!
Не ель, а кипарис растет!
Где и дитя знает буквы,
И бедный правду узнает!

[XXI]

Ей чудились в его исканье
Паломничьи мечты, надежды...
Порой, среди повествованья,
Подняв бахромчатые вежды,
Оголубленный, углубленный —
Прекрасный взор ее в волненье
В его вливался на мгновенье
Самозабвенно и влюбленно...
Плелись узоры на рогульки,
Стежки ложились по шитью, —
И было хорошо, как в люльке,
Светло и свято, как в раю!

[XXII]

Но иногда вдруг некий демон
Овладевал душой Бориса:
Все клял и возмущался всем он —
Собой, отчизной, Василисой!
Он говорил: «Блуждал я много —
Близ туч летал, в пучинах плавал —
И вижу, что сильнее дьявол,
В стране, что крепче верит в Бога!
Какой-то дух лихой и косный,
Какой-то зимний змеевик
Околдовал здесь дев и весны,
И мысль, и руки, и язык!

[XXIII]

О сонное ночное царство!
К чему героев непокорство?
Здесь каются и без бунтарства,
Постятся и при корке черствой!

А изуверство, самовластье
Здесь губят молодость и прелесть, —
И, как сердца б ни разгорелись,
Здесь невозможны радость, счастье...
Проклятье! Есть ли королевич,
Что злого змия б одолел?
И власть — чтоб лик твой, мудр и девич,
Мне улыбнуться захотел?!»

[XXIV]

И, кудри яркие ероша,
Метался в горенке он узкой
С усмешкой бледной, нехорошей
Над тьмою женской, тьмою русской...
Иль, губы алые кусая,
Над девушкой склонялся в муке —
Ловил в порыве диком руки,
Засматривал с тоской в глаза ей...
И жег огонь страстной и страстный
Тех широко раскрытых глаз,
И струйка крови темно-красной
С руки уколотой лилась!

Глава III

I

О, Вологодский край пустынный
С красой святой и чародейной!
К тебе тропины и путины
Завихрил ветер снеговейный...
Твои серебряные села,
Похороненные в сугробы,
Хранят еще свой быт особый
Порой рабочей и веселой.
Твой люд живет с станком и донцем,
Держа рубанок и утюг, —
И поклоняется пред солнцем!
И чтит Великий свой Устюг!

II

Зима кончалась. Шли гулянья
Широкой Масляной Недели:
Обжорные пиры, катанья,
Ряженье и игра в сопели.
Мороз звенел, заносы кучил,
Но солнце грело все любовью...
Везли ему навстречу дровни
Ржаные копна вешних чучел!
Загавливались староверы
И, цельные в житье-бытье,
Не знали удержу и меры
Ни в богомолье, ни в питье.

III

Семья большая Аввакума
Во всем ему повиновалась:
Чтоб и работалось без шума,
И без помехи отдыхалось.
Две дочери уж с рук сбылися,
Другие две лишь подрастали,
И не было забот, печали
О вековухе Василисе.
Ее глава старел спокойно
И лишь в ночи, лежа без снов,
Вздыхал о том, что, недостойный,
От Бога не имел сынов.

IV

Он слыл за старца-многодума,
За столп могучий староверский,
И уважали Аввакума
На Керженце и в Белозерске.
К нему езжали, вопрошали,
Достаточно ль распев демествен,
И Спас одно иль двуестествен,
И нет соблазна ли в кружале?
Но в праздник он, указчик старый,
Грехом не почитал разгул —
И упивался брагой ярой,
И песни хмельные тянул!

V

Теперь в избе у Аввакума
 Сидел родной и посторонний:
 Соседи, зятя два, три кума,
 Сильван начетчик, поп Софроний,
 Там кудри, бороды, бородки
 Вились, черны, рыжи и седы;
 Велись сердечные беседы,
 Разымчивые пились водки,
 И елись с сковород, руками,
 Блины, красны и велики,
 С припеком — груздями, снетками, —
 Пшеничной, гречневой муки.

VI

Усольцев, слыша шум застольный,
 Ходил, хандрил, почти жалея
 О жизни городской и вольной,
 О верной и покорной Лее...
 И призрак Петербурга близкий
 Рисунком туши и графита,
 Рельефом кварца и гранита,
 Его мосты и обелиски,
 Дворец, трибуны, раздевальни —
 Предстал отчетливо пред ним, —
 И призрак Петербурга дальний
 Ему явился не родным!

VII

И образ женщины любимой,
 Как бюст из хрупкого фарфора,
 Как акварели неценимой
 Эскиз, поблекший слишком скоро, —
 Ее нестройные наряды
 И кудри, жесткие от стрижки,
 И умные, сухие книжки,
 И резкие слепые взгляды —
 Сужденья о стране родимой —
 Проплыл туманно перед ним...
 И образ женщины любимой
 Вдруг сделался ему чужим.

VIII

Смеркалось. В стекла бились звонко
Искристо-льдыстых комьев брызги
От троек, мчащих перегонкой,
И нежные девичьи визги.
Скакали кони с лентой в гривах,
Зеленой, алой, желтой, синей,
И парни в шутовской личине
На лицах красных и красивых.
И переливные сосульки
Ломались, падая с конька,
И, как бесценные бирюльки,
Ловили звезды облака.

IX

Попили гости, пошумели —
И разошлись. Сильван Иваныч,
По темноте иль по метели
Домой нейдя, остался на ночь.
Утихло все. Лишь Василиса,
Раздевшись, гнула стан лебяжий,
Расчесывая косы глаже
И грезя томно про Бориса.
Дверь скрипнула. И вдруг мужская
Рука зажала ей уста,
Прильнула к грудям вороная
И колющая борода...

X

То был начетчик. Опьяненный,
Весь терпко пахнувший настойкой,
Склонял он взор свой замутненный
Над девушкою стройной, стойкой.
Шептал ей: «Мне с тобою, родной*,
От Бога плотский грех дозволен...
И нет греха, коли замолен...
Паденье ж Господу угодно!..»

*В рукописи в этой строчке явная описка: «Шептал ей: "Мне с тобой, родной," — нарушающая метр (женское окончание) и рифму (родной — угодно).

Но белой сильною рукою
Она его толкнула вон
И молвила себе с тоскою:
«Ии! Пусть берет другой — не он!»

XI

Раскинув кудри огневые
И разметавшись на кровати,
Князь спал и видел сны златые...
Как вдруг среди снившихся объятий
Очнулся. Сон прелестный длится!
Уста целуют и алеют,
Милуют руки и белеют,
И слезами кропят ресницы...
О, как он бережно и нежно
Ее признал! Ее привлек!
И в край безгрешный и безбрежный
Вступил с ней, строгой, тих и строг...

XII

Но не без мук, не без борений
Далось то счастье Василисе,
И много было в ней сомнений,
Когда они уже сошлись.
Все дни она, себя тем мая,
Канон святителю Николе,
Кого особо чтут в расколе,
Читала, лестовку сжимая.
Молитвовала, плача, каясь,
Понять свершенное темна...
А ночью, ластясь и ласкаясь,
Все понимала, влюблена!

XIII

Тогда Борис глядит ей в очи!
Тогда Борис ей косы гладит,
Шепча все жарче, крепче, кротче,
Что будет жить он так, как прадед,
С ней неприметной, неученой
Да Василисою премудрой,

Голубоокой, русокудрой,
Он примет злат-венец законный...
Алеет свет лампадки зыбкий,
Пречистый Спас глядит светло, —
И хорошо им, словно в зыбке,
Как в поле, вольно и тепло!

XIV

Усольцев тоже взял то счастье
Не без волнений и раздумий
И чуял, что на них с их страстью
Проснется гневность в Аввакуме.
Он днями грезил о побеге —
О далях сумрачных дорожных,
О ширях голубых таежных,
О жизни там в труде и неге...
Порвал он с Леей и друзьями,
Их обвиняя, ей винясь,
И думал, думал... А ночами
Не думчив был влюбленный князь!

XV

Тогда она, кто всех уж ближе,
Его ко груди жмет лебяжьей
И чешет волос мягкий, рыжий,
Певуче величая: «Княже!»
Жалеет искренно, безгневно,
Что он, желанный, ясный, любый,
Слюбился с ней, мужичкой грубой,
Сама ж — горда, как королева!
Румяным розаном и маком
Всегда так веет от нее!
И каждый поцелуй так лаком!
И вздох — как чарое питье!

XVI

Тянулись поста недели.
Весна не приходила долго.
Как вдруг к ним вести долетели,
Что тронулась в верховье Волга.

Дороги делались пестры
От рыже-розовых проталин,
У теплых застрех и завалин
Носился клик касаток острый.
Все глубже и оголуженней
Дышал высокий небосвод,
И вот пошел уж по Сухоне
Прозрачно-белый толстый лед.

XVII

Пронзительный и влажный ветер
Подул в излоги и услоны, —
И убрались березы ветви
Сережкой бледно-зеленой,
А вербы пурпурные прутья
Завились в белые барашки.
Журчали желтые овражки,
Вадьи синели на распутье,
И жаворонок трелил гордо
В лазоревейшие утра...
В одно такое утро твердо
Борис сказал себе: пора!

XVIII

Вошел он в девичью светлицу,
Боясь принять отказ печальный,
Но деву встретил светлолицей
И за работою пасхальной:
Она сидела, яйца крася
Шелками, лентой кармазинной,
Чтобы легли они в корзины,
Алея густо и цветяся...
И на вопрос его смущенный
Ответила, вся расцветя
Улыбкой дивной затаенной:
«Да! Я ношу твое дитя...»

XIX

Была Великая Суббота.
И в доме от зари рассветной

Все были заняты заботой
Предпраздничной и несуетной:
Кулич пекла старуха сладкий,
Старик для служб справлял кадило,
Одна из дочек блюда мыла,
Другая чистила лампадки.
Ванильный, ладанный и вешний —
Чудесный запах полнил дом,
И красным воском рдел подсвешник
При аналое голубом.

XX

Потом в ночи, святой и вещей,
Полунощница шла в моленной, —
А князь, собрав бумаги, вещи,
Напевам тем внимал блаженно.
Потом христосовались чинно,
Потом степенно разговлялись,
А Василиса, запечалась,
Готовилась к путине длинной...
И вот они чрез двор затихший,
Где голубая темнота,
Идут, бегут... И с ней, поникшей,
Сближает трижды он уста.

XXI

О этот поцелуй пасхальный,
Без страстности и без истомы,
Ты был, как их привет прощальный
Для покидаемого дома!
В выси торжественно-замершей
Синели северные звезды.
Над головой темнели гнезда;
У ног их — ивовые верши...
Но миг — она с молитвой слезной,
А он с отвагой молодой
Мчат к переправе перевозной,
Где ждет уж челн их нанятой.

XXII

О светлая река Сухона,
С волною сонной и гурливой!
Твои воронки и затоны
Закружат путь порой разлива...
Но той же стаей лебединой
Плывут по бурным, бурым водам
Со звоном тонким, плавным ходом
Твои опаловые льдины!
Курлычащие в небе гуси
И гулы звонниц в высоте
Благовестят о вешней Руси
И о воскреснувшем Христе!

Эпилог

Прошли года. Повсюду в мире
Гремели бури, вились пурги,
И появился из Сибири
Герой наш снова в Петербурге.
В его гостиной синеватой
Бывали тайные собрания,
Где на большое начинанье
Решались люди, дружбой святы.
Здесь пламенел огонь в камине,
Горел мятежной речью князь,
И словно грезила княгиня,
На кресло синее склонясь.

Она в накидке горностаевой
И в жемчужовых крупных зернах
Была прекрасною и тайной,
Как белый лебедь вод озерных!
Открыты были ей все лица,
Сердца, и мысли, и печали...
И умные друзья их знали,
Что ей Усольцев лишь живится.
Порой на совещанье мудром
Садился сын-подросток с ней, —
С челом, как солнце, рыжекудрым,
С очами волн морских синей!

УКАЗАТЕЛЬ ДИАЛЕКТНЫХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

- Аналой* = *налой* — возвышенный стол с наклоненной столешницей, на котором читается евангелие и другие священные книги, полагаются св. иконы.
- Архилин* — сказочная трава, охраняющая от сглаза и порчи, собирается в Иванов день.
- Вереза, верези* — столбы, на которые навешиваются створки ворот.
- Вёрша* — рыболовная снасть, плетенная из прутьев.
- Вьюны* — род хороводной игры.
- Головщик, -щица* — управляющий одним клиросом в церкви, подчиняется регенту, уставщику.
- Демэственное пение* — старинный церковный распев греческого происхождения. Происходит от греч. — *доместик* (главный певчий). Стоя на правом и левом клиросах с певчими, начинали пение. Подчинялись великому доместику, соответственно в нашей церкви головщики и уставщик. Пение отличалось особой стройностью.
- Донце* — приспособление для прядения; также столярный инструмент.
- Досюльный* = *десельный* — старинный.
- Кармазинный* — ярко-алый, багряный цвет.
- Кружало* — кабак, питейный дом.
- Лестовка* — четки (у раскольников).
- Метание* — (земной) поклон. Творить метание — творить поклоны, поклоняться.
- Начал* = *начало* — начальная молитва при семи поклонах (у раскольников).
- Нашепт* = *нашептанье* — заговаривать, дуть и шептать на что-либо, придавая тем вещи волшебную силу.
- Ослопная свеча* — церковная свеча величиною с *ослоп* — толстую длинную палку, жердь.
- Отпуск* = *отпуст* — отпущение. Благословение, которое священник произносит по окончании службы на отпуск из храма. Молитвы при окончании службы.
- Пáсолнце* — явление на небе отражения солнца.

- Поветь* — сеновал, крытый теплый двор.
- Подручник* (у раскольников) — небольшой стеганый лоскут или подушечка, подкладываемая под локоть или под чело при земных поклонах.
- Полог* — занавес у окна, двери, кровати, иногда шатром над ложем, от мух, комаров.
- Разымчивые водки* = *разъёмчивое вино* — сильно хмельное.
- Рудой* — рыжий, рыже-бурый, темно-красный.
- Рясный* — крупный, частый, яркий.
- Соглас* = *согласие* — раскольничий толк, секта.
- Спрыг-трава* — сказочная, чудесная трава, от которой замки и запоры сами отваливаются.
- Столбы, пасолнце столбовое* — два или более отражений солнца со светлым сиянием вверху.
- Супрядки* — посиделки, вечеринки.
- Убрус* — плат, начельник или повязка под венцом на образах угодниц Божиих.
- Щёпотник* — бранное прозвище, данное раскольниками православным за то, что молятся троеперстно, щепотью.

А.М.Грачева
«ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО» АННЫ МАР

Судьба и творчество Анны Мар необычайны и экстравагантны даже на ярком фоне литературной жизни русского «серебряного века». С самого начала ее путь был отмечен печатью загадочности и рока. Ныне утрачен архив писательницы, не сохранились рукописи большинства ее произведений; по отрывочным сведениям, главным образом по некрологам, можно восстановить лишь некоторые вехи ее биографии¹.

Анна Яковлевна Бровар родилась 7 (19) февраля 1887 в Петербурге в семье художника-пейзажиста Я.И.Бровара (1864-1941). Ее отец окончил Академию художеств, где учился у М.К.Клодта, И.И.Шишкина, А.И.Куинджи, и с 1887 участвовал в выставках как Академии художеств, так и Товарищества передвижников. Его талант был замечен и оценен. В 1908 и 1912 в Петербурге с успехом прошли две его персональные выставки. Принадлежность к кругу петербургской художественной интеллигенции не только обусловила глубокое знание Анной истории искусств, но и способствовала формированию панэстетического мировосприятия. Она знала несколько современных европейских языков и латынь. Рано проявилась зрелость ее натуры и независимость характера: в 15 лет Анна оставила родительский дом и уехала на юг России — в Харьков. Там начался ее трудовой путь: служба в конторе, в земстве, сотрудничество в газетах. В полной мере Анна испытала материальные трудности самостоятельного существования. В 16 лет она вышла замуж, но вскоре супруги разошлись, и от брака у Анны осталась только фамилия по мужу — Леншина. С 1904 она стала помещать рассказы и заметки в газете «Южный край», и тогда же появился ее писательский псевдоним «Анна Мар».

В это время были определены эстетические и духовные ориентиры начинающей писательницы. Ими стали произведения европейского декаданса и символизма, и в первую очередь фран-

¹ См.: Рейтблат А.И. Анна Мар // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.3. М., 1994. С.514-515.

цузские авторы Бодлер, Малларме, Верлен, Гюисманс, Метерлинк — вот круг писателей, под влиянием которых сформировалась эстетика Анны Мар. От французской литературы берут истоки панэстетизм мировоззрения писательницы; символистская многоплановость ее прозы; дуализм этического и эстетического начал при господстве последнего; субъективизация картины мира, подвластного творческой воле художника; тяга к атипическому и постоянным колебаниям на грани между сферами Бога и Дьявола; стремление к жизнетворчеству. Значительное влияние на Анну Мар оказали также О.Уайльд и Ф.Ницше. Именно к этим «учителям» восходит сформировавшаяся в произведениях Анны Мар модель мужского сверхтипа — эстетически утонченного и этически не нормированного человека, одновременно и любимого, и ненавидимого женщиной.

Если в поисках основного типа своего героя Анна Мар следовала уже сложившейся европейской традиции, то более своеобразным было обретение ею женского сверхтипа своего творчества. Здесь Анна Мар должна была переступить как через классические идеальные женские типы, выработанные в русской литературе XIX в. (и в первую очередь преодолеть сверхтип «тургеневской девушки»), так и через устойчивые традиции изображения женской природы как начала пассивного, тяготеющего к статичным формам бытия и мышления, — традиции, сложившиеся в европейской маскулинарной литературе. Отыскивая первоначала, Анна Мар обратилась к культуре Древнего Востока, в частности Индии — единственному типу культуры, где в сексуальной сфере признавалось равное активное участие обоих полов. С этим же был непосредственно связан и выбор ею писательского псевдонима не из популярной пьесы Гауптмана², а из Сутты-Нипаты³.

Сутта-Нипата — древний сборник канонической буддийской поэзии. Большинство составляющих его текстов — поэтические диалоги Будды с учениками. Чаще всего это рассказ-исповедь о каком-либо эпизоде из жизни Будды — одном из вариантов его искушения перед достижением просветления. При этом главным антагонистом Будды представало принимающее разные ипостаси божество Мара (буквальный перевод с санскрита — «убивающий», «уничтожающий») — персонификация зла и всего, что ведет живое к смерти. В буддийской мифологии Мара имел множество дочерей, воплощающих сексуальные страсти, и правил желаниями

² Писательница протестовала против толкования критикой происхождения ее псевдонима от имени Анны Мар — героини драмы Г.Гауптмана «Одинокие» (1891).

³ См.: ИРЛИ. Ф.629. Ед.хр.25. Л.70б.

живущих. Превратившись из Анны Яковлевны Леншиной в Анну Мар, писательница не только заявляла свое эстетическое кредо, но и как бы вводила самое себя в мифологический контекст постоянной борьбы желания и бесстрастия, сиюминутности и вечности.

Как писательнице-модернистке Анне Мар было присуще «жизнетворчество» — превращение своего бытия в своеобразный «художественный текст» — постоянно играемую драму жизни, отражающуюся в творчестве, все части которого (романы, повести, рассказы и драма) являются, по сути, страницами единого лирического дневника. В посмертной статье о творческом пути Анны Мар А.Горнфельд подчеркнул, что ее лучшее произведение — «книга о себе, как все ее книги /.../ Она писала об одном; у нее была, в сущности, одна героиня: /.../ молодая, привлекательная женщина, душевно одинокая, католически-религиозная, чувственно-взволнованная, социально-непристроенная. А вокруг ее — "идущие мимо" мужчины, взятые автором в аспекте чувственности, то гонящиеся за женщиной, то преследуемые ее желанием, но в основе чуждые глубинам ее душевной жизни, равнодушные, далекие, сытые. /.../ Уходит она в смерть или в проституцию, гибнет или "возрождается к новой жизни" — все равно: основным впечатлением остается впечатление распада. /.../ Это была судьба Анны Мар»⁴.

Мировым женским архетипом для Анны Мар стал образ библейской грешницы и, одновременно, любимой ученицы Христа — Марии Магдалины. Писательница считала, что сексуальность составляет основу женского мировосприятия и маркирует любые сверхчувственные устремления женщины, и прежде всего творчество. В статье «Грустная профессия» Анна Мар отмечала: «Быть писательницей — грустная профессия. С первых же дней между вами и читателем возникает дуэль. /.../ Читатель всегда чертовски целомудрен. Нагота искусства бросает его в жар. Он видит смеющегося дьявола за вашей спиной. Жадно прочитывая все ваши безразветленные книги и высасывая из них больше, чем они дают самому автору, находя неожиданные чувственные намеки там, где есть только грустная реальность, — он особенно строг к вашей бедной персоне /.../ Читатель ходит за вами неотступно и кричит вам под ухом гнусно-возвышенные слова: "нравственность", "польза". Мне возразят: "Зачем обращать внимание?" Я отвечу словами Верлена: "Я ненавижу людей, которые не зябнут"»⁵.

⁴ Русское богатство. 1917. №8/10. С.319-320.

⁵ Женская жизнь. 1915. №4. С.17.

Еще в первых рассказах, публиковавшихся с 1904 в газете «Южный край», Анна Мар нашла емкую художественную форму лирической миниатюры. Позднее она назвала произведения такого типа «cartes postales» (почтовые открытки). Первоначально значительная часть миниатюр была лишена фабулы и представляла собой лирический монолог героя, в котором сюжет развивался за счет подтекста повествования. Многие миниатюры были исповедьями героев. Так, в миниатюре «О, Будда, великий Готтама» — вольном пересказе одного из сюжетов Сутты-Нипаты — герой просил успокоить его душу, болеющую за мир, и Будда посылал ему нирвану. С самого начала одной из постоянных проблем творчества писательницы стала проблема отчуждения. Все герои ее одиноки, даже если формально они как-то и связаны друг с другом. Другой лейтмотив произведений — тема смерти и самоубийства. При этом для «жизнетворчества» Анны Мар характерно двойное или даже тройное «проигрывание» ситуации: сначала в жизни, затем в искусстве, или в творчестве, в жизни и вновь в искусстве. Известно, что Анна Мар неоднократно говорила о самоубийстве и даже совершала попытки лишиться себя жизни. Прежде чем обернуться трагической реальностью судьбы писательницы, сюжет самоубийства героини был неоднократно «обыгран» в ее произведениях. Еще в раннем рассказе «Дилемма» героиня — образованная, но «падшая» женщина принимала яд, и один из ее знакомых так оценивал финал ее жизни: «Мое же мнение, пани Ева поступила так, как этого требовал долг. Она дошла до Рубикона, эта Нана с сердцем ангела. Она в жизни хотела разрешить неразрешимую загадку — сочетание высших запросов чувства и души с похотливым удовлетворением не менее, если не более законных требований плоти. Ей все казалось, что вот-вот явится кто-то и перерубит ее узел сомнений опытной, смелой рукой. Такой герой не явился. Она устала ждать. И, верьте, на этот раз она была хладнокровной и много думала перед рюмкой морфия»⁶. А одним из последних отражений этой же темы стала миниатюра «Тень» (1916) — монолог посторонней, рассказывающей о женщине-самоубийце: «Нелли умерла вчера, совершенно неожиданно. Может быть, онахватила опиума вместо лекарства? Я ничего не знаю. /.../ Ирония мешала ей жить и работать. Она обладала огромным терпением, деликатностью и, не умея ненавидеть, умела презирать. /.../ Она сказала мне в минуту болтливости, что всю жизнь ее терзали две жажды — тоска и любовь. Она не насытила ни то, ни другое, хотя сменила много мужчин — без осо-

⁶ Мар А. Миниатюры. Харьков, 1906. С.25.

бой застенчивости. /.../ Я подозреваю, что выбор ее книг вертелся около эротики самой необычной окраски, поэтому она перестала понимать ясное, простое и умерла без толку в тридцать лет»⁷. Это — характерное для модернистов циклическое возвращение одной и той же темы, материализующейся в реальность.

После нескольких лет жизни на юге Анна Мар вернулась в Петербург, где также бедствовала, а в 1912 переехала в Москву. В ее биографии существует много пробелов, которые можно восполнить лишь пунктирно. Так, известно, что в детстве Анна Мар была крещена по православному обряду, но впоследствии приняла католичество. Это вероисповедание привлекло новую адептку эстетизированной обрядностью и присущим ему интимно-мистическим характером общения верующего с Богом. Возможно, приобретению Анны Мар с католицизму способствовало личное чувство — пережитая любовь к католическому священнику. Реальная страсть стала основой эстетического переживания в повести «Невозможное» (впервые опубл.: Новая жизнь. 1911. №6) и в романе «Тебе Единому согрешила» (впервые опубл.: Русская мысль. 1914. №6-7).

Героиня повести «Невозможное» Тереза осознавала как чаемое, но недостижимое, свое стремление соединить возвышенную любовь к ксендзу Ганушу и плотские желания своего тела. В этом произведении на примере историй разных героев повторялась одна и та же идея о несоединимости земного и небесного. Тереза любила ксендза, но была вынуждена отдаваться другим; литератор Заневский мечтал об идеальной любви, но не узнал ее в обличье «падшей» Ирэны. В этой повести прежние нравственные ценности оставались еще незыблемыми, но уже был поставлен вопрос о их праве на существование, так как они приводили людей лишь к утрате надежд на счастье.

Повесть «Невозможное» была замечена критикой, воспринявшей ее как серьезную художественную заявку молодого автора. «Анна Мар — психолог истерзанной женской души, — писал критик Л.Владимиров и добавлял, что творчество писательницы, — далеко не лишенной дарования, уходит теперь всецело на *изображение истерики женской души*. Это у Анны Мар — *самодовлеющая цель* ее работы. Это — *положительная ошибка*»⁸. Рецензент «Московской газеты» отмечал, что «какой-то отдаленный отзвук Нечочки Незвановой слышится в женских типах г-жи Мар, когда их поставишь рядом с ликующими вакханками из произведений

⁷ Мар А. Кровь и кольца. 2-е изд. М., 1916. С.119.

⁸ Утро России. 1912. 17 марта. №64. С.6.

Вербицкой, Нагродской, Щепкиной-Куперник и других модных беллетристок /.../ В повести обнаружилось несомненное литературное дарование автора, /.../ лежит печать правды и жизненно, быть может, даже субъективно пережитой душевной катастрофы»⁹. Перечислив достоинства повести, критик Боане приходила к выводу, что ее недостатки проистекают от молодости писательницы, «чувствуется, что сам автор еще „мятется“»¹⁰.

Тема униженных и оскорбленных стала главной в повести «Идущие мимо» (1913), являвшейся художественным воспоминанием о годах петербургских мытарств Анны Мар. Вероятно, название повести восходит, как это было неоднократно, к начальным строкам стихотворения ее рано умершего друга — поэта Виктора Гофмана «Ушедший»: «Проходите, женщины, проходите мимо. / Не маните ласками говорящих глаз. / Чуждо мне, ушедшему, что было так любимо. / Проходите мимо. Я не знаю вас»¹¹.

История душевных страданий и безнадёжной борьбы за существование молодой женщины Магды являлась женским вариантом судьбы бедного разночинца — одного из излюбленных сюжетов петербургского периода русской литературы. В повести сознательно использован знакомый по литературе XIX в. эмблематический антураж Петербурга (белые ночи, углы, ночные рестораны и т.п.), вводящий тему города-фантома, разбивающего надежды. При этом многие приемы, ставшие к началу века литературными штампами, получили новую жизнь, когда они были применены в их необычном, «женском» варианте. Так, клишированный сюжетный мотив, когда герой белой ночью встречает на улицах бредущих мимо падших женщин, неожиданно обрел свежесть, когда он обернулся обратной картиной, увиденной глазами падшей героини: «Никогда еще не видела она так ясно свою душу. /.../ Сколько предстоит еще подобных часов, часов томления, ожидания, бесплодной тоски и сожалений! Сколько еще встретится мужчин, которых минутный каприз бросит к ней на время и которые пройдут мимо, не задерживаясь»¹². Отчуждение и одиночество представляли в повести Анны Мар как постоянные спутники женского существования.

Большинство критиков высоко оценили повесть, поставив ее в контекст современной русской женской литературы и подчерк-

⁹ Московская газета. 1912. 13 февр. №175. С.5.

¹⁰ Дамский мир. 1912. №7. С.28.

¹¹ Гофман В. Собр. соч. Т.2. М., 1917. С.100.

¹² Мар А. Идущие мимо. М., 1913. С.84.

нув выделяющееся на этом фоне художественное мастерство автора и самобытность тематики. «Женская литература, — писал Е.Шатов, — явление последних дней. Писали, конечно, женщины и раньше, но их литературная работа текла по общему руслу творчества и не было речи об особой женской литературе. Иное дело теперь. Образуется как бы особый уголок в литературе, /.../ вносящий в трактовку знакомых положений особые оттенки — с преобладающим интересом к женской судьбе, к женским волнениям, к женским горестям и радостям»¹³. Шатову вторила С.Заречная (С.А.Качановская): «Было время, — и оно не так далеко от нас, — когда уже в самом выражении: "женская литература" крылся приговор этого рода творчеству; приговор обвинительный и, надо сознаться, не лишенный некоторого основания. Талантливейшие женщины старались писать, как мужчины. /.../ Менее талантливые грешили сентиментализмом и фальшивой возвышенностью. /.../ И только в самое последнее время появился новый тип писательницы, ищущей самостоятельных, женских путей творчества. Они еще очень немногочисленны, эти новые писательницы, но результаты их работы уже сказываются. /.../ Женщина сама заговорила о себе так, как до сих пор не говорила. Нашла нужные слова для выявления своей подлинной сущности. И выражение "женская литература" сейчас уже обозначает богатство, а не скудость, прирост общелитературного сокровища /.../ Не много писательниц этого нового типа /.../ У нас в России отмечу талантливую молодую поэтессу Анну Ахматову и беллетристку Анну Мар /.../ Все ее героини похожи друг на друга /.../ В сущности, Анна Мар пишет только о себе, но /.../ за личной драмой современной женщины вскрываются жуткие бездны вечной женской стихийной пассивности»¹⁴. Подробный и доброжелательный разбор повести был сделан А.Горнфельдом, отметившим, что у Анны Мар все произведения — «один рассказ, один сюжет, один герой, вернее — героиня /.../ И ряд вариантов этого типа /.../ дан г-жой Мар уместно и отчетливо, в хорошей литературной форме, спокойно-честной извне, беспокоящей изнутри»¹⁵.

Осознание женщиной своего творческого признания — главная тема повести «Лампады незажженные» (в сб. «Идущие мимо». — М., 1913). Это произведение — новая страница лирического дневника Анны Мар — рассказ о начале ее писательской судьбы. История семейной драмы героини, «производственные» конфлик-

¹³ Современник. 1914. №14/15. С.305.

¹⁴ Женское дело. 1914. №8. С.14-15.

¹⁵ Русское богатство. 1914. №3. С.395-396.

ты мира прессы — все это внешние обстоятельства, скрывающие подлинный сюжет повести — становление творческой личности и утверждение нового психологического женского типа. Героиня находится в постоянной внутренней борьбе: «В ней жило две женщины, и эти женщины ненавидели друг друга. Одна — современная, другая — прежних времен. Одна требовала гражданского брака, отрицала материнство, условности, жаждала свободы и умела завоевывать. Одна имела дар самокритики, смелость для жизни и непобедимый усталый скептицизм. Другая была робка, покорна, разменивалась на вздор, любовь превращала в грубое сладострастие и католичество — в язычество»¹⁶. В финале повести, на первый взгляд, торжествовала новая женщина, но этот триумф был одновременно концом ее личного счастья.

Характерной особенностью прозы Анны Мар была открытость и парадоксальность финалов, ничего не разрешающих, оставляющих героиню перед прежними и новыми проблемами. Жесткость художественной структуры, напряженная динамика действия почти обнажены в ее произведениях малых форм. В рассказах Анны Мар героини зачастую были поставлены на краю нравственной пропасти, когда, если употребить слова писательницы, «падая, они думают, что летают»¹⁷. Так, в рассказе «Мертвые листья» (в сб. «Невозможное». — М., 1912) девушка давала слово выйти замуж за нелюбимого и вдруг, слишком поздно, узнавала, что ее любовь не безответна. Героиня рассказа «Жена» (в сб. «Невозможное») приезжала к брошенному ею мужу, чтобы на мгновение повидаться с его другом, которого она полюбила. Сюжеты рассказов колебались у самой черты между драматическим напряжением и мелодраматичностью, но почти никогда проза Анны Мар не переступала этой черты.

Внутренняя драматургичность сюжетов привела к появлению своеобразного подвида ее «cartes postales» — короткого диалога, в котором быстрый обмен ничего не значащими репликами сопровождался «подводным течением» разговора — подтекстом, несущим основную смысловую нагрузку. Характерным примером такого диалога была миниатюра «Телефон» (Женское дело. 1916. №15), в которой независимо от односложных фраз читатель ощущал нарастание внутреннего драматизма разговора между женой и любовницей самоубийцы. Постепенно в рассказах Анны Мар происходило снижение роли бытописания. Реалистическая

¹⁶ Мар А. Идущие мимо. Указ. изд. С.121-122.

¹⁷ Женская жизнь. 1914. №3. С.14.

подробность начала использоваться как маркирующий знак, лишь намекающий на подлинную суть вещи.

Любовь к католическому священнику, пережитая Анной Мар и как реальное событие, и как факт искусства, вновь воскресла, как составная часть духовного мира писательницы, в романе «Тебе Единому согрешила». Его рукопись была послана А.Горнфельду, но тот отверг ее, упрекнув Анну Мар в повторении тематики. Критик-позитивист не понял специфики творчества писателя-модерниста, для которого высшая реальность продолжает существовать параллельно с бытовым пластом жизни — ей суждено «вечное возвращение». «Не скрою, что я ждала именно такого ответа, — писала Анна Мар Горнфельду 26 октября 1913. — Я не хочу защищать своих тем и настроений, это, конечно, не мое дело, но мне всегда казалось, что только дилетанты боятся повторения. Я не могу, не в силах лгать в творчестве. И покада католичество поработает мои мысли и чувства, я не умею скрыть этого»¹⁸.

Но было бы ошибкой видеть в новом романе о любви молодой вдовы Мечки к ксендзу Ришарду Иодко еще один вариант более раннего произведения. Теперь это был рассказ о состоявшейся любви, сметающей на своем пути преграды из устаревших моральных ценностей. Ни герой, нарушивший обет безбрачия, ни героиня не ощущали своей вины перед Богом. Уже в этой книге выявился отнюдь не канонический характер религиозности Анны Мар, как всегда воплотившей в сюжетном повествовании очередные страницы дневника своей души. Авторским признанием звучали слова ее героини: «В сущности, я — не христианка /.../ один умный ксендз назвал меня сектанткой несуществующей секты... Я верю в Бога, но не верю в загробную жизнь. Даже бледная надежда на вечность возмущает меня. Смерть без воскресения, по-моему, — высшая награда для человека. А догмат Троицы? А сходство христианства с иными религиями? А таинство брака? Брак, как таинство, я отрицаю особенно решительно. Я не вижу ничего мистического в физическом сближении полов»¹⁹. Для героини нет ничего греховного в ее любви к ксендзу, грехом был бы брак с ним, заставивший бы его снять сутану и прекратить служение Богу. Предсмертная исповедь героини Богу при посредстве ксендза-любownika сакрализует ее любовь.

Рецензенты расценили роман как творческую удачу писательницы. Е.Выставкаина, сравнив его с романами «Г-жа Жервезэ» братьев Гонкур и «Евангелистка» А.Доде, писала, что «Тебе Еди-

¹⁸ ОР РНБ. Ф.211. Ед.хр.766. Л.5.

¹⁹ Мар А. Тебе Единому согрешила. М., 1915. С.11.

му согрешила» «интересен до конца /.../. Анна Мар /.../ берет не исключение, а правило: психология Мечки — психология почти каждой истинной католички, у которой мистическое переходит в реальность»²⁰. А.Журин отметил, как недостаток, сжатость стиля произведения, доведшую автора «до печального самоограничения». Анна Мар «слишком часто вместо изображения ограничивается утверждением, вместо доказательства — выводом»²¹.

К середине 1910-х молодая беллетристка имела уже устоявшуюся репутацию одной из лучших писательниц тех лет. Но в 1916 ею было создано произведение, многое перевернувшее и в личной, и в творческой биографии Анны Мар. Это был роман «Женщина на кресте».

В классической русской литературе ряд понятий и проявлений сексуальной жизни был традиционно строго табуирован. Когда в 1907 был опубликован роман М.Арцыбашева «Санин», повествовавший в несколько более раскованной, чем обычно, манере о любовных драмах молодежи, то он вызвал бурю негодования как среди критиков-«пуритан», так и среди «возмущенной общественности». А его герой Санин, на протяжении романа единожды «согрешивший» с молодой девушкой в антураже романтической обстановки южной ночи, был заклеен как проповедник разврата и безнравственности. И вот появился роман «Женщина на кресте» о любовной связи девушки с пожилым мужчиной, где любовники отличались мазохистскими, а партнер — еще и садистскими наклонностями. Была в романе и подруга героини — лесбиянка, и сын героя, подсматривающий за любовными экзекуциями. Произведение было опубликовано со значительными купюрами, но даже такой текст был раскуплен в течение недели, и дополнительный тираж разошелся столь же быстро. Впечатление от романа можно было назвать и шоковым, и шокирующим. Поражал не только сам факт его появления, но и то, что он был написан женщиной и тем более «подававшей надежды» Анной Мар.

Чтобы понять, каким образом столь необычный для русской литературы даже начала XX в. роман мог появиться из-под пера Анны Мар, надо еще раз вспомнить последовательность ее творческой эволюции.

У литературных учителей Анны Мар — писателей французского декаданса — панэстетизм и имморализм причудливо сочетались с мистикой и религиозной экзальтацией. Поэтому внутренней логике развития писательского сознания Анны Мар, как

²⁰ Женское дело. 1915. №11. С.9.

²¹ Свободный журнал. 1915. №6. С.120.

литератора-модерниста, не противоречило ее увлечение католичеством. Ее произведения свидетельствуют об обширном знакомстве писательницы с религиозно-мистической литературой, в частности с писаниями визионеров и пророчиц, монахинь, вкладывавших в любовь к Христу всю силу своего нерастрченного чувства к мужчине. Одним из проявлений этой религиозной страсти было наказание — бичевание и самобичевание, когда кающийся находил в страдании особую сладость, приближаясь таким образом к Христу, мистически воссоединяясь с его страстями.

Если рассматривать произведения Анны Мар как органичную часть ее «жизнетворчества», то очевидно, что ей всегда было свойственно определенным образом обожествлять своего возлюбленного или друга, бывшего для нее духовным авторитетом. В стихах Вал. Брюсова, посвященных памяти Анны Мар, были строки: «И подарила томик свой / Она мне с надписью такой: / "Я вам молилась вместо Бога..."»²². Ее любовь к служителю Бога была одновременно и ступенью приближения к Божеству, и шагом к переходу какой-то моральной грани, стремлением к кощунству.

Неомифологической основой романа «Женщина на кресте» стала история знаменитых средневековых любовников: философа Абельяра и его ученицы Элоизы. Ее родные оскости Абельяра, и возлюбленные были вынуждены принять монашество, но продолжали обмениваться письмами, в которых чувственная страсть соединялась с религиозным экстазом.

Роман Анны Мар по своему типу — это роман воспитания. Новый Абельяр — Генрих Шемиот учит новую Элоизу — Алину понять природу своего чувства. Несомненно, мазохистские наклонности свойственны героям Анны Мар, но это только поверхностный пласт семантики произведения. Шемиот дает Алине труды мистиков и визионеров, сочетающих любовь к Христу с постоянным раскаянием в своей греховности и с жадной наказания. В процессе чтения героиня открывает для себя глобальное значение в христианстве образа Марии Магдалины, раскаявшейся грешницы. Для Алины и стоящей за ней Анны Мар этот евангельский персонаж выражает психосексуальную суть женщины и в то же время единственную возможность мистически соединиться с Христом через грех и покаяние за него.

Значительную смысловую нагрузку несет название романа, отсылающее к сюжету гравюры Фелисьена Ропса «Женщина на кресте». На ней изображена распятая, фактически метафорически подменившая собой Распятого.

²² Литературное наследство. Т.85: Валерий Брюсов. М., 1976. С.28.

Писательница осмысляет чувственную любовь как жертвоприношение, в котором женщина играет роль сознательной жертвы на алтаре Бога. В религиозных воззрениях писательницы присутствует, и тоже совершенно осознанно, элемент кощунства. Такое колебание у черты между Богом и Дьяволом было присуще многим западным декадентам. И к этой грани подошла Анна Мар в последний период своего творчества. Своеобразным «приложением к роману» может служить ее миниатюра «Ропс» (1914), представляющая собой диалог двух героев — Алины и Стаха о творчестве Ропса. Алина говорит: «Как только я взяла альбом с его гравюрами, сердце мое сжалось, я уже перестала быть сама собою». Далее она описывает особо понравившуюся ей гравюру: «Вы нашли ее?.. Молодая дама, снимающая рубашку через голову, сильная и стройная, в шелковых черных длинных чулках, крошечных туфлях, с волосами, причесанными как для концерта!.. И в дверях фигура аббата, приотворившего дверь... Не в этом суть, конечно... Глубокий смех в виньетках кругом — в ангелах, которые секут друг друга ради благочестивого усердия, в фигуре Терезы, пораженной стрелами, во всех этих мелочах, повторяю /.../ Ропс приближает меня к дьяволу. /.../ Приблизиться к дьяволу — это отнестись к нему сочувственно... даже больше... увлечься им, восхититься, понять его красоту...»²³

К эстетике европейского декадентства, в частности к Гюисмансу и Уайльду, восходит и нарочитая эстетизация быта героев романа. Произведение Анны Мар наполнено описаниями стильной мебели, старинных безделушек, разнообразных произведений искусства. Описания эти играют особую художественную роль и не случайны, так как Анна Мар обычно не грешила свойственной писательницам слабостью к детализации. Многие как бы возвращает читателя в эпоху Первой империи, воскрешая образы Наполеона и его окружения. Наполеоновская тема и связанный с ней контекст являются еще одним планом неомифологического романа. Наполеон соединяется с представлением об Антихристе, о дерзкой попытке сравниться с Создателем.

По мере развития сюжета Алина проникается сознанием необходимости полного уподобления себя Марии Магдалине, принесения жертвы Богу на алтаре любви и страдания. Ипостасью Создателя, и одновременно его антагониста — Дьявола, предстанет Шемиот, к которому окончательно возвращается Алина, чтобы заменить предыдущую жертву — своего сюжетного двойника Клару.

²³ Женская жизнь. 1914. №5. С.17.

Последний роман Анны Мар явился по своей тематике и стилистике одним из самых «декадентских» произведений в русской литературе начала века. В нем грех и кощунство представляли как высшая ступень сакрализации чувства.

Анна Мар связывала с появлением романа «Женщина на кресте» много надежд, и сначала они как будто оправдались. Об этом свидетельствует ее радостное письмо А.Г.Горнфельду от 25 июня 1916:

Глубокоуважаемый Аркадий Георгиевич! В отеле был ремонт, я сбегала из дому и поэтому не сразу поблагодарила Вас — за открытку. Сегодня я хочу немного похвастаться. — Женщина на кресте — была распродана вся в десять дней (2500 экз.). Теперь издатель печатает второе издание уже в количестве 5000 экз. Сейчас же было раскуплено «Идущие мимо» и печатается сейчас вторым.

Я удостоилась чести получить длинное письмо от Власия Михайловича Дорошевича. Он закончил его словами, которые я привожу Вам целиком. Дорогой, дорогой Аркадий Георгиевич, простите мне мое тщеславие. Он пишет: «Ваша книга полна огромного интереса. В ней столько тонких и острых наблюдений, физиологических или психологических, — где кончается одно и начинается другое? Я думаю, что Вашу смелую книгу с большим интересом прочел бы Мопассан. И местами великий техник Вам бы позавидовал. Так тонко и изящно говорить о таких рискованных вещах. Для этого надо очень тонко мыслить. Прошу Вас принять мое поздравление с таким умным, интересным, тонким, сильным, дерзким и изящным по форме произведением.

Совершенно преданный Вам Ваш слуга В.Дорошевич».

Боже мой, как я была счастлива! Я не верила себе и спрятала письмо под подушку, как пансионерка. Мне, главное, радостно, что Дорошевич никогда меня не видел и не читал. Потом, на этих днях, мы познакомились по его желанию, и он был очень добр ко мне. Мне написали также Сологуб и др. Все так хорошо сложилось, может быть, потому, что эта книга принесла мне столько горя и слез в частной жизни.

Не гневайтесь, если я Вас утомила. Желаю Вам скоро поправиться.

Служу Вам.

Анна Мар²⁴

Несмотря на явный успех романа у читателей, он не принес материального достатка постоянно нуждавшейся писательнице. В разговоре со знакомыми она жаловалась: «''Вы ведь знаете... комната, стол. За квартиру отдай, а ботики на зиму не куплены.

²⁴ РГАЛИ. Ф.155. Оп.1. Ед.хр.391. Л.3-3об.

/.../ Ведь платят исправно и хорошо кинематографы, да некоторые журналы... А издатели? Да известно ли вам, какую сумму принесла мне 'Женщина на кресте'? /.../ Двести пятьдесят рублей''. Да. ''Женщина на кресте'', которая разошлась в первом издании в самый короткий срок и, должно быть, принесла издателю тысячные барыши, дала автору за двухлетний творческий труд *двести пятьдесят* рублей. И я могу подтвердить это, ибо собственными глазами видела контракт»²⁵. Но не менее важным было для Анны Мар признание критики и литературной общественности. Передавая экземпляр романа В.С.Миролюбову, она писала: «Я с большим душевным волнением посылаю Вам мой последний роман ''Женщина на кресте''. Издан он грубо, отвратительно. Цензура сделала вырезки. В эту вещь я вложила столько муки, великий Боже! Теперь я не могу уже перечитывать его. Вы были всегда так снисходительны ко мне. Просмотрите, умоляю, умоляю Вас. Вы одним словом можете воскресить меня — ''я прочел''»²⁶.

Но появившиеся вскоре критические отзывы омрачили первоначально радостный настрой писательницы. Большинство критиков дали роману однозначно негативную оценку, отвергнув, как кощунство и ересь, его идеи. Так, Л.Форфунатов в статье с характерным названием «Сидорова коза» писал: «Среди множества женщин-писательниц, которые во множестве так настойчиво в наши дни рассказывают о своем, интимно-женском /.../ Анна Мар сумела завоевать совершенно отдельное положение. Эта писательница не из феминисток, кто ставит задачей беллетристики — иллюстрировать главные положения ''Лиги женского равноправия''. /.../ Но Анна Мар не принадлежит и к тому, очень скучному разряду женщин-писательниц, кто и теперь еще старается по старинке писать ''не хуже, чем мужчина'' /.../ Ее книги — /.../ это не только литература. Это еще и правда. /.../ Человечество молчаливо хранит тайны своей интимной жизни /.../ Напрасно погналась за лаврами Захер-Мазоха и Крафт-Эбинга даровитая Анна Мар. /.../ ''Женщина на кресте'' имеет гораздо больше прав на звание *психопатологического романа*»²⁷. Другой критик, А.Ожигов, заметил, что «по содержанию ''Женщина на кресте'' — это медицинская диссертация, написанная на тему о половых извращениях»²⁸. Рецензент журнала «Пегас» возвел недостатки романа к женской природе его создательницы: «Писательница

²⁵ Писаржевская Л. Трагический конец Анны Мар // Журнал для женщин. 1917. №7. С.14.

²⁶ ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.762. Л.1.

²⁷ Журнал журналов. 1916. №24. С.3-4.

²⁸ Современный мир. 1916. №7/8. С.205-206.

подходит к своей теме только как женщина. /.../ Самые язвительные вещи о женщине можно услышать только от представительницы слабого пола. /.../ Анна Мар вечно-женственное видит в мазохизме, и садизм для нее скрытый смысл мужественной силы»²⁹. Но самая жестокая по тону рецензия принадлежала А. Гизетти, который писал: «"Женщина на кресте" — вот книга, вызывающая непреодолимое чувство отвращения и горького негодования. Она настолько беспомощно ходульна и беспредельно патологически цинична, что не заслуживала бы даже упоминания, если бы автор этой книги не была уже несколько выдвинувшаяся в подлинной литературе писательница»³⁰. На общем фоне выделялась лишь доброжелательная рецензия А. Туниной, отметившей новый роман как закономерный итог творческого развития Анны Мар, у которой во всех произведениях был «один неизменный лейтмотив хождения женской души по мукам любви. /.../ В "Женщине на кресте" /.../ нет былой неопределенности. Порывы религиозности, мучительная жажда веры, исповедь и костел остались позади. Правда, сохранились муки любви, но они уже не страшат героиню, они необходимы ей, они — сама любовь»³¹.

Подобная реакция критиков произвела тяжелое впечатление на писательницу. Она писала об этом Е. А. Колтоновской 20 июля 1916:

Многоуважаемая Елена Алексеевна!

Я сейчас только вернулась из деревни. Моя тетка заявила мне, что после «Женщины на кресте» она не может меня принимать. С тех пор, как роман вышел, я растеряла буквально всех родных и друзей. Конечно, это вздор и меня не это огорчило. Сегодня я получила "Ежемесячный журнал" Миролюбова. Там напечатана позорящая меня рецензия Гизетти. Если бы я там не встретила Вашей фамилии — я бы не унизилась до того, чтобы говорить о ней. Но я хочу, чтобы Вы, которая так тепло поддерживали меня, знали бы некоторые подробности о моей книге. Пятно на обложке сделано цензурой. Цензура залила гравюру Фелисьена Ропса — *La femme en croix*. Пропуски сделаны цензурой, и их гораздо больше, чем это показано точками. Издатель обещал мне выпустить полностью, а потом испугался и выпустил с искажениями. Никакого влияния Пшибышевский не имел на мой роман уже потому, что на польском и русском яз[ыке] я прочла и не дочла только его «*Ното sapiens*». Я органически не выношу Пшибышевского и вообще польской литературы. Мой псевдоним — Мар не из Гауптмана (эта курсистка очень мне ан-

²⁹ Пегас. 1916. №6/7. С.76.

³⁰ Ежемесячный журнал. 1916. №5. С.310.

³¹ Женское дело. 1916. №13. С.13-14.

типатична), а из Сутты-Нипаты (Мар — злой дух). Я не могу допустить, чтобы мой стиль был «лубочным» и я бездарна, ибо тот же Федор Сологуб, Гиппиус, В.Иванов и др[угие], др[угие] не стали бы меня вводить в заблуждение. О, Боже, до чего мы, авторы, беззащитны. Нас могут облить серной кислотой и даже потом хвастаться этим.

Еще недавно Миролюбов (редактор этого журнала) говорил мне лично — «Вы очень талантливы, Вы очень выдвинулись». И он же печатает площадную брань Гизетти. Измайлов, Ясинский в лицо говорили мне: «Вы — настоящая писательница». Или все это только фразы? Разумеется, я пишу не для Гизетти и не для тех, кто сейчас интересуется войною больше, чем искусством. Разумеется, нужно иметь большой вкус, чтобы видеть, как безнадежно бездарен и патетичен Пшибышевский.

Повторяю, я волнуюсь не потому, что «Женщину на кресте» дурно или совсем не понимают, а потому, что наша критика чудовищно, до смешного глупа. О, если бы Вы знали, какое количество женских писем я получаю! Если бы Вы знали, какое количество исповедей от женщин умных, тонких, интеллигентных, которые клялись мне, что все они — Алины и что их возлюбленные говорят — «словами Шемиота». Я пугаюсь того количества Генрихов, которые приходят ко мне и говорят: «Ваш Шемиот *мало жесток*». —

Море гнусных предложений, тысяча оскорбительных телефонов, безмерное любопытство окружающих, грубые рецензии — это все, что я получила после выхода романа. Роман был продан в 10 дней. 25-го июля выходит второе издание. Это меня мало утешает — «Публика читает, чтобы снимать фасончики», — сказал мне Дорошевич. О, если бы Вы знали, как мне трудно! Как трудно жить среди глупцов. Простите меня за данное письмо. Всегда служу Вам. Анна Мар.

Анна Яковлевна Леншина-Мар³².

Несмотря на ожесточенную критику, роман имел успех. Почти сразу московская кинофирма «Тиман и Осипов» без ведома Анны Мар осуществила его экранизацию — кинодраму «Оскорбленная Венера» (картина из «Русской Золотой серии»). Оскорбленная нарушением авторских прав, Анна Мар откликнулась возмущенными письмами в театральные издания, указав: «...идея, тема, разработка сюжета, детали полностью украдены из моего романа — "Женщина на кресте"». Г.Аноним не постеснялся даже надписи сделать моими точными словами. Вся его любезность ограничилась тем, что он заставил в конце драмы героиню убить героя, у меня же они оба благополучно здравствуют»³³.

³² ИРЛИ. Ф.629. Ед.хр.25. Л.7-8.

³³ Артистический мир. 1917. №36. С.8.

Драматизм, расчет на невыговариваемый подтекст — эти черты прозы Анны Мар соответствовали эстетике «великого немого». В 1910-е писательница много работала для кинематографа, написав сценарии около 10 фильмов. Эта деятельность давала ей основные средства существования.

В 1916 появился сборник ее миниатюр «Кровь и кольца», подтвердивший, что создание романа «Женщина на кресте» не было случайным явлением в творческой биографии писательницы. В рассказах сборника преломлялись основные идеи нашумевшего романа.

С 1915 все писательские надежды Анны Мар были сосредоточены на создании и постановке драмы «Когда тонут корабли». 2 октября 1916 она писала Е.А.Колтоновской: «Второе издание "Женщины на кресте" — вышло и раскупается. Оно чуточку приличнее. "Кровь и кольца" — появятся позже. — Все мои мысли и чувства теперь в драме. Я ее озаглавила "Когда тонут корабли". Сколько тревоги!»³⁴ В Москве пьесой Анны Мар заинтересовался А.И.Сумбатов-Южин, собиравшийся ставить ее в Малом театре, а в Петербурге она вызвала положительный отклик у А.А.Блока и была рекомендована для сцены Александринского театра.

Драма «Когда тонут корабли» была очередной «страницей» лирического дневника Анны Мар, которая пыталась путем сублимации как-то преодолеть свои психологические проблемы. В Санкт-Петербургской Театральной библиотеке удалось обнаружить две авторские копии этой так в итоге не поставленной и не опубликованной драмы. Ее сюжетом была история любви 30-летней женщины «с прошлым» Ютты к немолодому женатому помещику Гедройцу. Он постоянно унижал и отталкивал ее от себя, в то время как втайне готовил все для начала новой жизни вместе с ней. Но героиня не выдерживает психологического бремени и кончает самоубийством в тот самый момент, когда ее возлюбленный приходит за ней.

Ютта одна. Вечернее небо золотит комнату. Вдруг доносится колокольный звон. В костеле «Ангелус». Ютта вздрагивает и поднимается. Она идет к окну неуверенно, шатаясь, как пьяная, и без крика, без жеста, без слова бросается вниз на мостовую. Теперь сцена пуста. «Ангелус» звонит по-прежнему. На всем солнце. /.../ [Появляется Гедройц. — А.Г.] Я приехал увезти Ютту... Мою несчастную, измученную Ютту... моего ребенка... Любовь имеет свои законы /.../ Я все бросил, все порвал, через все перешагнул, от всего оттрекся /.../ Я беру ее, которая любит

³⁴ ИРЛИ. Ф.629. Ед.хр.25. Л.10.

меня так, как я ее люблю, — стремительно и насмерть, — я увожу ее от вас всех... О, далеко!.. и я говорю ей: «Я не верю словам, я верю только действиям. Вот почему — я молчал так долго (*Задохнувшись*.) И она будет счастлива...»³⁵.

Знаменательно, что в этой пьесе Анна Мар как будто еще раз «проиграла» финал своей жизни и даже указала срок, отмеренный ей судьбой, — 30 лет. О предчувствии конца говорило и само название пьесы — метафора, смысл которой раскрывался в словах главного героя: «Жизнь представляется мне берегом, на котором мы стоим, провожая корабли... Корабли уплывают... Иногда они тонут... Я представляю их гибель без бури, от мины... днем... Синее небо, как море, и море, как небо, пламенное солнце, очертающая берегов вдаль, ласковый ветер, который несет аромат апельсиновой рощи... Корабль тонет медленно и безнадежно...»³⁶

В 1914-1917 Анна Мар много работала в женских журналах. Не будучи организационно связана с какой-либо феминистской организацией, она и по образу жизни, и по идеям своего творчества была признанным авторитетом в деле претворения в действительность чаемого типа «новой женщины» XX в. В «Журнале для женщин» Анна Мар под псевдонимом «Принцесса Греза» вела раздел читательских писем, где давала советы женщинам, обращавшимся со своими житейскими проблемами. «Когда я читаю эти письма, — говорила писательница, — я переживаю целую гамму разнообразных настроений, я мучаюсь, страдаю вместе с моими корреспондентками... тоскую и часто плачу над ними. /.../ Ведь каждое письмо — кусок женской души...»³⁷. В своих ответах Анна Мар призывала не отчаиваться, надеяться на будущее и ни в коем случае не пытаться оборвать нить своей жизни: «Если вы одиноки, умеете выйти из одиночества. Умейте сами найти среди окружающих близкую душу. Не ждите, что счастье пойдет искать вас. Нет, вы сами бегите, ищите, завоевывайте счастье»³⁸. Однако со своей жизнью Анна Мар распорядилась иначе.

В конце марта 1917 многие русские газеты и журналы поместили сообщения из Москвы, подобные нижеследующему: «В воскресенье, 19 марта, в меблированных комнатах "Мадрид и Лувр" покончила расчеты с жизнью, приняв крупную дозу сильно действующего яда, талантливая беллетристка Анна Яковлевна Мар. Покойная не оставила никаких предсмертных записок и тай-

³⁵ СПб. Театральная библиотека. №66080. Л.95-96.

³⁶ Там же. Л.71. Второй рукописный экземпляр пьесы, являющийся 1-й редакцией, имеет №9866.

³⁷ Журнал для женщин. 1917. №7. С.12.

³⁸ Там же. №5. С.11.

ну своей безвременной смерти унесла с собой в могилу. Еще в субботу вечером она заперлась в своем номере и просила никого не принимать. В воскресенье утром ее вызывали к телефону, но коридорная прислуга не могла к ней достучаться. /.../ Явился представитель милиции, отперли дверь в номер, и глазам предстала следующая картина: А.Я.Мар лежала на диване, давно уже похолодевшая, вероятно, умершая еще накануне. На полу валялись клочки мелко разорванной бумажки. Никаких рукописей в комнате не найдено. /.../ Покойной было 29 лет»³⁹.

Сообщение о самоубийстве Анны Мар прозвучало тревожным диссонансом на фоне атмосферы радости и надежд, сопровождавших первые дни после Февральской революции. Почти не замечаемая или отчаянно ругаемая в последние годы жизни писательница неожиданно после смерти была награждена многими похвалами, удостоена слов сожаления об утраченном таланте. Частный факт ее смерти сразу же был включен современниками в панораму значимых исторических событий. Так, например, А.А.Вербицкая ввела подробные воспоминания о последних днях Анны Мар в исторические заметки о Февральской революции:

Писательница Анна Мар гостила в Петербурге с декабря и застала там революцию. В марте она уже возвращалась в Москву. Приехав ко мне, она рассказала мне вещи, которым не хотелось даже верить. Она рассказывала, как на вокзале пьяная толпа солдат осаждала вагоны, как она брала их с бою, как лезла в окна, разбивая кулаками стекла, топча и опрокидывая все кругом себя. Она закончила так:

— Я своими глазами видела, как они беспощадно сталкивали под вагоны на рельсы женщин и детей. /.../ — Я спросила Анну Мар, как попала она в вагон и с кем она ехала. Она отвечала:

— Как попала в вагон, право, не помню... Меня кто-то втискивал, я задыхалась... Очутилась я в купе для четырех человек, но там было одиннадцать солдат, я оказалась двенадцатой. Ни на кого не могу пожаловаться. Все были вежливы со мной, дали мне место у окна, сидели рядом, напротив, на полу, на верхних полках, неприятно было только, когда они грязными сапогами задевали меня по голове. И потом эти насекомые, которые буквально как дождь сыпались на меня сверху... Если я не заболела бы сыпным тифом, это будет удивительно...

Нет, она не заболела, но случилось худшее: через две недели после этого разговора она отравилась. Это было семнадцатого марта старого стиля⁴⁰, накануне еще она была у меня, сын мой пел ей романсы Вертинского, а она тихонько плакала. Что она

³⁹ Утро России. 1917. 21 марта. С.5.

⁴⁰ Ошибка мемуаристки.

хочет покончить с собой, я это знала давно из ее собственных признаний и всячески старалась отвлечь, развлечь, утешить. Она дала мне слово быть у меня семнадцатого в именины моего мужа, но я ее больше не видала. Распродажу своего имущества и ликвидацию своих дел она начала еще с осени. Как я потом узнала, она собиралась уехать в Крым и там броситься в море, потому что нигде не могла достать яда, а стреляться не решалась. И как странно помог ей случай! А может быть, нет случая... Есть только судьба. В том самом вагоне, в котором она возвращалась в Москву, ехал военный фельдшер. Показывая Анне Мар на небольшой саквояж, он сказал ей: «Вот здесь у меня столько яда, что хватило бы на семьсот быков. Это цианистый калий».

— Дайте мне! — попросила она. Он засмеялся и дал ей кусок чего-то твердого, белого (так, по крайней мере, рассказывала она, и я не знаю в точности, какой это был яд, но этим ядом она и отравилась)⁴¹.

Причины самоубийства Анны Мар так и остались до конца не выясненными. Одни называли поводом к суициду задержки в принятии к постановке ее последней пьесы. Л. Урванцев вспоминал последние разговоры с писательницей:

Около 10 часов вечера, когда у нас был чай, вошла Анна Мар. Вошла почему-то с черного хода. Знакомимся. Небольшого роста. Лицо интересное. Чудные глаза. Несколько длинен нос. Тонкие, почти бескровные губы. Со вкусом одета и причесана. /.../ Перескакивает на театр, литературу, на злободневные вопросы. То говорит о себе.

— /.../ Теперь я счастлива. Но я боюсь потерять свое счастье. Скажите, может ли оно рухнуть? Могу я потерять свое счастье? Мое счастье в том, что я написала пьесу и Рощина-Инсарова от пьесы в восторге. Пьеса называется «Когда тонут корабли». [Далее — содержание последнего разговора. — А.Г.] — Уезжаю в Москву... /.../ Я очень больна. /.../ Мне очень грустно... Тяжело... Все провалилось... Жене показалось, что Анна Мар сказала: «моя контора провалилась»⁴².

Другие считали самоубийство результатом любовной драмы, называя при этом разные имена, но все это были слухи и домыслы.

Многие, кто откликнулся на печальное событие, сочли его своеобразным знаменем времени, предвестием глобальной катастрофы, грозящей прежней России. Именно так воспринял слу-

⁴¹ РГАЛИ. Ф.1042. Оп.1. Ед.хр.50. Л.9-10. Частично опубликовано: Февральская революция глазами романистки А.А.Вербицкой / Вступ. заметка и публ. А.М.Грачевой // Час пик. 1994. 2 марта. №9(209). С.4.

⁴² Театр и искусство. 1917. №13-14. С.236.

чившееся Валерий Брюсов, посвятивший Анне Мар одну из страниц своего «Дневника поэта»:

Сегодня — громовой удар
При тусклости туманных далей:
По телефону мне сказали,
Что отравилась Анна Мар.
Я мало знал ее; случайно
Встречался; мало говорил;
Но издали следить любил
Глубокий взор с тоскливой тайной,
И, кажется, без внешних уз,
Меж нами тайный был союз.
[.]
В моей душе — тоска, тревога...
Умеют души уходить;
Зачем же мне беспечно жить?⁴³

Расходы по похоронам взяли на себя Литературно-художественный кружок и «Журнал для женщин». По заверенному нотариусом духовному завещанию права на пьесу «Когда тонут корабли» и другие произведения были оставлены петроградскому скульптору Ю.Н.Свирской.

Современник, говоря о невыясненности причин смерти Анны Мар, писал: «Никто не знает подробностей. Их не нужно. Ее смерть — нелепость трагическая, но свершившаяся. Сцепление каких-то странных неожиданностей, как вся ее жизнь /.../ Анна Мар, наивно запутанная, как наша недавняя современность /.../ Ее талантливое творчество — творчество только женщины, ее жизнь — жизнь напуганного и мечтательного ребенка, ее смерть — смерть измученного одинокого человека»⁴⁴.

В истории русской литературы имя Анны Мар осталось как горький пример писателя-модерниста, стремившегося постичь бездны Добра, Красоты и Зла и ставившего жестокие эксперименты над своей жизнью и смертью. Ее пряхая, психологически-утонченная проза интересна и ныне, так как в ней ощутима обнаженная искренность автора. И справедливы слова, сказанные об Анне Мар А.Г.Горнфельдом: «Всегда на грани порнографии, она никогда не переступала этой грани, потому что в ее эротике не было литературщины, не было тенденции, не было дурных намерений: это была правда и поэзия ее жизни, и она давала ее так, как пережила ее»⁴⁵.

⁴³ Литературное наследство. Т.85. Указ. изд. С.28.

⁴⁴ Королевич Вл. Carte postale // Журнал для женщин. 1917. №7. С.13.

⁴⁵ Русское богатство. 1917. №8/10. С.320.

Публикации

ПИСЬМА Н.Д.САНЖАРЬ К А.А.БЛОКУ

Вступительная статья, публикация и примечания А.Е.Заблоцкой

Имя Надежды Дмитриевны Санжарь известно сейчас лишь узкому кругу специалистов. Между тем, она участвовала в литературной жизни Петербурга, Киева и Москвы на протяжении трех десятилетий — с начала 1900-х до начала 1930-х. Роль ее была достаточно своеобразной. Самоучка, стремившаяся «пробиться в люди»; писательница, чьи книги воспринимались скорее как «психологические документы», нежели литературные произведения, она была из тех людей, о ком писал Блок: «...испепелили себя в погоне за каким-то огнем, который надеялись поймать голыми руками» (6, 36)¹. Долгие годы Санжарь пыталась воплотить особую, созданную ею программу переустройства мира, призывая к этому и окружающих. Присущие писательнице непоколебимая уверенность в своем таланте, крайняя неуравновешенность, отсутствие такта и языкового чутья создали ей незавидную, в определенной мере скандальную репутацию. Лишь немногие современники смогли отнестись к ней с сочувствием, увидеть в ее поведении и творчестве отражение подлинных человеческих страданий.

Надежда Дмитриевна Санжарь (исконный вариант фамилии — Санжар; 1875-1933) родилась в Новочеркасске, в семье столяра — государственного крестьянина Харьковской губернии — и донской казачки². Дет-

¹ Здесь и далее в тексте даются ссылки на издания: Блок А. Собрание сочинений: В 8 тт. М.; Л., 1960-1963 (в скобках указывается том, после запятой — страница); Блок А. Записные книжки: 1901-1920. М., 1965 («ЗК» с указанием страницы).

Автор глубоко благодарен за помощь Б.Л.Бессонову, Д.Б.Азиатцеву, А.В.Лейбовой, А.Е.Парнису, Н.А.Хохловой.

² Единственной попыткой осмыслить жизненный путь Н.Д.Санжарь остается на сегодняшний день получерновое предисловие к описи ее личного фонда (РГБ. Ф.266), написанное ее «душеприказчиком» П.А.Кузько в 1936. Ранние годы писательницы освещались в предисловии к повести «Записки Анны» (Изд[атель Бриллиант С.М. Предисловие] // Санжарь Н. Записки Анны. СПб.: «Антей», 1910. С. III-X). Отношения Санжарь с Блоком рассматривались А.Е.Парнисом в комментарии к дарственной надписи Блока на сборнике «Земля в снегу», подаренном писательнице в 1908 (см.: Литературное наследство. Т.92. Кн.3. М., 1982. С.122-123; неверно указаны год смерти, сведения о замужестве Санжарь, вариант фамилии «Санжар» признан ошибкой в написании). Последнее *прижизненное* упоминание о Санжарь — в кн.: Клейнборт Л.М. Очерки народной литературы (1880-1923): Беллетристика: Факты, наблюдения, характеристики. Л., 1924. С.67-70 (преимущественно пересказ произведений Санжарь).

ство писательницы прошло, по ее словам, «среди бедности, пьянства и /.../ разврата»³: в 1880 отец попал в острог по обвинению в мошенничестве и краже⁴, мать стала проституткой⁵. Детей (Надежду и ее старшую сестру) на время взял к себе дед, Михаил Авилов — сторож при новочеркасском фельдшерском училище, ставший для Санжарь единственным близким человеком (см. автобиографическую повесть «Заколдованная принцесса»⁶). Жизнь с дедом, однако, была недолгой. После освобождения отца семья переехала в Харьков (1882), где Надежда окончила начальную школу и с 11 лет начала работать — в булочной, затем, перебравшись в Киев (1889), — няней, горничной, бонной, компаньонкой (в том числе в богатых домах) и, наконец, оставшись без места, начала зарабатывать шитьем⁷. Наследием этих лет стали для Санжарь обостренное чувство социального неравенства и убеждение в порочности сложившегося отношения к женщине.

В 1898-1900 Надежда Дмитриевна работает в канцелярии губернской тюремной инспекции в Киеве. Переживает своеобразный роман с главой учреждения инспектором И.П.Сементовским⁸: препятствуя домогательствам чиновника, она пытается изменить его взгляд на женщину, заставляет увидеть в себе человека⁹. (В дальнейшем Санжарь, по-видимому, повторяла подобные эксперименты — ее взаимоотношения с мужчинами всегда были тесными и напряженными, но не переходящими в интимную близость). В конце 1900 Санжарь переезжает из Киева в Петербург.

В Петербурге первые годы бедствует, обращается за помощью в Русское женское взаимно-благотворительное общество, руководимое видными деятельницами женского движения — А.Н.Шабановой, А.Н.Пешковой-Толиверовой, А.П.Философовой, Е.П.Летковой-Султановой¹⁰.

³ Автобиографическое письмо Санжарь А.Е.Молчанову (1904?) (РГИА. Ф.678. Оп.1. Ед.хр.682. Л.1об.).

⁴ См.: Ведомость справок о судимости. СПб., 1880. Кн.12. С.303, — а также фельетон в газете: Донской голос (Новочеркасск). 1880. 13 апреля. №29. С.115.

⁵ Впоследствии родители Санжарь «исправились»: Дмитрий Константинович Санжар (1845-1914) работал столяром, Неонила Михайловна Санжар (Авилова; 1857 — после 1933) освоила профессию швеи. См. документы родителей в личном фонде Н.Санжарь: РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.152-154, 165, — а также свидетельства самой писательницы: Санжарь Н. Заколдованная принцесса. СПб., 1911. С.57; Санжарь Н. Письма к тов.Адольфу (1925-28) // РГБ. Ф.266. Карт.4. Ед.хр.4. Л.64.

⁶ Санжарь Н. Заколдованная принцесса. Указ. изд. С.3-26.

⁷ Эти годы подробно описаны в автобиографических повестях Санжарь «Записки Анны» и «Заколдованная принцесса». См. также: [Бриллиант С.М.] Указ. изд. С.VI.

⁸ Санжарь упоминает о нем в письме к А.С.Суворину от 13 марта [1902] (РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.3785. Л.5). См. также: Весь Киев: Адресная и справочная книга на 1899 г. Киев, 1899. С.270.

⁹ Отношения с Сементовским описаны Санжарь в автобиографической повести «Письма к тов. Адольфу». Указ. соч. См. также пьесу «Нелепость» (1908?): Санжарь Н. Заколдованная принцесса. Указ. изд. С.191-234.

¹⁰ О Русском женском взаимно-благотворительном обществе (1895-1914) см.: Stites R. The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism: 1860-1930. Princeton, 1978. P.193-195, 201.

Общество дает Санжарь работу и возможность пополнить образование¹¹. Познакомившись «более или менее серьезно с грамматикой»¹², она решает описать — подобно Горькому — собственные скитания¹³. Так появляются рассказы «Дедушка», «Жучка. Из дневника женщины», «Писательский талант» — прообразы будущих автобиографических повестей, — которые она сусылает известным литературным и театральным деятелям — А.С.Суворину (1902), М.М.Стасюлевичу (1902), В.Г.Короленко (1903), А.Е.Молчанову (1904?)¹⁴ и, по-видимому, самому М.Горькому¹⁵. Поддержки, однако, не получает.

В 1903 Н.Д.Санжарь вступает в формальный брак с переводчиком и автором биографических эссе С.М.Бриллиантом¹⁶, который вводит ее в литературный мир. Она начинает печататься в детских журналах — «Красных зорях» К.С.Баранцевича, «Живописном обозрении для детей» (приложении к «Живописному обозрению» И.Н.Потапенко), «Тропинке» П.С.Соловьевой, «Игрушечке» А.Н.Пешковой-Толливеровой: стихи, небольшие рассказы и сказки в неоромантическом духе, в которых стремится

¹¹ См.: [Бриллиант С.М.]. Указ. соч. С.VII.

¹² Там же.

¹³ Ср. письмо Санжарь М.М.Стасюлевичу от 11 апреля [1902]: «/.../ рассказы М.Горького натолкнули меня на мысли: что почему бы и мне не рассказать публике то, что я видела в жизни» (ИРЛИ. Ф.293. Оп.1. Ед.хр.1277. Л.2).

¹⁴ См. письма Санжарь: А.С.Суворину от 2, 13 марта, 7 апреля 1902 и два письма б.д. (апрель? 1902) — РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.3785; М.М.Стасюлевичу от 11 апреля [1902] — ИРЛИ. Ф.293. Оп.1. Ед.хр.1277; В.Г.Короленко от 2 декабря [1903] — РГБ. Ф.135/II. Карт.33. Ед.хр.28. Л.1-1об.; А.Е.Молчанову (1904?) — РГИА. Ф.678. Оп.1. Ед.хр.682. Из перечисленных рассказов сохранился только один — «Жучка» (рукопись приложена к указанному письму А.Е.Молчанову).

¹⁵ Об этом упоминает П.А.Кузько в предисловии к описи личного фонда Н.Санжарь (РГБ. Ф.266. Опись фонда. Л.5об.).

¹⁶ Семен Моисеевич Бриллиант (Бриллиант, Брильянт; 1858-1931) — уроженец Киева, в 1880-х — учитель еврейских училищ в Петербурге. В начале 1890-х писал очерки для серии «Биографическая библиотека Ф.И.Павленкова»: биографии Микеланджело, Рафаэля, Крылова (1891); Фонвизина (1892); Державина (1893). Переводчик, издатель и редактор переводов — см.: Андерсен Г.Х. О чем рассказывал месяц / Перев. с предисл. С.Бриллианта. СПб., 1890; Гофман Э.Т.А. Рассказы. Т.1 / С биограф. автора, пер. С.М.Брильянта. СПб., 1893; Шпильгаген Ф. Собр. соч. в 8 тт. / Перев. с нем. под ред. С.Бриллианта. СПб., 1896; Вольтер. Вавилонская принцесса / Перев. С. М-ва [С.М.Бриллианта]. СПб.: Изд. С.Бриллианта, 1896 и др. В 1897-1899 — сотрудник Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В 1914 выехал за границу; умер в Париже. См. о нем: Альбом М.И.Семевского «Знакомые»: Книга автографов. V // ИРЛИ. Ф.274. Оп.1. Ед.хр.399. Л.84об. (автобиография Бриллианта, 1890-1891); Венгеров С.А. Русские книги: С биографическими данными об авторах и переводчиках. Т.3. СПб., 1899. С.191; прошения С.М.Бриллианта в Литературный фонд — ИРЛИ. Ф.155: Журналы Литфонда. 1894-1911; сообщение о смерти С.М.Бриллианта — Последние новости (Париж). 1931. 18 июня. №3739. С.2. Сохранились две открытки (б.д. и от 4 июня 1914) и 6 писем (1926) Бриллианта к Санжарь // РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.47, 48; Ф.144 (П.А.Кузько). Карт.11. Ед.хр.10 (открытка от 4 июня 1914 в фонде П.А.Кузько описана как автограф неустановленного лица). См. также фотографии С.М.Бриллианта в личном фонде Н.Санжарь (РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.165).

тсы выразить свой жизненный идеал (добро, счастье, свобода)¹⁷. В 1906 заболевает нервной болезнью, лечение которой продлится несколько лет¹⁸.

К 1907 Санжарь считает себя сложившейся писательницей. Глубоко верит в свой талант; в обществе отстаивает свое особое положение «простой крестьянки», не получившей систематического образования, резко противопоставляет себя людям «культуры». «...Думаю, вам не особенно приятно со мной сталкиваться, — пишет она профессору Ф.Д.Батюшкову. — А сталкиваться мы должны неизбежно: еще немного, и вы все должны будете дать мне, дочери проститутки, вчера еще вашей прислуги, среди вас место. Больше. Вы все должны будете со мной серьезно посчитаться»¹⁹. Ощущая себя носителем «человечности» (в горьковском понимании), она мечтает «образумить» мир, причем, наряду со своим творчеством, видит и другие пути достижения этой цели.

Так, весной 1907 у писательницы возникает идея — «дать нашему обществу моего человека /.../, чтобы дети здоровых, сильных, человеческих людей вытеснили бы, в конце концов, убогих вырожденков»²⁰. С просьбой стать отцом ее будущего ребенка Санжарь обращается к выдающимся, по ее мнению, современникам — в частности, к профессору Ф.Д.Батюшкову и поэту-символисту, держателю литературного салона («башни») В.И.Иванову²¹. (Последнего заинтересовал ее необычный поступок²², и позднее Санжарь станет посетительницей «башни»).

¹⁷ Красные зори. 1904. №1-4; 1905. №5-8, 10-13, 15-17, 20-22; 1906. №5, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 24; 1907. №1, 3, 7, 8, 10-13, 19, 24; 1908. №1, 2, 13, 21-24; 1909. №1, 7 (стихи под фамилиями Санжарь и Бриллиант и псевдонимами Тетя Надя, Папа, Три звездочки; рассказ «Весна, весна!» — 1905. №13; сказка «Одуванчик» — 1906. №15); Живописное обозрение для детей. 1904. №10 (сказка «Лебязья пушилка»); Тропинка. 1906. №6, 7 (сказки «На огороде бабушки Матрены» и «Слезы радости»); Игрушечка. 1908. №5, 7 (сказка «Жучок» и рассказ «Каша»); для малютки: Особый отдел журнала «Игрушечка». 1908. №3 (рассказ «Ячница»).

¹⁸ Ср. совместное обращение Н.Санжарь и С.Бриллианта в Литературный фонд 12 февраля 1906: ИРЛИ. Ф.155: Журналы Литфонда. 1906. №6. 13 марта.

¹⁹ Письмо к Ф.Д.Батюшкову от 10 декабря 1907 (ИРЛИ. 15025/LXXXIX64. Л.1; в автографе «вы», «вас» с прописной буквы). Подобный тип поведения ярко охарактеризован Е.Колтоновской в статье «Литература и писатели из народа» (Колтоновская Е.А. Критические этюды. СПб., 1912. С.169-173).

²⁰ Санжарь Н. Записки Анны. Указ. изд. С.130-131.

²¹ Ср. указанное письмо к Ф.Д.Батюшкову; эпизод в «Записках Анны» (С.123-143), — разговор героини с «профессором»; шуточную телеграмму А.А. и Л.Д.Блоков и К.А.Сомова В.Иванову от 29 апреля 1907 (Блоковский сборник. 2. Тарту. 1972. С.373), а также воспоминания В.Е.Беклемишевой, в которых (без указания имени Санжарь) упоминается «история с ребенком» (Беклемишева В.Е. Встречи / Публ. Р.Б.Заборовой // Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С.53). По свидетельству Беклемишевой, Санжарь обращалась также к А.Блоку и Л.Андрееву, однако документально эти сведения не подтверждаются. На то, что в шуточной телеграмме и воспоминаниях Беклемишевой речь идет о Санжарь, указано А.Е.Парнисом (Литературное наследство. Т.92. Кн.3. М., 1982. С.122).

²² Ср. письмо Санжарь В.Иванову от 13 мая [1907]: «Так Вы на меня не рассердились, Вас не возмутило мое "нахальство" /.../ Вы хотите со мною говорить, да еще о многом, Вы хотите меня знать, меня понять?» (РГБ. Ф.109. Карт.34. Ед.хр.13. Л.3).

После неудачи с ребенком у писательницы возникает новый план — создать нечто вроде воспитательного дома — своего рода «мастерскую» для превращения в «людей» детей-сирот²³. Были ли предприняты какие-либо серьезные шаги в этом направлении, установить трудно, но к этой идее Санжарь будет возвращаться в течение всей последующей жизни. По-видимому, думала писательница и о других путях воздействия на окружающий мир: в 1908 она сближается к кружком «одиноких» — начинающих литераторов, мечтавших об осуществлении «нового способа объединения людей» (в частности, через издание собственного сборника)²⁴.

В эти же годы (1907-1908) Санжарь работает над автобиографической повестью «Записки Анны» (опубликована с сокращениями в журнале «Образование» в январе 1909²⁵, через год вышла отдельным изданием, по-видимому, на средства С.М.Бриллианта²⁶). Героиня повести (читатель должен был отождествлять ее с автором) — чистая, сильно чувствующая, одаренная девушка. Она проходит путь самой Санжарь: долгие скитания в провинции, приезд в Петербург, где ее ждет то же, что прежде, — нужда и посягательства мужчин, невоплотившаяся мечта о ребенке и — после тяжелой внутренней борьбы — отказ от личного счастья и решение посягнуть себя людям.

По проблематике (остро поставленный женский вопрос) и сюжетным мотивам типичная для женской прозы той эпохи²⁷ повесть была сочувственно встречена в «феминистически» настроенных кругах (ср. отзыв «Женского вестника»²⁸). Другая особенность «Записок» — страстный обличительный пафос, высказываемые автором антиинтеллигентские настроения, роднившие его с другими писателями из народа²⁹, — вызвала противоречивую реакцию критиков — одобрение одних (Б.Глинский)³⁰

²³ См.: РГБ. Ф.109. Карт.34. Ед.хр.13. Л.6-6об. Ср. также пьесу «По-своему» (1908?): Санжарь Н. Заколдованная принцесса. Указ. изд. С.73-190.

²⁴ См. письмо члена кружка «одиноких» А.С.Андреева к А.Блоку от 9 сентября 1908: Письма Александра Блока к Е.П.Иванову. М.; Л., 1936. С.122.

²⁵ Образование. 1909. №1. Отд.1. С.37-86.

²⁶ О С.М.Бриллианте как издателя «Записок Анны» упоминает в предисловии к описи личного фонда Санжарь П.А.Кузько (РГБ. Ф.266. Опись фонда. Л.2об.). Издательство «Антей», указанное на титульном листе книги, было, по существу, фиктивным: оно не зафиксировано ни в одном справочнике, а его адрес (см.: Книжная летопись Главного управления по делам печати. 1910. №3. 23 января. С.19) совпадает с адресом, по которому жила в то время сама Санжарь (ср. ее письмо к А.Блоку от 14 января 1910).

²⁷ См.: Никольская Т.Л. А.Блок о женском творчестве // Блоковский сборник. 10. Тарту, 1990. С.35-36.

²⁸ Т.Г. Женщина о женщине в художественной литературе // Женский вестник. 1909. №5/6. С.117-118.

²⁹ См.: Блок и П.И.Карпов / Вступ. статья, публ. и комм. К.М.Азадовского // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1991. С.235.

³⁰ Ср.: «Грубо и больно Санжар à la Горький смазала нашу интеллигенцию по лицу грязной тряпкою» (Б.Г. [Глинский Б.Б.] Надежда Санжар. Записки Анны. СПб., 1910. Стр.166. Цена 1 р. // Исторический вестник. 1910. Т.121. Август. С.668).

и негодование других (З.Гиппиус)³¹. Неоднозначной была и общая оценка повести. Искренность книги, сочетающаяся с крайней неумелостью в художественном отношении, заставила некоторых рецензентов (вслед за С.М.Бриллиантом — автором предисловия)³² увидеть в «Записках Анны» документальное произведение, «человеческий документ», дающий ценный психологический материал (отзыв А.Введенского и упомянутая рецензия Б.Глинского)³³. Другие критики (Б.Садовской, А.Измайлов, Д.Овсяннико-Куликовский, З.Гиппиус) сосредоточили свое внимание на художественной стороне повести и отметили в первую очередь ее недостатки — плохой язык, «крикливые» приемы, «истеричность» и «литературничанье» автора³⁴.

Если «Записки Анны» вызвали определенный интерес у читающей публики, то последующие автобиографические произведения Санжарь — повесть «Заколдованная принцесса», пьесы «По-своему» и «Нелепость», вошедшие в сборник «Заколдованная принцесса» (1911)³⁵, были восприняты как повтор, авторские вариации на темы первой книги³⁶. Действительно, по своему стилю, пафосу, обрисовке образа героини и — отчасти — фабуле они мало отличаются от «Записок Анны».

В марте 1910 Санжарь формулирует свои взгляды на литературу. Выступая на публичном диспуте в Киеве, она говорит о необходимости оценивать литературные произведения с точки зрения «правдивости» и призывает отказаться от критерия «художественности». В этом смысле роль «маленьких писателей» (к которым Санжарь причисляет и себя) представляется ей не менее значительной, чем «великих» (Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов). Наряду с великими сочинениями, гениальными догадками и прозрениями должна жить и смело себя проявлять простая, непритязательная книга правды, — считает писательница³⁷.

³¹ Ср.: «Прежние Ломоносовы /.../ шли *учиться* /.../ не то мы наблюдаем у всевозможных Пименов Карповых, Сивачевых, Санжарей и т.п. Не учиться они идут, а *учить*» (Крайний А. [Гиппиус З.Н.] Литературный дневник // Русская мысль. 1911. №6. Отд. II. С.17).

³² См.: Санжарь Н. Записки Анны. Указ. изд. С. III.

³³ Басаргин А. [Введенский А.И.]. Переплата души // Московские ведомости. 1909. 28 февраля. №48. С.2. См. также: Séménoff E. Lettres Russes // Mercure de France. 1910. T.4. №316. 16 août. P.737-742.

³⁴ Ртух [Садовской Б.А.]. Обзор русских журналов // Весы. 1909. №2. С.87; Измайлов А. Новые книги // Русское слово. 1910. 17 (30) апреля. №88. С.2; Овсяннико-Куликовский Д. Литературные беседы // Речь. 1910. 2 (15) мая. №118. С.2.

³⁵ Этот сборник, как и «Записки Анны», был издан С.М.Бриллиантом — ср. предисловие издателя (С.V-XI).

³⁶ Ср. едва ли не единственный отзыв на сборник «Заколдованная принцесса»: Измайлов А. Новые книги // Русское слово. 1911. 5 (18) февраля. №28. С.2. См. также более позднюю рецензию Д.И.Выгодского на книги Санжарь «Записки Анны» (Изд. 2. М., 1916), «Заколдованная» (Изд. 2. М., 1916), «По-своему» (М., 1916): Летопись. 1916. №7. С.310 (Подпись: Д.В.).

³⁷ Санжарь Н. Книга и жизнь // Киевские вести. 1910. 22 апреля. №108. С.2. Ср. пересказ доклада в статье: Л.В. [Войтоловский Л.Н.]. Новейшая литература и переживаемый ею кризис: Диспут в зале коммерческого собрания // Киевская мысль. 1910. 30 марта. №89. С.2.

В это же время Санжарь предпринимает попытку философского осмысления своего жизненного опыта: на основе анализа собственной судьбы она стремится решить проблемы всего человечества. При этом, несмотря на свое сдержанное отношение к «новому искусству»³⁸, она обращается к символистской «идеологии» — представлении о жизнетворчестве и «приятии зла», которые пытается соединить с горьковским пафосом величия человека. Так появляется «исследование о человеческой сущности» — «Книга о человеке. Первая» (1910-1913; первоначальный вариант под заглавием «Тетровский»)³⁹.

Исходное положение «Книги...» — мысль о всеобщей взаимосвязи явлений: в мире «перемешаны» «вред и польза, добро и зло, радость и горе»⁴⁰; зло «существует /.../ для того же, для чего существует и добро»⁴¹. Отсюда — возможность использования зла как творческой силы, необходимой для преобразования («очеловечивания») людей. Реально это может быть достигнуто посредством особого игрового поведения («зло» в данном случае — притворство, ложь), направленного на искоренение пороков (например, безнравственного отношения к женщине) или добывание денег для помощи обездоленным. Эту «деятельность» Санжарь называет «творчеством новой жизни» (ср. также письмо к Блоку от 6 января 1914) и видит в ней путь к счастливому будущему.

Свою концепцию писательница иллюстрирует примерами из собственной жизни, а также «вымышленной» историей о встрече с Тетровским — «художником жизни», демонстрирующим ей свое искусство: Тетровский внушает героине любовь к себе, искусно инсценирует роман, а затем себя разоблачает. «Тетровский /.../ — это я», — пояснит Санжарь в письме к Блоку от 10 января 1914⁴².

Работая над «Книгой о человеке», писательница мечтает о воплощении своих идей. В 1911-1914 — сама не имея достаточных средств к существованию — она помогает нуждающимся литераторам — П.Карпову⁴³, Д.Дарскому, Г.Русинову (ср. письма Санжарь Блоку от 26 декабря 1913, 6 и 9 января 1914), расценивая материальную поддержку как средство «очеловечивания». Стремясь «проверить» свой «путь», обрести единомышленников, Санжарь обращается к известным писателям: по-

³⁸ Ср.: Санжарь Н. Книга и жизнь. Указ. изд. С.2.

³⁹ Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. М., 1916.

⁴⁰ Там же. С.9. По-видимому, эта идея возникла у Санжарь под влиянием теософской литературы: мысль о всеобщей «перемешанности» связана в сознании писательницы с представлением о многократном переселении душ (ср.: Там же. С.12, а также письма Санжарь к Блоку от 27 января 1910 и 26 декабря 1913). О роли идеи переселения душ в теософских учениях см.: Бердяев Н. Учение о перевоплощении и проблема человека // Переселение душ: Проблема бессмертия в оккультизме и христианстве: Сб. ст. Paris, [1936]. С.65.

⁴¹ Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.53.

⁴² О Тетровском см.: Там же. С.35-90. «Книга о человеке» вызвала в основном отрицательные отклики; см. обзор рецензий: Бюллетени литературы и жизни. 1916/17. №5. С.71-73. (Без подписи).

⁴³ См. письма Санжарь П.И.Карпову (1911-1914) (РНБ. Ф.124. Ед.хр.3864) и А.С.Серафимовичу от 26 февраля 1926 (РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84. Л.106.).

сешает Ясную Поляну (31 мая 1909)⁴⁴, посылает свои книги и рукописи В.В.Вересаеву (1911-1912), В.Я.Брюсову (1912), В.Г.Короленко (1913)⁴⁵. Однако всех, за исключением Вересаева, писательница отталкивает своей манерой поведения. «...Женщина с двумя огромными конвертами, требующая, чтоб я прочел... ”крик сердца“». И тщеславие, и мания авторства, и корысть. Я огорчился — надо б[ыло] спокойнее», — описывает свое впечатление Л.Н.Толстой⁴⁶. «*Санжар*. Нелепая *ружня!*!» — помечает на ее письмо от 26 августа 1913 В.Г.Короленко⁴⁷.

В этот же период Санжарь обращается за поддержкой и к А.А.Блоку.

Блок впервые услышал о Санжарь еще в 1907 от Вяч. Иванова, рассказавшего поэту о небезызвестной «истории с ребенком». 29 апреля 1907 А.А. и Л.Д.Блоки и К.А.Сомов посылают Иванову шуточную телеграмму: «Дан ли зародыш. Не скупитесь»⁴⁸. Этот эпизод, однако, вряд ли запомнился поэту: через полтора года, когда состоится его личное знакомство с Санжарь, ее имя будет вызывать у него совершенно иные ассоциации.

Первая встреча Блока с Санжарь происходит 7 декабря 1908 в доме Е.П.Иванова, близкого друга поэта, где присутствуют в тот день члены кружка «одиноких» (Е.Иванов был связан с «одинокими» через своего сослуживца А.С.Андреева). «7 декабря был я у Жени на рождении его. Тогда же связался опять с Либерсон (основательница кружка одиноких) и г-жой Санжарь (казачка, сегодня буду слушать ее пьесу /.../», — сообщает Блок матери 14 декабря 1908 (8, 268)⁴⁹.

Осень-зима 1908 — время увлечения Блока общественной деятельностью. Поэт ищет пути решения проблемы «народа и интеллигенции», ощущает потребность выйти к широкой аудитории, найти новых людей.

⁴⁴ Встреча с Толстым подробно описана в «Книге о человеке» (С.178-182). Дату посещения Санжарь Ясной Поляны позволяет установить запись Толстого, без сомнения, относящаяся именно к ней. См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т.57: Дневники и записные книжки: 1909 / Подг. текста и комм. Н.Н.Гусева. М., 1992. С.78.

⁴⁵ См. письма Санжарь В.В.Вересаеву от 10, 29 декабря 1911, 24 января 1912 (РГАЛИ. Ф.1041. Оп.4. Ед.хр.361); В.Я.Брюсову от 17 февраля, 9, 17, 20 марта 1912 (РГБ. Ф.386. Карт.102. Ед.хр.12); В.Г.Короленко от 1, 5, 23 июля, 26 августа 1913 (РГБ. Ф.135/II. Карт.33. Ед.хр.28. Л.2-10об.).

⁴⁶ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т.57. М., 1992. С.78 (запись в дневнике от 1 июня 1909).

⁴⁷ РГБ. Ф.135/II. Карт.33. Ед.хр.28. Л.10. См. также письмо Брюсова к Санжарь от 19 марта (РГАЛИ. Ф.56. Оп.1. Ед.хр.75).

⁴⁸ Блок А.А. Письма к Вяч. Иванову (1907-1916) / Публ. Е.Л.Белькинд // Блоковский сборник. 2. Тарту, 1972. С.373.

⁴⁹ 7 декабря Блоком была сделана дарственная надпись на книге «Земля в снегу» (М., 1908): «Многоуважаемой Надежде Дмитриевне Санжар. От автора. 7 декабря. 1908. СПб». (Литературное наследство. Т.92. Кн.3. М., 1982. С.122).

«Одиноким» для Блока — люди, способные воспринять его идеи (ср.: 8, 252; ЗК, 114); размышляя о них, он приходит к выводу: единственный способ преодоления одиночества — «приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью» (ЗК, 114).

Как и «одиноким», Санжарь привлекает поэта прежде всего уникальностью своего жизненного опыта. «...Она — типа людей случайно не самоубившихся /.../», — пишет он матери в письме от 14 декабря (8, 268). Отражение психологии одинокого человека Блок мог увидеть и в ее пьесе (какую пьесу слушал поэт — «По-своему» или «Нелепость», неясно, но для обеих характерен ярко выраженный автобиографизм).

Общение Блока с Санжарь, однако, вряд ли было в этот период плодотворным: писательница была исключительно далека от блоковской идеи «общественности», а ее представление о себе как о «дочери народа» не могло казаться поэту оправданным («одиноким», по Блоку, — человек, утративший связь с «народной душой»). Наступившие вскоре разочарование Блока в общественной деятельности, глубокая личная драма (смерть сына Л.Д.Блок) и последующий отъезд в Италию приводят к полному прекращению его отношений с Санжарь.

В начале 1910 общение возобновляется. Санжарь, ощутившая потребность во внутренней поддержке (в это время была задумана «Книга о человеке»), посылает Блоку только что вышедшие «Записки Анны»⁵⁰ и просит его высказать свое мнение (ср. письмо от 14 января). В ответном письме (как и большинство писем Блока к Санжарь, оно не сохранилось, но о его содержании можно судить по ответу писательницы — от 27 января 1910) Блок выражает тревогу, воспринимая книгу как своего рода исповедь, свидетельствующую прежде всего о внутреннем неблагополучии автора. «Вы боитесь за меня — меня это очень трогает», — пишет Санжарь в своем письме. С другой стороны, поэт отмечает недостаток повести — «чувствительность» (для Блока — признак «женского» в отличие от «женственного», ср.: 5, 465) и неумение выразить «несказанное» в конце книги (т.е. при описании светлых минут, пережитых героиней после решения посвятить свою жизнь людям).

Через некоторое время Блок упоминает о «Записках Анны» в статье «Литературный разговор» (апрель 1910). Рассматривая повесть — в числе других критиков — как яркий «человеческий документ», Блок видит в ее появлении следствие мрачной общественной ситуации: «Когда воздуха не хватает, отдельные люди и целые группы людей начинают задыхаться и кричать /.../ Вот и среди последних "новинок" есть две очень острые книги таких "русских вопленников": "Записки Анны" Надежды Санжарь и "Говор зорь" Пимена Карпова» (5, 439). Такие книги, по мнению Блока, не следует рассматривать как художественные произведения: «/.../ в этих книгах есть не одни чернила, но и кровь, /.../ и не словами фельетона надо отвечать на эти кровавые и мучительные слова» (Там же; возможно, это высказывание было реакцией на отрицательные отзывы о «Запи-

⁵⁰ «Записки Анны» зафиксированы в «Книжной летописи» как вышедшие между 13 и 20 января 1910 (Книжная летопись... 1910. №3. С.19).

сках Анны» — в частности, Б. Садовского и А. Измайлова). Блоковское сочувствие дает Санжарь повод для попыток установления более близких отношений — она вступает в переписку с поэтом, знакомит его со своими произведениями (кроме «Записок Анны», посылает повесть «Заколдованная принцесса» и доклад на литературном диспуте в Киеве). Сближения, однако, не происходит: ему во многом препятствует длительное пребывание Блока в Шахматово (май — октябрь 1910) и частые отъезды Санжарь из Петербурга.

С 1911 общение Блока и Санжарь становится более тесным. Весной и осенью 1911 писательница часто посещает Блока⁵¹, несколько позже он оказывает ей материальную поддержку (ср. письмо Санжарь Блоку от 6 апреля 1912), в 1913 — начале 1914 она обращается к поэту с просьбой о редактировании ее сказок, советуется относительно помощи нуждающимся литераторам (одного из них — Г. Русина — направляет к ней Блок; см.: 8, 432; ЗК, 199), тогда же она посвящает поэта в обстоятельства своей личной жизни: в 1913 Санжарь познакомилась с известным киевским коллекционером и меценатом Б.И. Ханенко⁵², который стал для нее близким человеком; в течение нескольких лет помогал ей материально, дал возможность жить за границей (в 1914-1916 Санжарь посетила Италию, Францию, Германию, Швейцарию), издал на свои средства ее книги⁵³.

Для Блока в этот период приобретает особое значение документальная литература, в которой он начинает видеть материал, важный для понимания эпохи. Так, осенью 1911 поэт возобновляет свой дневник — своеобразный «автобиографический документ» (ср.: 7, 69, 109, 123), тогда же принимает участие в обсуждении проекта журнала «Дневники писателей»⁵⁴, зимой 1911-1912 думает об издании дневника О.К. Соколовой, к которому пишет предисловие («Дневник женщины, которую никто не любил», 1912, 1918 — 6, 29-37). Одним из подобных «документов» Блок считает и повесть Санжарь «Записки Анны» — книгу, из которой (как и из «Пламени» П. Карпова) «нам придется, рады мы или не рады, запомнить кое-что о России» (5, 486 — статья «Пламень», октябрь 1913).

Несмотря на взаимный интерес, отношения Блока и Санжарь складываются в 1911-1914, как можно судить по ее письмам к нему, непросто. Санжарь явно преувеличивает степень своей духовной близости с поэ-

⁵¹ См.: Письма Александра Блока к родным. Т.2. М.; Л., 1932. С.138. См. также: 7, 70.

⁵² Богдан Иванович Ханенко (1849-1917; год рождения установлен по формулярному списку — РГИА. Ф.23. Оп.3. Ед.хр.110) — основатель Киевского музея западного и восточного искусства, промышленник и общественный деятель; был женат на В.Н. Терещенко — дочери крупнейшего украинского сахарозаводчика. О Б.И. Ханенко см.: Акинша К. Забытый меценат // Наше наследие. 1989. №5. С.28-38. В личном фонде Санжарь хранятся: открытка от Ханенко от 10 ноября 1913, вырезки из газет с его некрологами и его фотографии (РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.89, 155, 165).

⁵³ Санжарь Н. 1) Заколдованная. 2-е изд. М., 1916; 2) Записки Анны; Нелепень. 2 изд. М., 1916; 3) По-своему: Драма. М., 1916; 4) Книга о человеке. Первая. М., 1916.

⁵⁴ См.: Александр Блок и Андрей Белый: Переписка. М., 1940. С.266.

том⁵⁵, пытается добиться блоковского внимания, переживая искреннюю обиду, когда это не удается. Блок видит в таком поведении навязчивость (характерна его запись в дневнике от 17 октября 1911: «изнуренный приставаньем Санжарь» — 7, 70) и нередко уклоняется от общения, хотя и продолжает проявлять беспокойство за писательницу, а иногда прислушивается к ее замечаниям в свой адрес (ср. пометы Блока на письмах Санжарь от 17 февраля 1913 и 6 января 1914, а также: 7, 221).

Об отношении Блока к писательнице можно судить по его отзыву об О.К.Соколовой, чей тип личности он находил во многом сходным с Санжарь: «Это — южанка с неукротимыми страстями /.../, терзаемая и, может быть, растерзанная уже трудной жизнью /.../. Женщина до мозга костей, в области чувства — богатство, широкий диапазон /.../, в области рассуждений — робость, узость, невнятное бормотанье, скучные прописи /.../; в судьбе и стремлениях есть общее с Санжарь, но *лучше* — мягче, без самовлюбленности и самоуверенности, с более узкими, *личными* планами» (запись в дневнике от 29 декабря 1911 — 7, 113. Ср. статью «Дневник женщины, которую никто не любил» — 6, 32).

В письмах конца 1913 — начала 1914 Санжарь особенно активно пытается приобщить Блока к своим поискам. Закончив к этому времени «Книгу о человеке», она настойчиво просит поэта обсудить часть ее работы — «Тетровского». Блок, по-видимому, не вполне вникает в смысл ее идей, продолжая воспринимать ее прежде всего как автора «документальных» произведений, и отказывается от обсуждения книги. «Что же мне ответить Вам? Мы такие разные. /.../ Сам я уверен, что ничего не скажу Вам полезного: ведь мы действуем в совершенно разных областях: моя сила — в форме, Ваша — в бесформенности /.../ Ужасно Вы странный человек, Надежда Дмитриевна, никак Вас не поймешь», — пишет Блок Санжарь 5 января 1914 (8, 432-433).

И все же, уступая просьбам писательницы, 13 января Блок посещает ее. Состоявшийся разговор, по-видимому, прояснил поэту ее позицию, дал почувствовать гуманистический пафос ее стремлений. Беседа касалась и отношений Санжарь с Б.И.Ханенко (которые Блок ошибочно расценил как супружеские) и оставила у поэта благоприятное впечатление. «У Н.Д. Санжарь-Ханенко. Ее "Тетровский". Тридцать девять лет. Приятно (Киев, Ханенко). Какие-то намеки на дело. Впечатление хорошее. Головокружение — почему? Предложение денег», — пишет Блок в день своего визита (ЗК, 201; в опубликованном тексте — ошибка: «Петровский» вместо «Тетровский»).

Последняя запись Блока о Санжарь относится к 20 мая 1914 и свидетельствует о новой, на этот раз наиболее настойчивой попытке писательницы внушить ему свои идеи. «Inferno. Санжарь», — записывает Блок, вспоминая «женоненавистничество» Стриндберга (ЗК, 228; повесть Стриндберга «Inferno» была исключительно близка поэту в то время — ср.: 7, 124-125). Вскоре Санжарь уезжает в Киев, затем — вместе с Б.И.Ха-

⁵⁵ С ощущением внутреннего родства связано, по-видимому, употребление в письмах Санжарь к Блоку специфически блоковской лексики («настоящее», «политика», «мертвец»).

ненко — за границу, после чего ее отношения с Блоком больше не возобновляются.

В первые годы Советской власти Санжарь живет на Украине. Увлекается революционными настроениями, увидев в них связь со своими идеями (ср. представление Санжарь об «очеловечивании» с идеей воспитания нового, социалистического человека). Активно работает в советских организациях — Внешкольном отделе Наркомпроса Украины (Харьков — Киев, 1919-1920), Внешкольном отделе Губнаробраза в Черкассах (1920). В сентябре 1920 вступает в партию. Вскоре уезжает в Москву, где служит секретарем, затем — заведующей детской секцией в ЛИТО⁵⁶. Близко знакомится с А.С.Серафимовичем и писателями-пролеткультовцами М.Герасимовым и П.Кузько⁵⁷.

В 1921 она возвращается на Украину. Живет в Чернигове⁵⁸, выезжая в соседние деревни, где ведет агитацию среди крестьян; сотрудничает в газете «Красное знамя»⁵⁹. С середины 1922 работает в Киеве «как литератор по обслуживанию Санжарь»⁶⁰. Выступает с предложениями по «исследованию человека», но не получает поддержки ни в Чернигове, ни в Киеве и в конце 1922 выходит из партии⁶¹.

В начале 1923 Санжарь окончательно переезжает в Москву⁶². Сотрудничает в журнале «Работница»⁶³, входит в МАПП. Мечтает о продолжении «человековедческой деятельности»: пишет автобиографические повести-«исследования» («Дада», 1923; «Письма к тов. Адольфу», 1925-

⁵⁶ См. анкеты и автобиографии Санжарь 1922, 1926 и 1931 гг. (РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.1; Карт.7. Ед.хр.32, 33), а также ее тексты о жизни на Украине — «Незабвенное», «В красные годы: Записки случайно уцелевшего» и «В дни киевские: Из записок Надежды С.» (начало 1930-х; РГБ. Ф.266. Карт.4. Ед.хр.1, 2, 17).

⁵⁷ Совместно с последними Санжарь писала революционную пьесу-мистерию «Трудовой век» (наброски, 1920 см.: РГБ. Ф.266. Карт.5. Ед.хр.53).

⁵⁸ Недалеко от Чернигова, в селе Выбель, жила семья Санжарь — сестра Лидия Дмитриевна Омельчукова с дочерью Татьяной и, по-видимому, мать. Здесь же в 1914 умер отец писательницы (см.: РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.153; Ф.144. Карт.8. Ед.хр.31).

⁵⁹ Красное знамя: Ежедневная газета Губкома КП(б)У и Губисполкома Черниговщины. 1921. 29 декабря. №292. С.2 (статья Санжарь «Рабья канитель»); 1922. 28 февраля. №340. С.1 (статья «Голос жизни»), 16 апреля. №379. С.2 (статья «В деревне»). Газеты хранятся в личном фонде Санжарь: РГБ. Ф.266. Карт.1. Ед.хр.14, 15, 16.

⁶⁰ См.: РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.33. Л.2.

⁶¹ Там же. Ед.хр.32. Л.3.

⁶² Ср. статью Санжарь о трудностях, пережитых ею в первые месяцы московской жизни: Н.С. Хождение по мукам // Правда. 1923. 25 февраля. №43. С.2. То же — РГБ. Ф.266. Карт.1. Ед.хр.18.

⁶³ См.: Работница. 1923. №10. С.1-3, 23-24 (статья Санжарь «Великое путешествие: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве») и «Прохоровка: Московская фабрика Трехгорной мануфактуры». То же — РГБ. Ф.266. Карт.1. Ед.хр.17).

1928)⁶⁴, произведения о современных людях — в основном, о женщинах из низов, которым удалось «обработать» в себе «человека»: «Красная Берта», 1923-1931; «Как Настя, крестьянка безграмотная, до человека и до писателя домучилась», 1925; «Записки советского гражданина», 1925-1927; «Ганна», 1928; «Женщины наших дней (Лиза, Нелли, мать)», 1930-1931⁶⁵; задумывает два цикла, каждый из 12 книг — «Челвед» и «Записки человековеда»⁶⁶; выдвигает идею создания «человековедческой» организации, существующей на средства от публикации ее произведений, которые хочет издавать как коллективные под подписью «Т.К.» («творческий коллектив»)⁶⁷.

Тему «очеловечивания» Санжарь переосмысляет в духе пролеткультовской идеи человеческого стандарта, человека-машины, способного бороться за новую, социалистическую культуру: «...По-нашему человек — также коллектив, также стандарт: пригоди ладно все части тела, воспитай, обработай правильно "моторную энергию" — психику, и получишь отличного человека», — рассуждает писательница⁶⁸.

Послереволюционное творчество Санжарь не получает признания; ее идеи расцениваются как ошибочные. «Т. Санжарь строит своего человека оторванно ото всего массового революционного движения, от партии и т.д. Это — путь исключительно индивидуалистический», — пишет А.К.Воронский в рецензии на книгу «Дады» (6 апреля 1925)⁶⁹. В 1924 Комиссия по улучшению быта ученых оценивает писательницу по нулевой категории, а в 1927 исключает ее из членов КУБУ⁷⁰. До 1925 Санжарь не может найти работу. В 1925-1930 работает в профсоюзе Мосгоркома писателей казначеем, техником, затем секретарем Союза революционных драматургов, получая мизерную зарплату⁷¹.

Все эти годы писательница тяжело переживает свою непризнанность, рассматривая ее как травлю за идеи. Начиная с 1924, она обращается в различные инстанции: пишет Луначарскому⁷², добивается принятия своих рукописей в Госиздате⁷³, ищет поддержки в ЦКК ВКП(б)⁷⁴. Отстаивая

⁶⁴ РГБ. Ф.266. Карт.2. Ед.хр.10; Карт.4. Ед.хр.4.

⁶⁵ Там же. Карт.3. Ед.хр.17, 26, 29; Карт.4. Ед.хр.18, 19; Карт.6. Ед.хр.20.

⁶⁶ См. список произведений (в том числе задуманных), составленный Санжарь в 1931: РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.34. Л.1об.-2.

⁶⁷ См. письмо Санжарь к А.С.Серафимовичу от 26 февраля 1926: РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84. Л.2-2об.

⁶⁸ Там же. Л.13 (письмо от 23 января 1927).

⁶⁹ РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.111. Л.1.

⁷⁰ См. опросный лист ЦКУБУ, заполненный Санжарь 14 мая 1926 (РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.35), и письмо Санжарь к Серафимовичу от 23 января 1927 (РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84. Л.10).

⁷¹ См.: РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.33. Л.2об.

⁷² См. письмо Санжарь к А.В.Луначарскому от 16 декабря 1924: РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.43.

⁷³ См. справки, выданные Санжарь Госиздатом (1924-1929): РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.20.

⁷⁴ Ср. письмо Санжарь Серафимовичу от 26 февраля 1926: РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84. Л.1.

свое право считаться пролетарской писательницей, она яростно полемизирует с Воронским (статья «Воронщина, как культурное бедствие», 1926⁷⁵), затем с МАПП, руководителей которой презрительно называет «комвельможами». (Вообще, слова «луначарщина», «напостовщина», «воронщина» Санжарь повторяет исключительно часто⁷⁶).

В результате в 1926 атмосфера вокруг нее сгущается. По свидетельству П.А.Кузько, на Санжарь поступает «много ложных доносов, обвиняющих ее в белогвардействе, антисоветизме. Писатели Молчанов и Мих. Голодный собрали 50 подписей, подтверждающих какие-то ее разговоры /.../ и организацию каких-то кружков, бригад пролетбаб» (!)⁷⁷. Около 1927 Санжарь исключают из МАПП, после чего писательница пытается оправдаться, хлопочет о возвращении в партию⁷⁸ и в итоге добивается права печататься под псевдонимом.

В 1928-1929 — впервые за послереволюционный период — издаются ее книги: переработка романа Р.Джованьоли «Спартак» (без указания имени Санжарь), детская книжка об итальянских коммунистах (под фамилией Бриллиант) и повесть об организации трудовой артели беспризорных (под псевдонимом Мих. Авилов)⁷⁹. В 1930 писательница выходит на пенсию. Осенью 1931, после долгих хлопот, Мосгорком писателей признает ее квалификацию заниженной и увеличивает ей пенсию⁸⁰. В 1932 Санжарь серьезно заболела, а уже через полгода П.Кузько будет вспоминать: «Надя еще летом 32 г. узнала, что у нее рак /.../ легла в Боткинск[ую] больницу, где ей и сделали очень удачно операцию /.../ Сейчас я не видел ее месяца полтора—два — и вдруг случайно узнаю, что она опять легла в больницу — и уже умерла. /.../ к ней хорошо относился писат[ель] Серафимович. Я тоже был ее близкий друг. /.../ Жила она невероятно бедно в эти годы»⁸¹.

Н.Д.Санжарь умерла в Москве 10 февраля 1933. Похоронена на Донском кладбище⁸². Могила ее, по-видимому, утрачена.

Предлагаемые вниманию читателей письма Н.Санжарь к А.А.Блоку — своего рода яркий «человеческий документ», дающий представление о личности писательницы. Они интересны и как источник сведений о

⁷⁵ РГБ. Ф.266. Карт.4. Ед.хр.13.

⁷⁶ См. письма Санжарь Серафимовичу, 1926-1928: РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84.

⁷⁷ Предисловие к описи личного фонда Санжарь (РГБ. Ф.266. Л.5-5об.). Иван Никанорович Молчанов (1903-1984) и Михаил Голодный (настоящее имя — Михаил Семенович Эпштейн; 1903-1949) — советские писатели, члены МАПП.

⁷⁸ О рекомендации в партию Санжарь просила Серафимовича, который, однако, ей отказал. См.: РГАЛИ. Ф.457. Оп.3. Ед.хр.84. Л.36.

⁷⁹ Спартак: по роману Джованьоли. М.; Л.: Госиздат, 1928; Бриллиант Н. Зеленые братья. М.: Изд-во ЦК МОПР, 1929; Авилов Мих. Подшефные коммуны №5. М.; Л.: Земля и фабрика, 1929.

⁸⁰ Ср.: РГБ. Ф.266. Карт.7. Ед.хр.34. Л.2об.

⁸¹ Письмо П.А.Кузько племяннице Санжарь Т.С.Омельчуковой (проживавшей в то время в Киеве) от 19 февраля 1933: РГБ. Ф.144. Карт.7. Ед.хр.22. Л.1.

⁸² См. документы по похоронам Н.Д.Санжарь: РГБ. Ф.144. Карт.11. Ед.хр.11.

литературных и человеческих контактах Блока в 1910-1914. Письма публикуются полностью по автографам, хранящимся в личном фонде Блока в РГАЛИ (Ф.55. Оп.1. Ед.хр.393). При публикации исправлены немногочисленные орфографические ошибки, синтаксис — достаточно небрежный у Санжарь — приведен в соответствие с современными нормами.

1.

Петербург,
14-го Января] 1910 г.

Посылаю Вам, Александр Александрович, мою «Анну»¹, и хочется просить, прочитайте хоть Вы ее так, как надо... Я много наслушалась о ней всякой всячины и устно, и печатно — в провинции в особенности ее отметили², — но чего-то главного, главного я до сих пор не слышу.

Не скажете ли этого мне Вы?

Мне нравится, как Вы пишете прозой — в ней я Вас как художника и поэта понимаю и чувствую больше, чем в стихах, которых я, признаюсь, не всегда понимаю и совсем не чувствую.

Но это мой дефект вообще: насколько я чутко понимаю природу, настолько тупа по отношению к искусству.

Надеюсь, Вы не прогневаетесь на меня за высказанное мнение, продиктованное очень хорошим, простым к Вам отношением. Вот если б и Вы также насчет моей Анны...

Буду рада, если Вам захочется о ней что-нибудь сказать.

Всего Вам доброго.

Надежда Санжарь (Дмитриевна)

Коломенская, 5-Б, кв.9.

¹ Санжарь Н. Записки Анны. СПб.: «Антей», 1910. Принадлежавший Блоку экземпляр «Записок Анны» в настоящее время утрачен (см.: Библиотека А.А.Блока: Описание / Сост. О.В.Миллер, Н.А.Колобова, С.Я.Вовина. Под ред. К.П.Лукирской. Кн.3. Л., 1986. С.254).

² См. отклики на первую, сокращенную публикацию повести (Санжарь Н. Записки Анны // Образование. 1909. №1. С.37-86); Басаргин А. [Введенский А.И.]. Перековка души // Московские ведомости. 1909. 28 февраля. №48. С.2; Т.Г. Женщина о женщине в художественной литературе // Женский вестник. 1909. №5/6. С.117-118; Рых [Садовской Б.А.] Обзор русских журналов // Весы. 1909. №2. С.87. О содержании этих рецензий см. вступительную статью. Провинциальная печать, как сообщает в предисловии к отдельному изданию С.М.Бриллиант, «единодушно отметила яркий, искренний и своеобразный характер "Записок"» (Санжарь Н. Записки Анны. СПб., 1911. С.IV).

Москва,
27-го Января 1910 г.

Я Вам отвечу, дорогой Александр Александрович, так, как Ваше письмо заслуживает, — мне только что переслали его сюда¹.

Конечно, я Вам верю, Вас чувствую и хочу, чтобы и Вы меня почувствовали до конца. Да, я не сумела выразить «несказанное» в конце «Анны». Я его намекнула только теперь, в моей только что оконченной «Заколдованной принцессе»² — увидите, какая это у меня вышла милая, милая вещь. Не боюсь этого говорить, т[ак] к[ак] знаю, что в настоящем я редко ошибалась — «принцесса» у меня, действительно, настоящая.

Вы боитесь за меня — меня это очень трогает. Только как же Вы не проследили источник моей чувствительности, как не увидели, что все это идет от моей «детскости»: не изжитый, не проявленный ребенок во мне мечется, лепечет. А малыши редко говорят «звезды», у них везде «звездочки». И не страшна мне эта чувствительность, чем больше я ее проявлю, чем шире изживу, тем лучше. А в «большие» я, пожалуй, никогда не вырасту. Да и не надо. Всякие бывают люди, пусть я буду такой, пусть до самой могилы сидит во мне и мечется, «пищит» дитя. И жалостлива я все от того же. И совсем не медлю: «бриллиант» у меня уже есть, найти его мне помогла «Анна»³, этот страшный камень, который я сбросила с моей души. Теперь я чувствую, все больше и больше становлюсь «собой», и «заколдованность» моя должна непременно кончиться⁴.

Когда будете читать «принцессу»⁵, поймете, о чем я говорю, и скажете, какой цены мой «бриллиант».

Я, правда, истерзана в клочья, я много раз падала отчаявшаяся, проклиная тех, кто меня толкнул или помог так почти предсмертно распластаться, и каждый раз я подымаюсь более сильная и цельная. Во мне сидит чудесное свойство Антея⁶, в этом я все больше и больше убеждаюсь.

Мне нужны падения и муки, в этом моя сила, мощь и жизнь. И нет у меня уже ненависти и отвращения к людям и жизни их. Я так перемучилась, что стала над всем. Нет у меня больше негодования, мне все улыбаться хочется.

Помогли мне разобраться не книги и люди, а природа. Я поняла, что в жизни и натурах людей, как и в природе, перемешано хорошее с дурным, разумное с нелепым, прекрасное с чудовищным, созидающее с разрушающим, великое с мелким, презренное

с божественным. В этой мешанине, кажется, ничто не пропадает. Мы часто видим, какая гнусность выходит из прекрасного и как явная нелепость создает в конце концов чудо⁷.

Я принимаю это не как богач, живущий «на проценты с капитала», а как страстный творец: мне хочется создать *мое* из этой «мешанины». Я хочу создать *мою девятую симфонию*, и если для этого надо ослепнуть — я, не дрогнув, подставлю мои глаза: нате, слепите⁸!

Итак, мне кажется, мне не страшно разрушение и не боюсь я тления: во мне сидит сознание, *что я никогда не умру*. Я люблю смерть, она мне кажется разумной и содержательной, как жизнь. И только человеческая ограниченность, самомнение, трусость могли окружить мудрую смерть тем, чем она у нас окружена. Я люблю кладбище, могилки — не могилы, а могилки...

Я начала писать о смерти т[ак], к[ак] я ее толкую и понимаю.

В этом меня совсем не занимает, какой ярлык надо прищипить к моим работам. Мне кажется, что главное *в силе*, есть она — хорошо. А как себя проявляет, это уже второе — сила везде сила.

Мне кажется, что у меня эта-то «главная сила» и есть. Благодаря ей я выжила, вышла в люди и, думаю, она будет со мной, пока я жива. А потом мы с ней решили прямо в кукушку. Люблю я эту птицу, и так хорошо: сидишь себе на зеленой ветке и кукукаешь. Уж если я чего захочу — так и будет. Аминь.

Теперь о Вас. Меня очень трогает Ваша улыбка, в ней есть что-то мне близкое, совсем детское. Постарайтесь, чтобы она долго, долго жила в Вас. Защищайте ее, не отдавайте на смерть раньше смерти «совсем».

Отчего Вы не хотели познакомиться со мной по-настоящему, не пришли, когда я Вас просила: я хотела сказать Вам что-то, чего люди, к сожалению, друг другу не говорят. Это не критика, совсем другое.

Вы были очень заняты или не хотели? Я решила, что Вы не пришли ко мне потому, что я женщина... а если послушать, что иногда обо мне говорят, то... Сознаюсь, я много среди людей чужда, и серьезно, сознательно, и еще не угомонилась, буду чудить.

Я очень люблю людей, самое удивительное в природе все-таки человек: смотришь и не знаешь, что из него в следующую минуту выскочит — зверь или Бог.

Буду рада, если Вам еще когда захочется мне написать. Я сбежала из Петербурга: давил он меня очень и как-то нехорошо я себя в нем чувствую, одиноко⁹.

Вот если бы Вы еще чего-нибудь написали о себе. Напишите, я буду ждать. А ведь я за Вас «испугалась» давно, а Вы не знали...
Будьте настоящим.

Ваша Н.Санжарь

Москва, Кудринская ул., 25, кв.13.

¹ Письмо Блока утрачено.

² См.: Санжарь Н. Заколдованная принцесса. СПб.: «Антей», 1911. С.3-72.

³ Санжарь обыгрывает фамилию С.М.Бриллианта, издателя «Записок Анны».

⁴ В центре повести «Заколдованная принцесса» — конфликт героини с окружающим миром, не признающим в ней воплощение добра, правды и внутренней красоты. Причина непонимания — «заколдованность» героини.

⁵ По всей вероятности, к письму была приложена рукопись повести.

⁶ Образ Антея — мифологического великана, черпавшего силу у матери-земли, был исключительно важен для Санжарь. Так, по ее инициативе «Антеем» было названо издательство, выпустившее ее первые книги (повесть «Записки Анны» и сборник «Заколдованная принцесса»).

⁷ Ср.: Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. М., 1916. С.9.

⁸ Санжарь смешивает глухоту Бетховена — создателя 9-й симфонии — и слепоту, постигшую в конце жизни И.-С.Баха. Своей «девятой симфонией» писательница называет задуманную работу о «сущности человека» — будущую «Книгу о человеке».

⁹ Ср. с письмом Санжарь П.И.Карпову от 27 сентября 1911: «Вы напрасно думаете, что в таком аду, как Питер, можно долго останавливать на себе внимание. некогда людям, да и не до нас» (РНБ. Ф.124. Ед.хр.3864. Л.1об.). См. также: Санжарь Н. Записки Анны. Указ. изд. С.66-67.

3.

Киев,
25 апреля 1910 г.

Дорогой Александр Александрович,
напишите мне, пожалуйста, чего-нибудь, если у Вас найдется на это время и охота. Я люблю Вашу «прозу»: в ней много понятной мне поэзии, а в стихах я не всегда и не все понимаю.

Посылаю Вам мой урезанный, но все же ясный доклад, прочитанный здесь на литературном диспуте¹. Досталось мне за него

и — не приведи Господи²! Киевские «критики» разнесли меня за то, чего в моем докладе нет, а что есть, того не поняли. У нас все так.

Много у нас везде страшного, и так больно, когда видишь, что делается в литературе. Не понимаю я, как это могут писатели *такое* в своей среде терпеть, как не хотят очистить «свою избу» — Боже мой, сколько дряни, грязи, уродства там накопилось! Отчего это все такие дряблые, ленивые, трусливые и жалкие. На словах чуть не боги, а на деле... Эх, не хочется сплетничать, порассказала бы я Вам кое-что.

Не хорошо у нас, не благополучно, страшно. Лет десять тому назад я говорила, что люди дождутся, что их дети от негодования, протеста, муки будут выбрасывать своим семьям и обществу свои голые, бездыханные тела.

Меня за это считали «злой дурочкой», а теперь... И все-таки человек удивительное существо, и кажется мне, что пали мы так низко, позорно для того, чтобы подняться выше, чем до сих пор были. Идея человека так хороша и велика, что она не может сгинуть, она бессмертна, как бессмертна в природе жизнь³. Люблю я и верю в человека. И так мне хочется брать людей и трясти, трясти и или вытрясти из них гадость, пошлость, зверство, или затрясти насмерть. Оскорбляет меня наша нелепая жизнь невероятно, я бьюсь с бешеной силой сумасшедшего, чтобы хоть как-нибудь эту нелепость нарушить. Какое потрясающее зрелище Врубель, вымаливающий грехи и свободу вернуться «домой»⁴. В конце концов нам придется всем так стать, в этом наше спасение. Напишите мне, пожалуйста.

Ваша Н.Санжарь.

Киев, Б.-Житомирская, 24, кв.9⁵.

¹ Диспут на тему «Новейшая литература и переживаемый ею кризис» происходил в Киеве 29 марта 1910. Посланный Блоку доклад Санжарь — «Книга и жизнь» (Киевские вести. 1910. 22 апреля. №108. С.2).

² Кроме уже упомянутого во вступительной статье отзыва Л.Н.Войтоловского, см. также оговорку редакции «Киевских вестей», опубликованных доклад писательницы: «если /.../ мы даем место реферату г-жи Санжар, то это потому, что, принимая во внимание довольно исключительную биографию молодой писательницы, видим в нем любопытный психологический документ» (Киевские вести. 1910. 22 апреля. №108. С.2).

³ Ср.: «Человек когда-нибудь развернется, расцветет полным своим цветом и будет на земле самым прекрасным и изумительным цветком своего Творца» (Санжарь Н. Книга о человеке... Указ. изд. С.44; ср. С.9-10).

⁴ Речь идет о последних месяцах жизни М.А.Врубеля, умершего в психиатрической лечебнице 1 апреля 1910. Санжарь имеет в виду некролог А.Н.Бенуа, в котором художник отождествляется с героем своих картин — Демоном, а его смерть предстает как возвращение «в дом отца своего» — в рай: «Последние месяцы Врубеля, говорят, были отравлены духовными муками особого характера. Он выстаивал целые дни и ночи на ногах, упорно вымаливая себе прощение за свою /.../ греховность. Наказанный демон, пронзенный насквозь страданиями, смирился, молил о пощаде: "просился назад, в отцову обитель"» (Бенуа А. Врубель // Речь. 1910. 3 (16) апреля. №91. С.3).

⁵ Судя по адресу, Санжарь останавливалась у Леонтия Моисеевича Бриллианта (брата С.М.Бриллианта) — присяжного поверенного и товарища председателя Киевской общественной библиотеки (см.: Весь Киев: Адресная и справочная книга на 1910 г. Киев, 1910. С.648, 894).

4.

[Петербург]
6-го апреля [1912]

Ну, друг, большое спасибо, что с деньгами выручили¹. А я ждала, ждала и, каюсь, начала Вас упрекать в душе, зачем не сказали прямо, что не можете. А вышло «интриги». Вот если они не вмешаются, думаю, смогу вернуть раньше. Для этого мне непременно надо знать, где Вы будете лето и по какому адресу, если что, выслать. Пожалуйста, не забудьте сообщить.

Теперь я вся в работу². Была у Вячеслава Иванов[ича], много говорили, хороший он, тонкий и много мне обо мне сказал нужного и интересного — нет, если бы Вы знали, как он разобрал мой половой демонизм³! Я глаза от удивления открыла широко, широко, и до сих пор они у меня несколько расширенные.

До свидания, мой друг. Очень я дорожу Вашим отношением, и не хотелось, чтобы что-нибудь вырвалось и испортило. Поберегите и Вы его — т.е., если я буду плохая, а я могу быть, т[ак] к[ак] очень горю, рвусь и много хочу, а Вы и на плохое хорошо, ласково улыбнитесь, и... вся моя душа будет с Вами. Не говорите «не надо» — к тем, что Вы имеете, пусть будет и моя. Навязывать себя, и такой, *как я хочу*, — вот моя стихия.

Ваша Н.Санжарь.

У Вас неверно был записан мой адрес: Невский, 98, кв.20 — это верно.

¹ О своем бедственном положении Санжарь писала 20 марта 1912 В.Я.Брюсову после выступления на литературном вечере: «...обра-

тилась к публике с просьбой собрать для меня сейчас несколько рублей, т[ак] к[ак] я очень нуждаюсь» (РГБ. Ф.386. Карт.102. Ед.хр.12. Л.6).

² После получения денег от Блока Санжарь продолжила работу над повестью «Тетровский», которую незадолго до этого пыталась «продать»; ср. письма Санжарь В.В.Вересаеву от 24 января 1912 (РГАЛИ. Ф.1041. Оп.4. Ед.хр.361. Л.5), В.Я.Брюсову от 17 февраля 1912 (РГБ. Ф.386. Карт.102. Ед.хр.12. Л.2об.), а также публикуемое письмо к Блоку от 26 декабря 1913. Впоследствии повесть разрослась в «исследование» «Книга о человеке. Первая».

³ С поэтом и теоретиком символизма Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866-1949) Санжарь поддерживала отношения на протяжении пяти лет (1907-1912). Вопросы пола (в соотнесенности с проблемой положения женщины), по-видимому, занимали в их общении важное место (ср., в частности, обстоятельства их знакомства). Трактовка В.Ивановым этих проблем — в его статье «О достоинстве женщины» (1908): Иванов В.И. По звездам: Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С.377-392.

5.

Петербург,
18-го Октября 1912 г.

Здравствуйтесь, милый Александр Александрович! Позвольте мне, пожалуйста, с Вами повидаться. Кроме этого я настолько теперь разбогатела, что свободно могу вернуть мой долг. Давно бы могла, но всякий раз оказывалось кому-нибудь «понужней», а Вы «богатый»¹...

Если возможно, уделите мне немного времени, и лучше вечером, от 5 час[ов]².

Н.Санжарь. (Над[ежда] Дмитр[иевна])
Стремянная, 1, кв.12, телеф[он] 560-91.

¹ В конце 1909, после смерти отца, Блок получил наследство.

² По-видимому, Блок перенес встречу с Санжарь, договорившись об отдаче долга по телефону: ср. запись в дневнике поэта от 20 октября 1912: «Утром — телефон с Санжарь» (7, 167).

6.

[Петербург]
17-го февраля 1913 г.¹

Здравствуйтесь, дорогой Александр Александрович! Довольно ненужных жестокостей², не гоните и на этот раз, не узнав, что мне

от Вас надо. У нас мало чутких, не мелочных, не отравленных какой-нибудь «политикой» людей, мало истинно серьезных и благородных — вот почему я прошу Вас быть ко мне добрей и внимательней.

Я уже не такая мятущаяся и сумасшедшая, какой была раньше. Я уже разобралась в том, что чуть не довело меня до петли; уже разобралась: в добре и зле, Боге и дьяволе, и что такое наша жизнь, и что такое мы, люди. Отсюда начинается мое, поистине, воскресение из мертвых³.

Я имею возможность иметь сколько захочу страшной, чудодейственной силы денег⁴. Взять их и перевести — не такая уже большая штука. А вот сделать на них действительно разумное, прекрасное, такое, чего — люди не делают — это гораздо трудней. И одной, во всяком случае, невозможно.

Позвольте мне, пожалуйста, с Вами поговорить. Может, мое и заинтересует Вас и Вы захотите к этому приложить также и Ваши руки. Моя идея исключительно художественная⁵, и Вас, как поэта, должна интересовать⁶.

И о благотворительности тут не может быть речи. Жизнь требует от нас добывать рубли: Ваше время, энергия, дарование будут оценены и оплачены, как они того заслуживают.

Прошу Вас, пожалуйста, не бойтесь меня и не считайтесь серьезно с теми легендами, котор[ые] обо мне сложились и распространяются любителями сплетен⁷.

И, повторяю, я уже другая в том смысле, который Вас во мне тревожит⁸.

Если будете на Невском, зайдите, пожалуйста, ко мне: Троицкая, 4, кв.4, подъезд с улицы, спросите швейцара. Или разрешите прийти к Вам.

Только вот еще: свободна я только от 5 час[ов] вечера, а до того занята чрезвычайно. И лучше все-таки сначала переговорить по телефону.

Мой телеф[он] 126-92.

Я убедительно прошу Вас, поборите Ваше ко мне предубеждение, поборите ради того хорошего, что мне хочется⁹ делать.

Надежда Санжарь¹⁰.

¹ Над текстом помета Блока: «Нужен тут Женя?». Женя — Евгений Павлович Иванов (1879-1942) — эссеист, детский писатель, ближайший друг Блока, обладавший, по мнению поэта, способностью благотворно влиять на людей (о высокой оценке Блоком душевных качеств Иванова см.: Максимов Д.Е. Александр Блок и Евгений Иванов // Блоковский

сборник. Тарту, 1964. С.348-352). Санжарь была знакома с Е.Ивановым через кружок «одиноких».

² «*Ненужных жестокостей*» подчеркнуто Блоком, на полях его помета: «!?».

³ Новый этап эволюции Санжарь был связан с формированием концепции «творчества жизни».

⁴ Деньги предоставлял Санжарь Б.И.Ханенко.

⁵ Возле этого слова Блок поставил знак вопроса.

⁶ Рядом помета Блока: «— ?». Санжарь имеет в виду идею «очеловечивания», которую она хотела воплотить на практике.

⁷ Здесь помета Блока: «Не слышал».

⁸ Рядом помета Блока: «Незаметно».

⁹ Слово «*хочется*» подчеркнуто Блоком, его же рукой рядом: «?».

¹⁰ Получив это письмо, Блок отметил в дневнике: «Примечательное письмо от госпожи Санжарь. Все-таки это хорошо, что мне так пишут» (7, 221).

7.

Петерб[ург]
26-го декаб[ря] 1913 г.¹

Здравствуйтесь, дорогой Александр Александрович!

Посылаю Вам книгу Дм. Дарского², и очень хотелось бы знать, что Вы о такой работе думаете. У Вас есть чутье и настоящее, и я хочу себя проверить. Я помогла Дарскому и написать, и издать эту книгу³ — несет ли она собой то, что мне почудилось? Мне очень это надо знать, и я буду очень Вам благодарна, если Вы урвете время прочесть⁴. Брюсов заинтересовался этой работой, рекомендовал ее «Рус[ской] Мысли», но она там оказалась не ко двору⁵.

Имею Вашу «Розу и крест»⁶ — удивительно написана; Вы блестяще доказываете, что можно сделать со словом как искусством, и символ рыцаря так горько верен, так безнадежно человечен — «Он был все-таки верным слугой...»⁷. Вот таким верным рыцарем-«слугой» и Вы мне представляетесь пред лицом чтимого Вами искусства. И живете Вы и горите не для живой жизни, а все для того же искусства, котор[ое] у нас, людей, так, по моему разумению, убийственно оторвано от жизни. Мне Ваша пьеса (мне, как рыцарю и слуге живой жизни) кажется прекрасным венком в великий пантеон — рыцарь гробниц, Вам не страшно?

Задав этот вопрос, я почувствовала: а что, если и вправду наша «земная жизнь есть процесс перерождения», и как бы был удивлен могильный червь, если бы я спросила его: не противно ли ему так питаться, в этом жить? А что, если и поэты на земле перерождаются иногда из червей?

А я, наверно, образуюсь в человека из лягушки — зная свое квакаю и надо — не надо.

Я затеяла довольно трудную работу (ква! ква! ква!), хочу раскусить человека, его сущность, его смысл и назначение на земле. Человек, как неразгаданный сфинкс, стоит предо мной во всем своем фантастическом наряде, из кусков разумного, великолепно-го, вечного и отрепьев гнили, ужаса, стыда. И я не была бы человеком, если бы с присущей мне, как человеку, самонадеянностью, дерзостью и безрассудством я не пыталась бы этого сфинкса разгадать...

И я его разгадываю беспощадно, благо у меня под рукой такой яркий представитель человека, как я сама. И до чего я докопалась?! — ночи не спала, чуть над этим «изысканием» не спатила, не жила, а как одержимая горела — ну и схватила нить! Теперь разматываю очень любопытный клубок. Я точно закупорила всю себя в стеклянный сосуд и верчу его, наблюдаю мою сущность неустанно, жадно, и день и ночь. Я довела себя до такого созерцания, где нет места ни самолюбию, ни гордости, ни позе, ни расчету — одна голая правда, как вижу, чувствую, констатировать котор[ую] не боюсь. И мне не стыдно, чувствую, я такая не одна, *тут со мною и вы все, все!*

Я делаю довольно запущенную работу: нельзя жить не зная, кто мы есть. И тем, что я подошла непосредственно только моим умом, моей душой, моим разумением, т.е. только натурой, только прозрениями, поскольку, конечно, они присущи мне как даровитому человеку, — от этого моя работа нисколько не страдает⁸. Наоборот, я вполне доказываю всю фантастичность нашей человеческой сущности. Отсюда новый взгляд на все, на все⁹. О, мы можем стать волшебниками, когда сильно, страстно, самозабвенно чего захотим.

Наша жизнь потому такая во многом несуразная, нелепая, что мы ей *не занялись, как надо*, в творчестве жизни держимся не как настоящие мастера, не как подлинные художники (на это нам отпущено с избытком), а как дилетанты и подмастерья. Отсюда и строительство наше жизненное такое плохое. Ну, а у «подмастерьев», да еще лукавых и ленивых, в их ненастоящих, кургуzych работах всегда будет кто-нибудь виноват: то «история», то «условия», то «хозяин» и т.д.¹⁰...

Волшебника в себе мы не видим, не ценим, уродуем безбожно — выявить этого волшебника, утвердить куда надо — вот главная цель моей работы. А попутно поставить точки на все і нашей человеческой сущности.

Трудная работа, но я одолею, главная нить клубка уже в руках. Жалко только, что я в моей работе так одинока, хорошо бы, а то и прямо необходимо иногда прочесть другим на свежую голову, выслушать мнения, а я все одна, все в себе, все сама. А я несомненно несу в себе и нужное, и ценное. Вот и к Вам я тянусь за общением души и духа, а Вы по какой-то нелепости или недоразумению меня боитесь — что это? Неужели в самом деле инстинкт червяка перед лягушкой — а вдруг проглоту, да? Как это жалко.

Я прошу Вас, будьте другом, соберите два-три человека и позвольте мне прочесть одну часть моей работы¹¹ — часа полтора чтения, она самая важная, на ней держится все остальное. Она интересна, слушается легко, и Ваше суждение скажет мне, чего я не договорила. Подумайте, пять лет я работаю над этой книгой, вовлекла в нее всю свою душу, веру и чаяния (чуть было ее не продала, да вовремя остановилась)¹², размахнулась очень широко, глубоко, и будет жаль, если в такую серьезную работу вкрадутся мелочи и пустяшные ошибки.

Поймите, у меня нет друзей мне по плечу и по вкусу. А если я тянусь к Вам, так я знаю, что Вы, хоть совсем другой, но мне равный и дурного, неискреннего, мне не скажете. А может, придете ко мне с Вашими друзьями, комната у меня огромная, угощу Вас хорошо (я теперь на положении богатой), и мне не стыдно будет взять у Вас внимание моей работой — она, правда, не плохая.

Пожалуйста, не бойтесь меня, я скоро уеду и надоедать больше не буду. И не сердитесь за червяка, это не грубость, а тон «доказывающего правду».

Затем, у меня купили все мои сказки, хотя хорошо издать (частное лицо¹³), ассигновали 200 руб[лей], чтобы кто-нибудь из хороших мастеров слова прочел их (мне трудно самой редактировать); сказок немного и все маленькие, вроде «Одуванчика», если помните, в сборн[ике] «Принцесса»¹⁴ — может, Вы захотите прочесть: для Вас это сущие пустяки, а деньги, может, на что пригодятся. И я могу не говорить, кто редактировал¹⁵, если Вам это почему-либо неудобно¹⁶. Мне хотелось бы, чтобы прочли Вы, но может, такое предложение нехорошо для Вас. Плохого я не хочу, поверьте. Я это скорей по простоте души. Пожалуйста, не толкуйте меня плохо.

Над. Санжарь. (Дмитриевна)

Мой адрес: Троицкая, 4, кв.4, телеф[он] 126-92.

¹ Над текстом помета Блока: «Ответил 5 янв. 1914». Письмо Блока опубликовано: 8, 432-433.

² Дмитрий Сергеевич *Дарский* (1883-1957) — критик и литературовед. Речь идет о его книге «Чудесные вымыслы: О космическом сознании в лирике Тютчева» (М., 1913). Посланный Блоку экземпляр этой книги утрачен; см.: Библиотека А.А.Блока: Описание / Сост. О.В.Миллер, Н.А.Колобова, С.Я.Вовина. Под ред. К.П.Лукирской. Л., 1986. Кн.3. С.223.

³ Слова: «*Я помогла Дарскому и написать, и издать эту книгу*») подчеркнуты Блоком.

⁴ В ответном письме Блок писал: «Дарского /.../ я просматривал только. Меня поразило, что книга заключается стихотворением Тютчева, которым я живу уже года два и которое хотел поставить эпиграфом к "Розе и кресту"» (8, 433). Речь идет о стихотворении «Два голоса» (1850) — ср. упоминания о нем у Блока: 7, 87-88; 4, 460.

⁵ Работа Дарского была отклонена ввиду наличия в редакции «Русской мысли» близкой по теме статьи С.Л.Франка. См.: Викторович В.А. Дарский // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 1992. Т.2. С.87.

⁶ Драма Блока «*Роза и крест*» была впервые опубликована в альманахе «Сирин» (Сирин: Сб.1. СПб., 1913. С.149-239), вышедшем в августе 1913.

⁷ Заключительная реплика «Розы и креста» («Мне жаль его. Он был все-таки верным слугой») — слова Изоры о погибшем рыцаре Бертроне (4, 246).

⁸ Ср.: «Особенность моего материала та, что я его собирала не научно /.../, а непосредственно, как видят глаза, как чувствует сердце. Такой подход, такое изучение мне тоже казались нужными» (Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.5).

⁹ Фраза вставлена поверх строки.

¹⁰ Весь абзац дословно воспроизведен в «Книге о человеке» (С.185-186).

¹¹ Слова: «*позвольте мне прочесть одну часть моей работы*») подчеркнуты Блоком. Сверху его приписка: «Собрать-то некого». Речь идет о части работы Санжарь — повести «Тетровский» (см.: Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.35-89).

¹² См. прим. 2 к письму 4.

¹³ Б.И.Ханенко; 10 ноября 1913 он писал Санжарь: «тебя прошу подумать об сказочках, у тебя они восхитительны» (РГБ. Ф.266. Карт.8. Ед.хр.89).

¹⁴ См.: Санжарь Н. Заколдованная принцесса. СПб., 1911. С.245-256.

¹⁵ Слова от «*ассигновали 200 руб.*» до «*не говорить, кто редактировал*» подчеркнуты Блоком.

¹⁶ В ответном письме Блок писал: «О сказках: Вы знаете, конечно, Ремизова; знаете, что на него как на мастера стиля (именно относительно прозы) можно положиться. /.../ если хотите, поговорю с ним; или прямо напишите ему /.../ Сам я в прозе немногого стою» (8, 432). По мнению З.Г. Минц, в данном письме отразилась забота Блока о Ремизове (см.: Переписка [А.Блока] с А.М.Ремизовым (1905-1920) / Вступительная статья З.Г. Минц. Публ. и комм. А.П.Юловой // Литературное наследство. Т.92. Кн.2. М., 1981. С.76). Сведениями о том, что по поводу редактирования сказок Санжарь обращалась к Ремизову, мы не располагаем.

8.

[Петербург]
6-го Января 1914 г.

Вы думаете, можно человека понять, не всматриваясь в него по-настоящему? Вам метнулось во мне нечто «знакомое» (туда вошло также и от «истерики») — ну, я стала Вам *ясна*, отсюда и не интересна. Я Вам навязываю себя не так случайно, не так узко лично, как может казаться: в Вас есть такое, за что я Вас всегда буду любить, не специфически по-женски, а тем огромным, чем жива моя душа.

Должна сказать Вам, что я любима мужчиной, как на миллионы может быть любима — только одна. Такое редкое я и разделяю, и радуюсь, и боюсь потерять — без этого мне жилось очень холодно, неуютно, страшно. Это пришло недавно¹, а мое к Вам давно и ни капли *не меняется*. И никогда я не тянулась к Вам, как к мужчине. А между тем, такое опасение в Вас должно было сидеть. И свое делать.

Сейчас ко мне пришла большая в житейском смысле сила, мне хочется в жизни что-нибудь сделать настоящее и людям нужное. Одной трудно, естественно, я тянусь к тем, кому верю. Конечно, я не могу не думать также и о Вас, такого по-своему среди людей редкого. У меня к Вам что-то нежное, трогательное, я бы сказала истинно материнское. И если во мне есть досада, то на Ваше нежелание понять меня. А понять Вы можете, и это дало бы Вам того живого, трепетного, чего я для Вас хочу. И испортить Вашу «форму» — это никогда не может².

Вы читали мою «Закол[дованную] принцессу»³ и так, по несчастной случайности, плохо прочли. Заколдованные слова мелькали перед Вами, как красное перед Юпитером (в быки Вы не совсем вышли)⁴. Я не странный человек⁵, а тоже редкий и среди теперешних людей даже удивительный — говорю так не от самовлюбленности, а по привычке говорить правду, котор[ая] для

меня вне всяких сомнений (проверять мои слова я предоставляю всегда и каждому). Я стою за право видеть, что вижу, верить себе, не боясь попасть в компанию самозванцев и глупцов. В этом мой бунт против неискренних и унижительных для свободной души условностей. Я хочу быть только такой, как мне хочется и нравится. Вкусу моему я доверяю, он помог мне из помойной ямы вытащить мою живую душу без единого пятнышка.

Вам и в голову не приходит, что я есть прежде всего художник — то, что я сделала из себя и своей жизни — искусство настоящее, живое и вдохновенное. Жизнь гнула из меня одно, а я наперекор всему гнула из себя *что хотела*. В творчестве своего лика я не была так стихийна, уже девчонкой я хорошо знала, куда иду, чего хочу и во что мне это обойдется⁶...

Я художник живой жизни. Такое искусство у нас запущено, не стоит на той высоте, где должно. Нашу жизнь направляют, лепят сапожники в искусстве жизни, неумные, а то и подлые, наемники да торгаши. И они не виноваты: что имеют, то и дают...

Пренебрежение сильных, талантливых людей к творчеству живой жизни (все как один предпочитают брать клише, шаблоны, заготовленные убогой, лукавой рукой, берут не разбираясь, что им подсунули), такое пренебрежение — стыд и преступление. Искусство жизни также требует своей школы, своего воспитания, своих вдохновений и бескорыстного ему служения. Я знаю, что человеческая жизнь, а отсюда и наши души, неизменно изменятся, если к такому творчеству приложат руки истинные художники и творцы.

Если я одна могла так преобразить и свою жизнь, и помогла другим *иного достигнуть* — то что же будет, если нас, творцов живой жизни, — будет много? Ведь та сила, и сила огромная, котор[ая] пришла ко мне теперь, — она не бессмысленна, не случайна: она пришла на мой огонек, она принесла мне свои сокровища потому, что верит и любит во мне этот огонек. Так можете себе представить, как я хочу, чтобы таких огоньков мелькало в жизни как можно больше. Сила такого огня — чудотворная.

Я хотела бы Вам рассказать, чего я этой силой наделала, какое трепетное искусство в жизни утвердила, но Вы не хотите меня слушать, потому что мы разные⁷. Как это нелепо! В нашей разности вся наша прелесть, стиль и аромат. Будь Вы похожи на меня, я не уделила бы Вам того внимания, кот[орое] уделяю теперь.

Мы, люди, обладаем удивительным свойством оплодотворяться, размножаться всюду, куда мы ни прильнем нашим разумом, вкусом, сердцем⁸. В Вас я чувствую мои духовные зачатия,

во мне есть драгоценное для Ваших. А обычаи, условности, привычки мешают Вам и видеть, и подойти ко мне как надо, и оценить мое, как оно стоит.

Что Вы знаете о творчестве живой жизни, и не сапожников, а истинных творцов? Или такое искусство Вы тоже проглядели?

Я предлагаю Вам иметь, как поэту, мастеру слова (у меня слово тоже мастерство — и еще какое! Я знаю силу слова, я забраковала форму как ограниченность, рабство — неужели такое свободолобие Вам не понятно? Да ведь в моей-то свободе от формы и есть мой стиль, моя острота и терпкость. Так больше нравится! Так больше люблю!) — мне кажется, Вы сделаетесь более грамотным, более будете знать, что делается в Вашем отечестве, если познакомитесь по-настоящему с такой живой книгой, с таким мастером жизни, как Н.Санжарь. Книги мои искусный жест, да, да!

Не жалейте 2-3 часов, приходите ко мне и, если не уйдете от меня освежившийся, приобшившийся или вкусивший верней [?] чего-то подлинно живого, так это будет значить, что Вы уже мертвец⁹.

Я хочу, чтобы Вы жили, я хочу, чтобы Вы от меня взяли все, что найдется для того, чтобы паярче разгорелся Ваш собственный огонек. Только для этого я всегда к Вам тянулась, только это было у меня всегда первое и мое — второе.

Я хочу прочесть Вам моего «Тетровского», хочу видеть, как разозлит Вас или приятно взволнует Вас мой художник живой жизни. Это не большое, листа полтора. Потом поговорим. Меня очень интересует Ваше впечатление — оно мне нравится, я ему доверяю.

Пожалуйста, не будьте глупым (это тоже бунт против условностей), не бойтесь меня, не навязывайте мне того, [чего нет], и увидите то, что есть.

Дарский (не псевдоним)¹⁰ Вам брат, и я хотела бы дать ему Вашу симпатию. Он тоже редкий. И скромный. И очень еще молодой. И его могут затоптать «свиньи» — надо выручать.

Пожалуйста, не лишайте себя меня, т.е. общения со мной.

Н.Санжарь.

Мне непременно надо поговорить с Вами о Русинове¹¹.

¹ Речь идет об отношениях Санжарь с Б.И.Ханенко.

² Ср. слова из письма Блока к Санжарь от 5 января 1914: «моя сила — в форме, Ваша — в бесформенности» (8, 432).

³ См. письмо 2, прим. 2, 5.

⁴ Санжарь имеет в виду латинское изречение: «quod licet Jovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»).

⁵ Ответ на слова блоковского письма от 5 января 1914: «Ужасно Вы странный человек, Надежда Дмитриевна, никак Вас не поймешь» (8, 433).

⁶ Ср.: «Я сразу родилась с ясно и прочно выраженными чертами и свойствами человека. Уже девчонкой я мыслю и поступаю очень уверенно и смело, точно я что-то знаю /.../ Вокруг меня калечились, зверели, а я жила точно раз навсегда от всего дурного застрахованная» (Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.13).

⁷ Ср. фразу из письма Блока к Санжарь от 5 января 1914: «Что же мне ответить Вам? Мы такие разные» (8, 432).

⁸ Ср.: Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.89-90.

⁹ Слова от «если не уйдете» и до «уже мертвец» подчеркнуты Блоком.

¹⁰ Ответ на слова блоковского письма: «Дарского (псевдоним?) я про-сматривал только» (8, 433).

¹¹ Гавриил Павлович *Русинов* — начинающий литератор; в 1907-1908 печатался в петербургских еженедельниках «Сцена и жизнь», «Русский паломник», «Спорт», а также в «Петербургской газете», «Биржевых ведомостях» и московской «Брачной газете». См. прошения Русинова в Литературный фонд (1908-1912) и Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам (1911-1914): ИРЛИ. Ф.155; Ф.540. В 1912-1914 обращался за поддержкой к Блоку; см.: 7, 128, 222; ЗК, 199, 208; записку Блока И.И.Ясинскому — ходатайство за Русинова (1913?) — Александр Блок. Переписка: Аннотированный каталог / Сост. Н.Т.Панченко, К.Н.Суворова, М.В.Чарушникова. Под ред. В.Н.Орлова. М., 1975. Вып.1. С.410; два письма Русинова к Блоку (1914) — РГАЛИ. Ф.55. Оп.1. Ед.хр.388. В конце 1913 или начале 1914 (к этому времени Русинов — спившийся, опустившийся человек) Блок направил его к Санжарь, которая его «облагодетельствовала». Ср.: ЗК, 199; 8, 432; письмо Русинова к Блоку, начало 1914: РГАЛИ. Ф.55. Оп.1. Ед.хр.388. Л.3-4. Это письмо в аннотированном «Каталоге переписки Блока» (Вып.2. М., 1979. С.398) ошибочно датируется концом декабря 1914. Вскоре Русинов пропил полученные от Санжарь деньги и с известной долей цинизма писал Блоку: «Примите Вы во мне маленькое участие — в моей судьбе. Я лишился комнатки. Я лишился паспорта. /.../ Возьмите же на себя труды передать чувства глубокого уважения и преданности Надежде Дмитриевне. /.../ Скажите, что я в нее "Верю" /.../ кроме мира приятных фантазий и грез [намек на гуманистическую проповедь Санжарь. — А.З.] мне нужны деньги» (письмо б.д.: РГАЛИ. Ф.55. Оп.1. Ед.хр.388. Л.1-2). Блок ответил Русинову 16 февраля 1914 (см.: ЗК, 208; письмо не сохранилось); в это время Санжарь, по-видимому, была в Киеве и откликнуться на просьбу Русинова не могла. Вероятно, вскоре прервались и отношения Блока с Русиновым.

[Петербург]
9-го Января 1914 г.

Очень прошу, скажите, что Вы знаете о Русинове. Мне хочется для него сделать все, что я смогу. Для этого надо мне знать: не больной ли он? Не алкоголик ли? Можно ли ему доверять, на него положиться, как на разумного человека? Почему он такой запущенный, несчастный? Что он делает и к чему, по-Вашему, может быть годен.

О себе он предпочитает не говорить, а расспрашивать как-то неловко. Скажите, что Вам о нем известно.

Я, должно быть, опять задала Вам о себе загадку. А Вы поступите, как всегда поступали: не лежит душа, и не насилуйте ее. Авань, когда-нибудь я стану Вам понятней — отсюда и все остальное будет.

Если можете сделать мне нужное, прочтите книгу Дарского и скажите, что Вы в ней увидели¹.

Я пробуду здесь, возможно, еще месяц.

Всего Вам доброго и радостного.

Н.Санжарь

Что бы Вы ни сказали о Русинове, я от него не отвернусь, а только разумней сделаю, что надо.

¹ Сведений о том, что после беглого просмотра Блок обращался к книге Дарского, не сохранилось.

[Петербург]
10-го Января 1914 г.

Александр Александрович, голубчик, окажите мне доброе и нужное: прочтите «Тетровского»¹ и позвольте с Вами об этом «художнике» поговорить. Поймите, тем, что Вы другой², — это мне и надо. На Вашем я проверяю мое, никто нас настоящему так не учит, как честный, благородный «враг».

Я хочу Вам рассказать — именно Вам, т[ак] к[ак] Вы не будете лукавить, политиканствовать, а скажете что видите и чувствуете по-Вашему — рассказать удивительную историю творчества по Тетровскому, хочу, чтобы Вы как человек и поэт знали такое, чего Вам, может, ни одна книга не скажет и уж наверно ни одна живая душа. Вам это не лишнее знать, а мне очень надо проверить.

Видите, у меня такое ощущение, точно я запуталась, и безнадёжно, страшно, или раскусила такое, за что в былые времена сжигали на костре. В горении у нас есть с Вами нечто родственное, и я никого не вижу подле себя, кто бы мог просто, не пристрастно сказать мне кое-что нужное и что скажете, наверно, Вы. Тетровский не выдумка — это я. Из «Анны» — Тетровский — тут есть над чем призадуматься. И я уже над Тетровским. И со мной два друга — в одной руке Бог, в другой — дьявол. И я, и мои друзья в общем сущность одного и того же естества.

По моим изысканиям, дьявол не враг Бога, а другой Его, Бога, лик. А для чего — в этом-то весь мой сказ.

В моей работе по изучению человека много всего наворочено — я не боюсь среди несуразных глыб разбрасывать подлинные жемчужины, мне даже нравятся эти контрасты — умеющий понимать поймет и отделить одно от другого сумеет, а те, кто в отделенном виде может топтать жемчуг, — я их не боюсь и никогда с ними серьезно не считаюсь. А Ваше понимание мне дорого и мило, хотя бы Вы и понимали это как чужое Вам.

Тетровский — это только черновой набросок и начало огромного материала: наблюдений, догадок, экспериментов над сущностью человека. Если Вас заинтересует творчество Тетровского, то я Вам покажу, как оно развернулось дальше и каковы его результаты.

По форме дальнейшее уже творит женщина, оплодотворенная духовно Тетровским¹. История любопытна и оригинальна. Правда в ней, как и во всякой нашей правде, может быть спорна, но я горела страстно, бескорыстно, самоотверженно, и эта *правда мук* — всегда есть и будет для людей нужной и ценной. Пускай другие идут дальше, а я к такому и так пришла.

Должна сказать Вам, что я здорова, как никогда не была, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. А если волнуюсь сейчас, так из опасения, что Вы не захотите со мной знакомиться по-настоящему. А мне это надо, и не для меня одной. Я уже писала Вам, почему. Когда прочтете, может Вам удобней, если я к Вам приду. А то приходите ко мне².

Ваша Н.Санжарь.

¹ К письму была приложена рукопись повести. Ср. запись в записной книжке Блока от 10 января 1914: «Рукопись "Тетровский" с письмом от Санжарь» (ЗК, 200). Описание встречи с Тетровским см.: Санжарь Н. Книга о человеке. Первая. Указ. изд. С.35-89.

² Ср. с письмом Блока Санжарь от 5 января 1914: «Мы такие разные. /.../ мы действуем в совершенно разных областях /.../» (8, 432).

³ Этот план был частично реализован в советское время — в неопубликованных повестях Санжарь «Дадя» (1923) и «Письма к тов. Адольфу» (1925-1928).

⁴ Блок посетил Санжарь 13 января 1914 — см.: ЗК, 201.

А. Даманская

НА ЭКРАНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Вступительная статья, публикация
и комментарии О.Р. Демидовой

Августа Филипповна Даманская (псевд. А.Вершинина, А.Д-ская, А.Мерич, А.Филиппов¹, 1875-1959) — поэтесса и прозаик, драматург, литературный критик, журналистка, переводчица. Даманская переводила с пяти европейских языков; она была первой русской переводчицей Романа Роллана²; в ее переводах русская публика знакомилась с произведениями Джемса Барри, Арнольда Беннета, Бернгарда Келлермана и многих других западноевропейских писателей³. «Совокупность трудов А.Ф. Даманской как переводчицы столь внушительна, что едва поддается обозрению: тут дело целой жизни. *Сорок пять томов*, переведенных с французского, немецкого, английского, итальянского, польского языков: целая полка книг», — писал Андрей Левинсон в статье, посвященной вечеру писательницы⁴.

Августа Филипповна Даманская родилась 28 июля (ст. ст.) 1875 в селе Попелюхи Подольской губернии⁵. Сведения о ее жизни до 1920 весьма скудны и нередко противоречивы. Окончила гимназию в Одессе⁶; после

¹ Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. Т.4. М., 1960. С.156.

² Ее переводы вошли в десятитомное издание «Жана Кристофа» ([Пг.]: Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов, 1918-1923). См. также прим. 14 к тексту воспоминаний.

³ Барри Д. Белая птичка / Пер. А. Даманской // Летопись. 1917. №1-6; То же. Пг.: Изд-во «Парус», 1918; То же. Пг.: Государственное изд-во, 1922 (Всемирная литература. Вып.49); То же. Берлин: «Огоньки», 1923; Беннет А. Святая любовь / Пер. с англ. А. Даманской // Современный мир. 1912. №10-12; То же. М.: «Польза»; «В.Антик и К°», 1913; То же. 1913-1915; То же. М.: «Универсальная библиотека», 1918; Келлерман Б. Идиот / Пер. А. Даманской // Келлерман Б. Собрание сочинений: В 4 тт. Т.1. Спб.: «Прометей», 1913; То же. Л.: «Мысль», 1925; То же. 1927; Келлерман Б. Море. М.: «Польза»; «В.Антик и К°», 1911; Келлерман Б. Туннель / Пер. с нем. А. Даманской и З.Журавской. СПб.: «Прометей», 1913.

⁴ Левинсон А. А.Ф. Даманская: К вечеру писательницы 2 марта // Последние новости (Париж). 1927. 17 февраля. №2157. С.3.

⁵ Используются биографические данные из архива П.В.Быкова (РНБ. Ф.118. Ед.хр.70). В анкете для «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С.А.Венгерова Даманская указала, что родилась в 1877 (ИРЛИ. Ф.377. Оп.6. Ед.хр.1280).

⁶ The Bakhmeteff Archive for the History and Cultures of Russia and Eastern Europe at Columbia University (BAR). Damanskaia. Box 2. File 1. В анкете из собрания Венгерова — «образование домашнее» (ИРЛИ. Ф.377. Оп.6. Ед.хр.1280).

неудавшейся попытки устроиться на службу в 1892 по настоянию родных вышла замуж за врача⁷ (вероятно, Хаима Бенциановича Диманта⁸) и переехала в Петербург. В первый год замужества «очень увлекалась анатомией и мечтала о лекарских курсах; потом изучала, и с большим усердием, музыку, драматическое искусство»⁹, однако не сделалась ни музыкантшей, ни актрисой.

В своих воспоминаниях, написанных в последний год жизни для Бахметьевского архива, Даманская рассказывает о посещениях «пятницы» Я.П.Полонского, где она познакомилась с Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, В.В.Розановым, Поликсеной Соловьевой¹⁰. «Пятницы» «решили судьбу» Даманской: с 1900 начинается ее литературная деятельность¹¹. В 1900-1917 Даманская сотрудничала не менее чем в двадцати российских периодических изданиях; ее стихи, очерки, рассказы и переводы печатались в «Петербургской жизни», «Биржевых ведомостях», «Научном обозрении», «Мире Божьем», «Русских записках», «Вестнике иностранной литературы», «Приднепровском крае», «Аргусе», «Образовании» и других столичных и провинциальных газетах и журналах¹².

Сама Даманская считала началом своей литературной карьеры 1903 год, когда она «начала работать в основанной тогда "Руси" за подписью А.Филиппов»¹³, и когда ее рассказ «В Америку» (Русское богатство. 1903. №12) был отмечен критикой. «В XII книжке "Русского богатства" г-жа А.Даманская дает ряд картин из еврейской жизни, — писал Юлий Айхенвальд. — Печальна и голодна эта жизнь, и кто может, спешит уйти от нее, хотя бы в Америку. /.../ Произведение г-жи Даманской заключает в себе много жизненной правды; фигуры, и главные, и второстепенные, очерчены довольно живо. Но автор не удержался и от сочинистки, — особенно в описании грез столера Мейера: не мало беллетристики в его восхищении красотой богатой жизни, — книгой звучат его рассказы об ожидающем его "голубом море, которое поет день и ночь", о "пенящихся водах", звездах-алмазах, душистых цветах»¹⁴. Айхенвальд первым подметил сильные и слабые стороны

⁷ См. недатированное письмо Даманской Быкову: «Близкие мои решили тогда, что мне ничего не остается, как выйти замуж. Что я и сделала» (РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1).

⁸ См.: Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом Министерства Внутренних Дел, на 1891. СПб., 1891. Имя мужа не указано в воспоминаниях Даманской, мемуаристка лишь сообщает, что он был думским врачом. Подтверждения последнему обнаружить не удалось. Фамилия Даманской по мужу указана в анкете из собрания Венгерова.

⁹ РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1.

¹⁰ VAR. Damanskaia. Box 2. File 1.

¹¹ Литературным дебютом Даманской, вероятно, было стихотворение «Позабитых песен эхо...», опубликованное в «Петербургской жизни» (1900. №404. С.3251). Более ранних публикаций обнаружить не удалось.

¹² См. картотеку А.Д.Алексеева в ИРЛИ.

¹³ РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1об.

¹⁴ А[йхенвальд Ю.] Журнальное обозрение // Русская мысль. 1904. №2. Отд. II. С.195-196. См. также прим. 6 к тексту воспоминаний.

дарования начинающей писательницы: наблюдательность, точность изображения, умение тонко передать настроение — но и «сочиненность», растянутость описаний, приверженность к штампам. Даманская была признательна Айхенвальду за лестную, по ее мнению, оценку рассказа. К сожалению, рецензия положила начало своего рода стереотипу: впоследствии критики неизменно порицали писательницу за «склонность к прилагательным»¹⁵ и за то, что «главное, суть остается в тени»¹⁶, хотя и признавали обаяние ее «мягкого и симпатичного таланта». «Г-жа Даманская /.../ посвятила свое дарование /.../ преходящим настроениям, которые она рисует, не углубляясь, мимоходом, вскользь. Сюжеты ее рассказов неизменно приурочены к беглым встречам, к случайным, мимолетным отношениям. /.../ В них нет глубины, нет захватывающей силы, и все проникнуто каким-то смутным женственным или, как любит выражаться сам автор, "радостно-печальным" настроением»¹⁷.

Одним из немногих, кто отказался от сложившегося стереотипа, был Георгий Адамович. «Область Даманской — "маленькая жизнь", а не великие страсти и великие преступления. В этой маленькой жизни она видит самое значительное — душу человека», — писал он в рецензии на сборник ее рассказов «Жены» (Париж, 1929)¹⁸.

Как переводчик Даманская обращалась в основном к роману и повести; в ее оригинальном творчестве преобладают рассказ и очерк¹⁹. Вероятно, выбор жанра был обусловлен не только особенностями дарования писательницы, но и практикой газетной и журнальной работы. Не случайно Адамович назвал рассказы Даманской «моментальными фотографиями», сравнив их с «записной книжкой /.../ внимательного и умного наблюдателя»²⁰.

Тема большинства рассказов Даманской — несложившаяся женская судьба. Действие происходит в Петербурге («Однажды»), в родовой имении («Панна Теофилия»), в дороге («Проездом»), но чаще всего — в одном из европейских пансионатов для иностранцев («Фен», «Письмо», «Синьора Морелло», «Стеклопанельная стена» и др.), где героини ведут оди-

¹⁵ Кранихфельд В. А. Даманская. Рассказы // Современный мир. 1908. №9. Отд. II. С. 70, 72.

¹⁶ П. Ш. А. Даманская. Стеклопанельная стена // Руль (Берлин). 1921. 13 ноября. №302. С. 10.

¹⁷ Кранихфельд В. Указ. изд. С. 70.

¹⁸ Адамович Г. «Жены» А. Даманской // Иллюстрированная Россия (Париж). 1929. №39. С. 8.

¹⁹ При жизни Даманской были изданы четыре сборника ее рассказов (Рассказы. М.: «Основа», 1908; Где-то там... Пг.: «Жизнь и знание», 1918; Стеклопанельная стена. Пг.: «Жизнь и знание», 1918; То же. Берлин: «С.Ефрон», 1921; Жены. Париж, 1929), памфлет «Картонные домики советского строительства» (Берлин: «Тип. Neue Zeit», 1921), книга очерков «Радость тихая» (Париж, 1929), повесть «Вода не идет» (Берлин: «Грани», 1922) и роман «Миранда» (Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953). Посмертно ее произведения не переиздавались.

²⁰ Адамович Г. Указ. изд. С. 8.

нокую жизнь, почти утратив надежду на счастье. В основе сюжета — мимолетная встреча, случайное знакомство, обманутые ожидания. Несомненна автобиографичность многих рассказов: после разрыва с мужем²¹ Даманская в 1900-1910-х подолгу жила в недорогих пансионатах в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, воспитывая больного сына²² и зарабатывая на жизнь журналистикой и переводами.

В годы войны Даманская выезжала из России лишь однажды, летом 1915, чтобы забрать из Швейцарии больного сына. Пришлось ехать кружным путем через Стокгольм, Берген, Нью-Касл, Лондон, Париж. В Англии она встречалась с П.А.Кропоткиным²³.

После возвращения писательница жила в Царском Селе и Петрограде, много ездила по провинциальным городкам как корреспондент различных газет.

К Февральской революции отнеслась скептически, считая любой социальный переворот губительным для культуры²⁴. Однако долг честного журналиста не позволял ей стоять «в стороне от схватки»²⁵: летом и осенью 1917 в эсеровской газете «Воля народа» печатались очерки

²¹ Обстоятельства семейной жизни Даманской полностью прояснить не удалось; сама она указывает в воспоминаниях, что в 1910 ее личная жизнь «невесело осложнилась» (см. мемуар «О том, что не забывается» данной публикации), тогда как в письме М.Мельгунова в Литературный фонд от ноября 1902 указано, что Даманская «в разезде с мужем» (ИРЛИ. Ф.155. 18 ноября 1902).

²² Даманский Борис (1896-1919 или 1920?); в упомянутом письме Мельгунова сообщается: «на руках у нее шестилетний ребенок». Даманская неоднократно обращалась в Литературный фонд за средствами на лечение и воспитание ребенка (ИРЛИ. Ф.155. 12 января 1909, 23 марта 1909, 3 января 1911, 19 июля 1911, 11 августа 1911, 22 августа 1911, 2 апреля 1912, 18 декабря 1912, 20 мая 1913, 21 июля 1914). Возможно, сын был внебрачным; в пользу этого предположения свидетельствует то, что он носил фамилию матери, а также то обстоятельство, что Литературный фонд удовлетворял просьбы Даманской, что не было бы возможно, если бы отец ребенка по закону обязан был содержать его.

²³ Эту встречу Даманская описала в своих воспоминаниях; именно Кропоткин «открыл» ей Дж.Барри, чью книгу «Белая птичка» она впоследствии перевела (ВАР. Damanskaia. Vox 2. File 3).

²⁴ См. ее письмо В.С.Миролюбову, написанное весной 1917: «Лед, который сейчас шуршит на Неве, волнует меня больше всех митингов и споров. /.../ Я была недавно на одной лекции о литературе вчерашнего и завтрашнего дня. Лектор — приват-доцент Коган убеждал, что до сих пор литература не имела никаких общих связей с массой, с пролетариатом и потому оказалась вне жизни и, стало быть, ненужной /.../ — стало быть, все творчество, все муки двух поколений писателей, поэтов — под один знаменатель... нулевой. /.../ Я жила почти во всех странах Европы, жила на Капри, видела так много людей и знаю, что основное, человеческое не меняется от режима и от состава кабинета министров. И знаю, что везде несколько искренних, жаждущих облегчить жизнь ближнему, идут рабски за честолюбцами, за фанатиками, за беспощадными утвердителями догмы. — И ни к одной из этих групп человеческих я не примыкаю» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.34об., 35об.).

²⁵ «И нет у меня внутреннего оправдания тому, что я не участвую в общественной работе, как у больших, у настоящих художников» (Там же. Л.34об.).

Даманской об отношении к революции в провинции, о подготовке к выборам в Учредительное собрание²⁶.

Октябрьский переворот оправдал худшие опасения Даманской, но первое время она, как и многие, пыталась приспособиться к новым условиям, возможно, надеясь на скорое падение новой власти²⁷. В 1918-1920 сотрудничала во «Всемирной литературе»²⁸, весной и летом 1920 «занималась с арестованными проститутками и спекулянтками, интернированными в Трудовой Колонии на Станции Разлив под Петроградом»²⁹. Вероятно, решение бежать из России окончательно сложилось к весне 1920³⁰. В июле Даманская добилась от Педагогического института командировки в Псков, откуда рассчитывала уйти в Ревель. До начала августа читала лекции по зарубежной литературе и преподавала французский язык на летних курсах для народных учителей, по окончании которых, переодетая деревенской бабой, без паспорта, пешком добралась до пограничной деревушки Мижуги и перешла эстонскую границу. После домашнего ареста в Печорах Даманской удалось попасть в Ревель.

Как и многие, Даманская покидала Россию «не навсегда», рассчитывая скоро вернуться. На юге России оставалась ее мать, в Москве — сестра с маленькими детьми, в Кисловодске — другая сестра, признавшая новую власть (врач по профессии, она «ведала казенную лечебницу»)³¹.

В Петрограде оставались друзья. Все эти родственные и дружеские связи, по мнению Даманской, «налагали /.../ некие обязательства», и она

²⁶ См., например, «Предвыборный митинг (Письмо из глуши)» (30 июля. №79. С.2), «Однокровный» (13 августа. №91. С.2). См. также письмо Миролюбову из Могилева (конец сентября — начало октября 1917): «Я хотела бы только провести несколько собраний с пригородными бабами о выборах в Учредительное собрание и числа 3-4 октября уехать» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.36). Сотрудничество в «Воле народа» Даманская объясняла в письме Миролюбову (1917): «Если я так настойчиво добиваюсь удовольствия быть напечатанной в "Воле народа", то потому лишь, что хочу связать себя с какой-либо общественной группой, которая мне симпатичнее других» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.46). Возможно, определенную роль сыграло и давнее знакомство с В.М.Черновым.

²⁷ О жизни в Петрограде в 1917-1920 Даманская рассказала в «Карточных домках советского строительства».

²⁸ См.: «Издательство "Всемирная литература". Перечень выполненных работ и счета сотрудникам и авторам» — ЦГАЛИ (СПб.). Ф.46. Оп.1. Д.1.С.85-88; Д.26. С.39. Даманская оставила воспоминания об издательстве и своей работе в нем (BAR. Damanskaia. Vox 2. File 1).

²⁹ Карточные домики советского строительства. Указ. изд. С.7.

³⁰ Ср. письмо Миролюбову из Эстонии от 27 августа 1920: «Я много-много колебалась и думала о том, имею ли я право бежать с родины — хотя бы и оскверненной, изуродованной, оплеванной; меня долго мучил вопрос — хорошо ли я делаю, унося на чужбину мои скромные знания и мою работоспособность. И после долгих колебаний и мучений получился в душе ответ, что это самое честное, что я могу сделать /.../ Я убедилась, что ниточки, к[от]орая связала бы меня с современной русской действительностью, мне не найти. Она мне слишком чужда» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.7об.).

³¹ Даманская А. Берлин. 1920-1923 — BAR. Damanskaia. Vox 2. File 3. Сведений о судьбе родственников Даманской обнаружить не удалось.

«эти обязательства применяла и к себе самой»³². Прежде всего необходимо было рассказать правду о том, что происходит в России. Даманской удалось пронести через границу (защитыми в одежду) много заметок, и по этим заметкам она составила доклад «Карточные домики советского строительства», который прочла сначала в Ревеле, затем в Юрьеве. В Ревеле же началось ее сотрудничество в эмигрантской печати: Даманская писала литературные заметки, рассказы, театральные рецензии, иногда передовые статьи для газеты Чернова «Народное дело». Газета, по воспоминаниям Даманской, «нужна была ему и Керенскому не для просвещения русских читателей в Ревеле, а для другой, более важной задачи, а задача эта была наивозможно скорейшее свержение советской власти»³³.

Вскоре Даманской при помощи И.В.Гессена³⁴ удалось получить немецкую визу, и в ноябре она выехала в Берлин³⁵. Берлинский (ноябрь 1920 — сентябрь 1923) и последовавший за ним парижский периоды жизни подробно описаны Даманской в воспоминаниях³⁶. Жила она уединенно, по необходимости поддерживая старые и заводя новые знакомства³⁷, но ни с кем близко не сходясь; как и прежде, зарабатывала на жизнь пером. К помощи общественных фондов обращалась редко — ей казалось «ззорным принимать общественную помощь, имея возможность своим трудом покрывать свои расходы. Из вывезенных из России красивых чувств еще оставалась — гордость»³⁸. Правда, с годами это чувство «постепенно замирало», однако до конца жизни Даманская предпочитала «сама платить за свой обед»³⁹.

Даманская сотрудничала во многих эмигрантских изданиях: в уже упоминавшемся «Руле», в «Днях» А.Ф.Керенского (1921-1928), в «Последних новостях» П.Н.Милюкова (1920-1940), в рижской «Сегодня» (1919-1940), в пражской «Воле России» (1920-1921), в берлинском «Голосе России»⁴⁰, в русских газетах Софии, Бухареста, Нью-Йорка, Харбина. Писала рецензии, заметки о новинках европейской литературы, путевые очерки⁴¹. Издавала старые переводы и переводила новые книги по заказам

³² VAR. Damanskaia. Box 2. File 2.

³³ Там же.

³⁴ Гессен Иосиф Владимирович (1866-1943) — юрист, публицист и общественный деятель, в 1920-1931 редактор газеты «Руль» (Берлин).

³⁵ Даманская прибыла в Берлин 20 ноября 1920.

³⁶ VAR. Damanskaia. Box 2. Files 2-9. Подготовлены к публикации в «Новом журнале» (совместно с М.И.Раевым).

³⁷ В 1923 она была членом Правления Союза русских переводчиков в Германии. См.: Новая русская книга. 1923. №2 (февраль). С.40.

³⁸ VAR. Damanskaia. Box 2. File 2.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Газета начала выходить в конце 1921 как «внепартийное» издание, некоторое время редактором ее был С.Л.Поляков-Литовцев, однако вскоре издание перешло к эсерам.

⁴¹ Публикации Даманской в эмигрантских периодических изданиях учтены в картотеке А.Д.Алексеева (ИРЛИ).

эмигрантских издательств⁴². На собственное творчество времени почти не оставалось, и это причиняло Даманской немало страданий на протяжении всей ее — не только эмигрантской — жизни. Она считала себя прежде всего писательницей и, сознавая, насколько скромно ее дарование, все же надеялась создать что-нибудь «настоящее», если бы судьба наконец улыбнулась ей. Еще в 1912 она писала Ф.Д.Батюшкову: «Мне все еще кажется, что я могу сделать что-то, а годы уходят, и с ними силы — в самой томительной борьбе. Чуть закружится что, и забота приглушает это. /.../ Если бы нашелся человек, который дал бы мне возможность поработать 6-8 месяцев хотя бы в относительной обеспеченности»⁴³. В письме к Миролубову Даманская сравнивает себя с верующим, которому помолиться некогда. «Вечно во мне что-то бродит, и я знаю, что это вовсе не мелкое и не дурное, и, как торгош, топчусь подле храма, а войти в него не могу, и некогда с моим ларем — переводами, заметками и всяким вздором»⁴⁴.

Собратья же по перу видели в ней, главным образом, журналистку и переводчицу. Даманская знала об этом и неизменно пыталась переубедить тех, чьим мнением дорожила. Одним из них был А.Г.Горнфельд, которого Даманская почитала как своего учителя в литературе⁴⁵ и с которым ее связывали годы долгой дружбы. «Вы меня всё "уничижительно" спрашиваете, что я перевожу, а не что я пишу, — писала она Горнфельду из Парижа. — А я пьесу кончила, и очень ее хвалят, а в "Современных записках" так похвалили, что даже дерзостно присовокупили: не ожидали, мол, от меня и т.д.»⁴⁶.

Отношения с коллегами складывались у Даманской непросто. Причин тому более чем достаточно: горячий, неуступчивый характер, неуживчивость, старые обиды, тяжелые условия эмигрантской жизни. Возможно, одной из главных причин было то, что Даманская сотрудничала в изданиях различной политической ориентации, поскольку не признавала «партийности», «клановости» в литературе и журналистике, справедливо полагая, что между черным и белым существует множество оттенков, которые «должен воспринимать честный эмигрантский глаз»⁴⁷. Подобная позиция далеко не всем была по душе. И то, что Михаил Осоргин считал безусловным достоинством («Даманская /.../ в литературу не вносит политики»⁴⁸), не могло не вызывать раздражения у Бориса Савинкова.

⁴² Даутендей М. Письма-сказки с о-ва Явы. Берлин: «С.Ефрон», 1922; Де Костер Ш. Фламандские легенды. Берлин: «Грани», 1923; Шторм Т. Иммензее. Берлин: «Грани», 1922; Гобино А. Возрождение: Исторические сцены. Берлин: «Нива». 1924.

⁴³ ИРЛИ. Ф.155. (Письмо от 30 апреля 1912).

⁴⁴ ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.110б. Письмо не датировано.

⁴⁵ См. мемуар «О том, что не забывается» настоящей публикации. К Горнфельду написаны последние письма из Пскова (от 31 июля и 8 августа 1920) перед уходом из России. РНБ. Ф.211. Ед.хр.1306.

⁴⁶ РНБ. Ф.211. Ед.хр.1306. Письмо от 3 сентября 1924. Речь идет о пьесе «Дом № 17-й», которая была переведена на итальянский язык и поставлена во флорентийском театре «Dei Fidenti».

⁴⁷ Письмо Миролубову от 28 янв. 1926. (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.26).

⁴⁸ Осоргин М. Ей и о ней // Дни (Париж). 1928. 18 марта. №1362. С.3.

«А Даманская-то — эсерка, строчит у Керенского!» — ехидно восклицал он⁴⁹. Савинкову вторил А.В.Амфитеатров: «Вот до чего распустили журналистику нынешние удивительные времена: Августа Филипповна пикать дерзает!»⁵⁰

По меткому замечанию того же Осоргина, Даманская так много писала о других, что считалось естественным редко и мало писать о ней⁵¹, к тому же немногим критикам удавалось написать о ней объективно. А между тем она была замечательным журналистом и редким тружеником, умевшим «не переходить на личную почву и не превращать пера в дамскую шпильку»⁵². На протяжении многих лет она не изменяла тому, что считала своим долгом, день за днем честно и по возможности беспристрастно фиксируя мельчайшие подробности эмигрантской жизни.

Августа Филипповна Даманская умерла 27 января 1959 под Парижем⁵³, в старческом доме. Незадолго до смерти она закончила свои мемуары «На экране моей памяти». Жизнь ее не была легкой, и в мемуарах немало горьких страниц, однако в них нет того, чем, к сожалению, нередко грешат произведения подобного рода. В воспоминаниях Даманской, при всей их субъективности, нет излишней драматизации событий и сведения личных счетов. Она не жалуется на судьбу, подчеркивая, что не ей одной, а «многим сотням» выпали на долю тяжкие испытания. Она с неизменной благодарностью вспоминает друзей и прощает врагов.

Публикуемые тексты представляют собой вставные новеллы (Даманская называла их интермедиями), входящие в состав основного корпуса мемуаров, хранящегося в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Тексты приведены в соответствие с правилами современной орфографии, конъектуры заключены в квадратные скобки, купюры обозначены знаком /.../. Встречающиеся в тексте ошибки и неточности оговорены в примечаниях.

Публикатор выражает благодарность фонду IREX за грант, предоставленный для работы в американских архивах, и благодарит Б.Л.Бессонова, А.И.Добкина, Л.Ф.Капралову, В.Б.Кудрявцева, Н.А.Хохлову, В.Н.Чувакова за помощь в биографических разысканиях и подготовке комментария.

⁴⁹ Письмо Амфитеатрову от 7 февраля 1924. Цит. по: Амфитеатров и Савинков: Переписка 1923-1924 / Публикация Э.Гарэтто, А.И.Добкина, Д.И.Зубарева // Минувшее. Вып.13. М.; СПб., 1993. С.129.

⁵⁰ Письмо Савинкову от 4 февраля 1924. Поводом стала рецензия Даманской на роман Савинкова «Конь Вороной», опубликованная в «Днях» (1924. 13 января. С.6). Цит. по: Минувшее. Вып.13. Указ. изд. С.126.

⁵¹ Осоргин М. Ей и о ней. Указ. изд.

⁵² Там же.

⁵³ Чуваков В.Н. Русский зарубежный некрополь (1917-1967). М., 1967. Машинопись. ИРЛИ.

Не только на чужбине, где так далеки друг от друга когда-то давно люди одного интеллигентного круга, часто встречавшиеся, имевшие возможность обмениваться своими думами, но, вероятно, и там, на родине, мало уже осталось людей, в которых воспоминания людей моего возраста могли бы найти живой и сочувственный отклик...

И только разве на бумаге можно еще воспроизвести впечатления молодости, сыгравшие более или менее значительную роль на дальнейшем жизненном пути... Ну как поймет «чужой» или не очень близкий по духу человек тот душевный трепет, то замирание сердца, с каким пятьдесят лет тому назад никому не известная, только-только начинающая писательница могла решиться отнести первый свой большой рассказ в редакцию «Русского Богатства»¹...

В редакцию журнала самого либерального, самого передового журнала, к которому были так близки Короленко — властитель дум тогдашней молодежи, или поэт, не большой и не очень даровитый, но известный своей политической стойкостью, в глазах высших властей — неблагонадежностью, Мельшин-Якубович, в тюрьмах, в ссылке проведший лучшие свои годы, такие «тузы» прогрессивной русской общественности, как Николай Федорович Анненский, А.В.Пешехонов, В.Мякотин и главный редактор литературно-художественного отдела Аркадий Георгиевич Горнфельд, труды которого о «муках слова» и о художественном творчестве молодыми писателями воспринимались с таким же пиететом, как заветы Белинского²... Сколько отчаянной отваги надо было иметь в себе для того, чтобы отнести рукопись в эту редакцию «Русского Богатства», зная, что примет ее секретарь редакции, а секретарем редакции в то время была родная сестра Веры Фигнер, еще находившейся тогда в Шлиссельбургской крепости.

Эта сестра Веры Фигнер, Кострова³ — я тщетно пыталась вычитать на ее приятном тихом лице что-то необыкновенное, что-то героическое, что утверждало бы ее родство с героиней русских революционных событий, — просто приветила меня, записала мой адрес и предложила зайти за ответом через месяц. В редакционной приемной, кроме нее, никого не было. Но помню четко — словно было это лишь пять дней тому назад — застекленные книжные шкапы, на двух письменных столах в строгом порядке папки — с рукописями, пробежало у меня в голове, — письменные принадлежности, и запомнила я также уютное потрескивание дров в шедшей от пола до потолка кафельной печи.

Центрального отопления не было еще тогда в скромных петербургских домах.

Я получила неделю спустя открытку — из трех или пяти строк. Но до сих пор еще перед моими глазами острые мелкие буквы и строки, не очень ровные и классическую каллиграфию не напоминавшие. Открытка приглашала «милостивую государыню» зайти в один из ближайших дней в редакцию. Я еще в первый раз получила открытку с обращением «милостивая государыня», что меня и рассмешило, и напугало. Мне почувствовался в ней холодок, что-то вроде предупреждения... вернут рукопись...

Этот раз меня принял уже не в редакционной приемной, а в редакционном кабинете Николай Федорович Анненский, широкий, добродушный, ласковый. Рассказ мой был принят. С оговорками — заглавие «Подорожник» по настоянию редактора литературно-художественного отдела заменено было названием «В Америку»; рассказ этот много позднее вошел в первый сборник моих рассказов⁴. Другая оговорка была уже другого характера.

— Но мы... приглашали г-жу Даманскую...

— Я и есть Даманская.

— Вы еще учитесь?

— Нет... да... я хожу на курсы Лесгафта... И музыке учусь... Я уже два года замужем⁵...

— Сколько же вам лет?

Мне было тогда 19 лет⁶. Мне давали шестнадцать. И эта моя молодость и застенчивость очень вредили мне на первых шагах моего вступления в пленительный, волшебный круг людей, казалось мне, чем-то отмеченных. У меня не было нужной важности в манерах, и я часто и, вероятно, глуповато смеялась. Это не могло импонировать. Но рассказ мой был напечатан в декабрьской книжке 1905 года, а в феврале следующего года в «Образовании» — ежемесичнике, издававшемся Л.Я.Острогорским, был хвалебный о моем рассказе отзыв Луначарского, а в «Русской Мысли» — московском ежемесичнике, по направлению идеологии столь далеком от меньшевистского «Образования», — лестная о моем рассказе небольшая статья проф. Ю.Айхенвальда⁷.

Это были насыщенные событиями годы. Печальный эпилог русско-японской войны, революция, эффектное выступление на политическую сцену авантюристов — Гапона, убийцы Столыпина Богрова, возникновение одной-другой левого толка газеты, закрытие газет, уход в подпольную работу недавно еще у всех на виду общественных деятелей, возвращение из сибирской ссылки амнистированных и самовольно освободившихся «политических» — и одновременно во внезапно возникавших кружках с ошеломля-

тельными «манифестами» новые веяния, новые лозунги... Молодым, как я, не получившим в семье политического воспитания, не успевшим подвергнуться общественно-политически-литературной дисциплине, очень было трудно избрать для себя отвечающий природным данным, темпераменту и чаяниям путь. Все увлекало, все восхищало, все пленяло — и молодые силы тратились больше на упоение, на «объедание» всякими запретными и трудно перевариваемыми плодами, от крайнего политического максимализма и до дурманной не очень внятной декадентщины и всякими утонченными, переутонченными идейно-художественными новшествами, плывшими из-за границы. И сколько способностей, дарованных природой, если не талантов, развеялись, угасли, расплылись тогда бесследно... Накипь, всплывшая тогда на разбушевавшихся волнах политических, общественных и литературных страстей, в истории русской общечеловечности того времени известна под метким словом «огарки».

Из не призванных [ни] вершить судьбы человечества или даже только судьбу родной страны, ни создавать и утверждать новые художественные и литературные каноны уцелели в тогдашнем взбаламученном море русской жизни лишь наделенные высоко развитым чувством самосохранения и духовной цельностью, указывавшей вернейший и наиболее соответствовавший темпераменту, дарованию и искренности жизненный путь. Моим спасительным поясом была, кажется, прежде всего лень и совершенное отсутствие честолюбия, вернее, тщеславия. Благодаря моей застенчивости я казалась и гораздо глупее и невежественнее, чем была в действительности. И это понял, по-видимому, покойный теперь Виктор Михайлович Чернов⁸, предложивший мне сотрудничать в его подпольных изданиях, а не выступать с агитационными речами у наборщиков, у прачек и у трубочистов. Я помню одно мое такое выступление — в типографии газеты «Русь»⁹. Как я дрожала, и горела, и как страстно молила Бога о том, чтобы вспыхнул пожар, чтобы обрушился потолок — только бы могла я прервать мою речь и убежать, убежать, убежать...

В.М. Чернов, по-видимому, и оценил меня только как авторшу небольших статей «на лету», объективных и не скучных откликов на виденное мною и слышанное. И недаром, быть может, помянул он меня несколькими добрыми словами в вышедшей много лет спустя книге «Перед бурей» — Чеховское издательство выпустило ее уже после смерти В.М. Чернова¹⁰.

В те же годы познакомилась я с двумя людьми, в моем духовном и литературном «самоосознании» сыгравшими наиболее значительную роль. Это были Виктор Сергеевич Миролубов — изда-

тель и редактор «Журнала для всех»¹¹ и Аркадий Георгиевич Горнфельд — редактор художественно-литературного отдела в «Русском Богатстве». Миролюбов, огромного роста человек, бывший певец Мирон, из-за болезни легких вынужденный оставить сцену, рыжеватый, характера раздражительного, человек, похожий лицом на Ницше, сходил с Горнфельдом, маленьким, хрупким, с трудом передвигавшимся на своих двух костылях, с узким бледным лицом, в сорок пять лет похожим на недоразвившегося подростка, лишь в одном: в глубокой любви к литературе, в остром интересе к малейшему проявлению в ком-либо литературного дарования. Миролюбов умел редактировать, указывать, наставлять, поощрять — сам литературным дарованием не обладал. Горнфельд вдохновлял, поощрял, окрылял; и оба они были неподкупно требовательны. Горнфельд, хотя и тяготел к прогрессивным изданиям и круг его знакомств состоял в преобладающем большинстве из людей прогрессивного и к властям оппозиционного лагеря, был, в сущности, аполитичен и к чужим взглядам гуманно-толерантен. Миролюбов, с ранней юности близкий к явным и тайным кружкам народовольцев, и в зрелые свои годы поддерживал связи с политически-левой русской общественностью. Но он был издателем своего журнала, выходившего тонкими, большого, впрочем, формата, тетрадями, и в интересах подписки и с целью наиболее широкого распространения своего журнала не чуждался и крайней литературной новизны. Был близок с Мережковскими и с Бальмонтом, казалось, скорее из любопытства — что эти дадут России, что эти внесут в русскую литературу? Пером художественно-литературным не владел, но даровитость угадывал безошибочно, что не мешало ему порою помешать в своем «Журнале для всех» рассказы среднего литературного качества, но, видимо, удовлетворявшие и среднего интеллектуального уровня читателя. «Журнал для всех» читался во всех концах России. Престиж журнала в оценке широкого круга провинциальных лево-мыслящих читателей утврждала предостережения русских цензоров, умудрившихся в каком-нибудь стихотворении Скитальца или рассказике Гусева-Оренбургского¹² усматривать угрозу существующему строю... Ко мне, явившейся к нему в первый раз с несколькими стихотворениями, из которых он напечатал одно¹³, отнесся он беспощадно, но и ласково, с какой-то отечески-нежной строгостью. Заставлял работать, переделывать и в то же время хвалил и поощрял¹⁴.

Горнфельд, сам мастер слова, автор блестящих страниц о «муках слова», о корифеях иностранной литературы, не поучал, не наставлял и даже не хвалил. Но немногими словами, какой-то

очаровательно-тонкой шуткой, осторожно-ироническим замечанием умел в начинающем авторе возбуждать самокритику, готовность все свои духовные силы связать в один узел и чего-то добиваться, для чего бы стоило жить и чем можно было бы заслужить гордое звание писателя.

Этот урод, калека был эстет, знаток и ценитель музыки, живописи, не пропускал ни одного значительного концерта, ни одной выставки. И где бы он ни появлялся, толпа зрителей, слушателей расступалась перед маленькой его узенькой фигуркой, быстро передвигавшейся на постукивавших костылях.

Я уезжала из Петербурга на юг России, уезжала за границу — моя связь с ним духовная не прекращалась. В «Русском Богатстве» были помещены несколько моих рассказов и в моем переводе два романа Ром. Роллана из серии «Жан Кристоф» и один роман Уэллса¹⁵.

В первые месяцы большевизма, когда так тревожна стала жизнь в столице, когда жутко стало по вечерам выходить, и не было ни трамваев, ни извозчиков, и электричество отпускалось скупой и лишь на короткие вечерние часы, единственной отрадой в моей одинокой тогда жизни были вечерние длительные беседы по телефону с Горнфельдом, который так же, как и я, говорил в неосвещенной комнате, как и я, в пустой квартире¹⁶.

Последнее письмо я получила от него в 1929 году из Крыма, и в этом письме он сообщал мне о кончине Александра Рафаиловича Кугеля, которого высоко ценил и любил.

Осенью 1910 года привелось мне познакомиться с В.Г.Короленко. Вот при каких обстоятельствах. Невесело осложнилась моя жизнь. Что-то надо было решить, распутать узел горестей, что-то предпринять... Слишком тяжелому для моих молодых плеч горю нужно было одиночество. Я поехала из Петербурга в близкий Сестрорецк, где, как мне известно было, пустует в это время года курортная гостиница.

В первый же или на второй день приезда я встретила в коридоре отеля как всегда оживленного, приветливого Николая Федоровича Анненского с человеком, мне не знакомым, но которого я тотчас узнала по его глазам, чудесным лучистым глазам, со всех его портретов смотревшим с внимательной и тихой лаской. Это был Короленко.

Николай Федорович приветствовал меня шумно, многословно и как-то легко, слишком легко подтрунил надо мной: «В такую ненастную осень в Сестрорецк... Вдохновляться, что ли, сюда приехали?» Короленко молчал. Я от неожиданности этой встречи и смущения тоже молчала. И в этот вечер я думала меньше о сво-

ем горе, думала больше о том, что прочитали на моем лице эти удивительные светлые глаза...

Как я догадывалась, в Сестрорецк их привело не просто желание побыть «на лоне природы», что-то более важное... Шло какое-то партийное совещание. Приезжали к ним, уезжали какие-то незнакомые мне люди. Анненский часто провожал своих посетителей на вокзал, Короленко — никогда. Я уезжала в Петербург, а когда возвращалась — меня встречал Короленко. Это сделалось как-то просто, естественно.

— Я заметил, что вы всегда нагруженная книжками возвращаетесь. А еще, как сказал мне Николай Федорович, какие-то пилочки принимаете...

Только всего. Несколько фраз. Сердечное пожелание: «Ну, теперь отдыхайте». И мне казалось, что как-то помимо моих стараний, помимо моих мудрствований разрешается узел моих печалей.

Это было в первые дни ноября месяца. Утренние, вечерние газеты, доставлявшиеся в курортную гостиницу, полны были сообщений о болезни Толстого, о знаменитых днях на станции Астапово... И наконец — умер Толстой... О чем-то меня спросил кто-то из дирекции отеля, я ничего ответить не могла. Я выбежала на набережную, где не было ни души. Море было беспокойное, свинцово-серое. А закат медно-красный, зловеще-красный. Я опустилась на скамейку и плакала долго, долго, пока не выплакала слез, не давших душе облегчения.

В коридоре отеля я встретила Короленко. Он был бледен, как полотно, и молчалив. На меня только взглянул и провел руку по моему плечу. Вечером того же дня они уехали из Сестрорецка. Больше я Короленко не встречала¹⁷.

Некоторое время спустя я в редакции художественного журнала «Аполлон», редакторами которого были С.К.Маковский и Е.А.Зноско-Боровский, тогда писавший только об искусстве, а теоретиком-шахматистом ставший много позднее в эмиграции, встретила брата Николая Федоровича Анненского — поэта Иннокентия Анненского¹⁸. «Это родной брат того Анненского», — шепнул мне Зноско-Боровский. Более резкую и более странную противоположность трудно было себе представить. Не говоря уже об отсутствии какой-либо родственной черты, но точно человек из другого круга, другой страны, с другой планеты. Тонкий, узкий, затянутый, будто в мундир, в длинный черный сюртук, черный шелковый галстук и словно из белого мрамора высеченный воротник, подпиравший изможденное бледное лицо... Это был чиновник — вице-директор Царскосельской гимназии, и поэт, воз-

главлявший левое крыло символистов. Автор философских и бесконечно-печальных стихов. Одно из них повторялось, как «Отче Наш», молодыми поэтами и поэтессами, которыми он всегда был окружен. Запомнилось оно и мне:

Мы на полустанке.
Мы забыты ночью
На лесной полянке
Тихой лунной ночью,
Мы забыты ночью...
Сон или воочию
Мы забыты ночью?...¹⁹

Говорили, что чит своего брата, бывшего народовольца, редактора «Русского Богатства», что наклонности у него порочные, то, что французы называют *moeurs particuliers**, и что братья хотя и не встречаются, но нежно друг друга любят. Скончался Иннокентий Анненский, возвращаясь из редакции «Аполлона» в Царское Село, одиноко, как жил. Упал на ступеньках Царскосельского вокзала. И о кончине его близкие люди узнали не скоро²⁰...

Возвращаюсь памятью к тем годам, когда флером манившей и волновавшей романтики облечено было все, слышшее или мнившееся запретным, гонимым, рискованным, требовавшим отваги, больше, чем отваги, — жертвенной отрешенности от того, что называлось личным счастьем, или же грозило лишением свободы или даже только обыском. Грозило и перспективой зависимости от дворника, от швейцара, которые могли оказаться добровольными или платными наблюдателями за жильцами. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Провезти из Выборга в Петербург толстую пачку тоненьких страниц революционного «Труда» и там сдать туда, куда указано будет, не представляло собою большого подвига и не грозило ни Шлиссельбургом, ни Нарымом, но какой-то риск все же был в выполнении такого поручения, и так сладко было знать, что оказано доверие, несмотря на то, что тюремного стажа еще не проходила, и клички партийной не носила, и билета партийного не имела... И как лестно было выслушать из уст В.М.Чернова, что, «вот, беспокоился»... Как взвинчивало, сообщало походке легкость, шагам быстроту сознание, что вот та книжная лавка в доме Армянской церкви на Невском проспекте, где жил одно время и министр народного просвещения Деянов, для немногих не только книжная лавка, но и явочная квартира,

* Странные привычки.

такая удобная благодаря расположению четвероугольных колонн, разделявших магазин на две половины. Из-за одной колонны всегда можно было наблюдать входивших и, обладая приметам «шпики», сделать, кому надо было, условный знак, и этот «кто-то» мог из-за другой колонны незаметно уйти в боковую дверь. Так [нрзб.] сознание, что, уходя из этого книжного магазина в кондитерскую Гурмэ, я хотя и ела пирожное с таким же удовольствием и такой же маленькой ложечкой, как и другие покупатели, но только что, десять минут назад, я выполнила что-то такое, что-то такое... о чем и говорить громко не полагается, и вообще рассказывать не следует. Как поднимало в собственных глазах, что руководивший этим книжным магазином молчаливый с грустными глазами полный господин мне, едва знакомой ему посетительнице, поручил отвезти письмо в Выборг и доставить лично, в собственные руки В.М.Чернову. А жил тогда В.М.Чернов на окраине Выборга в поэтической усадьбе у прелестного озера Папула. И письмо было увезено, доставлено — без лишнего слов, без комментариев, без изъявлений благодарности... Сколько было в этом завлекательной романтики, и какой, в сущности, легкою игрою было выполнение таких подвигов. Я плохо разбиралась тогда в настоящих социал-демократов о необходимости пролетаризации русской деревни, как и в статьях эсеров и самого В.М.Чернова об аграрном вопросе, о всенародном землепользовании. В В.М.Чернове мне больше всего нравилось, как он пел «Коробейников» — пел превосходно — и как читал им же переведенные стихи бельгийского поэта Верхарна²¹ — и переводил, и читал великолепно. Корифеев революционного движения в России я близко не знала. А те, которых я знала, за которыми были уже и тюремные годы, и стажи в далеких местах Сибири, для меня не были классическими героями, а просто одни более, другие менее интересными и милыми людьми. Их конспиративной подпольной работе я была тогда чужда. А второстепенные, третьестепенные партийные работники, так сказать, статисты революции, и удивляли, и смущали наивным шегольством, с каким носили свое звание «партийного работника», и еще больше беспечною легкомыслием, с каким выполняли возлагавшиеся на них поручения.

Приходит ко мне однажды молоденькая женщина — жила она тогда, так почему-то нужно было, под чужой фамилией — и просит у меня дать ей мой паспорт — свой куда-то засунула и не может найти, а поездка в Москву спешная. И она, и ее муж ничего не делали, нигде не служили, жили неопрятно и на средства, которые давала им «партия». Я, не колеблясь, дала ей свой паспорт, который она привезла мне четыре дня спустя и с пропиской в ка-

ких-то мебелированных комнатах. Возвращая мне паспорт, весело сообщила: «Вам известно, конечно, что я отвезла, кому надо было, пять бомбочек. Так хорошо этот раз сошло, прелесть».

Но эта легкость и беспечность, а порою и молодое тщеславие, с какими приобщались тогда молодые люди, молодые женщины к «партийной работе», постепенно привели меня к сознанию и убеждению, что при всем моем благоговении к чужой жертвенности, к чужой вере я для таких свершений не гожусь и на риск своей или чужой свободой не способна. Все больше я проникалась сознанием, что я, быть может, в более скромной роли лучше, полнее проявлю то, что мне дано природою. И по мере того, как я не пыталась быть тем, чем я не была, я больше располагала к себе людей, которые глубоко верили в свое призвание протестовать, бунтовать, громко призывать других к протестам и бунтам и по своему разумению делать жизнь не свою только, а жизнь масс лучше, чище и красивее...

Такое ласковое расположение выказывал мне Николай Александрович Морозов, бывший шлиссельбуржец²². С ним, с его женой — пианисткой Ксенией Алексеевной Березовской — прожили в тесном соседстве несколько месяцев в финляндском пансионе в Мустамяках. Когда переехали в Петербург, бывала у них, и у них познакомилась с Верой Фигнер²³. Не забыть мне волнения, с каким я шла в этот день к Морозовым, зная, что у них встречу Веру Фигнер. Даже приделась скромнее, волосы пригладила, чтобы не похоже было, будто бы завиваюсь, и думала, обдумывала — о чем говорить в присутствии Веры Фигнер, и так было страшно — понравлюсь ли я ей...

Только Морозовым, никому другому, я отважилась сказать — и то со вступлением, с оговорками «вы меня простите, вы мне укажите на дверь, если что...», словом, только им решилась я сказать, что Вера Фигнер мне не понравилась.

Умный, много знающий, большой эрудит и начитанности Морозов — в Шлиссельбургской крепости обрел много, чего и на свободе не добился бы, — усмехнулся — а улыбка у него, на его живом с седой бородкой лице была удивительно милая — попросил меня только уточнить, чем, почему не понравилась.

И я ответила, что она «будто икона, а не живая. Или ей нужно, чтоб люди смотрели на нее как на икону...» Меня в ней удивило, больше — поразило то, что она в свои 53 или 56 лет казалась совсем, совсем молодой. Ни морщинки, ни одной складочки на лице, ни одного седого волоса. Ни следа пудры, ни следа какой-либо косметики, ни следа какого-либо усилия сохранить, удержать молодость не было на этом лице. И я не могла не подумать —

неужели не плакали эти чистые спокойные глаза, не горело любовью, страстью, ревностью сердце этой женщины, неужели то, чем жили миллионы женщин за стенами Шлиссельбургской крепости, не задевало струн ее души, не вырывало стонов из ее уст, не ложилось бременем на ее плечи, не сгибало ей спину...

Уже много позднее я узнала о ее работе в Петербурге и в Москве. Вместе с первой женой Горького Екатериной Павловной она делала большое, важное дело: хлопотала об арестованных большевиками, о заключенных, ссылаемых, об осиротевших семьях куда-то исчезающих людей. Книга ее, отлично написанная, искренне и умно, говорила о том, что вне крепостных стен, среди живых людей и она стала живою²⁴. И доходили слухи о том, что она и внешне изменилась — время, годы и близко, близко наблюдаемое чужое горе и на нее, как на тысячи других женщин, накладывали печать.

В начале 1917 года познакомилась я и с другим шлиссельбуржцем — Германом Александровичем Лопатиным, могучим, красивым — в молодости был, вероятно, красавцем, общительным, и тоже в тесном соседстве, в Доме Писателей на Карповке²⁵. Ни разу за многие месяцы соседства в течение долгих бесед не произнесено было им слово Шлиссельбург. Ни у меня, ни у моих гостей-друзей и смелости не хватило бы заговорить с ним о Шлиссельбурге. Так живо чувствовалось всеми, что на прошлом поставлен им крест. Он жил настоящим, жадно, цепко, страстно — всем интересовался, читал запоем новых русских, иностранных писателей, посещал театры, концерты, охотно знакомился с новыми и новыми людьми, хорошо и красиво говорил, и от одного его великолепного раскатистого смеха становилось людям легко и радостно на душе.

В те же месяцы жила в Доме Писателей Вера Засулич. Как непохож был тогда ее облик на тот, какой рисовался нам в молодости по слухам, доходившим в провинцию из далекой столицы... Самоотверженная революционерка, но в сердце которой находила, однако, место и великая любовь. Ибо чем, как не любовью, внушен был ей мстительный жест — выстрел в градоначальника ген. Трепова, грубым телесным наказанием оскорбившего ее жениха, революционера, как она, студента Боголюбова²⁶.

Вера Засулич, которую я узнала в конце 1916 или начале 1917 года, была широкая, с некрасивым, маловыразительным лицом женщина, носившая деревенского покроя юбки в сборках у пояса, широкие темные кофты, и если выходила иногда за ограду Дома Писателей, то не в шляпке, а в платке, повязанном наподобие

крестьянского повойника. Она не вела знакомства ни с Лопатыным, ни с ближайшей своей по комнате соседкой Софьей Александровной Савинковой, матерью Бориса Савинкова²⁷. К ней приходили, больше по вечерам, Л. Дейч, Аксельрод²⁸, еще какие-то люди — вероятно, партийные товарищи, и принимала она их в библиотечной комнате, которую, по молчаливому всеобщему уговору, освобождали при ее появлении находившиеся там. В свою комнату — в нижнем этаже Дома Писателей, окном выходящую во двор, не видный из садика, отделявшего дом от улицы, — в эту свою комнату она никого вводить не могла. Она заселена была — кошками. По углам на свободных от ее бумаг, брошюр столиках стояли тарелочки со всякой снедью, бутылочки с молоком и с какими-то лекарствами. Кошки ее, грязные, облезлые, от которых шел «дух мерзкий», как говорила прислуга, часто хворали, и она сама их лечила. Всегда элегантно одетая Савинкова, выходя в коридор из своей отлично обставленной, нарядной комнаты, держала у лица надушенный платок и от двери, ведущей в комнату Засулич, брезгливо отворачивалась²⁹.

Куда-то я уезжала — не помню куда — на две или три недели. В день моего возвращения встретилась мне жившая рядом с Домом Писателей в небольшом флигеле сестра Мякотина Варвара Александровна.

— Хотите проститься с Верой Ивановной? — спросила она меня.

— Как проститься? Почему?

— Она этой ночью умерла³⁰.

И это был единственный раз, когда я видела Веру Ивановну Засулич гладко причесанной, без повойника, умытой, чистенькой, помолодевшей и привлекательной... в маске смерти... Не помню, что помешало мне быть на ее похоронах. Узнала лишь потом, что девять ее кошек целые сутки жалобно мяукали, и очень была этим недовольна Софья Александровна Савинкова, потребовавшая после исчезновения кошек дезинфекции комнаты, в которой жила Вера Засулич.

С.А.Савинкова, такая чужая, такая чуждая Вере Засулич, была даровита, умна и красива — уже будучи пожилой — и лишь тщеславие, снобизм и, пожалуй, честолюбие, а, быть может, и непривычка к систематической дисциплинированной работе помешали ей стать настоящей писательницей. Когда тотчас после Февральской революции одновременно с Керенским предметом внимания широких русских кругов стал и дотоле «подпольный герой» Борис Савинков, мать его, упоенная славой своего сына, усердно, настойчиво стала проявлять свое умение принимать...

Быстро вошла в роль вдохновительницы революционных вождей, эгерии, старалась завоевывать сыну еще больше почитателей. Увы — роль эту не дано было ей играть долго. Надвигались события, каких не сумели предупредить вершители первой «бескровной» революции... С вершин политической русской жизни Савинков сорвался раньше Керенского.

О Керенском... Зимой 1916 года приехали нелегально из Цюриха мои давние знакомые — я знала их под той фамилией, под какой они жили за границей... Степановы. И на второй же день их приезда Степанова, немолодого уже, арестовали. Жена его бросилась ко мне — что можно предпринять? Я обратилась к одному из ближайших сотрудников «Русского Богатства».

— Обратитесь к Керенскому, — посоветовал он мне.

Я позвонила Керенскому, с которым не была тогда знакома. Сослалась на «Русское Богатство». Он ответил, что страшно занят и может принять меня лишь в двенадцать часов ночи. Я поехала с женой арестованного к нему в 12 ночи и провела у него очень приятный час... О Степанове сказано было лишь несколько слов. Выслушал, записал, сказал: «Будет сделано, что надо». А там зашла речь о японском фарфоре и об уральской керамике. У него на столе и на этажерке стояли красивые вещи, которыми я залюбовалась. Керенский охотно пояснял их происхождение, моргал воспаленными веками и нервно дергал левым плечом...

Степанов через несколько дней был освобожден как человек, вернувшийся на родину, «чтобы быть ей полезным». Больше я Керенского в России не встречала. В месяцы его взлета, ширившейся славы, шумных выступлений я была на юге России, в Подольской губернии, оттуда вернулась уже после корниловского выступления, уже перед самым трагическим эпилогом «бескровной революции»³¹.

Встретила я опять Керенского уже вне России, в Берлине, и с 1922 по конец 1928 года сначала в Берлине, потом в Париже сотрудничала в его газете «Дни». Об этом в другой раз в намеченной мною работе о тех эмигрантских газетах, к которым была близка, в которых много и часто печаталась и сотрудничество в которых считаю лучшими моими годами, наиболее насыщенными новыми интересными духовными впечатлениями, захватившими меня целиком³².

Мое сотрудничество как беллетристки в органах народо-вольческого, чуть ли не эсеровского толка, как «Русское Богатство» и «Журнал для всех», не мешало мне помещать рассказы и в «Современном мире» — уже с появлением в составе редакции Ник[о-

лая] Иван[овича] Иорданского принявшем явно социал-демократическую окраску³³.

Издательница журнала, в прошлом именовавшегося «Мир Божий», Марья Карловна Куприна-Иорданская, урожденная Давыдова (дочь в свое время известного виолончелиста и директора петербургской консерватории) была уже не женою Куприна, а женою Иорданского³⁴. И хотя рассказ мой «Паломники» прочтен был очень скоро и скоро тоже напечатан³⁵, но помню, что того трепета, с каким я входила когда-то в редакцию «Русского Богатства», я уже не испытывала. И чем-то не очень понравилась мне вся «атмосфера» редакции. Было шумно, очень шумно, много смеха, много шуток, и Марья Карловна — Муся, как звали ее запросто, — не успела еще как будто войти в роль редакторши серьезного журнала. Мне известно было, что разрыв с Куприным переживала она тяжело, и меня удивила покорность, с какою она прислушивалась и повторяла самоуверенные, твердые и тоном не допускавшие возражений высказывания Иорданского. Раза два-три была я на редакционных «чаях» и мне бывало там скучно...

Позднее, много позднее встретила я Иорданского в Ревеле — он был уже тогда чем-то уполномоченный советской властью³⁶, а я в Ревеле — на первом привале моего ухода из России за границу. В Ревеле, где он по своему положению и не должен был оказывать мне доброе внимание, он показался мне совсем другим, и мягким, и чем-то удрученным, и не только оказывал мне внимание, но был явно рад встрече со мною, угощал, показывал мне достопримечательности прелестного Ревеля и будто прощался со мною навсегда. Я чувствовала, что я ему напоминаю прошлое, когда он был уверен в том, что и завтра будет сидеть в своем редакторском кресле, в котором сидел сегодня, напоминала ему прошлое, которое, по-видимому, мнилось ему лучшим, нежели то настоящее, о котором он говорил пышно и неубедительно. Больше я его не встретила. С Куприным же, с талантливейшим, обаятельным Куприным, которого в России знала очень мало, я познакомилась близко в годы эмиграции и лишь на чужбине оценила всю прелесть, всю простоту этого очень духовно сложного человека. К нему я еще вернусь в моих воспоминаниях³⁷.

В июле 1920 года меня каким-то чудом включили в группу лекторов, отправлявшихся в Псков для чтения лекций учительницам сельских школ³⁸. Чудесный этот город на реке Великой, тогда разоренный многомесячным пребыванием немцев, загрязненный и обнищавший, еще полон был воспоминаний о герман-

ской оккупации и, не успев от них опомниться, очутился под новой советской властью, участи псковитян не облегчившей.

Трудно сказать, когда прекраснее Псков и река Великая — в раннее ли солнечное утро, в тихую ли звездную ночь, и много ли в Европе прибрежных холмов, которые могли бы соперничать с красотой псковского «детинца», — так называется замкнутая в высокую ограду площадь, на которой стоит Троицкий собор с службами, с помещениями для причта, с приходской школой. В 1920 году осиротелые семьи священников, ушедших в Эстонию, уже охотно сдавали комнаты приезжим из столицы, не решавшимся селиться в загрязненных гостиницах. В 1920 году местный исполком не то чтобы насильственно, но довольно настойчиво размещал в «детинце» своих людей. И в домике одной вдовой попадьи очутилась в одной половине приехавшая из Петербурга писательница, с тем чтобы из Пскова перекинуться в Эстонию, на Запад, в Европу, — а в другой половине, через сени, служащий ГПУ.

Милые музыкальные мальчишки попадьи, певшие на клиросе и подбиравшие на стареньком дребезжавшем пианино аккомпанемент к духовным песням, скоро подружились с глуповатым, франтоватым служащим ГПУ и с такой же легкостью подобрали аккомпанемент к «Интернационалу». Мальчишки, девчонки за оградой «детинца» скоро стали дразнить их «советскими поповичами». И я, жившая тихо, осторожно, с оглядкой, с опаской, эту кличку использовала позднее для заглавия повести «Советские поповичи». Эта моя небольшая повесть напечатана была в выходившем с 1921 года альманахе «Граней» и переведена и напечатана в нью-йоркском альманахе «Our Fiction» и затем в швейцарском журнале «Бунд», и совсем недавно перепечатана в цюрихской газете «Zürcher See Zeitung»³⁹.

Псков был последним моим этапом в России на пути в новую жизнь. Во второй половине августа месяца того же 1920 года я была уже в Ревеле... и сразу же закружилась в вихре новых впечатлений, напряженной газетной работы и кое-каких радостей, которые не могли, однако, заглушить острой, на первых порах до физической боли острой, тоски о Петербурге⁴⁰.

В ноябре месяце я была уже в Берлине. И тут лишь вновь — и с какой молодой жадностью — приобщилась к захватывающе-интересной культурной жизни и вступила на путь ответственной и серьезной газетной работы. И от него не уклонялась уже в течение многих-многих лет.

Амфитеатровы

В один июньский день 1918 года, развернув вечернюю газету, выходящую в Петербурге при ближайшем участии А.В.Амфитеатрова, я, к большому моему удовлетворению, прочитала его очень для меня лестный отзыв о только что вышедшем сборнике моих рассказов «Стеклопанельная стена»⁴¹. Об А.В.Амфитеатрове, о его пестрой, многообразной жизни я знала много, его самого очень мало. Так как книгу свою я ему для отзыва не послала, то сочла нужным пойти поблагодарить его. Я жила тогда на Карповке, он — в близком от Карповки Аптекарском переулке. Узнала его адрес — дом номер 4-й, купила несколько красивых роз и, придя к дому за номером 4-м, удивилась. Вместо обычного многоэтажного дома с подъездом, с швейцаром, — небольшой двухэтажный особняк с широкими воротами и небольшой калиткой. Открыла калитку — залаяла собака. Кто-то окликнул ее — замолкла. Кто-то спросил: «Кого угодно?» И на мой ответ: «Александра Валентиновича», — последовало приглашение: «Пожалуйста, наверх. С первой площадки лестницы направо».

Широкие, устланные ковром ступени — на первой площадке, столик, ваза с цветами, на стенах великолепные фотографические снимки — виды Италии. Навстречу мне вышел Амфитеатров — оживленный, благодушный, приветливо протянул руку, помню обе — большие, мясистые, теплые.

— А... Молодая писательница⁴².

И ввел меня в залитую солнечным светом большую комнату. Я немного опешила. Такого обилия цветов, картин, ярких тканей на окнах, такого изящного, блестящего чайного сервиза, за которым сидела жена Амфитеатрова⁴³, таких красивых, отлично одетых детей мне давно не приходилось видеть. Всё и все в этой со вкусом, почти богато обставленной комнате дышало счастьем, беспечностью. Дети — юноша-подросток замечательной красоты, теперь известный композитор Данило Амфитеатров⁴⁴, два румяных мальчика и девочка лет шести, скорее некрасивая, вылитый портрет Амфитеатрова. Девочка скоро убежала по лестнице, ведущей из другой комнаты-студии в верхний этаж, и тотчас кто-то запел, кто-то затренькал на балалайке, кто-то что-то уронил, разбил, и такой покотился оттуда заразительный смех — противостоять ему было невозможно. Посмеялись и мы. Амфитеатров напомнил мне, как не состоялось наше знакомство в Италии, откуда он уехал накануне моего приезда в Рим, не забыв, впрочем, поручить ближайшему сотруднику Бенито Муссолини в газете «Avanti» знакомить с Римом начинающую русскую журналистку⁴⁵.

Амфитеатрова, Иллариya Владимировна, мечтательно вздохнула:

— Попасть бы туда опять...

Амфитеатров ее утешил:

— Ничего, ничего, вернемся...

Недалеко от Генуи, в прибрежном поэтичном Сестри Леванто ждал их снятый на вечность дом и богатая библиотека.

Когда я стала прощаться, пригласили заходить.

Я уехала скоро на Ермоловскую, близ Сестрорецка, на дачу. События разворачивались в не всеми предвиденном масштабе — трагедия в Екатеринбурге и еще, еще, еще...

По возвращении в Петербург я узнала от одной знакомой ошеломившую меня новость: Амфитеатров объявил о продаже всего своего имущества с аукциона. Все, кроме мебели, которая ему не принадлежала⁴⁶. Аукцион, как выяснилось, был своеобразный: без оценщиков, без молотка, без «Кто больше?». На нескольких столах в двух комнатах расставлены, разложены были столовое серебро, художественные издания, столовое белье, несколько пушистых и несколько шелковых одеял, несколько ковров, безделушки с письменного и туалетного столов, несколько столовых ламп, абажуров и дамские платья. На каждом предмете лежал листок бумаги с обозначением цены.

У меня не хватило духа пойти на этот аукцион. Газета, которой руководил Амфитеатров, уже не существовала⁴⁷. Справиться о том, что побудило его объявить продажу необходимых даже в скромном обиходе вещей, не у кого было. Но стороной узнала я, что все было продано по ценам обозначенным и что владелец особняка, выселявший Амфитеатровых за неуплату долга в течение долгих месяцев, оставил их временно в нижних комнатах.

Стоял морозный ноябрьский день. Выходя из хлебного кооператива на Каменноостровском, в нескольких шагах от дома, где я жила, я столкнулась с маленькими Амфитеатровыми, с близнецами Максимом и Романом. Они несли большую корзину с мерзлой картошкой и, увидев меня, с неподдельным оживлением сообщили мне: «А знаете, мы совсем-совсем обеднели. И спим на полу, мы оба под одним одеялом. Но мама говорит, что скоро поедем в Италию. Смотрите, какая картошка. Сами чистить будем. Кухарки тоже нет у нас теперь. А папа был болен. Уже здоров. Не совсем, но почти здоров. До свидания. А-ха-ха...» И со смехом убежали. Сияло солнце, было холодно, но воздух был подмывающе-крепкий. И близнецам шел десятый год⁴⁸.

В доме квартировладельцев Третьего Товарищества, где я снимала небольшую квартирку, принадлежавшую сыну популяр-

ных в свое время врачей жены и мужа Добровольских, жил уже с поздней осени Е.Замятин с женой на одной площадке с Предкомбеда бывшим морским офицером Крымовым и с Виктором Павловичем Коломийцевым, переводчиком Гейне для «Всемирной литературы» и пропагандистом Вагнера. И зазвонили телефоны. Забили набат. Помочь Амфитеатрову. Кто мог, звонил Луначарскому, кто мог, звонил Горькому... Но в этих инстанциях отклик был слабый. «Ах, не до Амфитеатрова». Как раз над моей маленькой квартиркой пустовала одна большая, нелепая — из пяти комнат три были мансардные. Но дом еще неплохо отапливался, и горячая вода три раза в неделю доходила и до седьмого этажа. После недолгих переговоров и при сочувственном содействии имевших право голоса жильцов-квартировладельцев удалось переселить Амфитеатровых в эту квартиру, предназначенную, кажется, для какой-то студии ритмической гимнастики. Вещей Амфитеатровы привезли, вернее, принесли мало. Только рояль отстояли от покушений на него хозяина особняка, где жили и за который не платили. Опять — смех, пенье, топот четырех пар молодых ног. Рояль гудел с утра до вечера. Играл, и отлично играл, уже старший сын Данило, упражнялся радостно маленький Ромушка. Амфитеатров поправился, получил работу во «Всемирной литературе» — редакцию переводов с французского и итальянского⁴⁹. Занимали деньги, где только могли, о погашении долгов не сокрушаясь. Стал подрабатывать Данило: вечерами играл в рабочих клубах. Днем развозил по знакомым домам как-то добывавшийся им мед, благоухавший керосином, и керосин, который чадил и не горел.

Узнав, что у меня телефон, все члены семьи Амфитеатровых обрадовались этому чрезвычайно. И пошло. Больше всех говорил сам Амфитеатров и на темы самые серьезные, преимущественно с Горьким и его секретарем⁵⁰. Говорил по телефону Данило с новыми товарищами по рабочим клубам, говорила Иллария Владимировна, пониженным голосом вызывая какую-то Лауру и смущенно закрывая дверь комнаты, где стоял телефон.

Так же, как в очаровательном особняке в Аптекарском переулке, было у них и в этой полупустой квартире в седьмом этаже много смеха, шума, а там и многолюдно стало. Появились вместо исчезавших из столицы давних знакомых и друзей новые знакомые. Один из близнецов, изящный милый Максим, брал, не помню у кого, уроки игры на виолончели, другой, Ромушка — уроки игры на рояле и делал удивлявшие всех успехи. Учили даром, жили они с общего согласия жильцов в квартире, ими не оплачивавшейся. Девочка, большеглазая, плутоватая Сабина — портрет

живой своего отца — проявляла уже писательские наклонности. Дети издавали еженедельный журнал, в котором помещали стишки — плохие, обрывки музыкальных фраз — нотными знаками, карикатуры — неплохие. Сабина писала повесть о разбойниках, убийствах, похищениях, о говорящих куклах — белиберду, которую никто понять и не старался, и в каждом номере под последней строкой подписывала: «Будет продолжаться».

Я уехала из Петербурга через Псков и Ревель в июле 1920 года и уже осенью в Берлине узнала, что через Финляндию и при содействии генерала Маннергейма уехал из Петербурга с семьей и Амфитеатров⁵¹. Вскоре дошло до Берлина, что ему удалось продать президенту Чехословакии Масарику свою библиотеку⁵², да еще незначительную сумму денег получил от него же на воспитание детей. Прошло несколько месяцев — получаю от Амфитеатрова письмо с просьбой похлопотать в издательстве «Грани», к которому я была близка, чтобы ему как можно скорее выслали гонорар за какую-то книгу, проданную им издательству. Какую — не помню. В письме сообщал, что не сводит концов с концами, что обучение детей, о которых скоро заговорит весь мир, стоит больших денег, каких у него нет. А там — ошеломившая меня новость: приехала в Берлин девочка Сабина, остававшаяся почему-то в Петербурге. И — «не можете ли Вы ее приютить у себя хотя бы на несколько дней?» Просил меня об этом Кадашев, сын Амфитеатрова от первого брака, бездарный забулдыга, бездомный и нищенствовавший репортер⁵³. На второй день по получении этого письма встретила в редакции «Руля»⁵⁴ находившегося проездом в Берлине Василия Ивановича Немировича-Данченко⁵⁵ и узнала от него фантастическую повесть. С Амфитеатровым был он давно близок и в его личную семейную жизнь был посвящен.

Амфитеатровы, уезжая нелегальным путем из Петербурга, оставили Сабину у преданной им горничной Глаши, которая была замужем за вечно пьяным сапожником-сербом. Сапожник эту брошенную Амфитеатровыми девочку пожалел. Сабина не была дочерью Илларины Владимировны, а их итальянской горничной Лауры, которая поехала за ними в Россию, свою связь с Амфитеатровым должна была скрывать. Красивая, наглая, смелая, она, влюбившись в русского шофера, вышла за него замуж, оказалась умелой портнихой и своим заработком выручала нередко и Амфитеатровых. С нею-то и вела Амфитеатрова таинственные разговоры по телефону в моей квартире... Девочка не знала,

что Лаура ее мать, считала, что у нее две «мамочки» — одна мамочка Иллария Владимировна, другая мамочка Глаша, у которой и оставили ее Амфитеатровы, пообещав скоро приехать за нею. Никто за нею не приезжал. Сапожник под пьяную руку бил мамочку Глашу, и Сабина боялась его. В один поздний зимний вечер она исчезла, захватив с собою кусок хлеба и полтора рубля денег. Добралась до Белоострова, а там, перед приходом жандармов, приходивших проверять паспорта, меж двумя поездами в толпе проскользнула за барьер, вскочила в финляндский поезд, заявила, что потеряла билет и деньги, и что ей надо только до ближайшей станции, до Териок. В Териоках она отправилась прямо в полицейский участок, представилась: «Я дочь Амфитеатрова. Я убежала из России, где большевики хотели меня убить. Я вас прошу доставить меня в Гельсингфорс — генерал Маннергейм друг моего отца, он сделает для меня все, что нужно».

Нашлись в Териоках две-три сердобольные дамы — признали сходство девочки с отцом. Кто-то вызвался отвезти ее в Гельсингфорс, и действительно она отправлена была в Берлин к сводному брату Кадашеву, который должен был отправить ее в Италию⁵⁶. Кадашев был гол, как сокол. Но и тут нашлись люди-хлопотуны, пожалевшие оставленную, быть может, в семье нелюбимую девочку. Оказалась она — я вынуждена была приютить ее у себя на две недели — девчонкой отвратительной. Врала безбожно, хвастала своими талантами, каких у нее не было, бесстыдно. Трещала без умолку — и о политике, и об актерах, и об искусстве — несла ахинею⁵⁷. Но когда я перед отъездом спросила ее, что подарить ей на память, она жадно и страстно ответила: «Куклу, миленькая, пожалуйста, куклу и маленькую розовую для нее кроватку». Восторг ее при получении подарка был неподдельный. И это было самое искреннее проявление ее чувств за все дни ее пребывания у меня. Кроватка с куклой не уместилась в ее чемодане, и так она и вошла в вагон с куклой в розовой кроватке.

Рады ли были Амфитеатровы — особенно Иллария Владимировна — возвращению Сабины, сомнительно. Но что для меня было несомненно — это то, что Амфитеатров эту поразительно на него похожую девчонку искренне любил.

Но Сабине жизнь в деревне, в Сестри Леванто, была не по душе. Данило — старший сын — заканчивал свое учение в Римской консерватории, Максим — виолончелист — учился в Милане, и туда же решено было отправить и Ромушку. Ждали только денег. Сабина тем временем, никому ни слова не говоря, написала письмо президенту Масарику. Призналась ему, что не хочет быть итальянкой, а жаждет учиться в русской гимназии в Тржебове,

в Чехословакии, что отец сочувствует ее желанию, но не решается обращаться опять к президенту за помощью, но что она сумеет прилежанием и хорошим поведением отблагодарить президента за помощь... Письмо было неграмотно, наивно и тронуло президента. Ей прислана была виза и небольшая сумма денег. В канцелярии президента кое-кто удивился — почему девочка просит отвечать ей «до востребования», а кого-то умилило... разыгрывает взрослую. Но присланных денег Сабине оказалось мало. Судьба и тут помогла ей. Пришла наконец повестка о получении страстно ожидавшихся Ромушкой денег на поездку в Милан. Мальчик торопливо укладывался, кипел, горел от нетерпения. За деньгами послана была на далекую от их дома почту расторопная, бойкая Сабина.

Сабина пошла за деньгами, получила их и домой не вернулась. Лишь на третий день получено было от нее успокоительное известие: «Я в Праге. Не беспокойтесь обо мне».

Мальчик заболел воспалением мозга, и когда он выздоровел, его отвезли в Милан, но не в музыкальную школу, а в дом умалишенных, где он и скончался несколько лет спустя. Но еще до него скончался не одолевший это несчастье Амфитеатров⁵⁸. О нем стали уже забывать в литературном мире, и смерть его едва-едва задела внимание его когда-то многочисленных читателей.

Старший сын его Данило женился на дочери известного миланского издателя, давно принял итальянское подданство, упований, какие возлагал на него отец, не оправдал — мир о нем не «заговорил», но как дирижер и отчасти как композитор он все же некоторую известность завоевал. Во время оккупации я услышала однажды за обедом голос радиоспикера: «Сейчас болгарский композитор Данило Амфитеатров исполнит свою симфонию номер 3-й». Почему сын Амфитеатрова произведен был в болгаре, осталось для меня загадкой.

Незадолго до позорно-трагической гибели Муссолини я получила из того же Сестри Леванто письмо от ИллариИ Владимировны Амфитеатровой — письмо с такими дифирамбами Муссолини и итальянским фашистам послужить возобновлению нашего знакомства не могло⁵⁹. Знаю о ней, что, уже очень немолодая, она живет, доживает свой век там, где население привыкло к ней и где она обжилась.

Сабину из интерната гимназии в Тржебове скоро выгнали за плохое поведение. Знавшие Амфитеатрова русские люди устроили ее в другом закрытом учебном заведении, откуда она сама убежала. Вышла за кого-то замуж — разошлась — с кем-то сошлась... Дальше следы ее для нас затерялись.

О матери заботятся сыновья Данило и Максим. Оба давно забывшие русский язык, из России не только ушедшие, но давно и безвозвратно от России отошедшие. Жили-были.

Дядя Влас

Так называли его, за глаза, конечно, люди, близко стоявшие к нему, что не означало — близкие ему. Был он близок, дружески близок, насколько мне известно, лишь с Шаляпиным и с значительно старшим его годами Василием Ивановичем Немировичем-Данченко. При всей своей приветливости, радушии был, однако, Дорошевич сдержанный, несколько надменный человек, но никогда не переходил той черты надменности, за которой начинается уже глупость. И как мало было во внешнем его облике общего с некрасовским дядей Власом⁶⁰. Дорошевич Влас Михайлович, всегда с иголочки одетый, всегда точно вот-вот только что из-под душа, из рук искусного массажиста, артиста-парикмахера, английского портного... Всегда изысканно учтивый, и опять-таки никогда не давая своей выдрессированной учтивости переходить ту черту, за которой начинается слащавость, старомодность или манерность. О его происхождении никто никогда не писал. Сам он о своем прошлом, о своей юности, молодости никогда не говорил. Отца он как будто не знал, мать его, когда он вышел на арену журналистики, была еще в живых, что-то пописывала и неплохо переводила, и лишь из озорства или в отместку ей за что-то подписывал он свои газетные очерки в одной одесской газете «Сукин сын»⁶¹. Шалость была скверная, и вряд ли у кого хватило бы смелости ему о ней напомнить.

Не помню, где и когда я познакомилась с ним. В памяти сохранились две-три первых встречи с ним в Москве — в редакции «Русского Слова» и у меня в номере Лоскутной Гостиницы. В тот мой приезд в Москву жил в Лоскутной Гостинице и приехавший из деревни в Орловской губернии Бунин. И Бунин не любил Дорошевича, и Дорошевич недолюбливал Бунина. Оба уже были известны тогда. Но популярнее был Дорошевич, в Москву, в «Русское Слово» пришедший уже с не тяготившей его славой блестящего фельетониста⁶², создателя короткой фразы — литературного приема, которому столько дебютантов на газетном поприще тщетно пытались подражать. Бунин был тогда упоен своей начинавшейся литературной славой и как-то неестественно высокомерен. Дорошевич, казалось, к известности уже привык, как привыкают к полюбленному за уютность халату или к трубке — одной из многих, с которой приятно сидеть у камина. И свою осторожную,

выработавшуюся в нем за многие годы самооценку он никогда не проявлял в сколько-нибудь обидной людям форме. Она служила ему, скорее, некоей незримой оградой — от фамильярности, от назойливости людей, с которыми ему нежелательно было сближаться. Бунин, придя чуть ли не в первый раз в редакцию «Русского Слова», удивился тому, что Дорошевич не встретил его с той почтительностью, какой он ждал. Дорошевич тоже удивился — снисходительно-высокомерному тону, который взял Бунин, пришедший к нему, скорее, как проситель, с просьбой о помещении какого-то для него важного объявления. И Бунин говорил о Дорошевиче с озлоблением, Дорошевич о Бунине с добродушной насмешкой.

После этих двух встреч с Дорошевичем и с Буниным я долгие годы не встречала ни того, ни другого. Живя в Петербурге или за границей, я, конечно, была в курсе того, какими разными путями разворачивалась жизнь этих писателей. Дошли и до меня повторявшиеся петербуржцами, москвичами, читателями русских газет по всем большим городам России слова Толстого, неизменно, будто бы, повторявшиеся им, когда он утром развертывал номер «Русского Слова»: «Ну, что-то скажет мне сегодня *мой* Дорошевич?» Толстой, как известно, пожелал и познакомиться с Дорошевичем⁶³. И Дорошевич при нем растерялся, лишился дара слова и для газеты, которую он возглавлял, это посещение Толстого не использовал. Боялся, вероятно, трафарета и боялся фальши. Мне эта его чуть ли не целомудренная осторожность раскрылась лишь много позднее, когда я уже в первые годы большевизма опять встретилась с ним в Петербурге и когда он стал частым моим гостем...

Был он тогда женат на актрисе Ольге Николаевне Миткевич и ни о ней, ни о других женщинах, с которыми он был до нее близок, он никогда не говорил. Этот никакого так называемого нравственного воспитания не получивший человек, никогда и никем в вопросах морали не наставлявшийся, был джентльменом с головы до ног. Не только по внешности, по манерам, по одежде — в подлинном значении этого слова порядочный человек.

Так велик был соблазн узнать от него лично и хотя бы один намек услышать о писательнице Анне Мар, покончившей с собой, как известно было, из-за него⁶⁴. Даровитая, много обещавшая, только что познавшая радость театрального успеха — пьеса ее была принята для постановки в Александринском театре, — после нескольких встреч с Дорошевичем покончила с собою, завещав похоронить ее с портретом Дорошевича на груди⁶⁵. Но у меня застыли слова на устах. Я не успела даже произнести полностью

имя Анны Мар. И только мое смущение, и только дружеское расположение ко мне Дорошевича помешали прекращению нашего знакомства.

Не было у него уже тогда газеты, и не было уже у него крупных заработков. Никто — даже Амфитеатров — не получал таких гонораров, как Дорошевич в годы своего редакторства «Русского Слова» в Москве, да уже и раньше в Одессе. Он и об этом своем имущественном положении никогда не распространялся. Читал лекции — о Французской революции, о том, как Наполеон завязывал связи после революции с возвращавшейся во Францию знатью и учился сам и своих братьев и сестер заставлял учиться у французских графов, маркиз и виконтов хорошим манерам. Лекции его собирали полные залы. За какую тему он ни брался — слушатели в театральном ли, концертном зале или в частном доме за чайным столом получали неповторимое наслаждение.

Однажды он стал излагать моим гостям и мне, как надо варить рис и как варят его в разных странах, и мы слушали его целый час, как зачарованные. В другой раз рассказывал он, как огромного роста актер Тальма давал уроки декламации и величавомонаршьих поклонов небольшого роста и толстоватому Наполеону. Говорил, не повышая голоса, без лишних жестов, и получилось впечатление разработанного блестящего скетча. Был бы он, вероятно, превосходным актером, если бы посвятил себя сцене. В молодости играл, но только в любительских спектаклях. Связи с театром были у него старые, крепкие.

Неистошимый в остроумии, в оригинальных смелых парадоксах, бывал он в годы моих частых и последних встреч с ним грустен и порою удручен. И вряд ли томили его материальные заботы. Что-то другое.

Казалось иногда, он подводит итоги прожитым годам, растраченным силам, что-то переоценивает. На эти догадки навел меня один вечер — светлый петербургский майский вечер, когда ворвалась в окна музыка, звуки хоровой песни и крики «ура». Дорошевич отставил чашку чая, которую держал в руке, заслушался и вдруг с таким искренним скорбным вздохом сказал:

— Эх, было бы мне теперь двадцать лет... тоже, быть может, шагал бы вот, как те... а, быть может, с красным флагом... И тоже, верно, кричал бы «ура»...

В другой раз пришел он ко мне, когда у меня заседал президиум молодого тогда союза русских переводчиков⁶⁶. Дорошевич сидел в комнате, смежной с той, где мы «заседали», и перелистывал какую-то книгу. Когда мы, споря, пререкаясь — насчет того, регистрироваться ли нашему только возникавшему союзу пере-

водчиков или остаться независимой от власти организацией, — ни к какому решению не пришли, вышел к нам Дорошевич и, не смеясь и не высмеивая нас, так заразительно смешно, так сочно вышутил наш «парламент» и так тонко, не советуя и не внушая, но все же доказал, что надо регистрироваться... Не согласиться с ним нельзя было. Члены незарегистрированного союза не получили бы доступа ни в одно из государственных издательств. Частные уже почти все были упразднены. Члены союза не получали бы продовольственного пайка, полагавшегося всем приносившим какую-то общественную пользу организациям, — и союз все равно был бы закрыт.

Союз переводчиков в первые годы выполнял еще задачу, не входившую в его первоначальную программу: не допускал переводчиков, претендовавших на такое звание и не умевших переводить. Долго он этого идеального задания выполнять, однако, не мог. Включались в члены союза и переводчики, поддерживаемые связями в «сферах», — и в двадцатые годы, уже после отъезда многих квалифицированных переводчиков за границу, вышло в России множество переводных книг досаднейшей безграмотности. И только в тридцатые годы появился новый кадр (sic!) умелых переводчиков и переводчиц, и доходящие до нас за пределы России переводы последних лет уже безоговорочно талантливы и добросовестны.

Возвращаюсь памятью к Дорошевичу. Он много путешествовал, но привлекали его не торные дороги. Ездил в Китай, а не на модные европейские курорты, ездил в Японию, в Египет, в Закаспийский край... Много писал о своих странствованиях и еще лучше, пожалуй, рассказывал. Его можно было слушать часами, и ни на мгновение не остывал интерес к его рассказам.

Известен его большой труд о Сахалине⁶⁷. Сколько драм, трагедий человеческих, сколько картин нижайшего человеческого падения зарисовано его пером, и сколько — как будто и не обличая вовсе — обличил он кривды и жестокости. Чехов-художник чего-то главного в Сахалине не уловил, и его книга в сравнении с книгой Дорошевича получилась какой-то анемичной, худосочной. Когда об этом зашла речь в присутствии Дорошевича, он с неподдельной досадой поспешил замять разговор, но вскользь объяснил неудачу Чехова, во-первых, его болезнью и еще тем, что для его мягкой гуманной души слишком большим испытанием был тогдашний Сахалин, «блюдом, не для всякого переваримым».

Может быть, из сознания своего превосходства над многими современными ему журналистами, в частности, фельетонистами, быть может, из равнодушия к «собратям по перу» редко отзы-

вался он о ком-нибудь плохо. Несдержанным случалось ему бывать, лишь когда заходила в его присутствии речь о легкости, с которой он сам пишет. То, что казалось или было лестью, выводило его из себя. «Легкость, с какой я пишу... Кто может знать, как и сколько времени я писал свой "маленький фельетон" или свой еженедельный фельетон... Сел и написал, и получил большой гонорар. Надо быть идиотом для таких догадок. Я пишу свой фельетон целую неделю. Днем и ночью — и когда сижу за редакторским столом, и когда бреюсь, и когда принимаю ванну. Думаю, додумываю, меняю, добавляю, зачеркиваю, перечеркиваю. И только потому выходит у меня неплохо. Потому что я труженик, потому что я умею трудиться».

В конце 1919 года Дорошевич повез свою лекцию о Французской революции в Москву, в каких-то два-три больших провинциальных города, затем в Крым⁶⁸...

В один ненастный зимний вечер позвонила мне его жена, Ольга Николаевна Миткевич, с которой я не была знакома. После какого-то сбивчивого вступления о том, как ей приятна была дружба Власа Михайловича со мною, она спросила вдруг, не знаю ли я адреса Власа Михайловича. И после — я почувствовала это — такой тяжелой на телефонном расстоянии паузы: «Уехал и вот столько времени не пишет. Я подумала, быть может, вам, хотя бы из учтивости?» Но я ничего о нем не знала. И столько накопилось своего горя, своих забот — я мало думала о Дорошевиче⁶⁹.

Больше я ничего о Дорошевиче не слышала до того дня, когда уже в Берлине от Василия Ивановича Немировича-Данченко узнала, что его привезли из Крыма больным и поместили в больницу для душевнобольных под Петербургом.

Смерть его была отмечена одним-двумя некрологами — еще до его физической смерти: он еще был жив, когда многие за рубежом считали его умершим⁷⁰. Угас он, никого не узнавая, — да никто его в больнице и не навещал, — в 1922 году⁷¹.

Гейне из Мозыря

Так называл его, завистливо глумясь над ним, один из новременских журналистов. Но в этом глумлении, оказалось потом, была значительная доля верной оценки многоодаренного, умного и остроумного, в то же время романтичнеешего из русских фельетонистов — театральных критиков и обозревателей, Александра Рафаиловича Кугеля⁷² — он же и *Noto novus*, он же и Николай Негорев. Он не писал стихов, но в юморе, всегда острым, не всегда мягком, в его даре значение какого-нибудь политического события

или общественного скандала изложить в форме художественного скетча и, не выходя из границ намеченной темы, провести неопровержимую и поражающую смелой новизной аналогию с событиями далекого прошлого было много от гейневского скепсиса, от непоколебимой его уверенности, что так было, так есть и так будет...

Но скепсис уживался у Кугеля с страстностью, с каким-то оргиастическим жизнеощущением... Жить, жить, накапливая новые силы для жизни, и тратить их без расчета, без оглядки для новых и новых достижений, для неустанного творчества, одолевая все препятствия — и любить, любить, брать и давать счастье.

Не говорил он лишь из гордости, вероятно, какой трудный, какой тернистый путь пришлось ему проделать, чтобы из фельетониста дешевой уличной «Петербургской газетки» развернуться в журналиста, в театрального критика, оставившего в русском газетном и журнальном мире, как и в театральном, следы более яркие, нежели Амфитеатров и Дорошевич. А эти при жизни были не только удачливее, но и известнее.

В большую — во всяком случае не развеселую, не уличную — газету «Русь» пришел А.Р.Кугель уже известным критиком, уже как редактор им же издававшегося журнала «Театр и искусство» и как создатель театра «Кривое зеркало»⁷³. На каждой премьере актеры Александринского театра в Петербурге и других театров выглядывали в дырочке в театральном занавесе, сидит ли уже Кугель на своем рецензентском кресле. Его пышная, всегда растрепанная голова, его всегда небрежно завязанный галстук были центром актерского внимания, да и дирекции театра. Присутствие его в театре больше волновало, нежели появление высочайших особ в глубине обрамленной красными портьерами в золотых гербах ложи. Кугель и его журнал «Театр и искусство» решали судьбу пьесы, актера, актрисы — и не только драматических театров. Граф Витте в своих воспоминаниях рассказывает, как Николай II, однажды рассеянно слушавший его доклад, вдруг прервал его вопросом: «Скажите, Сергей Юльевич, вы знаете Кугеля?» Витте, опешив, ответил, что такого не знает. «Нельзя ему дать как-нибудь понять, что не надо так бранить Кшесинскую? Великому князю Сергею Михайловичу это очень неприятно». Бывшая возлюбленная Наследника Престола вскоре после его женитьбы на Гессен-Дармштадтской принцессе сошлась с кузеном молодого царя Сергеем Михайловичем⁷⁴.

Не было в России такого угла, более или менее культурного, куда не доходил бы слух о «Кривом зеркале», где не вошли бы в обиход фразы из знаменитой «Вампуки»⁷⁵. Не было в России даже

на окраинах страны такого городка, куда не заезжали бы столичные люди и где не было бы читателей «Театра и искусства». Но самого Кугеля, блестящего журналиста, великолепного оратора, знали мало. Да и уже в годы эмиграции, в Берлине и в Париже, сколько раз и от каких разных по интеллекту, по социальному положению людей приходилось слышать про «Вампуку» и «крылатые» словца из «Вампуки», но об авторе, об их создателе — так мало и так редко. Разве что от старых актеров, а их уже так мало осталось в живых...

В статье, подписанной Кугелем, напечатанной незадолго до его смерти и посвященной памяти известного русского актера Монахова, были такие строки: «Он родился в бедной пролетарской семье»⁷⁶. Статья эта датирована была не то 1924-м, не то 1925-м годом.

Нетрудно было представить себе, какие мысли бежали в голове Кугеля, когда он снабжал свою восторженную апологию свободного творчества такими штампованными паспортными отметками. Не думалось ли ему, что будет день, когда какой-нибудь неглупый советский хроникер будет выводить такой же штамп: «Он родился в бедной еврейской семье...»

А.Р.Кугель родился не в бедной, не в богатой семье казенного раввина⁷⁷ в местечке Мозырь Минской губернии и до последних своих дней чувствовал свою связь с еврейством и в то же время горячо любил Россию, русскую литературу и русский театр, и русского актера.

Незадолго до большевистского переворота на одном актерском съезде в Москве в программу дня поставлен был вопрос об актерах-евреях, лишенных права жительства в столице⁷⁸. Против евреев-артистов выступила знаменитая Стрепетова. «Глаза Стрепетовой, — вспоминал он в своем журнале «Театр и искусство», — были тяжелые, мрачные, и голос, при всей музыкальности, сверлящий и будоражащий. Она похожа была на раскольницу, на обитательницу заволжского скита. Что-то от изуверской хованщины, старой моленной протопопа Аввакума, от брынских лесов сказывалось в этой некрупной, кривобокой, столь необыкновенной женщине»⁷⁹.

Кугель слушал ее речь, старую зоологическую теорию национализма. Слушать было тягостно и страшно. «Все было совершенно просто, гладко, ясно, логически закончено. Я думал о том, — писал он позднее, — что если эта бушменская арифметика захватит толпу, а она может захватить, потому что ей придается характер патриотической заслуги, — я потеряю веру в русского актера, и с чем я тогда духовно останусь? И что-то росло в моей

груди, ширилось, стало огромным, глубоким, как море»⁸⁰. Кугель взошел на эстраду, едва умолкли аплодисменты, провожавшие Стрепетову, и заговорил... Стрепетова речью Кугеля была разбита. Зоологический национализм отскочил от существа актера, даже не оцарапав его.

Мы, жившие долгие годы в Петербурге, помним, какую позицию занял Кугель по отношению к Московскому Художественному театру⁸¹. Положение его было щекотливое. Против Московского Художественного театра оказались и Суворин со своими соратниками, ломавшие копыя за свой Малый театр⁸², на сцене которого шли антисемитские пьесы, вроде знаменитых «Контрабандистов»⁸³. Неслыханный в истории русского театра скандал, разыгравшийся на первом представлении этой гнусной и бездарной к тому же пьесы, характерен для оценки русской общественности тех лет — первых лет нашего века⁸⁴. О том, что скандал будет, говорили в Петербурге за несколько дней до спектакля. Полицией приняты были все меры для предупреждения или для пресечения скандала. Наряды жандармов с кобурами у поясов выстроены были вдоль всего здания театра и, тем не менее, скандал разыгрался в таких размерах, что, не решаясь все же открыть стрельбу по публике, полиция предоставила на волю судьбы и дирекцию, и актеров — участников этого спектакля. Известно было, что в организации скандала принимала ревностное участие и артистка Яворская вместе со своим мужем князем Бярятинским⁸⁵, и она же на первой читке этой пьесы резко высказалась против постановки ее и пригрозила выйти из состава труппы, что и сделала.

Жена А.Р.Кугеля⁸⁶ не могла последовать примеру Яворской и вынуждена была оставаться в труппе суворинского театра. Вокруг Александра Рафаиловича создавалась, помню, удручающая его пустота. Лучшие прогрессивные элементы русского общества, к которым строим всех своих общественных, политических и личных симпатий тяготел Кугель, сплотились вокруг «москвичей». Каждый приезд «москвичей» в Петербург был праздником русской общественности. Банкеты, на банкетах речи и тосты, в которых своеобразно сплетались славословие артисток и артистов Художественного театра с осуждениями правительственных мероприятий. Кугель стоял вне этих общественных групп, давно признавших его бесценный публицистический талант, и где рады были бы считать его «своим» — близким, и где он в силу своей нетерпимости в вопросах театрального творчества и в силу своей страстности оказался как бы чужим...

Уже в 1922-м году пришлось А.Р.Кугелю впервые встретиться лицом к лицу с Станиславским, с которым он до того времени

не был знаком. В Москве, на улице, у трамвайной остановки столкнулись и разговорились. На одном и другом лежали следы преждевременной усталости... Не было уже «Театра и искусства» — журнал закрыт был большевиками за «социальной бесполезностью», — и труппа Художественного театра покидала Москву — готовилась к поездке в Америку. «Всю жизнь, можно сказать, — писал Кугель в своих «Воспоминаниях» об этой встрече, — спорили, спорили и не понимали друг друга, а жизнь, история, вот как просто все обернула. Похоже, как если бы мы держали вертел на угольях и поворачивали и так, и этак, а дичи-то давно нет, все чисто, все обглодано»⁸⁷.

В 1917-м году в двух петербургских газетах стали появляться статьи, подписанные ничего и никому не говорившим именем Николай Негорев⁸⁸. Но читатели, даже не очень искушенные, скоро угадали автора блестящих, умных и остроумных статей. Так писать, с такой расточительностью разбрасывать ошеломительно-смелые парадоксы мог только Ното novus. «Николай Негорев» — заглавие и герой бездарного романа бездарного писателя Кушевского⁸⁹, имя которого, однако, попало в историю русской литературы. Почему? Очень просто: роман Кушевского попал почему-то в большую печать, под обложку либерально-радикального журнала «Отечественные Записки»⁹⁰. В выборе этого псевдонима писателем уже широко известным и уже на закате жизни была и горечь, и насмешливый вызов. Узнают? Узнали... Но большого удовлетворения это ему дать не могло.

В 1919-м году он был арестован⁹¹. Горький, к которому я по просьбе жены Кугеля артистки Холмской обратилась с просьбой о заступничестве, направил меня к Марье Федоровне Андреевой, тогда председателнице Театрального комитета. Марья Федоровна направила меня с своей запиской к какой-то важной правительственной персоне, фамилии которой я не могу вспомнить, помню лишь, что эта важная персона не приняла меня, а секретарша ее, выслушав меня, ответила: «В первый раз слышу эту фамилию. Кугель... А чем он так замечателен?»

К счастью, вечером того же дня вернулся в Петербург куда-то уезжавший Луначарский и, узнав об аресте Кугеля, поехал в тюрьму, извлек его оттуда и в своем автомобиле доставил домой.

Кугель, по доходившим до меня сведениям, долго колебался: эмигрировать? остаться в Петербурге? В 1925-м повез труппу «Кривого зеркала» в Варшаву, успеха, всегда и во всех городах России сопровождавшего спектакли «Кривого зеркала», в Варшаве не было⁹². Уже без труппы поехал он на несколько дней в Берлин, где виделся с Николаем М. Волковыским, с профессором

Ю. Айхенвальдом⁹³. Расспрашивал, приглядывался, советовался и, смущенный уже намечавшимся расколом в эмиграции и непрочно-стью заработков, вернулся в Петербург.

С 1927 года стал хворать. В конце сентября 1928 года пользовавшие его врачи посоветовали ему подвергнуться какой-то незначительной, по их заверениям, операции. 5 октября он бодро лег на операционный стол, с которого уже не встал⁹⁴. Скончался под ножом опытного и расположенного к нему хирурга... Похоронили его на Волковом кладбище, на писательских мостках — в близком соседстве с писателями, возглавлявшими самые прогрессивные русские издания, куда ему долгие годы доступа не было.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Русское богатство» — общественно-политический, научный и литературный журнал; издавался в Петербурге с 1876 до середины 1918. С начала 1890-х — орган либерального народничества.

² *Якубович* Петр Филиппович (1860-1911) — революционер-народник; поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. *Анненский Николай Федорович* (1843-1912) — публицист и общественный деятель. *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867-1933) — публицист, политический деятель, один из основателей и лидеров партии народных социалистов. В 1917 — министр продовольствия Временного Правительства. В 1922 был выслан из России, в 1927 ему было возвращено советское гражданство. Служил в советском полпредстве в Риге. Умер 3 апреля 1933 в Риге, похоронен в Ленинграде. См. также главу IX «А.В.Пешехонов» в сб. «Политическая история России в партиях и лицах» (М.: «Терра», 1994. С.145-173). *Мякотин* Венедикт Александрович (1867-1937) — историк и публицист. С 1917 в эмиграции. Вместе с С.П.Мельгуновым и Е.А.Ляцким издавал историко-литературные сборники «На чужой стороне» (Берлин; Прага, 1923-1925). *Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867-1941) — литературовед, критик, переводчик. Статья «Муки слова» была опубликована в «Сборнике статей из "Русского богатства" за 1899» (С.73-110). В 1927 вышла книга «Муки слова» (М.; Л.), включающая эту статью.

³ *Кострова* (ур. Овцына) Лидия Валериановна (1861-1918) — секретарь редакции; сестрой Веры Фигнер не была.

⁴ В Америку // Русское богатство. 1903. №12. Отд. I. С.91-111. Рассказ вошел в первый сборник рассказов Даманской (Рассказы. М.: «Основа», 1908).

⁵ Неточность мемуаристики: Даманская вышла замуж в 1892, описываемые события относятся к 1903.

⁶ В эмиграции Даманская указывала 1885 как год рождения (см. Bibliography of Russian Emigre Literature 1918-1968 / Compiled by Liudmila A.

Foster. Vol.1. Boston, 1970. P.452-454; Dictionary of Russian Women Writers / Ed. Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, Mary Zirin. Westport, Connecticut; London, 1994. P.139-142; Raeff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration. Oxford; New York; Toronto, 1990. P.222; русский перевод: Паев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919-1939. М., 1994. С.145; Булгаков В.Ф. Словарь русских зарубежных писателей. New York, 1993. С.45).

⁷ Обе рецензии были опубликованы в 1904 (Образование. Кн.3. Отдел журнальных заметок; Русская Мысль. №2. Отд. II. Журнальное обозрение). Кроме того, в «Русских Ведомостях» (1904, №8) была опубликована анонимная рецензия.

⁸ *Чернов Виктор Михайлович* (1873-1952) — один из организаторов и лидеров партии эсеров. С 1920 — в эмиграции.

⁹ «Русь» — либеральная газета, выходила в Петербурге с декабря 1903 по июль 1908, с перерывами и под разными названиями.

¹⁰ См.: Чернов В.М. *Перед бурей*. Нью-Йорк, 1953. Чернов писал о Даманской: «Удачно пробовала свои силы в политической публицистике, под псевдонимом А. Филиппова, А.Ф. Даманская, легко и живо воспринявшая идеи и настроения нашего редакционного кружка и под влиянием бурного времени очень литературно их излагавшая» (цит. по: Чернов В.М. *Перед бурей*. М., 1993. С.265).

¹¹ *Миролюбов Виктор Сергеевич* (1860-1939) — издательский деятель, с октября 1897 фактический редактор «Журнала для всех», демократического литературно-общественного и научного ежемесячника. В 1890-х Миролюбов выступал на сцене Большого театра под псевдонимом Милов.

¹² *Гусев-Оренбургский* (наст. фамилия Гусев) Сергей Иванович (1867-1963) — прозаик, публицист. С 1921 в эмиграции. *Скиталец* (наст. имя Степан Гаврилович Петров; 1869-1941) — прозаик, поэт. С 1921 по 1934 в эмиграции в Харбине, в 1934 вернулся в СССР.

¹³ В «Журнале для всех» было опубликовано стихотворение Даманской «Призраки» (1900. №3. С.287).

¹⁴ В письме от 28 января 1926 Даманская писала Миролюбову из Парижа: «Не Вы ли пробудили меня к литературе? И не Вашим ли строгим и подчас жестоким замечаниям и выговорам обязана я тем, что не бесследно пройдет моя жизнь в этом мире?» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.25).

¹⁵ Перевод романа Г. Уэллса «Жена сэра Айзекса Хармана» печатался в «Русских Записках» (1916. №7-11). Отдельное издание вышло в Москве в 1917. Перевод романа Роллана «Сердце Франции» публиковался в «Ежемесячном журнале» (1916. №2-12), романа «Неопалимая купина» — в «Северных записках» (1916. №1-2, 4/5-7/8). Переводы романов «Ярмарочная площадь» и «В стороне от схватки» выходили отдельными изданиями (М.: «Прометей», 1916; Пг.: Изд. Пгр. Совета рабочих и красноармейских

депутатов, 1919). Впоследствии переводы романов из цикла «Жан Кристоф» вошли в десяти томное издание: Роллан Р. Жан Кристоф / С предисл. Ю. Айхенвальда. Т.1-10. [Пг.]: Петрогр. сов. р. и к. д., 1918-1923 (Т.1. Заря / Пер. А. Даманской. 1918; Т.3. Юность / Пер. А. Даманской и З. Журавской. 1920; Т.7. Сердце Франции / Пер. А. Даманской. 1918; Т.9. Неопалимая купина / Пер. А. Даманской. 1919).

¹⁶ Незадолго до отъезда из России Даманская писала Горнфельду: «Мне кажется теперь, что Вы, пожалуй, единственный вместе с вниманием давали мне сердца немного. Для меня это было очень много. /.../ Если вернусь, то в значительной степени будете виноваты Вы» (РНБ. Ф.211. Ед.хр.509. Письмо от 8 августа 1920).

¹⁷ 7 ноября 1910, в день смерти Толстого, Короленко был в Полтаве. См. его очерк «Умер» (Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 тт. Т.9. М., 1955. С.143).

¹⁸ *Маковский Сергей Константинович* (1877-1962) — художественный критик, поэт, издатель, мемуарист, в 1909-1917 редактор журнала «Аполлон». С 1918 в эмиграции. *Зноско-Боровский Евгений Александрович* (1884-1954) — критик, драматург, с 1906 шахматный мастер, с 1909 до осени 1912 секретарь журнала «Аполлон». С 1920 в эмиграции. *И. Анненский умер в 1909, Л. Толстой в 1910.* Даманская не могла встретить первого «*некоторое время спустя*» после смерти второго.

¹⁹ Цитата из стихотворения И. Анненского «Лунная ночь в исходе зимы» («Трилистник лунный»).

²⁰ И. Анненский скоропостижно скончался от паралича сердца на ступенях подъезда Царскосельского вокзала 30 ноября 1909. Похороны состоялись 4 декабря в Царском Селе. О смерти И. Анненского родные его узнали в тот же день; см.: Воспоминания В.И. Кривича (Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник 1981. Л., 1983. С.94-95).

²¹ Переводы Чернова были опубликованы отдельным изданием: Верхарн Э. Живая жизнь: Избранные стихотворения / Перевод с французского Виктора Чернова. Пг.: Тип. Издат. и Печатн. Дела «Кадима», 1919.

²² *Морозов Николай Александрович* (1854-1946) — революционер и ученый. Осужденный по «Процессу 20-ти», провел в Шлиссельбурге 21 год.

²³ *Вера Николаевна Фигнер* (1852-1942), провела в Шлиссельбурге 22 года, в 1906-1915 жила за границей.

²⁴ Имеется в виду кн.: Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Воспоминания: В 2 тт. М., 1922. После 1917 Фигнер участвовала в работе Политического Красного Креста, который возглавляла Е.П. Пешкова. Подробно о деятельности Фигнер в 1920-1930 см.: Незапечатленный труд: Из архива Веры Фигнер / Публикация Я.В. Леонтьева и К.С. Юрьева // Звенья: Исторический альманах. Вып.2. М.; СПб., 1992. С.424-488.

²⁵ *Лопатин Герман Александрович* (1845-1918) — революционер, переводчик и публицист. В 1884-1905 — в заключении в Шлиссельбурге,

в 1908-1913 жил за границей, последние годы жизни провел в Доме литераторов на Карповке.

²⁶ *Засулич Вера Ивановна* (1849-1919) — участница революционного движения, публицист. 28 января 1878 в знак протеста против издевательств над политзаключенными (наказания розгами студента А.С.Боголюбова) стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова и ранила его. Была оправдана судом присяжных под председательством А.Ф.Кони. Засулич не была знакома с Боголюбовым; однако, по «Воспоминаниям о деле Веры Засулич» Кони, «в высших сферах» существовало убеждение, что «она — несомненная любовница Боголюбова» (Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 тт. Т.2. М., 1966. С.69).

²⁷ *Савинкова Софья Александровна* (1855-1923) — писательница, мемуаристка. С 1920 в эмиграции. Некролог Даманской «С.А.Савинкова» был опубликован в берлинских «Днях» (1923. 8 апреля. №133. С.2).

²⁸ *Дейч Лев Григорьевич* (1855-1941) — публицист, мемуарист, деятель и историк революционного движения. Гражданский муж В.Засулич. Автор очерка-некролога о Засулич (Голос минувшего. 1919. №5/12. С.199-210), редактор шеститомного издания «Группа "Освобождение труда"»: Из архивов Г.В.Плеханова, В.И.Засулич и Л.Г.Дейча» (М., б.г.). *Аксельрод Павел Борисович* (1850-1928) — революционер, один из лидеров меньшевиков. Умер в эмиграции.

²⁹ Последние годы Веры Засулич описаны Даманской в статье «Кошки Веры Засулич» (Последние новости. 1932. 25 марта. №4020. С.3). Ср. также воспоминания Книжника-Ветрова: «Как давнишний обитатель Дома писателей, я был знаком с Верой Ивановной и раза три заходил к ней по делу на 1-2 минуты. В ее комнате меня поражал необыкновенный беспорядок. Жившая в соседней комнате С.А.Савинкова говорила мне, что Вера Ивановна не позволяет убирать у себя на столе, боясь, что прислуга перепутает ее бумаги, а сама она заняться уборкой не удосуживается» (Книжник-Ветров И.С. Записки восьмидесятилетнего. Ч.V. Октябрьская революция в Доме Писателей // РНБ. Архив Дома Плеханова. Ф.352. Ед.хр.195. Л.9-10).

³⁰ Засулич умерла 8 мая 1919 в доме сестер Мякотиных. Похоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища.

³¹ О ликвидации корниловского выступления было объявлено 31 августа.

³² О сотрудничестве Даманской в эмигрантских изданиях см. вступительную статью.

³³ «*Современный мир*» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал. См.: Скворцова Л.А. «Современный мир» // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905-1917: Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С.118-161. *Иорданский Николай Иванович* (1876-1928) — журналист, публицист, общественный деятель.

³⁴ *Куприна-Иорданская* (урожд. Давыдова) *Мария Карловна* (1879-1965) — издательница, мемуаристка. В 1902-1907 жена А.И.Куприна.

³⁵ Рассказ «*Паломники*» Даманской был опубликован в №1 «Современного мира» за 1916 (С.33-53).

³⁶ После октября 1917 Иорданский жил в Финляндии, редактировал в Гельсингфорсе советскую газету «Путь». В 1922 выслан по распоряжению финских властей.

³⁷ Воспоминания Даманской о жизни в эмиграции готовятся к публикации в «Новом журнале».

³⁸ Впоследствии Даманская вспоминала о своем бегстве из России: «Для того, чтобы попасть из Петрограда в Псков, откуда я рассчитывала выполнить план бегства из России, нужна была командировка. Я получила ее от института имени А.И.Герцена, предложившего мне прочитать несколько лекций по иностранной литературе на летних курсах для народных учителей» (Даманская А.Ф. Карточные домики советского строительства. Указ. изд. С.13). Впервые история ухода из России рассказана Даманской в очерке «Этапы» — Народное дело (Ревель). 1920. 14 окт. №59. С.2-3.

³⁹ Даманская А.Ф. Советские поповичи // Грани. (Berlin), 1922. Публикаций в американском и швейцарских изданиях обнаружить не удалось.

⁴⁰ Даманская писала Горнфельду из Берлина: «Никуда не тянет, только в Россию, только домой» (РНБ. Ф.211. Ед.хр.508. Письмо от 16 апреля 1921).

⁴¹ *Амфитеатров* Александр Валентинович (псевдоним Old Gentleman и др., 1862-1938) — прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург. В 1904-1916 и с 1921 в эмиграции. Книга Даманской «*Стеклопанель*» вышла в свет в петроградском издательстве «Жизнь и знание» в 1918. В сборник вошли рассказы «Стеклопанель», «Шапка Мономаха», «Панна Теофилия», «Лик человеческий», «Паломники», «Пеструня». Рецензия В.Яковлева «Литературные наброски. (Женское творчество)» была опубликована в №3570 «Современного слова» от 6 июля 1918 (С.2). Отзыва Амфитеатрова о книге Даманской обнаружить не удалось. Второе издание книги вышло в 1921 в берлинском издательстве «С.Ефрон»; рецензия З.Ж[уравской] была опубликована в варшавской газете «За свободу» (1921. 5 ноября. №2. С.2).

⁴² В 1918 Даманской было 43 года; вряд ли Амфитеатров, у которого она в 1900-1902 сотрудничала в газете «Россия», мог считать Даманскую «молодой писательницей».

⁴³ Амфитеатрова (урожд. Соколова) Иллариya Владимировна (1875-после 1947) — вторая жена Амфитеатрова.

⁴⁴ Амфитеатров *Даниил* Александрович (1901-1983) — композитор и дирижер, в 1923 окончил римскую консерваторию «Santa Cecilia» по классу О.Респиги.

⁴⁵ «Аванти» («L'Avanti!») — «Вперед!») — орган итальянской социалистической партии. Начала выходить в 1896, в 1912-1914 газетой руководил Муссолини.

⁴⁶ Ср. письмо Амфитеатрова Горькому от 28 ноября 1919: «Пришлось прожить зиму в условиях ужасающей безработицы и — нисколько не стыжусь этого слова: нищеты /.../ Никакая работа не была возможна /.../ Оставалось жить самоедством, в чем и упражнялись — буквально — до последней вещи в доме. Все распродано и проедено» (Литературное наследство. Т.95: Горький и русская журналистика начала XX века. М., 1988. С.458).

⁴⁷ Вероятно, речь идет о газете «Русская воля».

⁴⁸ Близнецы Максим и Роман Амфитеатровы родились в 1907.

⁴⁹ Издательство «Всемирная литература» было организовано в августе 1918 по инициативе Горького. В Записке издательства «Всемирная литература» в Народный комиссариат просвещения от 16 июля 1919 Горький назвал Амфитеатрова одним из тех, кто принимает «деятельное участие» в работе издательства (Исторический архив. 1958. №2. С.78). В 1922 с участием Амфитеатрова издательством были выпущены книги: Лемонье К. Избранные сочинения / Пер. и прим. А.Н.Горлина. Под ред. А.В.Амфитеатрова. Пг.; М., 1922. Т.1-2; Гольдони К. Комедии / Пер. И.В. и А.В.Амфитеатровых. Прим. А.В.Амфитеатрова под ред. А.Л.Волынского. Пг.; М., 1922 и др.

⁵⁰ Ср. указ. письмо Амфитеатрова Горькому: «Телефона у меня давно уже нет, но рядом с нами живет Даманская, к которой можно вызвать меня или, если буду лежать, Илларию Владимировну» (Литературное наследство. Т.95. Указ. изд. С.460).

⁵¹ Амфитеатров с семьей бежал из России на лодке через Финский залив 23 августа 1921.

⁵² В 1923 правительство Чехословакии купило библиотеку Амфитеатрова, разрешив ему пользоваться частью своих книг для завершения уже начатых работ.

⁵³ Амфитеатров-Кадашев Владимир Александрович (1892-1942) — сын Амфитеатрова от первого брака, журналист, переводчик, историк литературы. До 1917 сотрудник газеты «Русское слово», в годы гражданской войны — газет Юга России («Донские ведомости», «Южный курьер» и др.). В эмиграции жил в Германии, печатался в газетах «Руль» и «Возрождение», журналах «Числа», «Иллюстрированная Россия», «Русское эхо». В 1930-1940-х сотрудничал в газете русских нацистов «Новое слово». Автор книги «Очерки истории русской литературы» (Прага: Славянское издательство, 1922), нескольких сборников статей и рассказов, а также дневника о событиях 1917 в Москве и Петербурге и о Белом движении (РГАЛИ. Ф.2279. Оп.1; публикации из этого текста, подготовленные С.В.Шумихиным, см.: Сегодня. 1994. 22 марта; Литературная газета. 1994. 20 июля. №29; Независимая газета. 1995. 31 октября. №110; Общая газета. 1995. 9-15 ноября. №45).

⁵⁴ «*Руль*» — ежедневная газета русской эмиграции, выходила в Берлине в 1920-1931 под ред. И.В.Гессена.

⁵⁵ *Немирович-Данченко Василий Иванович* (1844/45-1936) — прозаик и поэт. С 1922 в эмиграции. Почетный председатель пражского и почетный член белградского Союзов русских писателей и журналистов. Председатель Общеэмигрантского съезда русских писателей в Белграде (1928).

⁵⁶ Дочь Амфитеатрова Сабина бежала из России в конце мая 1923; в судьбе ее принял активное участие Александр Николаевич Фену (1873-?), бывший в 1920-х председателем Особого комитета по делам русских беженцев в Финляндии. 2 июня 1923 Фену писал Амфитеатрову:

Третьего дня вечером милая Сабина прибыла в Гельсингфорс. Я ранее предполагал поместить ее временно в наш приют для детей беженцев, но, познакоившись с Вашей милой дочуркой, вся семья категорически при полном моем к тому сочувствии восстала против этого предположения и просит Вашего разрешения оставить Сабину у нас. Вперед и категорично прошу Вас не поднимать материальных вопросов. Вы нас обидели бы этим. Сабина так сердечна, проста, прямодушна и благовоспитана, что кроме радости помочь ей — ничего нам доставить не может. Экипировать ее при моем широком знакомстве и кое-каких [нрзб.] — мы тоже можем, хоть и скромно, но без расходов для Вас. Таким образом все присылаемые Вами деньги пойдут исключительно на дорогу от Гельсингфорса до родного дома. Теперь будем ждать итальянскую визу, которую надо хлопотать в М[инистерст]ве иностр[анных] дел Италии, прося сообщить здешнему итальянскому представителю, г-ну Маиони, о неимении препятствий к визированию паспорта Сабины. Транзитные визы я устрою здесь. Встречное прошение об итальянской визе здесь я уже подал. Сабина выглядит здоровой, крепкой девочкой, очень смуглой, с короткими черными волосами. Развита она умственно не по годам, но чистоты детской души не утратила. Настроение ее бодрое, даже веселое. Она очень пытлива, всем интересуется, охотно читает. Она подкупает окружающих своею непосредственностью, милой, но не чрезмерной, приветливостью и ласковостью. Все перенесенное ею во время попыток к бегству задело ее как-то поверхностно. В рассказах своих она склонна к некоторому увлечению, и установить точно все ее пережитии нам еще не удалось. Но тут и речи быть не может об умышленном уклонении от истины. Ее, бедную, вероятно, и на границе, и в карантине, и при опросах большев[истские] следователи так много спрашивали, что она и сама сбилась. Поэтому мы подходим к этому с осторожностью.

(Amfiteatrov manuscripts // Manuscripts Department, Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana).

Обстоятельства бегства Сабины из Петрограда изложены в письме Ю.А.Григоркова Амфитеатрову от 12 июня 1923:

О своем бегстве она мне не могла толком рассказать. Я понял только, что ее, по-видимому, переправил в Финляндию какой-то следователь. Какой-то красноармеец на границе в нее стрелял (по-видимому, больше для проформы). Она ему показала нос... Рассказ ее довольно бессвязен.

(Там же. Тексты обоих писем предоставлены А.И.Добкиным).

Григорков Юрий Александрович (1885-?) — публицист, историк литературы, поэт. Один из руководителей литературно-художественного сообщества «Светлица» в Гельсингфорсе. Редактор газеты «Новая русская жизнь» (1919-1922).

⁵⁷ Ср. с отзывом Фену в примеч. 56.

⁵⁸ Амфитеатров умер 26 февраля 1938 в Леванто.

⁵⁹ Об отношении Амфитеатровых к итальянскому фашизму см.: Амфитеатров и Савинков: Переписка 1923-1924. Указ. изд. С.73-158.

⁶⁰ Персонаж стихотворения Н.А.Некрасова «Влас» (1855). *Дорошевич Влас Михайлович* (1865-1922) — журналист, театральный и художественный критик, прозаик. «Дядя Влас» — один из псевдонимов Дорошевича.

⁶¹ Речь идет об «Одесском листке», крупной провинциальной газете либерального направления, сотрудником которой Дорошевич являлся в 1893-1899. Псевдоним «Сукин сын» не зарегистрирован у Масанова; возможно, имеется в виду псевдоним «Сын своей матери», которым Дорошевич подписывал свои корреспонденции в «Развлечении» (1887-1889) и «Московском листке» (1890). Мать Дорошевича, журналистка и писательница С.А.Соколова, происходившая из богатого дворянского рода, порвала со своей средой, сойдясь с человеком «низкого» происхождения. Отец Дорошевича С.Соколов занимался мелкой литературной работой, вел богомный образ жизни, рано умер. Спасаясь от преследований полиции, мать оставила полугодовалого ребенка и бежала за границу; ребенка усыновил коллежский секретарь М.И.Дорошевич. Спустя 10 лет Соколова через суд добилась возвращения сына. Положение «незаконнорожденного» нашло отражение в ряде очерков Дорошевича, посвященных детям («О незаконных и законных, но несчастных детях», «Право отца» и др.).

⁶² С 1902 по май 1917 Дорошевич — фактический редактор московской газеты «Русское слово»; до 1902 сотрудничал в московских изданиях «Московский листок», «Волна» (в №8 за 1884 опубликован первый рассказ из театрального быта за подписью «Дядя Влас»), в «Нижегородской почте», «Одесском листке»; с 1899 наряду с Амфитеатровым являлся ведущим сотрудником петербургской либеральной газеты «Россия».

⁶³ Об отношении Толстого к Дорошевичу см. дневниковые записи П.А.Сергеенко от 6 и 12 декабря 1899 (Толстой о литературе и искусстве: Записи В.Г.Черткова и П.А.Сергеенко // Литературное наследство. Т.37/38: Л.Н.Толстой. II. М., 1939. С.542, 543).

⁶⁴ Об Анне Мар и обстоятельствах ее смерти см. биографический очерк А.М.Грачевой в наст. изд.

⁶⁵ Это утверждение представляется сомнительным, однако прямых опровержений обнаружить не удалось. Пьеса Анны Мар «Когда тонут корабли» (1915) в 1917 была принята к постановке не в Александринском, а московском Малом театре.

⁶⁶ Даманская являлась членом Всероссийского общества профессиональных литераторов-переводчиков.

⁶⁷ В 1897 Дорошевич отправился на Сахалин на пароходе с партией каторжников. Итогом поездки стали сахалинские очерки, публиковавшиеся в 1897-1898 в «Одесском листке», затем в «России» и «Русском слове» и вышедшие в 1903 в Москве отдельным изданием под заглавием «Сахалин» (Ч.1-2).

⁶⁸ По просьбе московского профсоюза журналистов Дорошевич выступал с лекцией о журналистах эпохи Великой французской революции в мае 1918 в театре Незлобина. Во второй половине того же года выехал для лечения в Крым, жил в Севастополе, где также выступал с лекциями и чтением своих восточных сказок.

⁶⁹ Зимой 1919/1920 умер единственный сын Даманской Борис.

⁷⁰ Ошибочных некрологов в зарубежных газетах обнаружить не удалось; в «Вестнике литературы» (1920. №10. С.12-13) за полтора года до кончины Дорошевича был опубликован некролог за подписью А.Кауфмана. В упоминавшемся Т.37/38 «Литературного наследства» (см. примеч. 63) год смерти Дорошевича также указан неверно (1920).

⁷¹ Дорошевич умер 22 февраля 1922 в Петрограде, похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

⁷² *Кугель Александр (Авраам) Рафаилович* (псевдонимы Ното повус, Николай Негорев, 1864-1928) — театральный критик, публицист, журналист, мемуарист.

⁷³ «*Театр и искусство*» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге-Петрограде с января 1897 по октябрь 1918; издательницей журнала значилась гражданская жена Кугеля З.В.Холмская. «*Кривое зеркало*» — театр «малых форм», возник по инициативе Холмской при Петербургском театральном клубе в 1908. С 1910 — постоянный театр, дававший ежевечерние спектакли. В 1918 закрыт, в 1922 возобновил свою деятельность. Сезон 1923/24 играл в Москве, с 1925 до 1931 — в Ленинграде.

⁷⁴ Ср. воспоминания Кугеля об описываемом эпизоде:

В одной иностранной газете, после смерти Витте, с его слов, был напечатан рассказ о том (в мемуары его этот анекдот не вошел), как однажды, во время высочайшего доклада, Николай II, выслушав все соображения Витте о новых мероприятиях в области тарифной и финансовой политики, устремил в отдале-

ние загадочный взор, что у него всегда служило признаком какой-то мучительной нерешительности, и наконец после долгой паузы молвил:

— Сергей Юльевич, знаете ли вы Кугеля?

Сергей Юльевич ответил, что не знает, но может узнать, потому что для истинного слуги отечества и верноподданного нет ничего невозможного. Тогда Николай II, смущенно поглаживая усы, сказал:

— Не могли бы вы устроить, чтобы он не бранил так Матильду Феликсовну [Кшесинскую]? Сергей Михайлович очень нервничает, что в своем журнале Кугель ее бранит.

Кугель А.Р. (Номо повус). Листья с дерева. Л.: «Время», 1926. С.45.

Кшесинская Матильда Феликсовна (1872-1971) — балерина Мариинского театра в 1890-1917. С 1902 жена двоюродного брата Николая II, великого князя Андрея Владимировича. С 1920 в эмиграции. *Сергей Михайлович* (1869-1918) — пятый сын великого князя Михаила Николаевича. Убит большевиками в числе других родственников царской семьи близ Алапаевска.

⁷⁵ Автором театральной пародии «*Вампука, невеста африканская*» был М.Н.Волконский, а не А.Р.Кугель.

⁷⁶ Ошибка мемуаристики: приведенная строка является цитатой из статьи Кугеля «Н.Ф.Монахов», вошедшей в книгу «Профили театра» (М.: «Театропечать», 1929. С.159). Кроме указанной, Кугель принадлежит еще две статьи о Монахове: На юбилее Н.Ф.Монахова // Красная газета. 1926. 19 марта; Актер // Дела и дни Большого Драматического Театра. Сб. №2: Н.Ф.Монахов: К 30-летию артистической деятельности. Л.: «Academia», 1926. С.55-58. Обе статьи посвящены 30-летию артистической деятельности Монахова. *Монахов* Николай Федорович (1875-1936) — актер театра и кино, народный артист РСФСР (1932); принимал участие в создании Большого драматического театра в Петрограде.

⁷⁷ Рафаил Михайлович Кугель (ум. в 1905) — общественный раввин в Мозыре, устроитель первой городской типографии.

⁷⁸ Вероятно, речь идет о Втором съезде сценических деятелей (1901).

⁷⁹ *Стрелетова* Пелагея Антипьевна (1850-1903) — актриса. Цит. из: Кугель А.Р. (Номо повус). Листья с дерева. Указ. изд. С.119-121.

⁸⁰ Неточная цитата. Ср.: «Все было совершенно гладко, ясно, просто, логически закончено. Чем меньше другим, тем больше нам» (Там же. С.121).

⁸¹ О своем отношении к МХТ Кугель писал: «В той позиции, которую я занял по отношению к Московскому Художественному театру, было, несомненно, одно очень неприятное и щекотливое обстоятельство: я был очень несчастлив в союзниках. Поневоле я оказывался в одних рядах с такими сомнительными театральными теоретиками и независимыми

умами, как Суворин и К°, преследовавшими прежде всего коммерческую цель — утверждение своего театра» (Там же. С.131).

⁸² Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) — публицист, театральный критик, писатель, издатель газеты «Новое время» (с 1876), журнала «Исторический вестник» (с 1880), справочников «Вся Россия», «Весь Петербург». Создатель Петербургского Малого (Суворинского) театра (1895).

⁸³ Под названием «*Контрабандисты*» в суворинском театре была поставлена пьеса В.Крылова и С.Литвин-Эфрон «Сыны Израиля». Премьера состоялась 23 ноября 1900.

⁸⁴ Премьера спектакля была сорвана учащейся молодежью; в день премьеры было арестовано около 500 студентов (Новое время. 1900. 24 ноября. №8889). См. также воспоминания Кугеля о премьере (Кугель А.Р. Указ. изд. С.53-63).

⁸⁵ *Яворская* (урожд. Гюббенет, по мужу Барятинская) Лидия Борисовна (1871-1921) — в 1895-1900 актриса театра Суворина. В 1901 открыла в Петербурге «Новый театр», в котором ставились пьесы Горького, Чехова, Толстого; значительную часть репертуара составляли пьесы мужа Яворской кн. В.В.Барятинского. С 1918 в эмиграции.

⁸⁶ Холмская (наст. фамилия Тимофеева) Зинаида Васильевна (1866-1936) — актриса, антрепренер, издатель. Оставила сцену в 1930. См. также примеч. 73.

⁸⁷ Неточная цитата. Ср. у Кугеля: «Я имел случай познакомиться с Константином Сергеевичем Станиславским сравнительно недавно, в 1921 или 1922 году, незадолго до отъезда Художественного театра в Америку. Произшло это на улице, в Москве, на трамвайной остановке... Печать преждевременной меланхолии лежала, мне казалось, на нас обоих. "Ну что?"», казалось, спрашивал он меня, и говорил я ему: "Ну вот..." "Всю жизнь, можно сказать, спорили и не понимали, а жизнь-то, история, вон как просто все обернула. И журнала-то нет, и театр уезжает, и вообще, не похоже ли это, т.е. продолжение прошлых недоразумений, на то, как если бы мы держали вертел на угольях костра и поворачивали бы его и так, и этак, а дичи-то давно уже нет, все чисто, все обглодано?» (Кугель А.Р. Указ. изд. С.137).

⁸⁸ Ошибка мемуаристики: псевдонимом Николай Негорев Кугель пользовался уже в первые годы существования «Театра и искусства». См. «Историческую справку» о журнале: «Часто появлявшаяся на страницах журнала, в первые годы, подпись Николай Негорев был псевдоним, под которым писал сам А.Р.Кугель, Дымов, Ярцев и др. Одно время в редакции висело неизвестно кому принадлежавшее пальто, которое прозвали "пальто Николая Негорева", потому что им пользовались все сотрудники и служащие конторы» (ИРЛИ. Ф.686. Оп.1. №27. Л.3-4). Осип Дымов (наст. имя и фамилия Иосиф Исидорович Перельман, 1878-1959) — прозаик, драматург, журналист. С 1913 в Америке, с 1926 гражданин США. Ярцев П.П. — сотрудник редакции «Театра и искусства».

⁸⁹ *Кущевский* Иван Афанасьевич (1847-1876) — прозаик, критик, фельетонист. Роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1870) одобрили Н.А.Некрасов и М.Е.Салтыков-Щедрин; А.Г.Горнфельд признавал его «для своего времени выдающимся явлением» (Горнфельд А.Г. Забытый писатель // Русское богатство. 1895. №12. Отд. II. С.145).

⁹⁰ Роман печатался в №1-4 «Отечественных записок» за 1871.

⁹¹ Сведений об аресте Кугеля обнаружить не удалось.

⁹² Кугель писал о варшавских гастролях: «В бытность театра "Кривое зеркало" в Варшаве в 1925 году антрепренеры, выписавшие коллектив нашего театра на гастроли /.../ не уплатили причитающихся к ним сумм. Положение создалось трагическое, так как, вследствие травли белоэмигрантской печати, мы во всей Польше не могли найти помещения для спектаклей» (Кугель А.Р. Варшавские гастроли // ИРЛИ. Ф.686. Оп.1. Ед.хр.56. Л.1).

⁹³ *Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872-1928) — литературный критик. В 1922 выслан из России. Жил в Берлине. *Волков* Николай Моисеевич (1881- после 1940) — литератор. В 1922 выслан из России.

⁹⁴ Кугель умер 5 октября 1928 от рака толстой кишки (Свидетельство о смерти // ИРЛИ. Ф.686. Оп.3. Ед.хр.21).

В.Смиренский

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕ РЕМИЗОВЕ

Предисловие, публикация и комментарий
Е.Р.Обатниной

Владимир Викторович Смиренский (1902-1977) — поэт, писатель, литературовед, в двадцатые годы публиковал свои стихи под псевдонимом Андрей Скорбный¹. Как поэт Смиренский заявил о себе в 1917, когда в журнале «Весь мир» впервые было напечатано его стихотворение «Осенние мотивы»². Благодаря своей исключительной энергии, он оказался в орбите многих примечательных событий художественной жизни Петрограда начала 1920-х. За первой книгой стихов «Кровавые поцелуи» (1917)³ вышли еще три поэтических сборника: «Звенящие слезы» (1921), «Болезненная любовь» (1922), «Осень» (1927); четыре поэмы, изданные отдельными книгами: «Via Dolorosa» (1922), «Птица белая» (1922), «Рылеев» (1938), «Полежаев» (1939), а также воспоминания об А.А.Измайлове (1922) и написанные в разные годы жизни очерки о В.Жаковой, А.Грине, В.Муйжеле, Вяч.Шишкове, М.Горьком, — всего более трехсот статей. В центре литературоведческих интересов Смиренского было творческое наследие поэта К.М.Фофанова. В одной из поздних своих автобиографий он писал: «Занимаюсь историей русской литературы, являясь единственным в Европе исследователем К.М.Фофанова, о котором мною написана четырехтомная монография»⁴. Изучение стихосложения в студии профессора Н.Н.Шульговского, собственное поэтическое творчество и увлечение поэзией Фофанова — все это подвело Смиренского к идее со-

¹ В автобиографии (1960) Смиренский писал, что он пользовался тридцатью двумя псевдонимами, среди которых — Вадим Ренский, Вячеслав Пик и др. (ИРЛИ. Ф.582).

² Весь мир. 1917. №45. Ноябрь. С.30.

³ Этот сборник, выпущенный в свет петроградским издательством «Ивиковы журавли», анонсировался в каждой последующей книге Смиренского начала 1920-х. Объявление об этом издании сопровождалось указанием в скобках — «разошлось», тогда как о прочих сборниках обычно сообщалось: «распродано», или «печатается», или «готовится». Обнаружить de visu полиграфический экземпляр этого сборника нам не удалось: либо тираж «Кровавых поцелуев» был чрезвычайно мал, либо это была самодельная книга, смонтированная из отдельных слов, вырезанных из разных печатных изданий. Такой «самиздатский» экземпляр «Кровавых поцелуев» находится в архиве Смиренского в ИРЛИ (Ф.582).

⁴ Монография осталась неизданной, но в 1962 в большой серии «Библиотеки поэта» вышел том стихотворений и поэм К.М.Фофанова, подготовка текста, составление и комментарий в котором были выполнены В.В.Смиренским.

здания в Петрограде литературной ассоциации «Кольцо поэтов» имени К.М.Фофанова⁵. Основной состав этой ассоциации был представлен группой молодых поэтов-эгофутуристов — таких, как К.Олимпов (К.К.Фофанов), Д.Дорин, Б.Тимофеев, Н.Позняков, Дм.Савицкий и др. За короткий срок своего существования⁶ «Кольцо Поэтов» развернуло поистине грандиозную деятельность. Было организовано одноименное книгоиздательство, выпустившее в свет четыре книги В.Смиренского, два поэтических сборника его старшего брата — Бориса Смиренского: «Лунная струна» (1922) и «В лимонной гавани Иокогама» (1922), а также первый сборник стихов К.Вагинова «Путешествие в Хаос» (1921); готовились к печати книги Вл. Ленского и альманах «Кольцо поэтов». Существовала при издательстве и книжная лавка (Литейный пр., 57), систематически устраивались устные альманахи в специально снятом особняке в Басковском переулке (д.2). К участию в вечерах и заседаниях ассоциации приглашалась почти вся литературно-художественная элита Петрограда и Москвы: А.Блок, М.Кузмин, Ф.Сологуб, А.Ахматова, Ю.Верховский, Андрей Белый, Вл. Пяст, В.Зоргенфрей, В.Шкловский, Е.Замятин, Вяч. Шишков, В.Миллашевский, В.Ходасевич, Ю.Юркун и многие другие. Одним из первых был зачислен в «Кольцо поэтов» писатель Алексей Ремизов, вошедший в «коллегию экспертов» ассоциации.

Поэтические штудии привели Смиренского в середине 1920-х на «вечера на Ждановке» в доме Ф.Сологуба, где он принимал участие в работе литературного кружка «неоклассиков» вместе с Михаилом Борисоглебским, Еленой Данько и Абрамом Палеем⁷. Школа поэтического мастерства, пройденная в кружке, дает основание считать В.Смиренского учеником Сологуба.

О многообразии деятельности Смиренского в конце 1920-х дает представление следующий список:

- | | |
|----------|--|
| «Состоял | 1) действительным членом Дома Литераторов, |
| | 2) председателем «Кольца Поэтов» им. Фофанова, |
| | 3) председателем ленинградской ассоциации «неоклассиков», |
| | 4) председателем общества имени Измайлова, |
| | 5) член литературно-художественного кружка "Арзамас", |
| | 6) член правления (3 года) Всероссийского Союза писателей, |

⁵ Сообщения об учреждении «Кольца поэтов» и деятельности этой ассоциации см.: Вестник литературы. 1921. №12(36). С.19; 1922. №1(37). С.23. Об истории «Кольца поэтов» см. также: Anemone A., Martynov I. Towards the History of the Leningrad Avant-garde: The «Ring of Poets» // Wiener Slawistischer Almanach. 1986. Band 17. S.131-148.

⁶ «Кольцо поэтов» было создано в марте 1921 и закрыто распоряжением Петросовета 25 сентября 1922.

⁷ См. об этом: Данько Е.Я. Воспоминания о Федоре Сологубе; Стихотворения / Вступ. статья, публикация и комментарии М.М.Павловой // Лица: Биографический альманах. Вып.1. М.; СПб., 1992. С.190-262.

- 7) член Всероссийского Союза поэтов,
- 8) член Драмосоюза»⁸.

В 1931 Смиренский был впервые арестован. За стандартными формуировками нескольких справок о реабилитации из его личного архива кроется трагедия последующей жизни: тридцать лет инженерного труда на стройках (Беломорско-Балтийский канал, Волго-Дон и др.), изоляция от литературных центров, множество неопубликованных работ. Поселившись в Волгодонске, Смиренский продолжал филологические исследования, работал в местных газетах, создавал литературный музей.

К началу 1960-х Смиренский подготовил к изданию десяти томное собрание своих сочинений, три тома из которого составили воспоминания о современниках под названием «За 30 лет». Диапазон имен, представленных в оглавлении этой рукописи, вмещает в себя наиболее ярких представителей русской литературы первой четверти XX века⁹. В первый том мемуаров вошел и очерк о А.М.Ремизове, охватывающий небольшой, но решающий для Ремизова период его жизни в Петрограде 1920-1921 годов.

Обстоятельства знакомства Смиренского с А.М.Ремизовым нам не известны, но некоторые подробности, содержащиеся в публикуемых здесь мемуарах, дают возможность предположить, что их общение началось на деловой основе. Эта встреча, вероятно, произошла тогда, когда Ремизов искал кого-то, кто мог бы грамотно описать его личную библиотеку, предназначенную на продажу. В.В.Смиренский — профессиональный библиотекарь и библиограф, в ту пору служивший инструктором библиотечного дела во 2-м тяжелом артиллерийском дивизионе в Петрограде, вполне подходил для этого. Рекомендация же пригласить на эту работу Смиренского могла исходить от Якова Петровича Гребенщикова, старинного друга Ремизова, «василеостровского книгочея», сотрудника Публичной библиотеки, знакомого, как писал о нем Ремизов, «всякому, кому приходилось бывать в библиотеке /.../ В темь и "глад и мор" военного коммунизма, в годы 1918-1921, /.../ в какой только ячейке, на каком только собрании: и у балтмором, и у красноармейцев, и на всяких "трубошных" заводах и во всех районных отделах и политотделах не выступал он, "бня себя в грудь", часами читая о своем любимом библиотечном деле и библиографии...»¹⁰ Немаловажно и то, что Я.П.Гребенщиков был членом «Кольца поэтов».

Как язвительно заметил В.Яновский, «все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом...»¹¹. В этом смысле очерк Смиренского не составляет исключения. Тем не менее, свидетельства Смиренского по праву можно поставить в

⁸ ИРЛИ. Ф.582. Автобиография (1928).

⁹ Первый том воспоминаний (авторизованная машинопись) хранится в ИРЛИ (Ф.582).

¹⁰ См.: Ремизов А. Яков Петрович Гребенщиков. 1887-1935 // Ремизов А. Встречи: Петербургский буерак. Париж, 1981. С.265.

¹¹ Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993. С.186.

один ряд с мемуарами художников Ю. Анненкова и В. Милашевского, запечатлевшими Ремизова в последние два-три года его жизни в Петрограде, перед отъездом писателя в эмиграцию¹². Ряд эпизодов из воспоминаний Смиренского может служить реальным комментарием к одному из первых эмигрантских рассказов Ремизова «Крюк», напечатанному в 1922 в берлинском журнале «Новая русская книга» (№1), а позднее вошедшему в книгу «Ахру»¹³. «Первая память о России — "Крюк", написанный в жанре ностальгических воспоминаний, посвящен писателям и поэтам, оставшимся на родине и воспитывающим новое поколение, которому была завещана русская литература: "Есть одно русское литературное большое гнездо — Петербург—Москва. И от этого большого гнезда по всей по России — от океана до гор и от гор до моря и от моря до пустыни и от пустыни до других гор — малые гнезда.

И в жесточайшие годы — в войну всесветную и замутение, в раззор и падаль, не погибли, зайились гнезда»¹⁴.

Ремизову, казавшемуся автору мемуаров человеком на склоне лет, в год, когда он покидал Россию, было только 44 года, но именно тогда он с особой ясностью осознал свою личную, писательскую ответственность за будущую русскую литературу. Видя эксцессы революционного разрушения, он острее ощущал необходимость культурной преемственности. Он собирает вокруг себя, как мастер подмастерьев, — писателей, среди которых не только молодежь, но и его сверстники: Е. Замятин, Вяч. Шишков, М. Пришвин, И. Соколов-Микитов, К. Федин, М. Зощенко. Образуется своего рода «студия» Ремизова. Было вполне в духе эпохи: тогда возникло множество литературных объединений и студий по изучению прозы, школ поэтического мастерства и художественного перевода. Подобные «мастер-классы» для молодых литераторов организовывались при Доме Искусств и вне его. В эти годы Ремизов живо интересуется творчеством «Серрапионовых братьев», приветствует создание ассоциации «Кольцо поэтов», собиравшейся под девизом: «Единое сплетение художественного слова»¹⁵. В «Кольце поэтов» многое Ремизову было близко, сродни «Обезвельволпалу». Обезьянья палата как жизнетворческое и мифологическое пространство в начале 1920-х объединяла не только мэтров, но и начинающих литераторов. Миф о поэтической творческой «весне» 1920 образует доминантную тему рассказа «Крюк»:

В большом гнезде на Москве ходил со скрипочкой Скриплик — Андрей Белый, учил поэтов стиху, в Петербурге Серрапионовы братья по азам замятиным долбили — Замятин учил их рассказам и сказам, а стиху учил Гумилев /.../

¹² См.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. Нью-Йорк, 1966. С. 219-220, 224-225; Милашевский В. Вчера, позавчера... М., 1989. С. 156-160.

¹³ Ремизов А. Ахру: Повесть петербургская. Берлин; Пб.; М., 1922. Далее цитируется по этой книге.

¹⁴ Ремизов А. Ахру. С. 29.

¹⁵ В 1928 в письме к В. С. Миролюбову Смиренский, вспоминая о деятельности «Кольца поэтов», отмечал: «Очень охотно и много нам помогал А. М. Ремизов» (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 1071. Л. 12об.).

А к которому лешему все звери сходятся и птицы и гады и муравьи и пчелы пение свое попеть и рык рыкать, таким Лешим в большом гнезде петербургском был Алексей Максимович — на Кронверкский к Горькому дорога, что тропа к ключику:

его суд и ряд
над всем гнездом

А от Горького повертывало зверье в другую лешачью нору — стог чертячий — в Обезьянью великую и вольную палату на суд обезьяний¹⁶.

Запечатленные Смиренским эпизоды петроградской жизни представляют собой реальный комментарий к созданному Ремизовым мифу, дополняют представление о членах «Обезвельволпала» в начале 1920-х. Среди них и молодой поэт Анатолий Фролов, которому Ремизов посвятил по-отечески нежные строки¹⁷.

В воспоминаниях о Ремизове Смиренский не ограничивается рассказом о личных встречах с писателем, стремясь слить воедино мемуарный очерк, литературный портрет и, отчасти, исследование. Это побуждает его использовать помимо собственной памяти и те газетные статьи, что появились сразу после отъезда Ремизова, а также немногие описания литературной жизни русской эмиграции, которые были опубликованы в СССР в конце 1920-1960-х (книги Р.Гуля, Л.Любимова, К.Федина)¹⁸. Заданный этими статьями и публикациями набор оценок долгие годы оставался в советской литературе единственным возможным контекстом при упоминании имени Ремизова. Однако наличие этих оценок в тексте Смиренского не снижает объективной значимости его мемуарных свидетельств.

Текст мемуаров В.В.Смиренского «Алексей Ремизов» существует в трех вариантах: автограф и машинопись с авторской правкой, хранящиеся в архиве писателя в ИРЛИ, и авторизованная машинопись, находящаяся в Рукописном отделе РНБ¹⁹. Машинопись и рукопись ИРЛИ имеют лишь незначительные разночтения. Текст из архива РНБ сокращен в сравнении с рукописью ИРЛИ, хранит следы переработок: разрезанные и склеенные страницы. Публикуемый ниже текст воспроизводится по машинописи с авторской правкой (ИРЛИ. Ф.582), которая является пятнадцатой главой подготовленного Смиренским к изданию тома его собрания сочинений и представляет собой наиболее полный текст его воспоминаний о Ремизове.

¹⁶ Ремизов А. Ахру. С.44.

¹⁷ Там же. С.40; см. также прим. 7, 12 к тексту воспоминаний.

¹⁸ Смиренский также был знаком с книгой Н.Кодрянской «Алексей Ремизов» (Париж, 1959).

¹⁹ Ф.1049. Архив В.В.Смиренского. Ед.хр.3.

Навстречу мне из-за огромного письменного стола поднялся маленький, почти горбатый человечек с жесткой щетиной волос, в очках, гладко выбритый. Черты его лица мелкие, глаза — тоже небольшие, с хитринкой. В зубах у него желтый деревянный мундштук с недокуренной папиросой. Одет он в странный, кургузый пиджачок ярко-зеленого цвета, сшитый, несомненно, из портьеры.

Он протягивает мне крошечную, худую ручонку, приглашает сесть. Я сажусь около его стола и с интересом осматриваюсь. Стены большой квадратной комнаты раскрашены пестро и причудливо. Вдоль комнаты протянута нитка, на которой висят, покачиваясь, обезьянки, пауки и всякие чудища. В одном углу, наиболее ярко раскрашенном, в симметричном порядке развешаны игрушки: тут тоже обезьянки, палочки, хвостики, какие-то цветные камни. Одна стена сплошь занята книгами. На столе хозяина с исключительной аккуратностью разложены альбомы и рисунки, крошечные книжечки в старинных выцветших переплетах, рукописи. Здесь же, на краю, стоит большой деревянный ящик, в котором бережно сложены окурки.

— Когда нечего курить, — объясняет Алексей Михайлович, заметив мой несколько удивленный взгляд, — пригибаются и окурки. А без курения трудно работать!

Он охотно показывает мне свои рукописи. Все они в образцовом порядке, собственноручно переплетенные и раскрашенные. Пишет Ремизов мелким, совсем бисерным, но четким почерком. Некоторые рукописи и письма Ремизов пишет скорописью XVII-XVIII века. На это он большой мастер. Потом он так же охотно и любовно показывает мне свои книги, игрушки. О каждой игрушке у него сложена сказка, с каждой связано много воспоминаний¹.

— И стены вы сами раскрасили?² — спрашиваю я.

— Не место красит человека, — усмехаясь, отвечает Ремизов, — а человек место. Я эту поговорку помню и поэтому крашу свое место всегда сам.

В этот момент в комнату входит жена Ремизова, Серафима Павловна Довгелло. Это — женщина, которой посвящены все без исключения книги Ремизова³. Она вдвое выше его и вчетверо толще. Это очень высокая и очень полная женщина с простым, чисто русским лицом. Ремизов представляет меня ей, и беседа становится общей. Серафима Павловна внимательно слушает рассказы мужа, вероятно, слышанные ею уже не один раз. В ее отношении к мужу чувствуется трогательная заботливость. Видно, что она

бережно и ревниво охраняет писателя от всяких забот и дел, а на все его чудачества, игры и рисование смотрит, как мать на избалованного ребенка.

— Теперь, — говорит Ремизов, — я расскажу вам об «Обезьяньей палате»⁴. Управляет палатой небезызвестный вам обезьяний царь Асыка. Я при нем только скромный канцелярист. Званием князей обезьяньей палаты пожалованы очень немногие: Максим Горький, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков⁵... Остальные писатели являются кавалерами обезьяньего знака. Обезьяний знак рисуется только мною, а подписывается царем Асыкой собственноручно.

Тут Ремизов достает лист плотной бумаги, на котором причудливо разрисован обезьяний знак. Вверху непонятная, видимо, собственноручная подпись. Ремизов подходит к столу и вписывает в свободное, нарочито незакрашенное место мое имя.

— Жалуетесь вам, — говорит он торжественно, — обезьяний знак. Отныне вы посол Великой и Вольной Обезьяньей палаты и кавалер.

— Поздравляю вас, — улыбается Серафима Павловна.

Я низко кланяюсь обоим и благодарю.

— Кавалеров, — продолжает Ремизов, — у меня много. Некоторые из них, вот как вы, — несут определенную должность: Замятин — брадобрей, вы, брат ваш Борис Викторович⁶ и Анатолий Фролов — послы. Фролов, кроме того, исполняет еще по малолетству обязанности служки⁷. Тиняков — гнида обезьяньей палаты⁸.

Тут лицо Ремизова морщится, и он довольно хихикает.

Много раз я бывал потом у Ремизова, привел его библиотеку в порядок, составив алфавитный каталог всех его книг. По этому каталогу в скором времени Ремизов библиотеку продал⁹.

Потом он поручил мне продать его альбом с рисунками. Рисовал Ремизов очень неплохо, но как художник он был подлинным футуристом¹⁰. Он, например, нарисовал меня. Это был крошечных размеров рисунок, где лиловым карандашом была изображена какая-то непонятная фигура, держащая под мышкой пачку альбомов. Внизу была подпись: «Владимир Викторович Смиренский продает мои альбомы с картинками». Без подписи трудно было поверить, что это я. Этот рисунок и один альбом я оставил себе, остальные¹¹ продал и, надо сказать, почти мгновенно.

Имя Ремизова было очень популярно в литературной среде: каждый из писателей, приезжавший в Петроград хотя бы на время, считал своим долгом прийти на поклон к Ремизову.

Любимцем Ремизова был Анатолий Фролов. Ему не было, кажется, и 16 лет в ту пору, но он писал стихи, от которых веяло несомненным талантом:

Второй Иаков мне! Горбатые ступени
Роняет радуга, — страстей прозрачный рай.
Зарей, заря! И в тени, тени, тени,
Скользи, душа, а сердце не сгорай!¹²

Анатолий Фролов имел, как я уже говорил, звание посла и служки обезьяньей палаты и, по присвоенной ему должности, обязан был носить хвост. У него было их два: один будничный — маленький и почти незаметный заячий хвостик, а второй — праздничный, длинный, сплетенный из ремней. Когда он шел по улицам города с праздничным хвостом, его часто окликали прохожие, говоря, что у него сзади что-то болтается. Фролов оборачивался и резко отвечал, что это у него хвост.

Он был экзальтированный юноша. Однажды он засиделся у меня часов до трех ночи. Жил я в гостинице, которая после часу ночи закрывалась, и надо было будить швейцара. А это связано было с деньгами, которых у нас не было. Фролов долго думал, что делать, потом посмотрел в окно. Было совсем светло: в Ленинграде в начале лета еще стоят белые ночи. Этаж, однако же, был третий. Фролов попросался со мною и вылез через окно на водосточную трубу, по которой благополучно спустился вниз. Я наблюдал за этим акробатическим трюком и даже написал на трубе, что такого-то числа по ней спустился поэт Анатолий Фролов. Как потом оказалось, спуск вовсе не был благополучен. Не успел Фролов дойти до угла, как был задержан наблюдавшим за его спуском милиционером. Фролов был в коротких штанишках, с хвостом. Никаких документов у него не было. Его продержали в милиции до утра, пока не удалось созвониться с его родными. Отец его был известный ученый, профессор¹³.

Однажды я пришел к Ремизову¹⁴ с Фроловым, а Ремизов говорит: «Идемте-ка в "Дом Искусств", там сегодня читает новый рассказ совсем еще молодой писатель Михаил Зощенко. Говорят — талантливый». Пошли. Шествие было довольно странное: впереди шел Ремизов, с непокрытой головой, в очках, смешной и горбатый, в своем ярко-зеленом пиджаке, за ним следовала Серафима Павловна, на необъятном фоне которой он совершенно терялся, позади шли, и тоже гуськом, я и брат мой Борис, а замыкал шествие Анатолий Фролов, курчавый и смуглый, как цыганенок, с длинным ремненным хвостом, обвивающим голые ноги¹⁵. Между прочим, Фролов разительно напоминал юного Пушкина.

Зощенко мы слушали тогда впервые, читал он совсем еще не смешной рассказ «Старуха Врангель». Ремизов был доволен и все похваливал автора¹⁶... Рассказ был и вправду хорош.

Пока я приводил в порядок библиотеку Ремизова, я был свидетелем многочисленных писательских паломничеств. Целые дни к нему приходили знакомые и незнакомые люди, и Ремизов всех принимал очень вежливо, внимательно всех выслушивал, с особым удовольствием дарил свои затейливые автографы и портреты.

Перед отъездом Ремизов подарил мне одну из своих рукописей и портрет, на котором написал: «Обезьяну Ивановичу — Владимиру Викторовичу Смиренскому, от бывшего канцеляриста Алексея Ремизова, на память обезьянскую в Ильин день»¹⁷.

На мое предложение вступить в члены «Кольца поэтов» Ремизов ответил мне письменно: «"Кольцу поэтов" кланяюсь низко и благодарю. Слово мое в стихах и в прозе — от слова»¹⁸.

Последний вечер мы сидели с ним вдвоем, пили жиденский чай из высоких, толстых стаканов.

— Так-то вот, Обезьян Иванович, — сказал мне Ремизов, — уезжаю. Хочу уехать отсюда, переменить фамилию и начать новую жизнь. Устал я, Обезьян Иванович, измытарился очень!..

Мне и самому казалось, что Ремизов вправду устал от собственной лжи, которой он себя окружал, от всех своих чудачеств, от постоянной, нарочитой неестественности, оригинальничания. Много лет он воссоздавал свой второй, чудаческий облик, и все делал с гримасами, с ужимками; одевался странно, вел себя странно, все что-то выдумывал, всех постоянно мистифицировал. С серьезным видом он таким неподдельно искренним тоном рассказывал какую-нибудь несообразность, что ему верили¹⁹. А где-то внутри, глубоко, под пиджаком, сшитом из старой портьеры, билось чистое сердце талантливого и умного человека, которому под конец жизни стало, видимо, и противно, и тошно смотреть на второе свое «я». Поэтому слова его о перемене фамилии и жизни я принял как должное. Не скрою, что мне все-таки жаль было расставаться с этим смешным человечком, который сидел тихенько, горбатый и худенький, утопая в глубоком кресле, в большой своей, уютной и пестрой комнате с балаганскими украшениями и говорил мне, прощаясь:

— Не увидимся больше, Обезьян Иванович, не увидимся, миль! Деньги вы за меня получите в редакции и оставьте их у себя. Это вам за библиотеку.

Тут он мне дал две доверенности.

— Пишите стихи, — продолжал он, — берегите Анатолия Фролова. Он еще очень молод, и за ним надо приглядывать.

Без конца Ремизов быстро и ловко крутил тоненькие папироски и курил, задыхаясь и кашляя от табачного дыма. В комнате было тихо, полутемно, только в углу горела лампадка, от нее Алексей Михайлович и прикуривал²⁰. В этот вечер я простился с Ремизовым навсегда. Он не говорил, куда он едет, и только месяц спустя я узнал из газет, что он за границей²¹. Там он опубликовал целый ряд книг и статей, в одной из которых вспомнил и обо мне²².

Ремизов обладал исключительной, пожалуй даже феноменальной памятью. Он безошибочно помнил по имени и отчеству всех своих даже случайных знакомых. И к каждой фамилии он, как и вообще к слову, подлинно им любимому, относился всегда внимательно, бережно и с большим интересом. Он терпеливо просматривал в газетах длинные перечни лиц, желающих переменить фамилию, и наиболее интересные из них записывал. Однажды, читая такой перечень при мне, он заметил:

— Вот какой-то Афанасий Дырка хочет переменить фамилию. Ну, не чудак ли? Такая превосходная, чисто гоголевская фамилия, а он ее менять хочет!..²³

О своей собственной фамилии Алексей Михайлович часто говорил, что она происходит от слова ремез, что значит пташка, и что поэтому ударение в ней делается на первом слоге.

— Ни в коем случае, — подчеркивал он, — фамилия моя не происходит от слова ремиз, как многие ошибочно думают!

Откровенно говоря, мне это казалось безусловной натяжкой. Поскольку его фамилия писалась не Ремезов, а именно Ремизов — происхождение ее, в сущности, было совершенно бесспорным²⁴. Но я никогда не вступал с ним по этому поводу в пререкания.

История новой фамилии: Куковников, — которую он придумал себе за границей, мне неизвестна. Но любопытно, что она, по созвучию напоминающая и любимых им кукол, и Нестора Кукольника, чем-то, видимо, оказалась Ремизову родственной и близкой²⁵.

На память о родине Ремизов увез за границу шепотку русской земли, бережно спрятав ее в пудреницу Серафимы Павловны. Он очень любил Россию.

Ремизов был сложной фигурой. Будучи в прошлом близок к революционерам и дружил с Каляевым²⁶. Пришвин вспоминает, что Каляев продолжал относиться к Ремизову с тем же самым уважением даже и в те годы, когда он стал писать свои «утонченнейшие, изящные словеса». Однажды близко к своему концу

Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся ему приветливо и так наивно-простоудушно спросил на ходу:

— Неужели все еще о своих букашках пишешь?²⁷

Да, Ремизов писал о букашках. И революцию он не принял. Несмотря на то, что наша страна относилась к нему бережно и любовно, окружив его вниманием и заботой (ему была предоставлена казенная квартира, он бесплатно получал все газеты и журналы, его сочинения печатались, как и прежде), несмотря на все это, Ремизов прожил несколько лет в Петрограде внутренним эмигрантом и при первом подвернувшемся ему случае бежал за границу²⁸.

О его пребывании за границей сведений у нас было мало. Первое время, по свидетельству Романа Гуля, он оставался таким же, как был, не меняя своих привычек. В Берлине он завесил всю комнату чертами, бумажными прыгунчиками, игрушками и, пугая немецкую хозяйку, сидел в драдедамовом платке с висюльками²⁹. Уже значительно позже, перекочевав в Париж, Ремизов, как рассказал мне К.А.Федин, переименовал фамилию³⁰.

В недавно опубликованных (в 1957 году) воспоминаниях Льва Любимова «На чужбине» подчеркнута, что Ремизов признал свои заблуждения и занял патриотическую позицию, став в 1946 году советским гражданином³¹. Эмигранты называли его за это ретроградом, подлецом, советской сволочью (воспоминания Н.Кодрянской)³².

Под конец жизни Ремизов ослеп. Умер он в ноябре 1957 года, 80 лет от роду, в полном и поистине трагическом забвении, одиночестве и нищете³³. (Серафима Павловна умерла в 1943 году).

А между тем роман его «Пруд» и повесть «Крестовые сестры»³⁴ являются поистине блестящими образцами русской реалистической прозы. И пристальная работа Ремизова над языком заслуживает серьезного внимания. Ремизов был высокоодаренным учеником лесковской школы, что признавали и Горький, и Блок³⁵. Кстати сказать, Блок очень любил Ремизова и посвящал ему стихи³⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Об истории возникновения ремизовской коллекции игрушек см.: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С.119. Там же приведен рассказ Ремизова о передаче этой коллекции в Пушкинский Дом (ИРЛИ). Уже будучи в Берлине, Ремизов прислал в Пушкинский Дом «паспорта» — рисунки с изображением некоторых персонажей своего bestiaria. См.: ИРЛИ. Ф.256. Оп.1. Ед.хр.43. Л.1-5, а также письма Ремизова П.М.Устимовичу (ИРЛИ. Ф.256. Оп.3. Ед.хр.11. Л.1-7). См. также: Во-

лошин М. Алексей Ремизов. Посолонь. Изд. «Золотого Руна». 1907 // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С.508-515; Кожевников П. Коллекция А.М.Ремизова. Творимый апокриф // Утро России. 1910. 7 сентября. №243. С.2; А. В волшебном царстве: А.М.Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. №44. С.10-11.

² Очевидно, речь идет о квартире Ремизова на 14-й линии Васильевского острова (д.31, кв.48), в которой писатель жил с сентября 1916 по май 1920. Стены в этой квартире были расписаны изображениями кавалеров и князей Обезьяньей Великой и Вольной Палаты и ее царя Асыки. Ср.: «Есть асычий нерукотворенный образ — на голове корона, как петушинный гребень, ноги — змеи, в одной руке — венки, в другой — треххвостка — на стене написан в рост человек в Петербурге...» (Ремизов А. Ахру. С.50).

³ *Серафима Павловна Ремизова-Довгелло* (1878-1943) — жена А.М. Ремизова; ее биография легла в основу книги Ремизова «В розовом блеске» (Нью-Йорк, 1952). Почти все книги Ремизова, вышедшие в России, открывались посвящениями Серафиме Павловне. См.: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Указ. изд. С.151-186; Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб., 1992. С.16-31.

⁴ История возникновения «обезьяньего общества», его законоположение и реальные сюжеты из жизни его членов описаны Ремизовым в книгах: Взвихренная Русь. М., 1991. С.376-390; Кукха: Розановы письма. Берлин, 1923; Встречи: Петербургский буерак. Париж, 1981. С.187-189. См. также статьи: Морковин В. Приспешники царя Асыки // *Československa rusistika*. 1969. Vol.XIV. №4. S.178-186; Гречишкин С.С. Архив А.М.Ремизова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С.32-34; Его же. Царь Асыка в «Обезьяньей Великой и Вольной палате» Ремизова // *Studia Slavica* (Budapest). 1980. Vol.XXVI. S.173-176; Lampl H. Remizovs Petersburger Jahre: Materialien zur Biographie // *Wiener Slavistischer Almanach*. 1982. Bd.10. S.299-301; Флейшман Л.С. Из комментариев к «Кукхе»: Конкретор Обезвелволпала // *Slavica Hierosolymitana* (Jerusalem). 1977. Vol.1. С.185-193.

⁵ Е.И.Замятин, В.Я.Шишков и М.Горький входили в круг литераторов, с которыми Ремизов тесно общался в 1920-1921. Им посвящены страницы мемуарной прозы писателя: «Горький. Три письма Горького»; «Алексей Максимович Горький»; «Стоять — негасимую свечу»; «Памяти Евгения Ивановича Замятина»; «Заветы» (Ремизов А.М. Встречи. Указ. изд. С.117-134; 252-258). См. также: Письма Е.И.Замятина А.М.Ремизову / Публикация В.В.Бузник // *Русская литература*. 1992. №1. С.176-179. Ремизов так охарактеризовал творчество Замятина и Шишкова начала 1920-х: «Е.И.Замятин "изуграф" — резчик слова — смиренный епископ обезьянский Замутый, в мире князь обезьяний Евг.Замятин и без кофеину взялся за сказки, рассказы, повести — и успел. И Шишков, князь сибирский и бежецкий обезьяний — пьесу за пьесой со своим неизменным комедийным пастушонком, а также память сибирскую — шаманскую по-

весь» (Ахру. С.38). Вяч. Шишков посвятил Ремизову свой рассказ «Соловьинная ночь» (Подножие башни. Пг., 1920).

⁶ *Борис Викторович Смиренский* (1900-1970) — поэт, издал в 1916-1928 шесть стихотворных сборников; литературовед. Посвятил А.М.Ремизову стихотворение:

Лоскутками огонь свечи
В зеркала синий дым разносит;
И блестят в бессонной ночи
На столе голый череп и кости.
Насупились в складках души
Брови густого мрака...
Там, в черной живет глуши
Кавалер обезьяньего знака.
Много он знает слов,
Много и тайн знает,
И долго, поверх очков,
Обезьянью книгу читает.

Смиренский Б. Рифмологион IV. Пб.: «Иви-
ковы журавли», 1922. С.4.

В 1921 Борис Смиренский организовал вместе с братом Владимиром поэтическую ассоциацию «Кольцо поэтов», в которой исполнял должность секретаря.

⁷ *Анатолий Александрович Фролов* (р.1906) — поэт, в 1920 — ученик 37-й Советской Единой Трудовой школы I и II ступени Выборгского района (ЦГА СПб. Ф.7240. Оп.6. Ед.хр.2349). В Летописи ассоциации «Кольцо поэтов», составленной братьями Смиренскими (ИРЛИ. Ф.582), имеются записи о вступлении Ф. в ассоциацию и назначении его заместителем председателя — В.Смиренского (21 июля 1921), 17 апреля 1922 Фролов был исключен из ассоциации вместе с Е.Замятиным и В.Миролубовым, а 21 августа снова зачислен. В своем поэтическом сборнике «Большая любовь» (Пб.: «Кольцо поэтов», 1922) В.Смиренский поместил стихотворение с посвящением Анатолию Фролову — «Когда на сгорбленных ступенях...» (С.6). Ремизов в «Ахру» с особой нежностью писал: «/.../ и совсем еще перворосток мой обезьяненок, обезьянко, б. царь ежиный Анатолий Фролов, служба обезвелволпала, единственный в Петербурге, таскающий в коротеньких штанишках билет на право ношения хвоста» (Ахру. С.40). В реестре членов Обезвелволпала А.Ремизова Фролов упоминается дважды: «служба обез[велволпала] и кав[алер] царь беличий Анатолий Фролов» и «служба Обезвелволпала, обезьяненок и б[ывший] царь ежиный» (Ремизов А. Обезьянья Великая и Вольная Палата; Материалы фантастического общества // ИРЛИ. Ф.256. Оп.2. Ед.хр.13). В архиве М.В.Борисоглебского (РНБ) хранятся две тетради стихов Ан.Фролова. Первая из них содержит машинописные тексты шестнадцати стихотворений, собранных под обложкой с названием: «Стихи (плохие) / А.М.Ремизову (хорошему) / Анатолий Фролов / (обезьяненок) / 1921». Обложка

заполнена множеством рисунков с подписями, являющимися цитатами из стихов, либо относящимися непосредственно к Фролову («заяшный хвостик», см. текст воспоминаний В.Смиренского: С.168 в наст. изд.) и к Ремизову («Алалей» — имя героев сказок Ремизова, см.: К Морю-Океану // Ремизов А. Сочинения. СПб., 1911. Т.6, а также русалии «Алалей и Лейла» — Колядный альманах. Пг., 1919. С.52-60; кроме того, именно так в детстве выговаривала имя Ремизова его дочь Наташа). Вторая тетрадь представляет собой рукописный сборник, на титуле которого имеется надпись: «Обезьяний хвост / 1921 / Анатолий Фролов». На обороте первого листа тетради написано посвящение: «А.М.Ремизову». На пяти листах сборника расположены пять стихотворений. Любопытно, что почерк Фролова в значительной степени имитирует ремизовский, особенно характерный для его «обезьяньих грамот» (РНБ. Ф.92. Оп.1. Ед.хр.354. Л.1-22). См. также заметку-мистификацию Ремизова с упоминанием Фролова, анонимно напечатанную в берлинской газете:

В Петербурге образовался книгоиздательский трест «Аверьяныч и Товарищи». К 1 маю издательство выпускает I-ый товарищеский сборник: Вяч. Шишков, Евг. Замятин, А.И. Чапыгин, К.А.Федин, А.С.Неверов, М.А.Дьяконов, А.А.Фролов [курсив наш. — Е.О.], Георгий и Яков Гребенщиконы, А.Б.Кусиков, Б.А.Пильняк и Н.А.Шапошников. А называется сборник «Кавыка».

(Голос России. 1922. 16 апреля. №943. С.9).

Сведениями о публикациях стихов Ф. мы не располагаем. Упоминание о нем как о поэте встречается у М.А.Кузмина. «Жизнь проталкивается /.../ в ремизовской сиротке Анатолии Фролове», — писал Кузмин, завершая свой обзор современной поэзии «Парнасские заросли» (март—сентябрь 1922; РГАЛИ. Ф.2853. Оп.1. Ед.хр.30. Л.15 — сообщено А.Г.Тимофеевым). В опубликованный текст обзора эта фраза не вошла. См.: Завтра: Литературно-критический сборник / Под ред. Е.Замятина, М.Кузмина и М.Лозинского. I. Берлин, 1923. С.114-122). О посещениях Фроловым Кузмина в 1921 см.: Кузмин М. Дневник 1921 года / Публикация Н.А.Богомолова и С.В.Шумихина // Минувшее: Исторический альманах. Вып.12. М.; СПб., 1993. С.470; Там же. Вып.13. С.498, 504-507, 509). Сведения о дальнейшей судьбе Ф. почерпнуты нами из его студенческого дела и личного дела его отца А.М.Фролова: ЦГА СПб. Ф.7240. Оп.6. Ед.хр.2349; Петербургский гос. университет путей сообщения (ПГУПС). Личное дело №25 за 1959 год. В 1922 Ф. поступил на факультет общественных наук Общественно-педагогического отделения Петроградского университета; в 1923-м подал заявление с просьбой выдать ему документы для продолжения обучения на экономическом факультете Первого Петроградского Политехнического института. На вопросы одной из анкет (1922) отвечал: «15) Чем занимались до 1914 г.? — играл и учился. 16) Чем занимались с 1914 по 1917 г. — играл, учился, читал. 17) Чем занимались с 1917 по 1922 г. — играл, учился, читал и писал» (ЦГА СПб. Ф.7240. Оп.6. Ед.хр.2349. Л.6). В 1923 вместе с двумя своими старшими братьями Вла-

димиром и Сергеем Анатолий Фролов выехал за границу «с целью повышения квалификации». Обосновался он в Париже, стал археологом, в конце 1950-х защитил докторскую диссертацию (Frolow A. La relique de la Vraie Croix: recherches sur le développement d'un culte. Paris: Institut français d'études byzantiques. 1961), преподавал в Сорбонне, женился, имел сына — Луку. О встречах Фролова с Ремизовым в Париже, куда писатель переехал также в 1923, сведений нет. Пользуясь случаем выразить признательность А.Л.Дмитренко за содействие в поиске биографических сведений о Фроловых в ЦГА (СПб.) и архиве ПГУПС.

⁸ Александр Иванович Тиняков (1886-1934?) — поэт, печатался под псевдонимами Одинокый, Герасим Чудаков и др., автор трех поэтических сборников, первый из которых вышел в 1912 (Navis nigra: Стихи 1905-1912 гг. М., 1912). Имел чрезвычайно скандальную репутацию. См. о нем: Hughes R., Malmstad J. Vladislav Hodasevic and Boris Sadovskoj // Slavica Hierosolymitana (Jerusalem). 1981. Vol.V/VI. P.474-475, 494-500; Варжапетян В. «Исповедь антисемита», или К истории одной статьи: Повесть в документах // Литературное обозрение. 1992. №1. С.12-37; Богомолов Н.А. Материалы к библиографии А.И.Тинякова: 1886-1934 // De visu. 1993. №10. С.71-79. Осенью 1912 Тиняков появился у Ремизова с письмом от владельца издательства «Гриф» С.А.Соколова: «Дорогой Алексей Михайлович! Примите благосклонно молодого поэта. Это — Александр Иванович Тиняков (Одинокый), переправляющийся на жительство в Петербург. Знакомых у него из писателей там нет, кроме тех будущих, коим я дал ему рекомендательные письма. Откройте ему ход в литературный мир, где его место вполне по праву» (РНБ. Ф.634. Ед.хр.203. Л.32). Тиняков пользовался дружеским расположением и протекциями Ремизова, через которого познакомился с А.Блоком, П.Е.Щеголевым, Р.В.Ивановым-Разумником и др. В письмах 1910-х Ремизов именует Тинякова «отец дьякон» (см.: РНБ. Ф.774. Ед.хр.33). Вероятно, новый титул («гнид обезьяний») обязан своим появлением публикациям Т. в черносотенной прессе в 1916, а также его сотрудничеству с ЧК после революции. Под этим титулом Тиняков значится в списке Обезвельволпала (ИРЛИ. Ф.256. Оп.2. Ед.хр.13. Л.8) и, например, в письме Ремизова к М.А.Дьяконову (РНБ. Ф.1124. Ед.хр.8. Л.4). В.Смиренский оставил о Т. отдельный мемуарный очерк, начинающийся словами: «Ремизов называл Тинякова "гнида обезьянней палаты"». И надо сказать, что это омерзительное прозвище присвоено было Тинякову не зря. Это был неисправимый, закоренелый циник, совершенно беспринципный и аморальный. И весь ужас заключался в том, что этой беспринципностью и цинизмом Тиняков даже гордился» (ИРЛИ. Ф.582). См. также газетную заметку Смиренского о А.Тинякове «Писатель-нищий» в рубрике «Писатели и алкоголь»: Иллюстрированная бытовая газета (Ленинград). 1929. 5-8 июля. №44(35). С.6.

⁹ В письме М.А.Дьяконову от 18 января 1921 из Берлина Ремизов сообщал: «/.../ перед отъездом продал я свои книги и самые любимые Блоху в Петрополис. Думал, получу деньги, на первое время за границей к[ак] н[и]б[удь] перебысь, а до сих пор денег не получил» (РНБ. Ф.1124. Ед.хр.8. Л.1).

¹⁰ В 1910 Ремизов участвует в выставке «Треугольник», устроенной Н.Кульбиным, а в 1915 его рисунки впервые публикуются в футуристическом сборнике «Стрелец». Немало общих интересов связывало Ремизова с Велимиром Хлебниковым (см.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Нью-Йорк, 1966. Т.1. С.214; Ремизов А. Неизданный «Мерлог» / Публикация А.д'Амелиа // Минувшее: Исторический альманах. Вып.3. М., 1991. С.201; Баран Х. К типологии русского модернизма: Иванов, Ремизов, Хлебников // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993. С.191-207; Markov V. Russian futurism: A History. Berkeley; Los Angeles, 1968. P.411; Маркадэ Ж.К. Ремизовские письма // Approaches to a protean writer. Columbus, 1987. P.123-125; Гурьянова Н. Ремизов и «Будетляне» // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С.142-151).

¹¹ Один из таких альбомов с портретами ремизовских современников (1917-1921) хранится в ОР РНБ. (Ф.634. Ед.хр.19).

¹² В архиве Смиренского (ИРЛИ. Ф.582) имеется блокнот с обращениями к нему стихами Ф.Сологуба, К.Вагинова, К.Олимпова (К.К.Фофанова), С.Нельдихена и др. В их числе и три стихотворения Ан. Фролова. Приведенные строки являются первой строфой его стихотворения. Приводим его конец, а также два других поэтических текста этого автора:

Не принимай ни радости,
ни гнева,
Нельзя любовнику забытому
помочь.
Когда в червонцах ласковою
девой,
Рыдаю горько, упадает
ночь.
И буду так лежать,
псоглав и светел,
Пока зарю не продырявит
петел.

1922

В.Смиренскому

Триолет

Ты уронила башмачок
С трепещущей ноги.
Мой трудный путь еще далек,
Ты уронила башмачок,
И я бегу, как пастушок,
Со старым broderie.
Ты уронила башмачок
С трепещущей ноги.

1921

Это тебе, Володя, о том,
как вставало солнце.

В сосудах светы беглой стали.
(Плескалась кровь на дне сосуда)
По коридорам пробежали,
Но не ответили — откуда.
По коридорам пробежали,
(Плескалась кровь на дне сосуда)
В сосуде светы беглой стали.
Я ждал пылающего чуда.

1922

«Фролов писал "пасторальные" стихи и, по нашему совету, понес показать их А.Блоку, — вспоминал Борис Смиренский об осени 1920. — Каково же было наше удивление, когда поэт посоветовал ему бросить на время писать стихи, по крайней мере на два года! Одновременно он рекомендовал ему посещать концерты гастролировавшего тогда у нас Ван-Орена, органные концерты, и вообще слушать больше музыки. /.../ Не знаю — выполнил ли заветы Блока Анатолий Фролов, но по-видимому — нет, так как с тех пор я о нем не слышал. Вот одна из его "пасторалей":

На старинном дворцовом фарфоре
улыбаются томно маркизы,
полусмятые спят кружева.

Уплывают в закатном узоре
нежных ручек вечерние ризы,
розовеет влюбленно трава.

И слился в замирающем хоре
с ветерками певучий рожок.
На старинном дворцовом фарфоре
ты пастушка, а я — пастушок».

(Смиренский Б.В. Книги и люди. — Авторизованная машинопись. Собр. А.Л.Дмитренко. СПб.).

¹³ Александр Матвеевич Фролов (1870-1964) — академик УССР, гидротехник, профессор Политехнического института и Института инженеров путей сообщения в Ленинграде.

¹⁴ В тексте машинописи «к Ремизову» — зачеркнуто и заменено на: «к нему вместе». Местоположение предшествующего фрагмента от слов: «Любимцем Ремизова...» до «...известный ученый, профессор» установлено по рукописи воспоминаний Смиренского (ИРЛИ).

¹⁵ Ср. воспоминания М.Зошенко об одном из вечеров в Доме Искусств: «Вот идет А.М.Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель "Обезьяньей вольной палаты"» (Перед восходом солнца // Зошенко М. Собр. соч.: В 3 тт. Т.3. Л., 1987. С.502).

¹⁶ М.М.Зошенко входил в литературную группу «Серапионовы братья», созданную 1 февраля 1921 молодыми студистами Дома Искусств. По свидетельству Н.Резниковой, «группа "Серапионовых братьев" была образована с благословения Ремизова. Он рассказал /.../, что он окрестил ее Серапионовыми братьями, вспоминая Э.Т.А.Гофмана, которого он так любил» (Резникова Н. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С.84-85). Среди документов Обезвволпала, находящихся в ИРЛИ, имеется рисованная Ремизовым грамота от 30 мая 1921 кавалеру обезьяньего знака М.Зошенко, подписанная князьями Е.И.Замятым, Вяч. Шишковым и служкой Ан. Фроловым (Ф.256. Оп.2. Ед.хр.13. Л.22). Рассказ «*Старуха Врангель*» запомнился Ремизову: «М.Зошенко — из самых "Мертвых душ" от Коробочки и "Скверного анекдота": "Старуха Врангель" — петербургские и уездные рассказы его — подковыр Гоголя и выковыр Достоевского» (Ахру. С.34). Вероятно, Смиренский описывает одно из первых чтений этого рассказа (опубликован в сборнике рассказов Зошенко «Разнотык» — Пг., 1923) весной 1920 на одном из еженедельных собраний будущих «серапионов». Сомнительно, чтобы речь могла идти о вечере художественной прозы под названием «Сегодня», состоявшемся в Доме Искусств 23 мая 1921, на котором вместе с «серапионами» М.Зошенко («Старуха Врангель»), Л.Лунцем (рассказ «Исходящая»), Н.Никитиным (рассказ «Ангел Аввадон») читал свои рассказы и А.Ремизов (цикл «Шумы города»). Этот вечер описан в дневнике К.Чуковского (запись от 24 мая 1921): «Вчера вечером в Доме Искусств был вечер "Сегодня", с участием Ремизова, Замятина — и молодых: Никитина, Лунца и Зошенко. Замятин в деревне — не приехал. Зошенко — темный, большой, милый, слабый, вышел на кафедру (т.е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал "Старуху Врангель" — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой — но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое. Для актеров такие рассказы — благодать. "Не для цели торговли, а для цели матери" — очень понравилось Ремизову, к-рый даже толкнул меня в бок» (Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., 1991. С.170). См. также: Дом Искусств. 1921. №2. С.119; Анненков Ю. Дневник моих встреч. Указ. изд. Т.1. С.309 (портрет М.Зошенко работы Анненкова (1921), где на втором плане изображена афиша этого вечера).

¹⁷ К тексту воспоминаний приложена подаренная Смиренскому обезьянья грамота с глаголической надписью.

¹⁸ «*Кольцо поэтов*» — литературная ассоциация им. К.М.Фофанова, основанная В.Смиренским 30 апреля 1921. Ремизов одним из первых получил приглашение и был зачислен в члены «Кольца поэтов». После отъезда из Петрограда Ремизов, находившийся в Ревеле с 23 августа 1921 по 18 сентября 1922, неоднократно передавал «приветы» «Кольцу поэтов», о чем имеются записи в Летописи ассоциации (ИРЛИ. Ф.582). Из писем В.Смиренского к Л.И.Аверьяновой явствует, что Смиренский писал Ремизову по крайней мере до весны 1927 (ИРЛИ. Ф.355. Ед.хр.54. Л.45). Косвенным свидетельством того, что Ремизов в первый год эмиграции не забы-

вал о существовании «Кольца поэтов», является анонимная заметка в берлинском журнале, автором которой, по всей видимости, был сам Ремизов, поставлявший для этого журнала сведения о литературной жизни в России: «Кольцо Поэтов, в Петербурге, к которому принадлежат: Константин Олимпов (Фофанов), Борис и Владимир Смиренские, Анатолий Фролов, готовит сборник стихов» (Новая Русская Книга. 1922. №1. С.42).

¹⁹ Похожее впечатление, хотя и в более резкой форме, зафиксировано в воспоминаниях В.Яновского, посещавшего Ремизова в Париже: «Какая-то хроническая, застарелая, вспокрывающая фальшь. /.../ В этом доме царил сплошная претенциозность /.../ Все "штучки" Ремизова, вычурные сны и сказочные монстры, в конце концов, били мимо, как всякий неоправданный вымысел» (Яновский В.С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С.186). Близкий друг Ремизова Н.В.Резникова, напротив, утверждала, что чудачество было для писателя «прежде всего, выходом из ограниченной трехмерности, неприятным нормальной "нормы", обязательной для человека. В этом сказывалось основное свойство душевного склада А.М.: непокорность, протест против навязанной реальности, отказ от общих истин и установленной шкалы ценностей» (Резникова Н. Огненная память. Указ. изд. С.25; см. также С.27, 133-141). О мистификациях и мифотворчестве Ремизова см.: Пяст В. Встречи. М., 1929. С.29-31; Лундберг Е. Записки писателя: 1920-1924. Т.2. Л., 1930. С.300-302; Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921-1923: По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте. Париж, 1983. С.21-22; Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Указ. изд. С.104.

²⁰ Отмеченная бытовая подробность противоречит воспоминаниям Н.В.Резниковой, утверждавшей, что в доме Ремизовых не только что прикуривать от лампад, но и курить при иконах строго воспрещалось. См.: Резникова Н. Огненная память. Указ. изд. С.27.

²¹ Об отъезде Ремизова сообщалось в «Красной газете» — 1921. 10 сентября. №186(1062). С.4, а также в хрониках «Летописи Дома Литераторов» (1921. №3. С.7; №4. С.7) и «Вестника литературы» — 1921. №12(36). С.19.

²² В рукописи текста воспоминаний Смиренский конкретизирует: «издал целый ряд книг и, между прочим, "Ахру", — повесть обезьянскую, где вспомнил и обо мне» (ИРЛИ. Ф.582). Упоминания о Смиренском в книге «Ахру» так же, как и в других произведениях Ремизова, не обнаружены.

²³ Ср. с рассказом Ремизова «Анна Каренина»: «В "Вестнике Отдела Управления", где печатаются всякие обязательные постановления Петросова, есть такой закон: там о перемене фамилий. Каждый раз я с нетерпением жду четверга, когда выйдет этот Вестник, чтобы посмотреть, какие есть еще на свете "лошадиные" фамилии, и на какие "нелошадиные" меняются» (Взвихренная Русь. Указ. изд. С.405).

²⁴ Среди газетных вырезок и различных публикаций, собранных Смиренским в том под названием «Владимир Смиренский. Собрание сочинения»

ний. Рассказы», имеется газетная статья, относящаяся приблизительно к 1970-м годам, посвященная мифологическим корням ремизовской фамилии, — «Ремез — Птичка Божия»: «В этой птичке нет ничего необыкновенного. Она сделана рядовым игрушечных дел мастером, по всей вероятности кустарем, из дерева, раскрашена причудливо и пестро и снабжена весьма длинным носом. И, судя по носу, это типичный дятел. Но Алексей Михайлович Ремизов клятвенно заверял, что это птичка божия — ремез, от которой будто бы происходит его фамилия, чему я, сказать по правде, никогда не верил. Ныне — это вполне заслуженная птичка, она живет у меня более сорока лет и есть не просит. Кроме того, от многих падений она несколько пострадала: у нее сломан клюв и нога, но и то и другое аккуратнейшим образом подклеено и подкрашено, так что не специалист по птицам может изъяна и не заметить. Птичке той Ремизовым поручено было охранять книги. Она стояла у него на книжной полке. Ту же обязанность она неукоснительно несет и у меня в доме — все годы охраняет книги. Ремизов был отъявленным мистификатором. Простодушным и доверчивым людям он любил рассказывать, что именно к этой деревянной птичке обращены пушкинские стихи:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда.
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

— Она, — хитро улыбаясь, пояснял Ремизов, — с удовольствием свила бы себе гнездо, но ведь она деревянная. Вот Пушкин и написал о ней. А у живых птичек у всех есть гнезда.

Как ни странно, но Ремизов был тут пожалуй что прав» (ИРЛИ. Ф.582). В автобиографической книге «Подстриженными глазами» Ремизов разъясняет этимологию своей фамилии, писавшейся через ять и происходившей от колядной птицы ремез, относя изменение написания на счет своеобразного характера своего отца, пожелавшего «происходить не от птицы, а от ткацкого станка "ремеза", а он даже согласен на карточный "ремиз"...» (Ремизов А. Взвихренная Русь. М., 1991. С.169). См. также автобиографию Ремизова 1923 г. (Ремизов А. Избранное. Л., 1991. С.548). О создании Ремизовым автомифа на основе легенды о птичке ремез см.: Безродный М.В. Об одной подписи Алексея Ремизова // Русская литература. 1990. №1. С.224-228; Аверин Б.В., Данилова И.Ф. Автобиографическая проза А.М.Ремизова // Ремизов А. Взвихренная Русь. Указ. изд. С.3-4.

²⁵ *Куковников* — один из псевдонимов Ремизова, под которым он опубликовал в эмигрантской прессе несколько статей о собственном графическом искусстве (см.: Куковников В. Рукописи и рисунки А.Ремизова // Числа. 1933. Кн.9. С.191-194; Куковников В. Выставка рисунков писателей // Последние новости. 1933. 30 декабря). Баснописец Василий Петрович Куковников — герой поздних произведений Ремизова. Этот образ писатель использовал в своих автометаописаниях (см.: Ремизов А. Учитель музыки. Париж, 1983. С.345-355; Неизданный «Мерлог». Указ.

изд. С.211). Учитывая, что свою настоящую фамилию Ремизов считал производной от птицы ремез, следует полагать, что и его псевдоним имел «орнитологическую» этимологию (см.: Безродный М.В. Об одной подписи Алексея Ремизова. Указ. изд. С.226).

²⁶ Знакомство Ремизова с И.П.Каляевым относится ко времени их вологодской ссылки 1901-1902 (см.: Ремизов А. Иверень / Ред., подготовка текста и комментарий О.Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986. С.199-200). Оба они, писавшие в то время стихи, даже сделали совместный перевод стихотворения в прозе С.Пушкинского «Tesknota» («Тоска») — см.: Письма А.М.Ремизова и В.Я.Брюсова к О.Маделунгу / Сост., подготовка текста, примечания П.Альберга Енсена и П.У.Мёллера // Kobehnavns universitets slaviske institut. Materialer I. Copenhagen, 1976. С.79-80. В рукописном альбоме Ремизова «Корова верхом на лошади. Цветник II» ремизовское стихотворение «Мгла» сопровождается пояснением: «Эти стихи мои древние написаны в Вологде в 1902 г. в период дружбы с Ив. Пл. Каляевым — он писал стихи по-настоящему и много поэтических вечеров провели мы в келье моей на Желвунцовской. А.Р.» (РНБ. Ф.634. Ед.хр.18. Л.21). В марте 1906 Ремизов и его жена С.П.Ремизова-Довгелло ездили в Шлиссельбург на могилу Каляева, казненного за убийство великого князя Сергея Александровича (см.: Lampl Н. Remizovs petersburger Jahre. Ibid. С.280). Накануне своего отъезда из России в письме к П.Е.Щеголеву, — товарищу Ремизова и Каляева со времен вологодского поселения, историка революционного движения и организатору Музея Революции, — Ремизов писал: «В музрев прошу принять о И.П.Каляеве, икону Воскресения и моск. декабрь. [1]905 г. /.../ Воспоминания мои о И.П.Каляеве и о цветах пасхальных и о стихах — память вологодскую напишу, как только очеловечусь» (ИРЛИ. Ф.627. Оп.4. Ед.хр.1479-1610. Л.126). О революционном прошлом и ссылке Ремизова см.: Ремизов А.М. Иверень. Указ. изд. С.29-33 и др.; Морозов В. На рассвете: Исторический очерк об образовании и деятельности первых социал-демократических кружков в Пензе в 1894-1897 гг. Пенза, 1963. С.29-37; Грачева А.М. Революционер А.Ремизов: миф и реальность // Лица: Биографический альманах. Вып.3. М.; СПб., 1993. С.419-447.

²⁷ Смиренский почти дословно приводит фрагмент из очерка Пришвина («Мой очерк» — впервые опубликован: Литературная газета. 1933. 11 апреля. №17; см. также: Пришвин М. Собр. соч.: В 8 тт. Т.3. М., 1983. С.9). Этот сюжет мог быть известен Пришвину, близко общавшемуся с Ремизовым весь петербургский период его жизни, из устных рассказов писателя. Упоминание об этой встрече находим и у самого Ремизова (Кукха: Розановы письма. Берлин, 1923; в изд.: Нью-Йорк, 1978 — С.47). Но имя Каляева заменено здесь на Л.Семенова, так же как и в монтажном воспроизведении собственных писем к Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло, дополненных различными ретроспективными комментариями (Ремизов А.М. На вечерней заре. Переписка Ремизова с С.П.Ремизовой-Довгелло / Подготовка текста и комментарий А.д'Амелиа // *Evropa orientalis*. 1990. IX. С.459). Подмену имен (Каляев / Семенов) мы можем объяснить либо ошибкой памяти Пришвина, либо умыслом Ремизо-

ва. Такой прием встречается в автобиографической прозе Ремизова и связан, как мы предполагаем, с его стремлением выстраивать пары семантически близких образов. Список таких пар он приводит в «Кукхе»: «За все мои литературные годы /.../ из встреч и разговоров я заметил сочлененность именную — парность имен: когда одно произносишь, другое уже на языке, как водород и кислород, как Анаксимен и Анаксимандр — Горький — Леонид Андреев, Блок — Андрей Белый, Ленин — Троцкий, Розанов — Шестов», и т.д. (Кукха. Указ. изд. С.56). В рассматриваемом случае Каляев и Семенов могли составить такую пару и взаимозаменяться Ремизовым. (Сходные соображения высказываются в статье: Доценко С.Н. Встреча на вокзале: Из комментария к «Кукхе» А.Ремизова // Литературный процесс и развитие мировой культуры: Материалы и тезисы. 30.III — 2.IV 1992. Таллинн, 1994. С.82-85).

²⁸ Этот фрагмент воспоминаний воспроизводит мотивы из заметки В.Кн. (В.В.Князева): «За границу удрала группа писателей. Между прочим, и г.Ремизов. А прежде, чем удрать за границу, г.Ремизов пользовался вот какими льготами и преимуществами: в 1-м отеле ему было предоставлена лучшая, роскошно меблированная квартира. В отеле центральное отопление, но Ремизову были поставлены отдельные печи; дрова в течение года давались ему в изобилии. Он один в отеле пользовался отдельной прислугой; ему была предоставлена лошадь для разъездов за пайками; "Севцентропечать" предупредительно снабжала его газетами и журналами. Все это — за государственный счет. — За что? За какие заслуги перед революцией? "Из уважения к литературе". Когда месяца два тому назад из отеля выселяли беспартийных и даже кой-кого из коммунистов, г.Ремизов уцелел — "из уважения к литературе"?! Он пользовался всем, а рядом пролетарские писатели — пролеткультовцы и голодали и холодали и болели на этой почве безостановочно... "В порядке вещей"? Но теперь такому "порядку вещей" не должно быть больше места. В "Последних новостях", белогвардейской газете, читаем (№396): "Молодые поэты, беллетристы и художники, посещающие лекции в Доме искусств, Доме литераторов и Институте искусств, все противники коммунистов". Так! А мы цацкаемся с ними. А мы предоставляем им разнообразные льготы и преимущества, даем пайки, помогаем кооперативным их начинаниям» — Красная газета. 1921. 10 сентября. №186(1062). С.4.

²⁹ Дословная цитата из воспоминаний Романа Гуля «Жизнь на фукса» (М.; Л., 1927. С.203).

³⁰ В Париж Ремизов переехал осенью 1923. Ср.: «...Куковников, — человек с этой фамилией-причудинкой, надетой на себя Алексеем Михайловичем Ремизовым много лет позже, в Париже, в числе прочих псевдонимен и обличий, какими он назывался и в какие рядился» (Федин К. Горький среди нас; впервые напечатано в 1944; см. также: Федин К. Собрание сочинений: В 12 тт. Т.10. М., 1986. С.93).

³¹ Ср.: «Ремизов сделал вывод, признал свои заблуждения. Во всяком случае, мне известно, что он занял в эти годы патриотическую позицию

и в 1946 году стал советским гражданином» (Цит. по: Любимов Л. На чужбине. Ташкент, 1979. С.304). Действительно, Ремизов после смерти Серафимы Павловны, оставшись один, мечтал вернуться в Россию, где в Киеве жила его дочь Наташа. Поэтому, когда 22 июля 1946 «Русские новости» опубликовали «Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных быв. Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции», Ремизов взял советский паспорт. Вряд ли следует расценивать это как «смену вех»: позиция писателя по отношению к России все годы эмиграции не была окрашена политически. Ср.: «Один из немногих писателей за рубежом, Ремизов занял совершенно аполитическую позицию. За это его чуть не бойкотирует та воинствующая эмиграция, которая художественность писателя привыкла измерять по степени запальчивости его анти-большевистских выступлений. Ремизова уже неоднократно обвиняли в тайных симпатиях к "советской России", забывая, что он попросту продолжает любить Россию, подчеркивали его духовную связь с "советскими писателями", не понимая, что писатели эти у Ремизова учились и ему подражают» — Против Ремизова // Воля России (Прага). 1929. №1. С.118-119. См. также: Резникова Н. Огненная память. Указ. изд. С.71. Решение вернуться на родину довольно скоро было пересмотрено: пришло запоздалое извещение о смерти дочери; кроме того, сказалось и пошатнувшееся здоровье самого Ремизова (см.: Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1979. С.114; Резникова Н. Огненная память. Указ. изд. С.57; ср.также: «В 1948 г. был слух, что Ремизов собирается ехать обратно в Россию. Э[льза] Т[риоле] пошла к нему и отсоветовала ему это делать, за что он был ей глубоко благодарен» — Берберова Н. Курсив мой. Т.II. Нью-Йорк, 1983. С.685).

³² Ср. дневниковую запись Ремизова: «Из 1947 г. мне памятли три крепких отзыва: "ретроград", "подлец", "советская сволочь". Я никак не отозвался, я только подумал о легкости человеческого суда!» (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Указ. изд. С.90-91). Ср. также: «Из писателей получать паспорт пришел А.М.Ремизов (по своему глубокому цинизму ему было все равно, какой паспорт брать, авось можно на этом чем-нибудь поживиться, он завтра и от царя-батюшки взял бы с удовольствием)» (Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции. Т.III. Нью-Йорк, 1989. С.104).

³³ В книге Н.Резниковой последние годы Ремизова описаны не так безысходно: у писателя остались преданные друзья, которые создали единственное в своем роде издательство «Оплешник», специально для издания его книг; незадолго до смерти завязалась переписка с учеными Пушкинского Дома (см.: Письма В.И.Мальшева к А.М.Ремизову // ИРЛИ. Ф.494. Оп.2. Ед.хр.73; Письма А.М.Ремизова к В.И.Мальшеву / Публикация С.С.Гречишкина и А.М.Панченко // Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С.203-216); нашел писатель признание и среди французских деятелей литературы (см.: Резникова Н. Огненная память. Указ. изд. С.102-104, 109). На сообщение о его смерти отозвались многие газеты и журналы Парижа (см.: Некро-

логи А.М.Ремизова // ИРЛИ. Ф.256. Оп.2. Ед.хр.36). Ср. также письмо Н.В.Резниковой к Е.Д.Прокопович (Кусковой) (ИРЛИ. Р.1. Оп.22. Ед.хр.175. Л.1):

N.Reznikoff —
11, rue Camille Desmoullus
Cachan (Seine)

17-XII-[19]57

Дорогая Екатерина Дмитриевна,
Алексей Михайлович тихо и без страдания скончался 26 ноября 1957 г. в восемь часов вечера. Он был в сознании, до того как погрузился в полу-сон. Полу-сон перешел в сон — последний — один вздох. После долгой болезни 1954 г. А.М. по-настоящему не поправлялся (до нея был бодрый, живой, работал, жил один — остался кашель и эти странные припадки «задоха» — вроде астмы — но астмы не было. Я всегда склонялась к мысли, что основа этих припадков была нервная. По словам доктора болезнь А.М. — была склероз — склероз сосудов сердца — от нее он и скончался. С конца (я бы даже сказала, с начала) лета началось ухудшение. Нервность А.М. и желание во что бы то ни стало что-то делать, кончать — скорее, скорее — конечно, не помогало делу. Я уезжала на месяц — по возвращении была совершенно придавлена его видом и состоянием крайнего нервного возбуждения, чередовавшимися с полным бессилием. Слабость — задохи и со всем этим напряженная воля — что-то скорее делать, кончать, посылать свои книги в Россию — в «Пушкинский Дом» — с учеными академии и некоторыми писателями у него создалась оживленная переписка. Ум, воля, сознание, энергия, творческая сила — у А.М. не только не угасли, но и не ослабевали до конца. Но он чувствовал, что умирает. Неутомимый, неукротимый, безжалостный к себе и другим в том, что касалось работы и занятий, — А.М. никогда ничего не просил *для себя*. И вот: «Наташа, не покидайте меня, будьте со мною — это мои последние дни». Два раза — в 1950 и 1954 г. — я видела его почти умирающим, два раза я «вытаскивала» его — надеялась: и на этот раз... Последние три недели после сердечного припадка ночью с 4-го на 5-е ноября А.М. лежал в постели, страдания его в этот последний период — смягчились. Кислород — был для облегчения — припадков — «задоха» почти не было. Кроме меня, было еще 3 человека — не покидали его. Когда любишь человека и знаешь его — как я любила А.М., несмотря на болезнь, на страдания хочешь сохранить его подольше — ну хоть еще немножечко! Не думаю, чтоб это был только эгоизм — с моей стороны. Мне говорят — «так ему легче». Но я знаю, сколько у него было еще воли к жизни, планов, творческой мысли, любви к жизни, интереса и неистребимого любопытства ко всему. Большой, слабый, задыхающийся, с грелкой в руках — он обо всем жадно расспрашивал — и о выставках, картинах, о по-

следнем концерте новейшей «додекафонической» музыки, о том, «что творится на белом свете». И я рассказывала, а А.М. слушал и радовался тому, что жизнь идет и что есть люди, которые (его школы!) интересуются чем-то еще. «Мы — народ земной — нам ничего не надо!» — говорил он про большинство русских людей, живущих среди неисчислимых культурных богатств Франции и совершенно им чуждых. Живой интерес ко всему А.М. был неистощим. Последние три недели особенно (и весь последний период жизни) — А.М. «болел человечеством» — остро жалея людей и повторяя — «я ничего ни для кого не сделал!» В литературе по-новому перечитывал шестидесятников, стараясь о них писать, вспоминая революционеров и всех «жаждущих правды». Живой, творческий ум, горящее сердце, такой исключительный дар слова — и мастерство, уже доведенное до совершенства крайней простоты, — все это было живо, горело. Физических страданий А.М. уже больше нет, они кончились. Но смерть его — для меня: как по-живому. Я знала его и любила почти с детства — за все 30 лет жизнь не разъединяла нас. Когда-то мои сестры и я были «мои девочки» для Серафимы Павловны. Одна из этих «девочек» — осталась при А.М. до конца — не только в виде опекающей его слабость и бессилие — но помощницей, «учеником» — товарищем в работе. В трудные минуты страданий его протянутые руки встречали мои руки и сжимали их вместе со своими. Французские писатели, журналисты, интеллигенция — обратили ко мне свои «condoléances». Издатель Галлимар прислал на похороны А.М. большой венок дивных цветов (А.М. любил яркие красные и розовые цветы). Во всех газетах Парижа (от Humanité до Aurore) что-то появилось. Сейчас я занимаюсь тем, чтобы устроить более обстоятельные статьи, радиопередачу. Скоро выходит «Yeux Tondus» у Gallimard'a. Выпускаем последнюю русскую книгу. Когда-нибудь все его «наследство» перейдет в Пушкинский Дом по его желанию. А.М. всегда радовался Вашей живой литер[атурной] деятельности. Продолжайте: ото всей души желаю Вам здоровья.

Если Вас что-нибудь интересует о А.М. — я с радостью отвечу.

Привет сердечный.

Нат. Резникова

³⁴ Роман «Пруд» — впервые в журнале «Вопросы жизни» (1905. №4-11), повесть «Крестовые сестры» — впервые в Альманахе издательства «Шиповник» (СПб., 1910. Кн.13).

³⁵ Подобные высказывания А.Блока нам неизвестны. Упомянутое суждение М.Горького, Смиренский, вероятно, имеет в виду письмо (начало сентября 1922) к К.Федину, в котором Горький советует молодому писателю ориентироваться в творчестве на «изумительно богатый лексикон» Ремизова, ставя его имя в один ряд с Н.С.Лесковым (см.: Литера-

турное наследство. Т.70: Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М., 1963. С.469).

³⁶ Имеется в виду посвященное Ремизову стихотворение Блока «Болотные чертенятки», написанное в январе 1905 (см.: Блок А. Собрание сочинений: В 8 тт. Т.2. М.; Л., 1960. С.10).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения, посвященные А.М.Ремизову
и С.П.Ремизовой-Довгелло

В.Смиренский

Молитва монахини

Ал. Мих. Ремизову

«...Царствует теперь повсеместно — гнида.
И ума не приложу, отчего...
Помяни, Господи, Царя Давида
И всю кротость Его!..»

лето 1921-е от РХ
СПБ.
июль 19.

кавалер обез[ьяньего] знака:
Андрей Скорбный
(Вл. Вик. Смиренский)

РНБ. Ф.92. Оп.2. Ед.хр.117. Автограф.

А.Фролов

С.П.Ремизовой-Довгелло

Нет ни счастья, ни печали,
Только дали, дали, дали,
Только небо, как река.
Эти звезды — серафимы,
Бездны — райские долины,
Божьи кони — облака.
И на своде строго синем
В ночи мира, в ночи гроз
Зодчий вязью звездных рос
Обожествленное Имя
Чертит огненно:

Христос.

РНБ. Ф.92. Оп.1. Ед.хр.354. Л.8. Авторизованная машинопись.

Где тонкий месяц есть, но нет луны
И возникают сказочные травы.
Как хорошо у звонкого ручья
Водой холодной, серебряной умыться,
Как хорошо вокруг царского огня
С дружком чертенком бешено кружиться,
И сладко ждать, когда же у тебя
Появятся и хвостик и копытца.

Девушки любят красивых воинов.
Девушки любят их сильные руки,
Их стройные ноги
И поцелуи.

Девушки любят детей — мечтателей,
Девушки любят их бледные щеки,
Их нежные песни
И обещанья.

Но больше глупых поэтов и воинов
Девушки любят обезьян беспечальных:
Шимпанзе, уйстити, бабуинов
И других хвостатых любовников.

С.М.Алянскому

Маленькие, веселые арапчата
Смотрят, как удирает лиса,
Удирает воровка куда-то,
Наверно, вон в те леса.
Там она выстроит хату,
Станет королевной леса!
Хоть чернее чертей арапчата,
А у них, как фарфор, голоса.
Верхом на слоне и богатой
Вернется из леса лиса!
Смеются над лисой арапчата,
Как лиса удирает в леса.

[1921]

РНБ. Ф.92. Оп.1. Ед.хр.354. Л.15-22. Автограф.

В.Смиренский

Блудодей

Ал. Мих. Ремизову

Плачет плачет, стонет стонет лесовик,
Наклонившись над зеркальной водой,
Чутким ухом ловит птичий переклик
И трясет своей мохнатой бородой.

Буйной прядью разметались волоса,
Блещут искрами глаза из-под бровей;
Молча слушают бессонные леса,
Что бормочет волосатый блудодей.

Он склонился на колени над прудом,
То он плачет, то он стонет, то молчит,
То, пугая отвратительным лицом, —
Тонким голосом по-птичьему кричит.

И лохматая трясется голова,
И огнем блещут глаза из-под бровей,
Заповедные волшебные слова
Выкликает волосатый чародей.

Андрей Скорбный

1921 г. Май [9?] С.Петербург.

Ремизов А.М. Мой альбом: Цветник // РНБ. Ф.634. Ед.хр.17. Л.15. Автограф.

*В знак искренней благодарности
и глубокого уважения посвящаю
это стихотворение Алексею Ми-
хайловичу Ремизову*

Автор

Монахиня

Монахиня шла в столицу;
Исходила много дорог.
Захотела Христу молиться,
Чтоб Он ей помог...

По окраинам долго бродила;
Наконец в столицу пришла.

В соборах Бога просила,
Чтобы Радость с неба сошла...

Ветер свистел и плакал.
Хмурая была ночь...
Посох о камни звякал:
Монахиня уходила прочь...

Андрей Скорбный
(Владимир Смиренский)

лето 1921-е, Апрель, Питербурх.

[Внизу приписка рукой А.М.Ремизова: «Влад. Вик. Смиренский пред-
[седа]тель Кольца Поэтов»].

Ремизов А.М. Мой альбом: Цветник. // РНБ. Ф.634. Ед.хр.17. Л.16.

К.Н.Бугаева (Васильева)

ДНЕВНИК. 1927-1928.

Предисловие, публикация и примечания
Н.С.Малинина

Клавдия Николаевна Бугаева (урожд. Алексеева, в первом браке, до 1931, — Васильева; 1886-1970)¹ познакомилась с Андреем Белым (в ее дневниковых записях — Б.Н.) в 1913. Личной встрече предшествовало знакомство обоих с антропософией. Первым «касанием к теософии» Андрей Белый метит 1896 год, однако на протяжении 12 лет его отношение к ней скорее настороженно-отчужденное. Только в 1908 оно переходит в пристальный интерес; в последующие четыре года Белый активно читает теософских авторов и общается с русскими последователями Р.Штейнера. Впервые Белый услышал Штейнера на лекции в Кельне 6 мая 1912, а 7 мая, познакомившись с ним, решает (вместе со своей первой женой Асей Тургеневой) встать на путь антропософского «ученичества»².

К.Н.Васильеву привез в Гельсингфорс на курс лекций Штейнера «Окультиные основы Бхагавадгиты» в мае 1913 поэт и критик Борис Дикс (Б.А.Леман): «Борис сказал Рудольфу Штейнеру, что с ним приехали две девушки, с которыми он вел антропософскую работу, и что теперь, когда он уходит, он просит Штейнера их принять»³.

Поначалу Белого и Клавдию Николаевну связывает лишь дружба («в антропософии»): «с 1916 года Клавдия Николаевна делается мне близкой в работе "московской группы" [Антропософского общества. — Н.М.]; в 1917 году — еще "ближе", а в 1918 году происходит наша встреча с ней; я первой из всех ей умею *все-все-все* рассказать о годах 12-15-ых»⁴. В сентябре 1918 они вместе живут в Черниговском скиту (Сергиев Посад),

¹ О ней см: Malmstad J.E. Предисловие // Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981; Жемчужникова М.Н. Воспоминания о Московском Антропософском обществе (1917-1923) // Минувшее: Исторический альманах. Вып.6. М., 1992. С.20-23; Берберова Н. Курсив мой. Т.1. New-York, 1983. С.180-185.

² Впечатления от первой встречи со Штейнером изложены Белым в письме к матери от 5/18 мая 1912 (см.: Мальмстад Дж. Андрей Белый в поисках Рудольфа Штейнера: Письма Андрея Белого к А.Д.Бугаевой и М.К.Морозовой // Новое литературное обозрение. 1994. №9. С.116-119; см. также фундаментальную публикацию Дж.Мальмстада «Андрей Белый и антропософия» в 6-м, 8-м и 9-м выпусках альманаха «Минувшее» (М., 1992).

³ Волошина М. (Сабашникова М.В.) Зеленая змея: История одной жизни. М., 1993. С.207.

⁴ Письмо Андрея Белого к Р.В.Иванову-Разумнику от 1-3 марта 1927 // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1974. Vol.XV. №1/2. P.78.

в течение последующих трех лет ведут активную работу в Антропософском обществе.

В конце 1921 Белый уезжает в Германию, где переживает глубочайший душевный кризис, во многом обусловленный разрывом с А.Тургеневой. В январе 1923 в Берлин приезжает К.Н.Васильева. Н.И.Гаген-Торн свидетельствует: «В тот самый день, когда он писал ей [М.И.Цветаевой. — Н.М.], что мечтает о Праге, приехала в Берлин Клавдия Николаевна Васильева, присланная московскими друзьями. Разрешение на выезд за границу за Белым она получила от Менжинского, ценившего Андрея Белого, считавшего необходимым вернуть его в Советский Союз. Клавдия Николаевна мягкой и властной рукой увезла его в Москву»⁵. Скорее всего, мемуаристка преувеличивает заинтересованность новой власти в Белом; участие В.Р.Менжинского в этом мероприятии было обусловлено, вероятно, лишь тем, что, будучи женатым на сестре П.Н.Васильева (мужа Клавдии Николаевны), он помог организовать эту поездку.

Язвительная Нина Берберова оценивала роль Клавдии Николаевны в «спасении» Белого не столько в координатах идеологических, сколько в психологических:

Когда из Москвы приехала К.Н.Васильева (ставшая впоследствии его женой), он встретил в ней частично то, что искал: «мачу», и материнскую защиту, и силу, и поддержку своим затуманенным и замученным антропософским мысле-чувствам, в соединении с ответом на ней ортодоксального, чугунного штейнерианства. Ее не испугало это страшное распадение в нем душевных сил под уродливым, мучительным давлением вполне головного идеала. Или она не понимала кризиса и видела в Борисе Николаевиче только заблудшую овцу, существо не поддержанное идеей, скользящее в гибель, ищущее защиты от судеб? Или она и в самом деле была сильным человеком, которого он искал? Или она только сумела притвориться сильной и тем — отчасти — спасла его? /.../ И когда Белый окончательно осознал, что ни «отца», ни «матери» он на пути в Дорнах не найдет, он кинулся в Россию: твердая рука К.Н.Васильевой (казавшаяся ему в ту минуту тверже, чем она на самом деле была) помогла ему найти туда дорогу⁶.

Сам же писатель вспоминал участие К.Н.Васильевой в этой ситуации с признательностью, в цитированном письме к Р.В.Иванову-Разумнику он говорил о семилетии 1919-1926: «Это "синкопическое семилетие" объединено мне тем окончательным значением для меня К.Н., которая в период кризиса и переоценки для меня "антропософии" мне стояла, как путеводная "звезда": от антропософии к... антропософии по-новому»⁷.

⁵ Гаген-Торн Н.И. Memoria. М., 1994. С.33.

⁶ Берберова Н. Курсив мой. Указ. изд. С.180-181, 183.

⁷ Cahiers du Monde russe et soviétique. 1974. Vol.XV. №1/2. P.80.

31 июля 1923 Белый проводил в Россию Клавдию Николаевну, а 26 октября того же года вернулся и сам. Москва встретила писателя неласково. «Я был *"Живой Труп"*, — писал он Иванову-Разумнику. — *"В[ольная] Ф[илософская] А[ссоциация]"* — закрыта; *"А[нтропософской] О[бщество]"* — закрыто; журналы закрыты для меня, издательства — закрыты для меня...»⁸ В последующие месяцы ситуация мало изменилась. 3 мая 1924 М.О.Гершензон писал Л.И.Шестову о Белом: «Ему пришлось круто, когда, 2 года назад, он уезжал за границу, его провожали в Петербурге и здесь с энтузиазмом; его последние выступления были сплошными и трогательными оvationами. А вернулся — его встретили с полным равнодушием, и теперь — точно его нет. Обидно за него; он это верно больно чувствует, да и в самом деле безобразно: чем провинился перед публикой?»⁹

В поисках покойного места и дружеской обстановки летом 1924 Белый вместе с Клавдией Николаевной едет к Волошину в Крым (крымские впечатления не раз будут возникать в дневнике кавказских путешествий), а в марте следующего года они перебираются жить в подмосковное Кучино. Белый продолжает упорно работать, но кучинский быт давит невыносимо¹⁰.

К тяготам быта неизменно прибавляется мучительность отношений между Клавдией Николаевной, ее мужем Петром Николаевичем Васильевым и Белым. «Белый как бомбой взорвал гармонию дома Васильевых, и эта бомба детонировала среди окружающих людей», — свидетельствует М.Н.Жемчужникова в «Воспоминаниях о Московском Антропософском обществе (1917-1923)»¹¹. В письме к Иванову-Разумнику от 16 августа 1928 Белый признавался: «Мы с К.Н. *вместе* (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. /.../ Петр Николаевич человек благородный, честнейший и силящийся сознанием стать на уровне проблемы *Пути*; увы, — у него слабая воля и *страстное*, ревнивое сердце; он мучается нашей близостью с К.Н. тем сильнее, чем яснее видит, что сказать тут нечего. Он прекрасный человек, умный доктор, изумительно музыкально одаренный, но... — несмотря ни на что он с 1910 г. (года женитьбы) до 1928 г. все еще погибает от *безнадёжной* любви; и ведет порою себя, как капризный ребенок»¹². Брак между Клавдией Николаевной и Белым будет зарегистрирован только 18 июля 1931, но и после этого супругам придется некоторое время жить по одному адресу с П.Н.Васильевым.

Все эти обстоятельства побуждали Белого искать возможность обратиться куда-то из Москвы, но так, чтобы не прекращать работу. 21 мар-

⁸ Цит. по: Минувшее. Указ. изд. Вып.6. С.293.

⁹ Гершензон М.О. Письма к Льву Шестову (1920-1925) / Публикация А.д'Амелля и В.Аллоя // Минувшее. Указ. изд. Вып.6. С.299-300.

¹⁰ Об этом см.: Зайцев П. Московские встречи (Из воспоминаний об Андрее Белом) // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988. С.567-568, 571; Максимов Д. О том, как я видел и слышал Андрея Белого: Зарисовки издали // Там же. С.628-629, 634; Из писем Андрея Белого к Иванову-Разумнику // Там же. С.728-731.

¹¹ Минувшее. Указ. изд. Вып.6. С.22.

¹² Цит. по: Минувшее. Указ. изд. Вып.6. С.22.

та 1927 в «Ракурсе к дневнику» Белый записал: «Москва. Переутомление. /.../ Был у Михина: разговор о Батуме. Решаем с К.Н. ехать в Батум»¹³.

Отметив 7 апреля «день 25-летия литературной деятельности», 8 апреля Белый с Клавдией Николаевной выехали в Цихис-Дзири, где поселились на даче Ростовцевых. Здесь писатель продолжает работу над романом «Москва», изучает «ритмический жест» пушкинских поэм, читает три лекции в Тифлисе (поездка в Тифлис состоялась 27 июня — 3 июля); вместе с К.Н. совершает поездки на ЗаГЭС (23 мая) и в Боржом (24-27 мая), знакомится с грузинскими поэтами Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили, общается с Мейерхольдом («Тифлисские дни 1927 года как-то сблизили нас. А его "Ревизор" дал ключ к построению "Масок"», — признавался Белый Зайцеву спустя несколько лет)¹⁴. 3-4 июля Белый и Клавдия Николаевна совершают переезд по Военно-Грузинской дороге, с 5 по 10 июля живут на станции Казбек, а 12 июля уезжают из Владикавказа в Сталинград, откуда пароходом возвращаются в Москву.

Результатом поездки стала книга Андрея Белого «Ветер с Кавказа. Впечатления», написанная в Кучине в январе—марте 1928, публиковавшаяся в отрывках в журнале «Красная Новь» («Кавказские впечатления: Отрывки из книги» — 1928, №4) и изданная в августе того же года (М: «Федерация»; «Круг»; тираж 4000 экз.). Впечатления поездки подробно излагались также в письмах Белого к П.Н.Зайцеву¹⁵, тщательно фиксировались им в «Ракурсе к дневнику», и кроме того — Клавдией Николаевной в публикуемом ниже «Дневнике» (ч.1; 12 апреля — 22 июля 1927 г.).

В марте следующего года Белый стал снова собираться на юг: «20-го. /.../ Думы об отъезде (Афон или Коктебель?); 29-го. /.../ Думы об Армении»¹⁶. 4 мая Белый и Клавдия Николаевна выехали из Москвы, а 7-го приехали в Тифлис. Здесь они снова общаются с грузинскими поэтами (к компании присоединяется Григол Робакидзе), вместе с ними ездят в Коджоры (11 мая) и в Сачхери (13-16 мая), а 17 мая отправляются в Эривань, где знакомятся с художником Мартиросом Сарьяном, который становится их путеводителем по Армении. 20 мая посещают Эчмиадзин и Айгер-Лич, 24-го — озеро Севан, 25-го возвращаются в Тифлис, а 30-го выезжают в селение Схвители, где и остаются на месяц. (Последняя дата во второй части дневника К.Н. — 19 июня, однако на этом путешествии не закончилось: проведя почти два месяца в Тифлисе и Коджорах, в Москву они вернулись в середине августа)¹⁷. Результатом этой поездки стал очерк Белого «Армения»¹⁸.

¹³ Цит. по: Минувшее. Вып.13. М.; СПб., 1993. С.255.

¹⁴ Зайцев П. Московские встречи. Указ. изд. С.582.

¹⁵ А.Белый и П.Н.Зайцев. Переписка / Публикация Дж.Мальмстада // Минувшее. Вып.13. С.258-268.

¹⁶ Записи в «Ракурсе к дневнику», март 1928 года // Там же. С.275.

¹⁷ Хронологическую канву июня—августа 1928 можно проследить по письмам Белого к Зайцеву: Минувшее. Вып.13. С.289-292; Минувшее. Вып.14. М.; СПб., 1993. С.439-448.

¹⁸ Начал его Белый не 3 июня 1928, как утверждает Дж.Мальмстад (Минувшее. Вып.13. С.287. Прим. 3), а скорее 1 или 2 июня (см. запись от 2 июня в наст. публ.);

Третья поездка на Кавказ состоялась год спустя: выехав 26 апреля 1929 в Эривань, Белый с К.Н.Васильевой провели там май, 21 мая выехали в Тифлис, июнь провели в Красной Поляне, первую половину июля — в Тифлисе, а вторую половину июля и первую половину августа — в Коджорах, откуда вернулись в Тифлис, а 24 августа уехали в Москву.

Третья и четвертая тетради дневника К.Н.Бугаевой охватывают периоды, соответственно, с 26 апреля по 10 июля и с 11 июля по 17 августа 1929. События тех же дней нашли отражение в письмах Белого к П.Н.Зайцеву и в «Ракурсе к дневнику»¹⁹.

Собирался Андрей Белый на Кавказ и в 1931 («Что, если я поеду в Грузию с целью написать книжку этнографическую, бытовую и производственную? Как вы думаете, подойдет ли она ЗИФ'у?» — советовался Белый с Зайцевым в феврале 1931)²⁰. В феврале переговоры насчет командировки велись с В.И.Соловьевым (заведующим ГИХЛом), а уже 12 марта Белый писал Иванову-Разумнику, что едет в Тифлис писать книгу «Советская Грузия»²¹, однако еще через три дня он сообщает тому же адресату, что поездка невозможна (Иванов-Разумник считал, что виной тому слухи о чуме в Тифлисе)²², и вместо Кавказа Белому с Васильевой приходится перебраться к Иванову-Разумнику в Детское Село (под Ленинградом).

...Подводя итог второму кавказскому путешествию, Белый писал 27 августа 1928: «Другой смысл поездки — более конкретное отношение к душам людей, с которыми встречались, главным образом с Табидзе и его женой; Табидзе воистину стал мне братом; неспроста "*Голубые роги*" подарили мне свой рог»²³. Общение с грузинскими поэтами продолжалось и в Москве, они навещались в гости; из всех Белый особо выделял Тициана Табидзе и Паоло Яшвили.

В той же записи Белого: «Глаз многому научился; недавно художник, ученик Репина, увидев мои беспомощные зарисовки Коджор, воскликнул: "Да вы владеете пространством!" Значит то, чему учился глаз, сказалось так и на руке; как она ни беспомощна (я не умею провести линии), все

о ходе работы над «Арменией» см.: Минувшее. Вып.13. С.286-292. Закончен очерк 22 июня, и уже в №8 журнала «Красная новь» за 1928 он был опубликован. Фрагменты из «Армении» воспроизводились в журнале «Литературная Армения» (1967, №1), а целиком очерк был переиздан в сб. «Глазами друзей» (Ереван, 1967. С.73-142), а также в кн.: Белый А. Армения: Очерк, письма, воспоминания / Составление, статьи, примечания Н.Гончар. Ереван, 1985; в приложении к очерку в этом издании опубликованы переписка Белого, К.Н.Васильевой и М.С.Сарьяна, отрывки из писем Белого к П.Н.Зайцеву и Р.В.Иванову-Разумнику, отрывок из воспоминаний К.Н.Бугаевой — «Поездка на Кавказ» (впервые: «Литературная Грузия», 1971, №6), а также две статьи Н.А.Гончар: «Путевая проза Андрея Белого и его очерк "Армения"» и «Г.А.Джаншиев и страницы о нем в мемуарно-автобиографической прозе Андрея Белого».

¹⁹ См.: Минувшее. Вып.14. С.453-483.

²⁰ Там же. С.584.

²¹ Андрей Белый. Проблемы творчества. Указ. изд. С.727-728.

²² Там же. С.729-730.

²³ Андрей Белый. Ракурс к дневнику. Цит. по: Минувшее. Вып. 14. С.483.

же, — нечто от мысли и глаза излилось в руку; и это *нечто* не художническое дарование (я, как художник, бездарен), а — *опознание*: перспектива и колорит — вот что было нам с Клавдией Николаевной познавательной данностью; и эта данность сказалась и в *красках* 3-ей части "Москвы" ("Маски Москвы"); красочно она — новая; и это *новое* — вытяжка из глазных впечатлений лета²⁴. Подведение итога поездкам находим и в письме Белого Тициану Табидзе от 3 декабря 1929: «...по опыту знаю, что только тогда человек освобождается, когда он имеет место, куда он может бежать, чтобы из тишины увидеть и себя, и окружающих. Иные думают, что периодические убеги от людей есть признак антисоциальности; наоборот: для меня в таких убегах приход к людям; ибо я хочу идти к близким, как на пир: прибранным, чтобы не представлять собой унылого неврастеника, не имеющего, что принести для других со своих высот...»²⁵

Думается, однако, что не стоит преувеличивать значение для биографии Белого этих поездок и полагать, как Л.К.Долгополов, что «они в значительной степени способствовали возвращению его к жизни». Далее Л.К.Долгополов в этой связи пишет: «То в человеке, что существовало для Белого порознь, порождая трагический разрыв, — *бытовая и бытийная сторона существования и положения в мире*, теперь как будто слилось в некий синтез, знаменательное единство. Грандиозная природа Кавказа, люди, живущие в единении с нею, все это было воспринято Белым как единый жизнетворческий комплекс. Эмпирика быта уже не противостоит в его сознании духовно-бытийной сущности мира. Быт стал восприниматься частью бытия, бытие, в свою очередь, соприкоснулось с бытом. Единство жизне- и мироощущения — вот главный итог, к которому приходит Белый в 20-е годы»²⁶. Однако как раз из публикуемых дневников ясно видно, что быт в жизни Белого по-прежнему противостоит бытию: маленькое оконце в поезде способно скрыть от него поэзию Бакурианской дороги, каюта без окна убивает прелести путешествия по Волге... Со странички дневника встает образ несчастного, беспомощного, порою жалкого человека, который абсолютно неспособен противостоять окружающей действительности; и ежели он не в силах добыть керосина — то готов писать в газету «Правда» о «вредительстве»...

Клавдия Николаевна пишет о Белом с почтительностью, порой доходящей до преклонения, что не мешает ей простодушно отмечать самые неприглядные качества человека, «обменявшего корни на крылья»: капризность, обидчивость, инфантильность... С другой стороны, и в этих

²⁴ Андрей Белый. Ракурс к дневнику. Цит. по: Минувшее. Вып. 14. С.482-483. Рисунки Белого, сделанные во время кавказских путешествий, публиковались в сб. «Андрей Белый. Проблемы творчества» (С.463, 467, 598, 602, 658, 664, 668, 673, 677, 680; там же см.: Кайдалова Н.А. Рисунки Андрея Белого. С.597-606). Оригиналы рисунков и акварелей хранятся в Государственном Литературном музее в Москве.

²⁵ Табидзе Тициан. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С.241.

²⁶ Долгополов Л.К. Начало знакомства. О личной и литературной судьбе Андрея Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества. Указ. изд. С.94.

сложных бытовых и социальных условиях Белому удается сохранять свои лучшие качества: он по-юношески любопытен, азартен, охоч до нового, искренне заинтересован жизнью простых людей — шарахаясь при этом от «богеми»...

Достоинства собственных дневников К.Н. охарактеризовала достаточно скромно: «От времени до времени тот же вопрос: к чему эти записи? В них нет и сотой доли того, чем живешь, что волнует. Разве что: хроника дней. Да и то не выдержанная, не полная»²⁷. Действительно, квинт-эссенция пережитого вместе с Белым нашла отражение в книге «Воспоминаний» К.Н.Бугаевой: там — отфильтрованное и четко сформулированное. Здесь же, в дневниках, — непосредственное, искреннее, простодушное. Вероятно, хроника повседневной жизни грешит многословием, мелочностью, необязательностью; описания природы часто отдают литературщиной... Впрочем, у дневникового жанра свои законы.

Дневники К.Н.Бугаевой за 1927 и 1928 гг. публикуются впервые (отрывки из них печатались в газете «Спасение». 1993. №38(98). С.5) по рукописи, хранящейся в фонде Андрея Белого в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ. Ф.25. Карт.38. Ед.хр.1, 2). Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, за исключением отдельных случаев, отражающих авторский стиль.

Дневник К.Н.Бугаевой за 1929 г. предполагается к публикации в одном из последующих выпусков альманаха.

Часть 1. 12 апреля — 22 июля 1927

12/IV [Цихис-Дзири]

Только что приехали. — Декоративно прекрасно. Дача на высоком холме над морем, чуть отступя. С балкона (их два: верхний и нижний) закат. — Моя комната очень большая, высокая, с мраморными подоконниками, старыми, кое-где отвалившимися обоями. Немного мрачная. Скорее итальянское, романтическое полузаброшенное палаццо, чем трезвая дача. Б.Н. — в вышке. Романтика полная. В окна и в балкон его бьют вершинами пальмы. Вид — ... он говорит, что не хуже Неаполитанского залива, Сорренто. — Кажется, и в бытовом все наладится. Хозяева очень милые, деликатные. Обещали даже утром и вечером самовар. Так что Б.Н. в полном восторге. Можно будет «уютничать» вдоволь. — Только все-таки грусть первого вечера на новом месте.

13/IV

Два раза сбежали к морю. Обследовали ближайшие дороги, — все романтично, как будто нарочно устроено. Даже есть развали-

²⁷ РГБ. Ф.25. Карт.38. Ед.хр.4. Л.27об.

ны замка и крепости старой. Крепость — прямо над нами, на холме между нами и морем: обломки стен, исчезающие в гуще зелени. При луне — представляю себе. — Вдруг хлынул тропический ливень. Ужасающий. Ветер — как буря. Пальмы заскрежетали сухо и остро. Совсем непривычные звуки природы. Все как-то расширены, увеличены, — преувеличены даже.

14/IV

Продолжается опьянение Цихис-Дзири. — Долго смотрели прибой. Б.Н., присев на камень среди самых волн, неотрывно вперялся. Смотрел. Слушал шум. Оборачивался ко мне: «Нет, силища какая...» Нашли и здесь камешки. Не хуже коктебельских¹.

16/IV

Вербная суббота. Были в Батуме. Ужасен. Хуже не видела. Даже бульвар прославленный не удивил. Б.Н. все изумлялся последовательности в безобразии отдельных домов и их сочетаний: «Нет, эдак не выдумашь... Будто нарочно кто пакостил. Ну зачем здесь этот торчок вылез? А эта стена, обитая ржавым железом. Чудовищно...» Зато восхитили пестрые аджарские шерстяные носки. Накупили их для зимы. Перед сном долго ходили по террасе. Б.Н. любовался Юпитером своим любимым. Огромный — прямо перед нами. Днем спускались к морю: за камешками. Совсем другие, чем в Коктебеле. Не такие «миловидные», дико красивые, пестрые, без блеска. — О Москве грусть. Петя². И все неразрешенное. Но не хочу сюда вносить эту ноту. Нужно не думать об этом.

17/IV. Вербное воскресенье

Жара. Тихое море с легкими всплесками. Мальчишки пастухи с козами. Просили папирос. — Б.Н. удивляется окраске земель: вишнево-малиновая и апельсинно-золотая. «Страна Золотого Руна. Ее, может быть, видели аргонавты... Веет веками...» Вспоминал аргонавтизм. Много рассказывал. Тогда это было серьезно. Но из этого сделали неудачные игры. И он сам же высмеял все. Участвовать в Эллисовских криках с пеной у рта и в рацеях Вячеслава Иванова — не мог³.

26/IV

Третий день Пасхи. Третий день солнечной сказки. В субботу к вечеру прекратился три дня до того ливший дождь. Тихо встретили праздник. На столе — кулич, красные яйца — подарок хо-

заяв. Портреты, цветы. Читали из книги. Потом долго сидели задумавшись. Говорить не хотелось. Передавали друг другу без слов свои думы. Светлая легкая ткань. Б.Н. тихо взял мою руку. И глядел, своим особенным взглядом, какой бывает у него в минуты такой тишины. Глаза расширяются, глядят пристально из глубины, бог знает какой. — Утренний кофе пили с Ростовцевыми⁴. Нашлись еще общие знакомые — Нилендер⁵, которого они знали еще моряком. Удивились, когда они нам сказали, что Н[илендер] был женат, очень неудачно. Он сам никогда об этом не говорил. — Вечером гуляли по полотну железной дороги: между морем и заплетенными густейшей зеленью склонами. Выше, за всем, покрытые снегом хребты.

27/IV

С утра отправились к *Castella mare*⁶. С увлечением отдались поискам камешков. Б.Н. любит садиться на выступ площадки в саду у развалин. Отвесно внизу — море. Чайки. Дельфины. Охватит колени руками. И долго, долго сидит. Потом встрепенется. И продолжая свою мысль из молчания начинает... Какие-то сказки чудесные о культуре, науке, о человеческих отношениях... Гляжу на часы: нужно спешить. Опоздаем к обеду. Дорогой опять продолжается сказка. А кругом эвкалипты, рододендроны, глицинии наступают, обвисают. Пахнет лимонною свежестью и морем, и чем-то еще неуловимым, чудесным.

29/IV. Четверг

Серенький день. С утра дождичёк. Потом перестал. И хлынули ароматы. После яркости этих дней хорошо было отдохнуть в серебристых мягких оттенках. После обеда немного прошли по горной дороге. Уютный, серенький вечер. Сидели у лампы за самоваром. Я с книгой, Б.Н. «подцарапывал» для «Москвы»⁷. Молчание прерывалось порой дружным хохотом: он читал мне какой-нибудь придуманный им тут же гротеск.

Жуковский. Из письма Гоголю. «Ум... самая низшая, но... самая многообъемлющая, основная, все действия других... проникающая и определяющая способность души... Он действует в пределах материального мира... из вещественных форм извлекает понятия общие и из движения закон...» Ум низшая способность, потому что «он... подчинен закону необходимости... путь ума есть путь по железной дороге... свободен только выбор места в вагоне, то есть выбор... пункта отбытия...» (О поэте и современном его значении)⁸.

Тоже и Гоголь в «Переписке с друзьями» (Светлое Воскресенье): «...Гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в XIX веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: ...плута, подлеца... и только не снесет названия дурака... Ум его для него святыня... Ничему, ни во что не верит; только верит в один ум свой: чего не видит его ум, того для него нет...»⁹ — Да, русский человек — подлинно головной человек. Головастик — в карикатуре. Человека — в задании (от ума перейти к Разуму). Лет семи я выдумывала сама сказки. Одна начиналась: жил был старик-Разум со старухою-Разумихою... На этом все кончалось. Дальше ничего не могла придумать. Но за начало очень крепко держалась. Оно мне нравилось чрезвычайно. В продолжении рисовалось что-то таинственное и прекрасное. Но что — я никак не умела сказать.

5 мая

Поражаемся мощи природы. Каскады зелени. Гущина непроходимая. «Невыдирные чащи». Поразило нас дерево. Сорвали лист, огромный, лапчатый. Принесли домой, чтобы спросить, что такое. Оказалось: павлония, тропическое растение. Д[митрий] Ив[анович] подарил Б.Н. кисть его цветов: крупные сиреневые колокольчики в плотных серо-коричневых чашечках, с приятным освежающим ароматом. Б.Н. принес также гигантскую сосновую шишку. Мечтает ее увезти в Кучино. Я побаиваюсь: камешки разрастаются, палка бамбуковая почтенная, с которой он ходит гулять, тоже намечена: в Кучино взять! Тут еще шишка. — Но как хорошо здесь. Только погода неверная. Никак не освоишься с нею. И жара и — «ледяной ветерок».

8/V

Вчера весь день дождь. Но было уютно и тихо. Занялись сортировкой камешков. Коробочки складываются удивительные. Колориты и краски гораздо живее коктебельских. Мне попались три шэд'ёвра. Один, как тончайшая ювелирная вещь, что-то от Греции. — К нам заходит Д[митрий] И[ванович] поболтать. Иногда это утомительно. Он-то наскучался без людей. А нам с Б.Н. только бы отдохнуть. Но из деликатности, боясь обидеть, Б.Н. поддерживает с ним разговор. А потом морщится: Устал! Все пустое это. — Оказалось, что Д[митрий] И[ванович] двоюродный брат Луначарского¹⁰. Мать Л[уначарского] его тетка, сестра его отца, урожденная Ростовцева. Рассказывал много о детстве и юности «Толи».

Дождь опять и холодно. Топят печи. Б.Н. чертил свои схемы¹¹. Я читала с восторгом (как всегда) Гоголя. В окна печально глядели кипарисы, лавры, чинары, камелии. Холодно им. Старожилы такой поздней весны не запомнят. В это время (в мае) всегда боятся жары и засухи.

9/V

Утром брызнуло солнышко. С радостью бросились к морю. Насиделись в комнатах. Б.Н. сердился на пронизывающий ветерок все из того же «проклятого» угла. Вечером ходили на верхнюю дорогу. Опять восхищались красотой видов. Особенно хороши красновато-желтые земли среди зеленых каскадов. Много говорили о живописности Цихис-Дзири. Ни одного портящего картину пятна. Все, как нарочно подобрано. Даже полотно железной дороги ничуть не мешает. — Вот только погода! Она опять за свое. Опять разрывается ветер, скрежещут пальмы, вдали грохот моря, в окна хлещет дождь. И на душе также тревожно. Б.Н. сам грустит. Но ласкается ко мне, как ребенок, ободряет без слов ободряющих. Тихо прижмется, положит голову на колени, и заглядывает снизу в лицо: не грусти. Обойдется. — Каждую ночь к нашей даче подходят повить и поплакать «шакалки», которых Б.Н. называет шутя еще «маленькие собачки». Придумывает о них целые истории, где и как скрываются они днем, зачем идут сюда ночью. В ответ на их плач до хрипоты заливаются псы. Наш добродушный Авдей с заросшею мордой изнемогает до визга. Каждую ночь регулярно повторяется это: [в] 9 часов вечера или в час ночи. А то и в 9 и в час!

10/V вторник

Как не бывало дождя. Лучезарный день. Все время были на воздухе. Утром — у моря. Дорвались до камешков. После обеда — на верхней дороге. Ряд панорам, одна лучше другой. Шире и дальше видно, что на нижней. Вдали — снежные цепи Анатолийских гор. Сегодня увидели их в первый раз. Глядят так спокойно и дружески, а сколько от них огорчений. Они-то и есть тот угол «проклятый», откуда и туманы, и ветры, и холод. На нашем пути спуск по кедровой аллее. Долго слушаем шум кедров: особенный, шелковый, мудрый, значительный шорох. «Кедры ливанские» — начинает фантазировать Б.Н. — Ночью долго опять ходили по террасе, сидели на ступеньках. Любовались луной над холмами (глубокие черные тени) и милым Юпитером. Слушали соловьев. Пальмы тихо звенели. Совсем как в сказке — опять.

Поездка в ботанический сад. Это так красиво, что уже нельзя говорить. Это именно *красиво*... День удался. Было как напоказ: солнце, без единого облачка небо. Тишина. Голубой атлас моря. Цветы всех фасонов и запахов (даже японский садик был), деревья всех стран. Беседка с видом таким, что... нарочно придумано. — Вернулись в изнеможении: слишком *пышно*, слишком *богато*! Даже Б.Н. не может записывать. Лежит, переполненный. — А вечером еще: *такое* угасание солнца на снежных цепях (за Потю), что мы онемели буквально. Световая симфония... Поднялись на балкончик Б.Н. И когда от гор перевели глаза к морю, то вырвалось только: «Архангел!» Во всю ширину от необъятного горизонта протянулся широкий сверкающий мост золотой. «Да, вот на схемах рисуешь, а тут!» — тихо сказал Б.Н.

Вчера отдыхали от солнечной ярости. Тихо у моря. Грусть не покидала. Все казалось как будто во сне. Б.Н. был тоже очень задумчив. Молча пересыпал камешки. Подошли аджарцы. Стали вытаскивать на берег лодку. Не поддавалась. Позвали на помощь Б.Н. Он бросился, готовый на все, и с ожесточением начал тянуть. Стремился попасть под самую лодку. Я испугалась и крикнула, что тяжелая лодка может его задавить. Он же, не слушая, не замечая, так и лез в опасное место. Но один из аджарцев понял мое беспокойство и потянул Б.Н. ближе к себе из-под лодки. Так с ним всегда. И всегда — страх за него. — На обратном пути зашли в духан за боржомом. — Вечером тихо пили чай. Б.Н. перебирал камешки, любовался орнаментом, складывал все новые и новые узоры. «Это — вместо стихов. Загрунтовка для прозы. Орнаменты камешков перейдут в орнаменты слов. Из головы не придумаешь так, как подскажет природа». — Письмо от мамы грустно во мне отзывалось: «Петенька очень *хорош*, но о тебе, как о *дорогом покойнике*, почти не говорит»¹². Трудно, потому что не могу об этом сказать Б.Н. Он хочет здесь забыть об этом.

Утомляет постоянная смена погоды. Ни на чем нельзя остановиться. Нервы натянуты. Дождь, солнце, радуга, соловьи, молнии, ураган, мертвая тишина — все в каше какой-то. Какой уж тут отдых.

С утра дождь, безнадежный. Затоплены печи. Мирно расположились отсиживать день. Б.Н. занял весь стол кучками камешков. Решил сделать генеральный смотр своим «градациям». Выйдя на террасу взглянуть, что на небе делается, натолкнулась прямо на З[инаиду] Н[иколаевну] и Мейерхольда¹³: приехали к нам из Тифлиса. Восклициания, радость. Б.Н. оживился. Мейерхольд стал рассказывать о своих постановках, Б.Н. — о «Москве». Время прошло незаметно. Ходили «гулять» под «полудождем». Мейерхольд всему восхищался. Б.Н. показывал с гордостью. Камешки и аджарские носки получили полное одобрение. А в ответ на рассказ о ночных серенадах шакаликов Мейерхольд принялся сообщать такие подробности о их нравах («жуют ремешки, очень любят жевать ремешки»), будто он всю жизнь только и делал, что их изучал. Оба кричали, перебивая друг друга. Мы с З[инаидой] Н[иколаевной] могли только слушать. Она, как всегда, очень тихая, молчаливая, очень простая. — В шесть часов пошли провожать их на станцию, дав слово, что непременно приедем в Тифлис, очень скоро. М[ейерхольд] все мечтает перетянуть к себе Мих[аила] Ал[ександровича]¹⁴. Наперебой все четверо восхищались его игрой. Б.Н. соглашался: МХАТ 2 не дает М[ихаилу] А[лександровичу] нужного фона. М[ейерхольд] мог бы дать.

16/V

Не выходили весь день. Холодно. Серо. Точно мертвое все. Ни ветра, ни дождя, ни солнца. Но время прошло незаметно. Вспоминали приезд Мейерхольдов, который очень нас оживил. Б.Н. записывал в дневник. Тема аргонавтов.

17/V

Разбудил шум и грохот. Сперва ничего не понимала. Взглянула на часы: 5 утра. За стенами бушевал хаос. Стуки, хлюпы, грохоты, ревы... Гроза. Град. Ливень. Помчалась наверх, перетасить к себе Б.Н. В его вышке не очень теперь уютно. Нашла его перепуганным среди оглушающего свиста и рева. Казалось, что башенка вот-вот сорвется. С такой силою бил ветер в огромные окна, предназначенные для созерцания «видов», а не для защиты от ярости стихий. — Вот чем подарило вчерашнее омертвление. Уехать бы, что ли, отсюда. И погода, и древние темы Золотого Руна: как-то трудно совместимо это в сознании. Как сочетать золото, Арго, страна счастья, мечты — и бац! Грох! Хлюп...

Вчера еще Б.Н. писал об аргонавтах¹⁵. — Из пути это очень близко. Моя жизнь — право, плавание. Потому что: где же мой дом. Сердцем, всей жизнью сознания — с Б.Н. А по другому...

18 мая

Сегодня едем в Тифлис. Кажется, что это уже перелом в нашем пути. Уже возвращение к северу. Может быть, будет Саров, о котором мы тихо мечтаем с Б.Н. Он говорит: Кавказ — Цихис-Дзири — это как подготовленье. — Мне же юг всегда приносил страдание и острую боль: Сочи, Коктебель, Цихис-Дзири.

Тифлис

19/V

Выехали вчера в 8 вечера. С большой радостью. Хочется отдохнуть от сюрпризов золоторунной погоды. — С шести утра неотрывно у окон. Конечно, в вагоне взоры всех на Б.Н. Он ведь один восхищается тем, что за окнами. Им это привычно, не видят, не смотрят. Он же громко сообщает мне о своих впечатлениях. — Чем ближе к Тифлису, тем тоньше красота ландшафта. Какая-то сдержанность по сравнению с неудержимо «эффектной» Аджарией. Безлесные горы, холмы, мягкое благородство рельефов, прозрачная гармония мягких тонов. — Вот светло-желтый, нежный на темно-лиловом, каком-то изрезанном прочернью и странно измятом. За ним выплывает темно-зеленый, глубокий. Аккорд этих трех тонов звучит, изменяясь в движении поезда. То надо всем поет желтый, потом из-за него разливается лавой лиловый, строит причудливый город и вновь исчезает под мягкой зеленой волной. Это — слева от нас. А справа: долины зеленые: одна за другой без конца курятся туманами, точно дышат. За ними недвижные строгие очертания очень далеких хребтов. — У самого полотна — мутно-желтые всплески Куры. Она бурная, дикая. Но близкая, точно много раз виденная. Может быть, это стихи и песни о ней, с детства запавшие в душу. И вот снова: встает лимонно-оранжевый холм. На вершине: точно вклеены в небо развалины старого замка. Как явно чувствуешь здесь волны времени. Проходят... одна за другой. И песни, и образы, звон оружия, крик ненависти, молитва. Все это было. Это — история. — А еще раньше, до трехтонного аккорда шли высокие охровые срезы, с открытыми дырами черных пещер, под самой вершиной. Убежища от разбойников и гнезда разбойников. Пещеры, по рассказам, переходят в подземные города: Уплис-Цихе (дохрист[ианские] вре-

мена) — Б.Н. настойчиво теребит: Скорее, скорее... что там-то! В окне потемнело. К нему придвинулись отвесные серые стены: сдвиги и складки. Взглянула в окно: конца не видать... Но вот мост. Кура прыгнула влево и вмылась [в] подножие склона. Открылись просторы — зеленые, мирные. Повеяло снова: близким и с детства знакомым. Должно быть, Лермонтов. Пушкин. — Как проработаны почвы: огромный художник природа высекал эти формы, раскрашивал, гравировал — временем, ветром, водою и солнцем. — Опять и опять чудеса: мелким кустарником вышит узор: черными узелками по серо-зеленому бархату. Долины становятся глубже... Растительность гуще. Почти не видно земель. — Мцхет! Голова загибается вверх: на отвесный зеленый ковер перед самым окном. Налево: широкий простор. Отодвинулись горы. Кура, затихшая, плавно круглится вокруг мыска, на котором рассыпался Мцхет, с его старым собором (V век) и с Мцыри (монастырь, IV век) на противоположном отвесе сверху, над Курой. — «Мцхет!» — восклицает Б.Н. восхищенно — «вот бы пожить там!» — «Что вы! Нельзя! Скушают блохи!» — рассудительно замечает сосед. И рассказывает, как он чуть не погиб от несметных блошинных нашествий... Б.Н. не слушает. Не отрываясь, глядит... Задержанная плотиной Загэса, Кура на мгновенье разглаживает свои гребешки.

...

С вокзала — трамваем: к Мейерхольдам, как мы сговорились. Какой легкий и радостный город Тифлис. Вошли в улочку, где живут М[ейерхольды] и где мы должны были поместиться поблизости. Никакой суеты. Тихие дома в садах, с кружевными решетками, улочка — как аллея... Упирается в склон горы. Из окон — звуки рояля. Что-то напомнило Штутгарт. — Вошли. Шумная встреча. Завтрак. *In medias res** — разговор о театре. М[ейерхольд], кипящий задором, готовился к диспуту. «Я им покажу...» Был недоволен газетами и даже публикой. Б.Н. закипел вместе с ним... Вечером на *Ревизоре*¹⁶. Впечатление огромное. Подлинная трагедия. За время после генеральной репетиции спектакль очень окреп. По окончании вышли ошеломленные, взволнованные до глубины. Возвращались все четверо вместе. З[инаида] Н[иколаевна] исключительно хороша в Анне Андр[еевне]. Перед сном, погасив свет, мы долго с ней разговаривали. Больше всего о Сергее¹⁷. Он был и остался ее единственной и первой любовью. Теперь — его дети. Голос дрогнул. Но она сдержала себя. Кто подумает: «Райх!» и такое...

* Прямо к делу (лат.).

Солнце, тепло, сухо. Б.Н. воскрес. Утром поехали в коляске с М[ейерхольдам]и в Ботанический сад. В три голоса мы приглашали друг друга: «Посмотрите»... «Нет, что это!» — «Черт знает что». З[инаида] Н[иколаевна] молчала. Она говорит, что не умеет выражать своих чувств громко. Бросив извозчика, пошли бродить. М[ейерхольд] предостерегал Б.Н., чтобы он не бросал папироску или спичку: «Сухо здесь... вспыхнет пожар. Все и сгорит... Сколько хвои-то... Смола!.. Запыляет, как факел». — Вышли к ущелью. Ручей, водопад, тополевая аллея, старый кирпичный мост: Лермонтовский вид! — согласились все дружно. Как легко здесь после Цихис-Дзири. Весело, беззаботно. М[ейерхольд] фантазировал: «Вот, смотрите... Печорин... Печорин идет» — «Встреча их с княжной Мери, конечно же, была на таком окружении», — врывается Б.Н. «Тише, тише», — шикает на него все забывший М[ейерхольд] — «Грушницкий подглядывает, вон он там, видите, видите» — тычет пальцем... Они увлекают друг друга. Импровизациям нет конца. — З[инаида] Н[иколаевна] отошла и легла в стороне на скамейку. Она любит побыть в тишине на природе. М[ейерхольд] показывал Б.Н. макет предполагаемой постановки «Москвы»¹⁸: принцип спирали (лестница), вокруг которой будут расположены сцены. Все вместе — дом, т.е. Москва. — «У вас все так... все во всем. Гоголя я даю на вкатных сценках... Вы понимаете... А вас — нужно иначе... Вот и будет спираль! Будет? А! Что?» — Тут же снимались втроем без З[инаиды] Н[иколаевны]. — Домой возвращались через туннель. Почти бегом, чтобы не простудиться: сырость и холод. — Вечером опять *Ревизор*. На этот раз В[севолод] Э[мильевич] предложил смотреть из-за кулис: чтобы поближе, и руками можно было пощупать. Показывал нам свою «кухню»: актеров, мебель, кукол, костюмы, посуду, площадки, машины... Целый мир. Можно уйти с головой. Заведующий предметным инвентарем (посудой, коврами, салфетками, трубками, подушками, полотенцами, скатертями и т.д.), т.е. «мелочью», говорит, что у него 500 предметов на руках! А это только пустяк сравнительно с остальным: декорации, костюмы и пр. — Возвращались вдвоем. Ушли до окончания. Б.Н. устал. Слишком сильное впечатление от мейерхольдовской «кухни»! Захотел свежего воздуха, тишины. Посидели в кафе. Хотелось остаться вдвоем: обсудить все, что видели, пересказать. Дома дождались М[ейерхольд]ов. Вместе ужинали, без конца говорили на темы: театр, публика, критика, актеры. Как все запутано, сложно. Из Москвы написали, что М[ихаил] А[лександрович] играет «Гамлета» в по-

следний раз¹⁹. Не понимаем, что это значит. Снимают, что ли, со сцены «Гамлета»?

21/V

Солнечное утро. Решили вдвоем побродить. Доехали на трамвае до университета. Карабкались на холмы. Прекрасные, иссохшие, древние почвы. Безлесные. Проступают богатством тончайших рельефов. Они индивидуальнее, выразительнее зеленых каскадов и чащ. Точно выбритое лицо, не заросшее бородой и усами. — Как хороша игра воздуха над этими землями. Вспоминается миф о Зевсе, одаряющем Гею воздушным покровом... А под ногою раскинулись крылья Демона, каким дал его Врубель. Лилово-синие, желто-коричневые сухие квадратики. Врубель не фантазировал. Писал только то, что было перед глазами. Здесь только начинаешь Врубеля понимать. Он не прибавил! Разве только убавил — для «правдоподобия»! — Мы с Б.Н. сторонники Карталинии, не Аджарии. Там все же приторно. Разве можно сравнить Ботанический сад (под Батумом) с этими мудрыми, старыми, старыми землями! Платье романтическое, кудри, широкополая шляпа и сухое, строгое, мудрое лицо, с глазами, от которых... не отведешь своих глаз... Так смотрит в тебя земля под Тифлисом. История смотрит. Природа, ставшая историей, а не природное «*натуро*», допотопное, как в Цихис-Дзири. — Вечером опять потрясение! Смотрели «Лес»²⁰. Все другое, чем в «Ревизоре». Не менее сильное. Б.Н. говорит, что в каком-то отношении даже более сильное. Там М[ейерхольд]-режиссер все заполнил собою. Зритель только берет, что дают. Здесь — ему больше простора. Больше воздуха, паузы. Не все «*доделано*» (сознательно!). — Начинается скучно. Чуть-чуть не фарс. Мы молча глядели с недоумением друг на друга, боясь передать разочарование. З[инаида] Н[иколаевна] какая-то вялая (она говорила потом, что смущалась этой роли в нашем присутствии и потеряла весь ритм). Но потом сквозь всю буффонаду стало просвечивать что-то другое. Больше и больше. Со второго действия неотрывно приковала к себе. Наконец вырвалась и все покрыла звенящая, нежная нота: лиризм, тоска живой, непризнанной правды, томление чистой прекрасной души. Аксюта — в платье персикового цвета, с белым воротничком с золотой головкой. Сцена раздвинулась в необъятности русских полей, с синим озером (где оно?) с дорогой к нему (где она!), слышишь шум «леса» (на сцене — ни дерева!). Все это встало в душе и незаметно нарисовалось на сцене. М[ейерхольд] вызвал в зрителе творческий акт. И зритель «доделал». Б.Н. был

просто в безумном восторге. «Игра свето-тени — вот прием постановки "Леса" у М[ейерхольда]! Что он делает, нет, что он делает...» — шептал он мне, крепко хватал за руку, когда в свете подвижных рефлекторов сцена вдруг оживала в прозрачных сквозных и скользящих тенях.

22/V

Утром были вдвоем в Ботаническом. Поднимались к крепости. Вечером никуда не хотелось. Немного бродили по городу, сидели в кафе. Рано вернулись. Б.Н. стал переводить статью из какого-то французского журнала о постановке «Ревизора» (для Мейерхольда)²¹. Я оставалась в темноте на веранде, любовалась японской мимозой, слушала доносившуюся со двора музыку (какие-то восточные инструменты и песни). Потом мы с Б.Н. вместе поправляли его перевод. — После ужина опять те же разговоры. М[ейерхольд] нервничает, даже злится. Не ждет ничего хорошего от завтрашнего диспута. Он понимает, что Б.Н. не хочется выступать и не тянет, хотя видно, что хотелось бы. Но Б.Н. решил совсем не ходить на этот диспут, чтобы не расстраивать себя. — Забыла совсем: в первый же день приезда были на горе св. Давида: поднялись на фуникулере. Там наверху встречаешь неожиданную картину — пологий подъем, почти незаметный, уходит в горизонт. Никаких гор, только в сторону Тифлиса. А то будто в тульской губернии. — На следующий день были на могиле Грибоедова. Довольно долго посидели на лавочке возле церкви. Вечер тихий и теплый.

23/V

Утром с М[ейерхольдами] и инженером были на Загэсе²². Хотелось-то, в сущности, в Мцхет, Мцыри. Но инженер ехал специально показать нам Загэс. — Проезжали через старый мост времен Александра Македонского. Теперь он почти затоплен Курой. Инженер провел нас через картину «превращения энергии». Кура задерживается сперва плотиной, потом вливается в гладкий цементный канал (пейзаж из будущего!), откуда она попадает в 4 огромных трубы, и далее к 4 турбинам, где превращается в «электрическую энергию». Нас подвели по ступенькам к маленькой запертой двери. Открыли и показали, советуя не переступить за порог. В углубленьях до стен лежали огромные змеи, как-то зловеще затихшие на мягких подстилках. Это «кабели». Ток высокого напряжения. «Не подходите! Смертельно» — висели над ними дощечки, безмолвно предупреждавшие. Нам объяснили,

что кабели иногда «шалют», т.е. дают неожиданно искру. Тогда это — смерть! Мы невольно тоже притихли. Что-то жуткое глянуло от протянувшихся чудовищ. Оттуда повели в просторную комнату: стены в кнопках, рычажках, винтиках, фонариках; какое-то подобие туалетного стола с мраморной доской — сплошь те же кнопки, фонарики, лампочки. Тишина, чистота, даже опрятность. Молодой человек в сером опрятном тоже костюме, свежем галстуке. Тихо и вежливо стал нам рассказывать, что это, так сказать, «сердце» Загэса, узел, где сходятся все нити. Отсюда можно узнать и о подъеме воды в Куре, и об аварии, о состоянии всех разнообразных работ за несколько километров по Загэсу. Чистый Жюль Верн или Уэльс. Б.Н. сказал, что бетонные формы станции напоминают ему бетонное основание Гетеанума²³. Вечером поднялись на фуникулере. И глядя вниз, на освещенный электричеством город, досмотрели, так сказать, дело Загэса: «вода стала огнем!» Залюбовавшись, не заметили, как надвинулась гроза. Загрохотало сразу над головой. Бросились к фуникулеру. Но домой еще не хотелось. Посидели в кафе. Вспоминали Загэс. Б.Н. вынес большое впечатление. Он любит все конкретное, точное. Переждали грозу и возвращались уже под звездами. — М[ейерхольдо]в еще не было дома. Они задержались на диспуте. Потом появились усталые, рассерженные: на публику. Без конца сидели за ужином, а потом еще долго говорили с З[инаидой] Н[иколаев-ной] перед сном. На те же все темы: Сергей и дети.

24/V

Рано утром. Жара. Душно. Идем за билетами. — К Б.Н. приходил молодой человек — председатель грузинского Союза писателей Табидзе²⁴ — познакомиться. Молчаливый, большой, очень полный. Женственное, мягкое лицо. Несмотря на жару — в коричневом суконном костюме с красной гвоздикой в петлице. Сидел недолго. Очень просил Б.Н. приехать еще в Тифлис специально, чтобы познакомиться с его товарищами, которые «хорошо знают Андрея Белого и мечтают о встрече и личном знакомстве». Б.Н. обещал, но скорее испугался, что инкогнито его нарушено. Но Табидзе ему скорее понравился. — Едем в Боржом, хотя отговаривают, пугают холодом.

Дорога Тифлис—Боржом

Выехали в 4 часа — жара, — задыхались в вагоне. Опять — гроза. Но часам к 7 запад снова вспыхнул: пробилось солнце. Не-

ожиданно справа вдали: снеговые хребты невероятных по нежности оттенков: розовых, сиреневых, бирюзовых. Б.Н. не отрывался от окна: «Смотрите, смотрите!» Какая чистота, строгость. Как к ним влекло. Точно зов знакомый, хотя никогда прежде не слышанный. Не буду лучше и трогать. Б.Н. сделает это лучше. А то изойду в восклицаниях... Но это было еще не все. Пока мы смотрели на горы, впереди совершалось что-то совсем уж невиданное, совсем странное. Какое-то космическое пылание: воздуха, земли, неба, облаков. Дождь кончился. Но все было пронизано влагой. Запад горел в оранжевых вспышках — все ярче и ярче: «Земля обетованная!» — хотелось сказать, когда золотой расплав нам несся навстречу. — «Страна Золотого Руна! Вот она: там впереди!» Тоской о несбывшемся и радостью о том, что может еще быть, пели вдали золотевшие небесные земли. И бросали на снежные гребни — нет, не краски, — а отсветы светов: бело-розовые, розово-голубые, сиренево-опаловые. Драгоценнее всякой парчи. Вдруг слева в глазах мелькнуло что-то еще более невероятное: точно огонь полыхнул. Повернулись туда. И застыли. Немо глядели, забыв обо всем, что ни есть. Что же это такое? И где мы? И кто это все сделал? Это куренье библейских сквозных фимиамов — оранжевых светов на красных холмах, над бездонными черно-зелеными долинами. Поезд несся, казалось, над клубившимися пыланиями оранжево-лилово-вишневыми. Где земля и где воздух? Все стало взрывами света. Вдали, к горизонту — точно их поставили для контраста, как опору для глаз, — приподнимались роскошные фиолетовые и темно-лиловые бархаты горных цепей — на совершенно сквозной бирюзе. Сзади за поездом все сливалось в малиновом сквозящем темно-темно-темно-синем. Малиновое переходило в багровое и потом, проясняясь, легчая, замыкая собой горизонт, подходило к снеговым цепям (справа увиденным), чуть разливаясь на их белизне розовым перламутровым кружевом... Довольно! Довольно!.. Не вмещается больше... И нет, не довольно! От края до края вдруг над этим, над всем перебросилась радуга! «Ной!» — пронеслось во мне. А Б.Н. только сказал: «Это — Ягвз! Каким его дает Библия!» — К первой радуге присоединилась вторая — бледнее, но так же через все небо. — Не забыть этого вечера! Он у нас стал называться «Ягвз!» «Помнишь вечер Ягвз?» — «Да, на пороге страны Золотого Руна!» И веяло тем же знакомым и древним, невиданным никогда. — «В какой памяти это было» — задумчиво глядел вдаль Б.Н. Он сразу стих. Лицо побледнело. — Так встретило нас Гори, место постоянных землетрясений. Путеводитель. Анисимов²⁵. — *Гори* — город расположен у подошвы конической горы, поднимающейся среди равнины.

На вершине горы развалины большой древней крепости. Этот исторический памятник упоминается в грузинских летописях при Тамаре (1184-1212). В XVI в. крепостью завладели турки. Потом городом попеременно владели: турки, персы, грузины. С 1801 присоединен к России. В 1900 крепость реставрирована... — Кура вливается в широкую долину, в середине которой стоит город Гори. Это место было когда-то *котловиной, наполненной водами большого озера*. Но воды его давно ушли, прорвав себе выход на восточной стороне в высоких берегах. Если смотреть на горийскую котловину с какой-нибудь вершины, она вся представляется *цветным ковром* грузинских садов, лугов и пашен, по краям которого синеют горы. — Дно большого озера... И по нему-то бежал в этот вечер наш поезд. Но тогда мы об озере не знали. Почему же над этими местами встал образ воды... Ноя, потопа. Будто прошлое подает свои сказки. Его вдыхаешь вместе с воздухом. — И долго еще говорили об этом. Б.Н. вспомнил аргонавтизм. «Но Арго — мы сами, если сумеем себя окрылить легким парусом мысли».

Уже темнело, когда отъезжали от Гори на Боржом. Сидели в открытом вагоне. После напряжения только что пережитого почти опьянения роскошью красок было отрадно в сгущавшемся сумраке. Ничего не хотелось... На темных склонах зажигались огоньки — далекие деревушки, отдельные сакли. «Свет померкнул, звук уснул» — вспоминался Тютчев²⁶. Очертания стерлись совсем. Только из мрака негромкий сонный тоже шум невидной Куры. Мы сидели, прижавшись друг к другу... Как хорошо, как спокойно... Около 11 были уже в гостинице. Очень чистые светлые номера. На столе появился сверх ожидания самовар. Мягкие туфли на ногах. Расположились удобно. Все в Боржоме казалось непритязательным, милым. За окнами шумит та же Кура. От стола перешли на балкончик. Внизу — улица с пирамидальными то полями. За нею — Кура, дальше — горы.

25/V

В 9 вышли уже на прогулку. В новом месте Б.Н. всегда предпринимчив: поскорее все осмотреть, «ориентироваться». Поднялись в Воронцовский парк. Были у источника. Но с нами не было кружки, и потому не пришлось «попробовать». Пообедали около моста в маленьком ресторанчике. — К вечеру — опять пошли бродить. Попали в Михайловский парк и заблудились, ища выхода, обратились к кому-то с вопросами. Нас пригласили осмотреть бывший дворец В[еликих] К[нязей]. Б.Н. не понравилось: неуютно

и сыро. Комнаты огромные, хорошо отделанные. Хотя полного впечатления не осталось: шел ремонт, всюду стояли леса, белели пятна извести. — Отсюда почти вырвались (Б.Н. все время ворчал, что жаль терять время на осмотр этих ненужных роскошей) и опять — к источнику, и дальше в ущелье. Все-таки здесь тесновато. Сжато со всех сторон. Нет перспектив. Но воздух — чудесный. «Дышите, дышите», — приставал Б.Н. и сам глубоко набирал всю грудь. — Вечером долго, долго сидели опять на балконе. Звезды, темные горы. Особый уют в этой отрезанности от всех и всего. Боржом нам — какой-то «таинственный остров».

26/V

Поездка в Бакуриани

Много мы слышали о красоте Бакурианской дороги. Все твердили: «Поезжайте! Что Швейцария, Норвегия! Вот Бакуриани...» (1600 над уровнем моря. Боржом — 800). Поехали! В шесть часов встали для этого. И пошло все как-то нелепо. Начать с того, что попали в закрытый вагон. Открытые были переполнены. Б.Н. был в отчаянии... Поездка пропала. Ничего не увидишь. Мы за тысячи верст приезжаем для этого, а «они» могут каждый день ездить. Кричал, волновался, приседал и выглядывал из окна. «Что это? Разве в *это* что-нибудь увидишь? Это — квадратцы. В них ничего не видно... Видите, видите! Ничего!..» И, безнадежно махнув рукой, бросался на диван: лучше себя не дразнить! Но не вытерпев — снова к окну. Наконец кто-то сжалился и помог нам достать место на открытой площадке. Но начало было уже испорчено. Дорога, конечно, красива. Но в Цихис-Дзири мы уже насытились красотой. Все зеленое, гуще и чаще. А Б.Н. ждал базальтов, гранитов и «пиков», как в Альпах. Ничего этого не было. Какое-то «первое мая» или троицын день: веселое, пестрое, зеленое... В самом Бакуриани — не лучше. Поезд оставался всего час. Куда пойдешь за такое короткое время! А иначе ночевка. Но это не привлекало. Поднялись было на холм за станцией. Но у Б.Н. сделалось такое сердцебиение от жары, высоты и дорожных волнений, что принуждены были вернуться... Скучали на станции. Хотелось скорее в Боржом. Жалели, что не провели в Либани (последняя остановка перед Бакуриани). Там действительно хорошо. Самое красивое место из всей дороги. Далекый вид вниз и на противоположные горные цепи. — В заключение была еще пересадка перед самым Боржомом с бакурианской ветки. Долго ждали встречного поезда. На все вопросы, когда он придет, ответ не-

изменный: сейчас! Это «сейчас» длилось по меньшей мере час. Вернулись совершенно измученные: Ну, будем помнить Бакуриани. — Хорошо еще, что не послушались и не набрали с собою теплых вещей. Все твердили одно: Там будет очень холодно! Холодно?! А мы вот от жары задыхались...

Вот и Боржом. Пообедали (около 4-х часов) и пошли «куда глаза глядят» по шоссе, за Куру. На другом берегу среди зелени виднелся бывший Дворец. — Вечером опять под звездами, над Курой и тополями на нашем балкончике. Немного пришли в себя. Где-то вблизи была гроза.

27/V

Сегодня едем назад в Цихис-Дзири. Жаль оставлять Боржом. Скучновато здесь. Но зато очень легко и уютно. Утро облачное, тихое. Чем-то напоминает даже Кучино. Не то что Цихис-Дзири, где раз десять в день Б.Н. негодовал: «Допотопный климат! Неудобно жить в допотопном климате!» — Стал накрапывать дождик. Под зонтиками пошли все же «проститься» с Боржомом. Были у источника. Пообедали в курзале над Боржомкой. Б.Н. почему-то вспомнил и подробно — в который раз — о норвежских фьордах и о дороге Христиания—Берген²⁷. — В 8 часов «отбыли», на Гори, где нужно было пересаживаться на Батум. У Б.Н. лежало в кармане печатное объявление о прямом сообщении Боржом—Батум. Но... Перед тем как брать билеты Б.Н. случайно попал на это объявление. Обрадованный, кинулся к кассе. Там получил короткий ответ: «Не слышали!» Решив быть на этот раз настойчивым, Б.Н. стал допытываться у носильщика: «Как же так! Вот объявление, — а вот что говорят в кассе». Носильщик, несколько не удивившись, спокойно разрешил все сомненья: «Да, может, и ходит *такой* (!) вагон... Да только не видно, есть он или нет. *Графарета не вывесили!*» Б.Н. сперва рассердился. А потом стало очень смешно... Слишком уж по-разному на одно и то же реагировали мы — «заинтересованные» и носильщик... Вот тебе и философия жизни: долго еще смеялись. — Пересадка в Гори прошла благополучно.

28/V

Пасмурным, хмурым утром подъезжали к Аджарии. Топкие, болотистые места. Тусклый блеск ржавой воды среди трав. Казалось — так и кишит здесь малярия. «Жуткое место» — вздрагивал Б.Н. и отходил от окна. Натанеби... Кобулеты... Цихис-Дзири. — Оно не изменило себе. Встретило нас сюрпризом. Мы

мечтали с дороги отдохнуть, прийти в себя. Не тут-то было. В наши комнаты нельзя было войти. Хозяева решили воспользоваться нашим отсутствием и переклеить обои. Маляр обманул, не пришел вовремя, а они уже ободрали старые обои. И в этот день сама О[льга] А[лександровна] спешно оклеивала мою комнату... Нечего делать. Приткнулись в каком-то углу, потому что в другой, временно нам предназначенной комнате спешно мыли полы: «Чтобы нам было удобнее». О[льга] А[лександровна] усиленно извинялась, что так вышло. А мы только переглядывались: «Да, да! Цихис-Дзири... Дает себя знать... Ничего не поделаешь!» — Оставив разгром и хаос, сбежали к морю. И... россыпи камешков, да таких чудесных, каких не было за все время. Позабыв все невзгоды, погрузились в поиски. Хотя на этот раз даже и искать особенно не приходилось — такое их было множество. Еле дотащили свой богатый улов. Вот море и порадовало. А мы все его подругивали в Тифлисе. Что море? Вот горы... Правда, это больше Б.Н. Потому что я гор совсем не знаю. Он же только о горах и мечтает. Каждый почти день раскладывается карта. Изучается путеводитель. Устанавливается «маршрут». «Хлебом меня не корми, а дай попутешествовать — побродить по горам». — За наше отсутствие зацвели мандарины. Странно было узнавать в белых цветах и овальных, шишечками, бутонах с детства виденные цветы подвенечного флер д'оранжа. И вот они теперь на зеленых веточках, совсем *такие же*.

29/V

Утром были у замка над морем. После обеда Б.Н. прилег у меня на диване. Он редко уходит к себе. Любит отдыхать так, чтобы я была около. Называет это: «Заплечинька!» Откроет глаза, посмотрит, улыбнется ласково: «Заплечинька!» И так тихо, спокойно снова заснет. А я сижу — или читаю, или как сейчас — записываю, или с шитьем возжусь. — Было письмо от Пети. Он любит Зину²⁸. Что же. Все равно не изменится ничто. Она уезжает из Москвы к матери. А у нас все так и будет... Эх! Трудно это. — Вечером гуляли по верхней дороге. Мимо нашей любимой кедровой аллеи. Опять мудрый шелковый шепот... Посидели на обратном пути там на лавочке. Мысли какие-то строгие, серьезные. Странное место для нас Цихис-Дзири. Не отдых будто, а испытание.

30/V

Чудное утро. Уже июньское. Были опять на дальнем пляже у замка. Думала о Пете и Зине. Пусть ничто не изменится. Все же

эта встреча на благо ему. Он стал мягче. И больше как будто меня понимает. — После обеда ходили по верхней дороге. Прошли до конца, там, где начинается уже спуск к Чакве. — На закате гуляли по нашему саду, среди флер д'оранжей. Б.Н. вспоминал апельсинники в Сицилии²⁹. Ночью Б.Н. опять долго глядел на огромный Юпитер. Появились светляки. Он еще никогда их не видел. Цихис-Дзири опять побеждает своей фантастической роскошью. Как Вагнер — пока не слышишь его — протестуешь. Услышишь — не можешь сказать ему: нет!

1/VI

Наконец я опять в своей комнате. Считаю, что только сегодня приехали. А то все это было: так как-то! Все полуоткрыто, полуразложено. Терялось то одно, то другое. Ежеминутные поиски. Комната Б.Н. оказалась за 1000 верст. Приходилось кругом обегать: за щеткой, за свечкой, за мылом, за туфлями... Особенно Б.Н. Все терял, забывал, уносил, приносил как раз то, что не нужно. Устал и измучился.

2/VI. Вознесенье — четверг

Разбудил ослепительный свет: в 5 утра. Из-за горы в окне прямо — солнце. Б.Н. почему-то тоже не спал. Принес показать мне новую коробочку, сложенную из последнего набора. — Утро сияющее. А после обеда надвинулся дождь. Остались дома. Томились в «роковые» часы от 4-7. Почему-то все валится тогда из рук и кажется абсолютно бессмысленным. Б.Н. зарисовал карандашом вид с нашей веранды. «Экспрессионистически», как он говорит. Получилась экзотика полная. И хотя «детали» изменены (тонкая решетка его балкончика превратилась в монументальный парапет, а виноградные листья — в какие-то громадные лопухи), но самое главное, как и всегда у него, схвачено³⁰. — Он опять очень нервничает от погоды. К ней здесь нельзя приспособиться.

4/VI

На столе у нас магнолия, огромная — на тарелке. Б.Н. долго ее рассматривал, а потом стал настаивать, чтобы унести ее на террасу: слишком сильный аромат. Мара принесла нам букет дигиталис. На одном из цветков сверкал светлячок. Опять — пристальное изученье: вот он какой! Потом стало жалко, и я отнесла его в зелень. В ночном свежем воздухе он вспыхнул так ярко: «Пусть живет, сколько ему положено...» Наступает мое любимое время в году. Полнота раскрытия солнца.

Нашла четырехлистничек клевера. Это второй уже раз. Первый раз нашла в Кучине³¹ — в 25 году весной. — Сегодня тихая, темная звездная ночь. Лунных ночей вообще не люблю. А на юге особенно. Что-то тревожное, слишком красивое. А когда луна над морем — то мне совсем нехорошо. Точно зловещее, домировое встает.

6/VI

Какое буйство цветения! Розы, магнолии, ирисы, лилии, пионы... Количество и размеры — поражают. — Сегодня в окно к нам влетела ласточка. Старались выпустить снова ее, но она, глупенькая, не понимала. И билась о стекла верхних рам. Теперь сидит на верхушке буфета. Нахохлилась и грустно глядит. Поставили ей блюдо с водой. — Вчера не было сил уйти спать: так прекрасна, тиха была ночь. Такое волшебство творилось кругом. Все оживилось мерцающей призрачной жизнью... Б.Н., захваченный очарованием этой фата-морганы... снова стал говорить об Арго. Точно сны золотые вставали... Казалось, вот-вот из-за кустов мелькнет белый парус, появится очертанье кормы... И мы поплывем...

8/VI

Опять скверные дни. Непогода. А люди! Хотя и в погоде скачки. Вчера к ночи надвигалась гроза. Природа кипела кругом, как море взволнованное. А настоящее море — билось, царапало точно когтями железными. Хотелось не слышать этого мерного скрежета. А он бил и бил в уши. Б.Н. успокаивал: говорил о Египте, где так же мощно влиянье природы, говорил, что надо уметь грань полагать между ей и собою, что нельзя так поддаваться... А мне хотелось сорваться и бежать, бежать от этой силищи, от этой «природищи»... «Да, сил — непочатый угол», — смеется Б.Н. А я почти плачу.

10/VI

Из Тифлиса опять повеяло добрым. Был у Б.Н. грузинский поэт, Яшвили³²: целый день с ним прошел очень легко, интересно и без всякого напряжения. Разговор больше всего, разумеется, шел об искусстве и о воспитании. Яшвили обещал помочь нам при осмотре Тифлиса. Он держит себя очень просто, и невольно с ним чувствуешь себя, как со своим человеком. Б.Н. водил его гулять по верхней дороге. После отъезда Яшвили Б.Н. с еще большим жаром стал «хвалить» Грузию (Карталинию) и возмущаться Аджа-

рией. Теперь уже мы откровенно только доживаем здесь «положенное время». Едва ли когда еще вернемся. — Утром шутливо играли в шарады с Б.Н. Одно из загаданных слов: река в Италии и т.д., а целое: то, что нас больше всего интересует в Цихис-Дзире: по-го-да.

11/VI

После туманного дня — серебристая мягкая ночь. Опять все волшебное и призрачно. Тишина. И так же тихо вдруг стало на сердце. Ведь не бесплодна же моя жизнь. Ведь сказал же Яшвили, что рад был увидеть меня возле Б.Н.: «Как хорошо, что Вы около Б.Н. Редко можно увидеть такую дружбу. Вы во всем — одно». Тоже и Зарун Кар[апетовна]³³ сказала: «Глядя на вас обоих, не знаешь, где кончается один и начинается другой. Редкая дружба. Такое созвучие». — О, если бы только могла я ему дать то, что ему нужно. Если бы только могла.

12/VI. Троицын день

Утро — радостное. Все цветет. Воздух прозрачный. Легкие тени движутся и дышат, точно живые. — Вплоть до самого вечера все было ясно и благостно. — Перед сном посидели, затихнув над книгой. Вспомнили всех.

13/VI. Духов день

Прошел в тишине, примиренности. — Перебрали все камешки. Сложили «Экстракт» из чуть ли не «уникумов» в одну большую коробку. Остальные груды — выкидывали. Б.Н. все торговался: «Жалко выбрасывать...» — Вечером пошли по нижней дороге, где давно уже не были. И удивились, до чего там все пропышнело. Едва узнавали в густых зарослях прежде прозрачные уголки. Гигантские эвкалипты зависли сплошь лианами и стояли непроходимой стеной. Albertrosen — здесь деревья, величиною не меньше белых акаций. Осыпаны цветом. — Когда стемнело: светлячки разыграли феерию. Весь воздух вспыхнул и зароился. Как нарочно, для усиления эффекта то один, то другой из них залетал в сумрак веранды и пронесился мерцающей искрой. Поднялись на балкончик Б.Н. Сквозь лапы пальмовых веток слушали ночь и луну. Внизу под балконом зацветала гортензия — огромный куст. Теперь она казалась покрыта фатой бело-розовой (днем — голубая). Тоже волшебство и призрачность: подарок цихис-дзирских ночей. В такую же ночь встретились Фауст и Маргарита и опьянели среди ароматов, среди цветов (картина Врубеля)³⁴. Цветы,

цветы, цветы! Тема этих дней. Б.Н. и здесь нашел себе предмет для постоянного наблюдения: собирается зацвести кактус. Говорят, он цветет раз в 25 лет, а потом — умирает. Б.Н. пленился этой романтикой. Каждый день перед вечером ходит смотреть, на сколько выросла кисть. Ему нравится, что она как живая и похожа на лебединую шею.

16/VI

Светляки сегодня буйствовали вовсю. Казалось, что все покрыто танцующей искрящейся сеткой. — Сочли пучки соцветий на гортензии: на одном только среднем кусте — до 3000! Со счетом даже измучились. Сбивались, спорили, начинали сначала. Б.Н. не успокоился, пока не убедился, что сосчитано верно. Какая у него во всем *доскональность*. Даже по пустякам. Кактус вырос еще. Только — расцветет ли до нашего отъезда. Б.Н. ходит к нему, как будто это папоротник, зацветающий в Иванову ночь. — На прощанье Цихис-Дзири старается нас пленить. Осыпает своими щедротами. И все же тянет в Тифлис.

18/VI

Все закрылось под серой завесой. Третий день, как погасло то просияние. Гром то и дело. Море скрежещет. Б.Н. поглощен работой. Неожиданно опять появился «ритмический жест». Сидит целые дни и вычисляет кривую для «Медного всадника»³⁵. Меня же преследуют «аполлонические формы». В перерывах много говорим с ним о слове и о словах, их звучании, ритме и жестах. И снова погружаемся — каждый в свое. Б.Н. темпераментней. То и дело вскрикивает над своей кривой: «Нет, нет! Что же это!» И опять затихает, уходя в вычисления. Через полчаса снова взрывается. Начинает взволнованно говорить, на что он «наткнулся». Точно срывает печати. И «энергия» пушкинской строчки освобождается, кипит. Это чудо во-очию! Колонки цифр, груды бумажных листов, чертежи... А надо всем — живой человеческий голос. Пушкин или Б.Н. — не разобрать уже. И как дети мы оба: от восторга и счастья — смеемся.

23/VI

За эти пять дней промчалась гроза с «перманентными» ливнями. — Б.Н. все вычисляет. Показывает свои схемы Ростовцевым, даже старушке, даже Ване. Больше всех поняла О[льга] А[лександровна]. Но все призывались. Пол моей комнаты покрывался широкою лентой листов. «Кривая» на столе не умещается.

Б.Н. с карандашом, трепещущим в его пальцах, как бабочка, в ритм слов, объясняет, показывает: точки уровней, сломы кривой, подъемы, паденья, углы. Этим «готовится» к предстоящей в Тифлисе лекции. — От Пушкина — к Блоку (тоже лекция будет в Тифлисе)³⁶. Уже отошел от природы. Точно насытившись ее «творчеством», взяв нужный запас впечатлений, теперь «уравновешивает», «темперировывает» творчеством человека. «Природа или искусство?» — только и слышалось за эти месяцы. — Сделали еще раз смотр камням. Фунтов 15 все же с нами поедет. Чтобы избавиться от тяжести, решили отправить по почте, как в 24 году из Коктебеля (мама тогда подумала, что мы фрукты прислали!)³⁷. Забота теперь: достать ящик и разложить все по коробочкам, чтобы не перепутать «градаций». Взяли также «аджарской земли» — *Золотого Руна*. Когда ее смочишь, из золотисто-розовой она становится вишнево-малиновой. — А вчера говорили весь день почти о ритмическом жесте и об эвритмии. Что дает в понимании стиха (интонации) то и другое. Б.Н. заинтересовался возможностью пронизать стих космическими жестами зодиакальных и планетных фигур 1) в конце строчки и 2) в паузах). Дать этим стиху некий космический фон. Он спрашивал также, чем следует руководствоваться при выборе той или иной буквы слова для передачи его в эвритмическом движении? Настаивал на необходимости выбирать ударные. Прочел: «Роняет лес багряный свой убор»³⁸. Я сказала, на чем останавливаюсь. Он удивился. Тогда показала на опыте, — и его и свои. Он признал, что в движении мой выбор дает лучшее впечатление. Задумался. И не успокоился до тех пор, пока не нашел для себя «рационального» (теоретического) объяснения. Сам смеялся, называл себя педантом и рационалистом. Но: «Я понять тебя хочу»³⁹ — это его одиннадцатая заповедь, кажется. Было уже совсем светло, когда мы разошлись. — Сейчас бьет 12 часов. Наступает любимый день мой в году. Вдали мерно и тяжело бьет море. Металлический звон приглушенных литавр... И снова, и снова. Хоть бы минуту затихло. — По газетам: кругом нас грады и ливни.

24/VI

Ясно, солнечно. Прибой продолжается. Не захотелось спуститься к морю в этот скрежет. — Б.Н. сел за Блока. Очень не хочется ему читать эту лекцию. Столько раз уже говорил о Блоке. — Неожиданный гость: двоюродный брат Б.Н., живущий всегда в Чакве⁴⁰. Очень хорошая встреча. Жаль, что раньше не знали. Интересуется темой культуры. А для Б.Н. это — «хлебом не кор-

ми...» Услышали от него интересную вещь: он имел случай беседовать с археологом, случайно попавшим на остров Пасхи, считающийся остатком древней культуры атлантов. Это была ученая экспедиция. Буря прибила их к острову. Появились местные жители. Они показали прибывшим совершенно чудесные вещи. Между прочим: особенно приготовленные деревянные шлемы (дерево разных сортов с металлическими прослойками-инкрустациями). Надевая их, человек получал возможность видеть и слышать на далеком расстоянии. Но предупреждали, что надевать опасно: можно заболеть. Любопытство все же превозмогло. Кто-то из приехавших ученых надел шлем. С его сознанием стало твориться что-то странное: замелькали далекие, неясные образы, послышались обрывки слов, звуков, и поднялась сильная головная боль. Интереснее же всего, что потом этот остров исчез и больше не существует. *Se non e vero*⁴¹...

25/VI

Цихис-Дзири — апельсинно-красные земли... с вами прощаемся. Едва ли когда-нибудь я вас увижу. По обычаю ходим сегодня «прощаться» со всеми любимыми местами. Золотой тихий вечер. Роскошь цветущих холмов. Ароматы. Сидели на лавочке под кедрами, слушали шум хвои. Почти не говорили. Охватила задумчивость. Глубоко внизу синим золотом горело море. Между нами и ним точно бросили роскошно расшитые складки темно-зеленых ковров. — На минуту спустились и к морю. Вблизи оно было также прекрасно, но неприветливо. — А ночью — в последний раз здесь сиял нам Юпитер. И мы, присев на ступеньках веранды, тихо говорили о пережитом и о предстоящем. — Последний вечер, как и первый в каком-нибудь месте, всегда несет в себе грусть. Невольно совершается какой-то просмотр, идет точно подведение итогов. Одни интересы должны отступить, чтобы могли появиться другие. Вечер отъезда всегда поднимает вопрос: Во что же ты едешь? Что там тебя ждет.

Тифлис

27/VI

Тифлис — это радость, это легкость, несмотря ни на что. И Тифлис — всегда хорошо. В чем точно прелесть этого города? «Вот бы пожить где!» — общий наш вздох. В Тифлисе все нравится, все гармонично. — С вокзала прямо к З[арун] К[арапетовне]. Она приготовила нам прекрасные комнаты: Б.Н. на улицу,

мне — окном на веранду с моей любимой китайской мимозой. Встретила крайне любезно — слишком даже любезно.

28/VI

Первая лекция Б.Н. (Читатель и писатель)⁴². Публика отнеслась хорошо. Зал реагировал живо. Слова доходили. Но Б.Н. был недоволен. Ему так не хотелось вообще выступать. Жалко было терять укрытость своего первого посещения. Сразу — люди, знакомства, встречи. После лекции спаслись в нашем кафе, до которого нас провожала — Т[абидзе]⁴³. Она очень милая. Много рассказывала о Есенине. Он с нею дружил. Есенина здесь вообще хорошо вспоминают. Поняли в нем настоящее что-то сквозь всю раздерганность и хулиганство.

29/VI

Обилие впечатлений. Побывали в трех музеях, ездили на авто во Мцхет, осматривали там собор и развалины (4-го века), обедали в придорожном духане с Т[абидзе] и Я[швили]. Разговоры о русской поэзии, о грузинской культуре. Поднимались в Коджоры. Неизгладимое впечатление: простор, охваченность воздухом. Серебристо-жечужные лиловатые дали, очень сухие, чуть-чуть розоватые. Кусок изумрудного озера и темный кудрявый бархат дальних лесов. Рисунок, сделанный темперой. Ни капли масла! Вернулись в 9-м часу. Но до того не устали, до того переполнены были, что дома не могли оставаться. Бродили еще по ночному Тифлису. В кафе неожиданно встретили Шкловского. Он рассказал, что в Крыму было сильнейшее землетрясение. И вдруг, сообразив, что там же близ Феодосии его семья (жена и дети), заволновался и, почти не простившись, помчался давать телеграмму⁴⁴. «Шкловский всегда так», — хохотал Б.Н. — «Шалый насквозь. Но за это-то я и люблю его!»

2/VII

Хорошо, что покончено с лекциями. Они стоили Б.Н. большого напряжения. Прекрасное отношение со стороны Союза грузинских поэтов. Они окружили Б.Н. сердечным вниманием и теплотой. Вторая лекция была на другой день после поездки в Коджоры. Кто-то сказал о нем, что он говорил, «как Савонарола». Он, правда, — «гремел»... и грошил. Еще в Цихис-Дзире его взорвал Машбиц-Веров своим предисловием к Блоку⁴⁵. «Говорят, что Блока испортили... и что я был одним из тех, кто — портил. Так не

лучше ли мне Блока и не касаться. Ведь все, что ни скажу, "иска- зительно" будет», — с этого начал. И застыл в такой паузе, что публика несколько мгновений не знала: продолжит ли он или дей- ствительно повернется и выйдет. Он стоял, опустив голову, сло- жив крест-накрест руки. Он как бы слушал и ждал в себе: какое вы- нести решение. И — точно решившись, понесся неудержимым огненным потоком: (Савонарола...) что есть творчество? и что есть «станок» поэта... Побеждающей силой конкретного знания звучало каждое слово. В интонациях была свобода и власть того, кто владеет предметом. Говорил мастер. Нет, не могу не сказать: великий мастер и великий художник. Все движения сразу окрепли и прочертились. Неповторимый его жест: повороты головы, слегка откинутой назад и крепко сидящей на шее. Что-то горделивое и мудро-спокойное, легкое и вместе с тем очень сильное. В это время речь замедлялась, и голос шел далеко из глубины, важный, неожи- данный для него баритон. На этой лекции он вообще был как-то сдержанно скуп в своих жестах. И в немногих отдельных местах лишь переходил к своей обычной динамике. — После лекции вме- сте с поэтами зашли в кафе. Ужинали в саду под деревьями. Поже- лания, тосты, беседа. — Сегодня вечером был доклад Б.Н. во Дворце Искусств (бывш. особняк Сарадж /.../) о ритмическом же- сте с разбором «Медного Всадника». Доклад прошел с большим подъемом. Слушатели были захвачены. Многие живо откликну- лись и выражали желание, если бы было возможно, работать в кружках по ритму. Никуда не заходя, поспешили домой. На другой день предстояло рано вставать. И не были уложены вещи. Б.Н. уже волновался: какая будет погода? Автомобили? Будет ли нам место? Не растерять бы вещей. — За этот приезд мы подружились с милой старушкой Еленой Филипповной, которая давала нам не любезность (фальшиво-выспреннюю), а настоящую ласку и тепло. З[арун] К[арапетовна] сильно упала в наших глазах, выявившись в мелочах не вполне симпатично. Впрочем, ей трудно живется. — Возвращались домой как-то грустно. Б.Н. жаловался, что лекции ему поперек горла, что он хочет совсем отдыхать, пугался, что по- едем большой компанией. Хотя с другой стороны и радовался, что встретил такое сердечное отношение. Победило последнее. Он не умеет раздваиваться. И если что, принимает вполне. Рябь настрое- ния была от мелких забот, которые у него связаны всегда с пере- движением. «Нет, придет ли вовремя носильщик? И как мы найдем их (поэтов) на площади? Где искать? Площадь ведь вели- ка...» Я успокаивала, что обо всем сговорились, и место указано. Но ему все это представлялось весьма неопределенным. И главное по-го-да, наша Цихис-дзирская шарада. Как ни спешили с уклад-

кой, все же она затянулась. Грустно как-то простились и разошлись по своим комнатам. Жалко было оставлять Тифлис.

[Владикавказ]

4/VII. Гранд-Отель

Вот и проехали по Военно-Грузинской дороге. Еще не улеглось, еще нет слов о ней говорить. Все, что видели до сих пор, было лишь подготовлением. — Записываю конспективно. Б.Н. дает другую картину. — Выехали из Тифлиса в 9 1/2 (а встали чуть ли не в шесть), и то едва-едва, столько было мелких задержек. Последняя из них чуть не переполнила чашу. Только что тронулись — стоп! Остановка. Табидзе выскакивает из машины и куда-то не торопясь удаляется. Б.Н. кипит: «Куда он? Зачем? Мы время теряем. Погода испортится». Его успокаивают. К счастью, появляется Тициан. В его руках огромный сноп цветов: «Б.Н., это Вам!» — передает он охапку. Тот совсем растерялся: «Голубчик, зачем Вы...» — Машина помчалась. Загэс, Мцыри, Мцхет — отрывались и падали за спину. Сейчас же за Мцхетом стали одна за другой открываться, как в медленном танце наплывая, ширясь и вновь уплывая, «долины Грузии». «Грузия прекрасна, как пушкинская строчка». «Елисейские поля!» — вырвалось у Б.Н. К Душету они развернулись таким изумрудным богатством и нежностью, что сердце горело и плакало от восторга. Душет — место, где жил мальчиком Н[иколай] В[асильевич]⁴⁶. И Б.Н. с жадностью глядел на видневшийся вдаль городок. «Ведь там жил папа!» — За Душетом начинался подъем. Горы стали вытягиваться, долины — сужаться. Зашумела Арагва. — Пассанаур. Остановка для обеда и отдыха. Тут с Б.Н. произошел случай, чуть не стоивший ему жизни. Посередине двора перед зданием гостиницы, привязанные на веревках к воткнутой в землю палке, маячили два горных медведя, по виду — ручные, без всякой ограды. Б.Н. захотел «поиграть с мишкой» и, наклонившись, стал гладить одного из них по голове, приговаривая: «Мишка, мишка, хороший!» Мишка же глухо зарычал, неожиданно охватил его ногу и стал что есть силы тянуть к себе. Счастье, что кто-то из рядом стоявших дал Б.Н. палку, которую тот попросил. Кроме того, натянувшийся на веревке ошейник мешал свободе движений. Б.Н. сильно ударил медведя по морде. Тот выпустил его так внезапно, что Б.Н. упал тут же на камни. Но это было — спасенье! А могло бы — ... страшно подумать. Во мне все заледенело, когда я увидела ногу Б.Н. в лапах у мишки. Но остальное последовало с такой быстротой, что я не успела сдвинуться с места. Когда подбежала, Б.Н. стоял уже на

ногах, был спокоен, но бледен, как полотно... До чего же мы не знаем ничего, ничего, что нас ждет, и где, и когда. Никто из поэтов этой сцены не видел, кроме Н.А.Т[абидзе], с которой мы разговаривали в конце двора, под деревьями. Другие ушли устраивать обед и помещение. — Обед и речи задержали отъезд. Б.Н. торопил, боясь, что перевал закроется тучами и мы ничего не увидим. Так и случилось. Главный хребет был невидим. — Странное чувство охватывало вместе с подъемом. Когда взлетели по отвесной стене над Млетами и понеслись к Гудауру — все стало как-то *незначительно* внешне, и — все загремело из глубины внутренней значительностью, как громом, не слышным для уха, но *слышным для глаз!* Странная аберрация восприятий, смещение органов чувств. Глаз видел очень спокойные, простые формы будто бы совсем невысоких холмов, будто бы очень простая равнина, на ней вдали небольшое селенье. А в ухе гремели органы, строились фуги, разрастался хорал. Я почти уже не понимала, что *вижу*, и что *слышу*, и слышу ли что. Дикое ощущение: я слышала глазами высоту перевала. И так же точно мне несомненно: я видела ушами огромность раскрывшихся перспектив... Это было так неожиданно бурно. Без подготовки... Б.Н. только спрашивал иногда: «Что? Что это?..» Мне все казалось, точно сквозь сон... Белый маленький крест, затерявшийся точно на русской равнине, — то крест перевала... Дальше: готика розовых скал возле Коби. Сгустившийся было сумрак вдруг осветился. Мы слетали к долине Терека. Впереди был Казбек. Я слышала возле себя разговор, восклицания. Что-то кричали по-русски и по-грузински. Я видела, как Б.Н., отмахиваясь от разговоров, точно винт вращается в воздухе: он хочет видеть все, что с боков, сзади, спереди. Сразу. — Рвануло вдруг ледяным ветром. Брызнуло солнце. Казбек... И внезапная, острая боль: казалось, раскалывается голова. Закутала ее всем, что было, теплым. Холодный ветер — яд для моей головы. — Б.Н. теребил, чтобы я взглянула: ведь это Казбек! Мы столько мечтали о нем в Цихис-Дзири. Неужели же я так и не увижу. Нужно себя пересилить... Нужно! Но я не могла. Для меня было слишком. Перевал — это все-таки перевал! Я отказывалась еще что-нибудь видеть. — Но вот мы в Дарьяльском ущелье. Что-то мягко, но сильно разглаживает мою боль... Понимаю, что открыла глаза, и сквозь них в меня льется этот покой и целенье. «Какая красота!» — вырывается точно вздох... «Да, ведь да!» — откликается тотчас Б.Н., обрадованный, что я опять ожила. Дарьяльское ущелье — ущелье ли? Не портал ли храма культуры? Тысячелетние «веки веков» отовсюду глядят на тебя. Невиданные формы зверей, окаменевших растений сплелись в баре-

льеф. Порой эти формы человекоподобны. Порой это — люди, но какой древности возраст этих людей. Ассири-Вавилония? Или еще раньше? Не Греция, и даже — не Египет. «Вот они — недра земли!» — тихо шепчет Б.Н. Вздрагиваю: как он угадал. Ведь я только что думала... — Постепенно падали сумерки. И все стало кругом, как спокойствие мягких складок зелено-серых ковров, протянутых с уходящей во мрак вышины. Впереди — огоньки. Приехали. Кончилось. В Владикавказе были в 9 вечера. Сегодня утром ходили к Тереку смотреть на Казбек. Он был открыт. Гордая сахарная голова на совершенно синем небе. Как он прекрасен... Хоть издали налюбоваться. — В два часа уехали обратно в Тифлис наши спутники; мы простились, условившись непременно еще встретиться на Кавказе. Б.Н. обещал. Было жаль расставаться. — Зашли в городской сад. Б.Н. настоял, чтобы нам сняться. Томились, пока будут готовы «моментальные» снимки. Вышли к Тереку и — увидели Казбек. Поняли, что не можем от него так просто уехать! Захотелось, как хлеба: к Казбеку, к горам. И вопреки всем планам тут же решили: поедem к Казбеку.

Станция Казбек

6/VII

Вместо просто поездки к Казбеку — очутились в гостинице здесь, где пробудем несколько дней.

См. 19/VII.

8/VII

Не успеваю записывать. *Некогда*. Пропускаю, что было эти дни (у Б.Н. записано). Сегодня Б.Н. вскочил уже в 5 утра. Не терпелось: скорее, скорее. Когда вышли, кругом все курилось. Из ущелья ползли, скользя вдоль подножий, опалово-серые змеи и тающими завитками уплывали к вершинам, где зажглись гребешки золотые. — Днем были на лекции Марии Павловны Преображенской. Она читала тут же, на экскурсионной базе, вернее — рассказывала о своих восхождениях на Казбек. Маленькая, худенькая, седая, — не верилось! 9 раз была на Казбеке. Одержима Казбеком. «Он» — для нее не «гора»; «он» — это живое существо. Чем чаще произносила она это «он», «ему», «у него» — тем это было яснее. *Он* бывает добрый и злой; *он* пускает и не пускает к себе, когда *захочет*. *Он* заставлял вернуться, когда путь почти пройден; *он* заставлял по 8 дней ждать в хижине среди вечных снегов, *он* радуется *розовыми* васильками, *желтыми* фиалками,

зеленым, как изумруд, озером, не дне которого лед. Он ловит в скрытые трещины, осыпает ледяною крупую. При 6° Цельсия на вершине *его* в самой теплой шубе чувствуешь себя раздетым. — Первый подъем — был в 1900, последний — в 1920. При втором же подъеме она поставила на вершине метеорологическую будку с термометрами и другими измерительными приборами. Они показали при ближайшей проверке минимум: —70°! «Ничего себе! Температурка!» — сжал мою руку Б.Н. и вздрогнул. Лекция была для группы студентов-китайцев, и М[ария] П[авловна] говорила с переводчиком. В промежутках, пока переводчик передавал ее слова, мы рассматривали витрины с образцами горных пород и карты горных массивов. — Китайский язык мне пришлось услышать впервые. Он поразил своей музыкальностью: это почти невоплотенный напев на растянутых последних слогах. Он гортанный, конечно, но гортанность эта летучая, легкая. Когда слушаешь, впечатленье такое, будто горло держит один постоянный звук (очень гибкий, пластичный) и вплетает его во все звуки. Звучащее древо какое-то вырастает. Что-то в таком роде*. Речь воспринимаешь как звуко-растение, приросшее к задней стенке гортани и волнуемое ветром. Впрочем, впечатление мое поверхностно. Может быть, это была просто особенность говорившего, а не *китайского языка*. — Когда лекция кончилась, было уже поздно идти куда-нибудь далеко: было время обеда. Прошлись немного по другой стороне Терека. Дорога не интересная. Скоро повернули. — В четыре, как было условлено, пошли к фотографу (настойчивое желанье Б.Н. Для меня фотография — ужас!). Снимались на фоне Шат-Горы⁴⁷. — Пошли было по дороге к Сиони. Но туман погнал нас обратно. Казбек — все так же величаво скрывался за свою завесой. И мы отправились «поуютничать» за тихими разговорами «при самоварике», который и здесь также нашелся. За дверью шумят экскурсанты, скрипят, сбегая и взбегая по лестнице, но не мешают. Даже приятно слышать там эту жизнь.

9/VII

Столько было уже впечатлений. А все еще воспринимающие способности не иссякли. — С утра сегодня не торопились выходить. Б.Н. записывал в дневник. Я писала письма. На прогулку вышли к 11. Направились в сторону Коби (Сиони). Не шли, а неслись, как на крыльях. Так легок здесь воздух, так чист. Дышать — наслажденье. Утро веселое. И нам тоже было бездумно и весело.

* Далее — рисунок.

Б.Н. восхищался горами местного камня, сложенными вдоль шоссе. Как хороши они, точно куски яркой радуги! И как хороши среди них незабудки! Крупнее и крепче наших, голубее, и сердцевина у них ярче, солнечнее. Они звучат мажором, а не минором, как наши, северные, от которых мне всегда становится грустно. Такие же бодрые, крепкие и крупные здесь колокольчики. ...Б.Н. позвал меня взглянуть на Терек и горы в лунном освещении. Опять — все новое. Массивы кругом стемнились, окрепли. И на них, как накинуты, молочно-белые, нежные ткани. То нити туманов — как дым из огромной кадьницы. Божественное курение мировых фимиамов. «Божественное» — без аллегии. Зашли в поселок. В низеньких домиках — огоньки. Перед лавчонками вывесные фонарики. Казбек закрыт. Но темное, строгое очертание его проступает сквозь радужный опал облаков. А высоко, высоко, над долиной и Терекком спокойно светила луна. Б.Н. подошел к парапету и залюбовался ее отблеском в Тереке. Но я не люблю луну над водой. Это сочетание вызывает во мне что-то тютчевское «О, страшных песен сих не пой»⁴⁸... — Вернулись опять. Оба сели записывать. Разглядывая придорожные камни, которые он называет «пиритами», Б.Н. опять вспомнил о Врубеле: «Врубель был только натуралист. А его сочли декадентом. Сочли, потому что не догадались осведомиться о натуре его... Но до чего он смягчил... до чего обезопасил эту безумную изошренность. До чего он бледнее натуры своей. Сознательно или бессознательно, но он не посмел дать всего, что несомненно же видел»⁴⁹. И мы застывали то перед одним осколком, то перед другим, третьим, десятым. Рука протягивалась: схватить! Но это не камешек с пляжа. Тут килограммы. — А кругом какой живой и мирный ландшафт. Шоссе пересекали стада овец, возвращавшихся с водопоя у Терека. По дороге мчались автомобили, скрипели телеги, тянулись линейки с дачниками, ехали верховые, шли пешеходы. И этот полный солнца, движения, жизни широкий, мирный тракт — это Военно-Грузинская дорога! До чего же она не похожа на наше абстрактное представление о ней: пустынная, дикая, мрачная. В Цихис-Дзири Б.Н. предупреждал: «Смотрите, Вы боитесь головокружений! Там будет очень опасно!» А теперь мы оба смеялись: где же опасность? Где дикость и мрачность? Под Москвою бывает мрачнее и глуше. — Пришлось вернуться, чтобы не опоздать к обеду. Казбек! как тихо и счастливо жили мы эти дни у его подножия. Слово друг верный и сильный стоял, защищая. И как беспринятно было у моря. Теперь и я знаю, что могут дать горы... Ночами, вместо яростных воев и нападений аджарского ветра, здесь начинала звучать невыразимая музыка. «Слышите, слышите

те — это горы поют. Я эти звуки знаю. Я слышал их в Альпах. И как их люблю», — сказал мне Б.Н. в первый раз, когда это услышали.

10/VII. Воскресенье

Вероятно, наш последний день на Казбеке. Вероятно, потому что неизвестно, будут ли места на машине. — В ожидании записываю пропущенное. 5/VII. Решив с вечера накануне поехать еще раз взглянуть на Казбек, зашли в автотранс, заказали машину: на 4 утра, чтобы видеть восход. В три мы уже встали. Но... ряд осложнений (со стороны автотранса), так что выехали только в 5 1/2. — При этом втором проезде впечатление от Ущелья еще больше усилилось. Время дня, освещение — все другое. А восприятие то же: земля раскрыла свою глубину и показала путь сложенья культур. Больше всего ассиро-вавилонской. Точно гигантский музей, сохранивший в витринах своих многосотсаженные куски драгоценных порталов, покрытых сплошь изображениями архаических птиц, зверей и людей. И как это бывает на памятниках древности: там нет руки, там часть головы отбита, там — остался лишь торс; а вот группа совсем безголовых, но ясно очерченных тел. Страннее же всего — это лица. Их видишь повсюду. Иногда они просто назойливо лезут в глаза и ловят твой взгляд своим таинственным, часто недобрым, часто же просто насмешливым взглядом. Станный, пристальный и вместе с тем не замечающий взгляд. Далекое, очень чуждые существа. Но целое этих орнаментов-барельефов побеждающе, благородно прекрасно.

Владикавказ

11/VII

Ночью выезжаем на Сталинград. Оттуда — на Волгу. И — может быть, если удастся — в Саров. Милые дни во Владикавказе. Легкий отдых после Казбека. И потом, мы то и дело шли к Тереку, откуда он виден. — Вчера приехали сюда на грузовике. На легковой машине так и не нашлось места. Простились с Казбеком. Вершина его курилась. «Старик занимается своими делами» — шутили мы. Уезжали с мыслью: вот бы вернуться сюда! Пожить здесь подольше. — Вечером Б.Н. читал из дневника свою запись Млеты—Гудаур. Это — прекрасно. Не могу не завидовать... Нет, конечно же, не завидую, а столько радости и счастья, что он такой. Невероятно до чего его... Вспомнили Т[рифона] Г[еоргиевича]⁵⁰. Сегодня день его смерти. Год тому назад.

Какие тяжелые были тогда для нас в Кучине эти дни... Нет, нам нужно было уехать. Хоть немножко побыть самими собой — без масок, надетых ради других. Задыхаешься в этой маске. — Навдвигается отъезд. Отвезли на вокзал чемодан. Потом писали письма. Я выходила за покупками для дороги. Особенно поискать открыток: Казбека. Меня застала гроза. Бежала скорее — знала, что Б.Н. будет беспокоиться. Нашла его встревоженным: где пропался. Готовился уже идти на поиски. Даже не мог реагировать сразу на принесенные мною открытки (на одной у Казбека — *лицо!*). — Гроза быстро кончилась. Мы успели еще побывать у Терека. Последний раз глядели на горы. Дождавшись заката, вернулись в гостиницу. Шли берегом Терека. Хороший для нас был Владикавказ. Не сравнить с безобразным Батумом. Неприятельно. Но как уютно.

...

Еще раз перед глазами проходит Военно-Грузинская дорога. И еще острее осознается *то странное*, что пережилось на перевале. Как там *просты* ландшафты. Но *простота* эта нестерпимо огромна. Такое, поистине, «горнее» величие и покой. Ощущение высоты переходит в моральное. Возникает чувство *иного*.словно переступил за черту, где обычный мир кончился. Всякая мелочь действует иначе. У Гудаура на шоссе высыпала целая толпа осетинских мальчишек и девочек. Бросали нам пучочки цветов, просили назойливо денег. Но и от них тоже веяло *странным*.словно они не живые. Без единой улыбки, с совершенно серьезными, ожесточенными грязными мордочками, в лохмотьях, со спутанными волосами, плясали они, дико ломаясь в прозрачной сумеречной тишине, напоминая маленьких демонов. «Давай дэньга! Давай дэньга», — жадно протягивали свои ручонки. А кругом — простор угрюмого плоскогорья, и по краям молчаливые, темнеющие очертанья горных вершин, чуть приподнятые над равниной. Во всем этом призрачном полусумраке единственная, бросающаяся в глаза точка: белый предмет, затерявшийся одиноко. Это и есть крест перевального камня. — После записей Б.Н. я уже не могу этого касаться своими убогими средствами.

13/VII. Вагон. Тихорецкая

Вчера весь день нас толкали и рвали. Из вагона в вагон, сквозь строй пересадок. Платформы, носильщики, толпы... То нет прямого сообщения, то нужный вагон «забронирован», и в него не пускают, то не принимают багаж. В довершение — перед Бислани разразилась гроза. Вышли под ливнем. Грустно сидели в мрачном

вокзале. Сказка кончилась. «А где-то сейчас, может быть, сияет Казбек...» Измученные, доехали до Минеральных Вод. Предстояло сидеть на вокзале с половины второго до одиннадцати ночи, ожидая поезда на Сталинград. Начали убивать время. Пошли даже в станицу. Присели на лавочке у чьих-то ворот. Вид самый мирный. Деревня. Куры, коровы, свиньи. От нечего делать Б.Н. стал наблюдать двух петухов, их переключку. Один, голоногий, черный, с голой же огненной шеей и большим гребешком, взволнованно бегал перед нами и «отругивался», должно быть, от другого, невидимого, который дразнил его издали. Петухи скрасили несколько минут ожидания. А что делать дальше? Идти за станицу — не стоит. Скучная голая степь с какими-то бородавками, означающими горы. За одной из них, как говорил Б.Н., — Железноводск. Вернулись на станцию, сидели в садике, пили чай, что-то закусывали — который раз от скуки. Одолевал сон. А прилечь было негде. Запомнится «Минеральные Воды!» Убийственный день. — Разговорились с каким-то грузином. Он спортсмен. Увлекается горами. Говорил, что в Тифлисе есть общество, где тренируются в течение всего года, готовясь к восхождению на горы. Они были уже на Казбеке, Эльбрусе. Теперь мечтают о Гималаях. Задача их — пробудить среди молодежи любовь к природе, так как только природа может дать утраченные почти силы здоровья. Он говорил с увлечением. «Это возвышает и облагораживает. Среди нас много девушек. Но они для нас просто товарищи. У нас все так чисто. Мы хотим быть как рыцари в отношении к женщине». И его здоровое молодое лицо светилось радостью и чистотой. Они поднимались на Казбек — 4 дня туда и обратно. Преображенскую знает и удивился, что она не упомянула о них: верно, из ревности. С ними было 6 девушек, а П[реображенская] не хочет верить, чтобы кроме нее кто-нибудь из женщин мог взойти на Казбек. — Сверх ожидания сели почти в пустой вагон. Удобно устроились. Тотчас же улеглись. С трех утра были на ногах, одна «посадка» (какая! едва втиснулись), три пересадки, каждая под вопросом, с полной неопределенностью места и времени. Локти, спины, корзины, мешки. От толчков и пинков временами едва не теряли сознание. Особенно оглушила эта дикая скачка после такой изумительно проведенной недели. «Точно изгнание из Эдема!» И поднималось: «Да уж был ли Казбек, Перевал, Ущелье? Не приснилось ли все...» — В вагоне было не душно и тихо. Отдыхали и готовились к Волге. Б.Н. ее еще никогда не видал. В окна — степи, — запахло полынью и полевыми цветами: родные, «медово-горькие» ароматы. Сухие, чуть терпкие. Не прянолимонная влажность Аджарии. Долго дышали ими, не отходя от

окна. Как изменились ландшафты. Ни резких границ, ни углов. Сколько глаз ни хватает, всюду волны безбрежных степей в перламутровых серо-розовых матовых красках. «Возвращенье на родину».

14/VII. Сталинград

Последний скачок над бездной: достанем или не достанем билеты на пароход? — Как изменился прежний «Царицын»... Заводы, большие новые здания, трамваи. — Сдав на хранение вещи, мы сели в один из них. Б.Н. хотел осмотреть город. Потом решил — идем к Волге! Глядел с жадностью: вот она — Волга! Насторожился. Нацелился. Молча сидели над золотым, синим простором. Меня волновали воспоминания детства. Казалось, что «узнаю»... — Вот уже мы на пароходе. Не обошлось без волнений. Каюта оказалась с «французским» окном, т.е. в сущности без окна. Под потолком глухое стекло, выходящее в коридор меж каютами. «Ничего не увидим! Вот тебе Волга! Все сорвано. Шесть дней сидеть в крысиной дыре». Для утешенья вздумали принять ванну. Но меня ошпарило (руку) кипятком из «холодного» крана. Матрос не предупредил, что сперва нужно спустить воду. — В конце концов нам повезло. После интимных переговоров с буфетным служителем оказалось, что каюта с *окном* все же есть. Быстро и весело туда перебрались. Б.Н. воспрянул. Очень старался разложить вещи так, чтобы придать всему жилой вид. Разложил на столике свои папки, книги, поставил чернильницу, подальше убрал пакеты и свертки. Получилась уютная комната. — Когда вышли на палубу — завечерело. За пароходом бежал золотой лунный блеск. Берега потемнели. «Вот какая она... Сразу не скажешь... Нехорошо: прожил почти всю жизнь, а Волги не знаю...» Мимо плыли плоты — целые деревни с огоньками и хатками.

15/VII

Солнечный, ветренный день. — Б.Н. начал что-то записывать. — Ночью проехали Саратов. 12 лет прошло со дня смерти Коли³¹. Невольно расплакалась. Сквозь слезы рассказала Б.Н. обо всем, что тогда было. Как умел, он меня успокаивал.

16/VII

Не пишется. И к тому же как-то грустно мне сегодня. Без внешних причин. Просто с души поднялось точно облачко. — Хорошо, что Б.Н. так увлечен Волгой. Изучает. Знаю в нем это: все

внимание собрано, направлено на предмет наблюдения. Сейчас для него важно понять: что такое Волга. «Хорошо мы знаем историю запада, древности. А вот русской — не знаем совсем». Говорим пренебрежительно: не было такой истории. Так ли? Не значит ли это лишь то, что наше сознание отлагает в себе, как историю, только рельеф, так сказать, положительный. И неспособно схватить ее в рельефе же, но отрицательном. Так мы видим кавказский хребет: Да! это горы! И не видим тех воздушных горных цепей, которые врылись в почву русской равнины. — Берега покучнели. Появились заводы. Долгая остановка у цементного завода. Грохотали нагруженные бочки, катившиеся с горки на пристань в небольших ручных тележках, которые совершенно исчезали под тяжестью пузатых чудовищ. За тележкой, словно догоняя ее, бежит рабочий, весь осыпанный мягкой белой пылью. — Сбоку возле мостков суетился маленький пароходец. Он хотел сдвинуть огромную барку, наполненную рабочими, возвращавшимися домой. Пароходец кипел, суетился ужасно: прискакивал, отскакивал, дергал веревку, толкая чуть не носом неуклюжую барку. Она колыхалась — и только. Пассажиры сидели спокойно: видно, не в первый раз. — Стемнело, когда мы отчалили. Скоро палуба опустела. Стало опять тихо. Не хотелось в каюту.

17/VII

Совсем прохладно. Очень ветрено. Появились белые гребешки. Прошли Сызрань. Много отмелей. Стало больно за Волгу. Неужели эти красивые, желтые звери перегрызут ее тело? — Сызранский мост. Попросили войти в каюты. Закрыли окна. — Б.Н. все строчит. Уже много листов. Целая философия Волги. — К вечеру стихло, но еще больше похолодало. Б.Н. оделся, вышел и сейчас же стал звать меня через окно из каюты. «Какие краски, какие шелка!» Берега опять стали красивее. На воде серо-розовые, чуть зеленоватые отблески. — В девять причалили к Самаре. Сходили на берег: опять за тем же — хлеб, сахар, ягоды. Принесли свежей душистой малины. Попросили в каюту чай. Спустили на окна занавеску и «зауютничали». О Самаре сразу забыли. Начались воспоминания: Казбек, Перевал... Непременно еще к ним вернемся. Который раз перебирали все в памяти. «Я всегда говорил, что горы... Море — не то, совсем не то». И хотя я не возражала, он продолжал убеждать: «Горы... горы — не море!» — Чтобы освежиться, вышли на палубу. Где-то вдали был пожар. На небе полыхал розовый отсвет. Но было очень холодно, так что мы почти вбежали обратно. — Пароходная жизнь не мешает.

Пассажиры тихие, не очень культурные. Мы ни с кем не разговорились. И не хотелось, да и не с кем. Изредка поднималась игра на пианино. Репертуар: вальс Годара, Травиата, Аида и т.д. Даже была песенка, которую в детстве Б.Н. слышал в исполнении тети Кати⁵², на что А[лександр] Д[митриевна]⁵³ морщилась: «Фи! Какое старье ты играешь!» — Зато ни одной ноты фокстрота. Обратила на это вниманье Б.Н. Он подхватил и принялся вспоминать Берлин, Свинемюнде, свое «фокстротное время»⁵⁴. «Странно, что так бы и мог там остаться, доживать свою жизнь на углу Аугустинерштрассе, ходить каждый день в какой-нибудь Патценхофер или Берлинеркиндль, дружить с Negg director'ом»...

18/VII

На рассвете проехали Жигулевские горы. Б.Н. спал. Вышла одна посмотреть. После Кавказа — и видеть-то нечего. Красивые лесистые холмы, обрывы... Да и холод погнал меня. — Среди дня потеплело. Потянуло на палубу. Б.Н. то сидит неподвижно, то задумчиво ходит. Глаза неотрывно вбирают. Потом идет — и строчит, строчит. — Прочла Дюамеля «Дневник Святого»⁵⁵. Очень скучно. Рассудочно. И безнадежность какая. Нет воздуха. Задыхаешься. Или привыкла я к вечно бьющему ключу жизни в Б.Н. А тут все серо, серо и серо. Какая-то сплошная: «Оставь надежду навсегда». С досадой бросила книгу. Просила Б.Н. почитать что-нибудь. И отдыхала: живые слова, полные смысла, освещающие светом синтеза всякую мелочь. — На закате вдали показался Симбирск. Проехали под кружевным легким мостом. — Как декорация прочертилась на небе. Тонкий рисунок: церкви, сады, крыши домиков. С нетерпением ждали, когда причалим. Хотелось «удостовериться» в чем-то. — Остановка на час. Тихий, благостный вечер. Сошли. Поднялись по высоким мосткам. Пустынно. А впереди еще дальше мостки. Задние двory каких-то строений. А города нет никакого. Спросили, где же здесь лавочки? Хотели достать малины, которую очень любит Б.Н. Нам показали вниз, налево. Вскоре увидели палатку кооператива. Возле толпа. Махнули рукой, «гиблое дело!» — Возвращаясь обратно, попали в разгар погрузки. Вереница рабочих тянулась непрерывною лентой. Ругань, крик, толкотня. Нужно было зорко следить, чтобы не ударила тяжесть. Со всех сторон бочки и длинные связки металлических труб. — Б.Н. впился в лица рабочих. Не замечал и не видел кругом. Застыл на самом проходе. Его нельзя было оторвать от худого высокого старика с впалою грудью, с большой, спутанной бородой, с остатками на голове какой-то форменной

фуражки. К счастью, старик с своей ношей шел на пароход. Мы за ним. В самую гущу. Над головами летели какие-то ящики. С боков толкали и тискали. Сгибались и разгибались спины, сбрасывая свой груз. Связки железных трубок свистели над ухом, взлетая одним концом в воздух и падая в черную пасть люка. В тусклом свете фонарей все как-то призрачно расплывалось. Наконец я взмолилась: «Уйдем! Ушибут!» — «Нет, нет, поглядите: какой труд! Какой труд!» — Когда поднялись и сели на пустой тихой палубе, то долго молчали. Темная Волга чуть слышно плескалась о борт. — «Вот мы здесь сидим... Удобно. Спокойно. А там... А старик-то какой! Видели?..» — Незаметно отчалили. Поплыли опять берега. Теплая, тихая ночь... Мы бродили по палубе. Присаживались. Шли снова бродить.

19/VII

С утра — жара. Стало душно. Волга все так же прекрасна. На остановке долго следили за чайками: какое изящество — в движениях, в раскраске. — На палубе стало вдруг оченьлюдно. Уселись со всякими снедами. — Запишу из пропущенного.

6/VII

Гармоничный, наполненный день. Все шло на редкость удачно. Старичок извозчик, с которым условились накануне о поездке (на Казбек), явился вовремя. В 5 часов уже тронулись. Хорошее лицо его, которому мы вчера доверились, — не обмануло. Он (Семен Захарович) тоже к нам расположился. Ни за что не хотел ехать без того, чтобы мы напились у него чая. Мы возражали, что потеряем время. Но он успокаивал: уже все готово, «старуха» ждет и обидится, если проедем мимо. Пришлось согласиться. Въехав на дворик, мы действительно увидели под деревьями покрытый скатертью стол с кипящим самоваром и всякою снедью. «Старуха» встретила очень радушно, но без суеты. За чаем С[емен] З[ахарович] не умолкая рассказывал о местных нравах, о годах революции, об ингушах, осетинах. Настоящая хроника. Б.Н. слушал с большим интересом, иногда прерывая вопросами, от которых старик еще больше распалялся. Получалась «Илиада» какая-то. Чувствовалось, что он несется на волнах неукротимой фантазии. И сам уже не различает, что было, что не было. Все же сквозь «гомерические» размахи можно было угадать основу реальности. — Он попросил позволения взять с собой своего внука, Митю, мальчика лет 12-ти, который еще не бывал на Казбеке. «Ну, конечно же да! Славный мальчик!» — поспешил отозваться Б.Н.

— День был на редкость. Солнечный, но не жаркий. «Илиада» развертывалась не умолкая. Набеги, разбои, обвалы, коварство буйного Терека («Возьмет и смое! Башню, мост, кусок берега. Ему что...»), наступления и отступления красных и белых. — Показывал нам след, оставшийся на горах от самого страшного обвала в 1830 году. Нагромождения тысячепудовых камней, хаос обломков величиной с двух-трехэтажные зданья. «Это все Терек тащил сюда и набросал». — «Нет, что же было, когда совершался весь этот ужас. Ведь это же бред. Представить только себе, что такие громадины неслись, точно мелкие гальки... Ведь это же должно было реветь мировыми какими-то ревами...» — «Да, да», — вдохновлялся С[емен] З[ахарович], — «говорят, слышно было за тысячу верст... Едут в степи. Небо ясное... а оно гр-гр... И гу-удит! Что такое... А это у нас-то — обвал!» Он был, верно, художник в душе. И Б.Н. действовал на его воображение. А вокруг развертывалась панорама Ущелья: яркая, праздничная, нарядная и веселая. Пиры — красок, рельефов, форм, перспектив. Тона светлые, легкие: серо-бисерные, вишневые, розово-золотые, зелено-бронзовые... Снова ахнули перед роскошью гобеленов, на фоне которых Тамара поставила свою башню. Вся красота здесь в них — в драгоценных коврах и порталах — не в маленьком, рядом с ними почти невзрачном утесике, где прилепились остатки бывшей стены. — Под замком, в тесной осетинской сакле был наш привал. Совсем разбойничий притон. Закоулки, проходки, стены. Грязновато. Нас провели в чистую комнату. После света и яркого солнца — серенький полусумрак. Оконца грязные маленькие. Не без опаски присели: блохи! С[емен] З[ахарович], не замечая наших сомнений, бодро носился туда и сюда. Налаживал самовар и закуску. Он был все в том же восторженном состоянии. Скоро и мы освоились с обстановкой. На столе закипел самовар. И мы «зауютничали» с С.З. и Митей. С.З. угощал нас домашним хлебом и яйцами. Мы его — баранками, черешнями и шоколадом, которого он никогда еще не пробовал. Попросил разрешения отвезти кусочек «старухе». Самому ему очень по вкусу пришлось. — Опять полились его речи. Мы больше слушали. Я молчала совсем, а Б.Н. вставлял иногда замечания, после которых С.З. закипал, точно стаканчик содовой, в которую бросили кислоты. — Наконец тронулись. Ехали медленно: подъем здесь крутой. Только — до чего же не мрачно Дарьяльское Ущелье. До чего не страшно! Величие, сдержанность, строгость — все это есть. Но подавляющего, угнетающего — ничего. Напротив: оно возвышает, уносит. Лик очень древней земли глядит отовсюду сотнями «умных», загадочных глаз. Как проработана вся композиция. «Какой во всем тонкий вкус!» —

Подъем становился все круче. Шли часто пешком. Останавливались: рассмотреть то, другое. Оглядывались, вертели во все стороны шею. «И я-то с вами всю голову отвертел!» — восторженно хохотал С.З. Он не отставал от Б.Н. ни минуты и совершенно забыл о лошадях. На самом высоком месте, где Терек ушел далеко вниз, а скалы выросли в небо, С.З. принялся с размаху швырять вниз по отвесу большие булыжники, настойчиво требуя, чтобы мы глядели, как они, свергаясь, отскакивают от скал, как мячи, и с грохотом катятся дальше. Он был в таком возбуждении, что, признаться, делалось жутко. Еще минута и, чего доброго, он кинет туда — для опыта — и лошадей, и коляску, и нас! Какой-то разыгравшийся горный дух! Но в «горном духе» этом было такое подкупающее детское простодушие, что при взгляде на него всякий страх проходил: «просто играет старик, потому что играет душа, потому что красота его опьянила и он не знает, чем и как на нее ответить...» — Мы совсем не заметили, как стала надвигаться гроза. До Казбека оставалось еще несколько километров. И главное, нужно было проезжать мимо одной скалы, о которой С.З. говорил, что «Упаси Господи» перед нею ничто. Она будто бы мечет в путников камни. Особенно в непогоду. И для иллюстрации рассказывал «случаи»... Хотя по-настоящему и не верилось. Но делалось неуютно. К тому же стемнело от туч, гром слышался ближе. Мы поторапливали. — ...Гроза разразилась буквально в ту же минуту, когда мы вошли на крыльцо гостиницы. Номер нас ждал (мы договорились заранее), С.З. и Митя внесли вещи. Мы простились самым сердечным образом, очень довольные друг другом. Старичок действительно оживил нам дорогу. А Б.Н. был доволен, что «почерпнул от него много сведений...» — Пока разложились и пообедали, гроза прошла. Опять стало солнечно. Часам к шести пошли на то место, где впервые решили вернуться на Казбек. — Он был ослепителен. Огромным белым гигантом врезался в фосфорически синее небо. Что пробуждал он в душе! Как скажешь словами? Мы стояли и неотрывно молча глядели, взявшись за руки. Я поняла вдруг, что могут быть «горопоклонники», что горам можно поклоняться, как и огню. А он величаво светился. И вдруг сердце рванулось. Вспомнилось все: Москва, Цихис-Дзири, томление, муки постоянной необходимости утаивать самое дорогое, большое и светлое. А он вот позвал, обласкал... Под охраной его хорошо и покойно. Благодарностью переполнилось сердце к Казбеку. Знала, что и Б.Н. переживает подобное. Он молчал. Но рука его крепче и крепче сжимала мою. Задумчиво, тихо вернулись домой. Глубокое [нрзб.] и покой... — Хотелось побыть в тишине. Закрывать глаза. И в себе пережить еще раз этот образ. — Но скоро по-

чувствовали, что не можем быть в комнате. Непреодолимо тянуло опять: идти и смотреть. Смутно вставало, что еще мало, еще что-то должно случиться. Впрочем, в этом не давали себе отчета. Повиновались одному, все побеждающему стремлению: идти и смотреть. — Запишу только факт. Это будет убого. — Мы подошли к парапету над Терекком. Был восьмой час. Тени лежали везде кругом нас. Но вершина все так же сияла. Глядела, не отрываясь, на вечный девственный снег. Солнце ниже склонялось. Тени стали отчетливее... углубились. Вдруг!.. Что-то мелькнуло в глазах... Тени переместились?.. Я вздрогнула. Что это? Что это я вижу? Лицо? И какое лицо? Слегка откинувшись, глядя в бесконечную даль по-верх всех хребтов, оно сияло в такой торжественной красоте, что... Глубокая фиолетово-синяя тень окружала впадину глаза и бежала вдоль белоснежной щеки к разметающейся пышными фирнами бороде и кудрям... Голубоватым контуром едва очерчен был нос... Сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот разорвется. Неужели же все это только «кажется»? Сказать Б.Н. Но он глубоко молчит. Помешаю, если ворвусь со своим. И потом я уже столько раз здесь говорила о «лицах»... о «глазах»... Нет... промолчу... И слышу в ту же минуту: «Смотрите, смотрите, — лицо!» Б.Н. потрясенный глядит на меня. Мы оба глядим на Казбек. И умолкаем. Начинается невыразимое никакими словами. Говорит безмолвие. — Мы внимаем ему. Кто не слышал этих речей, тому не расскажешь. Я вклеила в эти записи фотографию. Она плохая. Но в ней есть намек на то, что мы видели в славе и мощи. Отказаться, сказать, что не видели, для меня такое же безумие, как сказать, что я не видела лица Доктора⁵⁶. Есть границы сомнению. — Одно, лишь одно остается в душе: как бы хотела я сохранить и пронести сквозь всю жизнь память об этом мгновении. И как благодарна за то, что оно было. — Б.Н. записал совсем внешне все это в дневник, назвавши «виденьем Казбека». Белый старец... космический Серафим. Встретил нас на горах. — Вот о чем было в нас волнение 4-го вечером, когда мы решили поехать еще раз к Казбеку. Тогда мы знали только то, что направиться прямо в Москву — невозможно. Ничего больше. Никаких «ожиданий». Ни мыслей, ни образов. Реальное, очень простое желание: пережить еще раз красоту, мимо которой скользнули в вечер проезда Тифлис—Владикавказ. Слишком много слишком сильных впечатлений было тогда за один день. Способности восприятия были утомлены... Но все это не нужно и незачем объяснять себе. — Еще раз проходит перед глазами Военно-Грузинская дорога. Мы много обсуждали с Б.Н., как лучше в первый раз ее увидеть, в каком порядке: от Тифлиса к Владикавказу, как мы, или наоборот? И решили в кон-

це концов, что так, как мы — лучше. Более сильное, последовательное нарастание всего пути с заключительным аккордом: Казбек и Ущелье. При обратном порядке: Ущелье—Казбек—Перевал — спуск к Млетам—Пассанаур, «Елисейские поля» Грузии — все это: снижение. Кроме того: две разные вещи — подняться на перевал по отвесу над Млетами или со стороны Коби по сравнительно, конечно, пологому скату.

Так мне рисуется эта схема.

Не знаю, насколько она

правильна. Но таково ощущение — Казбек — Коби — перевал — Млеты ее в памяти. — В[оенно-]Г[рузинская] дорога заставляет усиленно работать мысль. В суете дня, в интересах «культурной» жизни мало думаешь о существе, которое попираешь ногами. Геология, правда, всегда привлекала меня (еще с гимназии). Но одно — читать. Другое совсем — видеть воочию. В[оенно-]Г[рузинская] дорога — раскрытый геологический атлас, — говоря очень трезво, но очень точно. Но как потрясает, какое моральное переживание пробуждается над этим атласом. Прохождение по слоям земли, обычно скрытым от глаз под «землицей», заставляет звучать совсем особую ноту. Скрытое в глубоких земляных недрах — все пертурбации земной коры, сломы, сдвиги, крушения, складки — здесь выступает явно для глаз. И звучит, как судорога страдания живого расплавленного существа, покрывающегося холодеющей и твердеющей оболочкой. Представить только себе, что кожа на твоём лице стала бы окаменевать и трескаться... Очень от этого было бы больно... Так и здесь боль земли проступает сквозь прекрасные формы. Это судорога страдания, пробегающая по живому лицу. — Геологический атлас можно спокойно и с интересом просматривать. Но оставаться спокойным на В[оенно-]Г[рузинской] дороге — нельзя. Нельзя видеть, как легкая Гея стверждается в Эрду (Erde), рассыпается в тегга и покорно распластывается под ногами *землей*, — впрочем, еще сохранения надежду, что дыхание воздуха и жар огня будет ей возвращено. — Я очень люблю две стихии: огонь и землю. — Где-то сказано, что всякая красота рождается страданьем. Всякое творчество есть страданье. На В[оенно-]Г[рузинской] дороге страданье костенеющей в судорогах охлажденья земли явлено нам *красотой*. Но то же — в меньшем размере — переживала я на обожженных солнцем и ветром холмах Коктебеля и в прекрасных рельефах тифлиссских окрестностей.

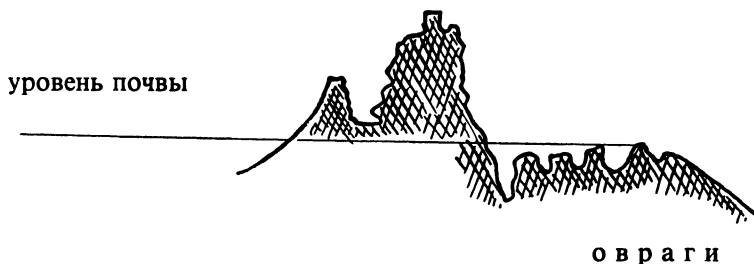
20/VII

Жаркий безоблачный день. Берега стали лесистыми. Волга сузилась. Часто меряют глубину. Пароход («Чайковский») идет

медленно. — Опять мне грустно. Вот: был Кавказ, Казбек, Волга. А приедем в Москву. Все смахнется. Появятся «К.Н.», «Б.Н.». «Извините, пожалуйста!» «Можно войти...» «Нет, силой не поднять тяжелого покрыва». — Вечер развеял смятенные души. Волга переливалась павлиньим узором расшитых шелками атласов. Впереди — золото-красные от низкого солнышка земли. Около берегов — бездонные зеленые зеркала отражали в себе все, что ни есть. Тишина проникала до сердца. «Тогда смиряются... Тогда расходятся морщины на челе...»⁵⁷ Только этим и можно ответить. Тишина углублялась. И углублялось сознание. Все стало цветом и звуком, больше ничем. В прозрачности вечера таяла предметность. Берег не берег: а сгущение цвета. Дерево не дерево — тоже сгущение цвета. И каждый — звучит по-особому. «Мы плывем точно среди Елисейских полей», — сказал Б.Н. «Это какие-то острова Блаженных». — А мне вспомнился вечер у Гори. Потому, вероятно, что впереди также горела золотая полоска заката, а отразившая в себе небо вода стала вишнево-малиновой, фиолетово-синей и ярко-оранжевой. (Страна Золотого Руна повторилась — на Волге? Возможно ли это?) — Б.Н. все строчит. Выйдет, посмотрит, задумается. И уходит к себе. Он говорит: «Так бы вот ехать и ехать!..» «Вольная Волга» — любит он произносить. Ему нравится самый звук, аллитерация. «Вольная Волга» у него распадается на две: разбойная Волга — в низовьях. «Раскольничья Волга» вверху. Стенька Разин, казачество, гнезда раскольничьи: протест против церкви и государства. Волга показывает рельеф русской истории. Он — отрицательный. Это — равнина, изрезанная оврагами. Овраг — постоянная тема Б.Н. Стоит только ему напасть на нее — он может часы говорить. В вагоне, когда мы пересекаем русскую равнину, он каждый раз поднимает ее. Доказывает горячо, что это опасность, размеров которой не видят достаточно ясно. Его университетское сочинение было об оврагах⁵⁸. Я уже и то знаю, что Докучаев⁵⁹ изучил этот вопрос. Но прежде он видел овраг только сверху. На Волге ему открылся вертикальный разрез. Он вглядывался первые дни с парохода в строение берегов.



Что-то понял. И застрочил. «Система» оврагов — это небо, опрокинувшееся в землю, прорвавшее земную кору воздушными горными кряжами. Схема соотношения приблизительно такая:



У Б.Н. это выросло в целую философию: истории и культуры. Его мысль, точно живая вода: оживляет все, на что направляется. — Как счастливо вышло, что впечатленья Кавказа пересеклись у нас с впечатлением Волги. Одно без другого неполно, — как вертикаль без горизонтали. Спрашивали себя: как лучше? Увидеть Волгу после Кавказа? Или обратно? Лучше, пожалуй, как мы. Если с Волги начать, ее не с чем сравнивать. Она может пройти незаметно. Ровности слишком привычны для нашего русского глаза. Зато, наглядевшись на горы, с особою силою переживаешь контраст. — Целые дни говорим. И ничто не исчерпано. Точно наш разговор — умножение хлебов какое-то. Ведь и в Кучине также. Не прекращается разговор. И все мало, все мало...

Нижний Новгород

21/VII

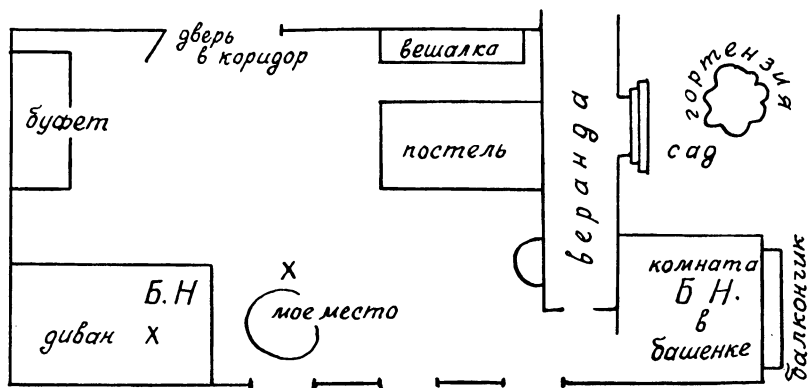
Подъезжаем к Москве. Последний этап. — Как нас ужаснула Казань. Или мы неудачно попали. Издали было красиво: стены, старые башни. А вблизи: сор, пыль, грязь, неуютность. Сплошная Анненковская квартира⁶⁰. Как там ни к чему шкафы красного дерева и обитые серым сукном тоже красного дерева кресла — так ни к чему и в Казани кремлевские башни и стены. Слишком нелепы они среди битых бутылок, безобразных ящиков традиционной александровской (III) трехэтажки. И даже не знаю еще по-

чему. Но только очень все безобразно. Второй Батум. Вспомнилось это по контрасту с Нижним. Отчего это, право, зависит? Ведь и в Нижнем — не бог весть как прекрасно. А нравится все. Пропорции нравятся. Почему этот город действует, как человек? Вызывает симпатию и антипатию в целом. Видишь: красиво. А душа говорит: нет. В другом месте видишь: ничего особенного. А сердце радуется. Все ему мило. Ведь также отвратен и безобразен для нас был прославленный Гарцбург. Неужели и с местностью есть такое же избирательное сродство, как с человеком. — Сидим сейчас в номере допотопной гостиницы — новые заняты все, и мы уже отчаялись найти что-нибудь, когда извозчик, что-то припомнив, повез нас сюда, переулками и «задами». Обстановка архаическая, такая типична была для монастырских гостиниц. За занавеской кровать — целый ковчег, диван с круглою спинкою, круглый стол перед ним, два кресла, «комод» с поломанными ящиками, но — «трюмо» между окон. А нам здесь уютно. — Четырехчасовая прогулка. Сидели на набережной. Открывалось Заволжье. Глядели, прощаясь, на милую Волгу. Скоро все это скроется. — Б.Н. бывал прежде в Нижнем у Метнера⁶¹. Водил меня с гордостью и показывал. А потом, зацепившись, пересказал еще раз — который! — всю историю с [Метнером], Ниной Ивановной, Брюсовым⁶². За Волгой зажглись огоньки, а мы все сидели.

22/VII

С утра никуда не пошли. Погода серенькая. За вчерашний день устали. А впереди — Москва. Не хотелось двигаться. В номере было тихо. За окнами самый провинциальный ландшафт: чуланчики, дворики, куры, телята и свиньи. — Б.Н. вытащил «Путеводитель»: еще раз все припомнить. И уже наметить на будущий год. Странно было глядеть на эти странички. В апреле, в Цихис-Дзири изучали их, как предстоящее. И вот — занавес опущен. Перед нами Москва. Сколько лет прошло после апреля? Два года? Пять лет? Еще больше? Разве измеряешь время количеством дней и часов. «Время переживается качественно» — утверждает Б.Н. И возникает опять: Цихис-Дзири, большой диван в моей комнате. Круглый стол перед ним. Сбоку на стуле — мое место. Место Б.Н. — на диване. На столе разложена карта. Мы — над нею склонились. Б.Н. читает по «Путеводителю», делает выписки (расписание поездов, автомобилей, названия гостиниц). Он «верит» в В[оенно-]Г[рузинскую] дорогу. Я сомневаюсь. И нарочно стараюсь слушать «абстрактно», чтобы себя не дразнить.

Цихис-Дзири.



Теперь — это только воспоминание! И невольно вспыхивают отдельные точки. Б.Н. любил на закате, перед вечерним чаем после всех прогулок еще обойти наш холм. Тащил и меня. Я отказывалась: неизбежна была встреча с кем-нибудь из обитателей. И кроме того, мне казалось, что ему хорошо так побыть одному. Одному и по-своему все оглядеть. Я любила издали видеть, как он там бродит, рассеянно взмахивая и крутя в воздухе палкою. Останавливается и точно измеряет и взвешивает вокруг себя все. А то сядет на лавочку, лицом на закат, обовьет руками колени (палка поднимется горизонтально) и думает, думает. Я сижу на веранде, пока принесут самовар. Зову его к чаю. Он приходит с какой-нибудь новостью, излагает свой разговор с О[льгой] А[лександров-ной], с Д[митрием] И[вановичем], со старушкой Ю.Ф. или новым цветком, листом, шишкой. Неизменно просит «покрепче!» Располагается с папками... Часы начинают мелькать. Дом затихает. Мы стараемся говорить шепотом. — Теперь все это звучит уже сказкой. И в ней все так светло и прекрасно. А было ведь так тяжело. — На пороге Москвы охватили воспоминания. Позволяешь себе последние часы быть самою собой. Там будешь ловить и проверять в себе каждый жест. Сейчас еще можно. Отрываясь от записей, гляжу на Б.Н. Он сложил свой портфель. Прилег на диванчик и, подложив руку под щеку, внимательно на меня смотрит. «Нужно скрепиться!» Да, нужно скрепиться! — Спешу и я кончить. Скоро придут за вещами. Уже расплатились за номер, извозчик заказан.

/.../ то тревожно грусти*. Невеселые мысли об остающихся. И неизвестное — впереди. А мы оба действительно очень устали. — Вечер прошел в разборке и укладке.

2/V. [Кучино].

Утром Б.Н. — у зубного врача. Холод. Снег и ветер. — Укладывалась. Перед самым отъездом Б.Н. — приехал П[етр] Н[иканорович]⁶³ с женой. Завтракали. Они сговаривались с Е[лизаветой] Т[рофимовной] о даче⁶⁴. Не сходятся в цене. Жаль, если им не удастся устроиться. — Вечером: окончательная укладка. И невольные мысли: как-то и во что вернемся. Б.Н. усталый, нервничает. — Сговорились с Е[лизаветой] Т[рофимовной], что он отдаст ей нужную сумму за П[етра] Н[иканоровича], не говоря тому ничего, а как будто бы просто Е[лизавета] Т[рофимовна] уступила. Уж очень хочется устроить отдых П[етру] Н[иканоровичу]; да и кроме всего, Б.Н. так обязан ему. Без П[етра] Н[иканоровича] никогда не удалось бы устроиться с изданием книг и т.д. Сам Б.Н. в этом смысле абсолютно неспособен. — Вечером в тревоге и грусти зажгли свечечки перед в[еликомучеником] С[ерафимом] и посидели тихо. Прочли Ев[ангелие]. Стало тише, спокойнее. Не оставляет нас св. Серафим. Без тебя — трудно. И так не умеем жить в том покое и силе, который должны были бы уже иметь.

3/V

Уезжаем из Кучина. Солнечно. Но ветер холодный. На станцию провожал нас Н[иколай] Ем[ельянович] и Боря с вещами. Встретили на минутку М[ихаила] Андр[еевича]⁶⁵. Он по-прежнему приветлив, но как-то странно скрывается и ускользает. — В Москве тоже: напряженность и грусть. Вечером зашли проводить: Вл[адимир] Отт[онович]⁶⁶, Петр Н[иканорович] и др. Пили чай, говорили об Армении. Марг[арита]⁶⁷ очень хвалила, рассказывала о красоте и своеобразии местности. — Перед сном посидели с Петей⁶⁸: грустно, как два растерянных ребенка, — растерянных перед судьбой. Милый, спасибо ему за все.

* Начальные страницы тетради с дневниковыми записями вырваны.

День отъезда. Зашла Даня⁶⁹ проститься. Ехали на вокзал на авто вместе с нею. Тот же ветер и солнце. Мелькали улицы Москвы...

Потом посадка в вагон. Сошло хорошо. И соседи хорошие: напротив старушка-армянка из Тифлиса. Вообще народу немного. В вагонах сыро и холодно. Пахнет карболкой. Глядим в окно на провожающих. Острая боль. Испытание длится. Но что-то уже поднялось над ним.

...Тронулись. ...Лицо П[ети] мелькнуло... Господи! Как тяжело...

К Серпухову стало по-зимнему. Сидели в калошах и во всем теплом. Снег еще не сошел и толстыми корками прилепился к краям оврагов... Читаю дневники Толстого и еще какие-то дорожные книжки.

5/V.

Утро. 6 часов. Харьков.

Встретила Аня⁷⁰. Измучена украинизацией. Стремится в Москву.

9 часов. После Харьков[а]. — Сейчас стояла у окна. Там — просторы. Холмы, хутора, перелески. И думала: вот — русская земля. И *второй* раз то же чувство (первый у себя, в моей московск[ой] конторе): измененность в любви к России. Как бы освобождение, отдаленность и даже холодность чуть-чуть. Словно из знака Льва это чувство передвинулось в знак Девы. Стоянье со стороны, и взгляд, как на что-то извне. Мое Я изменило свое отношение к русск[ой] земле. Уже не так связано с нею. Любовь не прошла. Но явилось новое чувство свободы. Нет прежней страстной и мучительной обусловленности и сплетенности с судьбой именно этой страны. Зазвучали иные, более широкие ноты. Проснулось что-то вне-сверх-народное. Что это? и почему?

Обедали в вагоне-ресторане. Запомнился повар: величественная, огромная фигура, в белом колпаке и в косынке на шее. Он вышел из своих таинственных царств и сосредоточенно сел у столика в глубине. За вечерним чаем — опять там же — бросился в глаза вид одного пассажира: высокий, в черной круглой шапочке, с прекрасным очень значит[ельным] лицом. По-видимому, армянин. Он аскетически спросил два яйца, стакан молока и тотчас же принялся за деловые бумаги. Мы поглядывали украдкой, боясь обратить вниманье. А между тем было в его немолодом уже стро-

гом лице под черной шапочкой что-то влекущее. Хотелось заговорить, узнать, что думает и о чем вообще он... Но не принято в наше время подходить так себе, ни с того ни с сего к незнакомым... А из недр снова возник «повар» и, присев у столика, испытующе исподлобья стал оглядывать всех...

В Ростове подсел рабочий: везет своих детей в Боржом, где работает сам. Семья же осталась на родине. Он стекловар. Рассказывал много интересного о своем ремесле и о быте. — Заснули рано.

6/V

Часов в 7 Минеральные Воды. Вышли. Очень прохладно. Вспоминали, как томилась здесь в прошлом году. Тот же пейзаж из лермонтовских альбомов. И для стиля: два верховых в башлыках и мохнатых шапках — скакали вдаль... Но небо серое. Грязь. Видно, были дожди. —

Едем холмистыми степями. Отчужденность от них продолжается. Вообще переживаю себя очень странно. Боль, встающая со всех сторон в моей жизни, постоянный зажим всех чувств в центре... Теперь все это покрыто, как наркотиком, сменой дорожных впечатлений. Только иногда глухо стонет сердце. Боже, дай еще мне выдержать путь моей жизни. Читаю дневники Толстого. Утверждаюсь его борьбой. Много звучит дословно знакомо. «Бес, приставленный ко мне, продолжает мучить»⁷¹ (привожу на память). «Главное — это понять, что то, чего ты хочешь избежать, как мешающего тебе жить нужной жизнью, — и есть сама эта нужная тебе жизнь, и задача, поставленная тебе именно для решения»⁷². — И мне тоже это нужно *понять*, или, как говорит Б.Н., «по-ять», взять, принять.

7/V

Около 4-х утра: Баку. Солнечно, очень холодно. Ветер. Баку какое-то чужое. И все-то мы его проезжаем, не останавливаясь. А Б.Н. даже спал.

Около 11-ти — Евлах. Перед ним уже начались прекрасные кирпично-розовые степи: — какая-то травка. На этом, порой персиковом, порой более густом фоне — серо-зеленые кусты полыни. Дальше к Евлаху пошли болота. Всюду поблескивает серая вода, камыши, вербы. Сырость. Страшно здесь жить, неуютно. Только вдаль у самого горизонта — тянутся горы. Они в облаках. Сеет дождь. Прохладно. Б.Н. сердится: «Всегда так: юг меня угощает морозом. На юге всегда только и делал, что мерз». — Около часу

— Ганжа. Дальние горы вспыхнули солнышком. Степь стала суше. Промелькала опять розоватая травка. — Говорим мало. То и дело выходим на площадку — курить. Скоро Тифлис. Складываем вещи. Последние слова со спутниками. И прощанье — может быть, на всю жизнь. Вот притифлиссские холмы. На этот раз синие в облачном вечере. Замелькали огни. — В 10 минут авто домчал нас до центра. К счастью, устроились почти сразу. Гостиница «Националь». — С дороги устали. Да и московская измученность сказывалась. Б.Н. счастливее: он может целиком отдаваться каждому настроению: будь то больной зуб, новый город или какой-нибудь человек. Тогда одна нота заполняет его всецело. Вот почему он от всего берет максимально. Во мне же всегда «тысяча думушек». Это страшный мой недостаток. Оттого-то так трудно мне сосредоточиться. Вместо одного тона — радужная пестрота тонов. Этим теряются контуры. Но это не значит, что *scharf konturiertes*⁷³ преодолено. Оно залегло в более глубоких пластах. И давит оттуда, как тяжесть. Знаю, что нужно мне поднять *konturiertes* выше, в сознание. Это и Б.Н. твердит мне постоянно. Стараюсь. Разошлись. Неуютность первого вечера на новом месте. Потерянность. Много еще непобежденного. Ищу отрешенности. Ищу себя...

8/V

С утра — солнышко. Выбежали на прогулку. Б.Н. весел. Восхищается Тифлисом. Все здесь ему нравится. — Занесли в театр книгу и записку для Гали⁷⁴, назначая час встречи. Так удачно, что наши приезды совпали. — Потом — «с визитом» к Яшвили и вместе с ним уже к Табидзе. Встретились сердечно, точно родные. В грузинах близка их искренность и доброта. И они — «дети». Это особое качество. Только оно делает мне возможным подход к человеку. С «взрослыми» быть не умею, и никогда с ними ничего не выходит. Становишься тогда натянутой, стянутой и изрекаешь «серьезным» тоном «серьезные» вещи. А в душе — смешно и противно. Возраст здесь, разумеется, ни при чем, и настоящая серьезность — тоже ни при чем. — На улице встретили опять того же Яшв[или] и Робакидзе⁷⁵. В прошлый раз его не было. Интересное лицо. Умное и волевое. Но во рту есть что-то, напоминающее В.М. Викентьева⁷⁶, да и в посадке головы. Впрочем, это лишь первое впечатление. — После обеда — почти под нами внизу в ресторанчике-кондитерской — недолго передохнули. И пошли в театр — к Гале К[иреевской]. Сговорились завтра утро провести вместе. У нее вид измученный. С нею легко и просто. Она пошла

примироваться, а мы — бродить. По дороге зашли выпить боржому. Чудная вода. Удивительно бодрит и оживляет. — Спустились к армянскому базару, заходили в какие-то кривенькие улочки. Живописно и таинственно вечером. Всюду огни, движутся фантастические фигуры. Гортанные голоса. Нестройная музыка. Глубоко вниз, почти вертикально падают ступени. Там — кабачки. Освещенные стойки с буфетом. Или — такие же крутые ступени вверх — в подобие пещеры, где та же стойка, буфет, столики. — Купили черного хлеба. Здесь с хлебом трудно. Очереди. То же с молоком, яйцами. Что это в этом году: словно пробегают какая-то тень. — За чаем, в номере с Б.Н. обсуждали возможные маршруты, рассматривали план Тифлиса. Вспоминали Петра Н[иканоровича]: сегодня генеральная репетиция его пьесы⁷⁷. Как-то пройдет? В четверг он пришел к нам прямо с заседания худож[ественного] совета, где, по его словам: «взяв авторов за ножки, били ими Мих[аила] Александровича. О пьесе даже не говорили: Ennuiseté negligible!»*. «Выдвиженцы» М[ихаила] А[лександровича] никому неизвестные. Все обрушилось на М[ихаила] А[лександровича]... Не довольно ли? — Говорила о нем в тот же четверг с В.В.⁷⁸. Она тоже обеспокоена исходом конфликта в театре⁷⁹. С 10 [до] 15 должно решиться: остается М[ихаил] А[лександрович] директором, остается ли даже в театре. Она обещала следить, в случае катастрофического обострения — предложить долгий отпуск М[ихаилу] А[лександровичу]. Ведь в таком состоянии он едва ли может дать правильное решение. Кс[ения] Карловна⁸⁰ тоже боится за него и мечтает об отдыхе. — Разошлись все же около часу, как ни сокращали своего сидения.

9/V

В десять пришла Галя. Поехали с нею в Ботанический сад. Но как-то мало обращали внимания на природу. Хотя хорошо там — по-прежнему. Вышли в армянскую часть. Сворачивали в кривые, косые улочки вверх и вниз. Запомнился один переулок — Серный. Не поймешь, где улица, где дом, а где двор. Все вляется одно в другое. Но чудесно: по краскам и формам. Потом стали искать выхода к Куре. Попали на какую-то бесконечную улицу. Шли по ней, шли... Кура бежала параллельно за рядом заборов... а подойти к ней нельзя. Так и вернулись обратно. Обедали вместе. Галя еще зашла на минуточку к нам, — простились до завтра утром. — Постучали: несколько человек: Леонидзе⁸¹,

* Скука страшная! (фр.).

Над[ирадзе]⁸² и Арс[енишвили]⁸³ хотели повидаться с Б.Н. — не вытерпели до вечера. Оставались недолго, чтобы дать Б.Н. отдохнуть. — Сейчас сижу за дневником. А он спит. Ищу тишины в себе и открытости к людям. Неразрешимая загадка «золотой середины». Как ищу ее... И постоянно ухожу в сторону... Были у Т[абидзе]. Очень хорошо, очень просто. Именно этот тон простоты был особенно дорог. Ничего внешнего. Никакой сервировки. Это не стиль Гр. или Зиг. [sic!], не стиль буржуазный. Это скорее наш кучинский стиль. Он создавал незаметный фон для беседы. Не выпячивались чашки, не слепили салфеточки. Но горели живые слова. Вопросы поэзии и жизни, проблемы ритма, культуры, истории, философии — все очень нужное. Обычай застольной беседы — необыкновенно удачная форма общения. Нет разговоров a parte⁸⁴ и нет эгоистичных замкнутых извержений à la Бердяев и К°... Интересную острую ноту внес Робакидзе. Индивидуалист, заостряющий Ницше. Он не так сердечно раскрыт и не так человечно конкретен, как его друзья. Характерны заключит[ельные] слова его речи, обращенные к Б.Н.: «видя Вас перед собой, я чувствую Вас таким же далеким, как если бы Вы были за тысячи верст. И когда Вы были за тыс[ячи] в[ерст], Вы были так же близки, как если бы Вы были здесь рядом. Встреча с Вами в этом смысле ничего не изменила в моем отношении к Вам». Как раз обратное тому, что говорили другие в прошлом и в этом году: радость именно живой встречи с *человеком* «Б.Н.», и того, что этот «Б.Н.» оказался таким близким и простым, что к прежнему чувству почтения издали прибавилось новое чувство *любви* вблизи. — Во время слов Робакидзе мы в первый раз в жизни пережили землетрясение: мгновенный вздрог, колебание почвы. Настолько быстрое, что Б.Н., внимательно слушавший, ничего не заметил. Меня же охватило знакомое страшное чувство — какое бывает во время сильной грозы: восторг перед мощью стихий. Странно, что в этом разрезе «стихийное» не страшит меня. И напротив: точно приносит освобождение. Гроза пробуждает во мне — как называют это: «Валькирию», ликующую в грохоте грома и пламени молний. Мне хочется тогда закричать победным криком Валькирии, мчащейся на коне, с копьем и щитом в грозовых облаках. Вот образ, который волнует чем-то непонятно знакомым, как если бы какая-то часть моя знала, что значит жить этой жизнью, как если бы где-то была... Валькирией. Оттенок переживания вчера был тот же. Но все прошло слишком быстро, чтобы сумела сказать о нем конкретнее. Может быть, только одно: вспомнилось так же мгновенно то место, где Д[октор] говорит о радости земли, разбиваемой в каменоломнях. Что-то от этой освобождающей радости

вспыхнуло, когда качнулся стол... «Не пугайтесь», — бросился к нам Яшвили. — Какое «пугайтесь»! — хотелось мне крикнуть... ведь это же радость... Пишу безответственно — в одном смысле. Ведь не знаю еще, как пережилось бы настоящее землетрясение. Это же был лишь слабый толчок...

Возвращались домой с Роб[акидзе]. О нем не пишу. После.

10/V

Утром долго сидели с Галей. Потом заходили к Сионск[ому] собору. Но он был закрыт. Прошли к Метехскому замку. Мрачно и грустно. Гораздо интереснее был мост через Куру с видом облепивших ее серо-желтых построек... Опять обедали вместе. Сговорились ехать завтра в Коджори. — Зашли к И.⁸⁵ Обрадовались очень. У них уютно. Но он очень устал и вид совсем больной. Изменился почти до неузнаваемости. Пили кофе, болтали. — Вечером бродили опять. Попали в глухие высокие улочки. Открылся Тифлис в огоньках. — За чаем говорили о возможности задержаться в Коджори: для отдыха и работы. Б.Н. рассказывал о приемах и способах, как он пишет. Спрашивал, заметила ли, какой кусочек «Москвы» взят из другой совсем книги и из какой? Оказалось то, что и думала: Кузнецкий мост — из Кубка мятежей⁸⁶. Может быть, мне легче было узнать это, п[отому] ч[то] в 20 году он читал мне начало своей переделки 4-й симфонии. И в кружевном блеске и мельканье снежинок «Кузнецкого», в огнях и бриллиантах витрин — прозвучали знакомые ноты. «Вообще "Москва" могла бы быть совершенно другой. Только задание Лежнева⁸⁷: авантюрный роман — дало ей эту особую динамику и создало своеобразный прием. Иначе могло бы пойти по линии "Сер[ебряного] голубя": тема Грибикова, Старуха, Смоленский, гоголевское, русское. "Авантюра" выдвинула Мандро и Коробкина... «Мне начинает хотеться писать II том "Москвы"; но он будет совсем не такой, как я рассказывал прежде. Хочу выдвинуть Киерко — вопреки указаниям реперткома о драме "Москва". К[иерко] — должен быть именно "большевик" — каким он рисуется мне...» И долго еще развивали мы эту тему. — Перед сном опять принялась за Толстого. — Как ни странно, но мало значения придаю суждению его о женщинах⁸⁸. Многое — правда. Но... что же? Разве кто из нас будет отрицать, что разум у женщины подчинен чувству? Пусть. Ведь так же у математика все подчинено числу, а у художника — образу и краске. Главное же, что Т[олстой] не сказал: что мужское и женское — лишь оболочки на человеческом. И, кроме специфического М или Ж (по Вейнингеру)⁸⁹,

можно каждый раз слышать, и слушать еще, что говорит из этого под-человек. Правда, часто, слишком часто этой третьей ноты не слышно. Но по существу она возможна. И — только в ней достоверное. Только дойдя до нее, чувствуешь удовлетворение. И напротив, замечая, как нечто определяется в тебе через Ж, испытываешь почти всегда острое страдание, стесненность, неловкость. Это — одежда Несса, прилипшая крепко и жгущая душу. Примириться с нею — трудно. Полюбить ее — тоже. И зная, что нетерпеливость и здесь: только задерживает, — все же переживаешь раздражающее нетерпение от необходимости ходить в мире в облике Ж. — Облик М, конечно, тоже не тянет. А вот «человеческое» — восстающее из двух половинок разрыва: стоит перед душой. Светлый, загадочный образ... Вот почему почти равнодушно читаю «обидные» строчки Толстого. Вот почему всей жизнью откликнулась на Д[октора], обратившегося к «человеку» в мужчине и женщине.

II/V

Прекрасная прогулка. На авто в Коджори: часа три туда и обратно. Коджори проговорило, пожалуй, еще больше, чем в прошлом году. Высота и просторы. Дали уходят раскинутыми волнами, с озером, с далекой Курой, с панорамой хребтов на горизонте. Сразу же охватывает состоянье концентрации. Видимое глазами как бы *держит* контур души в безграничном покое. Нигде не теснит, не сдвигает, не давит. И свободно, но четко летит и ширится мысль. Нечто от «пребывающего» переживается в непосредственном созерцании.

В 12 уже были в Т[ифлисе]. Вернулись к себе, простившись с Галей до завтра. Пили чай, и все больше шутили. Потом Б.Н. пошел по делам. — Интересно, что груз[инский] язык среди граммат[ических] форм имеет «абсолютное время»: ни прошлое, ни наст[оящее], ни буду[щее]... Жизнь и огонь — в нем: одно слово. Так же как добро и *действие*. — Решено, что мы едем сперва в Кутаис. Армения будет потом. Говорят, что для К[утаиса] сейчас это лучшее время. — Галя была на Мцыри. А мы, верно, так и не выберемся.

Рассказывают, что Микеладзе⁹⁰ — строитель Загэса, был тронут очерком Б.Н. и отзывом его о себе лично. Говорят, он действительно прекрасный инженер и умеет работать с людьми. 4000 чел[овек] рабочих — обожали его, несмотря на его крайнюю строгость и вспыльчивость. Никогда никаких историй, недовольств и т.д.

Погода все так же прекрасна. Не жарко, но очень тепло. Вечер провели очень интересно. Но несколько утомительно. Вместе с нами к И. [?] зашел Робакидзе. Начиная с кантовских категорий, разговор переходил ко всем областям культуры. Опять ряд интересных узваний о языке. Как полезно и важно встретиться с человеком, так живо чувствующим и, главное, осознающим первичную стихию языка. Р[обакидзе] вообще чрезвычайно интересен, несмотря на сильный налет эстетического индивидуализма. Но у него всерьез поставлена проблема о силах, движущих миром. — В промежутках узнали об изменениях в нашем маршруте. Поездка в Кутаис отложена. Там был страшный пожар, уничтоживший часть города. И ехать туда теперь непосредственно неудобно. Вместо этого Л[еонидзе] хочет повезти нас показать то место, где нам можно будет устроиться для отдыха после Армении. Это где-то в горах за Сурамом в сторону Сванетии. Как раз то, что нам нужно: полное уединение и тишина.

12/V

Почти нет сил сосредоточиться. Смена впечатлений. Утром посидела у нас Галя. Заходил Р[обакидзе]. Опять поднялся ряд острых вопросов. Одна из тем — Ницше. «Ессе Номо или Заратустра?»⁹¹ — спросил Р[обакидзе]. — «Ессе Номо» — Б.Н. — Р[обакидзе]: «Да, и мне тоже». Говорили о прямодушии и даже наивности немцев, о странной невысказываемости нас перед ними; о ритме и Маяковском, о лирике и «эпопее» и о чем еще. — Днем никуда не ходили, только спустились пообедать. Потом занялись раскладкой вещей: что брать с собой, что отложить для Армении, что оставить в Т[ифлисе]. — К вечернему чаю пришла Галя. Уютно сидели втроем. Она много рассказывала о театре, о Таирове⁹². Утомительная жизнь. Очень много приходится им работать чисто физически. — После ухода ее опять рассматривали карту: места, куда едем. Оттуда до Ани верст 40 верхом. Б.Н. уговаривает меня. Но ведь мне никогда не приходилось и на лошади-то сидеть. Он убеждает, что это «очень просто». Отговорилась, только сославшись, что без привычки мужская посадка может разбить до болезни, а на дамское седло рассчитывать не приходится. — Стараюсь жить в настоящем.

13/V

День отъезда. Пустой и одновременно занятый в пустыках. Утром за чаем неожиданно вышел разговор на биолог[ические] темы. Мне всегда была непонятна соединит[ельная] ткань в орга-

низме. Спросила об этом Б.Н. Его объяснение взворошило во мне множество мыслей. Нервы, кожа — развились из экзодермы; мускулы и соединительная ткань — из мезодермы; внутр[енние] органы — из эндодермы. Соединительная ткань — нечто аморфное, способное к изменениям, своего рода протей в организме. Она может переходить в жировые, железные и костные образования. Мышечная ткань и другие ткани органов — нечто закрепленное в определен[енный] вид. Соединительная ткань же несет в себе возможности всяких будущих изменений.

Вчера на ночь прочла у Толстого *рецепт* на случай, когда есть нехорошее чувство к человеку или событию⁹³. Выпишу, когда будет под рукой книга. Так или иначе повторяю себе в подобных случаях почти то же самое. Но у Т[олстого] дана *формула*. И кроме того, важно еще напоминание, что *и он* стоял перед теми же вопросами. — Сейчас мне дана передышка: не видеть физически того, что так трудно мне видеть. Нужно воспользоваться. И самое лучшее было бы мне: забыть о Москве. Хочу хотеть правды.

Уехали в 11. Провожала Галя. Знакомая дорога. Промелькнули огни Загэса. И все ушло в мрак. Говорили недолго. Наши спутники оставили нас вдвоем, уйдя в соседнее отделение. — На этот раз Сурамский перевал прошел незаметно. Проснулась только после него на рассвете.

14/V

Перед Шараколью те же, памятные по прошлому году, зеленые панорамы с то выступающей, то прячущейся снежной вершиной Крестовой горы. В шесть подъехали к Шараколи. Пересадка на маленький поездок. Нет тесноты и спешки. Кроме того, у П.Яшвили всюду знакомые, и все делалось, как в сказке, само собой. Въехали в живописное ущелье. Прелестное утро. Чуть-чуть свежо. Запах акации, тонкий и нежный, совсем не такой душный, как в городах. Сразу же выступила особенность этих мест: передаваемые оттенки земель: лиловые, бронзовые, желтоватые и снежно-белые. Порою казалось, что кто-то нарочно разрисовал, набросал эти краски. А внизу сбоку поезда все время бежала шумная речка Квирила — «болтунья». То и дело перелетали через мост и Квирила шумела то слева, то справа. Постепенно становилось жарко. Особенно на остановках, которых, пожалуй, слишком много. Поездок задерживался на них, то ожидая встречного, то просто растягивая время, чтобы не прийти слишком рано на следующую остановку. Наконец — Чиатуры, марганцевые копи. Горы вдруг почернели. Напомнили рыцарское вооружение или

одеянье монахов. Высокие черные кучи приготовленного для отправки марганца, машины, элеваторы. Но все это как-то стерлось наплывом природных картин. Особенно живо проговорила мне в это утро растительность. Никогда еще не ощущалась мною так ярко веселая радость «зеленого» мира, поющего в солнце какой-то невыразимо прекрасный, солнечный гимн. Сегодня вообще мне впервые открылось существо гимна, когда позднее с балкона глядели на прекрасную ширь раскинутых перед глазами перспектив... Солнце палило уже немилосердно, когда приехали в Сачхери. Здесь претерпели солнечные мытарства. Пришлось по ужасающей дороге под отвесными лучами проехать версты три. Б.Н. стало было совсем дурно. Останавливались у мельницы, где он смачивал голову холодной водой. Скоро показался и дом, куда ехали. Но было чувство, что никогда до него не добраться. Дорога крутила. Солнце жгло. Говорят, что сегодняшний день исключенье, что даже в июле здесь не бывает таких жаров. С невыразимой отрадой вошли в большие прохладные комнаты. Хозяева этого дома встретили очень радушно. Здесь жил грузинский поэт Церетели⁹⁴, очень популярный и любимый в народе. В этом доме показывают комнату, где он родился и умер. — Встретили очень приветливо хозяева дома. Высокий согнутый старик и седая подтянутая, но любезная дама — жена его. Тотчас же повели на веранду. Прямо перед глазами раскинулась опоясанная горами и покрытая деревушками холмистая даль: верст на 19. После ущелья, которым все время шел путь, от Шаракали вплоть до Сачхери — этот выход к просторам действовал как разрешение сложного музыкального хода широким аккордом. Гармония полная и совершенная. — Дальше пошел день, как все такие бивуачные дни. Утомительный и интересный. За ужином или поздним обедом нам с Б.Н. подарили рога-кубки. Разошлись рано, так как дорожная встряска дала себя чувствовать. Мне устроили вместе с хозяйкой, а мужчин разместили в огромной зале-столовой.

15/V и 16/V

Проснулась рано. В окно из-за горы лились лучи солнышка. Но пока все встали — поднялся с гор туман. Все же после чая спустились к шумливой речонке. Сразу же ахнули над камешками и набили ими карманы. Но — они абстрактны. Показывали их поэтам. Им — камешки — пустяки. Они еще видят в общем. Несколько раз уже Б.Н. пытался поднять среди них ноту конкретности. И — пока безуспешно. Они все сворачивают на Бальмонта — особенно Табидзе, и на поэтический восторг⁹⁵. Душа сознательная

в них молчит. Их культура — *Verstandes*, а жизнь — *Empfindung*⁹⁶. Пожалуй, один Робакидзе подошел к темам самосознания. Но и в нем еще это заострилось в абстракциях *Verstandes*. — Вернулись скоро, пройдя лишь немного вперед по ущелью. Стал накрапывать дождь. — Сегодня же едем обратно. Предстоит Армения. Как-то справимся с нею. Будет, пожалуй, очень беспокойно. Отстрадаем — и на отдых сюда.

День прошел почти весь на веранде. Сеял мелкий дождь. Тронулись в 7-м часу. Шли пешком, не рискуя вторично пуститься на экипаже по здешним дорогам. Подходя к станции, любовались развалинами крепости IX века, поднявшей свои стены и башни на самой вершине горы. Имя ее — «Приди, посмотри». Таков был ответ владельца этой местности, которому персидский шах приказал отдать в жены себе его красавицу дочь, услышав о красоте ее. «Приди, посмотри» — восточный ответ. «Придя», шах увидел стены крепости, возведенной за 4 месяца, пока шел ответ. Из этой крепости отец отразил нападение, и шах должен был отступить. Такие легенды слышишь здесь на каждом шагу. И чувствуешь себя во власти их образов. Переживаешь наяву какую-то сказку истории и природы. — Так шли мы в сказке спускавшихся сумерек. Кривые, каменистые улицы Сачхери, с какими-то мухovidными, крылатыми домишками: точно на тонких и длинных ногах присела большая желто-серая муха, сложив свои крылышки. Эта крылатость домов — от веранд — бросилась в глаза уже в Тифлисе, когда в вечер отъезда пошли побродить еще раз по улицам. Надвигалась гроза, и веранды, то освещенные, то темные, придавали особую легкость домам. Началось: вот-вот они взлетят в воздух или тронутся с мест. И странно, что в ту же ночь в Т[ифлисе] было довольно сильное землетрясение, заставившее жителей броситься из домов и провести остаток ночи на улице. — Мы в это время только что выехали и были, верно, между Т[ифлисом] и Мцхетой. — Возвращаюсь к Сачхери. По дороге встретили знакомую наших поэтов, подругу их детства. Вместе с мужем она занимается обработкой своего небольшого участка и ведет настоящую деревенскую жизнь. «Трудно, конечно, и скучно бывает. Днем, за работой — ничего. А вот вечерами — грустишь», — ответила она на наш вопрос. «Мне ведь приходится все делать самой не только в доме или в саду, но и в поле». Вид у нее прекрасный. Розовый нежный цвет лица, и чистота в нем не городская. Зажигались огни, когда пришли на станцию. Спросили боржоми и сели в ожидании поезда. Фантастика продолжалась. В плохо освещенной комнате возникали живописные фигуры, в рогатых повязках, в пестрых лохмотьях. — Вот и поезд. Устроились очень удобно

в мягком вагоне: чарами все того же Яшвили. В Чиатурах — узнали из газет подробности о землетрясении. Все друзья наши расстроились: каждый сообразно своему темпераменту. Жены и дети их остались в городе. А страх перед землетрясением — здесь почти мистический. — Темнота скрадывала время. Виды не развлекали. И потому обратная дорога показалась быстрее. Около часа ожидания в Шаракали. Вокзал небольшой, но чистый. Выпили боржома и закусили чудесными грузинскими закусками из кисленьких трав. Ночь — тихая и теплая. Благополучно сели в вагон. Удалось даже заснуть. Но после Михайлова стало тесно и шумно. Толкались и горланили. Весь вагон неприятно по-звериному хохотал над пошлыми шутками нищего певца; в заключение он поднял на смех проходившего мимо слепца-нищего. Тот пел что-то трагическое. Но пока первый шут не убрался, перебивая протяжные мелодии слепого своими отвратительными речитативами, — хохот не унимался. Глубокое возмущение поднималось в душе... Наши друзья не показывались. Видно, спали еще. Наконец vystупил Яшвили... К Тифлису подъехали усталые. Хотелось скорее приткнуться к месту. К счастью, в нашей гостинице оказались свободные номера. — Хорошо отдохнув, решили непредвзято посмотреть Тифлис. Сели на трамвай 2, и, встав с него на окраине близ вокзала, долго еще бродили, вышли на берег Куры, шли мимо прекрасных душистых садов, к сожаленью, закрытых, с строгой надписью: вход воспрещен. Вдалеке за горами — отсвет заката. Мягкие тени прорезали склоны холмов. Знакомая и уже дорогая картина. Вернулись трамваем в центр города. Выпили кофе. Домой не хотелось. Пошли в темноте. Оказались на Коджорском шоссе. Присели на парапете и долго смотрели на мерцанье ночного Тифлиса. Мечтали о том, что хорошо бы здесь жить. Так по душе стиль этого города. Может быть, это еще оттого, что чувствуешь себя здесь свободным от напряженности своего личного положения в Москве. — Кстати: оттуда нет известий. И уже беспокоюсь. Но стараюсь отгонять от себя тревожные мысли. Измучилась ими за год. Да и прошлое лето они отняли половину моих восприятий Кавказа, — если не больше. На этот раз хочу взять как можно больше. — Этот вечер не забуду и вида Тифлиса — не забуду. Без образов и без мыслей что-то большое вставало... и встало... А над горами, далеко, из мрака вздрагивали зарницы. И веяло оттуда космической мощью. Там совершалось горное дело. И протягивалось оттуда через ряды хребтов и долин, сюда к нам, на парапет Коджорской дороги. За спиною у нас — излом той скалы, которую про себя называю: крылом демона Врубеля. Вчера он весь возникал — серо-черный,

строгий, возвышенный. Чем? чем же веет Кавказ мне? откуда это чувство странной близости, связи, доходящее почти до «воспоминания». Возвращались серьезно счастливые и взволнованные. Шутили, что по дороге сюда был «рачок», который собрался было уползти назад. А теперь рад, что его привели и что ему показали... Дома читали газеты. Шахтинское дело⁹⁷. Пахнуло Эренбургом, трестом Д.Е.⁹⁸ Сидели, грустно переговариваясь. Вдруг — Яшвили. Зашел узнать, как чувствуем себя после дороги, взяли ли билеты, не надо ль чего-нибудь. Заговорили об Эривани, о Кахетии. Настроенье рассеялось. Посидел недолго. После ухода его Б.Н. писал письма; /.../ строчила дневник. Разошлись часам к двум. Завтра сборы и Эривань.

17/V

Итак — едем в Эривань. Но вставало недоумение: куда и к кому обратиться, что смотреть? Хотя у Б.Н. были письма и адреса, но он так не привык что-нибудь «использовать», что мы решили, приехав, сперва осмотреться самим, а потом уже только пойти, если будет нужно до крайности. Но судьба решила иначе. В двери постучали — пожилой, армянского вида человек: армянский писатель. Он-то и рассказал все очень подробно и дал очень ценные указания. Теперь уже мы знали, куда направиться, что и где спрашивать. Произвел хорошее впечатление... Пошли на почту, отправить заказное письмо П[етру] Н[иканоровичу]. И на обратном пути, на Руставели — встретили всех, одного за другим. Б.Н. смеется: где появится один голубой рог, там жди другого, и третьего, и пятого, и т.д.⁹⁹... День опять солнечный и сухой. — В восемь забираем вещи, к Яшвили, и оттуда уже на вокзал. — Все же немного волнуясь: уже очень землетрясения развелись теперь. Надеюсь, что не попадем ни в какой ужас.

У Яшвили время прошло гармонично. За чаем Б.Н. оживленно говорил с Роб[акидзе], а мне, к сожалению, участвовать в разговоре их не удалось. Р[обакидзе] стал как-то проще и мягче. Верно, тон его первого стиха был от сомненья. Он действительно много и интересно думал и думает. Его тема — Иран. Простились и сели на извозчика. Опять промелькнул вечерний Тифлис. Весь в огнях, веселый и легкий. — Обычная суета на вокзале. Но у нас были плацкарты. Устроились довольно хорошо, хотя не обошлось без недоразумений. Б.Н., принеся билеты накануне, с гордостью заявил, что он не только «достал», но достал еще два нижних места. Вышло же: что мы получили два... верхних, благодаря путанице номеров... С нами в вагоне ехали два прекрасных пса.



Любовь Столица. 1920-е. РГАЛИ.



Н.Д.Санжарь. С.-Петербург. Конец 1900-х. РГБ. Ф.266.



Н.Д.Санжарь и Б.И.Ханенко. Венеция. Середина 1910-х. РГБ. Ф.266.



Слева направо: М.Ф.Кокочкина, Ф.Ф.Кокочкин, неустановленное
лицо. 1910-е.

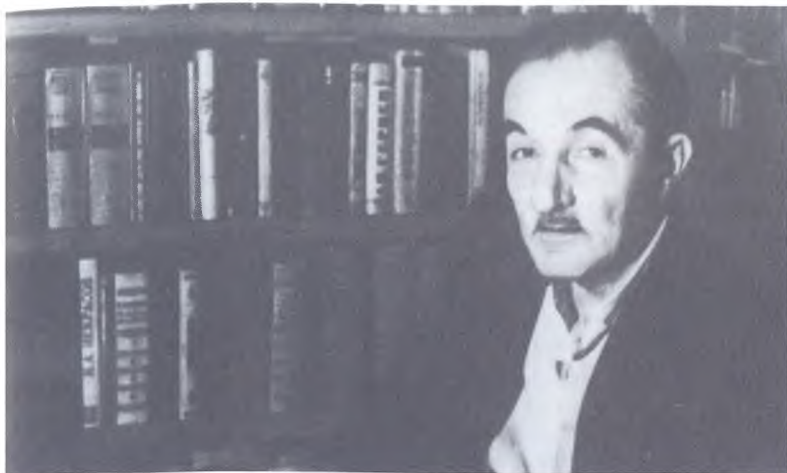


Вверху: М.Ф.Кокошкина и А.Белый; *внизу:* М.Ф.Кокошкина, А.Белый и Ф.Ф.Кокошкин. Рисунки Ф.А.Головина. Музей А.Белого (Москва).

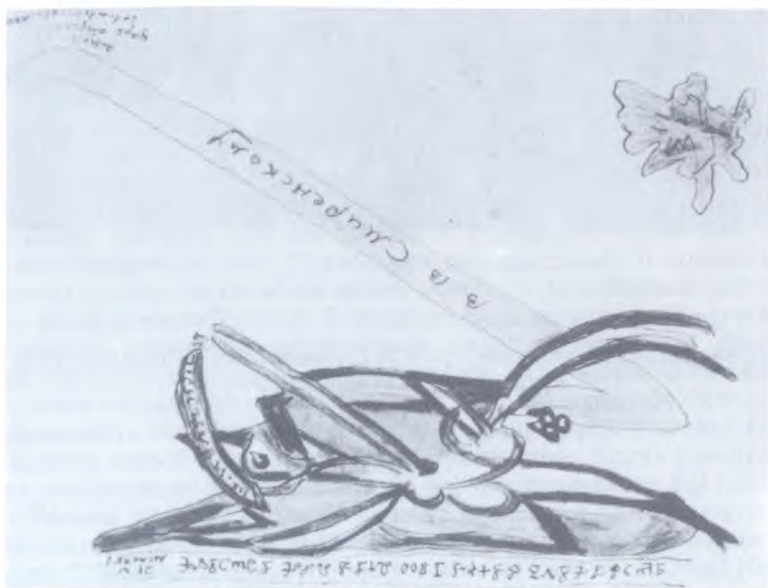




А.М.Ремизов. 1920-е. Архив В.В.Смиренского (ИРЛИ).



В.В.Смиренский. 1958. Архив В.В.Смиренского (ИРЛИ).



**Обезьянья грамота В.В.Смиренского работы А.М.Ремизова.
(Глаголицей: «Обезьяний знак 1 ст. дано для ношения. 21. V. МСМХХI».
Подпись: «Асыка царь обезьяний собственнхвостно».**



**Слева направо: Б.М.Эйхенбаум и И.Г.Ямпольский. Комарово. 1959.
Архив семьи И.Г.Ямпольского.**

Один — бульдог, со свирепо-кроткой и умнейшей мордой. Его везла какая-то военная дама, ехавшая в Ленинакан. Другой — чудесный пойнтер.

18/V

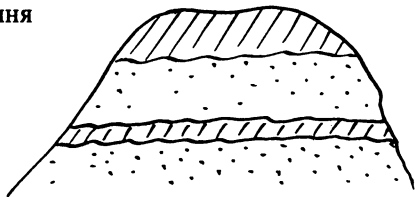
Вот и Армения. Часов в 5 Б.Н. разбудил меня. Сразу — к окну. В полусумраке повалились на нас дикие беспорядочные громады. Все разорвано, столкнуто. Какой-то жуткий хаос линий и форм. Мохнатые глыбы громоздились одна над другой, и снова валились в сумрак ущелий. Беспокойная, тревожная местность. Перегон Ахтала—Алаверды. Солнца нет еще. Синеватый полусвет. Очень мрачно. Разрыв, катастрофа. — Вспоминалась милая Грузия. Какой контраст. Почти отталкивание от этой картины.

Калагерань. — Подъезжая к ней, видели место бывшего размыва, где напором одной речонки задержалось течение другой, и вода смыла насыпь. Движение было прервано. 600 человек работали день и ночь — сменяясь. — Вблизи здесь строится Зорагэс. Шоссе на Воронцовку и Степанакан, красивейшее дачное место. — Встало солнце. Повеселело. Начинался подъем — первый по величине во всем СССР: 29 тыс[яч] верст вместо крайнего предела 8000. — Подъезжали к Шагали. Виды стали еще прекраснее. Масса зелени, перспективы ущелий, лесистых склонов. — Шагали—Бомбак: подъем непрерывный вдоль речки, уходящей все дальше и дальше вглубь. Высота над обрывом не меньше, чем в Дарьяльск[ом] ущелье. Заглянули вниз: среди огромных глыб кипела внизу река. Лорийское ущелье. То и дело туннели. Леса, но не боржомские, скучные. Все как-то весело и отрадно. Очертания гор разнообразней, богаче. Прелестные перспективы: то долина над скатом к реке, то изящная линия далей. Порой обнаженные скалы. Больше всего базальт. В полутоннелях видны следы взрывов: огромные, угловатые неправильно острые поверхности. Видно, как трудно поддается базальт. Спутник наш, инженер (ехавший со своей собакой на охоту), говорил, что обычная обработка неприменима к базальту. Обтес каждого камня слишком дорог. Применяется способ расплавки его электричеством. Тогда размягченная глыба принимает какие угодно формы, годные для постройки. — Подъем продолжается. Появились безлесные горы, выступили снеговые — почти на одной с нами высоте. Сразу вся пышность ушла. 7,20 утра. Левая сторона все же еще сохранила леса. Но — много базальта и туфа, известняка и снегов. Очертания смягчились. Склоны — как лапы, зеленоватые когти которых процара-

пываются сквозь верхние почвы. Там в глубине чувствуются их мощные каменные массивы. 7,35. Караклис. Горы — амфитеатром. Снег с вершин не сошел. Совсем близко, т[ак] ч[то] можно хорошо рассмотреть извилины снежных оврагов. — Тронулись. И сразу: чудесное измененье. Окончательно скрылись все буйства. Очертания стихли, стянулись. Стали суше, сдержанней. Благородные волны векового покоя, просторы и музыка линий. Что-то от Коджори и окрестностей Тифлиса. На горизонте все так же мелькают снега. Порой, разорвав цепи гор, выступают снеговые гряды. Высоты и дали. Оттенки — желто-розовые, за ними лиловое. Постоянная смена, жизнь гармонии красок. Старая, старая страна. На прозрачной голубоватой легкости неба поют и поют тихие величавые гимны. Нас почти жалеют здесь, что не попали на виноград. А разве то, что мы видим, не самое лучшее, старое вино — сок, вековой сок земли. Скольким раз должно было взойти и зайти над ней солнце, чтобы легли эти краски, чтобы встали эти формы. — Вдруг слева от поезда, огибающего ее, огромная желтая голова — базальт, отрезанный от своего склона голубым ножом реки. — Направо: Памбский хребет. Какие-то веки веков и престолы. Вдруг слева напротив: нежно-зеленый, струнно прочерченный (горизонтально) склон. Под ним серая деревушка с плоскими серыми крышами. А над ним дальше — те же веки веков. Впереди подбегает к нам плавно-серая гребенка над розовой лысиной. Увидели ее еще издали... Как легки, от сухости и воздуха, почти невесомы эти громады, к которым нужно закидывать голову, чтобы увидеть вершину из окна. Точно литы из воздуха, точно вздохи земли; музыкальные, глубокие вздохи один за другим. Очарован, охвачен этим горным дыханьем земли. И любовь, и нежность к этой древней, родившей и вскормившей нас всех материнской груди. Великая прапраматерь, царственная Гея... ..Над седой серой вершиной кружит орел.

9,35. Начинается временный спуск. Поезд идет быстрее. Ждем Алагеза. Очертания гор очень тонки. Не Врубель, — Чурлянис¹⁰⁰, не масло, а сепия, акварель: *Амамлы*. Вот бы где жить. Снега на вершинах. Простор. Тишина. Свет и краски. Земля.

Вновь поднимаемся. Желто-оранжевый мох на камнях. Гребешок белого камня приподнялся над глиняной россыпью склона: точно плотная крышка. То же — с желтою переборкою поперек, ниже по склону. — Снега перешли направо.



Там становится все суше и суше. Едва сухой травкой исколота сухая земля. Только левые склоны влажнеют нечастою зеленью. Говорят, что близко Зылгурский (?) туннель. — Армянская деревня — земляные постройки. Мы высоко — почти на уровне снега. Виды — сплошной Коктебель. Но безмерно огромный. Та же чистота и древность земель. Глубоким покоем отзывается в душе «лицезрение» окрестностей. Словно слышишь ритм эфирных волн. Все то же чувство: благородной воздушности земли. — Справа снега. — Внизу, недалеко от полотна, фигуры двух женщин: одна в черном вся, а другая в оранжево-красном, четко рисуются на фоне желто-сером с темно-зеленым оттенком. Вулканический туф. За *Амамлы*: медленные повороты дороги. Подъем... Вдруг снеговой великан двуровневный, Алагез (Арагац)? Так и есть. Мы его огибаем широкой дугой. Прямо на нас, глядящий в небо, прекрасный приподнятый лик. Без лба и контуров головы: глаза, нос и рот точно низлиты из воздуха. Слева он оградил себя (северо-запад) высокой черной стеной, строгий и ласковый. После узнали, что ласковый, в противоположность злой, нелюбимой горе — Арарату. Добрый Алагез питает своими снегами все реки равнины. Арарат же не отдает ни одной капли, поглощает все сам, и оттого вечно злится, кипит и волнуется, бросая то



грязью, то камнями. Проехали Калтахчи (?). Шире раздвинулся горизонт слева. Крупней очертания. Поезд медленно тащится вверх, лениво поскрипывая. Игра белых цветов и камней: не различишь, где цветок, а где камень. Направо очертания тоже стянулись и поднялись. Вместо волн уже «валы». Вот огромный, «девятый» быть может, приподнялся, «надсел» или «надвис» над полотном... И рассыпался точно: Джадзурский туннель. Мелькнули влажные глыбы базальта, и мы въехали во мрак минут на 5. Зажгли электричество. В освещенных местах видны мокрые, как губка, струящиеся влагой стены. Неуютно. В окно веет сыростью. Посередине свисток. И сразу: ускоренный ход. Загрохотали вагоны, и поезд пустился легко и свободно, словно спеша в Джадзур. — Быстро отваливаем от туннеля среди бегущих за нами гигантов. Влево — все шире простор.

10,35. Ветер прохладный и легкий. Открылся опять Алагез: седая русалка в длинных кудрях или дедушка Струй у Жуковского. Добрый и мягкий, женски-мужской. Разметался легко над равни-

ной. Один. Не стеснен, как Казбек. Весь из воздухо-света. И льется равнина под ним. От нас до него: 45 верст. Разъезд: Ортокилиса. Станционный дом на бугре над равниной (слева) с вечным видом на Алагез. Кучка людей, лестницы и террасы. Все новое, чистое. Пишем дугу. И Алагез уже справа. Ждем его у окна. А вдали налево назад, у только что правого полустанка земли «персиковые». «М[ожет] б[ыть], потому ч[то] к Персии подъезжаем», — шутит Б.Н. — Вот уже Алагез ни справа, ни слева: летим на него, через равнину. Горы убежали, присели по краям горизонта.

Ленинакан. 11,15. Какое невинное место! Все гладко и ровно — на первый взгляд. И не верится, что земля здесь тряслась так ужасно. — Когда пригляделись, особенно, когда тронулись, стали видны следы разрушенья. Груды камня, развалы домов. Не так уже невинно поглядел из-за города, к нему придвинувшись, чернотиловоый хребет. Да и плоскость равнины разорвана в провалы, овраги: — точно разбитый горшок. Вот мусульманское кладбище. Без единого кустика и цветка. Подлинный мир неживого. Коричнево-желтые ящики камней, стрелочки обелисков, белых, бирюзово-желтых и почти коричневых. Сухо, остро. Скелет. Вспомнились наши кладбища в березах, сирени, акациях, елях, с густой травой и зелеными мягкими холмиками. Кладбища запада: пышный цветник. Разное отношение к смерти, разное восприятие. Песня без слов об огромном. М[ожет] б[ыть], разница в том, что мы знаем о Пасхе, что есть у нас красные яйца и луч святой Пятницы. — Алагез еще виден. Но ракурс изменился. Не так интересен. Потянулась равнина. Б.Н. наконец отошел от окна и улегся. С 5 [до] 12-ти провели на ногах. Все виденное совершилось в сознании каким-то отрывом. Тифлис еще как-то связан с Москвой. Здесь же чувствуются уже другие законы тяготения. Азия слышится. Это — новый акт в нашем «пути». Уже где-то звучит Арарат. Еще не видно его. Но мы ждем. И в сознании он уже встал. — Переживанием вечности в смене времен веет сегодняшний день. — Отдых от впечатлений. И трудно поверить, что все это: одно только утро. Не тысячи ль лет?.. В час проехали Ахш. Напрасно смотрели в окно. Развалин не видели. Стал накрапывать дождь. Гром вдали. Потянулись снежные горы Араратской цепи. Вблизи зеленоватые груды: базальт. Всюду камни. Явно вулканическая местность. Кругом к дальним горам прилипли грозы. Оттуда гремит и сверкает... И: — Арарат! Вот он какой! Ну и огромен же. И непонятен совсем еще.

Ст[анция] Алагез. 2 часа. Сильный ветер. Гроза приближается. — Красные, черные, белые камни. Немного полыни. И все. Царство вулкана. Мертво. «О, поле, поле! Кто тебя усеял...»¹⁰¹

Вид очень странный. В глазах рябь серо-зеленого, белого, черного с красным. Не хроника культур отпечаталась в ландшафте, — а смерть их. Лунный пейзаж. Точно восьмой слой из недр своих вырван наружу, как олицетворенье своей страшной глубинной работы. — Ст[анция] *Карабурун*. Против окна сквозь ворота виден кусок двора с болтающимся на веревке бельем. Краски его: черное, белое, красное и серо-зеленое! Но ведь это цвета ландшафта. Ни один не пропущен. И даже фон: земляные постройки, без крыши, такие же стены двора — не отличишь их от почвы. Ничто не вырвано, ничто не нарушает линий и красок природы. Направо, там, где гроза, — игра тонких теней: грифельно-серых, жемчужных и черных. Черные взрывы полутуннелей глотают наш поезд. — Арарат! Все еще трудно повер[ить], что это гора. Словно планета какая в чистых линиях своего вос- или нисхождения. И с чем сравнить открывшийся здесь горизонт? Бесприютность космическ[их] сфер охватила. «Кто ты, человек?» — словно слышишь далекий вопрос сине-белых отцов-патриархов. И еще он звучит, а они от тебя отвернулись к важным делам меж собой. Шлют друг другу сине-черные свитки дождей, обвивая их молнией, пропечатывая грохотом грома. Все цвета у них «там» не земные: и воздуха, и облаков, и сгущений воды. Ни одной краски, кроме всех тонов просияний и потемнений. — Мы видели Гори: там все пылало. Здесь: призрачность *haschatajim* [?] над трупом *harez* [?].

Ст[анция] Аракс. 3 часа. Как безжизненны здесь дома станций. Словно не люди живут в них, а тени иль трупы. — Взрывы ветра и гром слышны тотчас же на остановке. — В вагоне все спят почти. Спят среди мистерии. Так и должно быть. Сознания не могут еще бодрствовать в этих местах. *Дерабант*. 3,30. — Цвета охры с черным бордюром стильное здание станции: одиноко. Возле рабочих бьет камни. И среди ветра и грома клинкает мертвенно-сухо его молоток. — За станцией вдруг побежали изумрудные бархаты пашен. Люди на них. Камни временно отступили. И конечно, сверкнула вода, плеснули белостволье, похожие на пальму местные тополи. Тут же стада, виноградники. Птицы на проводах телеграфа: бирюзовая грудь, спина розовая. При полете: крылья голубые с черной каймой. — Но сразу же, без перехода, сухо-серая степь, — серо-желто-зеленая с переливом в золотистое. — Пестрые фигуры курдов. Женщина с коромыслом. Рядом с нею два пестрых тючка: ее дети. — Среди песков картинная кучка: «курдские похороны», — поясняет сосед-эриванец. «В могилу они кладут деньги, хлеб, соль, спички — интересные у них похороны», — заканчивает он свой рассказ. — Арарат занавешен дождем — давно уже. Мы же прошли без грозы.

Эчмиадзин. 4,30. Тот же белый квадрат станционного дома. Все же рядом подобие садика... Тронулись. Потянулись сады и домишки из глины. Кучка верблюдов. Вдали: пески, облака и снега Арарата, — все слилось. Не различишь, где и что. Зато глянул 2-й Арарат. Снова пасутся верблюды. Две белых фигуры в легких чадрах. — Пожалуй и хорошо, что большой Ар[арат] от нас закрылся. Было бы на сегодня слишком уж много и сильно. Послал нам навстр[ечу] второго. — Вдруг завеса стала совсем золотой — на мгновенье. Невыносимо... Снова погасла, второй Ар[арат] едва проступает в куреньи туманов. Он точно сторож у входа в святая святых. Он дает предварит[ельное] наставленье.

Эривань.

Как водится — вокзал за две версты от города. Вихрь пыли нас охватил; все стало серым. Ехали мимо серых заборов, серых домов по серой земле под серым небом. Не без волнения все еще: будет ли номера. Первая особенность Эривани: по главной улице здесь не ездят. Движение воспрещено, потому что... по ней идут пешеходы... Такой здесь обычай. И тротуары, и середина улицы, все полно народа... Бульвар Эривани — это главная улица. ...Зданье гостиницы оказалось огромным, только что отстроенным и еще не оборудованным. Номера прекрасные, но удобств никаких. Ни буфета, ни просто горячей воды — нет. И других еще более существенных удобств тоже нет, не говоря уже о звонках для прислуги...

Помылись и пошли искать ресторан. Все интересовало, как всегда в незнакомом городе. Хотелось схватить общий стиль и особенности. Вот первое впечатленье: очень далекая от нас жизнь, с тонкой-тонкой корочкой общечеловеческого, вернее, цивилизованного. Эта корочка то и дело рвется, ломается, и тогда выступает какая-то странно незнакомая и чужая для нас жизнь. Этого чувства совсем нет в Тифлисе. Там быт проработан уже и принял в себя черты европейского. Здесь же ощущаешь себя выросшим из совершенно других условий. Даже в кафе остается то же чувство неуверенности и чуждости. А «кафе» — есть уже «язык» всего культурного мира. — Вернулись совершенно усталые, ни на что не способные. Ведь с пяти утра на ногах, от окна к окну; от одной грандиозной картины к другой. Тотчас же разошлись. Все же на ночь читала об Арарате у Линча¹⁰², Толстого несколько строк. Нужно было «найти себя». Наплыв впечатлений угнетал сознание. Москва кажется закинутой за край горизонта, в другую часть света. Все же сердце щемит при мысли о ней.

В 7 1/2 Б.Н. постучал ко мне. Чудесное утро. Зашли в кафе и потом направились к автобазе. Но тут совершенно случайно... встретили Мариэтту Шагиньян¹⁰³, которую наметили первой на пути наших розысков. И вот она с нами! В автобазе узнали часы отправления автобусов в Эчмиадзин. Потом после разных заходов попали к Сарьяну¹⁰⁴. Он сразу же очень понравился, и жена его. С ними необыкновенно тихо и просто. — Он показал нам картинную галерею и литературный отдел. В карт[инной] г[алерее] безусловно лучшие вещи его. Б.Н. пишет об этом подробно. Поэтому не заншу подробностей. В литературном отделе нам показали грамоту Эривани Екатерины и Александра I с их подписями. У А[лександра] необыкновенно витиеватый и сложный росчерк. У Е[катерины] — величественно, крупно, и на закругленном простом росчерке взбрызг пера. Показали еще старые рукописи. Есть один фолиант аршина в полтора величиной XIII в. на пергаменте. Писался три года. И другой очень старый — VI века. Поразительно персидская Шах-Наме. Тончайшие узоры и раскраска. — Устроители говорили, что вся страна в короткое время — 6-7 лет — изобилует древностями, и что им удалось собрать много ценного. Интересна идея Сарьяна: дать каждому писателю, художнику и т.д. свой отдельный шкаф, куда складывается все, связанное с ним: его вещи, книги, рукописи, карточки. Это сразу дает цельное представление и характеризует прекрасно. Живой человек встает, а не отвлеченная схема. — Мимоходом еще просмотрели отдел Ани. Прекрасные фрески, резьба по дереву, утварь и ткани. Устали и в этнографический отдел уже не пошли. — На улице охватил зной. Простились с С[арьяном], сговорившись в пять часов вместе пойти на гидрологическую станцию. Был четвертый час, когда вернулись домой. Почитали немного. И опять в путь. Прогулка была прекрасная. Зашли по дороге в худ[ожественный] техникум, познакомились с художниками и преподавателями, осмотрели классы, спустились в мастерскую, а главное: Арапат и вид с террасы техникума изумительный. — Шоссе, проведенное уже при сов[етской] власти, ведет к станции берегом Занга, который шумит далеко внизу. Дорогу то и дело пересекали ручьи. Здесь всюду бежит вода, вдоль и поперек всех улиц. Орошение и источник поливки. — Солнце жаркое еще, но уже безопасное. Шли ровным шагом, но не торопясь. Мартирос Сергеевич своей шляпочкой, палкой, своими тихими, короткими, слегка даже отрывистыми, но ценными замечаниями, удивительно, до волнения, напоминал Тр[ифона] Георг[иевича]¹⁰⁵. Бывает иногда это чув-

ство близости с людьми, которых видишь в первый раз. Оно без-
ошибочно, но очень редко. Первый признак его: с таким человеком
не страшно молчать...

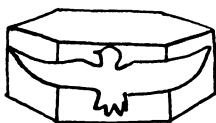
Мы описали круг: по базальтовому ущелью спустились к стан-
ции, осмотрели ее; обогнув, поднялись вверх, вдоль трубы, спуска-
ющей воду с одной стороны, и кружевного от пены цементиро-
ванного стока излишков — с другой. Осмотрев бассейн, полюбо-
вавшись видом на станцию: глубоко вниз, на противоположный
берег реки, с осыпями стен когда-то бывшей здесь крепости («Ла-
сточкина крепость»), пошли, не спускаясь, обратно верхней доро-
гой, вдоль канала, среди густых садов, по краю обрыва. Арарат
развертывал свои чудеса. И то и дело заставлял нас останавли-
ваться. Дальше начался город. Мы вступили в удивительные улич-
ки, совсем восточного вида, глинобитные стены и домики с плос-
кими крышами. От иных перспектив — опять останавливались...
«Посмотрите, какой цвет стены... Обратите вниманье на оттенок
неба... Какой прекрасный кусок стены с деревом...» — то и дело
указывал нам М[артирос] Серг[еевич]. Темнело уже, когда вер-
нулись к себе, зайдя предварительно к М[артиросу] С[ергеевичу],
который ни за что не отпустил нас без чая. Завтра Эчмиадзин.

20/V воскресенье

С утра под окнами — пионеры с музыкой, барабаном, крика-
ми «ура» проходили бесконечными колоннами... К 10-ти часам за-
ехал Сарьян: ехать вместе в Эчмиадзин и Айгер-Лич. Это сопро-
вождение обрадовало. На минуту заходила и Мар[изэга] Сергеев-
на: узнать, поехали мы или нет. Был действительно момент, ког-
да думали, что никакой машины и не будет, что даром прождали
два дня и что завтра поедем сами, совсем автономно. Кроме того,
Б.Н. боялся, что уже поздно и что нас напечет. Солнце жгло во-
всю... Машина была прекрасная и лучший шофер. Быстро мельк-
нули по улицам Эривани, мимо крепости, мечети, дворца (быв-
шего Сардара) и выехали в линию садов. С обеих сторон тянутся
бесконечные серо-желтые стены. За ними густая зелень плодовых
деревьев с тонкими легкими белоствольными здешними тополя-
ми. Издали, на фоне песков, они напоминают собой почти паль-
мы. Шофер нас спросил, не боимся ли быстрой езды, и узнав,
что нет, — припустил. Скоро вылетели на гладкую песчаную
равнину. С обеих сторон выступили два гиганта: Арарат и Ара-
гац (Алагез — испорченное название).

Первая остановка — Звартноц, развалины храма VI, кажется,
века. Раскопки еще не окончены. Но и того, что увидели, — до-


статочно. Огромная площадь круглого храма с остатками громадных глыбищ — стен, обломками капителей и барельефов, приклоненных друг к другу и образующих замкнутый круг. Капители



в форме орла, обнимающего своими крыльями три грани, или красиво загнутых корзин. Барельефы: лоза, гранаты, лавровые листья, медведь и т.д.... довольно натуралистично. Доска с клинописью — об открытии, кажется, какого-то канала. — Непосредственно рядом остатки предполагаемого храма огнепоклонников, с рядом печурок, вделанных в стены и выводными отверстиями для труб. А кругом — бесконечная сухая равнина, замкнутая с одной ст[ороны] Араратом, с другой — Алагезом, горами Севанского озера и цепями, примыкающими к Арарату... К развалинам от шоссе Эчмиадзин ведет тополевая аллея, в разрезе которой снежная парча Арарата. Она переходит в барбарисную заросль: желтые душистые цветочки и заросли дерева пшата — род оливок. Среди развалин словно сознательный художник разбросал красные огни мака, за стенами на холме — душистый чобар, очень крупный. Мы сорвали и нюхали терпкий его аромат, который как-то особенно выражал настроенье. Тишина, молчанье и вместе с тем громко звучащая речь каменных глыб. Сознание с трудом удерживалось в настоящем. А сияющий полдень, мерцание воздуха в жаре и солнце вызывали перед душой странные образы. Прошлое, вековое оживало и двигалось кругом. Прозрачные, призрачные формы и образы. Что-то шепталось, что-то слышалось. Нет — нельзя отрывать от человека историю, нельзя делать его Иваном, не помнящим родства. — М[артирос] С[ергеевич] умело и ласково руководил нашим временем. «Ну что же, идемте?..» Снова промелькнул барбарис, тополя... Машина неслась. Езда рассеивала жар, и солнце не чувствовалось...

Остановка третья (вторая — храм Рипсима, см. ниже): Эчмиадзин. О нем сказано много у Линча, о нем будет писать Б.Н. Поэтому опять заносу лишь импрессию. Мимо больших каменных зданий, через ворота крепостной-монастырской стены въехали в обширный двор, окруженный зданиями со всех сторон, — вдоль стен, как всегда в монастырях: общежитие, библиотека, музей и т.д. (хотя музей-то именно не в этом, а в другом дворе, проход к нему через ворота мимо прекрасной [нрзб.] видной чинары). В центре двора — храм — постройка 304 года, с поздней-

шими пристройками. В нем шло богослужение. Разносился сильный запах ладана, слышалось пенье (какой-то ударный речитатив почти) и орган. Кругом отдыхающие богомольцы. Тут же источник свежей, прозрачной воды. Напились из бумажного кубка — изобретение М[артироса] Серг[еевича] — и в музей. Там душно и много народа: солдаты-пограничники. Подождали, пока освободится заведующий, дававший им разъяснения... Подошел, познакомились. Говорит хорошо по-немецки, по-русски — не умеет. Зазвучала прекрасная живая речь, и «камни заговорили». Мы осматривали археологический отдел. Клинопись, дающая важный материал для экономики и социальн[ой] науки, огромные чаши дохрист[ианского] времени, памятники с языческо-христ[ианскими] изображениями (мадонна, божество с собачьей головой, знак солнца и вечности, фигура с знаком 0 в одной и молотком в другой); живопись — портреты католиков, интересные, умные лица; икон интересных нет — все больше 17 век. Золоченый иконостас и фрески — тоже 17 века. — Отсюда — в библиотеку. Огромное собрание рукописей: 7 тысяч из 30 тыс[яч], имеющих всего в мире. Инкунабулы, цветущие красками, секрет которых потеряны (растительн[ые]), сверкающими, как драгоценная эмаль, книги по медицине, романы (один — об Алекс[андре] Македонском); интересно, что почти вся древняя поэзия заключена в виде вписок на страницах старых рукописей. Монахи вписывали сюда плоды своих поэт[ических] вдохновений. Темы — гражданского и даже эрот[ического] содержания, религиозных сравнит[ельно] мало. Объяснения и вид раскрывающихся памятников старины — опьянял, как крепкое вино. Кружилась голова. Перестраивались обычные представления об истории. Выдвигался новый деятель культуры — Армения, там, где мы привыкли ставить всегда только арабов. Мне еще не ясна здесь вся установка. И трудно отказаться от того, что впитывалось годами. Б.Н. что-то спросил об арабах. Но ответ отрицательный. Арабы лишь обобщение, лишь часть исторической правды. Роль Армении — самостоятельная. Она — очаг нашего церковного зодчества и даже зодчества европейского. Все крестообразные формы церквей армянского происхождения. Болгары — армянская колония. Руководитель наш показал нам толстые монографии — немцев, конечно: что-то вроде «История армянского народа и Европа». Невольно бросается в глаза преобладание корня *ар*: Арарат, Арагац, Армения... Ардаган, Артвин, Арчеван, Ардабиль. Не хотелось уходить, столько интересного и важного слышали. И опять М[артирос] С[ергеевич] деликатно напомнил о времени. Опьяненные, переполненные, притихшие, расписались в книге для посетителей.

И дальше: в храм. Показывал монах, с красивым умным лицом и сдержанно-свободными манерами. Роспись сохранилась лишь в куполе. Стены белые, — заштукатурены осыпавшиеся краски. В центре — нечто вроде часовни, на месте видения св. Григорию Спасителю. «Здесь явился ему Единородный» — сказал монах (Сп[аситель] ударил молотком по этому месту, где и был выстроен храм); на возвышении, в нише алтарь — открытый. Иконостас был снят по приказанию католикоса (мы видели его в музее). У колонны два трона: один — подарок армян из Индии — прекрасная резьба по ореху; другой — из Турции (кажется) — перламутровая инкрустация с красивым растительным орнаментом. — Ризница: митры  (интересна форма, когда они сложены, это плоский колпак). Есть очень красивые посохи — настоящие жезлы Гермеса со змеями вместо ручки. Особенно старые: черные простые палки с змеями из слоновой кости. Другие более сложной изысканной формы. Передаю импрессию*. — Накидка на аналой, подарок кантонских армянок. Огромные чаши для варения мирра. Их три. Интересна старейшая — простой медный котел. Самая новая: огромная церковного стиля, работа московских мастеров. — Целый склад риз, самых разных цветов и оттенков; есть подарок Ек[атерины] II. Бросилась в глаза одна, пестрая, напоминающая почти татарск[ий] халат или турецкие шаровары. Зеленый фон заткан острыми пестрыми цветами. Храм снаружи — очень прост, но гармоничен. Тщательно отделана каменным кружевом лишь колокольня, — позднейшая пристройка. Невольное волнение вызывает в душе мысль, что стоишь перед созданием III века. «Еще до Макария¹⁰⁶» — тихо сказал мне Б.Н. Все, что связано с этим именем, мгновенно пронеслось... Выяснилось из всего: Эчмиадзин — это место огромного знания, очаг гнозиса. Вера — отступает. Монахи — это ученые, серьезные и глубокие, а не подвижники. Для наших ушей непривычно прозвучало «Единородный» в применении ко Христу. Этот оттенок — характерен. Лица католикосов на портретах — прежде всего умные. Христа здесь нет. Он внесен в Иисуса, в физ[ический] план. Единство воли и сущности, а не двуединство. Эчмиадзин — армянский Оксфорд. Странно, что имя его, мне, по крайней мере, — не встречалось в истории. Следовало бы почитать, чтобы уяснить себе подлинное место Армении в культуре. — Время летело, нужно было спешить. Забрав воды из источника, тронулись. Наступил критический момент: максимальный жар. Несколько минут казалось, что не выдержу. Ехали среди сухой, каменистой степи. Не быстро, т[ак]

* Далее — рисунок.

к[ак] дорога испортилась. Солнце жгло. Если бы не смоченный водою платок и не зонтик — было бы плохо. И то когда доехали до Айгер-Лич, единственной мыслью моей было: в тень! Как в мареве видела окружающее. Маленькое озерцо среди сухих обрывистых берегов, канал, станция, где стоят поднимающие вверх воду машины, приемный домик вверх, лесенка по крутому склону. Постройка еще не закончилась; всюду доски, щепки, горы строительного мусора. Присела в тени на бревно. Все еще не знала, справлюсь ли. Инженер повел Б.Н. наверх, показать приемник воды, а мы с Март[иросом] С[ергеевичем] отказались. У него тоже сердце слабое. Вскоре вернулся Б.Н. — восхищенный и возбужденный, полный сил, как всегда, когда что-нибудь его интересует. Инженер пригласил нас к себе отдохнуть. Его домик на другой стороне озера, — в пять минут доехали. Быстро появился чай, закуски, вкусный серый хлеб, яйца. Разговор пошел оживленно и просто, о «нужном», как говорим мы с Б.Н. Наш хозяин рассказывал много о работах, о трудностях, которые выступали на каждом шагу. Напр[имер], несколько месяцев приходилось работать по колено в воде, — даже в декабре. Рабочие отказывались идти в воду, боясь ревматизма. Для примера оставалось только идти самому. Есть вообще в строительных работах определенный процент обреченных на смерть, по данным статистики. 12% — неизбежно должны умереть... Охватывало невольное удивление перед тем мужеством духа, которое требуется от руководителя таких работ. Здание Айгер-Лич — по плану архитектора Туманова¹⁰⁷, того, что строил и гидростанцию. Он умел найти формы, гармонично входящие в пейзаж, а не нарушающие его, как в Загэсе. — С озером связан ряд легенд. О палке пастуха с кочевьев Арагаца, потерянной им там и найденной в Айгер-Лич. О царе Тиридате, обращенном за свои грехи в кабана, о диком жеребце, таившемся здесь в камышах и ставшем отцом для лошади Айгер — армянского богатыря, Ильи Муромца. Вода этого озера называлась в народе «проклятой» и «злой», видимо, в силу своей бесплодности для окружающих мест. Теперь эти горы нарушены. Подъемная станция выбрасывает наверх массу воды, способную оросить несколько сот, если не тысяч десятин. — Видели снимки работ и получили в подарок по одному, с подписью нашего милого хозяина. Из подписи его Б.Н. выяснилось, что это его читатель, всегда его очень любивший и теперь сердечно взволнованный личным знакомством. Удивительно, как легко и просто говорить с людьми дела. И как не протягивается ничего к пустым, пусть даже и «интеллигентным» болтунам. — Пришлось и здесь расписаться в книге для посетителей. — Было уже 4 часа, когда, сердечно простив-

шись, мы тронулись в обратный путь. Солнце уже смягчилось и ехать было легко. — Пришлось увидеть мастерство шофера. У нас лопнула шина. И в какие-нибудь 10 минут он сменил ее на другую. Мы все открыто смотрели ему под руки. Уж очень интересно было следить за рядом быстрых, хорошо координированных действий... Тронулись. И понеслись в обратном порядке виденные утром места: Эчмиадзин, Рипсимэ, Звартноц, степь, зриванские сады, мост, крепость, мечеть, собор со звездой вместо креста на главном куполе и красными флажками на малых куполах... По дороге сошел М[артирос] С[ергеевич] и ездивший с нами молодой человек, его племянник. — В номере духота. Быстро открыли окна. Усталости не было никакой. Была переполненность. Почти не могли говорить... А предстояло еще идти на вечер имени умершего недавно композитора Спендиарова¹⁰⁸. Нам любезно прислали билеты. После некоторого колебания все же решили пойти ненадолго. — Встретили Б.Н. очень любезно. Усадили нас рядом с почтенным монахом из Эчмиадзина, с живым умным лицом и большой бородой. Он оказался собирателем и знатоком миньятю. Узнав, что нас это интересует, сожалел, что его не было сегодня в Эчм[иадзине] и пригласил, если будем еще, посмотреть его коллекцию. — Начались речи: на армянском и русском. Первым говорил старейший из поэтов, читал свои стихи, потом Карганов¹⁰⁹ (автор монографии о Бетх[овене] и Моцарте), потом была музыка — квинтет Бетховена, потом Мариэтта Серг[еевна], после нее преподавательница консерватории, опять Бетховен. И прерыв. Тут мы ушли незаметно. — Зашли в кафе, побродили еще немного по улицам и домой, где застрочили...

21/V

Утром никуда не пошли, решив отдохнуть и заняться чтением и записями. Незаметно прошло время. В два часа за нами заехала Мариэтта С[ергеевна], и мы вместе отправились к ней на обед. Она живет в туземной части города. Очень мило и, по-нашему, просторно, хотя и жалуется на «лачугу». Начали обедать в саду. Но скоро прогнала нас гроза. Едва добежали до дома, как хлынул дождь с градом. ...Визит наш затянулся почти до восьми. Разговор с М[ариэттой] С[ергеевной] живой и интересный, не прерывался. Б.Н. кипел и кричал несосветимо: М[ариэтта] С[ергеевна] не слышит, и он старался, да и темы его волновали. Выяснились многие недоразумения за ряд лет. Но крик был дружеский и обоюдный. — Сестра М[ариэтты] С[ергеевны]¹¹⁰, тихая, сдержанная скульпторша, отдавшая себя теперь заботам о Мариэтте и ее де-

вочке. Мать, очень милая, бледная, с тонким лицом, огромный муж¹¹¹, добродушный и видимо добрый, но вне тем Мариэтты, ее девочка, лет 10 — неприятная, и служанка — из Вологодской губ[ернии], приятно поражающая своим вздернутым носом, белой окраской волос и бровей среди жгучих чернот местных жителей... Все вместе — легко, ничто не зацепляло... Уже стемнело. Л[ина] С[ергеевна] тихо пошла нас проводить и довела до нашей артерии — главная улица — откуда мы уже ориентироваться умеем.

Зашли на минутку в кафе. Купили нарзан — к сожалению, боржома не оказалось. Прошли знакомой уже Абовьян — нашей улицей, к себе. Опять засели. Б.Н. делал выписки из Линча. ...записывала дорожные впечатления.

Особенность Эривани: летнее время каждый день почти вихрь от 4 [до] 7, иногда сухой песок, иногда с дождем и грозой. Потом все стихает, и вечер — прекрасный. — Ветер здесь тонко свистит, совсем не как наш. Не вой, а почти человеческий посвист, мелкий, как на дудочке, или как отдаленный птичий писк. Сначала не разберешь даже, что это ветер. Кажется, точно растревожили птичье гнездо и птенцы всполошились: свистят и пищат наперебой. — Главная улица, на которой стоит наш отель, — это и есть паразитившее нас «фойе» для вечерних прогулок. В открытые окна шум голосов и шарканье ног. Предел гуляний и есть наш отель. Дальше, по-видимому, менее привлекает/.../* Старины на ней мало: несколько резных балконов, две-три ниши, столько же подворотен... Зато сразу же вбок: настоящие восточные улочки, перемежающиеся с кварталами новых домов: местного стиля, стиль ренессанс и какой-то особенный: белая штукатурка с коричнево-красной отделкой. Местный камень дает прекрасный строит[ельный] матерьял: серо-черных и мягких оранжево-бурых оттенков. Стена из него сама по себе живет красками, гармонизирующими с колоритом почв. — Вид из окна моей комнаты: на плоские крыши, веранды, дворики и сады. Много зелени. За ними вдали желто-бурые почти кладбища... а дальше совсем — Алагез. Им любуюсь всегда из окна.

22/V

Наконец удалось утром устроиться с чаем. Служитель приносит нам чайник из лавочки. Должны были идти в музей. Но пришел Я[ков] Самс[онович] с письмом от Мариэтты. План изменился. Б.Н. пошел в Наркомпрос. Но там застал лишь секретаря.

* В рукописи оторвана часть листа с последующим текстом.

Тот любезно дал указания, что осмотреть из области советского строительства: новую стройку в городе, хлопковый завод, карбидный завод и фабзавуч. Обещал дать чиновника для разъяснений. После обеда у Б.Н. были два молодых поэта: Чаренс¹¹² и Бебутов¹¹³. Нитей не протянулось. Они, видимо, ждали «речений». Но Б.Н. был деловито сдержан. — Тут же разразилась гроза, с громом и молнией. Нас поразили удары, как выстрелы. Думали: местный гром. Но М[артирос] С[ергеевич] сказал, что это стреляют из пушек, чтобы разбить тучи с градом. — За неимением открыток с местными видами Б.Н. сделал сам несколько набросков у себя из окна. Вышло неожиданно хорошо. — В семь зашел Мартир[ос] С[ергеевич] и вместе пошли к архитектору Таманьяну. Постройки его прекрасны. И все говорили, что к нему непременно надо пойти, что он расскажет много важного. — Но разговора не вышло, хотя Б.Н. старался всячески навести на интересные нам темы... так даже прямо спросила его о современной архитектуре, о красоте, о машине. И тоже, кроме односложного «да», не получила ответа. Пришлось перейти к общим темам: искусство, современность, Мейерхольд, «Ревизор», Чехов, Гамлет, искажение текста, право свободной фантазии и т.д. Все десять раз говоренное... Вечер считаем потерянным. — За день устали. Около часу легли.

23/V

В пять проснулась. К окну. Алагез весь в солнце — розовый нежно с чуть голубым. — К восьми встала. А в 9 уже подъехал за нами М[артирос] С[ергеевич]. Он должен был сопровождать нас вместо обещанного чиновника. Мы обрадовались. С Март[иросом] С[ергеевичем] очень хорошо. Есть общий ритм. За эти дни он стал близок. Без слов — говорит он очень мало. Но манера его — манера Т[рифона] Г[еоргиевича]¹¹⁴, делает его каким-то тоже давно-давно знакомым. — Уселись на извозчика. Он повез нас в верхнюю часть города, сейчас же за нами: осматривать новые здания. Накрапывал дождь. Воздух ароматный и легкий. Не то, что в Батуме. Нет той мучительной влажности. Перебрасываясь короткими замечаниями, тихо двигались дальше. Любовались все Араратом. Сегодня он синий. А горы кругом вычерчиваются темным бархатным контуром на серебристо-оливковой дымке далеких хребтов, серебящихся снегом. — Вот выезд из города, мимо стен старой крепости, мохнатых, клопастых. Обломки их напоминают чудовищных львов в чудовищных позах. Кое-где видны еще следы башен-бойниц. Но все валится и обсыпается пылью и глиной. — Ровная дорога пересекала равнину. Вдоль

— ряд отстроенных и строящихся зданий. Крайняя группа — наша цель: хлопкоочистительный завод. Въехали в обширный двор, загроможденный тюками. Появился и здесь инженер. Оказалось, что знает Б.Н.: в 1907 году встречались... в Париже!¹⁵. Начался показ. Увлекательный. Одно за другим развивался ряд действий, сливаясь в картину прекрасного целого. Б.Н. пишет подробный отчет. ...Ограничусь импрессией. В первый раз видела перед собою «завод». И должна сказать, что впечатление огромное. Вот он: «рабочий труд». Органически цельно разворачивалась стройная симфония действий. Это тоже можно сравнить с оркестром. Каждый инструмент ведет свою мелодию. Одни засыпают, другие следят за очисткой, третьи закладывают под пресс, четвертые вновь очищают, пятые жарят, шестые закладывают в салфетки, седьмые несут огромные «пирог» золотистого цвета под пресс, далее вынимают, — отдирают салфетки, складывают в стопки, — взвешивают и т.д.д. Но... ведь это изо дня в день, из месяца в месяц... И здесь приходится ставить к слову «труд» прилагательное «тяжелый». Тяжелый в своем упорном однообразии, в своей настойчивости. Нельзя упускать ни минуты. Следующие механически настигают. Задержка тотчас же сказывается. И вот трудность для руководителя: следить постоянно, чтобы все было вовремя. Чем дальше вел нас показывающий инженер, тем больше росло изумление. Как возможно все это? Как возможно выдержать эту впайку в непрерывно движущийся механизм, эту страшную обусловленность... Много дум вызвал во мне этот показ. Очень важных. И благодарна, что видела это... Спешу дальше. Карбидный завод. В нем центр — горящая белым огнем электрическая печь. +3000°... Без синих очков смотреть невозможно... И еще: запах. Удушливый, тяжелый. Через несколько минут захотелось на воздух. А «они» в нем проводят года... «Ифигения, приносившая в жертву все вновь и вновь», — сказал как-то Д[октор] о нашей культуре. И вот — видела эту жертву... Чем же за нее отплатить?.. Дальше: профессиональное отделение фабзавуча. Впечатление свежести и силы. Это еще не «работа», а «школа» работы. И тонкое, но существенное различие меняет тональность. Здесь есть интерес новизны, познания. И хотя стоят те же станки и машины — но лица не те. С огромным интересом слушали мы объяснения рабочего, заведующего отделом. Простота, сила, уверенность, ясность. Точно Наполеон среди войск. Успехи за короткое время 3-6 мес[яцев] — явные. Полный курс — три года — дает законченного квалифицированного работника. М[артирос] Серг[еевич] устал до головной боли и тихо поджидал нас на фазтоне среди обширного пустынного двора, под чуть накрапывающим

дождиком. Мы же переходили из одной мастерской в другую, лестницами вниз и вверх, через двор, по двору... Голова слегка кружилась. Но было что-то заражающее в крепкой, плотной фигуре рабочего. И увлекаемые его объяснениями, мы как-то забыли о времени...

Но вот и конец. Последний рассказ о том, что еще будет, как обстроится весь двор кругом, превращаясь в своего рода монастырь, где ученик мог бы доставать себе все, что нужно, и за пределы его выходить только раз в неделю... Тронулись. Заехали по пути в столовую. Дома передохнули чуть-чуть, — звонок от Сарьяна: приглашает нас к чаю. — «Чай», как всегда. Неумолкаемые рассказы Б.Н. — слушающие молчаливо все остальные. Разговор зашел о Египте. М[артирос] С[ергеевич] принес много открыток. — Вернулись — и за укладку. Завтра отъезд. М[артирос] С[ергеевич] едет с нами. От этого спокойно и радостно. И шофер — тот же, что возил нас в Эчмиадзин: Вахо, кажется.

24/V

В пять разбудили. Холодно. Ночью шел сильный дождь. Горы в тумане. Ни Арарата... ни Алагеза... ни Гехар-Куник... Б.Н. удручен... Креплюсь. Но и самой грустно. Около семи телефон от М[артироса] С[ергеевича]: ехать ли? горы будут в тумане... И он, и Б.Н. в нерешимости. Спрашиваю: а на завтра есть ли уверенность, что будет лучше? — «Конечно, нет...» — «Тогда — едем?...» — «Как хотите...» — «Мы ждем Вас!» — что будет, то будет. Откладывать так же рискованно, как и ехать. А вещи уже сложены. И дни неопределенного ожидания — мало пленительны. — Машина подъехала. Сели: мы с Б.Н., а М[артирос] С[ергеевич] впереди с Вахо. Автомобиль прекрасный. В шофере — уверены. По Абовян, мимо университетского городка вверх, налево, направо. И вот уже Эривань внизу. Неожиданно брызнуло солнце. Стало весело. Вид сверху на Эривань, весь в садах, серебристо-зеленый в широком окружении гор. Залюбовались. И чем выше летела машина — тем шире раскидывались дали, волнуясь в знакомом нежном свечении оливково-серебристых вуалей. Арарат и Алагез — не являлись. Упорно ушли в синеву облаков. Точно и нет их... Замелькали деревни — армянские, с плоскими крышами, и русские — крыша углом. М[артирос] С[ергеевич] говорил их названия. Но не помню. В первой из них родился известный поэт Армении Абовян¹¹⁶. Слева стали расти горы Гехар-Куник — за ними Севан. Они держат его, как высокую чашу, выше всех окружающих мест. Странное впечатление — броски снега, плотно влип-

шие, — словно инкрустация на темно-зеленых вершинах. Стало холодно. Вынули и надели все, что было теплого. Уши заткнули ватой — помогает не слышать жужжания ветра от быстрой езды. Надвинулись тучи. Снизу курились туманы, царапаясь по обнаженной земле, приготовленной для посева. Дорога пустынна. Позднее — дачные автобусы взад и вперед, раза три в день, и по субботам четыре. Теперь же попалась лишь фура огромная, кажется, с рыбой севанской, повозки с пчелиными ульями, перевозимыми «на дачу», к горным цветам; крестьяне, работающие в полях, да починщики дороги. Всегда и везде на шоссе видишь в горных местах эти кучки рабочих, ковыряющих землю и засыпающих щебнем избитые впадины. Часто автомобиль осторожно огибает эти заплаты с торчащими, острыми камнями. — Налево становилось все более мрачно и дико от куренья туманов и облачных куч. Там ущелье — названья не помню. Склоны Алагеза — прекрасны и дики. — Севанские левые цепи сияют под солнцем снегами и изумрудами трав. — Мы въехали в дождь близ Еленовки. Вдали виден Севан. — Закусили в кооперативной столовой, познакомился с капитаном Севанского «флота», старым, виды выдавшим моряком¹¹⁷. И заходили: в контору, в лабораторию, в ихтиологический музей. Всюду рассказ, объяснения. Интересно. Но долго и утомительно. Б.Н. рвется к природе. Ему бы побыть одному... поглядеть, в «кодак» свой пошелкать¹¹⁸. «Да, да... да-да-да», — страдальчески стонет он на пространные речи. Работники станции все молодежь, большинство — москвичи. Очень милые. К Б.Н. почтительно внимательны. При слове «Андрей Белый» — у всех почти: вздрог... А между тем дождь все моросит. Мы на пристани ждем, пока пробуют моторную лодку: для поездки на остров Севан... Садимся, не зная, удастся ли доехать. В открытом «море», как называют здесь озеро, — могут быть сильные волны. Едем в заливе. Ветер срывает верхушки с волны и бросает на нас. Очень свежо. Но воздух чист, вода прозрачна. Дымки дождя фантастически смягчают все контуры. Вот и пристань. Описывать остров не буду. По старой, обложенной ржавым камнем дороге, среди золота лютиков и незабудок поднимаемся к двум старым церквям. Красота их и наше волнение заставляют затихнуть. Слов нет перед величием этой святыни, так беззащитно брошенной на разрушение.

...Вошли в первый храм. Капитан тоже с нами. В нише остался алтарь с прекрасной решеткой иконостаса. Тихие, печальные своды. Веет строгостью, очищающим душу молчаньем. В нем слышатся словно молитвы, много лет, и за много лет до нас, возносимые здесь... Второй храм: расписанный красками — и какими!

— иконостас. Драгоценность весь сверху донизу. ...Спускаемся ниже — проходя через дверь, в смежное помещение «старой» церкви. Там огромные деревянные колонны из цельных столбов с прекрасной резьбой капителей, — почти черной от времени... Третий храм — еще выше, самый древний — сохранился лишь кусок алтаря, да огорож[енное] камнями место. Выходим. Вид на озеро. (Дождь перестал уже к моменту высадки). Перед нами подъем к высшей точке на острове. Б.Н., конечно: туда, с капитаном. Пошла было и... за ними. Но сильный ветер вернул меня скоро. Мы с М[артиросом] С[ергеевичем] бродили вокруг храмов. Он мне рассказывал. Приносил цветочки и травы. ...Собирала камнюшки. Иные — совсем куски старых фресок. ...Вернулись наши. Както само собой вышло, что мы приедем пожить на Севан. Капитан обещал все устроить. Он будет здесь сам, чтобы «отдохнуть душой». Внизу осмотрели постройки. Огромные комнаты. Но запустение полное. Б.Н. обещал в своем очерке указать на недопустимость такого отношения к «памятникам культуры»¹¹⁹... Капитан «в подарок» обвез нас вокруг острова. Северный склон — отвесные скалы, золото-красного камня. Высоко чернеет отверстие: грот, где спасался один из отшельников... Как мог он туда попасть?.. Южный склон — пляж, а над ним цветущий зеленый откос. У воды ряд старых ив: точно стража. Внезапно откуда-то выскочил конь. Изумленно глядел на нас, поворачивая головой и перебирая ногами. Потом, вздрогнув, помчался и стал снова как вкопанный. Мы отплывали от острова, прямо к берегу, куда из Еленовки подъехал уже наш авто. Уже издали стали видеть его, как он серенькой мухой стоял высоко на холме. Простились друзьями с капитаном и его помощником (всю дорогу мечтали о том, как мы будем жить здесь на острове). Подняли несколько камешков на берегу. И — карабкаться на гору. Б.Н. ушел вперед. У М[артироса] С[ергеевича] сердце плохое. То и дело мы останавливались: то над пауком, то над травой, то над камнем. Набила себе ими карманы пальто. Стало жарко... Наконец поднялись. К сожаленью, верх автомобиля Вахо закрыл: от дождя. Ехали берегом Севана. Как синие думы спускались к озеру горы той стороны, нисходя из густого куренья туманов, из кольца облаков. Перламутрово-серый туман. Сине-черные горы. Справа — исчерченные снегом хребты. Снег налип у дороги в отвесах. Черный, как уголь, твердый по виду, как камень, изрезанный ветром. Застывшие черные, рябые, как волны, поверхности... Дальше правый хребет отступает. На пологих скатах — куски черного бархата, пестрящая зелень трав... Бирюзовая деревня: Чубухлы. Камень для стройки берется на месте. — Подъем к Семеновке. Нарастание

справа серо-зеленых горбин. Ощущение горного. Ветер легкий, веселый. Заливаются жаворонки. Воздух звенит. — Остановились, чтобы спустить верх. Сразу нахлынули виды. Справа по склонам скользят тонкие ткани тумана. Прозрачные. Сквозь них — все как в сказке. Линии мягкие, нежные краски, чуть-чуть углубленные резью теней. Редкая зелень на склонах. Сквозь желтоватую почву прогрызается и рассыпается, как цветы, — белый камень. Тени играют. — Глянешь налево: там вниз под нами волнуется море холмов. Пятна снега вброшены в землю, как странные руды. На крае откоса: пастух в длинном халате, в высокой барашковой шапке лохматой, верблюжьего цвета. — Спереди налетают синие тени и льются по правому склону. — Назад оглянулись: Севан серо-синим куском на горизонте. Черные пашни не бархат уже, а набросанный камень — вдали. — Семеновка — впадина на высоте под горой — над горами. Самое высокое поселенье. Говорят, что едва ли не выше, чем Гудаур... Но... не верится... За Семеновкой тотчас же спуск. Заглянули и ахнули: в узкую щель: облачный занавес с неба до горных вершин. Мелкие завитки, метаморфоза колец серебристых. Несутся и тают на перламутровом фоне. Под нами каскады зеленых холмов. Летим прямо в них. Мягкими поворотами — ниже и ниже (14 поворотов). Деревья сперва были слева, потом потихоньку один, два, три... стали направо. И больше и больше их вверх побежали от нас. Под конец едем парком каким-то веселым с весенней листвой. Четыре часа. Но внизу уже вечер душистый и теплый. Солнышко, птицы. От влажной дороги на нас ни пылинки. А ветер — лишь от движенья авто. Всем нам радостно, все улыбаемся: и М[артирос] С[ергеевич], и шофер. О нас нечего говорить. Наша четверка удивительно гармонична. Мы все «понимаем» друг друга. Вахо возбужден нашим восторгом и едет на славу. Белые зубы так и сверкают, когда улыбается. Попадаются фуры: высокие, сверху на обручах кусок тряпки. Дети бегут от дороги с криком: «здорово, здорово...» Слава Богу, не просят «дэньга» — как осетинские. Под Дилижаном зачастили фургоны солдатского скарба. — Вот Дилижан: веселый, брошенный на гору коврик домов. Всюду цветы яблони, вишни. Обстали кругом мягко-зеленые шапки холмов. Правду кто-то сказал, что: «Тироль». Остановились. Обедаем в столовой. Прежде была здесь тюрьма. ...Трагедия с блюдами. Зелени нет. Мясо: какие угодно — от шашлыка до цыпленка и ростбифа. М[артирос] С[ергеевич] взял себе суп — из пшеницы и кислого молока. Вегетарьянское блюдо, очень вкусное, кисловатое. Армянская кухня. Добивались крепкого чая. Вахо от вина отказался. Дружно сидели за столиком. — Странная вещь: казалось, что все мы друзья, и

уже очень давно знаем друг друга. Это вышло как-то само собой. И Вахо вошел в нашу четверку. Будь на его месте неприятный шофер — многое было б испорчено. В своем роде он так же прекрасен, как Иван Степанов, владикавказский извозчик, — в своем. — Не стали задерживаться. И ровно в пять были в пути. — Первое время дорога напоминает своей густой порослью нижнюю нашу дорогу в Цихис-Дзири. Но за зелеными безднами, слева теперь, Севанский хребет. Огибаем его с северной стороны. Снега больше. Порой он сливается в сплошность орнамента. Вот огромный «серебряный голубь» раскрыл свои крылья. А вниз от него — что-то вроде жезла Меркурия. Меж Севанским хребтом и нами средний, лесистый хребет. — Опять зачистили фургоны с солдатами и их кладью. Куда-то все тянутся. Правая сторона сперва лесистые скалы. Потом леса прекращаются. Начинается плавный кружащийся танец голых зеленых громад.

...Грязь стала больше. Все лица у нас и стекло автомобиля забрызгало черными точками. Ряд деревень, длинных, в два ряда вытянутых вдоль дороги. Церквей нигде нет. Живут всё сектанты. Острые крыши, русские «ставни», мотивы резьбы. — В одном месте телята бестолково заняли всю улицу и в тревоге, не понимая, бежали трусцой. Пришлось тормозить. Пробка телячья мешала проехать. А жители мирно сидели кругом у ворот и поглядывали. В голову никому не пришло отогнать. Только один высокий и строгий старик поднялся, махнул палкой. Телята бросились в сторону. Поехали быстрее. — Почти жарко. Солнце прямо в лицо. Настроенье у всех нас — какое-то счастье, чистое ощущение жизни. Как сказал Л.Толстой: мы потому любим странствовать, что странствие есть наилучшее выражение жизни¹²⁰. Так как жизнь наша и есть не что иное, как странствие... Справа залег огромный зеленый дракон. Вспомнилось: Гарцовский Брокен — тоже дракон. Но скучный в однообразии своей линии. Этот же пластически вылеплен. И покрыт блеском густого зеленого плюща. Сперва морда его закрывалась от нас. И мы видели лишь огромное тело, тянувшее к нам свои лапы. Поворот — и на нас глянула невыразимая морда. Очень добрая — похожая на моржа. То и дело переезжали ручьи с мощным дном. На больших каменных плитах весело блестела вода. Стало еще грязнее. Едем в брызгах. Все блестит и сверкает от солнца и влаги. — Ветер подул. Стало прохладно. Вблизи Караклиса — лагерь. Вот туда тянулись солдатские фуры. Подъехали к гостинице. Добрый гений — М[артирос] С[ергеевич] устроил все как-то тихо. И вот уж мы в номере. Вымылись. И пошли побродить. Кривые улочки манили. Нашли было чайную с садиком. Но жаль было терять последние минуты

до темноты. — Прогулка вышла чудесная. Останавливались на каждом шагу: совсем уголки Нюренберга. Падали сумерки. Дошли до каких-то садов. Повернули. В нашу чайную на лоне природы идти не решились. Слишком страшно: грязь непролазная. И сбоку тропинки, шириной в пол-аршина вдоль самой стены — вечная здесь канавка. И при свете едва пробрались. Зашли в более «культурное» место. И долго сидели. Разговор легкий. Все больше короткие фразы. М[артирос] С[ергеевич] действует успокоительно. И Б.Н. при нем затихает. Вошел инженер. Оказалось: заведующий Дзорагэсом. Познакомились. Он предложил, если будем еще здесь, поехать к нему на работы. — Под дождем возвращались домой. По дороге купили лаваш, мой любимый, тонкий, как лист. — Скоро все четверо ехали на вокзал с грустной мыслью, что кончилось что-то хорошее. М[артирос] С[ергеевич] до конца позаботился обо всем: достал носильщика и плацкарты. Простились с горячим желанием встретиться. Не могу еще разгадать, о чем та нескрытая грусть, которую слышишь в М[артиросе] С[ергеевиче].

...Остались одни. Поезд опаздывал. Выяснилось, что вместо 11 уедем в 2 1/2... От сильного ливня прерван путь у Ленинанкана. Позднее узнали, что вода поднялась на аршин над полотном. Откуда? Ведь только что ехали там среди сухостей и камней. Кавказ всегда стремителен и неожидан. Б.Н., который с уверенностью «предсказывает» погоду всегда, здесь бессилён... Посадка в вагон. К сожалению, в разных купе оказались места. Но от усталости тотчас же вытянулись. На мягких диванах приятно покачивало.

25/V

Проснулась к восьми. Солнце, тепло. Ландшафт — уже Грузия. Разбудила Б.Н. В его купе нашлось свободное место... Тифлис. Вокзал. Извозчик. «Наш» отель. Комнаты есть. С наслаждением моемся.

...Чай. После чая Б.Н. снова улегся. Меня же грусть охватила. Мысли пошли о Москве. И чувствую, как раны все свежи. Не зажила ни одна. Лишь Аполлонов ковер впечатлений покрыл их. И было мне хорошо... — Села записывать. Поглядела в окно. И голова закружилась. Где это я? Ожидала, что за окном Алагез, забыла, что мы уже не в Эривани. Так сказочен был переезд, так похож был на сон... Вечером вышли бродить. Попали куда-то за реку, к отвесной скале. Открылся Тифлис с фуникулером. Вечером снова царапали. Б.Н. закреплял свои беглые записи. Жалели об Эрива-

ни. Мало в ней побыли. Еще бы туда. — Поездка в Кахетию вряд ли теперь состоится. И погода испортилась, и машину достать нелегко. Сперва думали ехать с ночевкой и на двух автомобилях. Теперь уже речь об одном дне и одной лишь машине. Да и то вряд ли. Что ж! Мы и так уже многое видели. И не прочь отдохнуть от впечатлений.

26/V

Так и есть — дождь. Отчасти даже и не плохо. Удалось поработать. Дождь здесь не страшен. Тихо сидели до утра. Под дождем шли обедать. — В семь заехал за Б.Н. Робакидзе: для разговора вдвоем. — Вышла одна побродить. Было страшно: так привыкла быть всюду вдвоем... Незаметно пришла к Сионск[ому] собору. Двери открыты. Вошла. Никого. Только в углу практический разговор двух-трех причетников. Стала в сторонке. Полусумрак скрывал очертания. Виделся только низенький основной иконостас, да колонны. Вверху высоко чуть синело окно... Душу вдруг охватила молитва... Еще походила по улицам. Серные бани, базар. Всюду чайные. В окна глядят невероятные самовары... Множество сыра везде. Порой однообразно беспорядочная музыка двух или трех инструментов. После дождя вечер прохладный и тихий... Вернувшись, присела к себе на постель и задумалась. Вспомнила, как в Эривани делала каждый день F, A, Z и *das ist der Mensch*¹²¹... Думала о временах, о... годах. В 11 вернулся Б.Н. Разговор был хороший. И темами своими странно пересекался с моими думами.

27/V

Долго ждали Яшвили. День же манил на прогулку. В первом часу уже вышли. Спустились к Куре. Мост перешли. Поджидали трамвая. Но все переполнено. Праздник сегодня. Шумные толпы. Барабан пионеров. По узеньким тротуарам почти невозможно пройти. И жарко к тому же. Решили вернуться. Пообедали в нашем кафе. И домой. Послеобеденный отдых. Жалели, что утро потеряно. И какое!.. Все ж поджидали Яшвили. Но не пришел. В шесть снова из дома. На фуникулер. Тихий солнечный вечер. Долго глядели на панораму Тифлиса и окружающих гор. Нет, Грузия ближе по сердцу. Пленительны мягкие контуры и гравировка окрестностей. Всё любовались оттенками и влажной синееющей дымкой. Пересекая все небо, с востока на север тянулось облако: дымчатое, сквозное, узкое, длинное, чуть расширяясь к концу. Оно медленно плыло на наших глазах. — Солнце зашло. Вниз

спустились пешком. Посидели задумчиво у церкви, где погребен Грибоедов. Говорили опять о Тифлисе. Да, он неспроста. И недаром росла в нем Блаватская¹²²... Совсем потемнело. Зажглись огоньки... После чая засели. Б.Н. с раздражением делает выписки из «Летописи арм[янского] народа» В.Брюсова¹²³. Все же трудно так сразу признать очень важной всю эту резню на протяжении тысячелетий. Нужно привыкнуть к тому, чтоб на место, где прежде стояло «арабы», поставить еще вдруг «армянский народ». Консерватизм в человеке велик! И должна сказать честно: не очень понятна мне первостепенная важность Армении. Как-то не воспринимаю ее. Видела ряд доказательств, а все же не верю. Почему так случилось, что знаем мы имена Аверроэса¹²⁴, Авицены¹²⁵, персидских поэтов, буддийских философов. А из армян — никого. Это просто вопрос. И рада была бы услышать ответ. Вот Б.Н. произнес ряд имен. Ни одно не знакомо. Верю, что все замечательные были. Но *почему*, какою судьбой объяснить их неизвестность. Мы видели сами Звартноц¹²⁶, храмы Севана... Но почему никогда о них прежде не слышали? *Почему?* О св. Нине¹²⁷ знает весь мир. А св. Григория¹²⁸, просветителя Армении, не знает никто! Какая же *сила истории* скрыла его? Повторяю опять: это только вопрос.

Читала у Линча о восхождении на Арарат. Хорошо и тонко написано. И в общем восприятие Арарата его узнаю. Он и в нас откликнулся тем же. Это храм. Но... не Бога живого. Это — дух отлетевший. А в теле покинутом: в горе Арарат бушуют крушащие силы. Линч прекрасно описывает ужас разбитого бока горы, грозящего новыми разрушениями. Что же будет, если провалится Арарат? Не конец ли истории. Ведь встал-то он в начале ее... как-никак.

28/V

Как решили вчера: в восемь утра, по прохладе — вышли. Но прохлады уже не было. Наоборот: почти жарко. Через начало Кодж[орского] шоссе поднялись к крепости. Оттуда опять не могли оторваться от вида Тифлиса и гор. В стороне большого хребта уже облачко. Старались поймать там Казбек... Тянуло к нему... Солнце. Синее небо. Из-за горы Д. выплывал белый легкий клочок... Кура далеко-далеко пересекала долину... К 11-ти были уже у себя. За чаем все продолжали свои разговоры о виденном. — А Яшвили не шел, Б.Н. начинал не понимать: что это значит? Мне нужно было на почту. Он же сел за дневник... Вернулась. Я[швили] все нет. В полном сомнении — Б.Н. к нему на дом. И дома:

нет никого. Тогда к Таб[идзе], почти уж с готовым отказом от Имеретии. — Но оттуда пришел успокоенный.

Вечером были у Т[абидзе]. Снова встретились все. Ну, конечно, П[аоло] просто стеснялся нам помешать. Неожиданно появилась Софья Андреевна¹²⁹, которая в Тифл[исе] собирает матерьял о покойном Есенине. Н[ина] Ал[ександровна]¹³⁰ показала мне шелковичн[ых] червей. Впечатление страшное. Молчаливо-важное пошевеливание бело-желтоватых существ, каких-то микроскопических дракончиков. От дракона в них больше, чем от червя. Лицо — человеческое, но только намеченное, нарисованное на плоскости без рельефа. Что-то непередаваемо таинственное было в копошении этих существ на зеленых листьях (листья лежали на газетн[ом] листе, положенном на стул). И даже трогательно было думать, что они слепые... Сравнительно рано, — хотя все же после 12-ти — вернулись домой. Было очень свежо и ветрено.

29/V

До трех — покупки, раскладка. И — обычная, очередная «потеря». На этот раз записной книжки Б.Н. Оба вышли из равновесия. В три была назначена встреча у фотографа. И ровно в три пошел дождь. Так под дождем, переволнованные «потерей», отправились. — Сверх ожидания все произошло очень быстро. Снимались в садике. Оказалось, что большинство наших друзей не любит сниматься. А Р[обакидзе] даже сказал: «Я думаю, что всякая объективация убивает (или отнимает) в нас что-то». Мне всегда это казалось. Потому-то как-то инстинктивно противлюсь, когда хотят рисовать мой портрет. Не представляю себе, как это можно подставить свое лицо под чужой разглядывающий глаз. Это доходит во мне почти до болезненного отталкивания. И без того трудно «носить на себе лицо»... а тут еще закрепить его... Дождь перестал. Было влажно и тепло. — Зашли пообедать, за неkot[орыми] покупками. Было уютно и весело. — Вернувшись, чуть передохнули. — Перераскладка вещей у Я[швили], маленькая Медея¹³¹ — прелестная. Необычайно ласкова и открыта. Никакой детской застенчивости; и есть в ней что-то, о чем хочется сказать: замечательная девочка! Что-то незаурядное. — Вернувшись, хотели совсем отдохнуть. Мечтали об этом. И вдруг, — всегдашнее «вдруг» Грузии: стук. Тициан. С приглашением: идти к приехавшему из Москвы Л[ундбергу] с женой¹³². Страшная усталость заставила меня отказ[аться]. Б.Н. пошел один. Оставшись одна, уютно улеглась с воспоминаниями Дюма о Кавказе¹³³. Принесли самовар. Вдруг стук ...Б.Н. вместе с Л[ундбергом] пришли за

мною. Но и тут устояла. Одна мысль идти куда-то — ужасала. Да и Б.Н. тоже... И вот через неск[олько] минут мы опять вдвоем. Тихо, радостно. Болтаем. И хорошо, как всегда.

30/V. 31/V. Схватори

День отъезда. Покупки, прощанья. Вокзал. Очень чистенький вагон плацкартный. Тихие спутники. В 4 утра Шаропань, в 10 — Сачхери. Несмотря на уверенья Паоло, нас не ждали. Волнения, наша растерянность. Хоть уезжай. Но природа — пленительна. Обошли наш холм. Все стихло. Потом обед. Случайные гости. Опять речи и тосты. Б.Н. приуныл. Вышли гулять. Неудачно. До просторов и видов не добраться. Идешь глухой деревенской улицей, среди садов и заборов. Трудно, что несколько дней придется жить без угла. Комната моя не готова. Наши хозяева стараются сделать, что можно. Сейчас во мне кипит все против Паоло: все обещал, и кровать, и ширму. И ничего нет. А вместе с тем приезд наш сюда — исключительно его инициатива. Посмотрим, что будет дальше. Весь этот месяц был не отдых, а сплошное усилие и напряжение. Одно только: думаю, что отдыха теперь вообще быть не может. И какие бы прекрасные условия ни были, всегда среди них будет хотя бы одно, почти уничтожающее все остальные. В каждой бочке меда неизбежно будет ложка дегтя. Мне это ясно. И «отдыха» не жду. — В вагоне ночью сегодня видела страшный сон про Трифона] Г[еоргиевича], С.Як. и Любочку¹³⁴. Ничего повторить не могу. Но осталось впечатление, что Любочка с ними, а не с нами. Какая-то светлая, легкая, но нездешняя тональность сна.

1/VI

Солнечное утро. Пили чай на террасе. Перед глазами смеялось всеми оттенками изумруда — пространство, осененное густой голубизной. После чая — прогулка по ущелью. Все время манило на ту сторону. Но шумная речушка — Чихур — отрезывала путь. Бревна, там и сям положенные вместо моста, для меня пока еще не переход. Вернувшись, присели на камнях у берега. Слушали шум воды, собирали кучечки камней, раскладывали по оттенкам. Наметилось пока что два: один — серо-голубой с радужными пятнами, другой — розово-вишневый с серо-желтым фоном. Есть еще, как называю их: «зародыши арабских письмен» — это мелкое черное кружево на белом песчанике. — Против нас на другом берегу засела заинтересованная нашими действиями кучка деревенских ребятшек. Да и все почти проходившие уделяли нам доста-

точно внимания — впрочем, безмолвного. — К вечеру пошел дождь. И в критический период — в 8 часов настроение у нас поникло. Б.Н. все жаловался на неуютность. Мне же хочется хоть немного пожить на месте. При одной мысли, чтобы опять собирать чемоданы и ехать, — охватывает испуг. К тому же здесь действительно чудесно. И хозяева наши — делают все, чтобы нам было удобно. — Вечером после чая вышли на веранду. Все мягко серебрилось в сетке стихавшего дождя и в скрытом свете луны. Хозяин наш уехал по делам куда-то. Ему 75 лет. А он целые дни занят: медицинская, судебная и т.д. помощь всем, кому нужно. И все безвозмездно.

2/VI

Утренний туман понемногу рассеялся. Сидели на террасе. Б.Н. начал уже очерк об Армении¹³⁵. — Анико принесла ветку черешен. — После обеда, взяв вместо проводника Нину, девочку лет 13-ти, поднялись к крепости. Оттуда дальше к церкви, и еще дальше по горной дороге. С каждым шагом вид становится прекраснее. Широко раскинутая долина, испещренная деревушками, расцвеченная сменой пашен, лугов, рощ, виноградников. Тонкие и радостные переливы, ласкающие глаз: розоватые, бирюзово-жемчужные, вишневые, лиловые, гранатные. Ласковая какая-то местность. Шли легко. Подъем не трудный. Но все же на обрыве, среди развалин крепости, — голова кружилась. Не столько от высоты, сколько от прямо падающих вниз вертикалей. — Возвращались обратно манящим ущельем. По камням перешли через ручей. На склонах почти отвесно колосится пшеница. — Вечером за чаем записывали грузинские слова. Звук языка этого очень красив. Торжественно реален. А над долиной встала луна. И ночь таяла голубая и легкая.

3/VI

Понемногу определяется день. Встаем в 8-9. Пьем чай на террасе, не отрываясь от видов. И там же Б.Н. начинает работать... Сижу возле, то с книгой, то с тетрадкой, то «похаживаю», а то просто гляжу. Вот где испытываешь в полной мере значение слов: «auf sich wirken lassen»¹³⁶. Здесь полное доверие к этому «wirken». И даже желание отдаться ему как можно бездумнее, пропустить его в глубины подсознания, — как свежую чистую воду. — Кстати, вода здесь на редкость. Из родника. Живая и свежая. Даже Б.Н. отступает от своего постоянного требования «кипяченой» воды... К успокоенью Б.Н., моя комната сегодня оклеивается.

Прекрасные темно-синие обои с золотом. Камин. Два глубоких почти квадратных окна. Одно — на ущелье с любимой вершиной Б.Н., другое — на склон, защищающий наш дом с северо-востока. Наклейщик — старый еврей с седой бородой и чистым, но унылым лицом. Он отказался есть что-нибудь, кроме яиц и воды. Соблюдает закон. — Между 3—5 наш обед. Б.Н. кончает работу. — После обеда прогулка. Сегодня: в ущелье за нашим домом. Тропинка, переводя через горный ручей на дне оврага, выводит нас на дорогу. Идешь среди камня, прекрасного, как старые фрески, и нежной земли леса. Все дальше и дальше. И нет сил назад повернуть. Посидели на камнях. Слушали плеск воды и далекие голоса на отвесных запашках... Дома опять на террасе следили, как день угасал и всходила луна. Хорошо здесь. Спокойно и тихо. — К 11-ти зашумел ветер. Не будет ли завтра дождь?

4/VI

Пасмурно, очень свежо. К ночи дождь. — Комната моя готова.

5/VI

Целый день дождь. Туман. Сидим в комнате. Даже на веранду не выйдешь: холодно.

А дождь все идет. Глухо стучают капли сквозь крышу над головой. В старом доме так тихо. В далекой передней, за огромным пустым почти залом — спят все девочки — прислуги. А рядом, через коридорчик, — комната стариков. Там тоже тихо. Спят и они. И острая жалость к двум беспомощным существам, как ножом, режет сердце. «Идите вон... Из этого дома... А куда мы пойдем... Старые люди...» — слышу растерянный голос, в сотый раз повторяющий эти слова... Да, не дай Бог никому услышать под старость: идите вон... — Тихо... тихо в пустом старом доме. Мы точно отрезаны от всего мира. Даже газет почти нет... — Б.Н. — тут же у лампы — в который раз — правит свой очерк: Армения...

6/VI

Неожиданный холод. Весь день горы курились. Ущелье, из моего окна, все забито туманом. Надев на себя все свои теплые вещи, вышли перед обедом на лужайку перед домом. Тут же мирно корова паслась. Б.Н. стал кормить ее листьями грецкого ореха. Кушала с удовольствием. А мы разглядывали ее черную кроткую морду. Потом перешли к петуху, гордо веющему белым пером

своего хвоста над кучей цыпляток. Он водит покорно их вместо мамы. И странно, что в нем самом есть нечто женственное. Совсем иное в другом петухе с огненно ярким хохлом. Тот цыплаток не водит. А гордо кричит среди куриц. — Целый день в этом доме работают: то виноград, то кукуруза, то лоби[о] — внимания требуют. То воды принести из источника, к которому нужно спуститься по узкой тропе меж заборов, ручей перейти по бревну и снова подняться. То щенят накормить, кошку выпустить, поросенка загнать, двор подмести, кукурузу очистить... и так далее, далее. Обе девочки, помогающие по хозяйству и в доме, заняты целый день. Почему-то меня трогает трудовая их жизнь. Верно, от сознания, на каком фоне она протекает: социализм, СССР, угроза войны, дело шахтинцев, строительство: электростанций, заводов, дорог... Для них все это так же неясно, как греческий миф... Ограниченность этого кругозора, замкнутость интересов на этом холме... Да, но ведь как же иначе?.. Не умею сказать, чем волнует все это. — В четыре обед: грузинский, легкий, с душистой зеленью, с кукурузной лепешкой (чади), с компотом. Блюда подаются в порядке, непонятном для нас. Думаешь, садясь за уставленный стол, что это и есть обед. Приналяжешь на то, что стоит... А глядишь: начинают носить и носить еще блюда из кухни: и плов, и рагу, и котлеты, и рыбу, и суп... И опять-таки в неуловимом порядке. — На закате спустились к реке. Она мутная, желтая и шумней, чем всегда. А над нею вишнево-лиловые земли ущелья. Оттенков таких у земли не видала. Сегодня от влаги они до восторга прекрасны. И весь холм, точно огромный гранат под сквозною покрывкой темно-зеленого плюща.

С веранды, вернувшись, глядели, как солнечный зайчик скользил по горам у горизонта. — За чаем говорили о путешествиях. Что значат в ритме судьбы наши поездки? Б.Н. видит в них выход из линии прежде поставленных целей. Цели пошли себе сами собой, по продолжению. А наш путь загнулся.

7/VI

Солнце с утра. Просыпаюсь от его первых лучей. Люблю, когда моя комната на Восток. Так часто встречала зарю в Коктебеле. И в Цихис-Дзири ловила те дни, когда оно появлялось — как редко! — из-за вершины холма, что над нами... Вот и здесь радуюсь его утреннему посещению. Этот момент всегда, точно праздник. И наступающий день кажется каким-то торжественно-светлым... После чая обычная порция работы... К обеду продрогли. В комнатах еще очень свежо. Вышли погреться на лужок перед

домом и на нижнюю площадку за виноградником. Пригретый пригорок сильно пах мятой.

...После обеда сейчас же — прогулка. В ней ряд эпизодов: шутливо досадных. Первое, что: оказалось, наши цели различны. Мне хотелось на тропку вдоль склона горы над ручьем. А Б.Н. все стремился «на ребрышко»... Тропку прошли, тихо радуясь. Мягко и нежно царила кругом вверх и вниз — во все стороны — зелень. Купались в зеленых волнах... Потом стали искать «гребешок»... Не нашли... Огорченье и краткий, но бурный обмен «нелюбезностями»... Когда время пришло, чтоб вернуться, то оказалось, что переправа не так уж легка. От дождей воды ручья поднялись. Переходили с места на место, поднимались, спускались, городили плотины... Напрасно все. Хоть ночуй здесь. И только при помощи мальчика местного преодолели преграду... Перед тем, как войти в комнаты, долго сидели на лавочке у крыльца, уютно приставленной к дому. Маленький дворик вырезан прямо в скале. И сейчас же над ним повисают зеленые кудри «бабахов» — как их называет Б.Н.

8/VI

Утром ходили в Сачхери в сопровождении Сации — нашей девушки. Хотела пойти в [1 нрзб.] и в пестром халатике. Но Анико просила «одеться», п[отому] ч[то] «будут смотреть на гостей». Пришлось идти в городской амуниции, что по жаре и по камням — не отрада. Но еще больше, чем мой, был удивителен наряд Цации: костюмчик с вестном, брошка и пудра... Не узнать... В таком виде мы и пустились по скатам, по грязи засохшей и незасохшей, по доскам через ручей, по задворкам деревни и так далее, далее... Цель же наша была: почта, аптека и кооператив. Этой цели достигли успешно, но сильно припарившись... Все же верст около трех до Сачхери... Дорогой все любовались... долиной, широко раскинутой среди плавных падений холмов. И в солнце далекие горы казались совсем темно-синими...

К часу вернулись, выйдя в 11...

После обеда прогулка по ущелью Чихура — чем дальше, тем лучше. Кажется, это дорога на Ани. Вот бы пойти... Да нет спутников. Если бы Лундберг сдержал свое слово, приехав сюда, м[ожет] б[ыть], с ним можно бы было отправиться.

9/VI

Наконец летний день. Вернее же: поздне-весенний, так воздух еще не прогрет.

Утром выбрали себе книги для чтения: Б.Н. — Толстого; меня ж потянуло к Байрону и Вальтер Скотту. Среди природы люблю именно читать что-нибудь о природе и о простой жизни — без психологии. — После обеда никуда не пошли. С непривычки прогулки здешние нас утомляют. И виды, и просто плохие дороги: острые камни и еще более острые кочки. Не знаешь, куда смотреть: кругом или под ноги. От этого нервное напряжение. Нельзя идти и отдаваться гляденью... Взяв плед, пошли на вторую площадку. Взяли и книги. Но мало читалось. Жаль было терять «происходящее»: солнце склонялось, и тени в горах, на горах, между гор, над горами — буквально звучали в протяжных и легких мотивах, сменяя друг друга. В первый раз услышала сегодня это пенье теней. Оно поразительно и ни с чем не сравнимо.

На приподнятом склоне холма — были точно на острове. Безвременное... веселое и грустное, сквозное, как сон... Жизнь переживалась здесь в тонкой, тонкой ткани... А обычная, «настоящая» — казалась здесь трудным узлом... Здесь, в Сачхери, живут вообще очень странно. Без писем, почти без газет, в полном отрыве... Зато в темах истории, в темах культуры. Слово спущена сурдинка над современностью и над лично моим, а зато мощно взята педаль исторических тем и культурных. История хлынула на меня уже с Эривани. История Востока. Удивляет, что начала ее не «с того конца», что всегда: с Армении. Исходная точка Армении поставила в новые перспективы ряд самых известных, самых привычных исторических фактов. И нужно еще привыкнуть к этим новым соотношениям... Хоть бы Ной, Арарат... всегда виделся на фоне еврейства. И сразу даже теряешься перед хлынувшим на тебя потоком армянских легенд... Греки, римляне, персы, турки и русские — все завращалось вокруг одного неперемного центра: Армении. Все еще читаю и привыкаю к этим смещениям. И перевожу на привычный язык исторических данных.

10/VI

Ждали гостей: с утра — поэтов из Тифлиса. К вечеру — здешних знакомых. Ни те, ни другие не явились. — К 12-ти налетел ветер. Собрались облака. И закапал дождь — до вечера. Вчерашней ясности и тепла как не бывало. — Читаю Байрона. Мешает плохой перевод. Сразу иное, когда попались строчки, переведенные Брюсовым¹³⁷. — Б[айрона] давно не читала. И теперь наслаждаюсь цельностью, т[ак] ск[азать]. И graphōmen'ом¹³⁸. Огромная мощь. И ясно, что Пушкин и Лермонтов — лишь подражатели в этом культе восстания против насилия, условности и неправды в

«челов[еческом] обществе». Здесь касаешься первоисточника. И он захватывает. Гипербайронизм переживается именно в Байроне. Эти чудовищные образы отчаянья, мести, страсти... старые руки, дикие взоры, таинственность, незнакомцы, удары, разящие насмерть, враги, протест против тиранов, безродность, изгнание... и что еще! неприкрыто, на каждом шагу, нагромождение без передышки: ужас над ужасом... Все это пленительно в своей первожданности. Это точно впервые открывшийся вулкан. Это то, что назрело в Европе, как результат и как зерно. Результат того завала, который обрушился на взыгравший ключ Ренессанса; и зерно кровавой борьбы за свободу и против насилия в 20 веке...

Явление Б[айрона] в этом разлете времен — неповторимо. И если Ницше дал сверхчеловека, то Б[айрон] дал «странника», оторвал человека от дома, семьи. Сделал «без-родным». И не случайно незнание отца у большинства из героев у Б[айрона]. Он и сам Его не знал. И в этом месте лишь видел мрак и ничто. Он сам стоит, как эмблема особой ступени сознания. И м[ожет] б[ыть] — хотя бы парадоксально, но все же: Блаватская могла прийти только после него, и в идее перевоплощения показать того «отца», которого не знал Б[айрон].

По матери Б[айрон] происход[ит] от короля Иакова I (по дочерней линии).

Б[айрон] не любил живописи.

11/VI

Моросит дождь — прохладно. — Читаю Б[айрона]. Слезу за рисунком его описаний. Это большие полотна начала 19 [века], отчасти 18-й. Больше всего батальные, style marine, ландшафты — Делакруа, Salvator Rosa¹³⁹. — Как хороша наша долина — и при дожде. Это не батумские вои и визги с ушатами льющихся вод, но вуали, прозрачные, серо-жемчужные, оттеняющие рельеф слитых в отдалении гор и предгорий. Видишь целую страну там, где обычно казалась одна лишь сплошная стена.

12/VI

Арапат — еще не покинул, еще не ушел из сознания. А полученные от Сарьяна, Мариэтты и Фортунатова¹⁴⁰ письма с приглашением на Севан — еще раз о нем живо напомнили. В Эривани — он «виделся» постоянно. Даже когда его не было видно, даже в комнате: казалось, что раздвигаются стены — и там далеко — но и близко — он стоит: неподвижный лилово-серебряный, на тебя не глядящий. Арапат — или «к небу повернутый», — хочется о

о нем сказать. Только через него начинаешь хоть издали, хоть чуть-чуть понимать, что за *существа* были Ной, Авраам — патриархи вообще! Конечно же, жили они коллективным сознанием. Сознание «личное» с ними не свяжешь. Они расширялись к подножию — в племенные колена, а головой восходили в Святое Святых. Вся история была разбитием и разрывом сознания этих гигантов. Они, как ключи, протекали сквозь все. Но их тело зато измельчало и в прах превратилось. Мы его больше не видим. И мы не видим в себе алой крови — а она есть, от них! Арарат же тем страшен — иначе сказать не могу, — что тело его сохранилось, а дух отлетел. Он не питает собою народов истории. Он тяжело лежит, отвернувшись, и полный желаньем одним: вверх уйти, вырваться всем своим телом огромным и «прах отрясти». Ему дела нет, что творится в им брошенном мире. Он парчами, шелками своими закрывается, а не открывает себя. Потому-то они так далеки, так недоступны для наших земных языков. Говоря о них, их не касаешься. И все усилия в том, чтобы передать их нездешность.

Перс древний не напрасно алтарям
Избрал места на высоте на горной,
Царящей над землей. Единый там.
Достойный Духа и нерукотворный,
Стеной не обнесенный Божий храм.
Ступай, сравни кумирен пышны своды,
Что горы, греки строили богам
С землей и небом — храмами природы
И с ними не лишай молитв своих — свободы.

Чайльд Гар[ольд], III песня¹⁴¹

Когда же будет кончено мое «подслушивание»? Почему-то: жду срока его в сроках времени. А может быть, нужно что-нибудь активное с моей стороны? — Вот писала письма сегодня и вчера. И все они точно ненастоящие. В них не *живая* я. Точно маска, надетая на меня в семье моей, двойственным моим положением, — прилипла к лицу в обращении к ним. Это не «ложь», но это *не* правда: и с мамой, и с Петей, и с Люсей¹⁴². Никому из них не могу сказать того, что есть: так вышло, так сложилось. Вот перед этим стою теперь с вопросом: не нужно ли что-то с моей стороны, чтобы эту неправду прервать? Это вопрос, тревожащий часто. Старюсь его отвести... И *жить* из ритма жизни. А в нем не нахожу сейчас никаких импульсов для «поступков». В нем слышу пока что: «Жди! Неси терпеливо. Ищи свое Я. Не заботься об оболочках».

Проснулась в 5 от шума проливного дождя. Заснуть уже не могла. К 8-ми просияло все. Стало жарко. Белыми снегами закурились облака. Обычно, установившийся уже ритм дня. Чай 9—11, с переходом к работе Б.Н., с чтением и перепиской. В 4 обед. После обеда прогулка. Пошли по любимой нами верхней дорожке. Но угрожающий дождь помешал. Скоро повернули обратно. Домой не хотелось. Сидели на камнях: смотрели, как все ущелья набивались туманом и легкие клочки ватки цеплялись за верхушки деревьев, скользили все ниже и ниже... Потом: опустились к реке, разглядывали камни... Дома сидели на лавочке у лестницы. Тихо, туманно, тепло. И разговор наш был тихий. Почему-то даже до шепота... Получилось письмо от Лели¹⁴³, по поводу записки Б.Н. о символизме, по поводу их разговора, и письмо к самому Б.Н. Она пишет, что рада была наконец поговорить прямо и открыто с Б.Н. Разговор этот многое выяснил. И главное, устранил все то, что мешало ей, как она пишет, «любить» Б.Н. все последние годы.

Б.Н. что-то нервничает эти дни. Все ждет письма от П[етра] Н[иканоровича]. А тот непонятно молчит. За обедом сидели с трудом. Говорить: не о чем. Б.Н. не умеет поддерживать разговор, когда ему не интересно. Приходилось мне перебирать все возможные темы: цыплята, собаки, погода, поэты (ведь мы живем в доме «поэта»¹⁴⁴), грузинский язык... Анико сегодня тоже усталая. — Было бы проще, если бы мы могли просто платить за пансион. А то видеть, как людям трудно, и не иметь возможности предложить деньги — мучительно. И должна сказать: достаточно-таки отвращает жизнь здесь.

Особенность здешних камней: они дают великолепные мазки и срезы. К сожалению, только они очень хрупкие. Не знаю даже, что удастся привезти в М[оскву]. Крепкие, похожие по виду на яшму, на кремень, высыхая, они распадаются на шашечки и столбики самой удивительной формы. Снаружи гладкая серая или желтоватая поверхность, а в осколках — драгоценные пестрые краски. Иные куски — совершенные фрески или осколки старой посуды. — Каждое сложение их дает невыразимый горный пейзаж. В чистом виде повторяются все те же оттенки, что поражают в здешней земле.

Несение самовара к нам в комнату — событие, волнующее весь дом. Дней десять к этому никак не могли привыкнуть. Проявлялась явная тенденция удержать «самовар» в передней комнате, чтобы оттуда через весь дом бегать со стаканом и чашкой. Только

упорной борьбой удалось добиться признания необходимости утверждать самовар именно на нашем столе. Революция была так велика, что первые дни самовар несся в сопровождении всех четырех обитателей нашего дома. Благодаря этому социальному действию, он успевал наполовину уже выкипать... Теперь число сопровождающих упало до двух. И на нем твердо держится. Третий час витает вокруг — обычно: Нина — и с горячим любопытством следит, что будет дальше. Это шумное отношение к самовару вызвано, верно, тем, что здесь чая почти не знают. Его заменяет вино. Это тоже было предметом больших разговоров. И «поэты» долго не хотели понять роли чая для нас, — для Б.Н. Они все думали, что это шутка. Когда же убедились, что дело серьезно, то... отношение их к Б.Н.... прошло или проходит... через сильное испытанье. И нужно большое было мужество с нашей стороны: не отступить от своих заявлений о «чае». Да... Пустяк! А на «пустяке»-то и видно, как разны живем мы и грузины. Впрочем, относительно благ вкусовых это, кажется, единственное расхождение. В остальном стол грузинский пленителен: много зелени, душистых трав и фруктов.

14/VI

Дождь и туман. За чаем обсуждали планы дальнейших поездок. По-видимому, устроимся на В[оенно-]Груз[инской] дороге. Заключение Тассо в доме умалишенных — 1579/III—1586/VII. Причина неизвестна.

Характерна статья Байрона, против нападков на него за «Д[он] Жуана»¹⁴⁵. Почти дословно все знакомо. Все то же, что повторяется с неизменным упорством. Пушкин, Толстой, Гете... М[ихаил] Ал[ександрович]¹⁴⁶, Б.Н. — имена безразличны. Суть же одна: всегда находятся «грызуны», которые бросаются и кусают... Известно, старо...

Начало статьи Б[айрона]:

«Земная жизнь писателя, сказал, если не ошибаюсь, Поп, должна *быть войной*. Мой лич[ный] опыт... не позволяет мне ничего возразить против этого... мои фигуры *не портреты* (Б[айрона] обвиняли в невыгодн[ой] зарисовке жены Д[он] Ж[уана]). Возможно даже, что я воспользовался некоторыми событиями, разгравшимися у меня на глазах, или в моей семье, как нарисовал бы вид из своего окна, если бы он гармонировал с моей картиной; но я никогда не вывел бы портрета живого члена моей семьи, иначе, как в свете выгодном не только для общего эффекта, но и для него самого...

...Я не воображал, как Ж.Ж.Руссо, что ч[еловечес]во в заговоре против меня, хотя имел, м[ожет] б[ыть], не меньше его оснований для такой химеры. Я заметил, что общая вражда в значит[ельной] степ[ени] относится к моей личности, что я сам по себе ненавистен англичанам... Но все же я был неск[олько] удивлен, увидав, что меня осудили, не представив мне даже обвинит[ельного] акта»...

М-ме Сталь, оказывается, советовала Б[айрону]: не объявлять войну свету, — «с ним не под силу бороться одному ч[еловеку]; я сама пыталась вести такую же *борьбу* в юности, но этого не след[ует] делать...»¹⁴⁷

В чем дело? Какой это «закон», заставляющий всегда *одного* вставать против всех, а «всех» с дикой злобой бросаться на одного? Какой закон, что разрушается все доброе и осмысленное и торжествует бессмыслие и ложь? И как же все же тогда возможно развитие и рост наук, искусств... Знаю все, что говорится об этом и что сама говорю на такие вопросы. Но сейчас: хочу заглянуть за оборотную сторону. Хочу посмотреть зеркало с другой стороны. И для себя что-то узнать об «амальгаме». Станным образом переплетается это с моими утренн[ими] мыслями вчера или тр[етьего] дня и в первый раз явившимся вчера переживаньем страдания... Дело в том, что когда ходят в тень, то с необходимостью уже теряют солнце, И было бы глупо в тени или под облаком негодовать на отсутствие солнечных лучей. Что-то в этом роде и с землей и со всем, что на ней. Помню слова Д[октора] в лекции, потрясшей меня: Мы на землю пришли не отдыхать, а работать. Ошибка видеть в земле колыбель или диван для отдыха... Т[о] е[сть] другими словами: радости, правда, красота Земли — лишь случайности, мимолетные, *обусловленные* всегда. А все обратное им, все их полярности — нормальность земная. Конечно: все это общие места. Все это 1000 раз говорилось. Но говорить-то говорилось, а в *чувстве* у нас живет совсем другое. Оно не согласно с такими «нормальностями». И все думается: не катастрофа ли? Нет ли тут срыва? Ведь только глухо скользило до нас известие о солнечных пятнах и об поражении архангелов. Б.Н. тут всегда говорит против Ягве (включая и эпизод с рубашкой, которую в Коктебеле унесло у него Черное море) и раздражается. — Знаю, что есть одно, противостоящее. Это христианское переживанье. Но как оно трудно. И как трудно *жизнь* поднять до него.

К вечеру разразился дождь (впрочем, шел он и так целый день); закапало с потолка. И вот, иллюстрация к моим словам: Б.Н. прочел свою запись из дневника. Та же тема, хотя именно об этом сегодня не говорили. Но совпадение полное. Только у

меня с тенденцией к примиренности, а у него: с возмущением и протестом.

Действительно, странно, что и здесь в Сачхери, и с разницей на два месяца, повторяется прошлогодняя эпопея дождя, что и в Цихис-Дзири. И там тоже, когда приехали, было ничего, потом стало все хуже и хуже. Так и уехали в «хуже». Неужели и здесь будет то же? Ведь за две недели нашего пребывания здесь происходит явное ухудшение погоды. И мы слышим прошлогоднюю фразу Д[митрия] И[вановича] Р[остовцева], несколько измененную: Честное слово, никогда такого мая не помню... «Клянусь честью, мне 72 года — а такого лета я еще не видел», — повторяет наш хозяин Котэ, с удивлением глядя на небо... А мы уже не удивляемся, знаем, что это «никогда» и «в первый раз» становится теперь «всегда» и «который раз».

15/VI

Дождь. Горы в тумане. В газетах известие, что в Кахетии в горах выпал снег...

Корни «печали» байроновской личности в неразрешимости моральных проблем в мире, чувственно данном. Это один из ярчайших примеров стояния у границы «проклятых» вопросов. Ни знание, ни красота не удовлетворяют их, пока в жизни чел[овеческого] коллектива нет добра.

Их вопрос — чисто моральный. И понятно вполне, почему они — борцы за свободу против насилия и несправедливости. Ведь мораль — принадлежит к сфере права (Dreigliederung¹⁴⁸). Манфред был Знающим. Но знание его не оправдало для него человеческой жизни. Проклятие зла тяготело над ним... Ад был в его сердце. И Манфред — это крайний предел в типах Байрона. Все остальные, начиная с Ч[айльд] Гарольда — ступени нарастания трагедии личности. — О чем же томление этих трагических образов? Отчего они изгнаны, или сами изгнали себя из среды людей? В чем же ад их сердца? Они представляют собой иллюстрацию к словам «Я есмь Глас вопиющего в одиночестве». Они неизбежны для личности, осознающей себя в земном мире: опыт одиночества. И они вопиют всем своим протестом, всем своим бунтом. Предмет их ярости — социальное зло, моральное. Предмет их стремлений: совершенная жизнь чел[овеческого] сердца, как центра, обуславливающего и волю, и ум.

Позднее 19-й век уже не болел этим вопросом. Успокоился. Успехи «ума» отвлекли (философия, естествознание). В байрон[овских] героях XVIII век еще скорбит и болеет о том, что (мы знаем)

утрачено, о чистоте, о правде, о праве. Холодок «умных» ответов тогда не остудил еще горячих сердечных волнений. После Дарвина, Геккеля и т.д., после Канта и Гуссерля и т.д. — протестант байронический просто смешной старомодный чудак. О чем это он? — удивится теперь почти всякий, стоящий «на высоте современности». В «личности» байрон[овского] героя тоска по космическому, по тому, что было отрезано в 1250 г. Они, в сущности, рыцари, вождем которых мог бы быть д[ух] космическ[ого] интеллекта. Рыцари — поскольку они стоят перед проблемой зла, не мирясь с ним, но не находя исхода. Они «одиночки». Но в них тоска о социальном. М[ожет] б[ыть], многие из нас несут в себе этого байроновского героя — от Манфреда до Ч[айльд] Гарольда или Жуана. И он есть в них тот, кто схватился за антропософию и Доктора. Именно потому, что «рыцарство» было их внутренним стилем, откликнулись они на голос, говорящий им о том, что добро возможно, что общество — или община — коллектив — возможен. Пусть в конкретном здесь выступают все жала и тернии. Но лозунг дан. Но центр, освящающий жизнь — указан. Названо имя их неосознанного, неузнанного идеала. И оно — Христос.

Странно, что все эти мысли как-то связаны во мне с впечатлениями, полученными в Армении, с той лавиной истории, и над-истории, которая свалилась там на мое сознание. В них что-то сдвинутое с места — вновь находит себя и успокаивается. Армения вызвала во мне нечто, подобное землетрясению. Все прежние рельефы разбились, все контуры изменились. «Восток» был этим всесокрушающим ударом. Восток ударил во мне по западному моему сознанию — теперь только вижу, в какой мере оно именно западное. И Байрон помог с этим справиться. Он дал «личность» против «безличия» Востока. Какие же личности все эти Тиридады и Вагаршаки¹⁴⁹... армянские. Недаром Б.Н. говорит: «Вампука»...

Байрон же доводит личность до ее первообраза — Каина. Значение «Каина» — известно¹⁵⁰. Род Каина: науки, искусства, — Авель: священство, религия. Герои Б[айрона] — чистые дети К[аина]. Их беспокойные души — те именно, которые из глубин человеческого, *как люди*, хотят божественной мощи и безграничности. Их протест — против несовершенства, как ограниченности, несвободы. Вот почему байронич[еский] герой кажется мне отцом или, вернее, дедом будущего *антропософа*. Отцом же его — был человек в смысле Ницше. Ницше назвал положительное будущее для человека: сверх-ч[елове]к. Байрон дал отрицат[ельное] прошлое — без-родный, без-отцовный, абсолютно личный. Байронизм — необходим как ступень сознания. «Личность» в нем уже болезнь, — но не болезнь, которая может быть и «не к смерти» —

если будут найдены средства к удовлетворению ее чел[овечески]-моральных стремлений, к осуществлению ее *идеала*. Но это средство — одно: O, Mensch! erkenne dich!¹⁵¹ — и здесь опять перекличка с переживаниями у Эрирани. Там «o, M[ensch,] e[rkenne] d[ich]» прозвучало мне от гор и земель, от Арарата... Здесь то же звучит мне через героев Байрона. Они ищут исхода... Но устремляются не в ту сторону. И — гибнут. Почти можно сказать: если бы не было байронизма, то антр[опософия] (теос[офия]) была бы не нужна. (То же — Ницше). В лице Байрона человек сказал, что он созрел до самопознания (как и в лице Гете и Ницше), сказал, что форма готова наполниться содержанием: личность (антропос) готова принять мировое (Софию).

16/VI

Наконец-то утром в окно мне засмеялось солнышко... Была в Сачхери: деньги от П[ети]¹⁵². — Письмо от П[етра] Н[иканоровича] наконец получено. Б.Н. успокоился и разорвал приготовленное уже было письмо со «вскриком»¹⁵³. — После обеда, как и вчера, спустились к реке: за камнями. Очень интересно разбивать гладкие однотонные бомбы, — и видеть, как изнутри сыплется радуга красок. Глядя на такую серо-черную штуку, никогда не скажешь, что там внутри... К вечеру пахнул западный ветер и все набилось туманом. Наш холм сел тоже в туман, и все как-то взмокло — без дождя настоящего.

Хорошо живем мы в Сачхери. Тихо, дружно и весело. — Очень странно мне стало, когда написала «весело»... Да, снаружи это так. Но если бы знал Б.Н., как грустно мне *под* этой веселостью. Он говорит: как я счастлив, что избавился от того ущемления душевного, какое длилось до самого последнего разговора с Д[октором]¹⁵⁴ и даже после, и отошло только с 24-5 года. А вот мне-то и приходится жить в «ущемлении». Что бы ни говорил, что бы ни делал — а «оно» все держит!

Байрон.

Удивителен ряд черт совершенно сходных с Б.Н. Читая статью о Б[айроне] Н.Котляревского¹⁵⁵, в иных местах не могла удержаться, чтобы не показать Б.Н. Тот тоже соглашался. Котл[яревский] указывает на свободн[ое] отношение Б[айрона] к вопросам, обычно подчиняющим людей: религ[иозным], филос[офским], политическим. «...Убежденность нередко является результатом страха перед *перерешением*, которое всегда обходится очень дорого. Б[айрон]... пример свободн[ого] отношения ко всем таким идейным властолюбивым трудност[ям]. *Не они владеют* им, но

он ими, и пот[ому] иногда каж[ется], что он к ним *относится не с должен[ствующей] строгостью*. На сам[ом] деле он всегда лишь оставляет за собою свободу суждения...»

...«Ни с какой партией Б[айрон] себя не связывал... Поэт иногда признавался, что он "*индифферентен*" в политике... но это "не пассивн[ое] примирение или оппортунизм" — Б[айрон] всегда призывал к "возмущению, к борьбе, к революции". Он "сказал однажды, что одна революция может спасти землю от осквернения". Герои Б[айрона] *не отождествимы* с его личностью: "он шире... их... Их жизнь — *вымысел поэта*, но этот вымысел — правда целой истор[ической] эпохи..." и т.д.¹⁵⁶...

Чем б[ольшее] читаю я Б[айрона], тем яснее вижу: да он прежде всего удивит[ельно] *умный* человек. Пишу это со стыдом. П[о]тому ч[то] должна признаться, что *ума* в Б[айроне] никогда прежде не замечала. Но ведь никогда и не читала его так пристально, не читала его писем, статей, не знала его суждений о поэзии. В «На тему из Горация» — опять паразит[ельное] созвучие с Б.Н. Напр[имер]:

Вы дерево нарисовать, быть может,
Сумеете; но если кто предложит
Вам написать крушенье корабля,
То... дадите вы мазню — нельзя плачевней,
Лишь годную на вывеску в харчевню...

У большинства поэтов есть беда...
...какой-то рок их странно
От цели отвлекает беспрестанно,
Заботится о *краткости* поэт, —
Так *ясности* в его поэме нет;
Старается ль парить в высокой сфере, —
Становится надутым в высшей мере;
Изыществом иной блеснуть бы рад, —
Лишь деланность и сухость — результат;

...

Чей ум не изощрен, в ком *такта нет*, —
Тому и осторожность лишь во вред;
Нет полноты ни в чем, везде пробелы...

...

Писатели! касайтесь тем своих
По силам, *взвесив* суть и важность их!
Обдумайте, снесут ли ваши плечи
То, что избрали вы предметом речи.
Лишь тот поэт, чей выбор был *умен*...

...

Пусть скажет *такт* ему, что, меру зная,
Пополнить он все пропуски умел;
Одно *беря*, другое *отклоня*...

...

И вообще не бойтесь *новых слов*,
Иль терминов, *известных очень мало*,
Иль *старых слов*, которых *не бывало*
В употребленьи *много уж годов*...

...

...два-три слова
Которые *для словарей обновления*;
Вводите же и вы обновления в свет
Не слишком часто только, мой совет...¹⁵⁷

...

И так можно было бы выписывать еще и еще.

17/VI

Скоро Иоаннов день. Как всегда — торжественной радостью звучит мне его приближенье. Как всегда — эти дни в году стараясь не пропустить...

Из последнего стих[отворения] Байрона 22/I 24 года.

...Восстань мой дух! В минувшем проследи,
Откуда *кровь* твоя *берет начало*,
И в битву выходи!¹⁵⁸

...Эти строчки подтверждают, что «начало» и начало именно *кровные*, т.е. «отцовство» — скрытая тема Байрона. Он *не знает* отца. И потому так упорно отмечает без-отцовство своих георев.

Иафет¹⁵⁹ («Небо и земля»): тоже не случайно для меня. Это имя связано с армянской историей.

Вечером пили чай на ступеньках крыльца. Звезды и горы были такие, что в комнату идти не хотелось. — Перед сном долго еще бродила по нашей лужайке. Легкий сухой ветерок пронесился душистыми волнами...

18/VI

Летний, торжественный день. Не было сил уйти за работу. С книгой бродили по саду. После обеда вынесли нам ковер. Гулять не пошли. Раздражают: плохие дороги, собаки, ручьи. Да и холм наш прекрасен. — Ночь звездная, летняя. На террасе долго сидели, глядя на звезды и на блуждающие во мраке фонарики пе-

шеходов. Говорили о жизни, о наших путях, об огромности мира, о смерти, о знании. Чувствовалось: за чертой... Б.Н. все спрашивал: отчего я грустна? Но не грусть во мне, а тишина и какое-то размышление о жизни, о себе и других... Правда, что размышление это в тишине своей — не веселое.

19/VI

После вчерашнего блеска мягко овеял туман. И воздух сочится. Нельзя сказать, что это дождь. Это вчерашние испарения... Б.Н. нервничает. Верно, устал. Осталась еще одна последняя глава. Семеновский перевал. Он хотел ее сделать «ударной». Не знаю: как? В «перевале» этом нет ничего «ударного». Или — есть: но это Севан. «Ударною» вышла дорога Тифлис—Эривань, и Эривань с Араратом. Перед ними Семеновский перевал все же бледен. И не знаю: не будет ли это насильем: «удар» ставить сюда?

Герой Байрона — *антисоциален*... Пусть! Но *социальное* для него все же проблема. И так или иначе он не может быть без коллектива. Социальное — тема сердца. *Личность* ищет своей *индивидуальности*. Но инд[ивидуально]сть — и есть коллектив. Герой Б[айрона] не умеет «направить» путь своих поисков: направляет на общество. Но найти свое отношение к обществу можно только из своей и других инд[ивидуально]сти. «Оттуда сюда». Все же проблема «организма» поставлена им. Это не оторванный, чувственно мозговой *эгоизм* Пшебышевского¹⁶⁰. Это проблема «композиции», т.е. кармы, в терминологии Б.Н. — Разница с Ницше, что тот ставит ту же проблему человеческой личности, как тему в варьяциях, — т.е. перевоплощения (по Б.Н.). Прочтя статью Н.Котляревского, вижу ряд совпадений, — разумеется, только в точках, линии из которых расходятся совсем в разные стороны.

Н.Котляревский. Байронизм...¹⁶¹

Печаль и сила — признаки байр[оновского] героя. («Культ сильной личности и мировой скорбь»).

Порядок раскрытия темы м[ировой] скорби: 1) Ч[айльд] Гар[ольд], 2) Гяур, 3) Абид[осская] невеста, 4) Корс[ар], 5) Лара, 6) Манфр[ед], 7) М[арино] Фальеро, 8) Сарданапал, 9) [Двое] Фоскари, 10) Каин, 11) Остров, 12) Д[он] Жуан (12!). 2 — 5 — *Таинствен[ный]* рыцарь, борец за поправленную свободу, отрицатель всех обществ[енных] устоев, стоящий лишь на силе своей личности. Море, необит[аемый] остров, ущелье — его приют. Однако эта дикая жизнь не дает ему *простоты и наивности (сердца!)*. Вина его бедствий: в злых поступках людей. Отсюда — война и

мечь. — Остаток связи с людьми — *любовь* (полуземные женские образы). Отношение к товарищам — как к низшим, к толпе, повелительное, — ни дружества, ни общения. Защита их — только мечь сильным, а не любовь к слабым. Чувство одиночества среди всех. 1 — герой размышляющий; 2 — 5 — действующие. 6 — завершение, синтез. Долгая подгот[овительная] работа предшествует. Сосредоточенность личности на себе. М[анфред] — маг, владеющ[ий] тайнами природы. Независимость в отн[ошении] зла и добра. *Таинствен[ный]* преступник; связь с миром — только скорбь о нем; в отличие от 1 — 5 — М[анфред] находится абсолютно *вне* чел[овеческого] круга, никаких связей, интересов. Только *завне и смерть* — желанны ему. Он на грани, отделяющей людей и духов. *Воля* его бездействует: ни добро, ни зло не влечет. «Его жизнь — агония *сердца*».

7, 8 — 10 — смягчение темы.

7 — Марино — уже не до конца анти-соц[иален], не крайний инд[ивидуали]ст, как 1—5 или еще 5, 6. Другие люди начинают получать также некот[орое] значение. «В его *сердце* много любви»...

8 — тема *любви* еще сильнее выступает. Радость и красота природы — влекут С[арданапала]. Печаль, страдание и мрачность — враждебны. Жить, *никому не мешая*. Черты эгоистического — вместо прежнего антисоциальн[ого].

10 — тоже нарастание любви. К[аин] нежен, любящ. Мотив убийства — гуман[изм]?

К[аин] — носитель *свобод[ной]* чел[овеческой] мысли. Все охватить — оценить моральн[ый] миропорядок. *Люцифер* — это мысль Каина, но чистая, логическая. К[аин] — *мученик своей мысли*. Но главнейш[ий] источник печали К[аина] это его любящ[ее] *сердце*, потребность *счастья* себе и другим — чего нет в этой ж[изни]. Невыносимо для К[аина] мысль о своей включенности в этот печальн[ый], несоверш[енный] мир. — Убийство невольное. К[аин] только хотел помешать жертвопр[иношению] брата, негодую на Творца столь несоверш[енного] мира. Это *мечь Богу, а не злба против брата*. К[аин] убил *не брата*, а служителя враждебного себе начала.

Иафет (Н[ебо] и земля) *приемлет* сотворен[ный] Богом мир, но не хочет спастись один (от потопа), *сострада*я (сердце!) всем гибнущим: и добр[ым] и злым. Иафет — полон любви, жалости, сострадания. Его протест — мягок.

Так, по Котл[яревскому], от мир[овой] скорби Б[айрон] пришел к «сентимент[альной] мягкой грусти»... (?)¹⁶².

В XIX в[еке] б[айронизм] невозможен: «вера прежних индив[идуали]стов в *личное* начало в жизни нашла свою поправку в *нау-*

ке... (век торжества строгого знания (!?!))... *быстрый... рост гуманист[арных] и ест[ественно]-ист[орических] наук* привел к переоценке стоимости отд[ельной] личности...» (То, что у меня: мозговой холодок 19-го века).

...«*Наукой не оправданный инд[ивидуали]зм...» (!)* исчез (в 19 в.), а с ним и «мировая скорбь»... Изучение «психологии масс» и «соц[иальных] условий, в кот[орых] живет большинство» — «презренная толпа», — отняло почву для презрения и гордости. «Не ч[елове]к как таковой» (несовершенство природы) мог быть обвинен, а... «*уклад жизни*, которая таким его делает...» (но ведь уклад-то сделан в свою очередь ч[елове]ком «как таковым») — ...не попал ли мощный в своем строгом знании 19-й век в *serge vieux*¹⁶³?.. И не было ли хотя *доли правды* (если не *всей*: o, M[ensch], erkenne dich...) в «*анти-социальном индивид[уализме]*» Байрона. Они верно указывали: *человек несовершенен и делает жизнь царством зла*. Они только не умели сказать, как возможно его совершенство. И эта-то невозможность найти исход из положения — была источником гнетущей их «скорби». Они утверждали: *причина зла — в человеке...* И только из зерна этого утверждения могло вырасти потом само-познание и само-сознание — тема антропософии 20-го века. Изучением «тела» (мирового и человеческого — астро-анатомия) 19 век *закрыл* на время вопрос б[айрониз]ма. Но вопрос назревал. И Ницше опять повторил его: в другой форме. И Н[ицше], и Б[айрон] — берут «ч[елове]ка» как существо *моральное*, а не физиологическое (т.е. в Я и астр[альном] зн[ачении], а не физ[ическом]).

Котляревский говорит, что и *Ницше* «напоминает» инд[ивидуали]зм Б[айро]на, и дал под «блестящей стилистикой» «видоизменение *старых* индивид[уалистических] теорий». С «наукой» своего века Ницше справился, «объявив ее как результат болезнен[ного] преобладания ума над... непосредств[енными] движениями воли»... «Непродуманность, противоречивость» — едва ли позволяет говорить об «учении Ницше»... Это «красивая мечта о своей силе», «свободе ума от всех авторитетов»... презрение «законов истории...» — Котляревский воспекает успехи и рост культуры. «Масса» будто бы быстро растет, развивается. И прежн[ий] инд[ивидуали]ст не может уже чувствовать себя одиноким, все б[ольшее] и б[ольшее] *встречая* понимание и отклик... «*Расстояние*, отделяющее сильную личность от среды, на которую она призвана действов[ать], *постепенно* сокращалось... с кажд[ым] годом общий уровень нравствен[ного] и умств[енного] развития ч[еловечес]тва *повышается*. И всякая самая нравственно *требоват[ельная]* и самая *гениаль[ая]* личность все менее и м[енее] *рискует*

быть одинокой или остаться непонятой... (фраза «гениальная» после всего пережитого...). «*Время аристократизирует массу, а этот процесс способствует установлению в людс[ких] отношениях политики взаимн[ого] понимания и согласия*». («Гениальная» — дважды)¹⁶⁴...

Как спокойно и как уверенно! На издании стоит 1904 год... Да, нужно быть осторожнее в исторических прогнозах... Пути «истории» — можно сказать, «неисповедимы».

Кончаю темой «истории». Байрона же взяла, именно, как щит от лавины «истории», ринувшейся на меня из переживаний Армении. Странно! В Байроне хотела отдохнуть: в его «ландшафтах», в его «природе». И отдохнула. Но критики (Котляревский) повернули мое восприятие. И все же, от впечатлений Армении — это был отдых: в своем привычном «западном» и... «историческом» мире. В Армении разрывал именно «антиисторизм» истории...

Получили телеграмму от «поэтов» с разрешением приехать. Послали ответную. Теперь ждем. — Б.Н. перемогает «концовку» главы об Эривани... Туман и влага весь день. Но хорошо здесь в природе.

Куплена керосинка (наш подарок Анико) — целое торжество. Уже на ней жарили и варили, — с нескрываемой радостью. Очень сближает с грузинами их детская открытость и непосредственность. Чувствуешь и себя как-то проще. Но, Боже мой! до чего их сознание не наше. И скажу: только в одном Робакидзе слышишь знакомые ноты. И это след Германии в нем. Странно: через Германию мы узнаем друг друга. Узнать *непосредственно* очень трудно. Но Германия — это западный человек. Опять та же тема...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К.Н.Бугаева подробно пишет об этом увлечении Белого (см.: Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981. С.140-142). Ср.: «*Москва*», первый том /.../ — продукт собирания камушков. /.../ осенью сел за *Москву*», и — увидел: мозаика — стала приемом; я стал подбирать слово к слову, так точно, как камушки я подбирал в Коктебеле /.../» (Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. С.22).

² *Петр* Николаевич Васильев (1885-1976) — врач, первый муж К.Н.Васильевой; играл ведущую роль в кругу московских антропософов. Об их отношениях с Белым см.: Письма Андрея Белого к А.С.Петровскому и Е.Н.Кезельман / Публикация Роджера Кийза // Новый журнал (Нью-Йорк). 1976. №122. С.163-164; Malmstad J.E. Предисловие // Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом. Указ. изд. С.20-23; а также письмо П.Н.Василье-

ва к Белому (РГБ. Ф.25. Карт.13. Ед.хр.2), относящиеся, по всей видимости, к концу 1920-х:

Борис Николаевич!

Сейчас взял в руки перо, хочу писать Вам, но слова не идут, а говорить мне с Вами *нужно*... Мне так трудно это молчание, которое сейчас легло между нами. Мне трудно, что я не могу сейчас прямо посмотреть Вам в глаза, а я всегда привык быть с людьми искренним, особенно с теми, *кого люблю*... Но Вы говорите, что Вам трудно сейчас говорить... Я понимаю Вас — и уеду... Сейчас во мне все так спутанно, так все болит, что в словах этого не передашь. Но муку эту *принимаю* я как испытание души, которое выведет меня — куда? Не знаю. *Верно*, это к лучшему! *Эта вера* есть во мне. *Эта вера* и в жизни всегда давала мне силы. Не дала мне она упасть духом в тяжелые годы войны... поможет и сейчас. Во всем вижу милосердную руку Его. А все-таки хотелось бы услышать от Вас одно слово хотя бы, потому что ведь я *люблю Вас*... люблю. Поймите это... «Тайна двух, — должна стать тайной трех»? Иногда мне кажется, что это возможно, что это будет! И вот буду ждать. Простите за невнятные, бедные мои слова и дрожащую руку. Но мне легче, что написал Вам.

Ваш П.Васильев

³ Эллис (псевдоним Льва Львовича Кобылинского; 1879-1947) — поэт-символист, критик, переводчик; наряду с Белым, один из создателей символистского «аргонавтического» мифа. Ср.: «...мы верили, что аргонавты причалят в страну "Золотого Руна"; двадцать лет плыли мы по идейным течениям, вдоль островов, очень многих редакций, нигде не задерживаясь, потому что мы плыли вперед и не верили в тихие пристани; но не приплыли, рассеялись к пристаням; я же — приплыл; мы — приплыли, мой спутник и я, — в страну древнюю, в пламенную Колхиду; руна мы не ищем; "руно" — знак всего обновленного мира; но странно, в потопной стране, я нашел свой ландшафт» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.38).

⁴ Дмитрий Иванович и Ольга Александровна *Ростовцевы* — хозяйева дома в Цихис-Дзири, где жили Белый и К.Н.Васильева.

⁵ Владимир Оттонович *Нилендер* (1883-1965) — однокурсник Белого по историко-филологическому факультету Московского университета, филолог-классик, переводчик, «аргонавт», сотрудник издательства «Мусaget».

⁶ Ср. у Белого: «От него [от моря. — Н.М.] всходы к вилле: арабско-готической: "Castella mare"; пред самой войною какая-то американская фирма хотела отстроить курорт первоклассный; /.../ планы — рухнули» (Ветер с Кавказа. Указ. изд. С:37).

⁷ В Цихис-Дзири Белый собирался работать над продолжением романа «Москва».

⁸ Неточная цитата из статьи В.А. Жуковского «О поэте и современном его значении. Письмо к Гоголю» (1848). См.: Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. С.329.

⁹ Неточная цитата из книги Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Светлое Воскресение»).

¹⁰ Д.И. Ростовцев был братом Михаила Ивановича Ростовцева (1870-1952), историка и археолога, профессора Санкт-Петербургского университета, фигурирующего в первой части мемуарной трилогии Белого. Мать А.В. Луначарского Александра Яковлевна Луначарская (1842-1914) — сестра Ивана Яковлевича Ростовцева, отца братьев Ростовцевых.

¹¹ В Цихис-Дзири Белый изучал «ритмический жест» поэм Пушкина «Полтава» и «Медный всадник»; результатом работы стала книга «Ритм как диалектика и "Медный всадник"» (М: «Федерация», 1929).

¹² Мать К.Н. Васильевой — Анна Алексеевна Алексеева; *Петенька* — П.Н. Васильев.

¹³ Всеволод Эмильевич *Мейерхольд* (1874-1940) — актер, режиссер, руководитель Государственного театра им. Мейерхольда (ГосТИМа); с Белым познакомился в конце 1905 в Петербурге. *Зинаида Николаевна Райх* (1894-1939) — ведущая актриса ГосТИМа, жена В.Э. Мейерхольда. Одно письмо З.Н. Райх к Белому (от 22 ноября 1918) опубликовано: Russian Literature Triquarterly. 1975. №13. В мае 1927 ГосТИМ приехал на гастроли в Тифлис в рамках большого турне: Ростов-на-Дону—Тифлис—Ростов-на-Дону—Краснодар—Ростов-на-Дону—Харьков.

¹⁴ *Михаил Александрович Чехов* (1891-1955) — актер, режиссер, племянник А.П. Чехова; в 1927 — директор и ведущий актер МХАТа 2-го. С Белым познакомился 15 октября 1921 на заседании Вольной Философской Ассоциации, ценил его как наставника в антропософии. См.: Козлова М.Г. «Меня удивляет этот человек...»: Письма Андрея Белого к Михаилу Чехову // Встречи с прошлым. Вып.4. М., 1982. С.224-243. Попытки Мейерхольда «перетянуть» к себе Чехова оказались безуспешны; в Тифлисе он получил письмо, где Чехов, в частности, писал: «Театр меня не отпустит, ни в смысле времени, ни вообще! /.../ Мечтал и мечтаю о Вас как о режиссере-чудодее. Буду мечтать и дальше» (Мейерхольд В.Э. Переписка. 1896-1939. М., 1976. С.321).

¹⁵ Возможно, подразумевается стихотворение «В стране золотого рна», написанное Белым в Цихис-Дзири (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С.35-36; Белый А. Стихотворения. Т. II. München, 1982. С.191-193).

¹⁶ Премьера спектакля «*Ревизор*» (с Зинаидой Райх в роли Анны Андреевны и Эрастом Гариным в роли Хлестакова) состоялась в Москве 9 декабря 1926. М.А. Чехов считал этот спектакль самым ярким событием театрального сезона; Белый 3 января 1927 выступал на публичном диспуте, посвященном спектаклю; его восторженный отзыв см.: Мейер-

хольд В.Э. Переписка. Указ. изд. С.256-259; ср.: «Впечатление от "Ревизора" с утра застлало Тифлис: орельефились частности; то, что стояло непригнанным в первых спектаклях, схватилось: живет; Мейерхольд лишь махает рукою, ждет брани; я порами кожи вбирал в себя зрителей; но отношение — внимательное, без предвзятости вовсе» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.71). См. также: Белый А. Гоголь и Мейерхольд // Гоголь и Мейерхольд. М., 1927. С.9-38.

¹⁷ Сергей Александрович Есенин был первым мужем З.Н.Райх (с 4 августа 1917 по 5 октября 1921); В.Э.Мейерхольд усыновил детей Есенина — Татьяну и Константина; крестным отцом К.С.Есенина был Андрей Белый.

¹⁸ Роман «Москва» был переработан Андреем Белым в драму в ноябре 1926. Первую попытку ее постановки во МХАТе 2-м автор считал «провалом», однако, несмотря на это разочарование, уже 22 марта 1927 писатель заключает договор на постановку ее в ГосТИМе, а в июле—августе того же года пьеса «была переработана в связи с макетом постановки, который Мейерхольд показал А.Белому летом того же года в Тифлисе (принцип "спирали" — "все во всем")» (Бугаева К., Петровский А. [Пинес Д.] Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т.27-28. М., 1937. С.608). Ср.: «...слушал В.Э., раскрыв рот, о проекте макета к "Москве"; мало понял — в конкретном; но понял — талантливо; принцип движения, данного в статике, иль — "все во всем": вот проект Мейерхольда; и он принялся живописно описывать, что есть теперешний город: стоите одною ногой на панели, другая свисает надходом в подвал; носом — в окна квартиры, а глазом — в открытый подъезд, где летает лифт; все это — вместе, зараз: шум подвальной пивной, грохи улицы, жизнь заоконной квартиры, лифт, горб тротуара с бегущим трамваем; и кошка, бегущая под каблуками; и это — "Москва"» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.55). Драма «Москва» была включена в постановочный план театра в сезоне 1927/1928 года и значилась там до 1930, однако так и не была поставлена. Подробности проекта см.: Воронин С. Из истории несостоявшейся постановки драмы А.Белого «Москва» // Театр. 1984. №2. С.125-127. Драма Белого «Москва» ныне опубликована Д.Торшиловым (Театр. 1990. №1. С.163-192).

¹⁹ «Гамлет» был первой постановкой, осуществленной М.А.Чеховым в качестве директора Первой студии МХАТ; он же сыграл главную роль («Я стоял перед трудной задачей: у меня не было исполнителя роли Гамлета. Самого себя я не считал вполне пригодным для этой роли, но выбора у меня не было». — Чехов М.А. Путь актера. Л., 1928. С.144). Премьера спектакля состоялась 20 ноября 1924, а еще 17 ноября (после генеральной репетиции) Белый отправил Чехову восторженное письмо: «...сегодня я впервые понял шекспировского Гамлета; и этот сдвиг понимания во мне произошел через Вас» (Встречи с прошлым. Вып.4. Указ. изд. С.227-228). Последний раз Чехов играл Гамлета 20 июня 1928.

²⁰ Премьера «Леса» А.Н.Островского в постановке Мейерхольда состоялась 19 января 1924; роль Аксюши исполняла Зинаида Райх, роль

Счастливецва — Игорь Ильинский. «Мы с К[лавдией] Н[иколаевной] были "Лесом" потрясены совершенно», — писал Белый П.Н.Зайцеву 9 июня 1927 (Минувшее. Вып.13. М.; СПб., 1993. С.263).

²¹ Имеется в виду статья: Zervoz Christian. Le «Revisor» de Gogol réalisé par Meyerhold // Cahier d'art. 1927. №2. P.75-76. См.: Минувшее. Вып.13. С.265.

²² ЗАГЭС — Земо-Авчальская гидроэлектростанция на р.Куре близ Мцхета; построена в 1923-1938 по плану ГОЭЛРО.

²³ *Гетeanум* — антропософский храм в Дорнахе (Швейцария), в сооружении которого Белый принимал участие в марте 1914 — июле 1916.

²⁴ Тициан *Табидзе* (1895-1937) — грузинский поэт, переводчик, двоюродный брат поэта Галактиона Табидзе, основатель «школы» грузинских символистов «Голубые роги». Еще студентом Московского университета опубликовал в тифлисской газете «Сакартвело» рецензию на «Петербург» Белого, а через месяц после личного знакомства напечатал в газете «Заря Востока» (1 июля 1927) статью «Андрей Белый». В кавказском путешествии Белого Т.Табидзе был его главным гидом и помощником. О взаимоотношениях поэтов см. также: Табидзе Т. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1962. С.238-242; Цурикова Г.М. Тициан Табидзе. Л., 1971. С.181-194; Андрей Белый и поэты группы «Голубые роги»: Новые материалы / Публ. и примеч. П.Нерлера // Вопросы литературы. 1988. №4. С.276-279.

²⁵ Сергей Сергеевич *Анисимов* (1876-?) — автор более 30 путеводителей по Кавказу и Закавказью; Белый пользовался путеводителем 1924 года.

²⁶ Неточная цитата из стихотворения Ф.И.Тютчева «Тени сизые смешались...».

²⁷ Белый ездил в Берген из Христиании в октябре 1913 — во время своего пребывания в Норвегии на курсе лекций Р.Штейнера «Пятое Евангелие».

²⁸ *Зина* — будущая спутница жизни П.Н.Васильева.

²⁹ На Сицилии Белый был вместе со своей первой женой А.А.Тургеневой в декабре 1910.

³⁰ Рисунок воспроизведен в сборнике: Андрей Белый: Проблемы творчества. Указ. изд. С.602.

³¹ *Кучино* — поселок под Москвой (Нижегородская ж.д.), где с 24 марта 1925 по 9 апреля 1931 жили Белый и К.Н.Васильева.

³² Паоло *Яшвили* (1896-1937) — грузинский поэт, друг Т.Табидзе, основатель (совместно с ним) союза «Голубые роги». См.: Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.144-147.

³³ *Зарун Карапетовна* Мутафова — хозяйка квартиры в Тифлисе, в которой Белый и К.Н.Васильева останавливались в 1927 и 1928 годах:

«...очень умная, интеллигентная дама, лингвистка, специализировавшаяся на армянском (на древнеармянском); училась в Париже и ранее слушала лекции Брауна, Гревса, Ростовцева; нам сообщила она: у нее проживал М.А.Чехов, Берсенов и Петри» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.67-68).

³⁴ Имеется в виду декоративное панно М.А.Врубеля «Фауст и Маргарита в саду» (1896), выполненное в числе пяти панно на темы «Фауста» для особняка А.В.Морозова в Подсосенском переулке, д.21 (ныне — в Государственной Третьяковской галерее).

³⁵ О работе Белого над «кривой» ритма поэмы Пушкина см.: Минувшее. Вып.13. С.276-277; Рождественский Вс. Письмо Д.С.Усову от 8 сентября [1930 г.] — «Никогда не ведите дневников...» / Публ. Н.В.Рождественской // Литературная газета. 1995. 12 апреля. С.6.

³⁶ Лекция Белого «Личность и поэзия А.Блока» была прочитана в Тифлисе 30 июня 1927, лекция «Ритмический жест "Медного всадника"» — 2 июля.

³⁷ В Коктебеле, в доме поэта М.А.Волошина, Белый и К.Н.Васильева отдыхали с 1 июня по 12 сентября 1924.

³⁸ Первая строка стихотворения Пушкина «19 октября».

³⁹ Из стихотворения Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».

⁴⁰ Ильяшенко.

⁴¹ «*Se non è vero, è ben trovato*» — Если это и не правда, то хорошо придумано (*ит.*).

⁴² См.: Анчугова Т.В. Выступления Андрея Белого в конце 20-х — начале 30-х годов // Андрей Белый: Проблемы творчества. Указ. изд. С.669-671.

⁴³ Нина Александровна Табидзе (урожд. Макашвили; 1900-1965) — жена Т.Табидзе. Ср. у Белого: «...жена Т.Табидзе; с последнею заговорили о бедном Есенине, бывшем в Тифлисе, дружившем с Табидзе; сквозь рой непростительных слабостей ей угадался Есенин-ребенок, себя самого заморозивший; и, вспоминая, его называла она "золотою головкою"» (Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.190). Последний раз С.А.Есенин приезжал в Тифлис в сентябре 1924; об этом см.: Сергей Есенин в Грузии // Табидзе Т. Статьи, очерки, переписка. Указ. изд. С.127-131.

⁴⁴ Виктор Борисович Шкловский (1893-1984) — писатель, критик, литературовед; его отношение к творчеству Белого было неоднозначно, в частности, он считал, что «антропософия мешает писать Андрею Белому» (из статьи «Андрей Белый» в его книге «Гамбургский счет»). Резкий отзыв Шкловского о «капитулянтской» лекции Белого о Блоке, состоявшейся 30 июня 1927 в Тифлисе, см.: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе. 1914-1933. М., 1990. С.511-512 (комментарии А.Ю.Галушкина). О встрече писателей 29 июня 1927 см. у Белого:

...наверное в двадцать девятом году Виктор Шкловский, со мной повстречавшись во Владивостоке и руку свою протянув, деловито заметит:

— Все благополучно.

— Да что?

— А, да помните: в двадцать седьмом году я из Тифлиса послал телеграмму: так знаете, — все невредимы остались...

(Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.182).

⁴⁵ Имеется в виду вступительная статья критика-марксиста Иосифа Марковича *Машбиц-Верова* (1900-1989) в кн.: Блок А. Избранные стихотворения. М.; Л., 1927. Полемику с Машбиц-Веровым см.: Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.183-188.

⁴⁶ *Николай Васильевич* Бугаев (1837-1903) — отец Белого; математик, профессор, декан физико-математического факультета Московского университета. Родился в кавказском селе Душет, где жил до 1847. О нем в этой связи см.: Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.203.

⁴⁷ Фотография воспроизведена в сборнике: Андрей Белый: Проблемы творчества. Указ. изд. С.607.

⁴⁸ Из стихотворения Ф.И.Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..»

⁴⁹ Ср. у Белого: «*Фантаст декадентский*» был натуралист (копировщик); и то, что волнует сердца наши в разблесках и переливах игры его кисти, — ослабленный сильно Кавказ; очень часто — Тифлис. Врубель взял — добросовестно, скромно, умеренно, кой-где натуру природы, укрыв подмалевкою *«в стиле»* природы; в эпоху глумленья над Врубелем у нас глаза не видали природы, а видели *«а ля»* природу: сплошной *«природни»*, иль абстрактный экстракт густо смазывал зрение, как... вазелин, коим мажутся для *«подгорания»* здесь (придает коже бронзовость)» (Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.75). Интересно, что Т.Табидзе в письме к Белому от 5 октября 1929 называет того «двойником Врубеля», открывшим для грузинских поэтов «гений огня» (Цурикова Г.М. Тициан Табидзе. Указ. изд. С.187).

⁵⁰ *Трифон Георгиевич* Трапезников (1882-1926) — историк искусства, антропософ, один из ближайших друзей Белого и К.Н.Васильевой; познакомились в 1912 на лекциях Штейнера, вместе работали на постройке Гетеанума. Т.Г.Трапезников умер 11 июля 1926 в Германии. О нем см.: Жемчужникова М.Н. Воспоминания о Московском Антропософском обществе (1917-1923 гг.) // Минувшее. Вып.6. М., 1992. С.27-30).

⁵¹ *Николай* Николаевич Алексеев — брат К.Н.Васильевой.

⁵² *Екатерина Дмитриевна* Егорова (1861-?) — младшая сестра А.Д.Бугаевой, матери Белого.

⁵³ *Александра Дмитриевна* Бугаева (урожд. Егорова; 1858-1922) — мать Белого.

⁵⁴ С 18 ноября 1921 по 23 октября 1923 Белый жил в Берлине (выезжая в Померанию на морской курорт Свинемюнде); это было время душевного кризиса (ярко описанное М.И.Цветаевой в эссе «Пленный дух»); Белый тогда всерьез увлеклся фокстротом. Ср. у К.Н.Бугаевой: «Но и в гораздо более поздние годы движение тела было также необходимо Б.Н. Оно создавало оттяжку от головы: прогулки, работа со снегом, гимнастика действовали на кровообращение, освежали и отвлекали от мыслей. Отсюда — берлинский фокстрот, как та же оттяжка, как сознательно выбранное средство не сойти с ума в тот трагический период в жизни Б.Н.» (Воспоминания. Указ. изд. С.73).

⁵⁵ Жорж Дюамель (Georges Duhamel; 1884-1966) — французский писатель; его роман «Journal de Salavin» был издан в 1927 дважды: в авторизованном переводе З.Львовского (под названием «Дневник святого») — артелью писателей «Круг» (М.; Л.), и в переводе Ал. Ребинского (под названием «Дневник Салавэна») — Госиздатом.

⁵⁶ Доктор — Рудольф Штейнер (1861-1925), основатель (1913) и руководитель Антропософского общества.

⁵⁷ Неточная цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...»

⁵⁸ Кандидатское сочинение «Об оврагах» Белый писал в 1901 под руководством проф. Дмитрия Николаевича Анучина (1843-1923); см.: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С.424-430, 450-451.

⁵⁹ Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) — геолог-почвовед. Вспоминая о студенческой поре, Белый пишет: «...двадцать четыре тома отчетов Нижегородского и Полтавского земств об оврагообразующей силе, составленных Докучаевым, праздно пылели, меня ожидая /.../» (Там же. С.428).

⁶⁰ У Анненковых, на Бережковской набережной, Белый жил в ноябре — декабре 1923 после возвращения из Берлина. О «безотрадной жизни у Анненковых в комнате с разбитым окном» см.: Минувшее. Вып.13. С.248.

⁶¹ Эмилий Карлович Метнер (1872-1936) — философ, музыковед, критик; глава издательства «Мусагет». В конце 1902 Метнер получил должность цензора в Нижнем Новгороде и выехал туда на постоянное жительство; Белый гостил у него во второй половине марта 1904.

⁶² См.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С.530-590. Нина Ивановна — Н.И.Петровская (1879-1928), писательница символистского круга.

⁶³ Петр Никанорович Зайцев (1889-1970) — поэт, драматург, издательский работник, участник Антропософского общества, «литагент» Белого. О нем см.: А.Белый и П.Н.Зайцев. Переписка / Публикация Дж.Мальмстада // Минувшее. Вып.13. С.215-230; Зайцев П. Московские встречи: Из воспоминаний об Андрее Белом // Андрей Белый. Проблемы творчества. Указ. изд. С.557-592.

⁶⁴ *Елизавета Трофимовна* и *Николай Емельянович Шиповы* — хозяева дома в Кучино — Железнодорожная ул., д.7 (40), где жил Белый. Подразумеваются переговоры об условиях проживания П.Н.Зайцева в этом доме во время отсутствия Белого.

⁶⁵ *Михаил Андреевич Великанов* (1879-1964) — один из основателей советской гидрогеологии, профессор; с Белым познакомился в Кучино в марте 1925.

⁶⁶ В.О.Нилендер.

⁶⁷ Возможно, имеется в виду *Маргарита Коведяева*, антропософка. (Сообщено Л.А.Новиковым).

⁶⁸ П.Н.Васильев.

⁶⁹ *Дарья Николаевна Часовитинова* (1896-1968) — антропософка, «ремингтонистка» Белого и Б.Л.Пастернака. (Сообщено Л.А.Новиковым).

⁷⁰ *Анна Никифоровна Киселева* — антропософка, организатор харьковского антропософского общества. (Сообщено Л.А.Новиковым).

⁷¹ «Приставленный ко мне бес все при мне и мучает меня» (Запись от 22 ноября 1896 г. // Дневник Льва Николаевича Толстого / Под редакцией В.Г.Черткова. Т.1. 1895-1899. М., 1916. С.61).

⁷² У Толстого: «А главное — то, что самое, что огорчает нас и кажется нам, что мешает нам исполнить наше дело жизни, — и есть наше дело жизни. Есть обстоятельство, условие жизни, которое мучает тебя: бедность, болезнь, неверность супруга, клевета, унижение, — стоит тебе только пожалеть себя, и ты несчастнейший из несчастных. И стоит только понять, что это — то самое дело жизни, которое ты призван делать: жить в бедности, в болезни, простить неверность, клевету, унижение, — и вместо уныния и боли — энергия и радость» (Запись от 27 ноября 1896 // Там же. С.62).

⁷³ Резко очерченное (нем.).

⁷⁴ *Галина Сергеевна Киреевская* — актриса Камерного театра, антропософка.

⁷⁵ Григол (Григорий Титович) *Робакидзе* (1884-1962) — грузинский драматург, прозаик, критик, член объединения «Голубые роги», с 1923 — председатель Всегрузинского союза новых писателей; в 1932 эмигрировал в Германию. Еще в 1919 Г.Робакидзе опубликовал очерк «Андрей Белый» (Робакидзе Г. Портреты: Петр Чаадаев, Лермонтов, Василий Розанов, Андрей Белый. Тифлис, 1919). Три письма Г.Робакидзе Белому опубликованы П.Нерлером: Вопросы литературы. 1988. №4. С.281-282; см. также: Никольская Т.Л. Г.Робакидзе и русские символисты // Блоковский сборник. XII. Тарту, 1993. С.124-130.

⁷⁶ *Владимир Михайлович Викентьев* (1882-1960) — историк-египтолог, муж Марии (Магдалины) Ивановны Сизовой (1899-1969), писательницы, режиссера, театрального педагога; оба — антропософы.

⁷⁷ Имеется в виду пьеса П.Н.Зайцева и Ю.Родиана (Исаака Семеновича Белого; он же — Илья Рудин) «Фрол Севастьянов», написанная для МХАТа 2-го; генеральная репетиция пьесы состоялась не 8 мая, как полагала К.Н., а 7-го (см.: Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1986. Т.2. С.495-497); 8-го состоялась премьера (режиссер — В.А.Громов, художественный руководитель постановки — М.А.Чехов); Белый посмотрел пьесу только 22 сентября 1928.

⁷⁸ Возможно, имеется в виду Вера Васильевна Соловьева (1892-?), актриса МХАТа 2-го.

⁷⁹ Конфликт во МХАТе 2-м начался не с опубликования 22 марта 1927 открытого письма М.П.Чупрова, как полагает Дж.Мальмстад (А.Белый и П.Н.Зайцев. Переписка. Указ. изд. С.258. Прим.3), а еще в ноябре — декабре 1926, когда группа актеров во главе с А.Д.Диким впервые выразила недовольство единоличным руководством М.А.Чехова и «мистикой» (см.: Чехов М.А. Литературное наследие. Т.2. Указ. изд. С.473-475). Под «мистикой» имелись в виду чеховские попытки сценически воплотить штейнеровское учение об эвритмии; о значении антропософии для М.А.Чехова см.: Чехов М. Жизнь и встречи // Новый журнал (Нью-Йорк). 1946. №8. Конфликт в театре разрешился тем, что после окончания сезона 1927/28 гг. Чехов с женою уехал в Германию для отдыха и лечения, а в сентябре стало известно, что он заключил контракт на два года с режиссером Максом Рейнгардтом; 9 октября 1928 Главискусство освободило Чехова от должности директора театра.

⁸⁰ *Ксения Карловна* Чехова (урожд. Зиллер; 1897-1970) — вторая жена М.А.Чехова.

⁸¹ Георгий Николаевич (Гогла) *Леонидзе* (1899-1966) — грузинский поэт, прозаик.

⁸² Колау (Николай Галактионович) *Надирадзе* (1895-1990) — грузинский поэт.

⁸³ Алексей (Али) Ильич *Арсенишвили* (1892-1939) — грузинский поэт, критик, литературовед, корреспондент А.А.Блока.

⁸⁴ *A parte* — высказывание как бы про себя, но сделанное с намерением, чтобы присутствующий его услышал (*ит.*).

⁸⁵ Павле Ингорква — грузинский писатель, член президиума Союза писателей Грузии, историк-этнограф. О нем см.: Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.200-206.

⁸⁶ Имеются в виду главка «Город» из первой части 4-й «симфонии» «Кубок метелей» (Белый А. Старый Арбат. М., 1989. С.263-264) и глава 10 в первой части романа «Москва» — «Московский чудак» (Белый А. Москва. М., 1989. С.87-88).

⁸⁷ *И.Лежнев* (наст. имя: Исаак Григорьевич Альтшулер; 1891-1955) — литературовед, журналист. Белый печатался в организованном и редактировавшемся им журнале «Новая Россия» в 1925-1926; вел с Лежневым пе-

реговоры на предмет опубликования «Москвы» в его журнале, однако к августу 1925 договор был ликвидирован. См.: Зайцев П. Московские встречи. Указ. изд. С.563-564; Минувшее. Вып.13. С.250-251 (комментарий Дж.Мальмстада).

⁸⁸ Возможно, имеются в виду размышления Л.Н.Толстого о чувстве и разуме (Дневник Льва Николаевича Толстого. Т.1. Указ. изд. С.8-50). См., например: «Красивая женщина улыбается, и мы думаем, что потому, что она улыбается, правда и хорошо то, что она говорит, когда она улыбается. А часто улыбка приправляет совсем гнилое» (7 декабря 1895 г.; с.9).

⁸⁹ «М» и «Ж» — обозначение идеального мужчины и идеальной женщины как типичных половых форм, которых в действительности не существует, в книге немецкого ученого Отто Вейнингера (1880-1903) «Пол и характер» (Гл.1. «Мужчины и женщины»).

⁹⁰ Инженер, вдовивший Белого и К.Н.Васильеву по ЗАГЭСу в июне 1927; о нем см: Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.97.

⁹¹ «Так говорил Заратустра» (1883-1885) и «Ессе Ното» (1888) — произведения Фридриха Ницше.

⁹² Александр Яковлевич *Таиров* (1885-1950) — режиссер, основатель (1914) и руководитель Камерного театра.

⁹³ Ср.: «Сейчас нашел в дневнике рецепты, прочел их, и мне стало легче: отделить свое истинное Я от того, которое оскорблено и сердится, помнить, что это — не помеха, не случайная неприятность, а самое мне предназначенное дело, и, главное, знать, что если во мне нелюбовь к кому-нибудь, то пока есть во мне эта нелюбовь — я виноват. А как знаешь, что виноват, так легко» (Запись от 14 сентября 1896 // Дневник Льва Николаевича Толстого. Т.1. Указ. изд. С.47).

⁹⁴ Акакий *Церетели* (1840-1915) — грузинский поэт и общественный деятель.

⁹⁵ Тициан Табидзе считал себя «грузинским Бальмонтом» (Цурикова Г.М. Тициан Табидзе. Указ. изд. С.78). Ср.: «...опять показалось: Яшвили — их Брюсов (конечно, де-факто, не Брюсов), Табидзе — Бальмонт (и весьма не Бальмонт), Надирадзе же — Блок; но под "Блок", "Бальмонт", "Брюсов" я мыслю тип "ритмов" в столетиях себя повторяющих; мог бы сказать, что Блок — Лермонтов, а К.Бальмонт повторяет Жуковского» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.190).

⁹⁶ Verstand — ум, разум, рассудок; Empfindung — чувство (нем.).

⁹⁷ «*Шахтинское дело*» — суд над 53 специалистами угольной промышленности летом 1928, ставший началом массовых репрессий против старой интеллигенции.

⁹⁸ В романе Ильи Эренбурга «Трест Д.Е. История гибели Европы» (1923) описана история планомерного уничтожения европейской цивили-

лизации во имя торжества технического разума. В образе авантюриста Енса Боота современники видели воплощение антигуманизма и милитаризма.

⁹⁹ «Голубые роги» — название поэтической группы, основанной Т. Табидзе и П. Яшвили в 1915, и альманаха, издававшегося с 1916.

¹⁰⁰ Микалоюс Константинос Константино (Николай Константинович) *Чюрленис* (1875-1911) — литовский живописец и композитор.

¹⁰¹ Цитата из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (песнь 3).

¹⁰² Генри Линч (1862-1913) — ирландский путешественник, географ, исследователь Армении. Два его путешествия по Армении (август 1893 — март 1894, май — сентябрь 1894) нашли отражение в двухтомнике «Армения» (*Armenia: Travels and Studies. Vol.1-2. London; New-York; Bombei, 1901; Армения. Очерки и этюды. Т.1-2. Тифлис, 1910*). В дневнике К.Н. содержатся конспективные выписки из этой книги и заметки по поводу прочитанного, отделенные от основного текста горизонтальными чертами; приводим один из таких фрагментов:

«Истории Малой (азиатск[ой]) Арм[енин]и не пишу. То же самое: смена завоевателей и... кровь, кровь. Да: страна, в кот[орой] постоянно лились потоки крови. Через всю историю, через сотни и тысячи лет. Какое кровавое место земного шара. Не ясна мне культурная роль армян. Но эта кровавая жертва — ясна. Образ Армении связался во мне с образом льющейся крови. Так она встала теперь в моем сознании. И не представляю себе, чтобы народ, отдававший всегда столько крови, мог внести в историю ч[еловечес]тва другой какой-ниб[удь] вклад. В остальном он рисуется мне скорее *воспринимающим*, а не *дающим*. При слове Армения выступает передо мной теперь *красно-черное*: цвет смерти через насилие. Этот цвет переживаю в звукосочетании *Арм...* Смерть в крови, кровавая смерть. Наше *смерть*, погребенье в земле под крестом и восстание в небо. С — песок, М — могила, Е крест, РТ — воскресение в небо... *Арм* — *ар* — кровавый удар, М (мен) — безжизненный труп».

¹⁰³ *Мариэтта* Сергеевна *Шагинян* (1888-1982) — писательница, журналистка, краевед. С Белым познакомилась в студенческие годы, активно переписывалась с ним (10 писем Белого к М.С.Шагинян (1908-1928) опубликованы в кн.: Шагинян М. Человек и время. М., 1980. С.305-323). В сентябре 1922 Шагинян была командирована редакцией газеты «Правда» в республики Закавказья; собранные ею материалы стали основой для нескольких документальных книг (Белый хвалил ее работу на собрании краеведов при Оргкомитете ВССП 23 ноября 1932; см.: Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян — художник. М., 1981. С.207-209), а также для романа «Гидроцентральный».

¹⁰⁴ Мартирос Сергеевич *Сарьян* (1880-1972) — армянский художник. Переписка Белого и Сарьяна (1928-1930) вошла в кн.: Белый А. Армения. Очерк, письма, воспоминания / Сост., вступ. статья, примечания Н.Гончар. Ереван, 1985. С.82-106.

¹⁰⁵ Т.Г.Трапезников.

¹⁰⁶ *Макарий* Египетский, или Великий (300-390 припл.) — знаменитый аскет; почти 50 лет был руководителем монашеских скитов в Нижнем Египте; ему приписывается составление более 50 поучений, в XVIII веке ставших любимой книгой немецкий пизтнстов.

¹⁰⁷ Александр Иванович *Таманов* (Таманян; 1878-1936) — архитектор, создатель генерального плана Еревана; сочетал классические формы с национальными армянскими. О нем см.: Белый А. Армения. Указ. изд. С.11-12, 22-24.

¹⁰⁸ Александр Афанасьевич *Спендиаров* (1871-1928) — армянский композитор и дирижер.

¹⁰⁹ Василий Давидович *Корганов* (1865-1934) — музыковед, автор монографий о Бетховене, Бахе, Верди, Моцарте.

¹¹⁰ Лина Сергеевна Шагинян — художник, скульптор.

¹¹¹ Яков Самсонович Хачатрян (1885-1960) — переводчик с армянского.

¹¹² Егише *Чаренц* (Е.А.Согомонян; 1897-1937) — армянский поэт. Белый подарил ему роман «Серебряный голубь» с автографом: «Глубокоуважаемому Егише Агаровичу Чаренцу с надеждой на новые встречи. Андрей Белый. 1928, 22 мая» (см.: Белый А. Армения. Указ. изд. С.66, 199-200).

¹¹³ Гарегин Владимирович *Бебутов* (1904-1987) — армянский поэт, литературовед, исследователь творчества В.В.Маяковского; описал в мемуарном очерке свою встречу с Белым и опубликовал факсимиле автографа Белого на книге «Стихи о России» (Берлин, 1922): «Глубокоуважаемому Гаррику Владимировичу Бебутову на добрую память Андрей Белый, Эривань 1928 года. 22 мая» (см.: Бебутов Г. Отражения: Воспоминания, статьи. Тбилиси, 1973. С.96-100).

¹¹⁴ Т.Г.Трапезников.

¹¹⁵ Белый жил в Париже с 1 декабря 1906 до начала марта (н.ст.) 1907.

¹¹⁶ Хачатур *Абовян* (1805-1848) — армянский писатель, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка, педагог, этнограф. Его именем названы город в Армении и проспект в Ереване, на котором жили Белый и К.Н.Васильева.

¹¹⁷ Эдуард Иванович Каспарьян — командир севанской флотилии, состоявшей из двух пароходов («Лукашин» и «Амбарцумян») и моторной лодки.

¹¹⁸ «Кодаком» Белый в шутку называл свою способность фиксировать в памяти обстоятельства того или иного события, подробности пейзажа; «...кодак, — наблюдательность, ставшая просто инстинктом писательским» (Белый А. Ветер с Кавказа. Указ. изд. С.49). См. также: Бугаева К.Н. Поездка на Кавказ // Белый А. Армения. Указ. изд. С.118.

¹¹⁹ Свое обещание Белый сдержал: см. главу «Севан—Дилижан—Караклис» в очерке «Армения» (Белый А. Армения. Указ. изд. С.74-75).

¹²⁰ Ср.: «Отчего приятно ехать? Оттого, что это — самая эмблема жизни. Жизнь — едешь» (Запись от 6 ноября 1896 // Дневник Льва Николаевича Толстого. Т.1. Указ. изд. С.57).

¹²¹ В учении об эвритмии каждой букве алфавита соответствуют особые телодвижения; подробное изложение этого учения К.Н.Васильева составила летом 1930. Машинопись «Эвритмия» (118 с.) хранится у Л.А.Новикова.

¹²² Елена Петровна *Блаватская* (1831-1891) — писательница, основательница теософского движения; родилась и выросла в Тифлисе.

¹²³ См.: Брюсов В. Летопись исторических судеб армянского народа от VI в. до Р.Хр. по наше время. М.: Моск. Армянский комитет, 1918.

¹²⁴ *Аверроэс* (Ибн Рушд.; 1126-1198) — арабский философ, врач; представитель восточного аристотелизма; жил в Андалусии и Марокко.

¹²⁵ *Авиценна* (Ибн Сина; ок.980-1037) — ученый, философ, врач; жил в Средней Азии и Иране.

¹²⁶ *Звартноц* — храм близ Эчмиадзина (построен в 641-661 гг.) — памятник раннесредневековой армянской архитектуры, сохранившийся в руинах.

¹²⁷ *Св. Нина* (276-340) — гречанка из Каппадокии, проповедовала в Грузии христианство, ставшее там ок. 337 государственной религией.

¹²⁸ *Св. Григорий* — первый апостол христианства в Армении; в 301 вылечил армянского царя Тиридата III и склонил его к переходу в христианство; в 302 рукоположен в патриархи Армении.

¹²⁹ *Софья Андреевна Толстая-Есенина* (1900-1958) — внучка Л.Н.Толстого, жена С.А.Есенина (с июня 1925).

¹³⁰ Н.А.Табидзе.

¹³¹ *Медея* — дочь П.Яшвили.

¹³² Евгений Германович *Лундберг* (1883-1965) — прозаик, критик; один из организаторов берлинского издательства «Скифы». Жена его — Елена Давыдовна Гогоберидзе-Лундберг (1897-1978) — переводчица грузинских классиков на русский язык, литературовед.

¹³³ Вероятно, имеется в виду книга: Dumas Alexandre. Impressions de voyage: Le Caucase. Т.1-2. Paris: Calmann-Lévy, 1860. На русском языке книга вышла в 1861: Кавказ: Путешествие Александра Дюма / Пер. с фр. П.Робровского, с прим. Н.П.Берзенова. Вып.1-2. Тифлис, 1861.

¹³⁴ Кроме Т.Г.Трапезникова, установить, кто имеется в виду, не удалось.

¹³⁵ Очерк «*Армения*» был опубликован в журнале «Красная новь» (1928. №8); автограф — РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.41.

¹³⁶ «Остаться наедине со своим ”я“» (нем.).

¹³⁷ Речь идет об издании Байрона в серии «Библиотека великих писателей», редактировавшейся С.А.Венгеровым: Байрон Джордж Гордон. Полное собрание сочинений. Т.1-3. СПб., 1904-1906; в него вошли переведенные В.Брюсовым стихотворения из книги «Часы досуга», также «Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «С французского».

¹³⁸ Прафеномен (нем.) — первоначальная нерасчлененность; термин введен И.В.Гете.

¹³⁹ Эжен Делакруа (1798-1863) — французский художник-романтик; Сальватор Роза (1615-1673) — итальянский художник.

¹⁴⁰ Михаил Алексеевич *Фортуатов* (1899-1984) — ихтиолог, руководитель севанской станции по разведению форели; о нем см.: Белый А. Армения. Указ. изд. С.72.

¹⁴¹ Неточная цитата из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (Байрон Джордж Гордон. Полное собрание сочинений. Т.1. Указ. изд. С.112; строфа ХСІ; перевод О.Н.Чюминой).

¹⁴² Елена Николаевна Кезельман, сестра К.Н.Васильевой. См.: Письма Андрея Белого к Е.Н.Кезельман / Публикация Роджера Кийза // Новый журнал (Нью-Йорк). 1976. №124. С.163-172.

¹⁴³ Вероятно, имеется в виду Ольга Николаевна Анненкова (ум.1949) — антропософка, одна из организаторов Русского антропософского общества, писательница.

¹⁴⁴ Дом поэта — дом Акакия Церетели (см. примеч. 94) в Сачхери, принадлежавший Котэ Абдушели.

¹⁴⁵ Имеется в виду статья «Несколько замечаний по поводу одной статьи в "Блэквудском Обозрении", №29. Август 1819 г.» (Байрон Джордж Гордон. Полное собрание сочинений. Т.3. Указ. изд. С.ХХІІІ-ХХVІІ).

¹⁴⁶ М.А.Чехов.

¹⁴⁷ Неточные цитаты из вышеуказанной статьи Байрона (С.ХХІІІ, ХХV, ХХVІ).

¹⁴⁸ Трехчленная система выборов (нем.).

¹⁴⁹ *Тиридат* (Трдаты) — имена трех армянских царей парфянского происхождения; *Вагаршаки* — имеются в виду Вагаршак I, родоначальник армянской ветви Аршакидов, явившийся в Армению около половины III в. до Р.Х., и Вагаршак II, недолго правивший царством на рубеже IV и III веков до Р.Х.

¹⁵⁰ Подразумевается мистерия Байрона «Каин» (1821).

¹⁵¹ «О, человек! Познай себя!» (нем.) — строка из мистерии Рудольфа Штейнера «У врат посвящения». Фрагмент из нее в переводе А.Белого опубликован С.В.Казачковым (Литературное обозрение. 1995. №4/5. С.69-73).

- ¹⁵² П.Н.Васильев.
- ¹⁵³ См. ответное письмо Белого к П.Н.Зайцеву от 20 июня 1928. (Минувшее. Вып.13. С.289-290).
- ¹⁵⁴ Последний разговор Белого с Рудольфом Штейнером состоялся 20 марта 1923.
- ¹⁵⁵ Речь идет о статье Н.А.Котляревского «Байронизм в его историческом развитии и значении» (Байрон Джордж Гордон. Полное собрание сочинений. Указ. изд. Т.3. С.590-616).
- ¹⁵⁶ Конспект указанной статьи Н.А.Котляревского (С.597-598, 598-599, 595-596).
- ¹⁵⁷ Неточные цитаты из стихотворения Байрона «На тему из Горация» (Байрон Джордж Гордон. Полное собрание сочинений. Т.3. Указ. изд. С.528-529. Перевод Н.Холодковского).
- ¹⁵⁸ Неточная цитата из последнего стихотворения Байрона (написанного им в Миссалонги 22 января 1824, в день 36-й годовщины его рождения) (Там же. С.570. Перевод Д.Михаловского).
- ¹⁵⁹ *Иафет* — герой мистерии Байрона «Небо и земля» (1822).
- ¹⁶⁰ Станислав *Пишбышевский* (1868-1927) — польский прозаик и драматург.
- ¹⁶¹ Далее — компиляция из указанной статьи Н.А.Котляревского (С.595, 601). Под №1-12 перечислены названия произведений Байрона, фигурирующих в статье.
- ¹⁶² Неточный конспект статьи Н.А.Котляревского (С.606-608, 610).
- ¹⁶³ Порочный круг (*франц.*).
- ¹⁶⁴ Неточные цитаты из статьи Котляревского (С.613-616).

Нельзя сказать, что Василий Витальевич Шульгин не собирался работать над записками о годах, проведенных на Лубянке и во Владимирской тюрьме. В черновом наброске плана своей автобиографии он писал, что она «должна послужить как бы канвой для описания весьма длительной эпохи, начинающейся с 1878 года и продолжающейся по сей день, с тенденцией захватить столетний срок». «На этой канве личного характера, — писал он далее, — должны быть вышиты события, имеющие общественное и политическое значение, характерные для этого куска времени».

Работа над «Пятнами» не входила в «Программу "великих дел на грядущее десятилетие"», составленную им в феврале 1968 года. Слишком много другого, более важного, по его мнению, В.В.Шульгин хотел осуществить в первую очередь — это воспоминания о гражданской войне, об эмиграции, работа над многотомным историческим романом «Приключения князя Воронцового» и др.

«Пятна» были предложены мною в мае 1970 года, когда В.В.Шульгин приехал в Ленинград для работы над циклом своих воспоминаний. Он не отверг их в принципе, но хотел приступить в первую очередь к воспоминаниям о гражданской войне, озаглавленным им «1917-1919» (Лица: Биографический альманах. Вып.5. М.; СПб., 1994. С.121-328). Они сложились в его голове задолго до нашей встречи. Поэтому вежливо, но твердо он отверг все мои доводы в пользу тюремных воспоминаний. И мы отодвинули их «на потом». Не спорить же мне было с девяностодвухлетним старцем! Но когда впереди обозначился конец работы над «1917-1919», подошел черед тюремной темы.

Оставаясь днем в одиночестве, Василий Витальевич пытался писать сам. К этому времени даже специальные очки не могли ему помочь. От длительного напряжения слезились глаза и начинала болеть голова. Тогда он стал работать «на ощупь». На темном фоне стола были хорошо видны белые листы раскрытой ученической тетради, по которым он водил школьной «вставочкой» с пером «уточка» или карандашом. За день он исписывал не более четырех-пяти страниц.

Просматривая вечерами написанное, я понял, что это не в полном смысле воспоминания, а скорее их подробный план-проспект. Поэтому было решено, что вечерами в будние дни он будет диктовать «1917-1919», по выходным — «Пятна». Когда же первая работа была закончена, мы целиком переключились на вторую и закончили ее в несколько дней.

Почему «Пятна»? Эти записки не являются в полном смысле воспоминаниями с последовательным изложением событий. В течение долгих

двенадцати лет заключения время как бы застыло в четырех стенах камеры с «кормушкой» в двери. И отсчет его велся не по часам, дням, месяцам, годам, а по походу в тюремную поликлинику или в баню. Единственными светлыми пятнами в этом застывшем однообразии, в этой долгой камерной тьме были люди, их судьбы, характеры, поведение в неординарных условиях. Поэтому Василий Витальевич и назвал эти записки кратко, но точно — «Пятна».

Когда тюремная тема была закончена, В.В.Шульгин, сам того не замечая, перешагнул дальше и стал рассказывать о своих первых днях жизни на свободе. Потом он должен был уехать, и мы решили, что в будущем Василий Витальевич вернется к этим воспоминаниям. Установили даже некий рубеж, на котором можно будет поставить точку, — окончание работы над кинофильмом «Перед судом истории». Но этому не суждено было сбыться. После «Пятен» он приступил к большому циклу своих воспоминаний об эмиграции, о семье, Киеве, «Киевлянине». Он стремился в первую очередь заполнить лакуны в описании «весьма длительной эпохи». И это почти удалось. Василий Витальевич не успел лишь поведать о драматических событиях в Югославии, оккупированной немцами во время Второй мировой войны, свидетелем (но не участником) которых он был, проживая в городке Сремски Карловцы на границе Хорватии и Сербии. Правда, этот пробел в какой-то степени восполнила его жена Мария Дмитриевна в своей большой работе «Спуск в Мальштрем».

И еще несколько слов о «Пятнах». Чем дальше я писал и «пропускал» через себя эти записки, тем больше меня охватывало некоторое недоумение. Я не сомневался, что все, о чем рассказывал В.В.Шульгин, было правдой. Но все более я чувствовал какую-то приглаженность и недосказанность. К тому времени нам уже было многое известно из того, что творилось в стране в годы репрессий. И я однажды осторожно высказал свое впечатление.

Василий Витальевич усмехнулся не то с горечью, не то с сарказмом и сказал примерно так:

— Неужели вы предполагали, что я могу написать иначе...

И не договорил. А я не стал развивать эту тему.

Несколько позже, когда я гостил у В.В.Шульгина осенью того же года, он подарил мне свою книгу «Письма к русским эмигрантам» и написал ее своими каракулями: «Дорогому Ростиславу Григорьевичу на добрую память о временах недобрых. Этой книги я не люблю. Здесь нет лжи, но здесь есть ошибки с моей стороны, неудачный обман со стороны некоторых лиц. Поэтому "Письма" не достигли цели. Эмигранты не поверили и тому, что было неверно, и тому, что изложено точно. Жаль. В.Шульгин. 1970, 3.Х».

Тема правдивости отображения действительности была для него принципиальной. Это была его жизненная позиция и самая болевая точка его жизни в СССР. Ему, человеку старой культуры, никогда не лгавшему, было непонятно, почему он должен кривить душой. И снова и снова он возвращался к этому вопросу. Так, в одном из писем к А.М.Кучумову он, в частности, писал:

Живой интерес к /.../ прошлому, обозначившийся с некоторого времени, даст возможность добросовестным историкам восстановить историческую правду, иными словами — и тени, и свет. По законам природы нет света без тени, а те, кто рисует или одной черной тушью, или одними белилами, неизменно служат неправде. Простите меня за эту не очень глубокую философию, но невольно возвращаешься к ней, отдав два года фильму, получившему название «Перед судом истории».

Мою брошюру, по Вашему желанию, при сем препровождаю [имеются в виду «Письма к русским эмигрантам». — Р.К.] /.../ К сожалению она не имела успеха среди эмигрантов, которым была предназначена /.../ Какова причина, таково недоверие. Это то, о чем я говорил выше. Действительно, мне пришлось писать почти одними белилами. Там, где я хотел положить тени, мне этого не удалось. И вот почему эмигранты отнеслись отрицательно к моим писаниям. Самые беспристрастные из них все же утверждали, что нет света без тени, а потому усомнились в свете.

Возвращаясь к «Пятнам» после этого отступления, невольно хочется задать вопрос: почему же он не следовал своему принципу отображать свет и тени?

При выходе из тюрьмы Василий Витальевич дал обязательство не разглашать условий тюремного режима. «Я прочел это обязательство несколько раз, не решаясь его подписать сразу — мне, конечно, оно очень не понравилось, — пишет он в «Пятнах». — Каждый заключенный в глубине души таит надежду: "Вот выйду на свободу и расскажу, что тут делается". Затем я посмотрел на открытую дверь, за которой была свобода /.../ Ходить, гулять, наслаждаться природой! И подписал: "В.Шульгин"».

Оглядываясь сейчас назад, в прошлое четвертьвековой давности, можно сказать, что он не покривил душой. В тюрьме и так было мало света, поэтому и тени выделялись неотчетливо. Само длительное тюремное заключение было сплошной тенью. Он и написал об этом так, как считал возможным в то конкретное время и в тех конкретных обстоятельствах.

Как во всех своих произведениях, он и здесь находится где-то на втором плане. Нет ни озлобленности, ни жалоб на судьбу, как будто все это произошло не с ним, а с кем-то другим. Может даже сложиться впечатление, что он сам запрограммировал свою судьбу. В какой-то степени это так и было.

Летом 1944 года, когда всем было понятно, что крах Германии неизбежен, сын Василия Витальевича предложил ему вместе уехать в одну из нейтральных стран (кажется, в Швейцарию). Дмитрий Васильевич Шульгин, работавший в Польше на строительстве шоссейных дорог, прислал отцу для заполнения и оформления необходимые документы. Но Василий Витальевич их не оформил. В конце заявления, перед подписью, следовало написать: «Хайль Гитлер». А он этого сделать не мог. Принципиально. В течение всего времени оккупации Югославии он ни разу не вступил в

разговор ни с одним немцем. Он продолжал хранить верность союзникам России еще по первой войне.

И отъезд не состоялся. Понимал ли он, к чему это приведет? Очевидно, понимал, но не ожидал такого сурового приговора. Но принял его с достоинством и прожил эти долгие двенадцать лет, ни в чем не изменив себе.

В то раннее морозное утро 24 декабря 1944 года я медленно брел по направлению к своему дому, неся кантицу с молоком. Оно было еще совсем теплое — я только что получил его у Душанки прямо из-под коровы. Было что-то около семи утра, когда я встретил бойца, состоящего при коменданте Сремских Карловцев. Это был высокий, стройный молодой человек, но с совершенно бабьим лицом, что было очень неприятно.

Не здороваясь и смотря куда-то в сторону, он сказал:

— Комендант просит вас зайти на минуту.

— Хорошо, только вот занесу домой кантицу.

— Зачем? — спросил он небрежно. — Ведь только на пять минут.

Я согласился, и мы повернули к Ратуше, в которой жил комендант. Городок уже просыпался, попадались первые прохожие, приветствовавшие меня. Это раннее приглашение не вызвало у меня никаких подозрений. С комендантом у нас были хорошие отношения, и он часто приглашал меня то на стакан чаю, то на обед, посылая этого бойца. Раньше, до войны, он был инженером, вдобавок еще и киевлянином, знал Некрасова, бывшего члена Государственной Думы, тоже инженера, участвовавшего в строительстве шлюзов на Московском канале... Так что поговорить нам было о чем.

Но коменданта в Ратуше не оказалось. Боец провел меня на второй этаж.

— Подождите тут. К окну не подходите, — приказал он и ушел, грохоча подкованными башмаками.

— Что за вздор! — сказал я себе. Подошел к окну. На площади стояли какие-то люди. Увидев меня, они стали махать руками, делая мне знаки, но я их не понял.

В это время открылась и захлопнулась дверь. Кто-то вошел. Я подумал, что это комендант, и обрадованный обернулся. Но это был не он. Передо мною стоял незнакомый мне молодой офицер с лицом «лупса». Он грозно спросил:

— Вы знаете, кто я?

— Должно быть, из ГПУ, — догадался я.

— Это теперь иначе называется. Вы задержаны...

— Арестован? — перебил я, пытаюсь уточнить.

— Нет еще. Но это все равно. Оставайтесь здесь и не подходите к окну.

Затем, указав на стол, «пупс» добавил:

— И садитесь писать.

— Что писать?

— Историю вашей жизни, — был ответ.

Он повернулся на каблуках и исчез, хлопнув дверью.

Историю жизни?.. Я начал с выборов в Государственную Думу... Исписал семьдесят листов.

Принесли поесть что-то жирное. Я уже отвык от такой пищи, но голод взял свое. Поел... Расстроился желудок... Меня провели в туалет. Туда уже сопровождали.

Не заметил, как наступили сумерки. Кто-то затопил печку. Наконец пришел комендант, держа в руках мою кантицу. Я понимал, что надеяться не на что, так как я уже переступил порог, отделивший меня навсегда от «той» жизни. Но приход человека, который хоть слабо, но все-таки связывал меня с еще вчерашним днем среди нового и враждебного, невольно радовал и заставлял надеяться.

— Вот ваше молоко, — улыбаясь, сказал он.

Затем спросил:

— Вы кончили писать?

— Да, прочтите, пожалуйста, — протянул я свою рукопись.

Он присел к печке и долго читал при красном свете пылающих дров. Я молча ждал. Кончив, он сказал:

— Это крайне интересно. Но не знаю, удовлетворятся ли они этим.

«Они», конечно, не удовлетворились. Когда мою рукопись прочитал какой-то капитан, оказавшийся начальником «пупса», то он просто небрежно бросил ее в печку. Но это было уже позже и не здесь...

Комендант ушел, оставив кантицу. Через некоторое время пришел «пупс».

— Пойдем!

Меня вывели из Ратуши на площадь. У подъезда стоял грузовик. С трудом влез в кузов через колесо, «пупс» сел в кабину. Мотор заурчал, грузовик дернулся несколько раз и поехал, подсакивая на ухабах. Была безоблачная морозная рождественская ночь, луна сияла всюду. Въехали на какую-то улицу, по обеим сторонам которой проплывали и таяли в темноте хорошо знакомые здания, которых мне никогда больше уже не суждено было увидеть.

«Прости, на вечную разлуку...»
Так начался новый период в моей жизни.

Проехали около одиннадцати километров, и я уже порядком закоченел. Наконец остановились у переправы через Дунай. Мост длиной в 800 метров, некогда стоявший тут, был взорван, и только короткий его огрызок торчал у берега.

Кошка, воспевавшая собственную красоту, декламировала:

Мой хвост, что пушист и не жидок,
Длиннее, чем мост в Уйвидок*...

По-венгерски Уйвидок, по-сербски Нови Сад, что значит примерно «новое строение». Этот город лежал на той стороне Дуная.

Мы погрузились на пароход и направились к противоположному берегу. Вниз по течению шли льдины, которые расталкивал нос корабля. Ему было все равно: сербы, венгры, русские...

Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут...

В Новом Саду ЧК заняла одну из многих бывших фашистских резиденций. Отступившие оставили дом в полном порядке, а пришедшие не успели его еще разграбить. Туда меня и доставили.

«Пупс» передал меня своему начальнику и смылся. Начальник «пупса» был ростом несколько ниже его, но старше возрастом. Носил он черную куртку с глянцем. Еврей, как потом оказалось, из Киева. Фамилия? Что-то вроде Косолапый, точно не помню.

Он показался мне евреем с Подола. Там такого вот типа бойкие купцы отбивали покупателей у евреев с Крещатика. Последние имели шикарные витрины, продавали товары дорого, и в их магазинах торговаться было нельзя. «Prise fixe» — гласила надпись на дверях. На Подоле торговля была обязательна, и этим особенно пользовались модницы. С запрашиваемой цены они давали половину, твердо стояли на своем и уходили, ничего не купив. Мальчишка, сын хозяина, нагонял уже на улице и, запыхавшись, просил:

— Мадам, вернитесь.

Они возвращались и брали ткань или шубу по сходной цене. Потом они обычно хвастались перед подругами:

— Купила на Подоле!

* Уйвидок — буквально Новый город (венг.). — *Примечание автора.*

- С уходом?
- Конечно, с уходом.
- Иначе было нельзя...

Капитан Косолапый с минуту своими манерами казался мне евреем с Подола. Но вдруг, заговорив, превратился в моего большого и старого друга Володю Гольденберга, окончившего со мною 2-ю гимназию (с золотой медалью) и университет.

«Володя» пригласил меня сесть и начал допрос:

- Когда первый раз был за границей?
- После окончания гимназии.
- С какой целью? — последовал вопрос.
- Увидеть Европу.

Это было в обычае того времени. Володю Гольденберга родители тоже послали за границу, а к нему присоединился один наш одноклассник Женька Целтнер. Случайно я встретил их в Швейцарии.

Так как мы были молоды и глупы, то веселились и скандалили, презирая Европу. В Швейцарии издавалась газетка «Fremden Blatt», то есть «Листок для иностранцев», в которой печатались фамилии и адреса иностранных гостей. Это было очень удобно, так как можно было найти соотечественников. Мы пошли и записались как «козаки», а фамилии не привожу, потому что были уж слишком неприличные*.

В Берне мы играли в Fetits Chevaux (рулетка). Поставили один франк — выиграли четырнадцать и на «заработанные» деньги ужинали, но Женька разлакомился, пошел еще играть и проиграл все четырнадцать франков. Позже мы попали в очень скромный и тихий английский пансион, где жила моя сестра Алла Витальевна с подругой. Мы вели себя неприлично. Чопорные англичане пели дуэт Мендельсона «Хотел бы единое слово...», а мы под их мякуканье сыпали в пиво горчицу и пили эту бурду к ужасу соседей.

Потом пригласили к себе в номер двух англичан нашего возраста. Одного называли мы Смокинггом, а второго Бараном. Напоили обоих, и все вместе пошли к озеру, где завладели шлюпкой и поплыли. Наступила ночь. Пьяные англичане валялись на дне шлюпки, Володя неумело греб, а Женька стрелял из револьвера в воздух, при этом мы дико орали. Старые англичанки, со-

* На мою просьбу сообщить фамилии мне В.В. сказал: «Семижопов, Голозупов и еще какая-то, уж не припомню». — *Р.К.*

бравшись на берегу, думали, что «козаки» убивают молодых англичан.

Наконец мы уgomонились, причалили к берегу (никого уже не было, все разошлись) и, тихо прокравшись в свою комнату, легли спать. Рано утром пришла моя сестра и попросила нас немедленно уехать, пока нас не попросили освободить пансион. Мы исполнили ее просьбу. Затем разъехались, поняв, что «тройка» не доведет нас до добра. Заводилой всех этих скандалов был еврей Женька Цельтнер. Между прочим, его сестра была замужем за неким Ратнером, убежденным марксистом...

Капитан с Подола продолжал допрос:

— К какому полпреду являлся? Сознавайся!

Я посмотрел на него соответственно и сказал:

— Полпредов выдумала советская власть. У России за границей были послы, посланники и консулы. Им не было никакого дела до молодых людей, путешествующих за границей ради своего удовольствия, как, впрочем, и нам до них.

Капитан с Подола смутился, и на мгновение в нем проснулся Володя с Фундуклеевской, где у Гольденбергов был трехэтажный дом. Однако это было лишь мгновение.

— В каком отделении немецкой разведки служил? Во внутренней линии?

Кое-что я слышал о внутренней линии. Ее назначением было следить за Врангелем и его окружением. Конечно, эти люди состояли на службе у немцев. Я ответил:

— Внутренняя линия — это немецкие шпионы. Как же я мог с ними сотрудничать?

— Так назовите, кто состоял во внутренней линии? Конкретно! — потребовал он.

— Охотно назвал бы их конкретно, когда бы знал. Правда, одного офицера, состоявшего в линии, генерал Врангель отдал под суд, по решению которого он был исключен из списков русских офицеров.

Он понял, что здесь от меня ничего не добьешься, и атаковал с другой стороны.

— Вы были в НТС? — последовал вопрос.

— В Национально-трудовом союзе нового поколения? Да.

— Расскажите!

— По возрасту я не подходил к новому поколению, но был у них как сочувствующий и учил их кое-чему.

— Расскажите!

— Во-первых, что им нечего изображать из себя русских эсеров и мечать о террористических актах. На террор отвечают террором. Из этого ничего не выйдет, поэтому надо действовать другим способом.

— Расскажите!

— В борьбе с марксистами надо иметь свою собственную идеологию и ее проповедовать.

— Какую?

— Столыпинскую, — спокойно, но твердо сказал я.

— Что?! Реакция?!

— Наоборот — прогресс! Надо не грабить землю, как советует Маркс, а наоборот — обогащать ее. Кому же она должна принадлежать? Тем, кто ее делает богатой. Если это будут бедные мужики — то им. Если это будут кулаки — то им. Если это будут дворяне-помещики — то им. И если это будут крестьяне-помещики — то им.

— Ну и что же, они это поняли, ваши новопоколенцы? — язвительно спросил капитан.

— Плохо. Это новое поколение было новым отрядом молодых людей, у которых не было ни кола, ни двора, ни пяди земли. Что они могли понимать в земле?

— Я знаю их всех! — с нескрываемым торжеством заговорил капитан с Подола. И он стал перечислять новопоколенцев белградского отделения.

Я сказал:

— Понятно, что вы их знаете, ведь они работали открыто. Через ваших агентов в Белграде вы могли получить полный список.

— Какие это наши агенты?

— Я сам знал одного, он был военным доктором, галлиполийцем.

— А вы знали галлиполийцев? — удивился он.

— Конечно.

— Расскажите!

— Они как-то пригласили меня читать лекции о столыпинской реформе. Я читал. Позже узнал, что этот доктор, один из самых внимательных моих слушателей, задававший дельные вопросы, был советский агент. После разоблачения сербское правительство арестовало его. Он не отрицал, что служил большевикам, и в конце концов его отпустили.

— Почему?

— Не знаю. Возможно, потому, что разоблаченный агент не опасен.

После небольшой паузы я прибавил:

— Вот вы, капитан, перечислили мне белградских новопоколенцев, а моего сына забыли. Возможно, потому, что жил в Любляне. Так он тоже работал открыто. Когда проповедуешь идеологию, капитан, нельзя проповедовать ее закрыто...

Потом он расспрашивал об «Азбуке»*. Тут я был осторожнее, так как «Азбука» была конспиративная организация. Правда, секреты давно кончились. Правда и то, что если когда «Азбука» и работала против Советов, то только лишь после заключения Брестского мира, так как острие ее было направлено против немцев. Но, возможно, в России еще были живы бывшие члены этой организации...

На этом допрос пока что закончился. Капитан куда-то уехал. В квартире остался лишь боец, шевелившийся где-то на кухне. Я перешел в соседнюю комнату. Там у стены стоял шифоньер. Зеркало отразило мою фигуру — я очень изменился за эти дни. Теперь бы Ляля уже не сказала мне: «Вы роскошь без старины».

Кстати, о ней, о Ляле. Капитан с Подола задавал мне о ней нескромные вопросы, на которые я отшучивался. Но совершенно неожиданно он заговорил о Марии Дмитриевне, моей жене. Тут из него выскочил опять мой друг Володя Гольденберг, и он заговорил с чувством:

— Вы не стоите такой жены. Она с этой Лялей, в плохой шубенке, в мороз ездила туда-сюда, искала вас...

Тогда можно было, как говорят теперь, голосовать. Пешеход на дороге поднимал руку с бутылкой, в которой была «могая рация», то есть крепкая местная водка. Машина останавливалась и затем везла голосующих до ближайшего местечка. Этим способом Мария Дмитриевна и Ляля объездили соседние городки, а потом пробрались в Белград, нашли там более высокое советское командование. Марии Дмитриевне сказали, что я жив, но где нахожусь, они не знают. И посоветовали им вернуться в Сремские Карловцы. Предварительно они побывали у моей сестры Лины Витальевны. Она не утешила Марию Дмитриевну:

— Вася там, где Катя**.

Этим она хотела сказать, что я покончил с собою...

* Подпольная разведовательно-осведомительная организация, созданная В.В.Шульгиным в марте 1918 в Киеве в интересах Добровольческой армии и работавшая на территории Юга России, занятой в разное время немцами, украинцами и большевиками — *Р.К.*

** Екатерина Григорьевна Шульгина (урожд. Градовская; 1869 - ок. 1934) — первая жена и двоюродная сестра Шульгина (по матери). Покончила жизнь самоубийством в Югославии — *Р.К.*

А я, увидев себя в зеркале, подумал об этом. И вдруг увидел на столе кем-то брошенное лезвие безопасной бритвы. Подумал: «Вот это случай. Если, конечно, это случай, а не подброшено».

Но ничего не вышло. На ковер упало несколько капель крови, и лезвие сломалось — руки предательски дрожали.

А капитан продолжал свою работу, то рядясь в торгаша с Подола, то преображаясь в Володю.

— Вы не стоите такой женщины, — сказал он опять как-то. И тут же добавил:

— Хотите ее видеть? Она здесь.

Я вспомнил свое отражение в зеркале и отрицательно покачал головой. Он же посмотрел на меня взглядом, который меня даже тронул, и сказал при этом:

— У вас не осталось ничего человеческого.

И все-таки это была игра на чувствах, так как Марии Дмитриевны там не было.

Затем вспоминаю какую-то ночь, когда мне было очень холодно. Я стащил со стола большую скатерть и укрылся ею. Спал кое-как. Утром меня разбудил какой-то незнакомый боец. Разбудил тихонько и сказал:

— Замерз, отец? Чаю горячего дам.

Капитана не было. Я вышел в соседнюю комнату, где мне дали кружку с горячим чаем и кусок сахара. Там был еще один боец, намного старший годами первого. Он сказал мне, махнув рукой:

— Вы на нашего капитана не обращайтесь внимания. Это он так, разоряется поначалу. Потом поутихнет.

Меня поразила ласковость этих двух людей. Действительно, где тени, там и свет. Но старик ошибся, сказав, что капитан поутихнет. Главное представление было впереди.

Придя утром, он начал сразу:

— Довольно! Конкретно — в каком отделении немецкой разведки служишь? Говори! Я могу тебя застрелить, и ни одна собака об этом не узнает.

Я удивился своему равнодушию. Вероятно, это тоже была комедия. Фигляр попал на фигляра. Я ответил:

— Это самое разумное, что вы можете сделать.

— Ах, так?! Ну, так пиши расписку!

— Какую расписку? — удивился я.

— Что не хочешь жить.

Он принес чернила, перо. Я сидел за столом, он же встал за мною. Подумал: «Все, как полагается, в затылок».

Наступило молчание. Я снял с пальца обручальное кольцо, положил на стол и сказал:

— Передайте жене.

Потом взял перо, обмакнул в чернилах.

— Я не знаю, что полагается писать в таких случаях. Диктуйте.

Прошла минута, может быть, две. Молчание продолжалось. Я положил перо, а он отошел от меня и стал ходить по комнате. Выскочил снова Володя Гольденберг, и капитан заговорил:

— Терпеть не могу, когда срываюсь с нареза...

Потом приехали какие-то два офицера, и обстановка несколько изменилась. Одного из них я уже где-то видел. У него были сплошь золотые зубы, потому я его и запомнил.

Мой капитан обратился к одному из бойцов, возившемуся на кухне:

— А нет ли там вина?

— Есть.

— Давай!

Боец принес бутылку и четыре стакана. Пока наливали вино, офицер с золотыми зубами сказал, указывая на меня:

— Вот я прочел его книгу. Он правду сказал, что уже давно вышел из всяких политических организаций. Вот тут это написано.

И он протянул капитану какую-то книжку. Тот раскрыл и быстро перелистал ее. Я узнал в ней «Что нам в них не нравится», мою давнишнюю работу о евреях. В этой книжке иногда употреблялось слово «жид», но не для оскорбления, а по смыслу. О него-то капитан и споткнулся, посмотрел на меня и проворчал:

— Ну, все это так, а ругаться все-таки нельзя.

Мне тоже налили полный стакан хорошего карловацкого вина. Все чокнулись со мною и между собою. Выпили. Затем капитан сказал, обращаясь ко мне:

— Сейчас отправим вас на мотоцикле.

— Куда?

— В Венгрию. Только вот пальто у вас дырявое и шляпа никуда не годится.

Осмотревшись вокруг, добавил:

— Мы вас в одеяло завернем.

Они усадили меня в коляску и накрыли одеялом поверх шляпы. Тут я перестал что-нибудь видеть. Вскоре мотор затарахтел, и мы помчались. Через некоторое время мотоцикл остановился — что-то было не в порядке. Меня раскутали, и я увидел, что сопровождают меня офицер с золотыми зубами и водитель-боец.

Последний остался возиться с мотоциклом, а мы вдвоем пошли вперед по дороге. Луна светила рассеянным светом сквозь сплошные жидкие тучи. Золотозубый почему-то завел разговор о Ляле. Я спросил его:

— Неужели вы ее расстреляете?

— Да нет, посадим. Она ведь шпионка, но не такая уж опасная.

— Какая она шпионка? — возразил я. — Она ненавидит немцев.

— Ненавидит, ненавидит, а все-таки в немецком поезде выехала добровольно.

— А на что она немцам, такая девчонка?

— Зачем? — золотозубый усмехнулся. — Вот зачем. Война кончится, но, может быть, будет другая война. Им же нужны опорные пункты. Вот такой девчонке они будут переводить маленькие деньги, а потом, когда они снова вернутся, будет у них к кому обратиться.

Помолчав немного, он сказал:

— А она вас лю-ю-бит. Когда показали вашу фотографию, рыдала.

В это время подкатил мотоцикл. Снова расселись по своим местам и помчались дальше. Так как дорога становилась все лучше, то ехали все быстрее. Меня обдавало ледяным ветром, и голова замерзла, несмотря на шляпу и одеяло. Мне казалось, что на нее надели каску из льда.

Где-то остановились. Меня буквально вынули из коляски, ввели в дом, где было светло и тепло. В комнате сутились какие-то люди, накрывая на стол, слышался мадьярский говор. Мы были уже в Венгрии. Подали горячий чай с ромом. Я согрелся.

Затем ехали опять, заезжали еще куда-то, а утром остановились в каком-то городке. Легли отдыхать, причем меня положили на кровать, «золотые зубы» легли на оттоманке, а боец на полу.

Утром боец хорошо побрил меня опасной бритвой. Потом мы снова ехали до переправы через Дунай. Тут столпилось много людей, машин, повозок. Поднялось солнце и слабо пригрело. Меня оставили одного. Я выбрался из коляски и немного размялся. Стояли около переправы долго и начали переправляться на другой берег уже при свете прожекторов.

Ехали со скоростью сто километров в час, опять где-то отогревались чаем с ромом и наконец прибыли в город Дунайфольварк или Дунайварош, точно не помню. Тут меня поместили в хатенке, где я приуныл, так как в комнате была только кровать, на которой сидела старуха с седой растрепанной головой, и деревянная скамейка. Мои спутники указали мне на скамейку и куда-то ушли.

Старуха что-то бормотала и делала движения руками, как будто бы шила. Пришел венгр, как я догадался, ее сын, и стал ее ругать. Старуха встала и, продолжая бормотать и трястись, ушла во двор. Венгр немного понимал по-русски. Я сказал ему:

— Она замерзнет.

— Пусть сдохнет, — последовал ответ.

Все это было очень неприятно. В это время вернулись мои спутники.

— Полковник приказал перевезти вас в другое место, — сказал офицер.

Переехали в другое место. Там картина совершенно изменилась. Просторная, светлая комната со старинною обстановкой, горел камин. Было тепло и уютно. А главное, была молодая и красивая какой-то старинною красотою девушка. Она искренне обрадовалась мне, стала чем-то угощать и без всяких вступительных церемоний стала рассказывать о себе, говоря то по-немецки, то по-французски, то по-чешски (она была чешка).

Она служила вместе с матерью при каком-то консульстве машинисткой, потом была арестована болгарскими, но у болгар ее отнял русский полковник, который сюда ее и поместил. Она тут пробудет недолго, а в Будапеште, куда они с полковником скоро уедут, он купит ей новое платье. Зовут ее Лена. При ней безотлучно находятся два бойца, один — кацап, другой — хохол. Ее хорошо кормят и, кроме того, по утрам они приносят корыто и много горячей воды. Она их выгоняет и моется.

Вскоре после того, как она все это рассказала, меня повели к полковнику, который оказался представительным евреем по фамилии Кин. После взаимного обмена приветствиями и любезностями он сказал мне:

— Принимая во внимание ваш возраст, я нашел возможным поместить вас вместе с этой молодой женщиной. Вы можете говорить о чем угодно, кроме как о ваших делах. За что вы арестованы и за что она арестована — об этом тоже говорить не следует. При вашей комнате есть сад, в котором можете с нею гулять. Можете даже выйти на улицу, но лучше этого не делать, так как

вас кто-нибудь задержит. А теперь отдыхайте. Беседовать с вами будем завтра.

Лена оказалась премилой девушкой и фантастически способной к языкам. У нее была изумительная память, и она быстро училась говорить по-русски. Кроме того, она хорошо знала современную литературу, и я показал себя совершенным неучем, слушая имена незнакомых авторов. Не ограничиваясь пересказом книг, она выдумывала всякие игры, тоже требовавшие разносторонней развитости.

Два бойца, которые были к ней приставлены, все время прислушивались к нашему разговору. Поэтому я сказал ей как-то:

— Давайте не будем говорить по-французски и по-немецки. Как-то неловко.

Ей было трудно говорить по-русски, но она справилась. Как-то мы заговорили о романе Гюго «Собор Парижской богоматери» и что-то или кого-то не могли вспомнить. Вдруг боец-хохол, казалось, дремавший около печки, вступил в разговор и напомнил то, что мы забыли. Я подумал: «Ну, мужички из моего села Курганы этого не могли бы».

С полковником Кином, человеком культурным, допрос шел в иных формах и иными методами, чем с капитаном «с Подола». Он просил меня рассказать о моей жизни до революции и в эмиграции. При этом однажды удивил меня и даже несколько озадачил. Я рассказывал ему, что после моего провала с «Трестом»^{*} я вообще решил отказаться от всякой политики. Почему? Потому что человек, которого могли так провести, не годен был к политике.

Он улучил момент и вставил:

— Совершенно напрасно. Этот самый «Трест», которым мы впоследствии завладели, сначала был настоящей контрреволюционной организацией, очень сильной и смелой. По некоторым признакам, они находились в тесной связи с английской «Интеллидженс Сервис». Так что вам нечего стыдиться, никакого провала тут не было.

^{*} «Трест» — возникнув в СССР в начале 1920-х как подпольная антисоветская организация, вскоре был поставлен под контроль чекистов и действовал в их интересах в течение некоторого времени по отношению к зарубежным эмигрантским организациям. — *Р.К.*

Он вел допрос тягуче медленно, требовал подробностей. Наконец как-то не выдержал и сказал:

— Я вызову стенографистку, пусть она запишет ваши показания.

Пришла какая-то девушка в военной форме. Я привык диктовать и стал говорить, как когда-то выступал в Государственной Думе. Но полковник меня остановил:

— Нет, так нельзя.

И стал диктовать за меня. Мысли мои искажались, и вышло все совершенно иначе, а кроме того так медленно, что было непонятно, зачем нужна стенографистка. Когда он вышел в соседнюю комнату, девушка сказала мне:

— Если так работать, разучишься писать.

Но как бы там ни было, а допрос шел и все ближе подходил к концу. В последнюю ночь полковник заспешил и попросил меня помочь просмотреть материалы допроса, так как машинистки сделали множество ошибок. Этим я занимался с девушками, а он собирал какие-то бумаги и очень спешил, так как необходимо было успеть к самолету. Наконец мы кончили, и он предложил мне идти к себе и поесть перед дорогой.

Мы завтракали с Леной, когда в комнату привели шесть человек, которые стали в углу и жадно смотрели в мою тарелку. Лена сказала мне тихонько:

— Я их знаю. Их тоже везут, но они какие-то другие, им будет очень плохо.

Затем я стал прощаться с нею. Она нежно-нежно меня целовала и подарила на прощание маленькую вещицу: шелковую рубашечку, обшитую тесьмой, рубашечку, которая годилась бы лишь новорожденному. Зачем она была у этой шпионки, этого я не узнал и никогда не узнаю. Но рубашонку долго хранил и при бесчисленных обысках у меня ее не отбирали, пока не пришлось с нею расстаться, так как она вся изорвалась.

Нас разместили в самолете «Дуглас-2». Это была прескверная машина. Она дребезжала, как старый рыдван. Отопления не было. Мои спутники были одеты еще хуже меня. Они бы замерзли, если бы с мотора не были сняты громадные одеяла, в которые завернули всех нас семерых. Эти шестеро были из Югославии и из Болгарии. Я их не знал, но они меня знали.

Это был первый полет в моей жизни. А между тем, окончив университет, я поступил в Киевский политехникум, на механи-

ческое отделение, исключительно для того, чтобы работать в области воздухоплавания. Это было в то время, когда братья Райт еще не совершили своего километрового полета в Америке.

Куда мы летели, мы не знали, а только догадывались. Под нами проплывали высокие горы, занесенные снегом. Очевидно, это были Карпаты. Наконец приземлились в Кировограде, бывшем Елисаветграде. Из-за плохой погоды мы здесь пробыли одиннадцать дней. За неимением другого места нас поместили в милиции. Там, по крайней мере, было тепло. Мы лежали на полу вокруг железной печки, время от времени меняясь местами, так как она очень припекала.

Жизнь в милиции протекала своим порядком. Приводили каких-то людей, выгоняли их, приводили других. А мы все лежали. Чтобы как-то рассеять скуку, решили, что каждый расскажет какую-нибудь историю. Начал этот гептамерон один бывший артиллерийский офицер из Севастополя.

По его рассказу, подходы к Севастополю со стороны моря в Первую мировую войну были минированы специальными минами, взрываемыми или взводимыми в боевое состояние с берега электрически. Он рассказал также об истории с германским крейсером «Гебен», о том, как мы его прозвали. Бомбардируя Севастополь, крейсер зашел на минное поле, но мы не подали электропитания минам, и он, благополучно обстреляв город, ушел...

Второй рассказ был посвящен охоте в Болгарии, когда охотник, пробродив целый день в горах и никого не встретив, под конец увидел медведя, которого и пристрелил. Оказалось, что это был «русский» медведь, с ошейником. На следующий день пошел в храм какого-то местечка и увидел, что цыгане ставят свечи пламенем вниз, на смерть кому-то. Он понял — тому, кто убил медведя.

— Я пока еще не погиб, но вот... — заключил он свой рассказ.

Третий рассказ был мой... Остальные не припоминаю.

Каждый день нас водили в какую-то столовую. Кормили плотно. Кругом были надписи на украинском языке, и все неправильные. Я стыдил работников столовой, что нужно писать грамотно, а если не могут, то лучше на русском языке.

Когда нас вели на аэродром, мы проходили мимо железнодорожного вокзала. Собралась толпа. Тыча в нас пальцами, люди кричали:

— Фрицев ведут!

Сопровождавший нас офицер нес какой-то полосатый мешок. Потом дал его мне и спросил:

— Знаете, что тут?

— Нет.

— Ваши рукописи.

Я вспомнил, что во время допросов они спрашивали, где хранятся мои рукописи о Первой мировой войне. Я сказал, что в подвальном хранилище библиотеки Русского дома в Белграде. Туда ездил офицер (кажется, золотозубый). Он заезжал и к Марии Дмитриевне, надеясь найти еще что-нибудь.

Мы опять летели. Сквозь замерзшие окна трудно было что-нибудь разглядеть. Однако удалось заметить город, от которого остались только высоко торчащие трубы. Нам сказали, что это Кременчуг.

Сделали посадку на совершенно голом поле, на котором, однако, было много народу. Нас выпустили размять ноги.

После короткой разминки мы опять закутались в одеяла и влезли в самолет. Снова полет. Сколько летели, не помню. От долгого сидения конечности стали уже коченеть, когда самолет стал снижаться. Объявили, что садимся в Москве. По-видимому, всех нас охватило какое-то беспокойное чувство, так как было ясно, что мы проходим еще один рубеж, который приближал каждого из нас к какому-то концу.

Когда вывели из самолета, нас сразу же окружил конвой, который сопровождал до посадки в машину без окон. Захлопнулась дверь, и мы погрузились во мрак. Больше я своих спутников уже никогда не увидел.

Автомобиль остановился во дворе какого-то большого здания, которое, однако, мне ничего не говорило. Только потом я узнал, что это знаменитая Лубянка.

Меня высадили одного и тут же повели в баню. Затем стригли всевозможные места, причем парикмахер воскликнул:

— Во, вшей завел!

Да, я ведь уже месяц как не раздевался. Шел конец января 1945 года.

Затем фотографировали в профиль, в фас. Когда показали, не смог себя узнать. И, конечно, дактилоскопия.

Когда все это закончилось, вручили арестантское платье и посадили в камеру, где сидел уже какой-то человек. Мы познакомились. Оказался некто Иванов. Он рассказал, что закончил три академии и пишет работу о том, что у ребенка в возрасте трех-четырёх лет наступает перелом, когда у него просыпается собственное «я».

Сидел он уже два года и еще ни разу не был допрошен. Обвинили же в том, что шпионил в пользу японцев. Оказывается, при каких-то обстоятельствах ему поручили шпионить за японцами. Но, как он пояснил, чтобы ему что-то получить, необходимо было и что-то им сообщить. Он делал какие-то вырезки из газет об экономическом положении СССР, суммировал их и передавал эти сведения японцу. Тот в свою очередь что-то давал ему. И вот за эти вырезки его и посадили.

Так как он сидел уже долго, то ему к обеду давали прибавку. Обед был невероятно голодный, он же был добр и этими прибавками со мною делился.

Потом, через некоторое время, меня перевели в другую камеру, в которой уже было три человека. Один из них, который уже успел посидеть у бельгийцев, продолжал сидеть и здесь, говоря при этом, что у бельгийцев было куда приличней. Помню, что он интересовался техникой. Двое же других не оставили о себе никаких воспоминаний.

Затем к нам посадили пожилого человека, очень хорошо выбритого. Он поразил нас тем, что сразу же стал угощать всех американскими галетами. Он говорил, что является немецким подданным, затем признался, что он двуподданный, с одной стороны германский, а с другой — американский подданный, из Арканзаса. У них это, кажется, было возможно. Ему вменили в вину то, что он еще до революции имел в Москве завод с двумя тысячами рабочих. Отсюда следовало, что он был шпион.

Трудно, конечно, было понять, в пользу кого он шпионил. По-видимому, в пользу немцев, но не против России. В конце концов он сам запутался или его запутали. По его рассказам, на допросах, которые происходили еще где-то в Германии, генерал бил его резиновой палкой. Однажды, когда этот генерал в припадке яростной ненависти схватился за нож, присутствовавший на допросе полковник вырвал его из рук генерала, тем самым предотвратив убийство.

Затем его лечили от побоев в больнице, и после этого он попал сюда. Он рассказал нам, что когда советские войска вошли в Берлин, то прежде всего они хотели женщин. Это называлось «организовать», то есть организовать пирушку с немками. Свою жену он как-то спрятал, но других «организовывал» для офицеров.

Затем меня вместе с ним перевели в какую-то другую камеру. Там был очень раздражительный генерал, страдавший сердцем. Он уже сорок раз требовал допроса, но безуспешно.

Этот генерал во время войны командовал, кажется, танковым корпусом. Он рассказывал, что так как получил уже много наград, то расхвастался и в кругу восьми генералов однажды позволил себе говорить то, что думал.

— И вот результат — сижу без допроса, — добавил он.

Так как он был болен и плохо себя чувствовал, то почти ничего не ел, хотя его хорошо кормили. Он угощал меня. Вдруг однажды он поспорил со мною крайне резко. И о чем? Какого качества хлеб, который нам давали. А я как раз перед этим сидел с офицером, который был специалистом по хлебу, и он мне рассказывал, что это не чисто ржаной хлеб, а с добавлениями. Генерал вспылал:

— Я — генерал, а он — лейтенант, как вы можете ему верить?

Я ответил:

— В вопросе о качестве хлеба звания не имеют значения.

Но после этого случая я не стал принимать его угощения. Он заметил как-то:

— Да вы, кажется, обиделись?

И добавил грустно:

— Поймите же, я сердечник.

И мы помирились...

Про нашего немца-американца, у которого было не все в порядке с желудком, генерал сказал:

— Передайте ему по-немецки, что я ему парашу на голову надену.

Я сказал арканзасцу, чтобы он не делал того, что не следует, и тот перестал. Он (арканзасец), между прочим, наводил, как говорят, тень на ясный день, то есть занимался предсказаниями. При этом он как-то особенно смотрел в окно одним глазом и говорил, что видит то, видит другое и так далее. Кое-кто ему верил. Мне же сразу показалось, что он врет. Но одного я не мог понять — посмотрев как-то одним глазом в окно, он сказал:

— Я вижу ваше будущее. Вы будете работать в большой библиотеке, и там вам будет помогать одна девушка, блондинка. Ее фамилия...

Он помолчал, явно наслаждаясь впечатлением, которое произведет, и изрек:

— Бернард!

Такая девушка действительно была в Государственной Думе, но как он об этом узнал? Быть может, я когда-нибудь выболтал?

Я побывал с ним еще в других камерах и спрашивал немцев, каким говором говорит этот человек так ясно, отдельно. Они сказали, что у него говор, который немцы называют «отельера», то есть служащего в гостинице, и так же говорят приказчики в магазинах.

Он был очень чувствителен к клопам, которые появились на наше несчастье. И с патетическим отчаянием иногда возвещал: — Сегодня я убил двух клопов.

Затем клопы размножились в ужасающем количестве. Простыни превратились в шкуры ягуаров от кровавых пятен. Мой рекорд составил семьдесят клопов в одну ночь, а общий итог камеры за сезон исчислялся в тысячах.

Через несколько лет я узнал от людей, прошедших через Луканку, что там больше клопов нет.

Некоторое время я сидел с молодым офицером, который оказался соседом по Курганам. Меня он тогда не знал, но от своей матери слышал обо мне.

— Я попал в плен, — рассказывал он. — Мы жили под открытым небом. Вокруг был высокий забор, к которому нельзя было подходить — стреляли. Но некоторые все же подходили, чтобы их убили, не будучи больше в силах переносить голод. Голод был ужасающий. Время от времени через забор перебрасывали трупы лошадей. Тогда все, кто мог, бросались к ним и жрали сырое мясо с шерстью. Было и хуже. Ели умерших людей, иногда еще полуживых.

А рядом с нами был лагерь, где содержались английские офицеры. Меня и нескольких других в один истинно прекрасный день перевели к англичанам. Последние не желали убирать лагерь и поэтому в качестве денщиков им давали русских. Тут мы не голодали. Для нас это был рай. Но через некоторое время нас перебросили обратно питаться дохлыми лошадьми. Однако скоро появился человек, говоривший по-русски совершенно свободно. Всех, кто еще мог стоять, выстроили, и русский сказал: «Вы могли бы улучшить свое положение. Вас отвезут в Варшаву, там вы будете учиться восемь месяцев. Затем вас перебросят в Россию и вы оттуда будете подавать известия». Я сейчас же согласился, думая: «Только перебросьте».

Дальше я учился в Варшаве. Нам читали лекции и, между прочим, учили, как, попавши в Россию, надо себя держать. Надо было тщательно скрывать, где живешь, поэтому, прежде чем войти в свой дом, каждый должен убедиться, что за ним нет слежки.

Но как это делать? «Вот, — говорит преподаватель, — я вам прочту из книги "Три столицы". Прежде чем войти в свой дом, необходимо пройти через какую-нибудь уединенную улицу, на которой видно достаточно далеко, что никого нет. Если вы один, значит, ваш след потеряли, если только за вами следили».

Когда я закончил восьмимесячные курсы в Варшаве, меня перебросили во Львов. И там устроили выпивку. Зачем? Чтобы выучить, как можно много выпить и не опьянеть. Для этого, оказывается, следовало предварительно выпить целый стакан растопленного масла. Это масло, осев на стенках кишок, препятствует алкоголю проникнуть в организм и воздействовать на мозг. Когда я прошел и это испытание, назначен был срок отлета.

Мы летели совершенно темной ночью. На спину одели парашют и поставили над раскрытым люком. Немецкий офицер, смотря на часы, отсчитывал секунды. Затем меня сбросили в зияющую черную пустоту, а за мною второй парашют с вещами и радиоаппаратурой. Парашют раскрылся сам, и я через некоторое время коснулся земли.

Я спросил:

— Все-таки было сотрясение?

— Да, примерно такое же, как если спрыгнуть со второго этажа.

Я освободился от парашюта, на рассвете нашел другой недалеко от своего места приземления и, спрятав их в кустах, пошел искать дорогу. Найдя ее, пришел в какое-то село и первых встречных попросил доставить меня к военному начальству. Там я все объяснил. Меня очень хвалили. В итоге я наладил связь с немцами при помощи своего радиопередатчика и начал сообщать им то, что мне диктовали. Это называется дезинформацией противника. Потом меня отвезли в Харьков, дали кучу денег, и я кутил вовсю. Прошел еще месяц. Меня повезли в Москву и посадили, не предъявив никаких обвинений. И вот я сижу. А сколько мне еще сидеть и увижу ли я когда-нибудь свою мать в Могилянах и ваш дом в Курганах, не знаю.

Через некоторое время после моего приезда на Лубянку меня повели на допрос. Допрашивал подполковник Герасимов из отделения следователей для особо важных дел. Он начал:

— Ну, что, Шульгин, вы, как могильная плита, вас не согнешь.

— Для чего же гнуть?

Он не ответил. Помолчал. Потом продолжал:

- Расскажите, кем и чем вы были? Вы дворянин?
 - Да.
 - Образование?
 - Юридический факультет.
 - Значит, высшее. Профессия?
 - Профессии, собственно, нет. Занимался литературой.
 - Служили?
 - Прапорщик запаса полевых инженерных войск. На войне служил в пехоте. Был ранен. Перешел в Красный Крест.
 - Ордена?
 - Никаких не имею.
 - На гражданской службе были?
 - Не был. Но десять лет был членом Государственной Думы и гласным в земстве.
 - Еще чем были?
 - Почетным мировым судьей.
 - Все?
 - Кажется, все.
- Он встал:
- Нет, не все. самого главного вы не сказали.
 - Чего именно?
 - Па-а-ме-щи-ком вы были, Шульгин!
 - Да, был.

Когда он в другой раз настаивал на злобности моей, так как я был помещиком, я ответил:

— Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Бунин и прочая так называемая дворянская литература — все были помещиками.

Затем он стал спрашивать меня, где я жил в Ленинграде. Я перечислил многочисленные квартиры, какие только мог вспомнить на разных улицах.

— А последняя?

— Последняя была на Большой Монетной, дом 22, во втором дворе, на пятом этаже, квартира номер 29. Тогда квартиры были чрезвычайно дороги, и у меня была маленькая квартира, не отвечающая моему положению.

— Маленькая? А где же была та, несомненно большая квартира, где вы купали балерин в шампанском?

Я рассмеялся. Но он сделал серьезное лицо.

Такие случаи бывали. Этим занимались богатые купцы, перед этим выбросив рояль с пятого этажа в окошко. Но следователь

подполковник Герасимов в такие тонкости не входил. Купцы, дворяне, члены Государственной Думы, гласные и мировые судьи — все одно, дворяне.

Он долго меня допрашивал. Я говорил все, мне нечего было скрывать. Эти допросы совершались по ночам, приблизительно с одиннадцати вечера и до рассвета. Часа в три утра следователю приносили что-нибудь поужинать (или, может быть, позавтракать). Обычно чай, хлеб, колбасу. Я сильно голодал в то время. Поэтому жадно смотрел на поднос. Однажды он оставил на нем кусок хлеба. Я попросил разрешения съесть его. Он разрешил и потом спросил:

— Вы очень голодаете?

— Очень.

— Вы вот что сделайте. Напишите полковнику Судакову — он стоит во главе нашего отдела — заявление, что голод мешает вам вспоминать, и это вредит следствию.

Я написал. Через месяц Герасимов спросил меня, дают ли мне добавку к пище. Я ответил:

— Нет.

— Странно.

Как бы там ни было, но прибавки я не получил.

Однажды Герасимов сказал мне:

— Вас хотят увидеть министры. Пойдемте.

Захватив еще какого-то офицера, мы пришли в большой и роскошный зал с атласной мебелью и картинами в тяжелых золотых рамах. За столом, накрытым красной скатертью, сидело множество незнакомых мне лиц. Кто из них были министры, я не знал.

Я подошел к столу и, сделав общий поклон, сказал по-солдатски:

— Здравия желаем.

Один из них сказал:

— Мы желали бы кое-что узнать от вас. Что вы знаете о внутренней линии?

— Весьма мало.

— Как это может быть? Вы ведь были близки к командованию?

— Иногда.

— Объясните.

Я начал:

— Объяснить это не так просто. Вы, в СССР, являетесь хорошо сконструированной и отлаженной машиной, где одна кнопка управляет другими. Я же не был кнопкой. И исполнял свои обязанности как член Государственной Думы, а в отношении власти — я не был с нею связан и работал, как говорится, по вольности дворянской. То же самое было и в эмиграции. Я был близок к Врангелю, но знал то, что меня интересовало. До внутренней линии мне не было никакого дела. Вот и все.

Спрашивавший меня как-то недовольно поморщился и сказал:

— Хорошо, мы поговорим попозже.

Меня увели. Дорогою Герасимов мне сказал:

— Нельзя так разговаривать с министром.

— А что же мне, врать прикажете?

Через некоторое время, примерно через час, меня опять позвали. Неизвестный, который, очевидно, был министром, начал:

— Вы лично принимали отречение у Николая II?

— Да, совместно с Гучковым.

— Расскажите, как это было.

Я рассказал все, что можно было прочесть в книге «Дни». Вся группа, сидевшая за столом, слушала меня крайне внимательно. Когда я кончил, предполагаемый министр поблагодарил меня и отпустил. Герасимов меня похвалил:

— Вот сейчас вы отлично говорили.

Наконец с Герасимовым было покончено. Я думал, что с допросами уже покончено вообще, и тихо радовался. Не будет больше бессонных ночей. Но не тут-то было. Через несколько дней в одиннадцать часов вечера невыносимо заскрежетал замок и открылась дверь.

— Шульгин, на допрос.

Повели, как обычно. Обычно — это значит со всякими «кунсткамерами». Огромное здание на Лубянке внутри разделено на две половины. В одной половине сидят, в другой допрашивают. Переход из одной части в другую совершается с формальностями. Одна часть выписывает, другая вписывает. При этом сделано нечто вроде турникета, и женский голос спрашивает:

— Имя, отчество, фамилия.

Турникет поворачивается, и другая женщина тоже спрашивает:

— Имя, отчество, фамилия.

Однажды что-то не ладилось, и кто-то сказал:

— Тут что-то не так написано.

Потом меня взяли из турникета и посадили в какую-то маленькую будку, пока выясняли обстоятельства дела. Когда выяснили, вернули в камеру. Допроса не было.

Это меня очень обеспокоило. Фамилия была та же, но имя и отчество другие. Я стал опасаться, что на Лубянке сидит мой сын. Но это, к счастью, не оправдалось.

Меня снова вызвали на допрос. И опять ввели вверх и вниз. Однажды мне показали лифт, и сопровождающий сказал:

— Вот сюда бросился Савинков.

— Убился?

— Конечно. Шестой этаж. И напрасно. Ему бы дали десять лет.

При этом хождении по лестницам сказывалась индивидуальность сопровождающих, которые держали арестованного под локоть. Одни на поворотах делали это бережно, другие резко и бесцеремонно. Чтобы чувствовала эта контра проклятая.

И вот новый следователь. Майор Цветаев или Цветков, точно не помню. Он был весьма любезен и наговорил мне массу любезностей:

— Последнего сна вы меня лишили. Все читаю ваши произведения.

— Какие?

— Да вот, ваши мемуары о войне. Они ко мне попали. Знаете, что я вам скажу, ведь если бы выбросить там некоторые резкости, касающиеся Ленина, то можно было бы их напечатать.

Я сказал:

— Из песни слова не выкинешь. Навряд ли они кому-нибудь интересны.

— Как не интересны! Ведь теперь даже классиками зачитываются. Я вот, например, прочитаю их всех, а потом снова начинаю.

Под классиками в Советском Союзе разумеются не римляне и греки, как было раньше, а Пушкин, Лермонтов, Тургенев и так далее. Словом, дворянская литература.

Но все же, при всей любезности Цветаева, он вел допрос по-герасимовски. Всю жизнь от начала до конца надо было снова рассказывать. И я понял эту механику. Когда начинаются эти дубли, то человек, который говорит правду, будет рассказывать то же самое. Когда же он сочиняет, то может забыть, что выдумал. И при последующих допросах говорить не то, что на предыдущих. Тогда его уличали во лжи.

Так как меня нельзя было поймать на лжи, то мне стали верить. Однажды Цветаев сказал мне, что один человек в Югославии сослался на меня, и попросил меня рассказать об этом арестованном русском, которому грозило нечто суровое ввиду того, что он во время войны добровольно поступил в немецкую полицию. Я рассказал Цветаеву, что однажды ко мне приехал в Карловцы этот человек просить совета, так как он совершенно разочаровался в немецкой полиции. «Это грабители и убийцы», — сказал он. Я посоветовал ему бежать куда-нибудь. Он так и поступил, пробравшись в освобожденную часть Югославии, где и попался советским агентам. Цветаев это записал и сказал:

— Вы ему помогли. Вам верят.

Однако он все ж таки добивался, чтобы я сознался в каких-то связях с немцами.

— Василий Витальевич, ведь вы же почтенный, уважаемый человек. Неудобно вам будет, если на очной ставке не один, не два, не три, а четыре человека будут вас уличать.

Так как ни с одним немцем за всю войну мне не удалось сказать ни одного слова, я ответил:

— Если их будет на очной ставке сорок четыре человека, то не они, а я их уличу, что они лгут.

Больше об очной ставке разговоров не было. Все это делалось для начальства. Сам Цветаев во мне уже отлично разобрался.

Однажды угрожал мне очной ставкой и подполковник Герасимов.

Крупной фигурой в эмиграции был Михаил Александрович Троицкий, глава новопоколенцев. Он наводил тень на ясный день. Однажды он сказал мне, что поедет к Гитлеру, чтобы у него чего-

то добиться, и спрашивал меня, о чем и как следовало бы говорить с «фюрером». Я ответил ему, что о Брестском мире не может быть и речи, мы его никогда не признаем.

Троицкий поехал, однако до «фюрера» не дошел, но говорил с его матерью, и ничего из этого предприятия не вышло.

Герасимов угрожал мне очной ставкой с Михаилом Александровичем. Но и она не состоялась.

Все же Троицкий что-то на этой игре для себя выиграл. Если мне дали двадцать пять лет, то ему надо было дать сорок, а он получил двадцать. Но он умер раньше срока.

Когда об этом Троицком и об очной ставке с ним шла речь, мне приснился вещий сон. Из моего рукава вылезла змея до половины, затем она сломалась. Одна половина с головой уползла в какую-то щель, а хвост остался в моем рукаве.

Позже один из очень честных новопоколенцев говорил мне с горьким разочарованием о своем бывшем руководителе:

— Какое ничтожество.

Перед тем, как кончился мой «роман» с Цветаевым, он показал мне номер «Известий», в котором подсчитывались потери от войны. Я прочел: «Убитых 7,5 миллиона человек». Он покачал головой и сказал:

— Минимум пятнадцать. А двадцать пять миллионов без крыш, из них часть тоже погибла.

Было утро, солнце всходило. Он подвел меня к окну своего кабинета, находившегося на пятом этаже. И вот в первый раз я увидел Москву. Напротив окна, вижу, был вход в метро. Это была площадь Дзержинского.

От майора Цветаева я перешел к майору Путинцеву. Он опять продолжал эту волынку с моей биографией. Был любезен, но менее интересовался литературой. Впрочем, однажды пришел еще один майор [и сказал], что он читает «Приключения князя Воронцовского», тот том, где я рассказываю об Агасфере. Из этого я

увидел, что мои произведения ходят по рукам, и потому нет надежды, чтобы они когда-либо собрались в одном месте. Так оно и случилось. Полосатый мешок с моими рукописями растаял.

После Путинцева я попал на восьмой этаж к начальнику отдела по особо важным делам полковнику Судакову (или Суткову, не помню точно). Но мне было непонятно, зачем он меня вызывал. По-видимому, просто познакомиться.

Чувствовалось, что допросы подходят к концу. Значит, надо было ожидать суда. Суд и состоялся. Но судей я не увидел. ОСО, то есть особое совещание, судило заочно. Поэтому, в сущности говоря, дело решали следователи. Но перед тем, как я узнал о приговоре, меня вызвали к прокурору. Тут же был и Путинцев. Прокурор, положив руку на две толстых папки, заключавших в себе мое дело, сказал:

— Ну что, Василий Витальевич, ведь это все «дела давно минувших дней».

Я ответил:

— Как будто да.

— Так вы признаете себя виновным в том, что тут написано?

— На каждой странице моя подпись. Значит, я как бы подтверждаю свои дела. Но вина ли это или это надо назвать другим словом — это предоставьте судить моей совести.

Это другое слово, которое я не произнес, было моим долгом перед Отечеством.

Наступило молчание. Потом уже Путинцев сказал:

— А что вы думаете, собственно говоря, делать?

Я совершенно его не понял. Думал, что за дела минувших дней два с половиной года, которые я уже отсидел, вполне достаточно. Поэтому сказал:

— Буду зарабатывать свой хлеб. Я слышал, что в Москву из Германии навезли очень много роялей, а настройщиков нет. У меня хороший слух, через три месяца мог бы приступить к работе настройщиком.

Они переглянулись и ничего не сказали.

Прошло несколько дней. Меня вызвали к начальнику тюрьмы. Он был на вид почтенный человек и имел взгляд несколько грустный. Около него стоял молодой офицер развязного вида. Последний протянул мне бумажку, похожую на большую квитанцию, и сказал:

— Распишитесь.

Я прочел: «Шульгин, Василий Витальевич, приговаривается к двадцати пяти годам тюремного заключения по таким-то статьям...»

Этого я не ожидал. Максимум, на что я рассчитывал, — это на три года. Однако, сохраняя достоинство, спросил фатоватого офицера тоже с каким-то небрежным акцентом:

— В приговоре не сказано, что конфискуется мое имущество. Мое имущество — это мои рукописи. Что с ними будет?

Он ответил в том же тоне:

— По отбытии срока заключения вы их получите.

После этого меня уже не повели в камеру, а привели в так называемый «бокс», где, как в крыловском огурце, «двоим за нужду влезть и то ни встать, ни сесть». Там я, к удивлению своему, запел какую-то шансонетку. Мне хотелось свистеть, но я не умею.

В «боксе» продержали недолго и спустили в подвал. Там тоже была камера небольшая, но все же можно было лечь. Здесь я пробыл несколько дней. Кормили на убой кашей и хлебом. Но есть не хотелось. Развлечением было ходить в уборную, и тут отказа не было.

Был июнь сорок седьмого года.

Не помню, как меня везли на вокзал и как попал в вагон. В вагоне было адски тесно. Кроме всего прочего, везли малолетних преступников. Один из них, мальчик на вид лет двенадцати (на самом деле ему было шестнадцать), сел рядом со мною и, так как ребенку хотелось спать, он положил голову мне на колени, а я на нее положил свою руку. Я его как будто приласкал. И благо мне было. Эти малолетние (и меня об этом предупреждали) — искуснейшие воры. И в этот рейд они обокрали многих арестантов. У меня же украли только шапочку, без которой я мог обойтись.

Куда меня везли, я не имел понятия. Но скоро стало совсем светло, и я понял, что мыдвигаема на восток. Значит, в Сибирь, решил я.

На одной станции против моего окна остановился встречный поезд. На вагонах было написано «Владимир». Владимир мне был совершенно незнаком. Никакой связи с ним я не имел. Знал только, что Владимир на Клязьме основан Владимиром Мономахом.

Когда стало сильно жарко, мы приехали. Сопровождающий сказал мне взять вещи. Кое-какие вещи у меня все же собрались на Лубянке. В том числе запас печеного хлеба, которым, когда я сидел в подвале, меня усиленно кормили. Взяв эти вещи, пошли. Вскоре я пришел к печальному заключению — я так ослабел за два с половиной года Лубянки, что нести свои вещи я не мог. И я их бросил, сказавши сопровождающему: «Не могу». Его это не удивило. Он сказал: «Оставляйтесь при вещах, я скоро вернусь».

Действительно, он скоро пришел, взял часть вещей, и мы пошли. И пришли. Куда? К воротам тюрьмы, где мне предстояло досиживать двадцать два с половиной года.

Ворота классического начертания на какой-то открытке были изображены точно такими. Совсем близко от входа был бугорок с зеленой травой. На нем я увидел двух человек с вещами и понял, что их привезли в одном поезде со мною. Познакомились. Тот, который был моложе, назвался:

— Кутепов.

— Кутепов? Сын генерала?

— Так точно.

Кто же не знал генерала Кутепова, прославившегося уже в Галлиполи и похищенного в Париже среди бела дня при помощи дамы в желтом пальто. Эту даму несколько дней искали по всей Франции.

Молодой Кутепов не знал дальнейшей судьбы отца. Я думал, как и все, что его уже нет более в живых. Затем расспросил его сына, как он попал в тюрьму.

— Я был в одном из отрядов, которые служили у немцев. Но это меня совершенно не устраивало. И я добровольно сдался какой-то советской части. Кроме всего прочего, я думал, что, быть может, мой отец жив. Меня взяли, два года допрашивали и дали двадцать пять, как, вероятно, и вам.

Другой заключенный не вступал в разговор, но я его знал. Я с ним сидел на Лубянке. У него было очень тонкое, аристократическое лицо. Он вошел в камеру, где я был один, и сказал:

— Здравствуйте. Пожалуйста, не спрашивайте меня, кто я такой.

— Не буду, — ответил я.

Прошло несколько дней, и мой сосед сказал:

— Я сын простых родителей. Отец мой рабочий, мать тоже была у станка. Вдруг меня схватили и сказали мне, что я князь Волконский. Никаких доказательств они мне не могли привести, но все-таки засадили сюда на Лубянку. Ведь это же нелепо!

— Совершенно нелепо. Все Волконские известны, установить личность любого из них очень легко. Но я понимаю, откуда происходит это недоразумение.

Он посмотрел на меня тревожным взглядом.

— Недоразумение происходит из-за вашего говора, — продолжал я. — Вы говорите с настоящим петербургским акцентом. Именно так бы говорил князь Волконский. Я знал четверых Волконских в Государственной Думе.

Он пришел в отчаяние:

— Вот и вы тоже.

Сейчас, сидя на травке, он молчал, не вступая в разговор.

Просидели мы часа два, пока открылись ворота тюрьмы. В каком-то нижнем помещении стали допрашивать: кто, что, почему препровождены сюда. Комедия! Они это знали лучше, чем мы.

И в это время вышло так, что меня в какой-то комнатухе держали с Кутеповым, а перед этим так же держали Кутепова с загадочным «князем Волконским». И Кутепов успел мне прошептать:

— Он сумасшедший.

Сумасшедший или нет, но больше я его никогда не увидел и его дальнейшей судьбы не знаю.

Затем нас разделили, и меня отвели в какую-то большую, совершенно пустую камеру. Я остался один. Несмотря на июльскую жару, в этой камере, выходявшей на теневую сторону, было холодно. А затем стало голодно, и я стал доедать хлеб, накопленный мною в лубянском подвале.

Здесь меня продержали два дня и наконец перевели в камеру, где я занял свое место в ряду других заключенных.

Это была большая камера, в которой находилось человек десять или двенадцать; железные, сложенные из труб койки стояли густо.

Первый, кто ко мне подошел, был человек очень высокий и очень худой. Он сказал мне приятным голосом и с правильным акцентом:

— Я очень похож на еврея, но я не еврей. Корнеев, Иван Алексеевич.

Мы поздоровались, но я не знал еще, какую роль этот человек сыграет в моей дальнейшей жизни.

Второй человек с военной выправкой сказал мне:

— Вы меня не знаете, нам не пришлось встретиться, но я вас хорошо знаю и знаю вашего тестя генерала Сидельникова. Мы с ним работали вместе. Впрочем, вы могли бы знать меня еще гораздо раньше — я работал с генералом Маниковским в Особом совещании по обороне. Знаю я также Ирину Добровольскую из Царского Села и ее жениха Матвеева. Сам же я генерал фон Штейн. Здесь никаких «фонов» не признают и меня вызывают на букву «ф» — Фонштейн.

Потом я познакомился еще с одним человеком средних лет, который сказал мне:

— Вы меня не знаете, а я вас знаю.

— Каким образом?

— Я видел вас во сне.

— Интересно.

— Да, очень странно. Трудно поверить. Я будто бы ехал по дороге и увидел вас на обочине по пояс вкопанным в землю.

— Ох!

— Да, на груди у вас была дощечка, на которой крупными цифрами написано: «22,5». И этого я совершенно не понимаю.

— А я понимаю. Мне осталось сидеть в тюрьме двадцать два с половиной года. Простите, кто вы такой?

— Аспирант, экономист.

Осмотревшись, я увидел еще человека, у которого по плечо была отнята рука. Вид у него был очень сумрачный. При знакомстве сказал мне, что он инженер.

Потом я подошел к старику без одной ноги, сидевшему на койке. Это оказался казачий генерал Ханжин, командир какой-то сибирской дивизии. Ханжин был очень хороший и даже удивительный человек. Ханжа — это, кроме общеизвестного значения, означает что-то вроде самогона. Но он был абсолютным трезвенником. Кроме того, никогда не употреблял матерного слова. Казаки, которые во многом были полной противоположностью генералу, однако, его очень любили. Вероятно, поэтому ему дали двадцать пять лет.

Возвращаюсь к Лубянке. Другое воспоминание, более тяжело-го характера.

Однажды в Сремские Карловцы, где мы жили, нагрянули казаки. Казаки-то казаки по виду, но на службе у немцев. Они поставили своих коней в церковные ограды, но не в церкви, как это сделал бы Наполеон. Затем они в пешем строю набросились на базар, но не для грабежа. Они платили не торгуясь. Только им

трудно было понять торговков, а потому я и встрял между ними в качестве переводчика. Лица их мне не очень понравились. Быть может, это заметил их офицер и подошел ко мне. Он спросил меня вполголоса:

— Как мы вам нравимся?

Я ответил:

— За все платят, чего же больше.

Мы отошли в сторонку, и он сказал:

— Я не казак. Я чистокровный петербуржец. Деньги они платят. Немцы дают много. Ведь это деньги особые, только для оккупированных стран, поэтому грабить им незачем. Но мораль их ужасная.

Он распрощался, сказав:

— Сами увидите.

Я не увидел, но я услышал. Со слезами на глазах рассказывали сербы:

— Немцы, ну так это немцы. Но русские, братья.

— А что?

— Говорят, было несколько покушений на поезда. Кто? Никто не знает. Так вот, оттуда выволакивают мужчин и на бендеры (фонари).

Дальше — больше. Со всех сторон шли вести о казачьем злодействе. Затем время пошло своим чередом. Среди других злодеяний забыл я и о этих. Но вспомнил на Лубянке.

В нашей камере был браваый немецкий генерал. Он ничего не ел, все раздавал товарищам по камере. Другие немцы шептали мне:

— Ему грозит смертный приговор.

— За что?

— Он командовал вашими казаками.

— Где?

— В Югославии. И они там усердствовали.

— А он что?

— Он говорит, что таких приказаний не отдавал.

Тем временем он все же не терял бодрости. Нас в камере было семь человек. Мы выстраивались в три пары с генералом впереди и молодежато маршировали в ногу двадцать минут, которые нам полагались на прогулке. Так как это происходило в глубоком колодце, между стенами, это еще более усиливало мрачность обстановки и безвыходность нашего положения. Раньше нас поднимали «на небеса», то есть на крышу. Оттуда хотя и не видно было Моск-

вы, но туда доносился уличный шум и, главное, там были большие часы.

Часы! Ведь мы часов давно не видали. «Счастливые часов не наблюдают». Время мы узнавали, когда приходил час побудки, обеда, отбоя. Поэтому в первый раз, когда нас подняли на крышу, мы обрадовались часам. Но они стояли и всегда показывали одно и то же время — без четверти час.

Однажды генерала вызвали, и он больше не пришел. Он был казнен.

Собирая казачьи «подвиги», я, конечно, осуждал немецкого генерала*. Командиру первая чарка и первая палка. Но все же, узнав, что приговор приведен в исполнение, я был счастлив, что ни одного слова не проронил о том, что знал о трагедии, разыгравшейся вокруг городка, где я жил.

Возвращаюсь к камере во Владимирской тюрьме. Несколько слов о безруком инженерере.

Однажды нашу камеру посетил главный начальник тюремного управления полковник Кузнецов. Он подошел к инженеру. Тот смотрел исподлобья, отвечал мрачно и неохотно. Это почему-то рассердило Кузнецова. Быть может, потому, что он ко всем обращался вежливо. Он вдруг вспылил:

— Что смотришь волком, злобный какой.

«Волк» не ответил. Могла бы ответить его рука, отрезанная по плечо. Но Кузнецову этого было недостаточно или он не понял, потому что заорал:

— В карцер! Немедленно отвести его!

Безрукого повели. Кузнецов, как бы ища сочувствия, посмотрел вокруг и подошел к одному грузину. Последний был совсем белый, хотя и не был так стар. Кузнецов сказал, обращаясь к нему:

— Отчего он озлобленный такой?

Грузин ответил спокойно и примирительно:

— Он не злой. Но он молодой человек, а руки нет. Свободу ему вернут, а руку нет.

Кузнецов сказал:

— Протез будет.

Но вспышка его прошла.

— Так он не злой?

* Имеется в виду генерал Панвитц, который в 16 лет уже был офицером. Сообщил В.В.Шульгин. — Р.К.

— Не злой.

— Вернуть, вернуть!

Кузнецов вышел, и вслед за этим однорукий вернулся в камеру.

Потом привели очень старого человека духовного звания (в эту ли камеру или в другую, не вспомню). Он имел некоторые странности. Например, обедал, стоя на коленях на полу у угла стола. Он бредил во сне, и тогда можно было услышать:

— Белые... белые! Горячие... Понесли...

По-видимому, ему мерещились какие-то небесные кони.

Однажды пришел начальник тюрьмы. Мы стояли рядом: он, о котором говорили, что он митрополит, и я. Начальник тюрьмы спросил его, очевидно, желая получить ответ, который знал наперед:

— Кто вы такой?

И действительно, «митрополит» ответил:

— Странник божий на земле.

— Сколько вам лет?

— Семнадцать.

Начальник обратился ко мне, так как я стоял рядом, и сказал:

— Ему сто лет.

И ушел. А «митрополит» заметил:

— Врет он. Мне больше ста лет.

Такая сцена повторялась неоднократно.

Я недолго был в этой камере и не знаю дальнейшей судьбы «митрополита».

Если уж я начал рассказывать о духовных лицах, то расскажу еще кое-что, о чем помню. Конечно, все эти духовные лица были не в рясах, а в арестантской одежде. Кстати, об одежде. Сначала мы были в темно-синем арестантском платье, а затем в полосатом, что было противно.

Однако, несмотря на полосатое платье, привели человека с истинно апостольским профилем. В этой камере не было ежовского «намордника», то есть окно не было умышленно закрыто жестяным щитом, чтобы заключенные не видели небо. Время ежовских «намордников» прошло, оставив о себе недобрую память. И потому в эту камеру, о которой я сейчас говорю, при закате солнца проникали его лучи.

Этот человек был несомненно еврей, но христианского обряда. При последних лучах солнца его профиль на стене камеры был бы достоин знаменитой картины Иванова «Явление Христа наро-

ду». Я с ним до некоторой степени подружился. Между прочим, он рассказал мне, что его арестовали вместе с некоей ясновидящей, которая и сейчас здесь, в тюрьме. Он о ней слышал, еще будучи на свободе, и посетил ее, как и многие другие. Когда он вошел, она сказала его имя. Он видел, что хозяева квартиры, где она жила, эксплуатируют ее. Ей за ее гадания люди приносили много денег и продуктов. Он будто бы вступился за нее. Тогда кто-то донес, и их обоих арестовали.

Он принадлежал к какой-то секте и воевал с другим сектантом, который был тут же в этой камере. С тем я тоже подружился. Он знал множество стихов на религиозные темы. Я стихи такого рода никогда не слышал. Разве что, когда был в Екатеринодаре во время Гражданской войны, я слышал молодого слепца с совершенно удивительным голосом. Голос был проникновенный, мягкий, но такой сильный, что разносился по всему рынку, и даже длиннорogie волю его слушали. Слов я не запомнил, кроме следующих:

Царица, вечная царица
Народов всех и всех племен,
Ты у Христа царя деница*
Разрушила мой темный плен.

Причем, в слове «племен» он произносил «е», а не «ё».

В этом роде были стихи моего второго сектанта. Этот сидел уже шестнадцать лет. Его несколько раз выпускали, потом брали опять. Вменяли ему принадлежность к секте одного петербургского ясновидящего. Он служил до революции в какой-то малоизвестной купеческой фирме, как будто Чичкиных. Пришел он к ясновидящему не помню уже почему или по какому поводу. Он вошел в длинную комнату, в которой находилось несколько человек. Все стояли длинным овалом. Отец N. (фамилию его я забыл) обходил этот «круг» и каждому говорил его имя, прежде чем каждый успевал себя назвать. Ему он сказал:

— Ты будешь в тюрьме. Богатства твоих хозяев не станет. Но тебя выпустят, потому что бумаги, которые против тебя составят, сгорят.

Этот необыкновенный человек оставил на моего сектанта неизгладимое впечатление, навеки связав его с религией.

* Рукавица, варежка. — Р.К.

В другой камере я встретился с двумя людьми, которых немцы (а последних было много в этой камере) называли единодушно «наши святые» (Unserer Heilige).

Оба были чистокровные хохлы. Один из Харькова, другой с Киевщины. Они говорили про себя:

— Нас считают украинцами, но мы, точно говоря, малороссы.

Тот, что был из Харькова, назывался «брат Михаил», а второй — «брат Иоанн». Они так друг друга величали. Брат Михаил молился целый день, прерывая молитву только для принятия пищи. Ел он хорошо. Когда же его хотели оторвать от молитвы во внеурочное время, он отказывался и продолжал молиться. У него было такое светлое и одухотворенное лицо, что его по большей части оставляли в покое. Но раз один грубиян из начальствующих лиц тряхнул его и потянул за собой. Брат Михаил не стал защищаться, он просто упал на колени. Его оставили в покое, и он продолжал молиться.

У него была феноменальная память, хотя он был совершенно безграмотен. Он знал литургию и все службы. Его молитва в том и состояла, что он как будто в церкви и говорил за священника, за дьякона и за хор. Кроме того, он знал все акафисты наизусть. Акафисты — это даже не молитва, а скорее жития тех святых, которым они посвящены. Меня особенно интересовал акафист Архангелу Михаилу, архистратигу всех сил Господних. Потому что он покровитель Киева и всея Малыя Руси, как Святой Георгий покровитель Великия Руси. Но кроме того, Архангел Михаил покровитель иудеев и всего рода человеческого. Соответственно этому и составлен этот длиннейший акафист. Его брат Михаил продиктовал мне от точки до точки.

Как и полагалось такому святому, брат Михаил был кроток, как истинный христианин. За обедом он сидел рядом с двадцатishестилетним Колькой, четырехкратным убийцей. Я сидел напротив и иногда слушал:

— Вот, Коля, тебе тюря. Я уже наелся.

Коля благодарил и кушал. Когда последний осушал тарелку, брат Михаил спрашивал его:

— Ну как же это так, Коля? Ты — вор и убийца. Ведь ты только подумай, если все будут красть и убивать, что же это будет?

Коля отвечал с мрачным достоинством:

— Все не будут ворами. Не всякий воров может стать. А если бы такое случилось, что вся власть перешла к нам, то воров и убийц не стало бы вовсе.

Между прочим, этот Коля на одной руке не имел трех пальцев. Кисть здоровой руки была маленькая, не рабочая. Один глаз

его видел прекрасно, другой не мог поднять века. Несмотря на это он был красив какой-то мрачной красотой, а плечи были просто атлетические, и грудь, что называется, косая сажень.

Что сделал бы такой богатырь-чудовище, приди он к власти? Не знаю. Но в камере нашей он сразу всех прибрал к рукам.

Со мною он подружился. Когда он пришел к нам в камеру, то наши два ящичка для хлеба оказались рядом. Я в это время уже не мог съесть целой пайки хлеба после болезни. Поэтому я ему сказал:

— Ты молодой, а я старик. Поэтому я твоей пайки брать не буду, а ты мою оставшуюся бери.

Он ответил:

— Батя-батя! Чтобы я, вор, взял у товарища пайку. Да разве это мыслимо? Разве это вор сделает? И вообще, в камере я красть не буду. Я, чтоб рука не отвыкала, иногда возьму что-нибудь, а потом обратно положу. Никто и не заметит. Вот если кто будет большие передачи получать, то я возьму открыто. Кто мне помешает.

В этой камере были двое, которые мне досаждали. Дрянь были люди. Коля это заметил и сказал мне:

— Если они вам, батя, какое слово скажут или посмотрят косо, то им не жить.

Пока что Коля вел себя тихо. Но однажды сказал мне:

— Я родом из Ленинграда. Могу жить в любом обществе, но все же эта камера не мое общество. Я оттуда уйду.

Я подумал, как же он это сделает? Это было очень непросто — по своему желанию переменить камеру. Но у него были свои методы. Он высмотрел среди других немцев одного генерала, которого не любили и его соотечественники — он слишком уж важничал. Однажды Коля в уборной толкнул этого немца. Не ударил, а толкнул богатырским плечом. Генерал заявил охраннику, сопровождавшему нас в уборную, об этом инциденте (он достаточно говорил по-русски, чтобы объясниться):

— Этот человек меня толкнул.

Генерал был, между прочим, одним из разрушителей Севастополя. Его фамилия была Ханзен* (от Ханс, то есть Иван),

* Генерал Эрих Ханзен, командующий немецкой артиллерией во время осады Севастополя в 1941-1942. Сообщил В.В.Шульгин. — Р.К.

а его называли все Ганзен (от Ганз — гусь), на что он очень обижался. Ему вменяли ненужную жестокость, он же объяснял мне:

— Война. Приказано было разгромить, я разгромил. Я ведь военный человек, как тут проявить гуманность.

Колю отправили в карцер. Через несколько дней его вели по коридору. Я с некоторым волнением ожидал, вернут ли его к нам. Я ведь понял, что стычка с генералом — только способ для перевода в другую камеру. А если его вернут, он будет уже не толкать, а бить. Но его провели мимо. Я вздохнул с облегчением, но потом жалел. Мне лично через некоторое время такой Коля очень бы пригодился.

Возвращаюсь к брату Михаилу. При всей своей кротости, он в некоторых отношениях был непримирим. Там, в Харькове, он не вошел ни в какие колхозы, хотя был настоящим хлеборобом. Жил тем, что чинил обувь. Конечно, жил бедно. Однако жена его, оставшаяся на месте, из несчастных своих сбережений прислала ему несколько рублей. А он их не принял. Почему? Хотя он был безграмотен, но расписаться мог. Но расписаться — это значило войти в какие-то отношения с «богопротивной властью». Этого он не мог себе позволить. Я ему сказал:

— Но пищу-то вы, брат Михаил, от «богопротивной» принимаете.

— Это мой грех. Да простит мне Господь милосердный.

Или еще. Ему было шестьдесят лет, а на вид сорок, и был он совершенно здоров. А от дежурств отказывался. Дежурство по камере означало прибрать ее, вымыть пол, что было совершенным пустяком для него. Но он и это понимал как сделку с «богопротивной властью».

Видя, какой дело принимает оборот, я сказал по начальству, чтобы его оставили в покое и что я буду за него дежурить. А я вообще совсем не дежурил. С тех пор, как я попал во Владимирскую тюрьму, неизвестно по какой причине, но не по приказу власти, а по решению камеры, о котором мои сотоварищи заявили начальству («не желаем, чтобы Шульгин дежурил»), я был освобожден от этой обязанности. Это было очень странно, тем более, что генерал фон Штейн, с которым мы были одних лет, особенно на этом настаивал.

Однако мое предложение дежурить вместо брата Михаила очень рассердило начальника тюрьмы, который пришел лично к нам в камеру по этому делу. Он закричал на меня:

— Да вы что, холуй его?!

В результате мне не разрешили дежурить, а брата Михаила poslali в карцер на десять дней. Потом срок уменьшили до пяти. Он вернулся похудевшим, но таким же радостным.

К Коле я еще вернусь, а пока хочу рассказать о брате Иоанне. Этот был из киевских хлеборобов. У него было двадцать десятин, значит, он принадлежал к разряду кулаков. Землю у него отняли, но взамен дали четыре десятины в лесу. Однако и на четырех десятинах он снова разбогател. Он рассказывал мне:

— Сохранил я книжечку Столыпина о том, как надо хозяйничать на хуторах. Я ее хорошенько выучил. Вместо трехполюе у меня было десятиполье, построил себе домик и жил хорошо. Конечно, этого не стали терпеть. Опять все отняли и арестовали. И жену арестовали. Осталась дома девочка десяти лет. И вот она спекла пирожки и начинила их шелковицей. Потом пошла туда, где я сидел, чтоб тату покормить. Мимо проезжал какой-то начальник, тоже из мужиков: «Ты куда идешь?» Она рассказала. Он вылез из брички, отнял у девочки пирожки и затоптал их в песок. Девочка пошла к своей подруге, такой же как она. Залегла там и сказала: «Як так, не хочу жить». И умерла. С тоски.

Он остановился, затем продолжал:

— Вы со мною рядом лежите. По ночам, может быть, слышите, как я плачу?

— Слышу.

— Так вот плачу. Даже не о том, что девочка моя умерла. А о том плачу, что простить не могу. По-христиански все должен простить. А этого, затоптанных в песок детских пирожков, простить не могу.

Затем, успокоившись, он продолжал:

— Выпустили меня. Дома ничего не осталось, кроме образов. И вот пришли. Берут образа. Я сказал: «Не дам». Они стали меня бить каблуками по босым ногам. И я взмолился Богу: «Господи, ужели! Ужели и это возможно?!» И они ушли. Образа остались. Мне только и нужны они были. Опять стал работать. Жена у меня уж очень хорошая... Но вот началась война. И я убежал в лес. Три года жил в лесу.

— Как же? В пещере какой-нибудь?

— Нет, в пещере боялся.

— Так как же вы не замерзли?

— Там кое-где сенокос был, копны стояли. Когда сено сухое, то оно дыма не дает. Дым пускать нельзя было, потому что сразу обнаружат. Так вот, я сухого сена положу, зажгу и над ним стою. И этим согреваюсь.

— А как же с питанием?

— Жена носила и в дуплах прятала. Но очень трудно было. За нею стали следить. Бывало и так, что в течение нескольких дней оставался без пищи, пока ей не удавалось пробраться. И так прошли три года. Война кончилась. Амнистия. Я вернулся. Вернулся в свою хату, и вот что было дальше. Три года голодал, мерз, но не болел. А тут пришел в теплую хату, где поесть можно, и заболел страшною болезнью. Все тело покрылось гнойниками. Жена, есть ли еще такая другая на свете, она меня от смерти неминуемой выратовала (спасла).

— Каким образом?

— Она простыню распарит и положит ее, горячую и мокрую, на меня. И этот компресс гной вытягивал. Я долго болел. Вылечила она и иконы святые, которые стояли в углу хаты. Узнали, что я выздоровел, и зовут работать в колхоз. А я говорю жене: «Уйду опять в лес». Тут кто-то постучался. Вошел незнакомый человек. «Можно переночевать?» — «Пожалуйста». Жена напекла вареников, а он сел к столу и взял книгу (у меня, кроме икон, была еще и Библия). Стал читать, а меня спрашивать, понимаю ли я. Я не все понимал, и он мне разъяснял, а потом сказал: «Ты в лес хочешь уйти. Так я тебе запрещаю». И так он это сказал, что я ответил: «Не пойду». Затем приказал: «Иди завтра на работу и увидишь...» Я пошел. Поставили в хлебном магазине разгребать зерно для просушки. Дали широкую лопату, и я начал работать. И вдруг, чувствую, не могу. Судорога руки свела. Держу лопату, а работать не могу. На меня набросились: «Все ты врешь!» И стали силой пальцы разжимать. Увидели, что я не притворяюсь, позвали врача. Он сказал: «Нервное явление. Судорога. Работать не может». Освободили. Пришел домой, а мне жинка говорит: «Это не простой был человек. Это святой». Тогда вообще стали говорить, что апостолы уже пошли по русской земле, что они ходят, и скоро вернется и семерка.

— Какая же семерка? — спросил я.

— Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей.

Он продолжал:

— А вот еще что было. Тут в нашем селе однажды вел службу священник. И он же в тот же самый день и час служил в одной из киевских церквей. И это установили точно.

Я вспомнил об известном на Западе чуде, происшедшем в шестнадцатом веке. Франциск Ассизский говорил проповедь в одном из городов Франции, и он же в то же самое время служил мессу где-то в Италии. Поэтому рассказ брата Иоанна меня заинтересовал.

— Человек этот, который не позволил мне идти в лес, пришел еще раз. Мы ему обрадовались. Но он вел себя как-то странно. Жена опять напекла, однако он не стал есть, сказал, что сметана горькая, а на скатерти пятна. Она в слезы, потому что сметана хорошая и пятен на скатерти нет. Стал он придирается к одному, к другому... Она плачет, а я не знаю, как мне быть. Потом он лег спать, а мы с женой так и не сомкнули глаз от огорчения. Утром, когда он поднялся, то сказал: «Я пойду, а вы меня простите. Я вас испытывал. Сметана самая свежая, а скатерть, как снег, бела. Ты только плакала, а он мне худого слова не сказал. Теперь я знаю, какие вы люди...» Потом опять начались религиозные преследования, меня обвинили в религиозной пропаганде и посадили в лагерь. Там я встретился с братом Михаилом.

— Вы не сектанты?

— Нет, мы чистого восточного православия.

— Тяжело вам было в лагерях?

— Как сказать. Очень много народу и самого разного. И даже трудно вам будет поверить, из-за чего люди могут впадать в безумие. Вот, например. Там все было больше крестьянство. Казалось бы, что по крестьянскому делу должно быть согласие. Но однажды вышел спор, и из-за чего? Вы знаете, конечно, что на серпе, которым жнут, есть зубчики. Спор возник из-за того, куда эти зубчики наклонены: к ручке серпа или в обратную сторону. В этом споре приняло участие около четырехсот человек, и они пришли в такое неистовство, что страже пришлось разнимать их оружием. Не стреляли, но прикладами били и штыками угрожали. Сектанты тоже очень азартные. А в общем были люди плохие и были хорошие...

Тут я должен вернуться к Коле. Перед тем, как его к нам привели, мы уже полтора месяца не получали газет, которые перед этим нам аккуратно давали каждый день. Кто мог, читал их. Мой друг, австрийский немец, переводил остальным. Он не говорил по-русски свободно, но текст переводил сразу.

Однако для многих было загадочно, почему однажды в течение целой минуты гудели фабричные сирены и вообще все гудки города. Это было торжественно-мрачно. Когда пришел Коля, он стал что-то рассказывать и сказал, между прочим, спокойно:

— Когда Сталин умер...

Тут все бросились к нему: «Как?! Умер Сталин?»

— А вы не знали?

— Нет.

В дневнике, который я вел тогда, я записал сон, который мне приснился на пятое марта. Пал великолепный конь, пал на задние ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью. Я объяснил себе этот сон в связи с убийством Александра II 1/13 марта 1881 года. Теперь ясно, что это относилось к Сталину. Это событие и на нас отразилось очень серьезно.

В нашей камере был один японец, который прекрасно говорил по-русски, но сумел скрыть это от начальства. Наши вертуханы (надсмотрщики) думали, что он ничего не понимает, и говорили при нем между собою откровенно. Через него от них мы узнали, что будут большие перемены. Перемены и случились. Отношение к заключенным стало гораздо мягче. И тут можно было понять, что эти люди были строги и придирчивы не по собственному желанию, а по должности. Этого требовали сверху. Вспомнил я и любимую поговорку Врангеля: «Рыба с головы портится».

Потом мне вспоминается, как однажды брат Михаил, неизвестно по какой причине, затеял со мной разговор, меня удививший.

— Когда вас позовут...

— Куда позовут? — перебил я.

Он поправился:

— Когда вас призовут...

— Как это призовут?

— К власти призовут.

Я понял и сказал:

— Никто меня не призовет, а если бы позвали...

— То что?

— То я откажусь.

— А почему?

— Потому что я не годен к власти.

— Почему? — удивился он.

— Потому что всякой власти придется лить кровь. Если и раньше это было мне трудно, то теперь я к этому не способен совсем.

Он помолчал, затем проговорил:

— Именно поэтому вас и позовут.

— Как это так?

— Кровь прольют другие. Вас позовут тогда, когда не нужно будет крови.

Я привожу запомнившийся мне разговор потому, что, кроме всего прочего, наш «святой», совершенно неграмотный человек,

обнаруживал большую проницательность в том смысле, как потекут дальнейшие события. После крутого поворота опять кровь. И затем власть, которая приведет страну в состояние более или менее нормальное и мирное.

Маятник никогда не останавливается сразу, а только после многих качаний. Влево, вправо, опять влево и снова вправо...

Несколько слов о питании и гигиене во Владимирской тюрьме. Мы по-прежнему голодали. На жалобы отвечали различно. Один начальник тюрьмы сказал прямо: «И надо, чтобы вы голодали. Тюрьма не курорт. Надо, чтобы, когда вас выпустят, вы боялись в нее вернуться». Другой начальник тюрьмы заявил примерно так: «Я еще не видел ни одного сытого заключенного. Да разве может быть иначе? Вам полагается тринадцать граммов жиров в сутки. Это слишком мало».

Это так и было. По-видимому, сытость дают жиры. В смысле калорий пайка в пятьсот или пятьсот пятьдесят граммов черного хлеба достаточна, чтобы быть сытым.

С этой пайкой происходили иногда невероятные нелепости. Обычно съедали все сейчас же по ее получении. Но некоторые хвастались, что они съедали пайку в несколько мгновений. Это было вредно. А были и такие, что день пайку совсем не ели, а на второй день съедали две пайки, и как можно скорее. Это было еще вреднее. Но они отвечали: «Хоть в два дня, но все-таки наемся досыта».

Я лично после болезни потерял настоящий аппетит и не доел пайки, никогда не просил прибавки (иногда прибавка бывала) и даже не доел кашу.

Обычный обед состоял из супа, всегда жидкого, и каши. Бывал иногда картофель, который немцы тоже называли кашей.

Несколько слов о гигиене. Клопов не было совсем. Купание каждые десять дней соблюдалось аккуратно. Купание состоялось в душах. Вода падала с достаточной высоты, струя была сильная. Температура регулировалась где-то в другом помещении под всеобщие крики: «Горячо!» или «Холодно!» Обыкновенно было достаточно тепло и много пару. В этом тумане голые фигуры принимали какие-то странные очертания. Когда же под душем были калеки без рук или ног, это выглядело зловеще.

Хотя в тюрьме петь не разрешалось, но под душем, под аккомпанемент бегущей воды, дозволялось. Откуда-то появлялся голос, и я заливался:

— Кто ту песню слы-ы-ы,
Ту песню слы-ышит,
Все позабыва-а-а, позабыва-ает...

Все не все, но кое-что.

После купания выдавали чистое белье. Иногда бывали стычки с бельевой сестрой. Одна была красивая и потому дерзкая. Она однажды дала мне белье до того узкое и маленькое, что я не мог его одеть. При этом добавила:

— Другого нет.

Я ответил:

— Нет? Так это оставь себе. Мы не гордые, обойдемся и без белья.

Но за это ей бы влетело. Она принесла белье по моему росту, сказав при этом:

— Вот тебе. Укроти свой гонор.

— Гонор уменьшу, а ноги отрезать не могу.

В общем, купальный день был вроде как праздничный.

Развлечением для некоторых было записываться к врачу. Это сопровождалось переходом в другое здание, что несколько разнообразило нашу жизнь. Однако это применялось в редких случаях, потому что врачи обходили все камеры два раза в неделю. Это было просто роскошью. Ну кто вне тюрьмы может позволить себе удовольствие восемь раз в месяц подвергаться медицинскому осмотру?

Кроме случая, когда я болел три месяца, я не обременял врачей. Они это ценили и говорили: «Шульгин держится физкультурой. Так и надо». В мою физкультуру входили йогические упражнения, о чем врачи не знали. Дело было только плохо с зубами. Была большая очередь на протезы. Я два года ждал, пока наконец их сделали. Но сделали хорошо, они мне долго служили.

Как я уже говорил выше, серьезно болел я только раз. В марте была гололедица, и я упал, больно ударившись левой стороной тела, которую сильно расшиб. К этому прибавилось нечто непонятное: рвота, температура. Левая нога укоротилась и не то что болела, а нестерпимо тянула. Кроме того, я совершенно перестал есть. Меня перевели в больницу. Я сидел вдвоем в камере и все отдавал товарищу по камере.

Когда меня в первый раз осматривал врач, она иголками оскультивала ногу на предмет чувствительности. Я спросил ее:

— Антонов огонь?

— Нет, — ответила она, — это не гангрена.

Но что же это было такое, определить не смогли. Однако лечить принялись энергично. Сначала для ноги делались горячие ванны. Это не помогло. Ее продолжало нестерпимо тянуть. Спать я не мог и всю ночь ковылял по тесной камере. Надсмотрщик, который, как всегда, периодически смотрел в глазок, в конце концов не выдерживал и вызывал сестру. Она давала мне морфий, и я засыпал. Но на седьмой раз я отказался от этого, так как не хотел стать морфинистом.

Просто горячие ванны не помогали, поэтому стали применять электролиз. Горячие ванны остались, но одновременно мне надевали какой-то пояс и пускали ток. На стене висел прибор, регистрирующий, по-видимому, силу тока. Постепенно мой ток довели до трех с половиной ампер (предельный по прибору составлял четыре). На этом уровне жгло сильно. Однажды сестра обо мне забыла, а потом прибежала и закричала:

— Жареным мясом пахнет!

Это было, конечно, преувеличение, но в конце концов на двадцать пятом сеансе болезнь уступила. Врач, молоденькая и красивая женщина, сильно «наштукатуренная», искренно обрадовалась. Она каждый день спрашивала меня:

— Ну как, вам легче?

Я неизменно отвечал:

— Трудно сказать. Как будто лучше.

— Когда же будет без «как будто»?

И наконец я сказал:

— Просто лучше. Без «как будто».

Ногу перестало тянуть. Нога стала приближаться к нормальной длине, и я перестал хромать. Стал опять спать. Аппетит появился, но уже никогда во всю мою последующую жизнь не вернулся к прежнему. Во всяком случае, после трех месяцев лечения меня вернули в обычную камеру, но там было всего пять человек, совершенно новых и мне не знакомых.

Один был военный, старик с одной ногой. Другой — офицер средних лет, страдавший радикулитом. От отличался феноменальной памятью, знал по фамилиям бесчисленное множество русских офицеров. Фамилия его была Кузмин-Караваев. Фамилия старая, новгородская. Были они Кузмины, но когда, после очередного раздела Новгорода Москвой, некий боярин Иван Кузмин встретил представителей Москвы с хлебом-солью, то к фамилии Кузмин

прибавили прозвище «Короваев», ставшее со временем частью фамилии и преобразившееся в «Кароваев». Мой сокамерник Кузмин-Кароваев после революции жил в Финляндии и оттуда был доставлен в Россию после окончания войны.

И был там человек, которого забыть трудно. Он был еврей по фамилии Дубин. Этот еврей, высокий, худой и сохранивший бороду (что тоже бывало не часто), немедленно после побудки и обязательного посещения уборной становился на молитву. Это был второй Михаил, но только «отец», который тоже весь день молился. Но Дубин, кроме того, в течение целого дня ничего не ел и не садился, потому что он молился стоя. Он не умел молиться тихо, про себя, а все время что-то бормотал. Иногда это бормотание переходило в плач. Он плакал так, что этому трудно поверить. На полу от слез образовывались лужицы. Сначала на это трудно было смотреть, но потом я привык. Через некоторое время он сказал мне:

— Вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю. Какой еврей не знает Шульгина, члена Государственной Думы. Я тоже был пятнадцать лет членом парламента в Риге. Кроме того, я стоял во главе лесных промыслов, и у меня работало четыре тысячи рабочих.

Я спросил его:

— Отчего вы так горько плачете?

Он покачал головой:

— У нас есть такие молитвы, когда положено плакать. Кроме того, у меня было около ста родственников. Все убиты немцами. Только одну сестру мою я сохранил. Она живет в Москве и помогает мне. Но особенно я плачу вот почему. У меня была мать, старенькая. Я старался каждый день у нее бывать. Но вы сами знаете, как парламент и дела отнимают много времени. Надо заботиться о своих рабочих, так как они были в основном русские, и я не хотел, чтобы они устроили еврейский погром. И поэтому бывали дни, когда я не заезжал к матери. Вот теперь я об этом плачу. Как мог я это делать! Ведь она меня ждала. Теперь ее нет. Слава Богу, она умерла до немцев. Я спасся, потому что вместе с сестрой бежал на восток, в Москву. Но меня все-таки арестовали. Я правоверный еврей.

Позже я узнал, что Дубин не только правоверный иудей, а и весьма уважаем религиозными евреями далеко за пределами Риги.

Простояв на молитве целый день, он вечером сидел за стол, за которым больше никого не было. Это было потому, что пра-

воверный еврей не может вкушать пищу с неевреями. Вечером он съедал свою пайку, пил чай. Не помню, ел ли он обед. Кажется, нет. Но в шабат, то есть в пятницу вечером, он ел рыбу, которую можно было покупать в ларьке. По закону в шабат надо есть лучше. С первых же дней он предложил мне, что будет покупать для меня в ларьке белый хлеб и сахар. Я отказался. Он спросил меня:

— Почему?

— Мы еще очень мало знакомы. Принимать такую помощь я могу только от друзей.

Он сказал:

— А я вам говорю, что вы возьмете. Слушайте, я вам уже говорил, что немцы вырезали всю мою родню, и не знаю, сколько еще миллионов евреев. Сейчас в этой камере немцев нет. Но где я был раньше, там их было много. Быть может, эти, что были со мною, и не убивали евреев, но все же это немцы. И я долго не мог себя пересилить. Однако в писании сказано: «Голодного накорми». Не сказано в писании, что немцев не накорми. А они голодали. И я стал их кормить. И вы возьмете мой хлеб. Вы не захотите так меня обидеть.

Я сказал:

— Давайте. Я возьму ваш хлеб.

И так потекли дни. Дубин молился и плакал. Я привык как к тому, так и к другому.

Теперь я не знаю, что с ним. Вряд ли он поехал в Израиль. Он говорил: «Они не евреи. Евреи веруют в Бога, а эти не веруют. И храма Соломонова они не восстанавливают».

Я ему не сказал, но подумал: «Нельзя восстанавливать храм Соломона. Восстановить его — это значит восстановить кровавые жертвоприношения. Пусть там убивают лишь овец и быков, но все же это кровь. Это невыносимо для современного человека. Современный человек легко переносит боины, где убивают миллионы животных. Но убивают для еды, а не для того, чтобы насытить кроваждного Яхве».

Этот Дубин обладал, конечно, сильной волею. Иногда эта сила проявлялась в бессилии, как это часто бывает с женщинами. Однажды банный день совпал с субботой, когда по еврейскому закону нельзя мыться. Дубин отказался идти в баню. Но баня обязательна. Поэтому надзиратель сказал ему, что поведут его силой. Как ответил Дубин? По-женски. Он стал рыдать. И грубая мужская сила уступила. Сказав «черт с тобой», надзиратель оставил его в покое.

Замечательно еще то, что у него в тюрьме была библиотека из двадцати религиозных книг на еврейском языке. Они хранились

в общей библиотеке, а ему выдавали по мере надобности тот или иной том. Этого не мог бы позволить себе никто другой. Если бы у меня конфисковали Евангелие, которого у меня не было, то ни в коем случае не выдали бы по моей просьбе. Я бы не смог их убедить. Но такой Дубин, который целый день молился и плакал, произнося слова, написанные в этой книге, не входил ни в какие рамки. Он импонировал. Он гипнотизировал. И его уважали, несмотря ни на что.

То же самое наблюдение я сделал гораздо раньше, еще в двадцать пятом году. Не уважали обыкновенных христиан, но уважали раскольников, чувствуя силу их веры. И потому недаром говорится, что вера горами движет.

В этой камере произошел со мною небольшой инцидент. Там было тесно, и потому я, чтобы не мешать старику с протезом, сажился обедать не за стол, а на какое-то возвышение, которое там почему-то было. Вошел надзиратель, еще почти совсем мальчишка, какой-то придурковатый и которого почему-то называли «Астрономом», и сказал мне наставительно:

— Обедают за столом.

— За столом тесно.

Он повторил тем же «астрономическим» тоном:

— Обедают за столом.

Нервы в тюрьме легко расстраиваются. Я швырнул тарелку с кашей на стол и сказал:

— Можно и не обедать.

Этим я совершил проступок, хорошо в тюрьме известный и канонизированный. Это называется «швыряться тарелками».

«Астроном» вышел, и через несколько минут пришел старший.

— Шульгин, вы швыряетесь тарелками.

— Да, швырнул.

— Швыряться тарелками нельзя. Вы читаете книги из библиотеки?

— Читаю.

— Так вот, целую неделю вы их не будете читать.

Старший этим дипломатично вышел из положения. Тарелками швыряться нельзя, за это надо наказывать. Сказать по правде, я и не читал. В этой камере было темновато для чтения. Я ответил старшему:

— Не буду.

И волки сыты, и овцы целы.

Я не читал, но я писал. Это не было запрещено. Я написал в этой камере несколько стихотворений. Между прочим, о моей первой жене Кате. Эти стихи прочел Кузмин-Караваев. Они ему не то чтобы понравились, а произвели впечатление. В них рассказывалось о ее трагической кончине.

Надо еще сказать несколько слов о прогулках. Прогулки были обязательны. На Лубянке они ограничивались двадцатью минутами в сутки. Здесь же гуляли два раза в день по часу. Почти все заключенные эти прогулки ценили, но я иногда в большие морозы отлынивал. Меня, ввиду моего возраста, не принуждали.

Вспоминаю еще историю с моей «голодовкой». Одно время я очень ослабел и после обеда мне нестерпимо хотелось спать, но лежать не позволялось. Мне необходимо было завязать голову чем-нибудь теплым, чтобы прекратить отлив крови. И это запрещалось. Тогда я придумал очень странный метод борьбы. В один прекрасный день я отказался взять пайку. Через три дня это заметили.

— Вы что ж, объявили голодовку?

— Нет, просто не хочу есть.

Надо сказать, что голодовки запрещались. Обычно голодающих кормили насильно, что было сильным мучением, так как засовывали кишку в рот и лили бурду из жидкого хлеба. Поэтому я не объявлял голодовки. Но как-то и кто-то донес начальству, что с Шульгиным что-то неладно. Пришел майор. Спросил:

— Кто тут болен? Вы, Шульгин?

Я объяснил суть дела.

— Мне надо голову завязывать полотенцем, но этого не разрешают, — закончил я свое объяснение.

Он сказал:

— Голову полотенцем завязывать нельзя.

— Так как же быть?

— Шапку наденьте, если голова мерзнет.

— А шапку можно?

— Можно с особого разрешения. И, вот, я вам разрешаю.

Это был удивительный отказ от священных правил тюрьмы — разрешить заключенному сидеть в шапке. Но с тех пор, как мне это было разрешено, было навсегда твердо установлено: Шульгин может сидеть в шапке. Однако не за обедом. Это, конечно, было совершенно правильно. Но однажды я забыл снять шапку, когда принесли обед. Раскрылась кормушка, и старший поманил меня пальцем. Я подошел.

— Разве хорошо, Шульгин, обедать в шапке?

— Нет, не хорошо. Но я просто забыл снять.

Затем прибавил:

— Обедать в шапке неприлично. Почему? Прежде всего потому, что в комнате икона есть. А где у вас иконы?

Он ответил мне тихонько, чтобы никто не слышал:

— Икона должна быть в сердце у вас, Шульгин.

Да, «русский народ, — писала немка своему мужу, — если не относиться к нему с высокомерием, раскрывает свое истинное золотое сердце». К этому нечего прибавить.

Однажды к нам в камеру привели нового арестанта, японца средних лет. О нем пришла хорошая информация, поэтому я встретил его любезно, угостил белым хлебом, что было равнозначно пасхальному куличу, и стал с ним подолгу беседовать, благо он свободно говорил по-русски. Его отец был священником и в дореволюционные времена окончил Киевскую духовную академию. Это обещало дружбу. Но «*homo proponit, Deus disponit*» («человек предполагает, а Бог располагает»). Чисто русская половица, как думают некоторые.

Мой друг Эрнст Максимович Креннер, который откуда-то и получил о нем хорошую информацию, впоследствии говорил: «Тяжелый психопат». Так оно и было.

В один далеко не прекрасный день, когда мы вернулись с прогулки, японец вдруг заявил:

— Кто-то трогал мой хлеб.

— Украли? — спросил кто-то.

— Нет, но я положил его так, а сейчас он лежит иначе.

Затем он стал развивать эту тему, бросая подозрение в общем на всю камеру, что хотя хлеб и не украли, но, несомненно, хотели украсть. При этом он добавлял:

— У меня есть вещественные доказательства — хлеб лежит не так, как я его положил.

Мне это наконец надоело, и я сказал ему серьезно:

— Вы бросаете подозрение на всех нас. Потрудитесь прекратить.

Но он не прекратил. И добился того, что ему объявили бойкот.

Наступили святки. Немцы очень трогательно празднуют сочельник. При этом каждый вспоминал своих близких, которые в это время собрались дома у елок. И Эрнст Максимович со слезами на глазах обратился к японцу:

— Во имя сегодняшнего святого вечера давайте помиримся.

И протянул ему руку. Но это на него не подействовало, и он продолжал свою пасквильную деятельность. И получил за это жестокое возмездие.

Появились в камере еще два лица. Один был венгерский цыган, другой — грек. Цыган сидел и за политику, и за грабеж, и за убийство. А грек был арестован при следующих обстоятельствах. Семнадцать греков укрылись в России, спасаясь от турецких зверств. Их поместили на юге. Они поработали немного и взбунтовались: их-де плохо кормят. Их арестовали и расшвыряли по разным тюрьмам. По разным потому, что, как выразился один начальник тюрьмы, «если их посадить вместе, то они тюрьму разнесут».

Что же произошло дальше? Цыган почему-то объединился с греком, а японец — с каким-то мадьяром, не ладившим с цыганом. И японец начал пакостить по-своему. Он цыгана называл «черным бараном» и в громких разговорах с мадьяром всячески над ним потешался и издевался. А грек, которого посадили рядом с японцем, когда немножко стал понимать по-русски, долго и внимательно слушал. И, наконец, как-то изрек:

— Ты зачем «баран» на него говоришь?

Японец ответил:

— Я дипломат, я никого не называю.

Тогда грек сказал ему наставительно:

— Ты грязный дипломат.

И ударил его так в ухо, что дипломат покатился. И тут началось. Его бил то грек, то «баран». Били жестоко. Затем заставили его выполнять всякие работы: мыть пол и свои собственные ноги, а они у него были в ранах. При этом грек и цыган приговаривали: «Потому и в ранах, что не моешь».

С каждым днем дело становилось хуже. Цыган зверел и душил японца за горло. Но этого не позволил Бастамов. Это был человек высокого роста с большими кулаками. Он пригрозил цыгану: «За горло не смеешь!» Но на прогулке однажды цыган уда-

рил японца тяжелым башмаком с размаха в зад так, что образовался черный синяк. Это случилось еще и потому, что Бастамов тоже рассердился на японца. В этом я был виноват.

Мы гуляли во дворике, как всегда. Японец бегал вдоль стен и что-то напевал. И вдруг я понял, что он делает. Он перемешивал шансонетки с русским национальным гимном. Например, так:

— За-а-а красу я получила первый приз,
Уважа-ают все мужчины мой каприз.

И затем:

— Бо-оже, царя храни...

И потом:

— Мой мальчишка не зевал,
Меня дочиста обобрал.
Я не печалилась о том,
Сошлася я с другим купцом.
И так как я была мила,
То я его обобрала...

И снова:

— Сильный, державный, царствуй на славу нам,
Царь православный...

Потом опять шансонетки и опять «Боже, царя храни». Все это он выделывал, нахально на меня посматривая. Я сказал Бастамову:

— Не подавая виду, прислушайтесь к тому, что он поет.

Бастамов не был таким уж пылким монархистом. Его отец был офицером царской армии, но сын уже считался финским подданным и имел офицерское звание в финской армии. А кроме того, он разделял недовольство финнов Николаем II. Но гнусности японца ему не понравились. Он остановил его и сказал:

— Что это вы делаете, господин дипломат? Вам мало, что вас душит «баран»? Я душить вас не буду, но...

И он сжал свои громадные кулаки. Японец понял, перестал хамить, но злобу против меня затаил.

Я спал по ночам спокойно. Возможно, из-за этого с меня сползло одеяло. Японец стал указывать на меня и кричать: «Смотрите, Ной!»

Я сказал ему:

— За то, что вы позволяете себе делать, придет день, когда вашу физиономию превратят в кровавую котлету.

Увы, это пророчество исполнилось в буквальном смысле. Страсти накалялись. Бастамов перестал защищать японца. Его били теперь зверски. Мне удалось, заклиная грека своею белой бородой, упротить его так не избивать японца. Грек, конечно,

был зверь. Но он был зверь до известной степени справедливый, и на него можно было подействовать. Временно положение смягчилось. Но «тяжелый психопат» опять что-то устроил, и дело пошло к развязке. В один из дней я понял, что грек и «баран» собираются этой ночью убить японца. Или, как говорилось на тюремном языке, избить его так, что его вынесут вперед ногами.

Тогда я сорвался с нарезов. Я подошел к двери и тяжелым сапогом стал бить так, что грохот пошел по всей тюрьме. Кормушка сейчас же раскрылась:

— Шульгин, что такое?! Вы с ума сошли!

— Да, я сошел с ума. Немедленно уведите японца.

Кормушка закрылась. Через некоторое время открылась дверь:

— Шульгин, к дежурному офицеру!

Повели к дежурному. Я сказал ему:

— Сегодня ночью может быть убийство. Уведите японца.

Дежурный подал мне перо и бумагу:

— Напишите заявление.

На восьми страницах я изложил суть дела (ведь писатель же я, наконец, черт возьми): устно я предупреждал всех и начальника тюрьмы в том числе, что обострение вражды приведет к фатальному исходу, но меня не послушались, и теперь может случиться беда.

Дежурный прочел все очень внимательно и сказал:

— К сожалению, я не имею права перевести японца в другую камеру сейчас же. Но обещаю вам, что завтра это будет сделано.

Придя обратно в свою камеру, я обратился к греку:

— Завтра японца здесь не будет. Оставьте его в покое.

И действительно, на следующий день открылась дверь и раздался голос:

— На «Ле» — с вещами!

Японец вскочил и перекрестился. И прежде чем собрать вещи, обошел всех и, протягивая руку, говорил:

— Простите.

Его прощали, в том числе и «баран», и грек. Я оказался злее всех. Я сказал:

— Бог простит.

Но руки его не принял. Значит, не простил.

Теперь о другом японце. Это было в другой камере, где нас было совсем мало. Однажды к нам ввели пожилого, очень тихого

человека, хотя, как оказалось при знакомстве, и японского генерала. Он очень плохо справлялся с русским языком, но все-таки объяснил мне, что он по религии буддист и что как только вернется на родину, то выйдет в отставку и будет священником.

Между прочим, он был хиромантом. Рассмотрев мою руку, он сказал, что только в книгах видел такие линии. И предсказал мне какую-то необычайную будущность, во что я не поверил. Впрочем, и тогда я знал, что сам мало значу в своей судьбе и не являюсь ее «кузнецом». Она у меня предопределена под знаком зрелой кармы.

Зрелая карма — это то, что не может быть предотвращено человеком. Незрелая карма — это когда человек может повернуть колесо фортуны.

Постепенно я лучше начал понимать русский язык будущего буддийского монаха. И наконец то, что он силился мне объяснить, было обточено короткою, но выразительною фразою:

— Япония разбита. Не надо мстить.

Это он начал постоянно повторять при наших дальнейших беседах.

Позже, по аналогии с законами земного притяжения, я стал рассуждать, что этот японец уже обладает такой скоростью, что может выйти за свою орбиту. Например, при скорости восемь километров в секунду этого сделать нельзя. Но при большей человек может освободиться от земного притяжения и направиться в космос.

Если бы этот японский генерал остался при желании мстить, иначе сказать, мечтал бы о реванше, то он был бы рабом земли. Победив мстительное притяжение, он может идти в небо.

Третий японец — тоже генерал. Но в противоположность буддисту был тем, что называется по-французски «*terre à terre*» (совершенно земной, ползающий по земле). Во время пребывания с нами в камере его главная забота состояла в том, чтобы починить свои желтые сапоги. Потому что японский генерал не может ходить со стоптанным каблуком. Он был добродушен и, видимо, когда-то оказывал покровительство русским где-то в Маньчжурии. Он рассказывал, что у него были ордена всех стран мира, потому что он всюду был военным агентом (атташе). В своем военном деле, может быть, он и был сведущим специалистом, но его

общее образование было низким. Он не знал названий столиц многих государств, по-французски говорил весьма слабо.

Этот последний генерал захотел пополнить свой французский словарь, а потому мы вместе с ним стали читать роман Жюль Верна «Таинственный остров» на французском языке. При этом обнаружилось его невежество в самых обыкновенных вещах.

Четвертым японцем был какой-то консул. В тюрьме он страдал желудком. Мне давали в это время белые сухари, хотя я в них не особенно нуждался. Я стал подкармливать его ими. Он захотел меня отблагодарить и сделал это в очень оригинальной форме.

В тюрьме очень много играли в шахматы. Лично я не имею способностей к этой игре, но все же немного играл. Был я, кажется, предпоследним в турнирах. Шахматисты сходили с ума и требовали, чтобы все играли, организуя целые соревнования. Ну, и выпало мне как-то играть с этим японцем, который играл очень хорошо. Но он проиграл мне и, конечно, проиграл сознательно, чтобы доставить мне удовольствие. Но сделал это так хитро, что никак нельзя было установить, что он играет в поддавки.

И, наконец, пятый японец. О нем я уже раньше упоминал — он притворялся, что не понимает по-русски, хотя владел им отлично. По профессии был часовщиком. Но есть мнение, что все японцы шпионы Божьей милостью. И этот, по-видимому, где-то шпионил. Вместе с тем он отличался хорошими способностями: обладал тонким музыкальным слухом и актерскими дарованиями. Он разыгрывал у нас в камере японские комедии, и мы хохотали до упаду, хотя ни слова не понимали по-японски.

Но на нем перечень японцев, с которыми я побывал во Владимирской тюрьме, не кончается. Помню еще одного. Он был очень симпатичным человеком, и я в нем не разочаровался. Им, между прочим, были переведены на японский язык две книги одного русского писателя — «Маньчжурские рассказы» и «Великий Ван» (Миотический тигр). Эти книги были о Маньчжурии еще до русско-японской войны 1904-1905 годов.

Этот японец был настоящий дипломат, а не «грязный». Но это не мешало ему быть веселым и добродушным товарищем по камере. Он развлекал нас тем, что без всяких словесных объяснений представлял любого из нас посредством жестикуляции. Меня, например, он изображал делающим физкультуру одновременно руками и ногами. Все узнали меня.

Он был образованным человеком и познакомил меня со следующим потрясшим меня заявлением: «Для среднего образования достаточно знать пять-шесть тысяч знаков, но, чтобы читать все книги, необходимо знать тридцать тысяч знаков».

Одновременно с этим молодым японцем был у нас в камере старик китаец. Японцы и китайцы, когда говорят, не понимают друг друга. Словарь у них разный. Но они сейчас же хватаются за карандаши и начинают писать. И тогда понимают. Это происходит оттого, что иероглифы представляют не слова, а сами предметы. Например, слово «лошадь» может быть произносимо на китайском и японском языках по-разному, а написание их одинаково.

Этот молодой японец и старый китаец переписывались, сидя за одним столом. Но кончилось это тем, что за этим же столом бедный китаец внезапно умер. Пообедав, он упал на койку, и его не стало.

Вспоминаю еще один случай во время моего пребывания на Лубянке.

Открылась дверь камеры, и раздался голос:

— На «Ше», к врачу!

Врач оказался молодой женщиной, красивой и накрашенной. Она добросовестно меня оскультировала, выстукивала. Наконец спросила:

— У вас был сифилис?

— Никаких венерических болезней не было никогда.

— Значит, вы пили, — авторитетно заявила она.

— Абстинент.

Она не поняла.

— Трезвенник, — пояснил я.

— В таком случае, я не знаю, что у вас такое. Почему у вас сердце такое вялое?

— Работа, — как само собой разумеющееся объяснил я.

— Вы? Работали? — Брови ее удивленно вздернулись.

— В Государственной Думе десять лет.

— Эт-то не работа, — авторитетно отчеканила она.

— Вы думаете, что Государственная Дума — это то же, что и Верховный Совет? Так это не так, смею вас заверить. В Государственной Думе была тяжелая работа, и все на нервах.

Она ничего не ответила. Вряд ли она что-нибудь знала о Государственной Думе. Тогда я обратился к ней:

— Я очень давно уже ношу суспензорий, но здесь его у меня отняли. Это меня ослабляет. Нельзя ли его вернуть?

— Подумаю, — нагло смотря на меня, ответила она.

Отвели обратно. Через несколько дней пришел «вертухай» (тюремный надзиратель; называли его так потому, что вертит ключом).

— На «Ше», вот вам лекарство, — и он сунул мне бумажку с какими-то порошками.

— Да ведь это что-то не то.

— Это то, что вам надо, — резко ответил вертухай и, уходя, пробурчал: — Контра проклятая.

Я развернул бумажку. В ней оказались дрожжи. Дрожжи вместо суспензория? Конечно. Отсутствие суспензория, по моему же заявлению, меня расслабляет. Но суспензорий вернуть нельзя, потому что он представляет из себя тесьму, далеко превышающую положенную длину. Но почему же нельзя иметь длинную тесьму? Потому что на такой длинной тесьме заключенный может повеситься. Казалось бы, ну и пусть вешается, зачем так дорожить его жизнью. Но, во-первых, самоубийство запрещено, вот и все. А во-вторых, он может повеситься оттого, что не желает открывать какие-нибудь тайны. Такова логика тюремщиков.

Еще одна смерть в камере. Моим соседом по койке был добродушный не то латыш, не то эстонец. Жена посылала ему передачи, которыми он делился с сокамерниками. Как-то вечером он поел, а в три часа утра я услышал его крик. Вскочил, но сделать ничего не успел — он умер через несколько минут. Вскоре унесли.

И третья смерть. В одной из камер со мною сидел немецкий генерал, человек во всех отношениях очень симпатичный и образованный. Он прекрасно и красиво говорил по-немецки. Я спросил его, откуда у него такой красивый говор. Он ответил:

— Только не с моей родины. У нас плохо говорят. Я говорю на языке, которому научился уже взрослым. Им говорят на

сцене, на нем пишут книги, статьи, — в общем, это литературный язык.

Он жаловался на сердце. И как-то ночью застонал. Я подошел к нему. Он молчал, но я увидел, что ему плохо. Через кормушку вызвал медсестру. Она спросила, не входя в камеру:

— Пульс?

Я подошел к генералу, стал искать пульс и ответил:

— Пульса нет.

Засуетились. Дверь открыли, и его вынесли. Больше мы его уже не увидели.

Было еще трое, которых мы все называли «три богатыря». Они, когда мы гуляли, всегда держались как-то втроем. Один был академиком медицины по фамилии, насколько помню, Панов, другой был профессором военной академии имени Фрунзе, Либерман, и третий — Карташов, в прошлом адвокат, а у нас известный тем, что сидел в немецкой тюрьме, а после войны попал сюда.

Что же случилось с этими «тремя богатырями»? Они всегда требовали, чтобы фрамуги были открыты. Панов получил воспаление легких, Либерман — плеврит, а Карташов умер.

С Карташовым мы иногда менялись продуктами за обедом. Редко, но все же иногда давали половину крутого яйца. А кисель можно было купить в ларьке. Я давал Карташову яйцо, а он мне кисель, и оба были довольны.

Бедный Карташов. Он чем-то заболел, и его увели в больницу. Долго его не было, и мы о нем ничего не знали. Но потом поняли, что он скончался. Как поняли? Нам дали однажды половую тряпку, и мы ее узнали. Это был клетчатый джемпер Карташова. Тряпки были обычно из вещей покойников.

Были еще ошибочные покойники. Я думал, что Корнеев умер. А он то же самое обо мне. Когда нас освободили, через некоторое время мы встретились. Значит, на другом свете. Конечно, ведь свобода относительно тюрьмы — это другой мир. Тут уместно рассказать, что Корнеев выучил четыре тысячи строчек моих стихов на память. По тогдашним условиям он не мог взять их в письменном виде. Но до этого он сидел с одним немцем, который недурно понимал по-русски. Немец восхитился главой «Христос и Моисей», в которой эти два лица вели между собою спор. Он перевел ее на немецкий.

Впоследствии этот немец попал в нашу камеру. Как-то он мне сказал, что раньше сидел с одним русским, замечательным поэтом. И прочел мне переведенную на немецкий язык главу «Христос и Моисей», прибавив, что как только его освободят, он публикует ее в Германии. Не знаю, удалось ли ему это. Я не выдал тайну Корнеева, как и он не выдал меня. Почему-то считалось опасным мое творчество и говорилось, что эти стихи принадлежат Алексею Константиновичу Толстому, творчество которого мало знают.

Чтобы закончить этот эпизод, сообщаю, что поэма эта закончена. Она удлинена главами, написанными самостоятельно Корнеевым, а общее ее заглавие — «Божественная трагедия». Это в пику Данте, который, впрочем, свое произведение назвал просто «Комедией», а уж его поклонники приделали эпитет «Божественная».

Мои стихи в чтении Корнеева великолепны. Он сам себя опьяняет своим голосом и выразительностью. И поэтому возвел меня в ранг настоящего поэта. Но в чтении кого-нибудь другого почти ничего не остается, кроме мысли, с которой можно не соглашаться. Но в них проглядывает убежденная и самостоятельная оригинальность.

Нравы тюрьмы постоянно менялись в некоторых отношениях. Было время, когда передать из одной камеры в другую какое-нибудь литературное произведение почиталось безумной мечтой. И все же пришел день, когда я передал Даниилу Леонидовичу Андрееву, сыну известного писателя Леонида Андреева, мою поэму. Но не ту, которая была названа «Божественной трагедией», а о Крыме. Нечто напоминающее казачьи думы. Произведение слабое. В нем рассказывается, как под рокот дождя, который стучал по кожаному капюшону князя Воронежского, последний сочинил некую думу о Северине Наливайко.

Но Даниил Андреев, прочтя ее, написал мне: «Рифмы хорошие, и в ней есть другие достоинства, но стих неимпозантен и не доходит». Что правда, то правда. Но вот что неправда. Я уже не помню, как Даниил Леонидович узнал о моем историческом романе «Приключения князя Воронежского». То ли я ему рассказал, когда мы были с ним в одной камере, то ли каким-то другим способом, но, во всяком случае, он не читал этих приключений. Но он написал очень длинную рецензию, причем расхвалил. Писал при-

близительно так: «Широко задуманное и прекрасно выполненное полотно мастера. Живо представлена эпоха...» и тому подобное.

И все это, то есть мои произведения и отзывы на них, беспрепятственно циркулировало между нашими камерами. Повеяло свободой, хотя для себя лично я в нее не верил. Но она пришла и для меня наконец.

Хрущев взял верх над остальными рабовладельцами и стал освобождать немцев и русских.

Даниил Леонидович Андреев был много моложе меня и сидел за роман, который не был напечатан, но который он читал своим друзьям. В нем было изображено какое-то будущее, сильно отличавшееся от настоящего. Этого было достаточно. Было арестовано человек тридцать, в том числе и жена Андреева, Алла Александровна. Она просидела несколько меньше его. Немедленно после освобождения она стала вытаскивать мужа. Благодаря ли ее усилиям или потому что ему кончался срок (он был осужден всего на десять лет), Даниил Леонидович вышел на свободу вскоре после меня. Увы, слишком поздно.

Отчасти он сам был в этом виноват. В тюрьме он вел совершенно нездоровую жизнь. Курил непрерывно и начинал играть в шахматы еще до пробудки, а кончал с отбоем. В результате он получил сильнейшее расширение сердца. Алла Александровна ухаживала за ним очень самоотверженно, но допустила одну ошибку: повезла его на юг, в так называемый Горячий Ключ. Это его доконало. Пришлось бежать оттуда. Но и московский воздух уже не мог его спасти.

Перед смертью он прислал мне отпечатанные на машинке свои стихотворения, нигде не напечатанные и очень мистические. Их понимать весьма трудно.

Было время, когда в числе воображаемых преступлений оказалось и так называемое «Ленинградское дело». Некоторые из этих

ленинградцев попали к нам во Владимирскую тюрьму. В числе их был и бывший главный агроном Ленинградской области Таиров. Это был очень симпатичный человек, фанатик своего дела, посадивший многие тысячи фруктовых деревьев и абсолютно не причастный к политике. Он рассказывал мне:

— Я так был далек от всего этого. Я знал, конечно, что кого-то судят, сажают в тюрьмы, но я думал, что это настоящие преступники, уголовники, шпионы и что ко мне это никакого отношения не имело. Вдруг, хлоп. Схватили, следствие. Оказалось, что я крамольник, который замыслил свержение Москвы, возвращение власти в Ленинград и другие какие-то несообразности. И двадцать пять лет.

Слушая его, я думал: «Ну до чего же все это нелепо. Понимаю, я сижу. Так я же знаю, за что сижу. Но вот передо мною политический младенец. Но у него открылись глаза. И несмотря на все его добродушие, он станет, он должен будет стать если не врагом, то противником».

Однажды привели какого-то Клепикова. Он был, по-видимому, каким-то спекулянтom. И с немцами затевал всякие жульничества. В конце концов дело было не в этом, а в том, что это был хулиган отчаянный. Первое столкновение у меня с ним было в таком роде:

— Ну, как же вы это, с Николашкой?

Я понял и ответил:

— Если бы вы звались Николаем, то вы были бы Николашкой. А тот, о ком вы говорите, — это его императорское величество Николай Второй.

Он это перенес, но, конечно, с ним никакой дружбы выйти не могло.

А был он вообще-то человек способный. Нас оставляли чистить алюминиевые тарелки. Требовали, чтобы они блестели. Кипяток был и тряпочки доставали, но натереть тарелку, чтобы она сияла, все же было трудно. У Клепикова же тарелка сверкала не то что, как луна, а как серебряное солнце, если бы такое только могло быть. Можно было подумать, что она чище моей. Ничуть. Почему же она горела? Потому что Клепиков достал иголку и ею вырезал на тарелке спиралью невидимые для глаз линии. Они и давали такой блеск. Надзиратели ставили его всем в пример. А Клепиков был очень честолюбив. Хотя бы в этом он хотел быть первым.

Он был музыкален и свистел лучше всякой флейты. Только потихоньку, так как любой громкий звук был запрещен.

Был у него еще талант. Он не был профессиональным боксером, но драться мог.

Однажды произошла возмутительная сцена. Был у нас в камере немецкий журналист, человек физически слабый. Сидел неизвестно за что. Он был из Франкфурта-на-Майне, города, оппозиционного гитлеровскому режиму. Когда мы не гуляли и не ели, он всегда смиренно сидел на своем месте.

Как-то Клепиков подошел к нему, повернулся своей задницей к его лицу и сделал гадость. Бедный немец, естественно, возмутился. В то же мгновение Клепиков ударил его так, что кровь хлынула из носа. Поднялся скандал, прибежал врач. Но, в общем, Клепикова оставили в камере.

В этой камере были все сплошь немцы и только двое русских — я и Клепиков. Однажды пришел начальник тюрьмы. Клепиков попросил, чтобы его перевели отсюда, так как тут одни немцы. При этом присутствовала молодая женщина-врач. Она заметила:

— А Шульгин?

— Да, но Шульгин за Николашку.

Тогда она сказала, обращаясь ко всем:

— Шульгин настоящий русский, не то что Клепиков.

Меня все это удивляло и возмущало. Один хулиган терроризирует в камере двенадцать человек. Конечно, среди немцев было много стариков. Но были и молодые. Среди них был совсем молодой красавец. Это был простой моряк с островов, принадлежавших Германии, но расположенных вблизи Англии. Он был похож на принца из королевского дома. Были и другие, попроще, но и посильнее. Я сказал им:

— И вам не стыдно? Давайте побьем Клепикова так, чтобы он запомнил на всю жизнь.

— А вы будете драться? — спросили удивленные немцы.

— Буду. Но я один не могу.

— А мы не будем.

Англичане говорят, что у них, англичан, только потому что-то выходит, что порядочные люди у них так же энергичны, как и хулиганы. Видно, у русских и немцев не так. И вот почему, наверное, у нас были возможны джугашвили, а у них гитлеры.

Под этим было и еще нечто. Молодые немцы были правы, а старый русский — нет. Если бы немцы скопом избили русского, то стали бы говорить, что в русской тюрьме немецкое засилье. И в результате всем немцам в тюрьме стало бы хуже. А меня бы обвинили в «измене Родине», чего в списке моих преступлений до сих пор не числилось.

Интересно, чем все это кончилось. Клепикова, которого немцы называли «Хлебников», все-таки убрали и посадили в одиночку, чего он страшно боялся. Я три раза просил, чтобы меня посадили в одиночку, и мне каждый раз отказывали. А Клепиков боялся одиночества и получил его. Но потом вымолил, чтобы его вернули в камеру. И его привели обратно в эту же камеру. Я с ним опять встретился. Но это уже был другой Клепиков. Он размяк, как будто действительно был из хлеба.

В чем же было дело? Он говорил мне:

— Я не хулиган, я больной. Я душевнобольной. Вот, если утром я проснусь в хорошем настроении и, не дай Бог, начну свистеть, то я уже знаю, будет скандал: я кого-нибудь побью. Я болен!

И у него слезы были на глазах, когда он мне рассказывал это. Так что мы с ним вроде как бы подружились. Поняли друг друга.

Однажды я гулял во дворике в одиночестве. Почему это произошло, не помню. Но благодаря этому я смог услышать, как в соседнем дворике очень тихо, но достаточно правильно женский голос напевал серенаду Тозелли. Эта серенада широко известна в Западной Европе, а в Советской России тогда она была мало известна. Я подумал, что за стеной, должно быть, гуляет бывшая

эмигрантка и дает о себе знать такому же бывшему эмигранту. Но вслед за этим разразился какой-то скандал, и этот же женский голос очень громко что-то кричал и возмущался. Я тогда ничего не понял. Разгадка пришла значительно позже, когда ко мне в камеру пришел Шалва, грузин, с которым мы и обитали в ней некоторое время вдвоем. Между прочим, он подал мне бумажку, видимо, давно скомканную в шарик. Шалва объяснил:

— Этот шарик бросили не вам, но о вас.

— Кому же его бросили?

— Бастамову. Он был с другой стороны. Читайте.

На мятом клочке бумаги было написано примерно следующее: «Извините, что я полюбила не вас. Мое сердце отдано старику. Через четыре месяца кончится мой срок, и я уеду в Киев устраивать нашу с ним судьбу».

Когда я прочитал, Шалва сказал:

— Этот старик — вы.

Я ответил, что я старик — это несомненно. Но также несомненно и то, что я этой дамы не знаю.

— Но она вас знает. Она из Киева, — пояснил Шалва. — А другой, кого она не успела полюбить, — это Бастамов.

Мы очень много смеялись, но кто была эта незнакомка, напевавшая серенаду Тозелли, я так никогда и не узнал.

Несколько слов об «австрийских шпионках» (так их называли). Я спал тогда рядом с одним немецким генералом-кавалеристом. Он был очень воспитанным и милым человеком. Как-то ночью мне пришлось его разбудить:

— Что такое? — спросил он.

— Вы ведь кавалерист, не правда ли?

— Да, но почему вы спрашиваете меня ночью?

— Потому что вам прислали кое-что на коне.

— Ничего не понимаю, — начал возмущаться генерал.

Конечно, и читатель ничего не понимает. На тюремном жаргоне «конь» — это веревка, обыкновенно сделанная из каких-нибудь платков или простыней, на которой можно спустить или поднять небольшую посылку, пролезающую через оконную решетку. Это средство сообщения заключенных, находящихся на разных этажах.

На этот раз спустили сверху дамскую шаль с записочкой, что она предназначена генералу такому-то. Я подал ему шаль, которой он несказанно обрадовался:

- От моей жены! Она здесь!
— По-видимому, над нами.
Бедный генерал заплакал. Затем прибавил:
— Она была в Сибири.

Теперь я могу приступить к рассказу об «австрийских шпионках». Их было семь. Была ли в их числе супруга генерала-кавалериста, не знаю. Но знаю, что все они были над нами. И узнали о нашем существовании. Они отличались великолепной энергией. Начали с «коня», передавшего генералу шаль его жены. Потом пошли любовные записки к молодым немцам и обратно. Завязались романы, причем в весьма эротическом вкусе. Но энергичные «шпионки» этим не удовлетворялись. Им хотелось обнять этих «любовников», присылавших им на «коне» сладострастные излияния. Под одной из коек они начали делать подкоп, на чем их и поймали. На этом и кончились «конские» романы.

Одно из последних впечатлений — это о человеке с немецкой фамилией Пфефер, что значит по-русски перец. Он ни слова не знал по-немецки. Наши камеры были в одном коридоре (я в это время сидел в одной камере с Шалвой). Поэтому у нас была одна уборная. В уборной он оставил записку, умоляя дать ему чаю. Он написал, что у него туберкулез желудка и что чай смягчает боли. У нас был чай из посылок. При очередном посещении туалета мы оставили ему пакетик. Он поблагодарил. И потом заложил в секретное место ученическую тетрадь, в которой описывал свою жизнь.

Когда ему было десять лет, он разбил футбольным мячом какое-то стекло. За это его посадили в тюрьму для малолетних. В ней он научился всему. В конце концов бежал и наконец кого-то убил. За это и сидел. Написано было не очень грамотно, но очень эмоционально. Мы с Шалвой его пожалели.

Скоро мы узнали, что никакого туберкулеза у него не было. Он был просто чайным алкоголиком. Заваривал невероятно крепкий чай — чифир, действовавший, как водка. Но это не поколебало наших добрых чувств к нему. И даже после того, как он напивался и на весь коридор ругался самыми похабными словами.

Когда уже меня освободили и я один в камере дожидался продолжения своей судьбы, то я написал этому Пфеферу сердцещипательное письмо: он молодой человек, вся жизнь впереди и перед ним, но он опять попадет обратно в тюрьму, если не исправится. И начертал ему программу. Надо развить волю, для чего перестать ругаться и пить крепкий чай. Если это ему удастся, остальное приложится, и он спасется.

Не знаю, передали ему мое письмо или нет. Но, думаю, даже если и передали, то он все-таки не спасся.

У заключенных развивается необычайная любовь ко всяким животным и птицам. Как это ни преследовали, потому что голуби пачкали окна, их все-таки кормили остатками хлеба насущного. Также и воробушков, жалко и нахально теснившихся среди голубей. Голуби опровергали свою кротость. Они дрались из-за хлеба, вскакивали друг другу на спину и колотили клювом в голову. Один из них был просто ужасен. Когда он появлялся (мы его уже очень хорошо знали — он был темнее других), все остальные голуби стушевывались перед ним безропотно. Мы называли его Насер, который в это время прославился своим нахальством на Суэцком канале. И мы не могли его прогнать, потому что улетал не он, а все остальные.

Часто на прогулках мы наблюдали различные сцены на небе. Голуби почти все были темно-сизые, но попадались и снежно-белые голубки, блиставшие на солнце. Вдруг появлялся копчик, хищная птица, но не больше голубя. И целая стая голубей бежала от него панически. Он бросался вниз камнем, но часто промахивался. Мы, конечно, сочувствовали голубям, хотя, судя по Насеру, и среди них было много дряни.

Нельзя было не любить воробьев. Надсмотрщики старались нас урезонить:

— Что вам эти воробьи. Их тут четыре штуки на всю тюрьму.

Но Шалва как-то ответил:

— Тридцать! Я подсчитал.

Я подумал: «Врут оба». И быстрый разумом Ньютон сложит тридцать и четыре, затем взял среднее арифметическое и с апломбом произнес:

— Их семнадцать.

И действительно, когда мы снова гуляли во двореке, прилетела стайка, расселась у стен, и Шалва должен был признать, что их семнадцать. Я торжествовал.

Но через некоторое время победил Шалва. На этот раз дело шло о спасении пчелы. Она залетела к нам в камеру и, обессиленная, упала на столик. Я рассыпал вокруг нее сахарный песок, зная, что им подкармливают пчел. Но у нее не было сил есть сахар. Она умирала. А у Шалвы сохранилось немного меду. Он помазал им стол около пчелы. Она зашевелилась, подползла к меду и стала есть. И ожила, начала махать крыльями, пока наконец не улетела сквозь решетку.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так жужжала, улетая,
Как бы молилась за Шалву.

А нам остались одни мыши. Мы и их подкармливали, сострадав любовью ко всякой твари. Они появлялись около отопления. Сверху него была сетка, сквозь которую мы засовывали хлеб, и мыши очень хорошо понимали, что это предназначалось для них.

А еще произошло следующее. Негодяй копчик с голоду бросился на воробья. Последний, видя неминуемую гибель, влетел в нашу камеру и сел на отопление, отчаянно чирикавая. Копчик стремительно подлетел к окну и сел на подоконник. Но дальше влететь не посмел.

В последний год моего сидения разрешили переписку, и я написал письмо своей жене Марии Дмитриевне. Между прочим, и про голубей и воробьев, которых она очень любила. Но этого письма она не получила. Начальство решило, что здесь какое-то иносказание: копчики — это, по-видимому, чекисты, а голуби — их жертвы, заключенные.

Свое следующее письмо я послал в Белград. Там по этому адресу никого из моих родственников не было, но соседи знали, что брат Марии Дмитриевны в Америке. Мое письмо переслали в США, а оттуда оно было переслано в Венгрию, где его и получила Мария Дмитриевна. Оно находилось в пути три месяца. С тех пор началась переписка. Можно было писать два раза в месяц. Письма проходили через руки начальства, и нас строго предупредили ни в коем случае не писать, что мы находимся в тюрьме. О том, что я в тюрьме, Мария Дмитриевна узнала только от моих друзей немцев, которые раньше меня вышли на свободу. Они ей и написали.

Однажды в камеру, где я сидел, вошло большое начальство: начальник главного тюремного управления полковник Кузнецов и с ним еще два каких-то полковника, не считая начальника нашей тюрьмы и их свиты. Они беседовали с арестантами и, между прочим, обратились ко мне:

— Как ваша фамилия?

— Шульгин.

— Какой Шульгин? Знаменитый?

Я ответил:

— Если вы говорите о писателе Шульгине, то это я.

— Ах, вот как. Да, да, я читал, все читал. И «Три столицы» тоже. Вы там все повторяете: «Все, как было, но немножко хуже». Ну, теперь совсем не то.

Тут в разговор вмешался другой:

— Он, может быть, и сейчас мог бы кое-что написать.

И, обращаясь ко мне, сказал:

— Это можно было бы устроить.

Посмотрел вопросительно на меня. Я сказал:

— Писать я еще могу, но что из этого выйдет, не знаю.

Из этого вышло то, что меня перевели в так называемую больницу. Это, собственно, была не больница, а маленькие камеры для двух лиц. Во всяком случае, там режим был мягче. Мне дали большое количество ученических тетрадей, перо, чернила. И посадили в камеру, где уже сидел заключенный. Он принял меня очень радушно, насколько мог. У него была «рожа», вся правая рука была багрово-красная, температура тридцать девять градусов. Когда меня водворили, он представился:

— Князь Долгоруков, Петр Дмитриевич.

Он очень стойчески переносил свою болезнь, бодрился. Его лечили усердно, и наконец он поправился. Но каждый день продолжала приходиться сестра — она меняла ему перевязки на шее. Петр Дмитриевич объяснил мне, что это за болезнь. Он вообще разговаривал охотно и много, очень бодро, и с тем оттенком, принятым у старой русской аристократии, который состоял в следующем: важность всего личного преуменьшалась, наличие

вал оттенок легкой насмешки к самому себе и даже ко всей своей аристократической касте. В этом тоне он и рассказывал мне о себе:

— Ну, конечно, я Долгорукий, Рюрикович. Очень важно. Но у меня есть предки гораздо более старинные, чем Рюрик, Синеус и Трувор. Например, обезьяна.

Я заметил:

— Это общечеловеческий предок. По обезьяне мы с вами родственники.

— Да. Но обезьяна — это все-таки недавний предок. Более старым и потому более именитым предком является лягушка. Разве вы не обращали внимания, что некоторые люди похожи на жаб?

— Совершенно верно.

— Так вот, вы спрашиваете, какая у меня болезнь. Это атавизм, наследие отдаленнейших предков. У меня на шее жабры, которых нет у других людей. И вот эти жабры, так как они мне ни к чему, дышать ведь я ими не могу, вызывают болезненные явления. Сочится какая-то отвратительная жидкость. И сестра, которая меня ежедневно перевязывает, вот с этим и возится. А вы обратили на нее внимание?

— Обратил.

— Не правда ли, она вам понравилась? Как вы ее находите?

Я сказал:

— В Киеве, на Терещенковской улице, стоял дом, который я помню еще в детстве. Над парадным входом был фронто́н, который поддерживали две могучие женщины. Кариатиды — это, кажется, называется...

— Да, да, вы совершенно правы, в ней что-то есть от кариатиды. В них имеется что-то классическое — никаких улыбочек и ужимок. И она проста и величественна, не правда ли?

— Прямо от богини происходит, — шутя поддержал я.

— Богиня не богиня, но все-таки это странно.

Легкомысленный человек был князь Петр Дмитриевич. В следующий раз, когда она пришла, он вдруг спросил ее после перевязки:

— Скажите, пожалуйста, сестра, какого вы происхождения?

«Кариатида» посмотрела на него и ничего не сказала. Может, она и не поняла, о чем он спрашивал. Другая на ее месте, быть может, и ответила бы: «Вполне пролетарского». И при этом непременно улыбнулась бы. Но эта была кариатидой. Ни улыбочки, ни ужимки, ни лишнего движения.

Петр Дмитриевич сам виноват в том, что потерял возможность видеть эту девушку, которая ему, несомненно, нравилась. Тот, кто не сидел в тюрьме, не поймет, конечно, этого, а для нас

и мышь, и воробей, и пчела уже были светлыми пятнами. Тем более живая кариатида. Она больше не пришла. Пришла другая сестра, с улыбочками и ужимками. Ведь при перевязках всегда присутствовал кто-нибудь из надзирателей, чтобы все было в порядке. Удивительно, как боятся заключенных. Ну что они могут сделать?

Что могут сделать? Понравиться. Вот, например, князь Петр Дмитриевич Долгоруков. После смерти своего брата Павла Дмитриевича он стал старшим в роду Рюриковичей. И если бы на престол опять взошли Рюриковичи, то Петр Дмитриевич стал бы императором. Как же его не бояться.

В это время в Москве началась подготовка к созданию памятника основателю Москвы князю Юрию Долгорукову. В газетах был опубликован проект памятника, который Петру Дмитриевичу понравился. Я ему сказал по этому поводу:

— У наших правителей мало фантазии. Следовало бы поставить бронзового Юрия на площади, а рядом с ним живого Петра. Вот это было бы эффектно и интересно.

Мы много смеялись по этому поводу, и Петр Дмитриевич охотно поддерживал подобного рода шутки.

Что было приятно в Петре Дмитриевиче — это такое его свойство, как абсолютное отсутствие какого-либо угодничества и подхалимства. Он обращался со всеми этими людьми, начиная от начальника тюрьмы и кончая уборщицей, совершенно одинаково. И притом как с равными.

Поэтому, не предприняв никаких шагов для устройства своего благополучия в тюрьме, он его получил. Конечно, в пределах, возможных в ней. Ему как-то принесли картошку, приготовленную особенным образом. И когда пришел начальник тюрьмы, Петр Дмитриевич как бы случайно обронил, как если бы он обратился к кому-нибудь из своей среды:

— А знаете? У вас хороший повар. Откуда он?

Откуда он, ему, конечно, не сказали, но после этого повар стал стараться изо всех сил. На этом я выиграл, потому что нас кормили одинаково. Его — за любезность вообще и к повару в частности, а меня — ввиду того, что «он, может быть, еще что-нибудь напишет».

И «он» писал. Я буквально набросился на перо. И писал в трех направлениях. Написал новый том «Приключений князя Воронежского». На этот раз, не имея никаких исторических документов, я несколько изменил сюжет. Воронежский переживал выдуманные приключения, мистические и не мистические. Затем я писал какие-то мемуары. А третье направление было современным дневником. Но дневник не в смысле того, что было на обед или какая была погода, а нечто вроде Достоевского, «Дневник писателя». Другими словами, это был политический дневник. «Тут-то таилась гибель моя...»

В это время Сталин обратился к городу Москве с чем-то вроде манифеста по поводу восьмисотлетия города. В этом обращении или поздравлении было проведено несколько мыслей. Первая: заявление «urbi et orbi» (городу и вселенной), что Москва и после своего восьмисотлетия будет продолжать свою деятельность в борьбе за торжество социализма во всем мире. Вторая мысль содержала заявление, что в советском государстве труд оплачивается. И третья мысль вешала, что в противоположность всем городам буржуазного мира в Москве нет так называемых трущоб.

Конечно, «контра проклятая» В.В.Шульгин не мог оставить без ответа такого рода выступление. И свой ответ он настроил в ученической тетради. Он начал с комплимента Сталину. Звучало это примерно так. В противоположность своим подчиненным, Сталин говорит не трафаретными, надоевшими фразами, а просто, ясно и доступно. Хотя это был и комплимент, но он был искренним. А затем, с той же искренностью, были отмечены главные тезисы данного «восьмисотлетнего» выступления.

Заявление, что Москва остается цитаделью всемирной революции, равносильно объявлению войны всем буржуазным государствам. И последние сделают свои выводы, а из этих выводов Москва выведет ответные выводы. Следовательно, в ближайшие годы нельзя ожидать прочного мира.

На второе заявление, об оплате труда, было объяснено: ставки определяются советской властью, а это значит, что труд, полезный для советского правительства, оценивается высоко вне зависимости от его качества. В особенности это ярко видно на литературном рынке. Книга, полезная партии, будет оплачена высоко и выпущена огромным тиражом. Оценка народа отсутствует. В то время как в буржуазном государстве в отношении пе-

чатных произведений непрерывно осуществляется всенародный плебисцит: книга нравится — ее расхватывают, и автор богатеет.

И о третьем фронте, о трущобах, «контра проклятая» написала, что в Москве, может быть, и нет трущоб в том смысле, как это понималось раньше. Но если разделить жилую площадь на число населения города, то площадь, предоставляемая одному человеку, так мала, что всю Москву можно назвать одной огромной трущобой.

Разумеется, это не могло пройти даром автору дневника. Его незачем сажать в тюрьму, он уже сидел, и со сроком двадцать пять лет. Но его лишили возможности писать. И произошло это вот при каких обстоятельствах.

Около полугода я строчил беспрепятственно. Но затем меня как-то вызвали к начальнику тюрьмы, сказав, чтобы я захватил свои свежие литературные труды. Я ознакомил начальника тюрьмы с тем, над чем работал: исторический роман, мемуары и дневник.

Он сказал:

— Я просмотрю дневник. Садитесь.

Я сел. Напротив меня были часы. Начальник тюрьмы два часа читал, не отрываясь от моих тетрадей. Мне было скучно, и я рассматривал графин с водой. Поразился, какую дрянь мы пьем — вода была совершенно желтой.

Наконец он кончил читать и промолвил:

— Дневник очень интересный, но его надо послать в Москву. Пока же прекратите писать.

Я вернулся к князю Долгорукову на самое короткое время, потому что вскоре меня перевели обратно в камеру, в которой я сидел раньше. Писанию моему пришел конец. Мы сердечно распростились с князем Долгоруковым, и больше я его не увидел.

Он умер, не досидев положенного ему пятилетнего срока заключения. Не знаю, кто теперь является главою дома Рюриковичей.

Пока я был с князем Петром Дмитриевичем, ему тоже захотелось кое-что написать. Но так как ему из-за болезней трудно было писать, я предложил, чтобы он мне диктовал. Он хорошо знал

Петербург, и под его диктовку я записал рассказы об исторически интересных домах и квартирах, о людях, которые их населяли, об их судьбах. К сожалению, ничего не запомнил. Но если мне дали ученические тетради, то Петру Дмитриевичу выдали очень большую тетрадь, солидно переплетенную. Так как в ней никакой контрреволюции не было, то, может быть, она и сохранилась.

Еще несколько слов о князе Петре Дмитриевиче. Как-то, узнав, что я мельник, он признался, что тоже был мельником.

— Но только у меня ничего не вышло, — сокрушался он. — Большая дворцовая мельница, которую я выстроил, давала убытки.

— Почему?

— Право, не знаю. Чего-то мы не рассчитали.

Поскольку я уже знал немного Петра Дмитриевича, то понял, что печальный финал его затеи с мельницей был неизбежен. Тем более, что нынешнее мельничное дело довольно сложно. А от Ивана Калиты у Петра Дмитриевича ничего не осталось.

Человеку, который стоит вне ремесла, необходимо уметь пользоваться людьми, которые находятся в деле очень часто целыми поколениями. Это удалось моему отчиму и отчасти мне. Дать хорошую муку легче, взяв толкового крупчатника. А крупчатники обучаются своему делу с детства — от отца и деда. Но недостаточно сделать муку. Надо купить зерно, а муку продать. Это дело коммерческое. Князь Долгоруков, вероятно, не сумел заинтересовать торговцев. У нас же дело было проще. Такого рода людьми у нас были евреи, подчас работавшие в качестве перемольщиков из поколения в поколение. Без них не обойдешься. Но им не надо давать власти над собой. Как это сделать? Довольно просто. На наших мельницах перемольщики были бедными евреями, не имевшими своего капитала. Мы давали им оборотный капитал, и потому держали их в руках. Двадцать лет мы с ними работали, и никогда не было никаких затруднений. У нас был капитал, а у них адреса. Адреса, по которым они отправляли нашу муку. Это был их секрет, и на этом они наживали кое-какие деньги.

Попытаюсь нарисовать портрет князя Петра Дмитриевича с точки зрения политической. Политикой он занимался, но нельзя сказать, что это тоже выходило у него удачно.

Как известно, в 1905 году он подписал знаменитое «Выборгское воззвание». «Выборгский крендель», то есть хлеб, изготовленный в Выборге, был вкусен, но «Выборгское воззвание» было и безвкусно, и нелепо. Безвкусно потому, что неприлично было русским гражданам собираться в Финляндии для того, чтобы подписать антирусскую прокламацию. А нелепость сказалась несколько позже, когда выяснилось нижеследующее.

Одним, самым важным, пунктом в этом воззвании было требование, обращенное к русскому народу, не давать рекрутов для русской армии. А кто же набирал рекрутов практически? Это были некие уездные комиссии. Они состояли из разных лиц, но ввиду того, что в этом деле могли быть бесчестные комбинации, во главе комиссий были поставлены уездные предводители дворянства, то есть представители той касты, которая как бы являлась хранителем честности. И вот, предводители дворянства, подписавшие «Выборгское воззвание», когда наступило время набирать рекрутов, приехали в свои уезды и председательствовали в этих уездных комиссиях, набиравших рекрутов. Тем самым они показали всей России смехотворность этого воззвания.

Следующим пунктом «Выборгского воззвания» было требование не платить налогов.

Эти два призыва были совершенно революционного характера, а между тем кадеты, главенствовавшие в этом деле, не были революционерами и называли себя конституционными демократами. То есть эти демократы были монархистами. Отсюда следует вся нелогичность и легкомысленность этого выступления.

Русская верховная власть оценила подобное поведение убежденных седидами политиков как мальчишеское, и меры против них были приняты, как по отношению к нашкодившим школярам, — их судили и приговорили к трем месяцам тюремного заключения. Пожалуй, в другой какой-нибудь стране за открытый бунт было бы назначено более суровое наказание, а в коммунистических странах, несомненно, была бы применена высшая мера наказания. Но в России «выборжцев» не приняли всерьез, и для их самолюбия это было более строгим наказанием, чем трехмесячное пребывание в тюрьме.

В связи с этим хочу рассказать об одном маленьком эпизоде, о том, как отбывал свое наказание за подписание этого воззвания князь Петр Дмитриевич Долгоруков.

Когда он сидел в тюрьме, опасно заболел его сын. Об этом узнал государь, тот император, против которого бунтовали эти

аристократы. И он приказал освободить князя и отпустить его домой на время болезни сына.

— Отсидит свое позже, — прибавил государь.

Так и было. Маленький Долгоруков выздоровел, и его отец досидел свои три месяца. Во всем этом деле меня поразила некая психологическая загадка: я не обнаружил у Петра Дмитриевича никакой благодарности и снисходительности к царю. Он это заметил и сказал:

— Император это сделал, потому что я князь Долгоруков. Для другого не сделал бы.

Тут верно то, что о нем сказали царю, а о другом не сказали бы. Но отсюда не следует, что император, этот доброй души человек, не поступил бы точно так же в другом подобном случае. Мне кажется, что у Петра Дмитриевича была какая-то сверхвысокая принципиальность, доходившая до абсурда. Сознаюсь, я искренно благодарен Н.С.Хрущеву за то, что он подарил мне оставшиеся тринадцать лет тюремного заключения. Благодарен простой человеческой благодарностью, вне зависимости от всего прошлого.

Как низко расценивала русская власть политиков вроде князя П.Д.Долгорукова, показывает следующий эпизод, рассказанный им самим.

В Париже собрались в строгой конспирации князь Петр Дмитриевич и еще два лица, фамилии которых не припомню. Шла русско-японская война, и они собрались во имя чисто пораженческих целей. И ждали четвертого, какого-то южного помещика. Наконец он приехал. Кем он оказался, этот «помещик»? Знаменитым Азефом, профессиональным террористом и провокатором. Разумеется, все, что говорилось и становилось на этом собрании «четыре», немедленно же стало известно Петербургу. Но Петербург ничего не сделал, не предпринял против них никаких мер.

Бастамов был финским гражданином. Отец его служил в старой русской армии. Судили Бастамова за то, что он был офицером финской армии и воевал против Советов. Обычно за участие в войне не судят. Быть может, его судили за то, что он занимался пропагандой против большевиков. Например, устанавливал против советских окопов мощный репродуктор, через который вещал антисоветские лозунги. Его судили потому, что

после капитуляции финны выдали его по требованию советских властей.

Хотя Бастамов был финским гражданином, но по существу он был русским: и говорил, и писал, и думал по-русски. Однако в одном отношении он чувствовал себя финном. Некогда Государственная Дума по предложению П.А.Столыпина приняла некоторые законы, направленные против Финляндии. Это история сложная. Финны долгое время были лояльны по отношению к России. Отвоєванная у Швеции, эта страна и в составе России сохранила свое самоуправление. У них был свой парламент, свое правительство, своя полиция, наконец, своя монета — все, чего другие национальные меньшинства, входившие в состав Российской империи, не имели. Но затем отношения с финнами испортились. Часть их под влиянием того, что делалось в России, прикнула к русским революционерам. Однако те проблемы, которые были в России, отсутствовали в Финляндии. В России добывались парламента, в Финляндии он был, и на него никто не покушался. Евреи в России добивались равноправия, в Финляндии еврейского вопроса не было. Земельный вопрос, который с такой остротой был раздут в России, в Финляндии отсутствовал. Поэтому поведение финнов в период волнений и революции 1905 года в России было необоснованно. Кончилось это тем, что был убит финляндский генерал-губернатор Бобриков. Когда отношения Петербурга с Финляндией испортились, то на первый план выдвинулась проблема, которую раньше не хотели замечать. Финны имели все права в России, но русские в Финляндии никаких прав не имели. Огромный Петербург охотно принимал на службу финнов. Дело дошло до того, что военным министром империи был назначен финн Редигер. Русские как бы говорили: «Черт с ними, на что нам финские права». Но когда вдруг оказалось, что этот народ носит за пазухой так называемый финский нож, то в общем благодушные и вялые петербуржцы ошетинились. В Финляндии у многих из них были дачи. Там, между прочим, жил Репин. Имела дачу и М.В.Крестовская, довольно известная в начале нашего столетия писательница. Окрестности Петербурга не изобилуют красотами. Финская природа с живописными скалами и озерами была гораздо привлекательнее. А водопад Иматра был гордостью Финляндии.

Когда в Финляндии обострилась враждебность к русским вообще, то это, конечно, почувствовали прежде всего проживавшие там русские. А так как среди них были влиятельные люди, то в итоге был внесен законопроект в Государственную Думу третьего созыва об уравнивании прав русских, проживавших в Финляндии, с правами финнов, проживавших в России.

Я лично не особенно этому сочувствовал и оставался на старой позиции: «Черт с ними». Мне пришлось говорить об этом с кафедры Думы несколько слов. Я сказал, что, по моему мнению, великое княжество Финляндское сделано великим только потому, что в таком виде оно введено в титул русского императора, который одновременно является и великим князем Финляндским. По существу же оно маленькое княжество Финляндское и не должно вести себя заносчиво.

Это, между прочим, привело в ярость хорошенькую Карин Вольдемаровну Споре, которая служила в Государственной Думе. Мы с ней были как будто бы в дружбе. На ней я мог до известной степени изучать психологию финнов. Покойный отец ее служил в русской гвардии. Сама она нуждалась в средствах, получила место в Государственной Думе, куда не многие могли пробиться. Она была талантлива — у нее был приятный голос, и она училась у самого известного учителя пения в России, у Прянишникова, притом бесплатно. Казалось бы, в ней могли быть какие-то чувства благодарности к России, к русскому народу вообще. Но нет. Эта маленькая женщина вдруг «выхватила» финский нож из-за пазухи и стала им размахивать перед носом мирного волынского хохла. Мы поссорились знатно. Но потом бесчисленное число раз мирились и опять ссорились. Если финны упрямы, то хохлы тоже. Что же нас все-таки заставляло мириться? А Бог его знает. Да это и неважно.

Так вот, Владимир Владимирович (или Вольдемар Вольдемарович) Бастамов был такой же, как и Карин Вольдемаровна. Конечно, во всей этой русско-финской сваре были виноваты обе стороны. В итоге, за то, что финны поддерживали русские революционные течения, они получили от них благодарность шиворот-навыорот. Финляндию под именем Суоми разгромила не царская Россия, а советская. Поставила их на колени, заставив дважды капитулировать.

И теперь Финляндия существует постольку, поскольку она старается поддерживать отношения с советской Россией. Она имеет независимость, имеет правительство и армию, но это только декорация.

Почему-то Бастамов проникся финским шовинизмом. Впрочем, как он думает сейчас, я не знаю. Он был человек благородный, но неуживчивый. Личная жизнь его была неудачной. Жена его, как и многие другие жены, не имела терпения ожидать, когда

вернется муж, и вышла замуж за шведа. Он, вернувшись домой, уже не нашел себе подходящей партии.

Когда я заболел, меня перевели из большой камеры в двухместную. Сокамерником моим был человек по фамилии Персидский. Персом он не был, но еще в Маньчжурскую кампанию попал в Харбин и там прожил остальную жизнь. За что его судили, я так и не понял. Но о Харбине он рассказывал много интересного.

Должен сказать, что и Персидский, и другие харбинцы, с которыми я познакомился во Владимирской тюрьме, были восторженными патриотами своего города. Причем все они считали его чисто русским городом. Но когда я проверил, то оказалось, что в Харбине в те времена насчитывалось восемьсот тысяч жителей, из коих китайцев и японцев было семьсот тысяч, а русских только сто тысяч человек. Но им казалось, что Харбин был чисто русским городом. Потому что эти сто тысяч не были перемешаны с остальными жителями, а жили все вместе отдельной колонией.

У «моих» харбинцев с языка не сходило имя покойного Хорвата, который был главным лицом в русском Харбине, создавшим благосостояние этого города. В нем была опера, где пели по-русски, и семь русских газет. Как опытный газетчик, я спросил: «Чем же эти газеты жили?» Мне торжествующе ответили: «Шантажом!»

— То есть как? — удивился я.

— Сообщали какому-нибудь богатому лицу, что если он не даст денег, то о нем будут писать всякую грязь и пасквили, выворачивая его личную жизнь наизнанку. И он давал.

С тем же торжеством сообщалось, что таких разбойников, «как у нас в Харбине, кажется, нигде нет».

— Вот, например, идет себе человек зимою весь в богатых бобрах. Мчится удалая тройка. На человека в бобрах накидывают петлю и волокут. Никто не догонит!

— Да это что, — подхватывал другой харбинец.

— А что же еще?

— Вы знаете, что такое лупанарий?

— Нет, не знаю.

— По-нашему бардак. Вы думаете, это «Яма» Куприна? Не-ет. Когда лучший из харбинских лупанариев собирался перейти в другое, еще более роскошное помещение, то было напечатано в газете, что номер такой-то по такой-то улице переходит в дом номер такой-то по другой улице и приглашает друзей на новоселье.

Это рассказывал мне Персидский.

— И вы получили приглашение? — спросил я его.

— Еще бы. Я мог бы быть там хозяином. Француженка, владелица этого заведения, была не прочь выйти за меня замуж.

— И как прошло новоселье?

— Блестяще! Все было увешано фонариками, коврами, кругом роскошь. Духи только парижские, самые дорогие. Туалеты из Франции и Америки. Знатные гости, послы и консулы. Музыка — лучшие оркестры. Вообще, понимаете, другого такого города нет.

— Думаю, что так. Вавилон, говорят, был тоже замечателен в этом роде.

— Про Вавилон не слышал, не знаю. Но, если хотите, я вам расскажу про другой городок, маленький. Всего десять тысяч человек населения. Чумной лагерь.

Я удивился:

— Как вы туда попали?

— Я там был начальником.

— Вы врач?

— Нет, я служил в полиции, еще до революции. Знаете, полиция все-таки имеет навык управляться с массами.

— Ужас, — простонал я.

— Да, ужас, но все же и не так ужасно, как думают.

— Но ведь умирают все, — возразил я.

— Нет. Правда, большой процент смертности, но не все.

— Но как вы не заразились?

— Маска. Если строго соблюдать правило, чтобы воздух не поступал прямо в нос или в рот, а непременно только через маску, то можно уберечься. Был большой медицинский и немедицинский обслуживающий персонал. Были, конечно, и среди нас жертвы, но все же большинство выдержало, вынесло и выжило.

Я поинтересовался, как лечили этих несчастных.

— Это скорее был карантин, чем лечение. Тех, что выдерживали карантин, то есть выздоравливали, освобождали. Впрочем, приехал однажды знаменитый восточный врач, китаец. Он начал излечивать от этой болезни. Но потом что-то случилось, и он уехал. Видите ли, облегчало положение то, что трупы незаразительны. Заразительно только дыхание живых больных. А труп безвреден. Его сейчас же уносили и сжигали.

Больше он ничего не мог мне рассказать. Конечно, он не Бунин. Бунин нарисовал бы такую ужасную картину, что человек, прочитав это, мог бы заболеть от воображения.

Я давно заметил, что люди, которые перенесли невероятные потрясения, очень редко могут рассказать толково о том, что они пережили. Вот почему мы читаем «Войну и мир» Толстого и нескольких других авторов. И все. А между тем в последних войнах погибли миллионы людей. Но нет ни одного описания человеческой бойни, которая могла бы выдержать сравнение с рассказом Льва Николаевича Толстого. Он самолично поехал посмотреть, как бьют быков и режут баранов и телят. И стал после этого вегетарианцем. Быть может, если бы с таким же мастерством описать человеческие бойни, то войны прекратились бы.

Еще несколько слов об одном харбинском патриоте. Он носил знаменитую двойную малороссийскую фамилию. Вторая ее часть — Выговский. Его предок, Иван Выговский, после смерти Богдана Хмельницкого был гетманом Украины.

Этот потомок гетмана говорил с азартом:

— В Харбине даже собаки самые замечательные в мире! Была одна собака, которая не имела хозяина. Она, как говорится, своим умом промышляла. Когда ей приходилось очень плохо, она отправлялась на главную улицу и там усаживалась на островке безопасности. Почему там? Потому что на шестом этаже дома, который стоял напротив, у нее были друзья. И она знала, что если продержится на островке достаточно долго, то ее непременно увидят с шестого этажа, придут за ней, приведут в квартиру, и там она отдохнет и закусит. А более постоянным ее местопребыванием была большая кофейня, хозяин которой, собственно, не был ее хозяином, но не гнал ее и не мешал ей делать представления. Она ходила на задних лапах, кувыркалась, за что ей бросали медяки. Она набивала ими пасть, бежала в булочную и там выплевывала деньги на пол. В булочной ее знали как постоянную покупательницу. Купив таким образом какую-нибудь булочку или рогалик, она его съедала.

Все это он рассказывал серьезно, без тени смущения и с восторгом, всем своим видом как бы говоря: вот, мол, откуда мы и какие мы. Причем патриотизм этот был чисто русский. И если бы ему сказать, например, что Харбин — это китайский город, он, наверное, оскорбился бы.

Я с некоторым недоверием смотрел на потомка гетмана. Он это заметил и сказал:

— Поймите же, что невозможно во всем мире, возможно в Харбине!

Персидский рассказывал:

— Японцы скрытны. Китайцы более откровенны или представляются такими. Они добродушны и не обижаются, когда русские окликают их: «Ходя, ходя!» Трудлюбивы и очень способны. Мужчины превосходные прачки и повара. Китайки-аристократки очень красивы. Но их редко можно увидеть. У китайцев не запрещается многоженство. Таким образом, у них имеется нечто вроде гаремов, но своих лиц женщины не закрывают. В Харбине было три полиции: китайская, японская и русская. Я был начальником русской полиции. Однажды мне доносят, что в одном китайском доме умерла русская и есть подозрение, что ее убил муж-китаец. Я решил проверить это, придя под видом гостя. Китаец понял и провел меня в комнату, где лежала мертвая. Никаких признаков насилия я не заметил. Китаец был умен. Он оставил меня наедине с умершей, потом впустил в комнату двух других своих жен, тоже русских. Я мог свободно с ними говорить. Они обе подтвердили, что их подруга умерла от болезни, что муж с ними, русскими, очень хорошо обращается, ничуть не хуже, чем с четырьмя другими женами, китайками. Он был очень богат и потому мог содержать семь жен.

Оживившись, Персидский прибавил:

— Удивительно! Ведь женщины очень ревнивы. А вот в гаремах прекрасно ладят друг с другом. Ну, пусть китайки. Но вот три русских! Я прекрасно мог был их двоих увести, если бы они сказали, что им плохо.

— Чем же кончилась эта история?

— Ничем. Не было никаких данных, чтобы возбудить дело против китайца.

Быть может, это было на Лубянке. В камеру вошел человек высокого роста. Новый знакомый. По его манерам и по его речи я сразу понял, что он петербуржец. Оказалось, действительно. Он представился:

— Князь Ухтомский.

В ответ я сказал:

— Я знал епископа Андрея, в миру князя Ухтомского.

Я познакомился с ним у Петра Бернгардовича Струве. Когда епископ вошел, все встали. Он посмотрел в правый угол и там увидел вместо иконы статуэтку. Она изображала известнейшего

«мыслителя» — химеру с собора Парижской Богоматери. Епископ Андрей принадлежал к аристократической семье, что было редкостью для нашей церкви. Он был воспитанным человеком и вежливо сказал хозяину: «Дорогой Петр Бернгардович, как же это так? Хотел я лоб перекрестить на красный угол, а там у вас черт сидит». Струве ответил: «Безобразие. Но ведь это, владыко, мыслитель». — «Да, но о чем он думает? Не о русской культуре, конечно», — заключил епископ. Тут все поняли, что заключительная фраза была приглашением заняться тем делом, ради которого мы собрались.

На этом собрании был основан журнальчик «Русская культура», идеи которой силился проводить Петр Бернгардович под треск рушащейся России.

Все это вспомнилось мне, когда господин средних лет назвал себя князем Ухтомским. Мы познакомились и даже до известной степени подружились. Потом он мне рассказывал:

— Одно время мы жили с матушкой на Волге. Она была очень набожная и особенно строга в выборе знакомств. Но знаете, с кем она очень подружилась, как это ни странно? С опереточной певицей.

— Действительно! — удивился я.

— Это произошло так, — продолжал князь. — Она у нас пела в оперетте. Красавица не красавица, но очень мила. Хорошо танцевала, но вполне пристойно. И наш предводитель дворянства смотрел на нее и влюбился. Спросил ее, не хотела бы она выйти за него замуж, при условии, что она покинет сцену. Она согласилась и стала у нас предводительшей. По-французски и по-немецки она говорила хорошо и через некоторое время стала уважаемой дамой. И моя мама, несмотря на все свои предрассудки, ее очень полюбила, эту немочку.

Я спросил:

— Как ее звали?

— Габриэль или Элла Германовна.

— Что-о?! — удивился я.

Он посмотрел на меня не менее удивленно:

— Вы ее знали?

— Да, знал.

Я не стал ему ничего рассказывать. Мне было пятнадцать лет, а ей семнадцать. Ее сестра, Ольга Германовна, была замужем за красавцем-поляком, инженером. Он строил в селе Томохове шестизатяжную вальцовую мельницу. Первую из четырех, которые

выстроил мой отчим Дмитрий Иванович Пихно, чей отец был тоже мельник, но маленький, деревенский. Эта Ольга Германовна со своим мужем поселилась в Агатовке, нашем небольшом имении, купленном незадолго до этого у одного из Злотницких. В нем жила вся наша семья. Ольге Германовне с мужем выделили отдельный домик, и постепенно перебивала в нем вся их многочисленная родня, вернее, родня Ольги Германовны. Их вообще-то родилось двадцать братьев и сестер, но выжило впоследствии только десять человек. Элла только что окончила в Петербурге гимназию, в которой преподавание шло то ли на французском, то ли на немецком языке. Рыженькая, прекрасно сложенная, с лицом куклы, если бы не выражение постоянного оживления, крайне веселая, болтливая и певучая. С ней постоянно происходили маленькие смешные приключения — тогда она краснела и говорила:

— Ah, quelle passage! (Ах, какое происшествие!).

Первый такой пассаж, только это случилось не на балу, а на солнечной площадке против дома — она потеряла подвязку. Как известно, в Англии точно такое же происшествие вылилось бы в историческое событие. Орден подвязки известен всему миру. Но там был король. А тут был мальчишка пятнадцати лет, не очень бойкий, но все же его хватило на то, чтобы поднять подвязку. Она произнесла:

— Ah, quelle passage!

И, отвернувшись, потому что тогда носили длинные юбки, подняла ее и водрузила подвязку на место. Затем, должно быть от смущения, запела:

Un petit verre de Clico —
C'est bien peu d'chose...

(Маленький стаканчик клико —
Это пустяк...)

В это время вышла из дома Зикока и сказала:

— Oh, mademoiselle. Солдатский вальс?

Ну, словом, что тут рассказывать. Мы подружились, как водится. Потом переехали в город. Я бывал у них. Затем был какой-то бал. Ольга и Элла приехали на этот бал в виде русалок, сильно раздетые, что шокировало скромный профессорский дом. Женские языки стали работать. В общем, мой лучший друг Виталий, старший меня на целых два года, спросил:

— Ты ведь ее не любишь?

Сказать по правде, мне с нею было весело и хорошо, но на вопрос Виталия я все-таки сказал:

— Нет.

— Тогда зачем же?

И я, мальчишка, идиот, не сумел даже взять пример с Евгения Онегина, который умело, по-джентльменски, объяснился с Татьяной. Вместо этого я написал записочку: «Я должен Вам сказать, что мое увлечение Вами прошло. Простите». На это я получил ответ: «Верните мне мои письма. Я буду ждать Вас в четыре часа на площади против Городской думы». Ее письма? Это были совершенно ничего не значащие записочки. Все же я их сохранил. В коробочке, и перевязал ленточкой. Она, вероятно, прочла в каком-нибудь романе, что так поступают. Словом, я ждал ее у Городской думы. Был серый октябрьский день, на фоне которого особенно был выразителен пламенеющий Архангел Михаил над Городской думой. Я увидел ее издали, пошел навстречу.

— Вот ваши письма.

Она была в сереньком пальто, такого же цвета, как и тучи. Серенькая, грустная и кроткая. Мы больше не сказали ни слова друг другу и разошлись, как будто навсегда.

Прошло четыре года. Я приехал в Петербург и встретил ее в опере, в фойе. Она привстала, поздоровалась со мною и сказала, подавая карточку:

— Вот мой адрес. Можете завтра вечером? Попьем чайку.

Я приехал. Комната была скромная, чистенькая. В углу, у иконы, лампада. Она налила мне чай и спросила:

— Когда вы кончите университет?

— Через два года. А вы что?

Вместо ответа она произнесла:

— Эдя умер. Скоропостижно.

Эдя — это был тот красавец-инженер, муж ее сестры.

— Что будет делать Ольга, не знаю, — продолжала она. — И мне надо что-нибудь делать, чтобы жить. Пока я учусь пению. Я хочу служить в оперетте.

Я быстро взглянул на икону, на лампаду и подумал: «Разве это приготовление к оперетке?» Она поймала мой взгляд, и из ее ответа я поняла, как она чутка:

— Вы думаете, как и все, что в оперетте нельзя вести себя прилично? А я думаю, что это можно.

Когда я выслушал Ухтомского, я понял, что, действительно, можно. А он продолжал:

— Но все это было давно. Когда я уехал от матери, я оставил ее на попечение Эллы Германовны. Но что с ними случилось потом, во время революции, я не знаю.

— А где же вас самого арестовали?

— На пляже.

— Как на пляже? — удивился я.

— Я там купался.

— Где? — все более удивлялся я.

— Около Харбина.

Когда позднее я познакомился с Персидским и затем с потомком гетмана Выговского, я вспомнил князя Ухтомского и понял, что и способы задержания в этом городе совершенно особые.

Рассказ князя Ухтомского все же оживил эти далекие воспоминания первой юности. Образ этой веселенькой немочки (Вульф-фиус), как будто ничего из себя не представляющей, вырос в некую доброкачественную молекулу. Из таких частиц составляется та часть германского народа, которая обеспечивает ему право на место под солнцем. В этих маленьких немочках есть нечто конструктивное, что пригодится для Вселенной, когда она будет твориться людьми, а не зверьми.

И вот пришла пора, потому что всему на свете бывает начало и конец. Этому концу предшествовали некоторые знамения. Не обошлось, конечно, без мистики.

Приснился мне сон, если хотите, замечательный сон. Я увидел императрицу Александру Федоровну, сопровождаемую какой-то фрейлиной. Она протянула мне руку и сказала: «Поздравляю». С чем именно поздравляла меня императрица, выяснилось позже. Пока же, целуя ее руку в перчатке, как полагалось, я был несколько смущен тем обстоятельством, что никак не мог снять левой рукой черную измятую фетровую шляпу. Она так была нахлобучена мне на глаза, что я проснулся, прежде чем снял ее.

Через две недели явился незнакомый мне следователь.

— Вы знали сестер Яковлевых-Полетанских?

— Знал.

— Мне необходимо подробно расспросить вас о них.

И действительно, расспрашивал подробно. Три дня по многу часов он меня мучал расспросами. Не уклоняясь от истины, я дал разную характеристику сестрам, а также говорил о других лицах, встречавшихся с ними. Разумеется, я старался не повредить всем им. Это было не так трудно. Потому что некоторых дрянных типов они не арестовывали, а вот только этих сестер и меня многогрешного.

Должен тут сказать пару слов о черной шляпе. Эта шляпа, которая мне приснилась, существовала в действительности. Следователь по твердо установленному правилу посадил меня лицом к свету, то есть к окну. Меня это очень утомило, и я попросил разрешения надеть шляпу. Я нахлобучил ее на глаза и весь допрос просидел в таком положении.

Наконец допрос кончился, я подписал бесчисленное количество страниц, как полагалось, и тогда следователь сказал:

— Ну, теперь даем им путевку.

— Какую путевку? — удивился я.

— Да на волю.

— А они разве в заключении?

— В каких-то лагерях сидят.

Последовала пауза. Я мысленно пожалел девочек. Выходило, что они сидят уже одиннадцатый год. Следователь спросил:

— А вы как? Какие ваши планы?

— Мои планы? Я вас не очень понимаю. Мои планы не от меня зависят. Я сижу.

— Да, вы сидите, но я вас спрашиваю на предмет освобождения.

— Освобождения?!

Я чуть не свалился со стула. Многих уже освободили, но со мною дело было плохо. Врачи три раза делали представление властям с предложением освободить меня ввиду преклонного возраста и плохого состояния здоровья. Но им отказывали. А тут следователь говорит о свободе. И я наконец понял, с чем поздравляла меня императрица: с освобождением из тюрьмы. И понял роль черной шляпы. Тогда, во сне, когда императрица поздравляла меня, я никак не мог снять с себя этой шляпы, и весть о предстоящем освобождении я тоже получил от следователя после того, как три дня пялил ее себе на глаза.

В отношении мистики довольно. Кое-кому все ясно, а другим никогда не будет ясно.

Более реально я узнал об освобождении в такой обстановке. Я сидел в камере с Шалвой. Но в коридоре нечто необычайное. Все, кто подолгу просидел в тюрьме, обладают особенным, обостренным слухом, то есть знают все, что происходит в коридоре. Однако сегодня было нечто совершенно необычное. В это время растворилась «кормушка», и медсестра заглянула в камеру. Я спросил ее:

— Что там делается?

— Что делается? На свободу идете.

Тут я понял. И как-то раскис. Первый и последний раз попросил валерьянки, сказав сестре:

— Плакать буду.

Она принесла валерьянки и торжественно произнесла:

— Собирайтесь. Все вещи собирайте.

Но куда? Во что их закидывать? Набралось барахла. Мы с Шалвой придумали гениальную вещь. Незадолго до этого нам выдали новые костюмы — брюки и куртки. Главное затруднение у нас было вот в чем. Последнее время немцы и австрийцы получали массу посылок с родины. Здесь следует отметить большую честность тюремной администрации в отношении этих посылок. При посылках был полный перечень прилагаемых предметов. Этот список по вскрытии посылок проверялся, и решительно все передавалось заключенным. Немцы и австрийцы, зная, что женщины, которые этим ведали, и во сне не видели таких яств, неоднократно просили принять что-нибудь в подарок, но встречали решительный отказ. Когда немцев не стало (их выпустили несколько раньше), я стал получать посылки от них же. Один раз мы остались вдвоем с женщиной, которая вскрывала при мне мою посылку. Я выбрал плитку шоколада и просил ее взять для ребенка. Она в итоге взяла после долгих отказов, объясняя, что это очень строгая ответственность.

Так вот, и у Шалвы и у меня набралось всевозможных консервов достаточно. Я не ел ни мясных, ни рыбных консервов, а шоколад копил для Марии Дмитриевны в надежде, что я ее увижу. Больших плиток было шестнадцать штук.

Что же мы придумали? Завязали брюки внизу тесемками и наполнили их по пояс всякой снедью. В куртку напихали мягкие вещи и как-то соединили брюки с курткой. Вышло некое подобие человека, а когда его приподняли, то консервы стучали, как кости скелета. Эти неудобопереносимые «мешки» мы притащили в

большую камеру, куда собрали освобождаемых в этот день в количестве девяти человек.

И вот наступила торжественная минута. Вошел майор в сопровождении молодых офицеров и стал громогласно читать:

— По указу от 14 сентября 1956 года досрочно освобождаются из тюремного заключения нижеследующие граждане...

Он назвал по фамилиям всю девятку.

— Итак, собирайтесь. По закону мы не имеем права задерживать вас ни одного часу после освобождения. Вы все выедете сегодня же.

Выехали, но не все. Куда, например, мог я выехать? Родственников, которые могли бы меня взять и притом на поруки, у меня не было. Я обращался в стол розысков с просьбой найти сестер Марии Дмитриевны, но не получил ответа. У Шалвы были родственники, но он не решался им навязываться. Поэтому нам обоим сказали, что мы остаемся еще немного в тюрьме, пока тюремное начальство снесется с домами инвалидов, куда мы и будем направлены. Шалва и я настаивали, чтобы нас отправили вместе в дом инвалидов. Обещали, но в итоге почему-то разделили. Шалву увели в другую камеру. Почему это было сделано, мне неизвестно. Через два дня меня отправили в дом инвалидов в Гороховец, во Владимирской области.

Перед выходом из здания, где было проведено столько лет, мне предложили подойти к столику, за которым сидел дежурный офицер. Он подал мне бумажку и сказал:

— Пожалуйста, распишитесь.

Я прочел, под чем должен был расписаться: «Освобождаемый досрочно такой-то обязуется не разглашать условий тюремного режима». Я прочел это обязательство несколько раз, не решаясь его подписать сразу — мне, конечно, оно очень не понравилось. Каждый заключенный в глубине души таит надежду: «Вот выйду на свободу и расскажу, что тут делается». Затем я посмотрел на открытую дверь, за которой была свобода. Свобода относительная, уже связанная каким-то обещанием, но все же свобода. Ходить, гулять, наслаждаться природой! И подписал: «В.Шульгин». После этого мне дали сопровождающего, и мы вышли на улицу. Он повел меня по дороге, шли недолго и скоро вошли в какое-то закрытое помещение, напоминающее ротонду, где было много народу. А еще больше кошек. Они лазили повсюду и у всех что-ни-

будь выпрашивали. Это были бездомные кошки, жившие подаяниями. И подавали. Мы пришли на автобусную станцию.

Тут я сделал вывод, что советские люди относятся к животным более по-человечески, чем к иным людям.

Ждали мы долго, потому что пришли слишком рано. Наконец подали автобус. Сопровождающий посадил меня удобно и сам сел рядом.

Я спросил:

— Куда же мы едем?

— В Гороховец, это небольшой городок.

— В каком направлении?

— На Горький.

— А сколько времени ехать?

— Четыре-пять часов.

Тронулись. Город Владимир, в котором я просидел почти девять с половиной лет, был мне совершенно незнаком. Он проплыл мимо для меня абсолютно незаметно. Я стал ощущать, что я действительно на свободе, когда дорога вошла в лес.

Был солнечный сентябрьский день. Березы, осины были желтые и красные. А ели темнохвойные. Это был сладостный контраст. И для меня новый. На юге еловых лесов нет. До самого Гороховца я упивался природой и про себя декламировал:

Благословляю вас, леса,
Долины, горы, нивы, воды.
Благословляю я свободу
И голубые небеса.

Гор не было, потому что все были ровные долины. Нивы попадались, воды встречались. Но свобода и голубые небеса были.

В таком хорошем настроении я доехал до Гороховца и вошел в дом инвалидов. Меня приняла сестра-хозяйка Вера Петровна. Директор отсутствовал. И тотчас же у меня с нею вышла стычка. Я сказал:

— Мне обещано, что дадут отдельную комнату, так как я ожидаю свою жену.

Она посмотрела на меня иронически и ответила ехидно:

— Неужели? До сих пор такого не бывало, чтобы супружеству давали отдельную комнату.

Она так и сказала — «супружеству». Я почувствовал, что начинаю сердиться, но сдержал себя и сказал:

— Возможно, что такого не бывало. Но теперь это будет.

Она ответила, несколько снизив тон:

— Во всяком случае, до возвращения директора вам придется поместиться с другим призреваемым мужского пола.

И поместили в комнатку такого размера, что и в тюрьме не бывает. Другим «призреваемым» оказался мужичок покладистый. Мы с ним объединились на том, что нам было, казалось, жарко, когда считалось, что холодно. В тюрьме градусника я никогда не видел, а здесь висел на стенке градусник и показывал тринадцать градусов по Цельсию. Тут я понял, какая температура была во Владимирской тюрьме. Но я к ней привык. И потому, когда затопили и довели до семнадцати градусов, то нам стало жарко, и мы открыли дверь настежь. Слава Богу, тут можно было открывать дверь, не то что в тюрьме, где она была на двойном запоре.

Затем пригласили к обеду. Но тут я показал зубы, хотя вместо них у меня были протезы. Я объявил изумленным служащим:

— Объявляю голодовку.

Надо сказать, что за двенадцать лет (без трех месяцев), которые я провел в заключении, я голодовок ни разу не объявлял. А попав на свободу, объявил, потому что она является последним средством заключенных. Сразу забегали:

— Как можно!.. Да что это такое!.. Директора нет, но он, наверное, разрешит...

Особенно почему-то забегала милая старушка из «призреваемых». Она принесла мне цветы в горшке, ножницы, зеркало. Зеркала я не видел двенадцать лет. Но я стоял на своем:

— Пока директор не скажет мне лично, что как только придет моя жена, нам будет дана отдельная комната, я есть не буду.

И вдруг он, директор, явился.

— Я директор. Очень рад познакомиться. Тут выходят какие-то затруднения...

Кто-то вошел в это время в комнату и позвал его к телефону. Он ушел и отсутствовал некоторое время. Вернувшись, сказал:

— Как раз меня вызывал Владимир по вашему делу. Там подтвердили, что, действительно, вам обещана отдельная комната, когда придет ваша супруга. Но убеждены ли вы, что она придет?

— Убежден, но когда, не знаю.

— Так вот, если она придет, у вас будет отдельная комната.

После этого я, конечно, с удовольствием пошел в столовую.

Незабываемый миг. Двенадцать лет я не обедал по-человечески. Совали миски в «кормушки», туда что-то ссыпали, и обедали мы за ничем не покрытыми деревянными столами.

Здесь же в окнах стояли всякие цветы, фикусы, пальмы. Обедали не за одним громадным унылым столом, а за отдельными столиками. Эти отдельные столики были покрыты скатертями. И на них стояли живые цветы в стеклянных посудах с водой. Подавались блюда не в алюминиевых мисках, а в тарелках. И даже, о ужас, около тарелок лежали вилки и ножи. Да как же они не боятся, что мы друг друга не переколем и не перережем. Ничего подобного. Хозяйка столовой, Онисья Васильевна, очень приветливо меня приняла, усадила, интересовалась, удобно ли мне. Словом, рай.

Этот «рай», конечно, только первое время казался раем. Так как я перешел с последней социальной ступени на предпоследнюю, то, разумеется, и я был очень приветлив. Я стал, что называется, «общим любимцем», как охарактеризовала мое положение в доме женщина-врач.

Скоро начали иногда проскальзывать тени. Ежедневно в столовую приходил «подскакивающий». Это был молодой человек, но у него была какая-то болезнь. Когда этот несчастный ступал на какую-либо из ног, он подскакивал чуть ли не на полметра. А один постарше, лет сорока, подошел как-то ко мне, протянул руку, откомендовался и сказал:

— Моя мать была проститутка, мой отец был вор.

Я ответил:

— Очень приятно познакомиться.

И он начал рассказывать мне какую-то историю, как он продавал черного кота черту.

— Там, на перекрестке, вы знаете?

— Нет, не знаю.

— Ночью, ровно в полночь. Я пришел, держа кота под мышкой. И он сейчас же появился.

— Какой же он был? — поинтересовался я.

— Не могу сказать. Я очень испугался. А он выхватил кота и убежал.

— И ничего не заплатил.

— Ничего.

— Вот это плохо.

«Подскакивающий» через некоторое время повесился в лесу, оставив записку: «Никого не обвиняю, директор знает».

Потом меня начал «обхаживать» молодой инвалид. У него был детский паралич. На лицо он был довольно красив, мог петь, хотя очень кривлялся при этом. Я с ним занимался математикой, потому что он совсем ее не знал.

Как-то он стал мне рассказывать:

— Меня чуть не задушил один.

— Кто?

— Его сейчас нет здесь. Он, знаете, безногий. Ноги ампутированы полностью, но живой. Но он очень хорошо передвигается по дорогам. Зимой на салазках, а летом на колясочке. У него по палке в каждой руке, и он ими отталкивается. У него развилась такая сила в руках, что он может задушить каждого, кто к нему неосторожно подойдет. Я насилу спасся.

Мне показалось это все-таки диким, чтобы инвалид без ног мог напасть на человека хоть и больного, но с ногами. В тот день, когда он мне все это рассказал, «душитель» подкатил к крыльцу дома инвалидов. На крыльце стоял директор. Последний сказал ему:

— Убирайтесь отсюда и чтобы я вас никогда здесь не видел.

Уже потом я узнал, что безногий стоял во главе воровской банды. Он постоянно курсировал по шоссе между Гороховцом и Владимиром. На этой дороге у него было несколько приютов. Там ждали его любовницы, которые были ему преданы, кормили, поили его и услаждали жизнью. Он, оставаясь за кулисами, организовал через своих приближенных грандиозную кражу дров с баржи, стоявшей на Клязьме. Ведь все дело в организации. Чем он кончил, не знаю. Но осталась в памяти эта мрачная фигура.

А была еще молодая женщина без руки, ампутированной по плечо. Она проявляла некоторые признаки психического расстройств, и решено было отвезти ее в специальную лечебницу. Поручили это сестре-хозяйке Вере Петровне, но та по своей беспечности проболталась раньше времени, и безрукая повесилась.

И было третье покушение на самоубийство молодого человека. К счастью, вовремя заметили и его спасли. Я спросил его, зачем он решил покончить с жизнью.

— Тоска взяла, — ответил он.

Да, тоска. Видимо, тюрьма закаляет. Эти люди не умели ценить того счастья, которое им было дано. Они могли выходить из дома инвалидов, гулять. Я гулял отчаянно. Взбирался на горки, казалось бы, в моем возрасте непреодолеваемые. И ничего. Там, наверху, росли старые сосны. Стоя у их стволов, я вглядывался в далекие дали.

Гороховец, может быть, и был основан при царе Горохе, но гороха в нем не замечалось. Местные историки объясняли, что это название нужно читать как «Горховец». Что же в таком случае «ховец»? А что такое «Хованщина»? «Хованщина», должно быть, происходит от слова «ховать», то есть прятать. Дело в том, что именно в этом самом Гороховце кончается гряда неких возвышенностей. За ним идут низины, и поэтому из Гороховца можно видеть далекие дали.

Одно смешное происшествие. Я забыл уже, как и почему я взял ведро и пошел набрать воды из речки. Было довольно скользко, и я упал в речку не только в одежде, но и в бушлате. Вода не показалась мне слишком холодной, но я пришел домой, в свою комнатку, в довольно жалком виде. Меня раздели, растопили печь, и все обошлось благополучно.

На огороде была действительно страшная собака. Она признавала только одного человека, у которого «мать была проститутка, а отец был вор». Он мог безбоязненно подойти к ней, и она ласкалась к нему. Я как-то подошел с ним к этой собаке. Она бросилась на меня и укусила бы, если бы не цепь, которая удерживала ее. Задыхнувшись оттого, что ошейник надавил ей на горло, она стала еще злее. Тем не менее, я смотрел ей прямо в глаза «гипнотизирующим» взглядом. Я прочел у Владимира Дурова, как он укротил взглядом совершенно неукротимого пса. Но из моего гипноза ничего не вышло. Собака расвирипела еще сильнее. Я был удивлен. Неужели моему полусумасшедшему спутнику помогали его колоритные родители? Но я не об этом хотел сказать. А вот о чем. У этого свирепого пса было нежное сердце. Бездомный котенок прибил к нему, ничего не подозревая по своей наивной невинности. И цербер не только его не разорвал и не съел, а

приютил в своей конуре, позволял ему есть из своей миски и грел в лапах. Так многолика жизнь.

Молодые инвалиды учились заочно. В этом я, а больше Мария Дмитриевна, когда она приехала, им помогали. Однажды им дали сочинение на предмет пушкинского «Евгения Онегина». И один из них обратился ко мне:

— Ну что я могу написать? Молод, богат, здоров, красив! Девушка хорошая в него влюбилась. Бросил. Друга убил. А почему я знаю, что учителя об этом думают?

Я не мог ему в этом помочь. Советы всячески прославляют Пушкина. Но как они из него выжимают полезное для партии, я не знаю.

Наконец я узнал досконально, что Мария Дмитриевна едет. На что она рассчитывает? Я подумал и решил продать единственное, что у меня было, — обручальное кольцо. Продал Вере Петровне за триста рублей. Получив их, я обратился с просьбой к какому-то министру, кажется, социального обеспечения, переслать ей эти деньги в Венгрию. Ответа не получил.

Тем временем в Венгрии разразилось восстание. Это заставило Марию Дмитриевну поспешить. Не то чтобы она боялась происшедших событий в Будапеште, она была не из робкого десятка. В Будапеште она была свидетельницей чуть было не разразившейся малой гражданской войны между русскими в Венгрии. Там находились русские части, давно стоявшие в Венгрии. Они как бы сблизились с местным населением. И потому, когда пришли свежие танковые части прямо из Советского Союза и встретились на одной из площадей со старыми частями, то между ними едва не вышло боевого столкновения. В эту передрагу и попала Мария Дмитриевна.

Она пробиралась между танками по площади, когда на нее вдруг кто-то закричал:

— Куда лезешь? Убьют!

Она ответила по-русски:

— Вот мой дом. Мне нужно пройти через площадь.

Тогда какой-то человек выскочил из танка:

— Ты русская?

— Да, русская.

— Что тут делается?

— Не знаю.

— Мы только что из Москвы. Ничего не понимаем.

В итоге Мария Дмитриевна должна была бежать спешно потому, что восставшие венгры, естественно, готовы были вырезать всех русских. Ее вывезли, когда она уже отчаялась. Но вдруг в квартиру ввалилось несколько человек, схватили шесть ее чемоданов и корзину и погрузили в вагон. Поезд пошел через Венгрию, минуя пограничную станцию Чоп, через Киев и наконец дотащился до Москвы. Там ее где-то приютили на вокзале, причем носильщики отобрали последние деньги. Теперь надо было добираться до Владимира. И тут не обошлось без помощи добрых людей — ее доставили до места назначения. Во Владимире она пробилась к каким-то властям, и ей дали машину до Гороховца.

В Гороховце уже все изверились, что моя жена приедет. Поэтому, когда за два дня до ее приезда пришла ко мне какая-то женщина и сказала, что во сне видела, как приехала моя жена, я ответил:

— Не верю.

А когда вечером 6 декабря прибежали какие-то женщины с криком: «Ваша жена приехала!», я сказал:

— Неправда.

— Пойдите и посмотрите сами, — обиделись они.

Я вышел. Была метель. Сквозь эту вьюгу я увидел машину. Подошел. У машины стояла женщина. Увидев меня, она упала на колени в снег. Я поднял ее. Это была она, Мария Дмитриевна, или, как я ее называл, — Марийка, с которой я расстался двенадцать лет тому назад 24 декабря, в сочельник 1944 года.

Но комната, отдельная комната! Нашлась в тот же вечер. У медицинского персонала была приличная комната с кафельной печью. Их выселили вместе с Верой Петровной и хорошенькой Татьяной Яковлевной, медсестрой.

Словом, все устроилось.

После тюрьмы я воспринял дом инвалидов как большое улучшение жизни. Наоборот, Марии Дмитриевне, несмотря на то, что она тяжело болела в Венгрии и работала «как негр», инвалидный дом показался «дном». И питание, и все другое показались ей ужасными. И прежде всего моя борода — я никогда бороды не носил.

Мне же ее седина показалась трагической. Она завилась ба-
рашком и стала маркизой. Слава Богу, она не красилась. Но все
это было ничего, она бы привыкла, если бы не окружающая среда.
Все эти инвалиды производили на нее удручающее впечатление,
несмотря на то, что она была опытной медсестрой, а в Югосла-
вии работала несколько месяцев в больнице для туберкулезных
детей. Но там руководство принадлежало холодной, но культур-
ной англичанке, у которой на письменном столе стоял маленький
портрет английского короля с его автографом. С Верой Петровной
она не сошлась, но выкупила у нее обручальное кольцо за какое-
то хорошее платье (в шести чемоданах кое-что нашлось). С Они-
сьей Васильевной дело было лучше — она была богобоязненна,
ходила в церковь. А Мария Дмитриевна после периода, когда она
увлекалась так называемой христианской наукой, имевшей боль-
шую популярность в Америке, вернулась к православию.

В Гороховце был неплохой хор, который пел в так называ-
емом Красном селе, примыкавшем к городу.

Но все остальное доводило ее до отчаяния. Однако мне уда-
лось выправить этот крен в ее настроении, потому что я мог тогда
совершать прогулки, и Мария Дмитриевна ходила очень хорошо.

Она не сумела поладить с врачом, еврейкой по национально-
сти, с которой я ладил. Последняя говорила Марии Дмитриевне:
— Ваш муж до вашего приезда был общим любимцем.

Это любимец выклянчивал сначала у врача некоторое допол-
нительное питание для Марии Дмитриевны. Потом это отпало.
Мне давали вегетарианское питание, но суп был таков, что од-
нажды я не выдержал и попросил врача отведать его. Она попро-
бовала и сказала, что его нельзя есть. Повар же оправдывался:
— А из чего же я могу сделать лучше?

Был белый хлеб, было масло. Все-таки можно было жить.
Я заболел только сильным радикулитом. Хороший врач, но не из
дома инвалидов, сделал мне глубокое впрыскивание, и на полгода
я избавился от этой болезни. Все-таки нам нужны были какие-то
деньги. Мария Дмитриевна продавала вещи, которые она привез-
ла с собою, и посылки, что начали приходить от тех же немцев,
главным образом от австрийца Креннера. А одна посылка, в де-
сять килограмм, пришла из Америки, от группы русских писате-
лей. Это была вещевая посылка. И до сих пор я еще ношу эти
вещи.

Все-таки прогулки были нашим главным утешением. Мы пе-
ресекали Клязьму по мосту и уходили в леса, которые постепенно

становились нам знакомыми. Например, полянка, которую мы назвали «Семидубье».

Однажды случилось комическое происшествие. Я вообще потерял способность ориентироваться на местности. Поэтому, когда мы выбрались из какой-то чащи на дорогу, я не спорил с Марией Дмитриевной в отношении направления движения. Но когда мы долго шли, и уже стало темнеть, то я понял, что мы идем на вечернюю зарю, тогда как нам надо было идти в обратном направлении. Но мы еще продолжали идти. Вдруг откуда-то вынырнула какая-то собака и подбежала к нам. Вероятно, охотничья. Затем подошел и сам охотник. Он спросил:

— Куда вы идете?

— В Гороховец.

— Нет, вы идете не в Гороховец. По этой дороге, если пройти двадцать пять километров, вы придете в бывший монастырь. Идите со мною, я иду в Гороховец.

У него было охотничье ружье через плечо. Мы пошли за ним, но Марии Дмитриевне казалось это невероятным.

— Он нас куда-то заводит, — заявила она мне.

Я, поддавшись панике, тихонько прошептал:

— Если он нападет, у меня есть палка. Только это надо сделать неожиданно, пока он сам не напал на нас.

По счастью скоро стало ясно, что мы действительно идем в Гороховец! И стало стыдно, когда он сказал:

— Надеюсь, вы теперь сами дойдете. Мне направо.

И, попрощавшись, удалился, сопровождаемый собакой.

Впоследствии я узнал, что этот уже закрытый в наше время монастырь не так давно еще существовал. И даже был местом ссылки некоторых бунтарей. Туда, между прочим, сослали всем известного Илиодора, которого, увы, во время второй Государственной Думы мы привезли с Волыни.

Этот монастырь в былое время поставлял в Гороховец огурцы целыми обозами*.

6 июня — 16 июля 1970 года
г. Ленинград

* На этих строках воспоминания Василия Витальевича Шульгина обрываются. Он не успел их закончить. — Р.К.

Varia

Александр Эткинд

**БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
Неосуществленный замысел Н.А.Рыбникова**

В марте 1919 в Наркомпрос был направлен проект организации небывалого учреждения¹: «центра, ведущего делом собирания и изучения биографий — Биографического Института»². Проект был подан от имени «группы лиц, работавших при Педологическом музее Учительского дома». По-видимому, в пореволюционных условиях этот музей перестали считать достойным финансирования, и работавшие в нем пытались придать делу новый статус. Преследуя свои научные интересы, сотрудники Педологического музея стремились войти в контакт с силами, которые делали русскую революцию; но имели они дело, конечно, только с собственным пониманием ее идей.

Почти вся документация по Биографическому Институту анонимна, что отражало характерные для этой эпохи представления об индивидуальном авторстве. Все же, как бы подчиняясь бюрократическим условностям, сопроводительное письмо к проекту от 17 марта 1919 было подписано Н.А.Рыбниковым, заведующим Педологическим музеем; ему же был адресован окончательный ответ Наркомпроса.

Николай Александрович Рыбников (1880-1961) сыграл в истории советской гуманитарной науки роль малозаметную, но на редкость достойную. Делом его жизни была организация того, что он называл «эмпирическими исследованиями детства»; сегодня эта область классифицировалась бы как психология и социология образования, науки респектабельные и далекие от политики. Рыбникову же, с его любовью к реальному знанию, довелось жить в стране, обуреваемой идеологией, и при этом заниматься детьми, что во все времена ставилось в особую зависимость от религии и политики. Тем не менее, Рыбников делал свое дело, лишь иногда поступаясь чистотой своего подхода к фактам; и эти уступки по-

¹ Без использования архивных документов проект Биографического Института с энтузиазмом излагался в кн.: Померанцева Г.Е. Биография в потоке времени. М., 1987.

² ГА РФ. Ф.2306. Оп.19. Д.54. Л.13.

своему интересны независимо от того, имели ли они характер вынужденного компромисса или, наоборот, искреннего увлечения проблемами, далекими от эмпирических.

С 1908 Рыбников, еще обучаясь в Московском университете, стал внештатным сотрудником Психологического института, — статус, в котором он будет состоять вплоть до 1920³. В 1916 Рыбниковым был составлен сборник материалов об «идеалах деревенского ребенка»⁴: крестьянским детям задавалось множество вопросов, касающихся разных аспектов их семейной и школьной жизни, и ответы проходили добросовестную статистическую обработку. Тогда же была написана любопытная монография (скорее, case study), отражающая характерную для эпохи сосредоточенность на религиозно-мистических аспектах индивидуального опыта⁵. С 1920 по 1930 Рыбников — директор созданного им Педологического института (где, между прочими, под его началом работал А.Ф.Лосев⁶). В 1928 Рыбников со своим Институтом собрал анкеты у 120 тысяч школьников российской провинции⁷. Обработав их, он не без риска писал о том, что смысл и историю недавней революции знал ничтожный процент детей. В 1940-1950-х годах Рыбников вновь сотрудничает с Психологическим институтом (вошедшим, под несколько измененным названием, в систему Академии педагогических наук), выполняя в нем функции официального историографа⁸. Но главной книгой Рыбникова, вероятно, осталась его монография «Язык ребенка»⁹, которая вместе со «Словарем русского ребенка» и сегодня не устарела как образец психолингвистического исследования.

В советской психологии, любившей примерять то одни, то другие теоретические одежды, рыбниковская традиция эмпирических исследований скорее кажется чужеродной и потому является особенно ценной. Она была распространена сюда из русской

³ Из автобиографии Н.А.Рыбникова — одного из первых сотрудников Психологического института // Вопросы психологии. 1994. №1. С.11-16; эта публикация представляет собой фрагмент рукописи Рыбникова «Из рода в род. История семьи Рыбниковых. Автобиография» (1943) — ОР РГБ. Ф.367. Карт.4. Ед.хр.2.

⁴ Рыбников Н.А. Деревенский школьник и его идеалы: Очерки по психологии школьного возраста. М., 1916.

⁵ Рыбников Н.А. Религиозная драма ребенка: Психологический этюд. М., Типография Н.Желудкова, 1918.

⁶ Из автобиографии Н.А.Рыбникова — одного из первых сотрудников Психологического института. Указ. изд. С.14.

⁷ Рыбников Н.А. Идеология современного школьника // Педология. 1928. №1. С.150-158.

⁸ Рыбников Н.А. Как создавался Психологический институт // Вопросы психологии. 1994. №1. С.6-11.

⁹ Рыбников Н.А. Язык ребенка. М.; Л., 1926.

этнографии, которая в свою очередь пыталась найти научный эквивалент давним интересам отечественного народничества.

Первый проект Биографического Института был подан в Наркомпрос очень рано, еще в 1918 (когда, по наблюдению историка, «почти все профессора относились к новому режиму с глубокой враждебностью»¹⁰). Этот ранний документ содержит чью-то резолюцию: «Препроводить в Научный Отдел на заключение. 18.X.918» (подпись неразборчива)¹¹. В результате последовавших согласований проект был изменен: не только переписан по новой орфографии, но и содержательно дополнен. Доработка заняла целый год, и дальнейшая судьба этого проекта прослеживается по нижеприведенным документам, относящимся уже к концу 1919 (и частично пересекающимся с несколькими более поздними публикациями самого Рыбникова¹²).

Проект Биографического Института характерным образом совмещал позитивно-научные задачи с небывалыми в своем роде футуристическими обещаниями. Первые, собственно научные функции Института очевидны из публикуемого ниже Устава. Примерно такое же обоснование могли бы дать и сегодня авторы сходного института, архива или фонда. Сложнее уяснить идею того, что же авторы проекта подразумевали под «практическим значением» задуманного ими Института, которое предполагалось воплотить в его регистрационном отделе. Как написано в проекте:

Изучение жизни многих деятелей на различных поприщах поможет учесть их жизненный опыт и для будущих поколений. Сохранение возможно большего числа биографий будет способствовать накоплению этого жизненного опыта для будущего. Институт должен представлять из себя как бы графическую память человечества из поколения в поколение, передавая накопленный людьми жизненный опыт и навыки. Вместе с тем Институт должен быть международным адресным столом, где будет зафиксирован всякий, так или иначе отметивший свой жизненный путь. Биографический Институт, если бы его удалось создать, был бы наиболее достойным памятником выдающимся деятелям прошлого¹³.

Действительно ли авторы проекта намеревались создать банк данных на всех родившихся? И если да, то в каких пределах —

¹⁰ Fitzpatrick S. *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*. Ithaca, 1992. P. 37.

¹¹ ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 19. Д. 54. Л. 10.

¹² Рыбников Н. А. *Биографический институт*. М., 1918; Он же. *Биографии и их изучение*. М., 1920; Он же. *Автобиографии рабочих и их изучение*. М.; Л., 1930.

¹³ ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 19. Д. 54. Л. 59.

города? страны? человечества? Тут их формулировки, с одной стороны, намеренно расплывчаты в отношении содержания планируемой работы, а с другой стороны, чрезвычайно многообещающи по масштабу. Кажется важным, что самые сильные формулы, такие, как намерение сделать Институт «графической памятью человечества» и «международным адресным столом», отсутствовали в варианте 1918 года и появились лишь год спустя; видимо, авторы этого текста пытались таким образом приблизиться к уровню его адресата.

Как видно из прилагаемого Устава, и структура Института мыслилась своеобразно. Такой Институт с коллективными и почетными членами был бы похож не на отдельный институт Академии наук (императорский или советский), а скорее, на целую академию. Бюджет Института был рассчитан в 296 тысяч рублей, большую часть из которых должен был выделить Наркомпрос, а 50 тысяч предполагалось заработать продажей изданий Института¹⁴. В частности, были задуманы и уже анонсировались «Библиотека Биографического Института»¹⁵, периодический альманах «Биограф» и сборник «Отошедшие». За исключением нескольких брошюр, вышедших под грифом «Библиотеки», эти замыслы остались неосуществленными.

На проект были даны два отзыва, от «гуманитарной» и от «естественно-исторической и медицинской» секций Научного отдела Наркомпроса. В обоих после констатации важности проблемы и комплиментов «группе лиц, любовно и давно работающих в области психологии биографическим методом»¹⁶, создание Биографического Института как «особого учреждения, к тому же довольно дорогого», признавалось нецелесообразным.

Амбициозная формулировка этого проекта и его необычайно ранняя для советской интеллектуальной истории дата свидетельствуют о том, что авторы его стремились соответствовать неким глобальным целям нового режима. Об этом же говорит любопытный факт изменения проекта, в процессе прохождения по инстанциям, в сторону еще большей радикализации. Вероятным кажется предположение о том, что Рыбников и его неизвестные нам соавторы базировали свои идеи на учении Н.Ф.Федорова, Федоров, не любивший литературу и саму идею авторства, принадлежал к тем мыслителям, влияние которых прослеживается далеко не только у тех, кто на него ссылался. Исследователи пи-

¹⁴ ГА РФ. Ф.2306. Оп.19. Д.54. Л.2.

¹⁵ Программу издания см.: Рыбников Н.А. Биографии и их изучение. Указ. изд.

¹⁶ ГА РФ. Ф.2306. Оп.19. Д.54. Л.1.

шут о федоровских идеях в творчестве многих поэтов и писателей из тех, кто принял революцию (Маяковского, Хлебникова, Платонова, Богданова и даже Кузмина). По-видимому, недалеко от подобных идей был и недавний богостроитель, а ныне народный комиссар А.В.Луначарский. Своеобразным памятником федоровской мечте в ее большевистском варианте стал мавзолей В.И.Ленина, в проекте которого Наркомпрос играл одну из главных ролей. Поэтому гипотеза о связи проекта Биографического Института с наследием Федорова кажется заслуживающей рассмотрения. Особенно видна идейная и даже лексическая зависимость от «Общего дела» в практических задачах Института, связанных с «сохранением возможно большего числа биографий», с задачей «зафиксировать всякого, так или иначе отметившего свой жизненный путь»¹⁷ и с формированием «своего рода музея и, вернее, пантеона человечества»¹⁸.

Федоров настойчиво писал, что для того, чтобы воскресить всех живших на земле научными методами, нужна научная же информация о каждом из них. И хотя эта сторона учения никогда особо подробно не разрабатывалась, тем не менее сам основоположник был недалек от идеи коллекционирования биографий и автобиографий, к тому же в весьма радикальном варианте: «Должно признать самую священную обязанностью каждого вести психофизиологический дневник», — писал Федоров¹⁹. В утопии Федорова, которую сам он столь выразительно называл «психократией», все живущие должны были стать биографами-психологами; все обязывались вести дневники и исповедоваться друг другу, регистрируя свою и чужую жизнь. Непрерывной и всеобъемлющей записью всех деталей текущей жизни, нужных для будущего воскрешения, люди должны были заняться и вместе, и по отдельности. Одни социальные институты — наука и армия — должны были заняться техническими аспектами воскрешения; другие же — семья и школа — должны были посвятить себя, так сказать, информационному обеспечению процесса. Искусству ведения «психофизиологического дневника» должны бы были, по Федорову, учить в школе раньше других менее полезных предметов; во взаимных исповедях и их записывании как деле, необходимом для будущего воскрешения, состояла, по Федорову, обязанность супругов друг перед другом. Понятно, что обеспечить *такую* утопию

¹⁷ ГА РФ. Ф. 2306. Оп.19. Д.54. Л.59.

¹⁸ Из автобиографии Н.А.Рыбникова — одного из первых сотрудников Психологического института. Указ. изд. С.16.

¹⁹ Федоров Н.Ф. Философия общего дела / Под ред. В.А.Коженикова и Н.П.Петерсона. Т.2. Верный, 1913. С.498.

могло только государство, радикально преобразованное и до предела централизованное; но даже и самая фантастическая из революций не дала ему этой силы.

После размышлений, занявших два с половиной года, и — если верно наше предположение — после избавления руководства от самых несбыточных иллюзий, 28 декабря 1921 научный отдел Наркомпроса отвечал лично: «тов. Рыбникову: Управление Научных учреждений Академического Центра Н[ародного] К[омиссарията] П[росвещения] сообщает, что организация Биографического Института, как отдельного учреждения, является несвоевременной за отсутствием денежных средств»²⁰.

Приложение²¹

Устав Биографического Института

1. Цель и права Института

1. Биографический Институт имеет целью систематическое, всестороннее научное изучение человеческих биографий. Вместе с тем Институт ставит своей задачей сохранение для последующих поколений описаний жизни выдающихся деятелей прошлого и настоящего.

2. Для осуществления обеих названных целей Институт:

- а) собирает и изучает все возможные документы, относящиеся к жизни деятелей на различных поприщах. Такими документами могут быть: биографии, автобиографии, дневники, семейные архивы, записки, воспоминания, письма, некрологи, *curriculum vitae* и т.д.;
- б) печатает свои труды, работы и периодические издания, имеющие отношение к задачам Института;
- в) устраивает закрытые и публичные собрания;
- г) организует постоянный Музей, знакомящий в наглядной форме с главнейшими выводами этой новой отрасли энциклопедического знания. Музей включает в себя следующие подотделы: биографо-документационный, иконотеки, иконографии, графики, психологический, педагогический, антропологический, историко-литературный, наследственности;
- д) организует библиотеку, в которой исчерпывающе и в систематической форме должна быть представлена вся биографическая литература, как русская, так и иностранная.

²⁰ ГА РФ. Ф.2306. Оп.19. Д.54. Л.84.

²¹ Там же. Л.32-33.

3. В соответствии с намеченными выше целями работа Института носит тройкий характер: регистрационный, научный и учебно-просветительный.

I. Регистрационный отдел ведет учет всем, как уходящим из жизни, так и входящим в круг поля зрения, проявившим себя на различных поприщах деятельности.

II. Научный отдел изучает биографии с точки зрения дисциплин, имеющих то или иное отношение к человеческой личности.

III. Учебно-просветительный отдел имеет целью ознакомление широких масс с главнейшими результатами систематического изучения биографий.

4. Институт имеет право приобретать имущества, совершать [сделки и нести] обязательства, вообще обладать всеми правами юридического лица.

5. Институт имеет печать и подпись «Биографический Институт».

II. Состав Института

6. Членами Института могут быть как общества и учреждения, так и отдельные лица, пожелавшие или материально, или личным трудом способствовать воплощению задач Института.

7. Члены Института избираются в Общем собрании открытой баллотировкой простым большинством по предложению Бюро.

8. Члены Института разделяются на почетные и действительные. Почетными членами избираются лица, содействовавшие своею выдающеюся деятельностью развитию и успехам Института, или оказавшие ему особые услуги.

III. Управление Института

9. Текущими делами Института заведует Бюро Института, состоящее из заведующего, его помощника и заведующих отделами, избираемых общим собранием членов Института на 3 года.

10. По всем делам Института представителем является заведующий, который сносится со всеми лицами и учреждениями. Им же созываются общие собрания членов Института.

11. Заведующий обязан два раза в год давать отчет о деятельности Института Научному отделу Наркомпроса.

12. Заведующий приглашает сотрудников, из которых создается Бюро Института, ведающее текущими делами Института.

IV. Средства Института

13. Средства Института состоят из ассигнований Научного отдела Наркомпроса, а также из пожертвований и доходов от изданий Института.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АЛЕКСАНДР БЛОК
ГЛАЗАМИ «КАДЕТСКОЙ ДАМЫ»
(Из воспоминаний М.Ф.Кокошкиной)

Воспоминания Марии Филипповны Кокошкиной (1874-1948) занесены в шесть небольших тетрадок. По содержанию и оформлению они членятся на три части: рассказ о своей жизни (тетрадки I-IV), рассказ о смерти мужа (тетрадь V) и очерки о людях искусства, собранные в тетрадь с заглавием «Поэты и художники»¹. Из этой последней тетради и взяты два публикуемых ниже очерка: «Бугаев — Белый» и «Блок».

С А.А.Блоком мемуаристка общалась лишь один раз, да и то по телефону. С Андреем Белым ее связывали достаточно теплые и достаточно длительные приятельские отношения. По крайней мере, ей так казалось.

М.Ф.Кокошкина познакомилась с Андреем Белым только в 1916 и не удостоилась чести быть упомянутой в его мемуарах. Может, это и к лучшему, иначе она, безусловно, была бы занесена в разряд «кадетского типа дам», о которых писатель говорил с неизменными презрением и враждой.

По отношению к Марии Филипповне это определение — «кадетская дама» — совершенно справедливо. И более того — терминологически точно. Она действительно была «кадетской дамой», женой Федора Федоровича Кокошкина (1871-1918), специалиста по государственному праву и национальному вопросу, либерала и западника, одного из организаторов партии конституционных демократов, министра Временного Правительства, депутата 1-й Государственной думы (1906) и Учредительного собрания (1917). После Октябрьского переворота и объявления кадетов врагами народа Ф.Ф.Кокошкин был арестован (28 ноября 1917), заключен в Петропавловскую крепость, откуда по состоянию здоровья (6 января 1918) переведен в Мариинскую больницу. В первую же ночь, с 6 на 7 января, Ф.Ф.Кокошкин и переведенный вместе с ним из тюрьмы А.И.Шингарев были зверски убиты группой матросов и красногвардейцев.

Друзья и сподвижники Ф.Ф.Кокошкина в многочисленных некрологах и мемуарах осветили его политическую биографию, рассказали о нем как о выдающемся деятеле партии, борце за демократию, крупной фигуре отечественного либерализма и т.д. Вдова же посчитала необходимым обратить внимание на ту сторону его, а значит, и ее жизни, которая тесно соприкасалась с литературой и искусством.

¹ ГА РФ. Ф.1190. Оп.1. Ед.хр.21.

Обычно говоря о Ф.Ф-че, всегда вспоминают о нем в связи с политической публицистикой, юриспруденцией, и только очень мало кто связывает его имя с тем, что было для него самым близким и дорогим — с поэзией.

По крайней мере он сам о себе говорил так: «Я сплошной шарлатан во всех отраслях, кроме чтения стихов. Это единственно, что я умею!» И уж действительно любил он и увлекался этой областью. Следил за всяким минимально интересным выступлением поэтов и посещал его. Следил за появлением всех новинок. Запоминал наизусть все, что было только талантливо. Мог часами декламировать своих любимых поэтов, невольно переносил свою любовь и на самих авторов. Последние это чувствовали и, с своей стороны, всячески отвечали ему тем же. Отсюда все то количество личных воспоминаний о поэтах, частью которых я и хочу поделиться, —

такова преамбула к тетрадке воспоминаний «Поэты и художники». В ней собраны небольшие очерки, посвященные скульптору А.С.Голубкиной, пианисту А.К.Боровскому, поэтам В.И.Иванову, Ю.К.Балтрушайтису, Андрею Белому и А.А.Блоку. Судя по предваряющему записи пронумерованному перечню имен (своеобразному оглавлению), планировалось рассказать и о З.Н.Гиппиус, В.Я.Брюсове, В.В.Маяковском, М.О.Гершензоне, А.А.Кондратьеве, Г.Г.Нейгаузе. По-видимому, Марии Филипповне было что рассказать.

Супруги Кокошкины посещали и Литературно-художественный кружок, и Общество Свободной Эстетики. Встречи деятелей искусства и деятелей политики происходили и у Вячеслава Иванова, и у самих Кокошкиных, в их московской квартире и в подмосковном имении, и в домах «общих знакомых». Думается, контакты литераторов и общественников были своеобразным знаменем времени, еще недостаточно изученным и недостаточно оцененным.

Из художественного мира наиболее тесные узы соединяли Кокошкиных с двумя крупнейшими представителями русского символизма — Вячеславом Ивановым и Андреем Белым².

И «Многоуважаемый Вячеслав Иванович»³, и «Глубоко уважаемый Борис Николаевич»⁴ получали от кадетской четы письма-приглашения в гости. И оба писателя откликнулись на эти приглашения. Очевидно, под впечатлением таких визитов у Иванова родилось стихотворение «Ф.Ф. и М.Ф. Кокошкиным» (1915)⁵, у Белого появилась в «Жизни без Аси» запись: «Москва... Кокошкин (вечер у него: Григоров, Бердяев, кн. Урусов, Кф-

² Подробнее об отношениях Андрея Белого с Ф.Ф.Кокошкиным см.: Спивак М. «Москва кадетская» Андрея Белого // Литературное обозрение. 1995. №4. Тема «Вяч. Иванов и Ф.Ф.Кокошкин» также заслуживает отдельного исследования.

³ РГБ. Ф.109. Карт.27. Ед.хр.46.

⁴ РГБ. Ф.25. Карт.17. Ед.хр.21.

⁵ Иванов В.И. Собр. соч.: В 6 тт. Т.4. Брюссель, 1987. С.41.

кошкины») (1916)⁶. О дружбе Иванова с Кокошкиными пишет в своих мемуарах дочь поэта Лидия⁷. Отчасти их контакты были связаны с деятельностью «Общества сближения с Англией»⁸.

Вспоминая сентябрь 1916 года, Андрей Белый фиксирует в «Ракурсе к дневнику»: «Встречи с Кокошкиными, у которых начинаю бывать»⁹. О том, что Андрей Белый появлялся в доме Кокошкиных, «говорит» и такой любопытный документ, как альбом рисунков Ф.А.Головина¹⁰, одного из лидеров кадетской партии, председателя 2-й Государственной думы.

И, наконец, оба они, и Вячеслав Иванов, и Андрей Белый, значатся как участники предполагаемого сборника памяти Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева — в качестве авторов статьи «Интересы Кокошкина в области теории поэтического творчества». Такой сборник выпущен не был, но его проект сохранился в фонде В.А.Розенберга, редактора газеты «Русские ведомости»¹¹.

Контакты поэтов-символистов с кадетом Кокошкиным происходили в самое бурное для России время: Первая мировая война, Февральская революция. У Андрея Белого они начались с осени 1916, то есть сразу же после возвращения из-за границы, где писатель провел четыре года¹².

Сам Андрей Белый не особенно афишировал свои связи с убитым министром Временного Правительства. В своих мемуарах писатель резко клеймил и кадетскую идеологию, и кадетов. Не стал исключением и Кокошкин, уличенный и в кадетизме, и в масонстве, и чуть ли не в разжигательстве войны¹³. Однако красочно изображенное Андреем Белым его перманентное противостояние «кадетской общественности» было, мягко говоря, преувеличено. Писателю, вероятно, хотелось доказать Советской власти свою политическую благонадежность. Реальная же действительность отнюдь не всегда соответствовала картине, изображенной в мемуарах. Это касается и отношений с кадетами вообще, и с Кокошкиными в частности. Факты, изложенные Марией Филипповной, — яркое тому подтверждение.

Воспоминания «кадетской дамы» не только разрушают созданный Андреем Белым миф о «враждебных кадетях», но и добавляют новые штрихи к биографии писателя. Например, проливают свет на начальный этап работы над переделкой романа «Петербург» в «историческую драму».

⁶ РГБ. Ф.25. Карт.31. Ед.хр.1.

⁷ Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С.75.

⁸ Оба были членами правления Общества, в мае 1915 участвовали в сборе подписей под «Ответом русских деятелей искусства и мысли английским писателям». См.: РГБ. Ф.109. Карт.32. Ед.хр.27; Ф.109. Карт.19. Ед.хр.7; Ф.109. Карт.27. Ед.хр.46.

⁹ РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.100. Л.81об. В дальнейшем ссылки на «Ракурс к дневнику» (РкД) будут даваться с указанием страницы в тексте.

¹⁰ Хранится в мемориальной квартире Андрея Белого на Арбате.

¹¹ РГБ. Ф.251. Карт.26. Ед.хр.24.

¹² Уехал в мае 1912, вернулся в конце августа 1916.

¹³ См.: Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С.207.

Существующая в литературоведении концепция опирается в этом вопросе в основном на слова самого писателя из письма к Р.В.Иванову-Разумнику от 17 января 1924: «Мне предложили работу, могущую дать заработок в будущем: именно: переделать "Петербург" в драму, которую наперерыв друг у друга оспаривают Мейерхольд, Завадский (III студия Худ[ожественного] Т[еатра]) и Чехов (I-я студия)»¹⁴. Андрей Белый нигде не упомянул, что у истоков инсценировки стояла М.Ф.Кокوشкина. Мемуаристы оказались памятьливее самого писателя. То, что претензии М.Ф.Кокوشкиной на авторство идеи отнюдь не беспочвенны, подтверждается еще не опубликованными, но готовящимися к печати воспоминаниями П.Н.Зайцева¹⁵:

Кокوشкина была для меня величиной вполне неизвестной. Писала ли она хоть что-нибудь, я не знал. После смерти мужа /.../ она осталась без средств. Я встречался с ней в 1922 году на площадке лестницы Дома Герцена, где она по вечерам продавала домашние пирожки своего собственного изготовления. Братья-писатели охотно раскупали их у нее и тут же их поедали. Пирожки стоили недорого и были по тем временам довольно вкусно приготовлены.

Когда А.Белый осенью 1923 года вернулся в Москву, я ему рассказал о намерении Кокوشкиной. А вскоре и сама она появилась на Бережковской набережной со своим замыслом театрализовать «Петербург». Андрей Белый заинтересовался этим, можно сказать, «предприятием» и условился с Кокوشкиной работать над инсценировкой романа. /.../ А.Белый сел за работу над пьесой, не связавшись ни с одним театром. Это было первой ошибкой. Вторую ошибку — сотрудничество с Кокوشкиной — он скоро исправил, устранив от работы Кокوشкину, когда убедился в беспрокости этого сотрудничества. Сразу, с самого начала он не мог отстранить ее по деликатности. Ведь ей все-таки принадлежал замысел.

Конечно, трудно себе представить имя скромной М.Ф.Кокوشкиной в одном ряду с именами Ю.А.Завадского, В.Э.Мейерхольда, М.А.Чехова. Но все же придумать идею, зажегшую таких крупных мэтров сцены, — это не так уж плохо и не так уж мало для «кадетской дамы».

Воспоминания М.Ф.Кокوشкиной представляют безусловный интерес. Однако, как и мемуары Андрея Белого, они не лишены известной

¹⁴ См.: Долгополов Л.К. А.Белый о постановке «исторической драмы» «Петербург» на сцене МХАТ-2 (по материалам ЦГАЛИ) // Русская литература. 1977. №2. С.173-176.

¹⁵ Приведенный фрагмент не вошел в опубликованные мемуары П.Н.Зайцева «Московские встречи» (См.: Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С.557-592). Цитируется по авторизованной машинописи, любезно предоставленной В.П.Абрамовым, внуком П.Н.Зайцева. На этот фрагмент мемуаров П.Н.Зайцева опирался Дж.Мальмстад в послесловии к кн.: Белый А. Гибель сенатора. Berkeley, 1986. С.204.

доли лукавства или конформизма. Тщательно описывая свои встречи с писателем, она не упоминает о той, которая зарисована Ф.А.Головиным, когда за одним столом оказались «поэты и политики»¹⁶: Андрей Белый, Мария Филипповна и три члена ЦК партии кадетов Ф.Ф.Кокошкин, Д.И.Шаховской (сам «художник» не изображен, но очевидно, что он находился в комнате). Ничего не говорится в воспоминаниях и о встрече, на которой присутствовали, помимо писателя и четы Кокоскиных, Н.А.Бердяев, Б.П.Григорьев, кн. С.Д.Урусов. Не рассказывается и про «обед у Кокоскина и разговор об антропософии», отмеченный в «Ракурсе к дневнику» (Л.83).

Мария Филипповна в принципе пытается игнорировать партийную принадлежность своего супруга-кадета. Желание мемуаристки «подстроиться» под каноны советской эпохи проявляется и в акцентировании негативного отношения и к эмиграции Вячеслава Иванова, и к пребыванию Андрея Белого в Берлине. При этом деликатно умалчивается, что фигурирующий в воспоминаниях Владимир Федорович Кокоскин также покинул Россию и что главной причиной его отъезда стали обстоятельства гибели брата¹⁷.

Написанный от руки текст воспоминаний несет на себе следы правки, преимущественно стилистической (подбираются более точные выражения, переставляются слова и т.п.). Однако правка порой имеет чисто идеологический характер. Так, вписанные слова Ф.Ф.Кокоскина из речи на Выборгском процессе представлялись, вероятно, очень «правильными», «подходящими» и потому в мемуарах они цитируются неоднократно. Напротив того, во фрагменте об А.А.Блоке зачеркнуты слова «Я приглашала»; начатое предложение не заканчивается, мысль обрывается. О том, что здесь имела в виду Мария Филипповна, можно прочитать у самого Блока, изложившего в своем «Дневнике»¹⁸ содержание того самого разговора, о котором вспоминает мемуаристка. Для Блока он имел прежде всего политический смысл. «Телефон — от Верховского: 7-го в 9 1/2 часов m-me Кокоскина зовет меня на собрание к себе обсуждать участие литераторов в выборах в Учредительное собрание (!)» — записано 5 июня 1917. Об этой стороне своих контактов с литераторами жена кадета не обмолвилась ни словом, хотя ее участие в такого рода акциях вполне логично: именно в то время Ф.Ф.Кокоскин занимался подготовкой созыва Учредительного собрания, являлся Председателем Особого Совещания по выработке положения о выборах в него.

Мария Филипповна была весьма упорна в достижении поставленной перед ней партийной цели, не ограничившись передачей информации через третьи руки и на следующий день позвонила Блоку сама: «Телефон от Марии Филипповны Кокоскиной — о завтрашнем собрании (В.Д.Набоков зовет). О моих стихах. Я говорил о своем "большевизме" (Французская набережная 8, телефон 6-47-76)».

¹⁶ Такова подпись под одним из рисунков Ф.А.Головина.

¹⁷ Кокоскин В.Ф. Ф.Ф.Кокоскин / Публ. И.Гуаданини. Новый журнал. 1963. №74. С.207.

¹⁸ Дневник Ал.Блока: В 2 тт. / Под ред. П.Н.Медведева. Т.2. Л., 1928. С.15-16.

«Дневник» Блока показывает, что разговор с женой Кокошкина о поэзии не являлся плодом воображения мемуаристики, он действительно состоялся и был, по всей видимости, достаточно теплым и душевным. По крайней мере после него «m-me Кокошкина», фигурирующая в записи за 5 июня, превратилась в «Марию Филипповну», обрела имя. Мемуаристка предпочла не сказать и об этой важной цели звонка, и о том, что цель эта выполнена не была. «В кадетский клуб я не пошел», — записано у Блока 7 июня.

Впрочем, встречающиеся в тексте недомолвки вполне объяснимы временем (1930-е гг.), небезопасным для «кадетской дамы», и обстоятельствами работы над мемуарами.

Мария Филипповна предложила их в Литературный музей, возглавляемый В.Д.Бонч-Бруевичем. Тот заинтересовался воспоминаниями и посоветовал дополнить их рассказом об убийстве мужа. Интерес Бонч-Бруевича к воспоминаниям вдовы вполне объясним не только их литературными достоинствами. В то время, когда Кокошкин готовил созыв Учредительного собрания, будущий директор Литературного музея готовил его разгон (в частности, организуя вооруженные отряды для пресечения демонстраций в поддержку народного представительства). Имел Бонч-Бруевич и отношение к трагическим событиям ночи с 6 на 7 января 1918. Документ, разрешающий перевод мужа из тюрьмы в больницу, Мария Филипповна получила утром 6 января из его рук, и из его же уст услышала пророческие, предупреждающие слова: «...никогда не забуду, как, передавая мне конверт, пред[ставитель] власти произнес: "Ну так помните ж, я сделал все, чтоб отговорить Вас!"»¹⁹. И наконец, именно В.Д.Бонч-Бруевич в январе 1918 руководил работой так называемой «75 комнаты Смольного» (Комитетом по борьбе с погромами, саботажем и контрреволюцией), занимавшейся расследованием убийства в Мариинской больнице. Воспоминания «об этом печальном случае»²⁰ были интересны и нужны ему как автору статей, излагающих и закрепляющих официальную версию случившегося.

Мария Филипповна исполнила просьбу директора Литературного музея, и ее воспоминания были приобретены по сто рублей за страницу²¹. И переговоры с Бонч-Бруевичем, и сама покупка состоялись в 1934. Вероятно, незадолго до этого были написаны и очерки, представленные ниже. В результате реорганизации советских архивов воспоминания попали в ЦГАЛИ, а в 1948 были переданы в ЦГАОР (ныне ГА РФ — Ф.1190. Оп.1. Ед.хр.21; в описи ошибочно фигурируют как «Дневники М.Ф.Кокошкиной»). Это произошло в год смерти Марии Филипповны. Вероятно,

¹⁹ РГБ. Ф.369. Карт.391. Ед.хр.27.

²⁰ Так называл В.Д.Бонч-Бруевич убийство Ф.Ф.Кокошкина в приписке к письму М.Ф.Кокошкиной, в котором она уточняла, что же все-таки хотелось бы прочитать в ее воспоминаниях директору Литературного музея (РГБ. Ф.369. Карт.286. Ед.хр.24).

²¹ Такая цена значится в записке, вложенной В.Д.Бонч-Бруевичем в пятую тетрадь воспоминаний. В записке также даны указания машинистке перепечатать особенно заинтересовавшие его места.

в архивном управлении МВД решили, что политики все же должны быть отдельно, а писатели — отдельно.

В тексте публикации приведены к современной норме орфография и пунктуация, оговаривается только содержательная, а не стилистическая правка мемуаристики. Благодарю М.А.Колерова за содействие в поиске материала.

Бугаев-Белый

В моих воспоминаниях Б.Н.Бугаев (Андрей Белый) обретается где-то особняком. Мы с мужем считали Белого одним из самых гениальных писателей последних лет. Именно гениальным. Никаким другим эпитетом нельзя охарактеризовать его таланта. Вот почему появление «Серебряного голубя»¹ было для нас событием. Его «Котик Летаев»², в особенности — «Крещеный китаец»³ — неповторимым явлением. Со стихами его мы были меньше знакомы, но все, что знали, — считали первоклассным.

Вот как произошло мое первое знакомство с «Котиком Летаевым».

В Гор[одской] Думе был объявлен доклад мужа на тему: «Англия... Франция и судьбы Европы»⁴.

Ф[едор] Ф[едорович] всегда исходил ужасом перед каждым докладом, а тут ответственность затронутой темы, да и самая сложность политического момента, при кот[ором] она читалась, — все это вместе взятое повлияло на него так, что вот уже пора выступать — а мы с Фед[ором] Федоровичем все ходим по Александровскому саду — вверх и вниз, вверх и вниз и он все повторяет: «Не могу... уйду!» Уж в самый последний момент, сделав над собой нечеловеческое усилие, как приговоренный к смертной казни, побрел он в Г[ородскую] Думу; но как только он поднялся на эстраду, сразу понеслась убежденная горячая речь. Никому из слушателей и в голову не могло прийти, чего ему эта речь стоила. Но вот он кончил. Начались неслыханные овации. Это была одна из лучших его речей за все выступления*, и была вся построена на фоне Апокалипсиса. Начиналась словами: «Четыре всадника Апокалипсиса, четыре всадника!», каждый из которых представлял одну из стран воинств[ующего] Запада. Причем всем острием его речь была направлена на Германию⁶.

* *Вписано:* не считая его речи на Выб[оргском] пр[оцессе]⁵, где я люблю его фразу: благосостояние России зависит от поднятия благосостояния наших трудящихся классов населения.

Публика бешено кричит, аплодирует, а он стоит на эстраде и усиленно кого-то ищет в публике. Нашел меня. Вдруг срывается с эстрады, подбегает и со словами «Скорее... скорее... А то опоздаем!» указывает на выход.

Дело в том, что в этот самый вечер Б.Н.Бугаев читал своего «Котика Летаева» в доме одних наших знакомых⁷, куда и мы были приглашены.

Ф[едор] Ф[едорович] ужасно боялся пропустить хоть одно слово из прочитанного. Когда мы входили в гостиную наших знакомых, Б[орис] Н[иколаевич] только что приступил к чтению. Вступительных его слов мы уже не застали.

Читал он мастерски. Голосом, жестами, улыбкой и глазами оттенял все малейшие детали повествования, почему все прочитанное становилось таким рельефным, наглядным.

Слушая его — приобщался к самому процессу его творчества, становясь как бы участником этого созидания; как бы вместе с ним надстраивая этаж за этажом, воздвигая какую-то искусную пирамиду, стремящуюся все выше и выше вверх. И несмотря на такое свое интенсивное участие в этом построении, — я ухитрилась тотчас же по окончании чтения попасть впросак.

Вот как это было!

Как только Бор[ис] Ник[олаевич] кончил свою 1-ю часть, он подошел к нам. Мы с мужем тотчас же рассыпались в похвалах. Б[орис] Н[иколаевич], стоя перед нами, детски-радостно улыбался, как вдруг его радость сменила полная растерянность. Эту перемену его настроения вызвала я словами:

«Отчего Вы передумали сегодня читать 3-ю часть Вашей трилогии?» — «Да ведь это и есть она!..» — повторял он смущенно. Никогда потом не могла я себе объяснить, как это я сразу не поняла, что только путем «Котика Летаева», в котором описывает самого себя, только и можно было синтезировать его «Петербург» и «Серебряный голубь»⁸.

В дальнейшем мне часто приходилось присутствовать при подобных недоразумениях, но быть их причиной случилось мне в первый и последний раз.

Вот один из таких инцидентов:

Б.Н.Бугаев выступает с докладом «Александрийская эпоха»⁹!

Делает длиннейшее сообщение, воспроизводя сложнейшую конструкцию. Но не успел он кончить, как на эстраду посыпались записки, а следом и сами оппоненты. Что ни замечание — ясно, что ничего из доклада не понято. При каждом замечании Белый пожимал плечами и повторял удивленно: «Да я же этого не говорил!» С каждым новым «Я же этого не говорил» он все более и бо-

лее отворачивался от оппонентов к публике. И вот, когда он стоял почти спиной к президиуму, с председательского стола встает Эрн¹⁰ и, очевидно желая положить конец всем недоразумениям, начинает пояснять смысл доклада.

И вот тут, вслушавшись в первые слова Эрна и убедившись, что и он ничего не понял, Бугаев сразу делает полный оборот в сторону Эрна, а от него снова поворачивается в сторону публики, осматривает ее вопросительно, силится улыбнуться, но улыбка не удается, опускает голову на грудь, да так и стоит несколько секунд, выпучив губы. И раздается: «Никогда ничего подобного я не говорил!» — да так искренно, так убежденно. Эрн так и застыл на месте. Наступает минута мучительного молчания. Как вдруг лицо Бугаева начинает проясняться, и он радостно восклицает: «Понял! Меня надо было динамически понимать!» И тут же терпеливейшим образом повторил весь свой доклад в другом плане. Я чуть не умерла от смеху, следя за всеми этими перипетиями.

При всех таких сложно построенных докладах мне всегда вспоминался отец Б[ориса] Николаевича, так хорошо им описанный. Мне всегда казалось, что математик Бугаев¹¹, наверное, совершенно так же строил свои математические формулы, как сын его — свои литературные. Ибо у последнего все было точно математически вычислено и геометрически стройно сконструировано. И оба, наверное, говорили об одном и том же. Недаром так понимал и ценил сын дарование отца, а отец — так гордился талантом сына.

А вот еще одно последствие «Котика Летаева». Когда появился в свет «Котик Летаев», Ф[едор] Ф[едорович] был уже пайщиком газеты «Русские Ведомости» и сотрудником редакции¹². Под его влиянием удалось в одном из №№* в «Подвале»** поместить начало «Котика Летаева». Номер был воскресный, и к трем часам дня стали стекаться к нам знакомые с вышеописанным номером в руках¹³.

Тут же за чаем выяснилось, как по-разному каждый из них толковал прочитанное. Все соглашались в том, что замысловато написано. Но в то время, как одни говорили, что там описываются крестины, а другие протестовали, утверждая, что это полотеры, натирка полов полотерами¹⁴. Причем, как те, так и другие говорили всерьез. От Ф[едора] Ф[едоровича] же требовали разъяснения и решения вопроса, кто из них прав.

* Вписано: в 16 году в воскр[есенье] 13 ноября.

** Зачеркнуто: под чертой.

Но самое лучшее ожидало Ф[едора] Ф[едоровича] на следующий день.

Как только он вошел в редакцию, так все на него набросились, и все из-за этой статьи. Оказывается, она произвела скандал среди читателей, поспешивших довести до сведения редакции свое возмущение. Дело дошло до того, что к незабываемому нашему ужасу, мы прочли заметку в газете приблизительно такого характера, что статья не от редакции¹⁵ и т.д. Словом, нам было стыдно показаться на глаза Б[орису] Ник[олаевичу]*.

А вот моя встреча с Б[орисом] Н[иколаевичем] после его возвращения из-за границы¹⁶. Это было уже после смерти мужа. Я как-то, просматривая его «Петербург», заметила, что он весь почти построен на диалогах. И тут же решила переписать его, выпустив все отступления. И убедилась, что получается готовое сценическое произведение.

Как только Б[орис] Н[иколаевич] приехал из-за границы, я поставила его в известность о произведенной работе. Он очень заинтересовался и приехал ко мне. Мы весь день проговорили с ним на эту тему. Я помню, как сказала, что ничего бы не изменила, только немного любви прибавила бы. Он соглашался. Он фантазировал, как он себе представляет «Петерб[ург]» в постановке. По его мнению, все должно обозреваться якобы через окно кареты. Словом, карета у него была на первом плане¹⁷. Помню, какие тона, по его мнению, должны были доминировать. Он говорил намеками, ошупью, — и все-таки получался ясное представление того, что ему рисовалось. Ничего этого я не нашла при постановке 2-го МХАТА¹⁸.

Тут же со мной сидя, Бугаев стал обдумывать, кому поручить постановку «Петербурга». Я сразу назвала Мейерхольда¹⁹. На что он мне ответил: «Мы с ним не в дружеских отношениях». Через несколько минут я снова стала уговаривать его только Мейерхольду и больше никому не отдавать «Петербурга».

Но убедившись, что это для него неприемлемо, назвала Завадского, кот[орый] тогда был директором 3-й студии, теперь Вахтанговского²⁰. Он согласился, поручив мне уговориться с Ю[рием] Алекс[андровичем] о дне встречи. Что я и сделала.

Ю[рию] А[лександровичу] улыбнулась мысль сыграть роль Аبلеухова. Б[орису] Н[иколаевичу] это тоже нравилось.

Но, к несчастью, в намеченный день я захворала и не могла пойти, а Б[орис] Н[иколаевич] не пошел туда один... Когда я его

* *Вписано:* А стихов В[ячеслава] Ив[ановича] Иванова так и не приняли вовсе, сколько ни уговаривал и увещевал Ф[едор] Ф[едорович].

потом спрашивала, отчего он не пошел один, он, к великому моему удивлению, ответил: «Я побоялся, как он меня встретит, ”вдруг“», — и что-то прибавил вроде «не хорошо» или «плохо». И сообщил мне, что только что встретил Чехова и договорился с ним. Я тут же высказала мои сожаления по поводу случившегося. Ибо была совершенно убеждена, что он не справится с постановкой, и стала его уговаривать передумать.

«Я не могу ему отказать в этом. Меня к тому обязывает наша с ним дружба»²¹, — последовал его ответ.

С того дня я совершенно устранилась от «Петербурга» и ничего о его судьбе не знала.

Пошла прямо на 2-е представление «Петербурга»²², где и убедилась в правильности моих предположений.

Чехов, Чебан²³ — играли выше всяких похвал, как и можно было этого ожидать, — но «Петербурга» — не было. Была какая-то конфетная постановка, предназначенная для детей. Зная, что это моя затея подбила Б[ориса] Н[иколаевича] на постановку «Петербурга», знакомые, присутствовавшие в театре на этом представлении, считали себя вправе подходить ко мне и говорить: «Вот и еще раз подтвердилась нежелательность переделок романов для сцены».

Я же оставалась и остаюсь при своем убеждении, что из рук Мейерхольда эта переделка вышла бы вполне «желательной».

2 года тому назад еду я как-то в трамвае. Замечаю, что кто-то, жестикулируя, протискивается ко мне, и издали слышу: «Как Вы были правы тогда... Мейерхольд... и только Мейерхольд!». Это был Б.Н.Бугаев. Он возвращался от Мейерхольда, где обсуждалась постановка его (не помню) не то «Москва под ударом», не то «Москвич»²⁴.

Он тут же стал мне рассказывать, как легко работать с Мейерхольдом... как он все сразу понимает, и снова повторил: «Вы были правы тогда». Тут подошла моя остановка, и я рассталась с ним.

Больше я с ним не видалась. Это была моя последняя встреча с ним.

А вот вспоминается одна из предыдущих встреч с Белым — очень забавная. Иду я как-то часов в 7 вечера по Арбатской площади. Навстречу Белый.

«Куда идете?» — спрашивает.

Отвечаю: «В клуб»²⁵. — «Можно с Вами пойти?» — «Конечно!»

Когда мы вошли в помещение клуба, — на эстраде стояла дочь проф[ессора] Усова²⁶ и пела цыганские романсы. Мы присели к столику. Надо было видеть, до чего Б[орис] Н[иколаевич]

веселился. Подпевал, аплодировал. Только что не танцевал. Кончилось — и мы снова на улице. Б[орис] Н[иколаевич] — все подпевает.

«Куда Вы теперь идете?» — спрашивает он меня.

«Домой!»

«Можно с Вами пойти?»

«Конечно!»

Дом, в котором я жила, был в 2-х шагах оттуда. Мы пришли домой и сели чай пить. Бугаев был весел и оживлен — как ребенок. После чая мы перешли ко мне в комнату. Б[орис] Н[иколаевич] то вскочит, то снова сядет, то начнет говорить, жестикулируя, то снова садится — что-то про себя обдумывая, то вдруг вспомнит пение и запоет, потом сразу остановится и улыбнется своей, какой-то внутренней улыбкой.

Следила... следила за ним да и расхохоталась. Он за мной! А время идет: 1... 2... 3...

Думаю про себя: «Эдак он до утра просидит!» И невольно улыбнусь.

А старая няня М.Н.Шелепина нет-нет да и подойдет к стеклянным дверям моей комнаты, посмотрит на его пируэты, вызовет меня — да спросит: «Скажи, пож[алуйста], какого это ты чудака привела с собой?» Целую ее и хохочу еще больше.

Уж к самому утру как вскочит он со стула: «Ах, как я засиделся, — поздно, наверное?» — и стал торопиться домой.

Помню, как-то в другой раз зашел он ко мне рано, часов в 12 дня, специально, чтоб сказать мне, что я должна завести себе тетрадь и всякий день в нее все заносить, хотя бы только 10 минут в день этому уделять — но непременно ежедневно.

И тут, вспомнив мое имя, — Мария, — сказал, с каким цветом, по его мнению, ассоциируются наши имена Андрей и Мария, а затем перешел и к другим именам.

Мы так увлеклись, что и не слышали звонка. Входит Вл[адимир] Ф[едорович] Кокошкин²⁷, присаживается к нам и присоединяется к нашему разговору. Не заметили, как просидели до темноты. По уходу Бугаева, Вл[адимир] Ф[едорович] спрашивает меня, кто этот гениальный человек.

И тут я вспомнила, что ровно год тому назад мы чуть не поссорились с ним из-за того же Бор[иса] Н[иколаевича]. Слыша, как мы с мужем перевозносим Белого, он пожелал сам послушать один из его докладов и ровно через 1/2 часа вернулся обратно, покинув собрание в полном убеждении, что лектор издевается над публикой, произнося сплошной набор бессвязных слов, причем боль-

ше всего возмущался неискренностью нашего восторга. Так мы и расстались тогда, не переубедив друг друга.

Только теперь признал он свою ошибку и все время повторял: «Гениально... Гениально!»

Люблю очень вспоминать публичный отчет, кот[орый] Бор[ис] Ник[олаевич] делал перед огромной аудиторией по возвращении с своей последней поездки за границу²⁸.

В каждом слове звучала разочарованность Германией. Мне это было гораздо приятнее, чем его совершенно непонятное мне увлечение ею.

Он беспощадно проанализировал ее со всех сторон, ясно доказав, что она на краю пропасти.

Этой же безысходностью он объяснял их опьянение танцами, которые, как своего рода дурман, помогают ничего не думать и не видеть.

Закончил он свою речь выражением своей искренней радости, что он снова дома — у себя. Насколько он мне был ближе в этот момент, чем отъезжающий за границу В[ячеслав] Иванович Иванов²⁹.

Во все время своего доклада Б[орис] Н[иколаевич] все время бегал по огромной эстраде со свойственной ему ритмичностью.

С тех пор, когда я думаю о нем, возникает передо мной та картина, которая во время доклада мне представилась: темная бурная ночь, выделяющая в своем центре верхушку земного шара, такую же черную, как она сама. На ней же — одиноко блуждающий черный силуэт Белого.

Блок

Но тот, кого я более всего хотела бы узнать близко, того-то мне как раз и не пришлось узнать.

Я говорю о Блоке.

Как муж, так и я, мы оба считали Блока прямым последователем Пушкина.

Как тот, так и другой поднялись на самую высь поэтического полета, как бы разделив между собой небо поэзии. Один — в качестве всеозаряющего солнца; другой — в виде таинственно мерцающей луны.

Взобравшись на такую высоту и оттуда обозревая всю округу, только они могли погружать нас в такие выси поэтических переживаний, оставаясь в то же время нам понятными и близкими.

Вот почему напев их так прост — и в то же время так величествен. Так беспределен — и в то же время так близок. Пушкин и Блок. Это мы сами.

Мы воспринимаем их во все моменты нашей жизни. Они в самом центре ее. В Блока я всегда, с первого стихотворения, была немного влюблена. Он мне всегда казался таким прекрасным. Помню, каким близким почувствовала я Ф[едора] Ф[едоровича], когда он мне при первом знакомстве сознался, что немного влюблен в Блока и что считает его идеалом мужской красоты.

За всю мою жизнь мне всего только и пришлось поговорить с ним каких-нибудь 8-10 минут, и то лишь по телефону. Это именно тот раз, о котором он упоминает в своих воспоминаниях^{30*}. И вот теперь, когда я припоминаю наш разговор, говорю себе, что сколько бы я ни обдумывала, что ему сказать, я ничего бы лучшего не придумала бы, чем то, что у меня тогда так непроизвольно вырвалось.

Мне удалось тогда высказать ему, за что мы с Ф[едором] Ф[едоровиче]м его больше всего ценим, подтверждая мои утверждения его же стихотворениями, которые я тут же говорила. Помню, последнее из них было: «В большой траве пропадешь с головой...»³¹. И мне тогда казалось, что он нас понял, и что мы, не видя друг друга, увиделись.

Но вот необычайная вещь, ничем не объяснимая. Цена так Блока и читая мне его вдоль и поперек, Ф[едор] Ф[едорович] никогда не упоминал мне о «Незнакомке». С нею я познакомилась только после смерти Ф[едора] Ф[едоровича]. Я тогда написала целый разбор этого произведения.

Помню, когда я встретила Бугаева, то сказала ему, что считаю «Незнакомку» завершением таланта Блока.

Помню, как он тогда восторженно и сказал: «Так думал и сам Блок, он писал ее бесконечно долго, всегда говорил о ней как о чем-то завершающем. Когда же она появилась, то мы, так долго ее ожидающие, мы были разочарованы в наших ожиданиях», — и тут же прибавил: «Только теперь, перечитав ее, я понял, что мы недооценили его! Только теперь я понял ее значение!»³²

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Роман «Серебряный голубь» Андрея Белого печатался в 1909 в «Весах» и вышел отдельной книгой в 1910.

* Вписано, а потом зачеркнуто: Я приглашала.

² Фрагменты «*Котика Летаева*» публиковались в 1916 в «Биржевых ведомостях» (2 мая) и в «Русских ведомостях» (13 ноября, 4 и 25 декабря). Целиком роман был напечатан в альманахе «Скифы»: Сб.1 — в августе 1917; Сб.2 — в январе 1918.

³ «*Крещеный китаец*» создавался и был опубликован уже после смерти Ф.Ф.Кокошкина: Записки мечтателей. Вып.4. Пг., 1921 (Под заглавием «Преступление Николая Летаева»); Отд. изд. — М., 1927.

⁴ Имеется в виду речь Ф.Ф.Кокошкина, произнесенная 16 октября 1916 в зале Московской городской думы на заседании Общества сближения с Англией. В мемуары вкралась ошибка: речь называлась «Англия, Германия и судьбы Европы». Отчет о заседании см.: Русские ведомости. 1916. 17 окт.

⁵ Имеется в виду судебный процесс над депутатами 1-й Государственной думы, которые в знак протеста против разгона Думы собрались в Выборге и подписали (10 июля 1906) обращение к «Народу от народных представителей», так называемое Выборгское воззвание, в котором населению предлагалось отказаться от платежа налогов и службы в армии. Подписавшие были привлечены к судебной ответственности и приговорены к трем месяцам тюремного заключения. Мария Филипповна цитирует слова из речи Ф.Ф.Кокошкина, произнесенной в суде в декабре 1907.

⁶ «На примере этой речи можно с полной ясностью отдать себе отчет и в том, каким именно свойством своего ораторского дара Кокошкин был обязан своей заслуженной славе первоклассного оратора, — говорилось в анонимном предисловии к изданному «Комитетом по увековечиванию памяти Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева» тексту выступления. — Речь Ф.Ф.Кокошкина, произнесенная в 1916 г., отмечена твердой уверенностью в полном конечном торжестве Англии над Германией. /.../ основной тезис речи Ф.Ф.Кокошкина выходит далеко за пределы оценки отдельных перипетий текущей войны. В сущности, это речь не столько о ходе и исходе данной войны, сколько о двух идеалах политического творчества. /.../ Внимательный и чуткий читатель без труда усмотрит в рассуждениях Ф.Ф.Кокошкина о явлениях данного момента освещение основных положений его общего философско-политического символа веры». Речь Ф.Ф.Кокошкина начиналась словами: «"Четыре всадника Апокалипсиса". Так назвал известный писатель Бласко Ибаньес свой последний роман, посвященный переживаниям современной войны. Сравнение не ново. Оно повторялось много раз в катастрофические эпохи жизни человечества. Но едва ли на всем протяжении всемирной истории можно указать период, когда мрачные и величественные образы "Откровения Иоанна" находили бы себе такое близкое и грандиозное подобие в действительности, как в момент, сейчас переживаемый нами. /.../ В самом деле, разве не стонет уже третий год почва Европы под копытами "красного коня", сидящему на котором "дан большой меч" и "дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга"? И разве не показался уже вслед за этим всадником другой на "черном коне"» (Кокошкин Ф.Ф. Англия, Германия и судьбы Европы. М., 1918. С.3, 8-9, 11).

⁷ В доме Б.П. и Н.А.Григоровых. Именно у них 16 октября 1916 Андрей Белый читал «Котика Летаева». См.: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В.Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. Указ. изд. С.790. Знакомство Григоровых с Кошкиными подтверждается припиской к письму-приглашению Андрею Белому: «У нас будут также Н.А.Бердяев и Григоровы» (РГБ. Ф.25. Карт.17. Ед.хр.2) и уже приведенной выше записью в «Жизни без Аси».

⁸ С рубежа 1909-1910 Белый лелеял идею создать трилогию «Восток или Запад». «Серебряный голубь» и «Петербург» представляли соответственно 1 и 2 ее части. «Первая часть "Серебряный голубь" говорит "нет" темному востоку России, вторая часть говорит "нет" искаженному западу. И лишь в третьей части "Невидимый Град" должно явиться "да"», — пояснял А.Белый свой творческий замысел в письме к М.Я.Сиверс (октябрь 1914; хранится в Дорнахе). «Невидимый Град» написан не был; в 1915 Белый стал работать над «Котиком Летаевым», задумывавшимся как начало эпопеи «Моя жизнь», третьей части трилогии. См. письмо Белого Р.В.Иванову-Разумнику от 20 ноября 1915, фрагмент которого приведен в кн.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981. С.517.

⁹ Согласно «хронике», составленной А.В.Соболевым, доклад Белого «Александрийская эпоха и мы в освещении проблемы "Восток и Запад"» был прочитан на заседании Московского Религиозно-философского общества 30 ноября 1916. См.: Соболев А.В. К истории религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева // Историко-философский ежегодник: 1992. М.,1994. С.110.

¹⁰ Эрн Владимир Францевич (1881-1917) — философ, деятель Московского Религиозно-философского общества.

¹¹ Бугаев Николай Васильевич (1837-1903) — декан физико-математического факультета Московского университета, профессор. Выведен в «Котике Летаеве», «Крещеном китайце»; послужил прототипом образа профессора Коробкина в романе «Москва».

¹² «Кокошкин Ф.Ф., известный публицист и /.../ член товарищества "Русских ведомостей". Работать в газете начал в 1905 году, скоро это сотрудничество стало постоянным и деятельным и продолжалось до самой смерти Кокошкина» (Розенберг В.А. Из истории русской печати: Организация общественного мнения в России и независимая беспартийная газета «Русские ведомости». Прага, 1924. С.133). Кокошкин выступал в газете как политический обозреватель, автор передовиц.

¹³ Имеются в виду опубликованные в «Русских ведомостях» 13 ноября, 4 и 25 декабря 1916 «Отрывки из детских воспоминаний (Из повести "Котик Летаев")». М.А.Осоргин излагает несколько иную версию появления этой престижной для писателя публикации: «Помню, что его свел с газетой Абрам Эфрос, бывший тогда художественным обозревателем "Русских ведомостей" /.../ газете хотелось быть современной (конечно, — в строгих рамках!) /.../ Долго думали и наконец решили попробовать отвести несколько фельетонов под начало "Котика Летаева", благо там

идет рассказ о профессорской Москве, хоть и написано все странными, неподобающими словами /.../ Опыт был сделан. Многолетние подписчики читали хмуро и удивленно, зря печатать не станут. Целый перевод в умах, насильственная эволюция! И Белый стал кандидатом в академики...» (Осоргин М. Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С.265-266).

¹⁴ По всей видимости, спор шел о главке «Обморок».

¹⁵ Вероятно, имеется в виду статья «Об Андрее Белом», написанная сотрудником «Русских ведомостей» критиком И.Игнатовым и опубликованная 22 декабря 1916. По всей видимости, негативную реакцию мемуаристики вызвали начальные строки статьи: «В редакции получено несколько писем, высказывающих недоумение по поводу помещенного в "Русских ведомостях" отрывка "Котик Летаев" Андрея Белого. Одни корреспонденты недовольны чрезмерной необычностью и непонятностью рассказа; другие выражают неудовольствие редакцией, которая, по своим воззрениям не может, — говорят они, — иметь много общего с г.Андреем Белым; третьи просят, четвертые требуют объяснения. /.../ Само собой разумеется, что помещение какого-нибудь произведения не может говорить не только о солидарности общественных, философских, религиозных воззрений автора и редакции, но и полном соответствии художественных вкусов». Далее идет вполне доброжелательный разбор творческой индивидуальности писателя, а «Котик Летаев» называется «талантливой попыткой подойти к изображению душевного мира человека путями, до сих пор мало исследованными».

¹⁶ Белый уехал из России в Германию в октябре 1921; вернулся — в октябре 1923.

¹⁷ Образ кареты был для Белого особенно значим еще в период работы над «Петербургом»-романом. Одно из предполагавшихся названий будущего произведения — «Лакированная карета». См. письмо Белого А.Блоку от 21 октября 1911 // Александр Блок и Андрей Белый: Переписка. М., 1940. С.268.

¹⁸ МХАТ-2 появился в 1924 в результате реорганизации руководимой М.А.Чеховым (1891-1955) 1-й Студии МХТ. Театр работал над постановкой «Петербурга» как раз в период этих преобразований. Премьера спектакля состоялась 14 ноября 1925.

¹⁹ В.Э.Мейерхольд (1874-1940) с 1920 возглавлял московский театр, получивший в 1923 название Театра им. Мейерхольда.

²⁰ Основанная Е.Б.Вахтанговым в 1913 Студенческая Драматическая Студия в 1921 была реорганизована в 3-ю Студию МХТ, переименованную в 1926 в Театр им. Вахтангова. Ю.А.Завадский (1894-1977) руководил 3-й Студией с 1924.

²¹ По свидетельству Белого, он уже в середине января 1924 проводит беседу у М.А.Чехова «о том, как ставить "Петербург"» (РкД. Л.117об.). К январю же относится запись: «Усаживаюсь за переработку "Петербур-

га“ в драму; переговоры с Чеховым, Мейерхольдом, Завадским, Таировым» (Там же). Предпочтение, отданное М.А.Чехову, во многом объяснялось общей для писателя и режиссера приверженностью к антропософии. В 1925 Белый писал Иванову-Разумнику: «...особенно сойдясь в прошлом году с Мих[аилом] Алекс[андровичем] на почве “нашей с ним общей не театальной” работы, увидев в нем человека глубокого, мятущегося “нашего” (мог бы сказать “вольфильского“, мог бы сказать “а-ского“), я его просто полюбил /.../ и я “а ргіогі“ говорил “да“ всем “падениям“ сценическим...» («И с временем что-то неладное...»): Письмо А.Белого Р.В.Иванову-Разумнику. 8 марта 1925 г. / Публ. С.Шумихина // Неизвестная Россия. XX век. Кн.2. М., 1992. С.152).

²² Состоялось 17 ноября 1925.

²³ М.А.Чехов исполнял в спектакле роль сенатора Аплеухова; актер и режиссер А.И.Чебан (наст. фамилия Чебанов; 1886-1954) был одним из трех режиссеров постановки.

²⁴ В ноябре 1926 Белый переделывает роман «Москва» в драму и уже в декабре предлагает В.Э.Мейерхольду ее поставить. См.: Мейерхольд В.Э. Переписка: 1896-1939. М., 1979. С.256-260. Пьеса была включена в постановочный план Театра им. Мейерхольда на сезон 1927/1928 гг. и значилась в плане вплоть до 1930. Пьеса поставлена не была; первоначальное восхищение замыслом Мейерхольда и творческий энтузиазм сменились у Белого разочарованием и раздражением на режиссера. См.: Воронин С. Из истории несостоявшейся постановки драмы А.Белого «Москва» // Театр. 1984. №2. С.125-127.

²⁵ Клуб писателей; образован в январе 1917.

²⁶ Усов Павел Сергеевич (1867-1917) — профессор Московского университета, известный врач, кадет. Скорее всего имеется в виду его дочь Ася (Анна Павловна), умершая около 1919.

²⁷ Кокошкин В.Ф. (1874-1926) — брат Ф.Ф.Кокошкина, земский деятель, адвокат, кадет, участник Белого движения; умер в Брюсселе. См.: Кокошкин В. Ф.Ф.Кокошкин. Указ. изд. С.207-227.

²⁸ В ноябре 1923 А.Белый выступал с лекцией «Впечатления от Берлина» в рабочем клубе Анилинового завода (Анил-трест) (См.: РкД. Л.117об.). В январе 1924 — с лекцией «Одна из обителей царства теней» в Театре им. В.Э.Мейерхольда (там же). Описание январского выступления дано П.Н.Зайцевым (см.: Зайцев П.Н. Московские встречи // Андрей Белый: Проблемы творчества. Указ. изд. С.564-565). Скорее всего, мемуаристка была именно на январском выступлении писателя.

²⁹ В.И.Иванов уехал из России в 1924.

³⁰ См. примеч. 18 к предисловию наст. публ.

³¹ «В густой траве пропадешь с головой...» (1907).

³² Появление «Незнакомки» (1906) было первоначально воспринято Белым как предательство заветов символизма, измена Блока собствен-

ным идеалам. Впоследствии отношение Белого к «Незнакомке» Блока изменилось: «Но в поэзии Блока... поднялось осмеяние своей собственной темы (в "Балаганчике", в "Нечаянной радости"), лик Прекрасной Дамы разбился о какие-то встававшие трудности, из раскола хлынули ночь и туман, закрывая лучистую ясность пейзажа; пейзаж стал болотным, наполненным чертенятами и какими-то странными женскими персонажами, именуемыми то Незнакомкой, то Маской, то Ночью. Блок 1905-1907 гг. показался предателем своих собственных светлых заветов. /.../ Десятилетие медленно выявляло подлинный центр качания маятника поэзии Блока; вспышки света и тьмы, Дева Неба и Маска слились в выражении третьего лика; блоковская Прекрасная Дама оказалась абстракцией одного лишь момента мимики страдающей души русской жизни; проститутка — абстракцией другого момента; подлинный лик его музыки оказался живей, многогранней, исполненной трагической жизни. Этот лик — лик России» (Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922. С.107-108.)

К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЕВОГО НАРОДНИЧЕСТВА И «СКИФОВ»

Вопрос о взаимоотношениях инициаторов и участников литературных сборников «Скифы» с партией левых социалистов-революционеров (далее — ПЛСР) представляется далеко еще не проясненным до конца. В партийном смысле к ПЛСР определенно принадлежал один из идеологов «скифской» группы — Сергей Дмитриевич Мстиславский (настоящая фамилия Масловский, 1876-1943). Он был избран в Президиум II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов от имени фракции левых эсеров-интернационалистов, за что подвергся исключительно вместе с другими оппозиционерами из партии эсеров. На I (учредительном) съезде ПЛСР 19-28 ноября 1917 его избрали в Центральный Комитет партии. Мстиславский представлял левых эсеров на первом этапе мирных переговоров в Брест-Литовске и во ВЦИК 2-4 созывов. Однако на II съезде ПЛСР он был переведен в разряд кандидатов в члены ЦК как «умеренный»¹. Несколько позже, давая показания Особой следственной комиссии «по расследованию контрреволюционного выступления партии левых социалистов-революционеров против рабоче-крестьянского правительства» 10 июля 1918, лидер ПЛСР М.А.Спиридонова заявила о том, что «тов. Мстиславский не состоит членом ЦК партии [левых] эсеров. После 2-го и 3-го съезда партии никакого участия в активной партийной работе не принимал, а заведовал исключительно газетой. О постановлении ЦК о Мирбахе не знал»².

Другой редактор сборников «Скифы» — Разумник Васильевич Иванов (псевдоним Иванов-Разумник, 1878-1946) четко констатировал: «/.../ примкнув к идеологии народничества, я не пошел в партию, в то время политически его выражавшую, — в партию социалистов-революционеров: я был, говоря словами остроумной сказочки Киплинга, "кот, который ходит сам по себе", — партийные шоры были не для меня. Это не мешало мне принимать ближайшее участие во всех литературных начинаниях этой партии. /.../ Когда осенью 1917 года эсеры разделились на правых и левых, мои симпатии были на стороне последних, и я стал вести литературные отделы в их газете "Знамя труда" и в журнале "Наш

¹ Разгон А.И. 17-25 апреля [1918]. Второй съезд Партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов // Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М., 1993. С.411п.

² Красная книга ВЧК. Т.1. М., 1989. С.269.

Путь“»³. Будучи «не партийным» (как всегда писал он в анкетах вместо обычного «беспартийный»⁴), Иванов-Разумник тем не менее был избран в ЦК ПЛСР на II съезде партии⁵. На заседании ЦК 25 апреля он был заочно избран в его редакционную коллегию и в издательскую комиссию⁶. Но на состоявшемся 28 июня — 1 июля III съезде ПЛСР он уже не был переизбран в новый состав ЦК.

Из числа участников «скифской» группы ближе всего к левым эсерам стояли С.А.Есенин и Е.Г.Лундберг. Вместе с тем, нет оснований говорить об их формальном присоединении к партии. Ни А.А.Блок, ни тем более Андрей Белый и Н.А.Клюев, к левым эсерам не принадлежали. «Я политически безграмотен /.../», — прямо заявлял Блок⁷. «Скифы» «не партийны» — признавал Иванов-Разумник, при этом добавляя: «но они и не аполитичны»⁸.

Участники «скифской» группы активно сотрудничали в различных изданиях левых эсеров. Блок, Белый, Есенин, Иванов-Разумник, Клюев, Лундберг, Мстиславский, П.Орешин, А.Терек (О.Форш), А.Чапыгин, А.Ширяевец, К.Эрберг и А.Авраамов — в первой половине 1918 указывались в числе «постоянных» сотрудников «большой ежедневной политической и литературной газеты» «Знамя Труда» (органа ЦК ПЛСР). Большая часть из них сотрудничала также в литературно-политическом журнале «революционного социализма» «Наш Путь», временнике литературы, искусств и политики «Знамя Труда» (июнь—июль 1918) и в газете «Голос трудового крестьянства». В.Бакрылов, Иванов-Разумник, Есенин, Клюев, Лундберг, Орешин, Чапыгин и Ширяевец были объявлены в числе авторов предполагавшегося (но не успевшего выйти) журнала «трудо-вого крестьянства» «Красный Пахарь».

Публикуемые письма М.А.Спиридоновой и И.К.Каховской к ведущему идеологу «скифства» Иванову-Разумнику дополняют картину первоначального, наиболее интенсивного этапа сотрудничества «скифов» с левыми эсерами.

Характер их дальнейших взаимоотношений остается не изученным в еще большей степени. После того как агенты ВЧК рассыпали 7 июля 1918 очередной номер «Знамени Труда», — повсеместно была свернута издательская деятельность ПЛСР. Той же участи подверглось едва вставшее на ноги книгоиздательство «Скифы». Неудачное выступление левых эсеров против большевиков стало началом краха их партии.

С.Д.Мстиславский был арестован и препровожден на гауптвахту в Кремль, где находился до 1 августа. После освобождения он некоторое

³ Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. («По тюрьмам на родине») / Публикация В.Г.Белоуса // Мера. 1994. №1. С.164.

⁴ Там же. С.167.

⁵ Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М., 1993. С.122с.; 411 п.

⁶ РЦХИДНИ. Ф.564. Оп.1. Д.11. Л.3.

⁷ Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 тт. Т.6. М.; Л., 1962. С.8. («Может ли интеллигенция работать с большевиками?» Ответ на анкету).

⁸ Памяти Александра Блока / Андрей Белый, Р.Иванов-Разумник, А.З.Штейнберг. Пб., 1922. С.58.

время работал заведующим библиотечной секцией отдела народного просвещения при Моссовете. В мае 1919 он перебрался в Киев и присоединился к борьбистам — течению, отколовшемуся от Украинской партии левых эсеров и занимавшему лояльную позицию по отношению к большевикам. Последнее обстоятельство не помешало борьбистам вести переговоры с российскими левыми эсерами, «революционными коммунистами» и другими близкими группировками о создании «блока революционного народничества». Мстиславский стал членом ЦК УПЛСР(б), вошел в редколлегию киевского журнала «Борьба» и одноименной газеты. Он возглавлял Военный отдел борьбистской партии и остался работать в подполье после занятия Киева денкинцами. Позже Мстиславский вошел в состав Всеукраинского военно-революционного комитета. Затем он заведовал Подотделом книги и искусств в Киевском губернском отделе народного образования, был избран депутатом Киевского Совета (от учреждений губнаробразования). Во время советско-польской кампании сотрудничал в Зафронтовом бюро РВС XII армии и в Закордонном бюро КП(б)У. После заключения мира с Польшей заведовал Киевским областным отделением Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства (УКРОСТА), был заместителем заведующего Агитпросветом Политотдела Юго-Западной железной дороги. В 1921 вернулся в Москву, где занял пост начальника Отдела печати Центрального бюро информации и связи Наркомпути. Летом того же года Мстиславский возглавил библиотеку Социалистической академии общественных наук. После самоликвидации борьбистской партии в июле 1920 он отошел от политической деятельности. В Коммунистическую партию, подобно части борьбистов, он не вступил, но в 1922 стал ответственным работником Профинтерна.

Иванов-Разумник, по его собственному признанию в письме к Андрею Белому от 17 сентября 1919, зимой 1918-1919 годов пережил тяжелый кризис. Совершенно очевидно, что его, как он выразился, «умиранье» было связано с померкнувшими надеждами на быстрое крушение «старого мира» в Европе и шквалом репрессий, обрушившихся на левых эсеров. Оглядываясь назад, Иванов-Разумник задавал самому себе и Белому вопрос: «Все ли мы очнулись, проснулись? Не знаю. Боюсь, что Ал[ександр] Ал[ександрович Блок] в летаргии, — при нем мне еще надо встряхиваться, просыпаться, щипать себя за руку. За него надо теперь или бороться, или подождать — от летаргии не будят насильственно, человек сам просыпается. Вот отчего, вероятно, так редко-редко вижусь теперь с Ал[ександром] Ал[ександровичем], не видел чуть ли не с полгода, живя бок-о-бок, чуть не рядом»⁹.

К моменту написания этих строк у самого Иванова-Разумника появилась надежда на открытие «Скифской академии» — Вольной Философской Ассоциации. Последнему обстоятельству способствовали переговоры, начатые «блоком революционного народничества» с руководством РКП(б).

⁹ РГБ. Ф.25. Карт.16. Ед.хр.66. Л.110б.

Во время московских июльских событий 1918 два известных левозерских деятеля — недавний комиссар юстиции в правительстве Москвы и Московской области Александр Абрамович Шрейдер (?-1930) и нарком юстиции в двухпартийном советском правительстве Исаак Захарович Штейнберг (1888-1957) — находились в Швейцарии. Они (вместе с М.А.Натансоном) входили в состав Заграничной делегации ПЛСР — органа, представлявшего их партию на международной арене. В Женеве ими было создано издательство, выпускавшее левозерскую литературу на трех иностранных языках. В октябре 1918 Заграничная делегация ПЛСР была выдворена из Швейцарии по указанию федеральных властей одновременно с посольством Советской России¹⁰.

Октябрьско-ноябрьские революционные события в Западной Европе вывели российских левых эсеров из состояния политического оцепенения. Воспользовавшись заметным ослаблением репрессий против них со стороны большевиков, они попытались развернуть довольно масштабную агитацию и пропаганду. В частности, в Москве, под редакцией А.Шрейдера и при «ближайшем участии» Иванова-Разумника, М.Спиридоновой и И.Штейнберга начал выходить журнал «Знамя». С конца 1918 в Вильно при участии Иванова-Разумника, Спиридоновой и Б.Д.Камкова издавалась ежедневная газета «Знамя Труда» — орган ЦК ПЛСР Литвы и Белоруссии. В московском издательстве «Революционный социализм» левые эсеры планировали выпустить книгу Блока «Катилина» и сборник статей Иванова-Разумника «Духовный максимализм». Однако последовавшие в феврале 1919 аресты левозерских активистов в Москве, Петрограде, Харькове, Вильно и других городах по обвинению в «антиправительственном заговоре» положили конец всем этим начинаниям.

В Москве за решетку попали Шрейдер и Штейнберг. В Петрограде кратковременному аресту подверглись беспартийные литераторы, связанные с левыми эсерами через Иванова-Разумника. Доставленный под конвоем из Петрограда в Москву идеолог «скифства» показал следователю ВЧК: «Идеология марксизма мне чужда. В политической жизни как левых, так и правых с[оциалистов]-р[еволюционеров] я не принимал участия. Я [и] мои друзья (Блок, А.Белый, Эрберг и др.) по своей идеологии, противоположной марксистской, примыкали к л[евым]с[оциалистам]-р[еволюционерам], хотя бы и не все сочувствовали их политической борьбе. /.../ Я в последнее время не могу предвидеть свою линию поведения по отношению к л[евым]с[оциалистам]-р[еволюционерам], так [как] 1) не знаю, насколько серьезны их выступления и 2) какова будет их работа впоследствии. Во всяком случае я буду проводить линию народнической идеологии, как это делал до сих пор в течение 15 лет, не принимая участия в той или другой политической борьбе»¹¹.

Публикуемые «вещественное доказательство» из следственного дела Иванова-Разумника (письмо М.А.Богданова) и тюремный опросный лист сокамерника Блока И.А.Шабалина — являются любопытными штри-

¹⁰ Знамя. 1920. №1(3). Стлб.42-43.

¹¹ Белоус В.Г. Иванов-Разумник в архивах ЧК—НКВД—КГБ // Сегодня. 1994. 14 января. С.9.

хами к реконструкции одного из важнейших переломных моментов в истории «скифства»¹².

Летом 1919 выпущенные из тюрьмы Шрейдер и Штейнберг возглавили так называемое «легалистское» крыло в ПЛСР, отказавшееся от вооруженной борьбы с большевиками. «Легалисты», составлявшие большинство в ЦК, добились принятия соответствующих тезисов¹³. Чекисты также изменили свою тактику по отношению к их течению. В циркулярном письме ВЧК от 1 июня 1920 предписывалось: «Штейнберговцы, отказавшись от борьбы с нами, заняли, так сказать, позицию "добрых соседей" коммунистической партии и только критически брюзжат над ее "ошибками". По существу, — "генералы без армии", чекисты без партии: сочувствующих им организаций на местах почти нет.

До поры до времени они нам поэтому неопасны; нельзя только выпускать их из виду, чтобы в нужный момент сразу парализовать возможность какого-нибудь нового дикого выступления с их стороны. Поэтому необходимо держать на виду всех освобожденных»¹⁴.

В апреле 1920 в Москве был возобновлен журнал «Знамя» под редакцией Иванова-Разумника, В.Е.Трутовского, О.Л.Чижикова и И.З.Штейнберга. Из числа бывших участников «скифской» группы в нем печатались А.Блок, Е.Лундберг, С.Есенин, Н.Клюев, А.Ширяевец. В журнале, помимо Иванова-Разумника, сотрудничали три других руководителя Вольной Философской Ассоциации — Вольфилы — («Скифской академии») — Андрей Белый, К.Эрберг и А.З.Штейнберг (младший брат И.Штейнберга, ученый секретарь Вольфилы).

Между тем, выехавший за границу для продолжения работы Заграничной делегации ПЛСР А.А.Шрейдер, по воспоминаниям Е.Г.Лундберга, «хотел инкогнито пробраться в Швейцарию, где хранились партийные деньги левых эсеров и где предполагалось завязать международные связи с подходящими по окраске социалистическими группировками»¹⁵. Встретившись в Варшаве с Лундбергом, Шрейдер предложил последнему возглавить вновь организуемое левозероуское издательство. В июле 1920 Лундберг приехал в Берлин. В сентябре издательство было создано. Видимо, по настоянию Шрейдера оно было названо «Скифы». Поставив своей задачей «ознакомление русского и иностранного читателя с Россией переходной эпохи в областях поэзии, литературной критики и политики»¹⁶, оно приступило к выпуску книг литераторов-«скифов» и левозероуских теоретиков.

В это время «легалисты», разойдясь с внутрипартийными группировками, возглавлявшимися М.А.Спиридоновой, Б.Д.Камковым и Д.А.Черепановым, призвали своих сторонников к воссозданию обнов-

¹² См. также: Иванова Е.В. Об аресте Александра Блока в 1919 году // Филологические науки. 1992. №4. С.108-112.

¹³ РЦХИДНИ. Ф.564. Оп.1. Д.22. Л.14.

¹⁴ ВЧК—ГПУ: Документы и материалы / Ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. М., 1995. С.101.

¹⁵ Лундберг Е. Записки писателя. 1920-1924. Т. II. [Л., 1930]. С.34.

¹⁶ Русская книга. (Берлин). 1921. №1. С.52.

ленной партии. В середине декабря 1920 они провели конференцию, на которой провозгласили учреждение партии левых эсеров объединенных (интернационалистов и синдикалистов). Аресты левоэсеровских активистов накануне и во время восстания кронштадтских моряков сорвали план проведения всероссийского съезда в марте 1921.

В дальнейшем история не оставила левому народничеству шансов на мирное сосуществование с большевиками. Однако в начале 20-х годов, в условиях переходного периода, такие иллюзии еще имели место. Какое-то время РКП(б) проводила в отношении своих недавних союзников политику «кнута и пряника». В течение 1920-1922 тиражом в несколько тысяч экземпляров выходил журнал «Знамя». Левые эсеры могли выступать на различных митингах, устраивать публичные вечера. В начале 1922 они провели трех депутатов на выборах в Моссовет. В Москве, Харькове, Чите, Твери предпринимались вполне конкретные шаги к созданию левонароднических издательств и к открытию книжных магазинов. В некоторых городах существовали партклубы левых эсеров. Петроградская организация левых эсеров насчитывала до 300 человек, плативших членские взносы. В Москве партийный клуб левых эсеров и максималистов просуществовал до 1924.

В то же самое время высшие и местные партийные и советские органы постоянно чинили препятствия для распространения влияния левого народничества. Сохранившийся в спецархивах «плановый» документ деятельности ВЧК за подписью начальника Секретного отдела Т.Самсонова дает четкое представление об отношении правящей партии к своим «мелкобуржуазным попутчикам»:

«В ответ на задания тов. Владимира Ильича от 21/IV-21 года Секретный отдел ВЧК предлагает следующий план работы ВЧК на время с 1-го мая 1921 года по январь—февраль 1922 года.

1) Опыт прошлых лет борьбы нашей с эсерами и другими партиями показал, что все свои активные выступления они приспособляют к осенним месяцам /.../

2) В зависимости от этого в начале августа нам придется провести массовые операции по правым и левым эсерам в государственном масштабе, чем и будет пресечена возможность активного выступления эсеров осенью /.../

10) Ввиду того, что эсеры группы Вольского—Бурового и группы Штейнберга—Камкова в последнее время по данным агентуры СО ВЧК проявляют усиленную активистскую работу против Соввласти, одновременно с этим прикрывают своей легальностью работу подпольных эсеров, ВЧК к концу лета, в первой половине августа, также придется произвести массовые операции, одновременно с тем временно закрыв их органы легальной печати»¹⁷.

В конце концов подобные «временные» мероприятия карательных органов стали регулярными.

¹⁷ Совершенно секретно. 1992. №5. С.4.

Публикуемое письмо Иванова-Разумника к И.З.Штейнбергу относится ко времени, когда группа «легалистов» выступила с инициативой воссоздания партии левых эсеров в новой форме.

Идентификация «скифа» Иванова-Разумника в качестве левого народника не вызывает каких-либо сомнений. Другое дело — Блок и Андрей Белый. По слову Белого, «скифы» и левые народники, оценивая Блока «в разных плоскостях», «с различных точек зрения», считали поэта «нашим», своим¹⁸. Левый эсер А.Шрейдер в рецензии на книгу Блока «Россия и интеллигенция», подписанной характерным псевдонимом «С.Разин», писал: «Нам близок Блок. В нем есть родное. Ведь Блок — народник. /.../ Ведь народничество — не принадлежность к какой-то партии, не социализация земли и "особый путь развития". Народничество — мироощущение. Народничество — миропонимание. Народник — особый психологический тип»¹⁹.

Андрей Белый имел иную точку зрения: он считал Блока «народным поэтом», что «не значит поэтом — народническим». «Когда я говорю — народный поэт, я разумею нечто большее, чем обычно влагается в эти слова, — говорил он. — Я разумею того, кто выражает не отдельный класс, не отдельные части, а целый народ»²⁰. Разница в приведенных высказываниях, по-видимому, заключается в смысловом наполнении термина «народник». Возможно, что Белый и Шрейдер примирились бы, согласовав свои определения со следующей формулой Иванова-Разумника: «Человеческая личность — с одной стороны, благо народа — с другой стороны, являлись с давних пор такими вечными ценностями для русской общественности, для русской литературы; громадное и мощное течение русской общественной мысли — народничество, от Герцена и до Михайловского — имело своим стержнем эту вечную ценность. И пусть погибло старое народничество, как временное и преходящее общественное учение: оно не может не возродиться в новых формах, углубляющих и расширяющих понимание вечной истины, лежащей в его основе»²¹. Исходя из такого понимания, «скифов» в некотором роде можно представлять «народниками». При этом следует иметь в виду, что термин «левое народничество» имел другой, конкретно исторический смысл. Поэтому он до конца не применим к литераторам-«скифам», за исключением Иванова-Разумника и С.Мстиславского. Но в то же время левые народники И.Штейнберг, А.Шрейдер, В.Бакрылов, Д.Пинес напрямую отождествляли себя со «скифством» и участвовали в «Скифской академии» — Вольфиле. Более того, позднее оппоненты И.З.Штейнберга в Совете Московского отделения Вольфилы — Я.И.Новомирский, М.И.Каган, Г.Г.Шпет — упрекали его на заседании Совета 22 октября 1921 (после вечера памяти

¹⁸ Речь Андрея Белого памяти Блока (1921 г.) / Публ. и коммент. С.С.Гречишкина и А.В.Лаврова // Литературное наследство. Т.92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн.4. М., 1987. С.762.

¹⁹ Знамя. 1919. №2. С.23.

²⁰ Речь Андрея Белого памяти Блока. Указ. изд. С.762.

²¹ Иванов-Разумник Р.В. Литература и общественность: Сб. ст. СПб., 1910. С.VII-VIII.

Блока, о котором рассказано ниже) в стремлении придать Вольфиле партийный характер. Отвечая им, Штейнберг сказал, что левые эсеры не считают ошибкой «соединение» партии с Вольфилой, и призвал членов Совета Московского отделения к сотрудничеству в «Знамени»²². А.А.Шрейдер во время беседы «Что есть Вольфила» заявил: «Партия есть наше воплощение нашей философии в жизни. Философ[ия] и жизнь есть одно [и то же] для нас»²³. В дальнейшем в деятельности Вольфилы в Москве стали принимать участие и другие видные левые народники, например, О.Л.Чижиков, Л.Р.Дунаевский, Я.В.Браун.

Публикуемые телеграмма Центрального оргбюро ПЛСР Иванову-Разумнику, письма И.З.Штейнберга к С.Д.Мстиславскому и А.А.Шрейдера к Андрею Белому проливают дополнительный свет на отношение левых народников к ведущим «скифским» поэтам. В машинописном бюллетене Центрального организационного бюро партии левых эсеров объединенных от 1 октября 1921 содержится информация об одном из вечеров памяти Блока, состоявшемся, скорее всего, в левозсеровском партклубе. Он был проведен Московским оргбюро левых эсеров совместно с обеими другими левонародническими группировками (максималистами и группой «Народ»). По сообщению партийного хроникера, «с речами, освещающими личность Блока, главным образом, с общественно-революционной стороны, выступили: Шрейдер, Штейнберг, Дунаевский, Есенин, Буревой, Вольский, Зунделович, Эльяшева, Михайловская»²⁴. По-видимому, как раз об этом вечере идет речь в публикуемом письме А.З.Штейнберга к Иванову-Разумнику.

28 августа 1921 в Петрограде с большим успехом прошло 83-е открытое заседание Вольфилы, посвященное памяти Блока. На нем была оглашена телеграмма, отправленная Центральным оргбюро левых эсеров на имя Иванова-Разумника в связи с кончиной поэта. Успех заседания в Петрограде побудил редколлегию журнала «Знамя» предпринять шаги по организации еще одного вечера памяти Блока.

Воспользовавшись приездом Иванова-Разумника и А.З.Штейнберга, москвичи решили учредить отделение Вольной Философской Ассоциации. 25 сентября 1921, в воскресенье, состоялось учредительное собрание московской Вольфилы. На следующий день под ее эгидой в большом зале Политехнического музея был устроен вечер памяти Блока.

Вышедший 15 марта 1922 неперIODический бюллетень Заграничной делегации ПЛСР «Знамя труда»²⁵ дал о нем следующую информацию: «Вечер носил название "Скифы о Блоке" и собрал большую аудиторию. Председательствовавший Андрей Белый во вступительной речи отметил, что для чествования памяти поэта объединились представители и русской литературы, и левого народничества и того мировоззрения, которое на-

²² РГАЛИ. Ф.306. Оп.8. Д.497. Л.9, 34.

²³ Там же. Л.10об.

²⁴ РЦХИДНИ. Ф.564. Оп.1. Д.13. Л.4.

²⁵ Его экземпляр обнаружен в Государственной общественно-политической библиотеке (бывшей библиотеке ИМЛ при ЦК КПСС). В других крупнейших библиотеках Москвы и Петербурга он отсутствует.

зывает себя "скифством". С речами далее выступили А.Белый ("Блок как поэт"), Мстиславский ("Блок и Скифы"), И.З.Штейнберг ("Драма Блока"), Иванов-Разумник ("Последние годы Блока"), А.З.Штейнберг ("Блок на Гороховой"). А.Шрейдер передал приветствие от заключенных в Бутырьках левых с.-р.»²⁶.

Сухой язык хроники, однако, не передает, что вечер в Политехническом музее прошел далеко не так гладко, как хотелось бы его организаторам. А.Штейнберг вспоминал, что в Москве «вольные философы» «натолкнулись на решительную, даже угрожающую оппозицию со стороны аудитории. Речи председательствовавшего Белого, Иванова-Разумника и мой рассказ о ночной беседе с Александром Александровичем Блоком в Чека произвели впечатление какого-то скандала. /.../ И если в Петербурге мы предполагали, что после собрания, посвященного памяти Блока, кое-кого из нас могут арестовать за выражение свободной мысли, то в Москве была настоящая угроза погрома — набросятся на нас с кулаками!»²⁷

Очень вероятно, что такая реакция аудитории на «скифский» вечер была подготовлена властями. Ведь именно на август и начало осени были запланированы чекистские мероприятия по пресечению деятельности эсеров. Следующей акцией была конфискация очередного номера журнала «Знамя», в котором были опубликованы в числе прочих материалов и статьи о Блоке. Этот номер вышел из печати 8 октября тиражом в 3 тысячи экземпляров. Через неделю МЧК наложила арест на журнал и провела обыск в партклубе левых эсеров. Мотивируя свои действия тем, что в журнале были напечатаны материалы, не прошедшие предварительную цензуру, московские чекисты сожгли 1500 конфискованных экземпляров²⁸.

Таким образом погибла значительная часть «блоковского» номера «Знамени». Наряду со статьями Андрея Белого и Иванова-Разумника в нем был помещен текст доклада И.З.Штейнберга на «скифском» вечере. Восприятие Блока в нем было дано сквозь призму типичного взгляда левых народников на судьбу социальной революции в России. Штейнберг писал:

В драме событий увидел он повторение вечной, ему, как творцу, ведомой драмы. Революция испытала горькую участь всякого творчества: *творение обмануло замысел*. В скорби воскликнул когда-то поэт: *мысль изреченная — ложь!* И такой же крик вырвался когда-то из груди Марата: *революция не удалась!* Блок также сказал себе: *не удалась*. И тоска придавила его душу. /.../

Левое народничество — отражение души трудящихся — вместе с революцией вновь пойдет по горячему, спаленному солнцем песку пустыни. Схоронив мрачную тоску своего поэта, левое на-

²⁶ Шрейдер имел свидание с заключенными в Бутырской тюрьме Б.Д.Камковым, В.Е.Трутовским и И.А.Майоровым.

²⁷ Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911-1928). Париж, 1991. С.96.

²⁸ Знамя труда (Берлин). 1922. 15 марта. С.14.

родничество сохранит с собой в пути его бодрую романтическую грусть, его творческую радость в революции. И когда революция придет к своей обетованной земле, оно гроб Александра Блока — певца и мученика революции — перенесет туда и поставит среди живущих новых поколений²⁹.

Тексты всех писем публикуются по подлинникам. Публикация письма Иванова-Разумника к И.З.Штейнбергу осуществлена совместно с Ж.Шероном. Текст поврежденного письма И.З.Штейнберга к Иванову-Разумнику реконструирован В.Г.Белоусом.

1

М.А.Спиридонова — Иванову-Разумнику

Дорогой и уважаемый Разумник Васильевич,
Я жду вторую неделю статей для редактирования¹, которые Вы обещали передать мне через Ирину Константиновну Каховскую². Не забудьте сегодня сие переслать мне.

С тов[арищеским] приветом

М.Спиридонова

ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. Ед.хр.328. Л.2

¹ Вероятней всего, это недатированное письмо относится к осени 1917. В это время Мария Александровна Спиридонова (1884-1941) редактировала «орган революционного социализма» — журнал «Наш Путь». С августа по декабрь вышли три номера журнала и в каждом из них напечатался Иванов-Разумник (см.: Р.В.Иванов-Разумник: Биобиблиография / Сост. Я.В.Леонтьев // Библиография. 1993. №3. С.64-73). 17(30) сентября 1917 под редакцией Иванова-Разумника, Б.Камкова, С.Мстиславского и Спиридоновой начала также выходить газета «Социалист-революционер» (издатель — редакционный коллектив журнала «Наш Путь» в лице М.Спиридоновой). Вместе с ней осенью того же года Иванов-Разумник входил в редколлегию органа Петроградского комитета ПСР — газеты «Знамя Труда». О каком именно из этих изданий идет речь в письме, не ясно.

² *Ирина Константиновна Каховская* (1888-1960) — эсерка, политкаторжанка, член ЦК ПЛСР (с апреля 1918), руководитель Боевой организации при ЦК, организатор покушения на командующего оккупационными войсками на Украине Г.Эйхгорна; мемуаристка. В конце 1917 заведовала (вместе с В.Володарским) агитационно-пропагандистским отделом ВЦИК.

²⁹ [Штейнберг] И.З. Драма Блока // Знамя. 1921. №10(12). С.5.

И.К.Каховская — Иванову-Разумнику

Товарищ, будете ли Вы принимать участие в вечере 6 Января¹? Если да, то что именно Вы будете говорить? Хотим напечатать программы. Очень жду статьи Вашей для Революционной Работницы². Надо бы к 30-му иметь уже весь материал. Хорошо бы: «Женский вопрос в буржуазной и социалистической постановке» или что-нибудь историческое³. М[ожет] б[ыть], какую-нибудь характеристику.

Оставьте записочку у Тим[офея] Гавр[иловича]. Что Вы будете говорить на вечере, если не откажетесь принять участие?

Каховская

ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. Ед.хр.281. Л.1.

¹ В январском номере (1918) журнала «Революционная работница» об этом вечере писалось: «6 января группой "Революционная Работница" устроен был в зале Тенишевского училища вечер, сбор с которого пошел в фонд журнала "Революционная Работница". Выступила с речью М.А.Спиридонова. Она объяснила необходимость отпуска Учред[ительного] Собрания, говорила о роли Советов в ходе нашей революции и призывала товарищей рабочих и работниц теснее сплотиться вокруг знамени Советской власти.

Хор завода Лесснера исполнил революционные песни и доставил большое наслаждение слушателям. Выступал поэт Сергей Есенин, прочитавший два своих стихотворения, исполнены были певцами тов. Булавым и Овчинниковым революционные и народные песни. Вечер прошел с большим подъемом, серьезностью и задумчивостью и дал сбор, который помог выйти в свет этому номеру "Революционная Работница"» (С.16).

² «Революционная работница» — двухнедельный журнал, издававшийся инициативной группой работниц ПЛСР. С января по апрель 1918 вышли 3 номера. К данной группе принадлежали И.К.Каховская, Е.А.Григорович, Д.Элькина и др.

³ Во 2-м номере журнала, вышедшем 17(4) февраля 1918, помещена статья «Женский вопрос с точки зрения буржуазной и пролетарской», подписанная «К.». (Каховская?). Статьи Иванова-Разумника в нем не было.

М.А.Спиридонова — Иванову-Разумнику

Дорогой и любимый товарищ Разумник Васильевич. Вам надо как можно скорее приезжать сюда и писать. У нас из рук вон плохо

Знамя Труда¹. Все им недовольны. Пожалуйста, скорее будьте в Москве². Мст[иславск]ий уезжает (его зовут [полки?] с юга) в Украину³, Камкова⁴ нет, газете грозит угасание. Я еще не самоопределилась, только насчет «восстания»⁵ оч[ень] укрепились и мужицкий разбой мне по душе.

Жму Вашу руку.

Ваша М.С.

ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 328. Л. 1.

¹ С марта 1918 орган ЦК ПЛСР — газета «Знамя Труда» выходила в Москве.

² Весной 1918 Иванов-Разумник был в Москве дважды — с 12 по 25 марта (очевидно, выехал в связи с проведением IV Чрезвычайного съезда Советов) и с 17 (начало работы II съезда ПЛСР) по 29(?) апреля. Ср.: Блок А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965. С.394, 397, 400, 403.

³ 7 марта 1918 приказом Высшего Военного Совета Советской республики был создан Штаб партизанских формирований и соединений, а Мстиславский назначен его комиссаром. С 8 по 30 апреля, по поручению ВВС, он находился на Украине.

⁴ Камков (наст. фамилия Кац) Борис Давидович (1885-1938) — эсер, теоретик левого народничества, член ЦК ПЛСР (с ноября 1917), председатель Президиума ЦК (с апреля 1918). Вместе с Ивановым-Разумником и Мстиславским входил в редколлегии газеты «Знамя Труда» и журнала «Наш Путь» (в апреле—мае 1918 вышло два номера). Во 2-й половине марта совместно с В.А.Карелиным и И.З.Штейнбергом выехал на Юг России для агитации против Брестского мира и укрепления влияния левых эсеров на Дону и Украине.

⁵ Первоначально М.Спиридонова была сторонницей Брестского мира и голосовала за его принятие. Вскоре, однако, она поменяла свою точку зрения. Под «восстанием» здесь имеется в виду повстанческое движение против германской оккупации. Ср. с брошюрой С.Мстиславского «Не война, но восстание» (М.: «Революционный социализм», 1918).

4

М.А.Богданов — Иванову-Разумнику

Уважаемый Разумник Васильевич!

Тов. Штейнберг¹ просил меня переговорить с Вами о некоторых вещах, которые ему нужны от Вас. Не имея возможности увидеть Вас лично, я передаю Вам письменно все, что просил т.Штейнберг. Он просил, чтобы с первой же оказией Вы прислали ему в Москву следующее:

Статьи Ваши для «Знамени»², статью «Марфа и Мария», рукопись «Духовный максимализм»³.

Материалы, оставленные Гол[убовск]им о днях 6-7 июля⁴.

Если Вы не будете иметь возможность переслать все эти вещи в Москву — Остоженка, 3 кв. 24⁵, то пришлите это с верным человеком или привезите сами на Васильевский остров, 11 линия, 48, кв. 42 с пометкой Москва — Штейнбергу. (Адрес ВО... — конспиративный).

Пересылайте это возможно скорее,
с товарищеским приветом

М. Богданов⁶

28.1.1919

Архив ФСК (СПб.). Дело П-53416. Т.2. Л.8-9.

¹ Имеется в виду И.З.Штейнберг.

² Первый номер еженедельного журнала политики, литературы и искусства «Знамя» вышел в январе 1919.

³ 19 февраля 1919 на допросе у следователя по особо важным делам, члена коллегии юридическо-следственного отдела ВЧК М.К.Романовского Иванов-Разумник ответил, что статья «Марфа и Мария» не была им написана, а сборник статей «Духовный максимализм» не был окончательно подготовлен к печати. Позже, в 1922 петербургское издательство «Эпоха» анонсировало два сборника статей Иванова-Разумника «Скифское. О духовном максимализме». Изданы они, однако, не были. Об использовании Ивановым-Разумником евангельских образов Марфы и Марии см.: Белоус В.Г. Испытание духовным максимализмом: О мировоззрении и судьбе Р.В.Иванова-Разумника // Литературное обозрение. 1993. №5. С.26, 36.

⁴ Голубовский Лазарь Борисович (1884?-1919?) — эсер, помощник присяжного поверенного, член ЦК ПЛСР (с апреля 1918), его казначей. 24 июня 1918 на заседании ЦК был избран в бюро, которому был поручен «учет и распределение всех партийных сил» для осуществления «ряда террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма» (Красная книга ВЧК. Т.1. М., 1989. С.185). Входил в «пятерку», наделенную «диктаторскими полномочиями» над партией, созданную 4 июля. 6 июля был послан вместе со Спиридоновой для оглашения перед делегатами V Всероссийского съезда Советов декларации ЦК ПЛСР об убийстве В.Мирбаха. После провала левозсеровского выступления — на нелегальном положении. В октябре 1918 находился в Петрограде (Штейнберг А.З. Друзья моих ранних лет. 1911-1928. Париж, 1991. С.135). В то же время известно, что в окрестностях Петрограда (Гатчина, Царское Село и др.) незадолго до того скрывался левозсеровский боевик Я.Г.Блюмкин. Последний занимался «исключительно литературной работой, собиранием материала об июльских событиях и пи-

санием о них книги» (Красная книга ВЧК. Т.1. Указ. изд. С.302). Фигурой этого «романтика революции» (выражение В.Шершеневича) интересовались тогда в литературных кругах. Так, 20 октября 1918 А.Блок зафиксировал в записной книжке о встрече с О.Мандельштамом: «Интересен рассказ об убийце Мирбаха» (Блок А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965. С.432). Не исключено, что речь в письме шла о материалах, подготовленных совместно Блюмкиным и Голубовским.

⁵ По этому адресу помещался Центральный Комитет ПЛСР.

⁶ Михаил *Богданов* — эсер с 1916, мичман флота, член Петроградского комитета ПЛСР с 1918; непродолжительное время служил в ВЧК. 6 июля был арестован в числе левых эсеров — делегатов V съезда Советов; после освобождения был направлен для организации повстанческого движения и восстановления партийных организаций в Белоруссии; в 1919 — член Поволжского областного комитета ПЛСР; в 1920 был арестован за убийство провокатора Петрова, оказал вооруженное сопротивление; в сентябре того же года оправдан по суду Московского ревтрибунала; после того как ВЧК добились пересмотра дела, осужден на 8 лет заключения; в августе 1921 совершил побег из Таганской тюрьмы вместе с группой левых эсеров; выехал на Урал для восстановления связей местных организаций с руководством ПЛСР; в 1922 руководил подпольной работой левых эсеров в Петрограде, наладил контакты с анархистской группой «Безвластие»; в ночь с 31 декабря 1922 на 1 января 1923 г. был арестован по обвинению в организации партийной конференции; после вынесения приговора о заключении в Пертоминский концлагерь он и его товарищи объявили бессрочную голодовку и добились замены приговора на ссылку в Енисейскую губернию; отбывая ссылку, пытался наладить подпольную деятельность в Красноярске и Минусинске; по сведениям органа Заграничной делегации ПЛСР, умер в ссылке (Знамя Борьбы. 1925. №9/10. С.18, 19).

5

А.А.Шрейдер — Иванову-Разумнику

«В борьбе обретишь ты право свое!»¹

Издательство

«Революционный социализм»²

Москва, гост. «Дрезден»

комн. № 202

телеф. № 4-90-01

Уважаемый Разумник Васильевич!

Я уже писал Вам, что сейчас есть возможность издать (и нынешнему очень хорошо) Вашу большую книгу: «Революция мысли и совести»³, так, кажется, она называется? Жду ее с нетерпением.

Можно (художественно — по-нынешнему, разумеется —) издать А.Блока.

Когда-то Вы приедете? У нас понемногу налаживается, но без Вас нехорошо.

Уважающий Вас А.Шрейдер

Января 31 дня 1919 г.

ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. Ед.хр.235. Л.2.

¹ Девиз на бланке издательства.

² «*Революционный социализм*» — партийное издательство левых эсеров при ЦК ПЛСР. Активно функционировало в первой половине 1918, выпустило более 30 наименований книг и брошюр, включая поэму А.Блока «Двенадцать» и сборник стихов С.Есенина «Голубень». Плановая работа издательства была нарушена событиями 6-7 июля 1918, но несколько изданий под его книжной маркой было напечатано и во втором полугодии. В конце 1918 — начале 1919 издательством руководил А.А.Шрейдер. Позднее оно было реорганизовано в издательство «Наш путь».

² Очевидно, речь идет о первой версии написанной, но неизданной книги Иванова-Разумника «Антроподицея» (другое название — «Оправдание человека»).

6

Опросный лист Московского Политического
Красного Креста

Москва, 30 Декабря дня 1919 г.

- | | |
|--|---|
| 1. Фамилия
имя, отчество | Шабалин
Иван Андреевич ¹ |
| 2. Где содержится (тюрьма, кор., кам.; лагерь; Ч.К. и т.д.). | Бутырская тюрьма, кор[идор]
№6, кам[ера] 51 (Околодок) |
| 3. Возраст, национальность, подданство | 30 лет |
| /.../ | |
| 5. Не болен ли и чем? | У Полит[ического] Кр[асного]
Кр[еста] имеется медицинское
свидет[ельство] |
| /.../ | |
| 7. Грамотен или нет, где учился и кончил курс | Грамотен |
| /.../ | |

- | | |
|--|--|
| 11. Чем занимался с марта до ноября 1917 г. | Был чл[еном] Ц.И.К. Всерос[сийского] Сов[ета] Кр[естьянских] Д[епутатов] и редактором морского журнала «Шторм» |
| 12. Чем занимался перед арестом? | Литературным трудом и собирал исторический материал по истории революц[ионного] движения во флоте |
| /.../ | |
| 15. Партийность до октября 1917 г. (ответ по желанию) | С 1910 г. чл[ен] партии соц[иалистов]-рев[олюционеров], в 1917 г. во время раскола партии перешел в партию лев[ых] с.-р. (интернац[ионалистов]) |
| 16. Привлекался ли когда-нибудь раньше по политическим делам, когда, в чем обвинялся, чем окончились те дела | В 1912 г. был арестован за подготовку вооружен[ного] восстания во флоте. Был вынесен временным Воен[но]-Морск[им] Судом приговор — 14 лет каторжных работ. Сидел в одиноч[ном] заключении [в] Петропавловской крепости и «Крестах» около 2 лет |
| 17. Когда арестован по настоящему делу | 15 февраля 1919 г. |
| 18. Где арестован | В Петербурге |
| 19. Когда доставлен в Москву | 2 Апреля 1919 г. |
| 20. По ордеру какого учреждения арестован | Петербур[гской] Обл[астной] Ч.К. |
| 21. Повод к аресту | Как чл[ен] партии левых с.-р. (интернац[ионалистов]) |
| 22. Кто еще арестован по этому делу | Тысячи товарищей |
| 23. За кем числится | За В.Ч.К. |
| 24. Когда, где и кем допрошен | В Петербурге, в день ареста |

ГАРФ. Ф.8419. Оп.1. Д.273. Л.99.

¹ Шабалин Иван Андреевич (1899-?) — автор нескольких брошюр и ряда статей на историко-революционные темы; из крестьян Вятской гу-

бернии, эсер; до ареста в апреле 1912 служил кочегаром 1-й статьи на броненосце «Рюрик»; отбывал каторгу в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях; в 1917 — член Всероссийского Совета крестьянских депутатов 1-го созыва, редактор журнала матросского клуба «Объединение» в Ревеле («Шторм»); в 1918 — лидер фракции левых эсеров в Котельническом уездном Совете, редактор местной левозсеровской газеты «Земля и труд»; во время ареста в Петрограде в 1919 сидел в одной камере с А.А.Блоком; позже сидел вместе с историком С.П.Мельгуновым в Бутырской тюрьме в Москве; в апреле 1921, после избиения, вывезен в Орловский централ, откуда бежал; в марте 1922 арестован на конспиративной квартире в Петрограде, при аресте был подвергнут жестокому избиению; по дороге в Москву бежал, выпрыгнув на ходу из поезда; продолжал участвовать в подпольной работе, был арестован в ночь с 31 декабря 1922 на 1 января 1923 вместе с группой петроградских левых эсеров (М.А.Богданов и др) и сослан в Красноярскую губернию; позже был в ссылке в Туруханском крае. Дальнейшая судьба неизвестна.

А.З.Штейнберг, рассказывая об аресте Блока, несколько раз упомянул о Шабалине, обозначив его буквой «Ш». (Ср.: «Матрос Ш. сам был немало литератор, он подробно изучал историю революционного движения среди моряков и даже кое-какие результаты своих исследований успел напечатать» — Памяти Александра Блока / А.Белый, Р.Иванов-Разумник, А.З.Штейнберг. Указ. изд. С.42). Об этом аресте Шабалин оставил воспоминания. В них он, в частности, писал: «Привели поэта А.А.Блока, арестованного, как левого эсера. Первое, что он спросил у нас — о судьбе Иванова-Разумника, который тоже был как левый эсер арестован и, как мы впоследствии узнали, уже отправлен в Москву» (Кремль за решеткой: Подпольная Россия. Берлин: «Скифы», 1922. С.151). Также по материалам Политического Красного Креста устанавливается имя другого левого эсера — сокамерника А.А.Блока и А.З.Штейнберга. Это был И.Ф.Давыдов — 37-летний рабочий, бывший гласный Петроградской городской думы и депутат Петросовета. Впоследствии стал одним из руководителей Петроградского организационного бюро ПЛСР объединенных («штейнберговцев») и был вновь избран в Петросовет.

7

Иванов-Разумник — И.З.Штейнбергу

14-XI-1920
СПб.

Дорогие товарищи¹,
давно хотел писать Вам в связи с делами «Знамени», а теперь пользуюсь okazji, чтобы написать и об этих делах, и об иных. Я прочел в московских «Известиях» Ваше послание от 16/XI² — и вот что о нем думаю: оно — на потребу некоего Tertii

gaudentis*. Ибо от него идут два пути: один — к слиянию с коммунистами, как это было с группой «революционного коммунизма»³ и многими иными; другой, противоположный — в подполье⁴. Третьего — нет, так как надежды на возможность «реальной работы» с сохранением своего лица — наивность, слишком часто уже опровергавшаяся за последние два года. Тот, кто жаждет «практической», «реальной» работы — должен идти в коммунисты, в III-й Интернационал. Но для меня при нынешних условиях «практическая работа» (государственная работа) и левое эсерство — *contradictio in adjecto***; для меня «левое народничество» — жизненное *идеологическое* зерно, и быть может, тем оно сильнее идеологически, чем слабее политически. Попытка политического компромисса, обреченная заранее на бесплодие, может только отрицательно сказаться на том «Знамени», которое до сих пор продолжают держать левые эсеры.

Не спорю, что все это неприемлемо для практического политика, два года оторванного от «реального» дела; не спорю, что кабинет не заменит трибуны, исполкома, Совета. Но думаю, что «идея» часто реальнее «дела». Вот почему не огорчился я политическим бессилием партии левых эсеров, а огорчаюсь теперь, когда открывается кажущийся путь для практического делания. Но путь этот, как я уже сказал — неизбежно разветвляется на два диаметрально противоположных. И не проще ли было бы сразу — одним пойти рука об руку с коммунистами, а другим — рука об руку против них⁵?

Сам я ни в политической работе не участвую и не участвовал «реально», ни в подполье не работаю, и, быть может, именно мне со стороны виднее. Может быть, и ошибаюсь очень, но во всяком случае хотелось сказать всем Вам то, что думаю.

Теперь о «Знамени». Из всего сказанного ясно, что если «Знамя» теперь есть дело Ц.О.Б'а⁶, то, не разделяя взглядов последнего, не могу стоять в заголовке и первого. Если же тактический разрыв не сопровождался программным, и «Знамя» по-прежнему является органом и большинства и меньшинства⁷ (что крайне трудно допустить, но, быть может, и возможно), то и мое участие остается прежним. Но и в том, и в другом случае — посылаю с этой okazji кое-что для литературного отдела, особенно стихотворения Клюева⁸, выберете, что подойдет. Статья Блока⁹ тоже идет с этим пакетом; скоро пришлю материал о Л.Толстом¹⁰ (10-летие со дня его смерти). Сегодня же посылаю и «Землю и Железо»¹¹ для *второго* сборника (Который из них Вы печатаете?

* Третьего радующегося (лат.).

** Противоречие в определении (лат.).

Первый — *Моховое болото*. Второй — *Испытание огнем*. Третий — *Две России*. Нарочно повторяю заглавия — они были ошибочно напечатаны в «Знамени»¹².

Хорошо бы повидаться, но мало надежд выбраться. Если черкнете мне подробнее — буду очень рад; хорошо бы услышать и *primam* и *altaram partem**. А я, как видите из этого письма, — *Tertia pars***.

Всем товарищеский привет.

Разумник Иванов

Еврейский научно-исследовательский институт (YIVO), Нью-Йорк.

¹ Иванов-Разумник обращался не персонально к Штейнбергу, а адресовал свое письмо редколлегии журнала «Знамя».

² Речь идет об обращении «Ко всем членам партии левых с.-р.», написанном группой членов ЦК ПЛСР 16 октября 1920. Обращение было напечатано в «Известиях» 26 октября, затем перепечатано в №5(7) журнала «Знамя». В нем объявлялось о созыве всероссийского партийного совещания с целью реорганизации партии. Основной задачей момента авторы обращения провозглашали «задачу отражения вооруженной контрреволюции».

³ Партия революционного коммунизма была образована в сентябре 1918 группой левых эсеров, выступавших за дальнейшее сотрудничество с РКП(б) и осудивших действия ЦК ПЛСР 6-7 июля. Уже осенью того же года несколько руководящих членов ПРК перешли в большевистскую партию. В программе ПРК, принятой 4-м съездом в октябре 1919, и в открытом письме ЦК РКП(б) говорилось, что «революционные коммунисты» будут отстаивать единый фронт и содействовать укреплению Советской власти, но сохранят народническую идеологию. 6-й съезд ПРК на основе решения 2-го конгресса Коминтерна о недопустимости в одной стране нескольких компартий заявил о слиянии с РКП(б). 24 ноября 1918 орган ЦК ПРК — газета «Воля Труда» объявила о введении нового отдела «Искусство» (в числе его сотрудников были названы имена Андрея Белого, С.Есенина, Рюрика Ивнева, В.Каменского и других московских литераторов).

⁴ Лезозеровское подполье было представлено группой Д.Черепанова, организовавшего совместно с «анархистами подполья» Всероссийский штаб революционных партизан, и «Комитетом Центральной области» — группировкой, возглавлявшейся М.Спиридоновой.

⁵ Иванов-Разумник оказался прав: уже 4 декабря 1920 бывший член ЦК ПЛСР Я.М.Фишман — один из авторов обращения от 16 октября — опубликовал в «Известиях» письмо о выходе из партии левых эсеров («над созданием которой я работал с самого ее основания») для того,

* И первую, и вторую части (*лат.*).

** Третья часть (*лат.*).

чтобы «продолжать работу в рядах партии, символизирующей теперь революцию». Фишман проделал успешную карьеру, став начальником Военно-химического управления РККА. Для сравнения — Д.А.Черепанов на допросе в ВЧК 17 февраля 1920 заявил: «Хотя ЦК партии левых эсеров и исключил меня и всю московскую организацию из партии, но я считаю, что он неправомочен был это сделать /.../ Что касается Штейнберга, Шрейдера и иже с ними — я на них смотрю, как на предателей и подлецов» (Красная книга ВЧК. Т.1. М., 1989. С.400).

⁶ В момент написания письма в Центральное организационное бюро левых эсеров входили И.Ю.Баккал, С.Ф.Рыбин, Я.М.Фишман, О.Л.Чижиков и И.З.Штейнберг.

⁷ Большинство в ЦК ПЛСР составляли «легалисты», меньшинство было представлено непримиримыми «активистами». Первые три номера (№3/4 — сдвоенный) «Знамени» за 1920 вышли с подзаголовком: «орган левых социалистов-революционеров (интернационалистов)». Последующие — «издание Ц.О.Б. партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов)».

⁸ В №6(8) за 1920 были напечатаны стихотворения Н.Клюева «Братья, мы забыли подснежник...» и «Женилось солнце, женилось...».

⁹ Доклад А.Блока «Крушение гуманизма», ранее прочитанный автором в Вольфиле, был напечатан в №7(9) и 8(10) за 1921.

¹⁰ Материал к 10-летию со дня смерти Л.Н.Толстого Иванов-Разумник поместил не в «Знамени», а в ноябрьском номере журнала «Книга и революция». В №6(8) «Знамени» была напечатана статья Андрея Белого «Учитель сознания. (Лев Толстой)».

¹¹ Имеется в виду статья Иванова-Разумника «Земля и Железо», посвященная творчеству М.Горького и Н.Клюева, опубликованная в №79 газеты «Русские ведомости» 6 апреля 1916.

¹² В левозероверском издательстве «Революционный социализм» были анонсированы сборники статей Иванова-Разумника под общим заглавием «Скифское (О духовном максимализме)»: 1. «Моховое болото» (статья 1912-1914); 2. «Иго войны» (статьи 1914-1917); 3. «Испытание огнем» (статьи 1917-1920). В журнале «Знамя» анонс печатался дважды: в №1(3) и №3/4(5/6) за 1920.

8

И.З.Штейнберг — С.Д.Мстиславскому

Москва 14/VIII 21

Уважаемый Сергей Дмитриевич!

Никак не удастся мне повидаться с Вами, а поговорить — надо. Сейчас к Вам просьба: принять участие или, лучше сказать,

возглавить устраиваемый левым народничеством вечер памяти Блока. Это — крайне важно. Сообщите скоро В[аш] ответ. Для «Знамени» надо бы тоже Блоку посвятить особое место¹.

Видели ли В[ы] уже наше заграничное, русское и немецкое издание «Знамени». Жму руку.

И.Штейнберг

РГАЛИ. Ф.306. Оп.8. Ед.хр.470. Л.1.

¹ В №10(12) за 1921, конфискованном МЧК, были помещены редакционная статья «Александр Александрович Блок. (1880-1921)», статьи: Иванова-Разумника — «Блок и революция»; Андрея Белого — «Муза Блока»; И.З.[Штейнберга] — «Драма Блока». Кроме того, в нем были напечатаны извещение о причинах смерти Блока и телеграмма Центрального организационного бюро (ЦОБ) Иванову-Разумнику по поводу кончины поэта. В машинописном бюллетене ЦОБ ПЛСР от 1 апреля 1922 сообщалось, что из №11(13) цензоры вычеркнули статью Иванова-Разумника «О Блоке», напечатанную перед тем в сборнике петроградской Вольфилы (РЦХИДНИ. Ф.564. Оп.1. Д.13. Л.47). Приводим текст телеграммы ЦОБ (по экземпляру журнального номера, сохранившемуся в Государственной общественно-политической библиотеке):

Петроград, Вольная Философская Ассоциация
Иванову-Разумнику

Партия левых социалистов-революционеров выражает свою скорбь по поводу кончины Александра Блока, в двенадцатый час революции поэтическим словом своим давшего ей силу и блеск. Партия гордится, что поэт-революционер навсегда связал свою бессмертную судьбу с исканиями и страданиями левого народничества за освобождение человеческого духа.

Ц.О.Б. п.л.с.р. об.

9

И.З.Штейнберг — Иванову-Разумнику¹

Москва 29.VIII 1921

Дорогой Разумник Васильевич,

/.../ Несмотря на слабую подготовленность /собрание было серьезное и законченное. Были люди, которые всерьез приняли слова плаката из XII² «вся власть Уч[редительному] Соб[ранию]», был Есенин, который среди своих /.../, были две речи о музыкальном³ /.../. Но мы не можем этим ограничиться. Блок не /должен быть/ чтим в тесной церкви верующих; он должен быть /.../ связан с левым народничеством *навсегда*. Это при н/ынешних усл/о-

виях возможно лишь путем устройства в Москве больш/ого публичного/ вечера, посвященного памяти А[лександра] А[лекса́ндровича]. Здесь у нас /будет.../ явленная интерпретация его творений и ряд /.../ люди были и ЦК. Именно ЦК. Тогда будет созда/вать/ся полная/ непрерывность его поэта, революционера и творца. Противопоставление *двух* миров социальной революции в связи с творчеством Блока тоже лучше всего здесь, здесь где оба /течения/ ежедневно сталкиваются идеологически и вся/чески. Поэтому/ мы все просим В[ас], *не откладывая*, (пока боль по /утрате не утихла/ и у зрителей революции) *приехать* сюда. И мы /тогда/ вечер-исповедание устроим. Мы бы, конечно, хотели иметь Борис[а] Никол[аевича]⁴. Но боимся, что это не выйдет. Вы /же, не мешкая,/ приезжайте сюда. И немедля сообщите нам сюда об этом, чтобы начать приготовления. Но и помимо этого, пребывание Шрейдера здесь, и ряд других *очень* важных дел, требует В[ашего] приезда.

Надеюсь, что Вы сразу выберетесь, и покажете, что дух Вольфилы не знает географических границ.

Горячий п[артийный] привет.

Ваш И.Штейнберг

ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. Ед.хр.348. Л.1.

[Прписка А.А.Шрейдера]

Дорогой Разумник Васильевич, привезите какие-либо новые материалы о Блоке — и для Берлина и для Москвы. Квартира (совсем отдельная и хорошая комната), стол и все прочее Вам уже здесь устроено — устроил Есенин. Он ждет Вас с нетерпением.

ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. Ед.хр.348. Л.1-1об.

¹ Автограф сохранился в дефектном виде. В косые скобки заключен реконструируемый текст; знаком /.../ обозначен не поддающийся восстановлению текст; в квадратных скобках раскрыты авторские сокращения; пунктуация сохранена авторская.

² Имеется в виду поэма «Двенадцать».

³ «Музыкальное» — здесь: революционное.

⁴ Имеется в виду Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). 6 сентября 1921 он выехал в Москву.

А.А.Шрейдер — Андрею Белому

Москва 1-го сент[ября] 1921

Глубокоуважаемый Борис Николаевич,

Очень благодарен Вам за большое и подробное письмо¹. Конечно, обо всех частностях легко будет сговориться. Необходимо повидаться. Эта необходимость чувствуется тем острее теперь, что после того как удалось выхлопотать Вам право на выезд за границу, реально встает вопрос об организации «Скифской Академии» в Берлине и вообще об организации там нашего литературного центра².

Я хочу верить, что удастся выхлопотать право поездки за границу месяца на 2-3 и для К.Эрберга и для Аар[она] Зах[аровича] и Раз[умника] Вас[ильевича]³. Если бы это осуществилось — у нас в Берлине литературная деятельность была бы крайне оживлена и журнал наш и издательство заработали бы на славу, тем более, что как раз сегодня удалось почти совершенно обеспечить покупку наших изданий государством.

Всем нам перед Вашим отъездом необходимо было бы повидаться и поговорить сообща.

Но быть может правильнее было бы, чтобы Вы приехали сюда. Аар[она] Зах[аровича] и Раз[умника] Вас[ильевича] вызывает «Знамя» для организации большого чествования А.Блока. Вам, конечно, — понимаю это — хотелось бы поскорее уехать, — но, пожалуй, из Москвы — это столь же легко или даже еще легче, чем из Питера. А Ваше участие на вечере памяти Блока было бы всем нам крайне желательно (и даже необходимо в особенности в связи с Вашим отъездом)*.

Поэтому очень прошу Вас обсудить совместно с Раз[умником] Вас[ильевичем] и Аар[оном] Зах[аровичем] вопрос о поездке в Москву и приехать сюда поскорее втроем. Здесь все и обсудим. Разумеется, если бы Вы никак не могли приехать в Москву, я бы приехал в Питер — но здесь еще очень много дел и главное, не хочется уезжать, не получив ответа об отъезде Р[азумника] В[асильевича] и К.Эрб[ерга].

Все ждем Вас. Глубоко уважающий Вас

А.Шрейдер

РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.294. Л.1,2.

* Расчеты по поездке берет на себя, разумеется, «Знамя» — они окупятся во много раз большим сбором, который, конечно, будет тем более, чем больше будет участников. — Прим. А.А.Шрейдера.

¹ Местонахождение этого письма Белого, также как и других бумаг из архива А.А.Шрейдера, неизвестно.

² Андрей Белый выехал из Москвы в Берлин 20 октября 1921. По сообщению Е.Г.Лундберга, помощь в получении немецкой визы оказала ему секретарь издательства «Скифы» Е.Д.Зайцева (Лундберг Е. Записки писателя. 1920-1924. Т.II. [Л., 1930.] С.190). 5 декабря в берлинском кафе Ландграф состоялось организационное заседание учредителей Вольной Философской Ассоциации. Председателем Совета берлинского отделения Вольфилы был избран Андрей Белый, товарищами председателя — проф. Ф.А.Браун и Н.М.Минский, секретарем — А.А.Шрейдер. Ранее, 29 ноября в Берлине состоялось организационное собрание по вопросу о создании «Дома искусств». В его Совет вошли Н.Минский, А.М.Ремизов, Андрей Белый, С.Г.Каплун-Сумской, З.А.Венгерова и др.

³ В конце июня 1921 Шрейдер обратился по телеграфу к Ленину и Чичерину с просьбой разрешить ему въехать в Россию для отчета перед центральным органом левых эсеров, который он представлял за рубежом. Получив положительный ответ и советский паспорт, 10 августа он выехал из Берлина. Когда осенью того же года Шрейдер подал заявление о выдаче ему загранпаспорта, в Наркоминделе ему стали чинить препятствия в получении паспорта. После того как он обратился с протестом в ЦК РКП(б), ему пообещали оформить надлежащие документы через неделю. Однако до истечения названного срока агенты ВЧК явились на квартиру к Штейнбергу для ареста Шрейдера и оставили в ней засаду. Тогда Шрейдер выехал за границу нелегально (см.: Знамя Труда: Непериодический бюллетень Заграничной делегации ПЛСР (интернационалистов) / Под ред. А.Шрейдера. (Берлин). 1922. 15 марта. С.19). Таким образом, никакой протекции в получении разрешения для выезда за границу для упомянутых в письме Иванова-Разумника, К.Эрберга и А.З.Штейнберга он оказать не мог. Впоследствии Шрейдер, а также И.З.Штейнберг, выехавший в Берлин в 1922, были лишены советского гражданства.

И. Ямпольский
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот...
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

А. Блок

Блести, звезда моя, из дали!
В пути года, как версты, стали:
По ним, как некий пилигрим,
Бреду перед собой самим...

Андрей Белый

Цветут в моей душе воспоминанья,
И дорожить я ими не отвык.

А. Фет

Память — штука коварная и часто ненадежна. Но восполнять ее пробелы домыслами, выдавая их за факты, безнравственно. Постараюсь избежать этого соблазна.

В сборнике «Контекст. 1981» были напечатаны извлечения из дневников Бориса Михайловича Эйхенбаума, касающиеся его работы над Толстым. Весною 1928 года, обдумывая общий замысел обширной монографии о Льве Толстом, мысленно сопоставляя его с первой книгой «Молодой Толстой», Борис Михайлович, между прочим, записал: «Только трудно как-то при таком характере книги говорить о самих вещах, как говорил раньше /.../. Теперь очень важно говорить об источниках и пр. — отвлеченно о построении и пр. совсем невозможно и ненужно. Нужно очень все время вскрывать какие-то скрытые, боковые материалы и смыслы». И вслед за этим: «Вот еще очень неясно мне, как быть с семантикой (то, о чем я говорил как-то с Ямпольским) и с "гене-

* Автор этих воспоминаний профессор Ленинградского университета Исаак Григорьевич Ямпольский (1902-1992), один из крупнейших и авторитетнейших исследователей русской литературы второй половины XIX века (см.: Библиография трудов И.Г. Ямпольского / Сост. В.Н. Сажин. Вступ. статья И.В. Столяровой и Н.М. Герасимовой. СПб., 1991), предоставил нам их текст за несколько недель до своей кончины, последовавшей 17 июля 1992. — *Сост.*

рализацией“»¹. Мучительно пытался вспомнить, о чем именно мы говорили, но, кроме самых общих соображений, ничего в голову не приходит.

Б.М.Эйхенбаум²

Я впервые встретился с Борисом Михайловичем осенью 1923 года, когда приехал в Петроград с целью перевестись из Киевского в здешний университет. Дело налаживалось, но в последний момент я струсил — убоился чужого города. Впоследствии я сожалел о своей нерешительности: за два года, прошедших до следующего моего приезда, мог бы много полезного узнать и многому научиться.

Борис Михайлович был еще совсем молод. Ему было всего 37 лет; носил он бородку; был во всех проявлениях изящен, что, впрочем, сохранил на всю жизнь. Жил он на Знаменской улице (ул. Восстания), в квартире, если не ошибаюсь, А.Я.Гуревич, сестры известного литературного и театрального критика Любови Гуревич, тетушки Ираклия Андроникова. Я просидел у Бориса Михайловича довольно долго, наверно, утомил его и, во всяком случае, отнял немало времени, что он, по своей деликатности, даже намеком не показал.

Говорили мы о разном — о формальном методе, о Льве Толстом, о Лескове. Помню, я расспрашивал о каких-то не вполне ясных мне тогда местах в «Молодом Толстом». По поводу Лескова, которым тогда пристально интересовался Борис Михайлович, я обещал навести какие-то справки в Киеве, и, кажется, сделал это или пытался сделать.

Когда Борис Михайлович умер, я обнаружил в его архиве свое письмо к нему из Киева. Взял его в руки с трепетом — не слишком ли оно глупое и детское, но, прочитав, ничего такого, к моей радости, не нашел.

Ушел я от Бориса Михайловича совершенно очарованный. Да и все знакомства этого месяца (В.М.Жирмунский, Б.В.Томашевский, Ю.Н.Тынянов и др) подняли мой дух, и я с воодушевлением рассказывал о них в Киеве своим приятелям и знакомым.

Я снова встретился с Борисом Михайловичем в 1925 году, когда все-таки перевелся на последний курс филологического факультета (тогда он назывался факультетом языка и материальной культуры) и переехал в Ленинград. Помню одно из первых наших

¹ Контекст. 1981. М., 1982. С.268. Здесь и далее — прим. автора.

² Слово, произнесенное на вечере памяти Б.М.Эйхенбаума в Ленинградском отделении Союза писателей 30 ноября 1984 года.

свиданий. Я советовался с ним — с чего начать, чем заниматься. Уже тогда в сознании обозначилась эпоха, которая все больше привлекала, — середина 19-го века, 50-60-е годы. Подумав, Борис Михайлович сказал: «Знаете что? Пока не определилась конкретная тема Вашей ближайшей работы, читайте журналы, входите в атмосферу того времени». Я так и поступил — погрузился в чтение журналов (до сих пор у меня сохранилось много выписок) и впоследствии не раз мысленно благодарил Б.М. за этот совет. Я скоро понял, что читать, скажем, «Дворянское гнездо» или автобиографическую трилогию Толстого в собраниях сочинений или на страницах журналов, в окружении повестей и рассказов, статей, фельетонов и рецензий других авторов, в контексте острых споров и полемических столкновений — это разные вещи, во всяком случае, разные для историка литературы. Через много лет я и сам стал советовать то же молодым людям, своим ученикам.

Я слушал специальный курс Бориса Михайловича «Проблема повествования в русской прозе первой половины XIX века» (конспекты пропали во время войны) и участвовал в его Толстовском семинаре. Семинар был многлюдный и шумный; иногда возникали задиристые споры. В семинаре я занимался двумя темами: «Толстой и Н.Н.Страхов» и «Толстой о Пушкине»; вторая каким-то образом родилась из первой. Отношение молодого Толстого к Пушкину меня очень заинтриговало. Дневники Толстого еще не были полностью опубликованы — и Борис Михайлович познакомил меня со своими выписками.

Кстати сказать, я скоро после этого был в Москве в Толстовском музее у Н.Н.Гусева с письмом Бориса Михайловича, надеясь найти что-нибудь еще. На мой вопрос Гусев ответил, что ничего интересного нет, только какие-то неуважительные слова о Пушкине. По-видимому, он имел в виду то, что мне было уже известно: «повести Пушкина голы как-то». Меня прямо-таки потряс его ответ, его «логика»: раз неуважительные — значит, неинтересные. По своей элементарности это напоминает позднейшее «изречение» того же Гусева. Ведь это он по поводу признания Толстого, что на него оказали большое влияние Стерн и Тёпфер, заявил: «Трудно согласиться с этим замечанием автора "Детства"»³. Это был своеобразный отклик на кампанию борьбы с низкопоклонством перед Западом.

Каким был мой доклад в семинаре (я его в следующем году повторил в Киевском историко-литературном обществе при уни-

³ Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы для биографии с 1829 по 1855 год. М., 1954. С.347.

верситете) — я не помню, — кажется, довольно сумбурным, — но было в нем, по-видимому, что-то небезынтересное, потому что весной 1926 года Борис Михайлович (одновременно с Г.Е.Горбачевым) дал мне и в тот же день В.А.Гофману рекомендацию в аспирантуру.

Вместе со мною в аспирантуре (на разных курсах) состояли Г.А.Гуковский, П.Н.Берков, М.К.Клеман, Д.П.Якубович, Н.Л.Степанов, В.А.Гофман, Н.Я.Берковский, К.Н.Державин, С.С.Советов и другие, оставившие заметный след в историко-литературной науке. Аспирантура была еще в зачатке и не имела строгих организационных форм. Задача состояла в том, чтобы помочь формированию молодого исследователя. Защитит ли он после окончания аспирантуры диссертацию или нет — это было его личное дело. Кто хотел — защищал, другие откладывали это на неопределенный срок. Я, в частности, защитил кандидатскую диссертацию лишь в 1938 году, потому что более был увлечен практической литературной работой.

Борис Михайлович, являясь моим руководителем, был прекрасным советчиком, но не считал необходимым следить за каждым шагом своего ученика и наставлять его по каждому поводу. Я часто встречался и беседовал с ним — причем не только, а может быть, и не столько об аспирантской работе, сколько о литературе вообще, в том числе современной, и не только о литературе. И эти разговоры давали больше, чем сугубо педагогические поучения и наставления, к которым, впрочем, Борис Михайлович по самой своей натуре был совершенно неспособен.

Я всегда интересовался тем, что делает сам Борис Михайлович, и старался — в чем мог — помочь ему. Когда он издавал воспоминания Анненкова (1928), я наводил какие-то справки и что-то делал при подборе иллюстраций. Когда он писал второй том своего «Толстого» (1931), я сообщил ему нечто, понадобившееся при анализе «Холстомера». Позже несколько облегчил ему (вместе с Б.Я.Бухштабом и С.А.Рейсером) библиографические разыскания при издании собрания стихотворений Полонского в «Библиотеке поэта». Печатные благодарности Бориса Михайловича, не скрою, были мне очень приятны.

Вспоминается еще такой эпизод. Для «юбилейного» издания Толстого Борис Михайлович готовил ряд его поздних произведений. Как-то он пожаловался, что не успевает к сроку, и я вызвался помочь ему. Пришли мы вместе в рукописный отдел Библиотеки Академии наук, где хранились некоторые рукописи Толстого. Об одном рассказе (или статье) Борис Михайлович сообщил мне, что существует около десяти редакций, и надо решить своеоб-

разную головоломку — разобраться в деталях творческой истории. Трудность заключалась в характере работы Толстого. Для каждой следующей редакции он использовал понадобившиеся ему отрывки предыдущей, не переписывая их, а перенося часть рукописи. Следовательно, чтобы проследить за ходом работы, необходимо было мысленно поставить их на прежнее место — и так много раз. Мне, не имевшему никакого опыта, это показалось задачей невыполнимой. Посетив еще раз или два рукописное отделение, я окончательно спасовал, о чем откровенно сказал Борису Михайловичу. Первый опыт привлечения меня к текстологической работе окончился неудачей. Но Борис Михайлович отнесся к этому весьма снисходительно, понимая, что предложил мне непосильную задачу.

Борис Михайлович всегда был в движении, всегда искал более плодотворного и точного анализа литературных произведений и творчества писателя в целом. На грани 20-х и 30-х годов он увлекся теорией литературного быта и написал об этом специальную статью. Задумана была книга о литературном быте 19-го века. Помню собрание у М.И.Аронсона, недалеко от Оперного театра. Присутствовали на этом собрании В.Н.Орлов, Н.И.Мордовченко, С.А.Рейсер, Б.Я.Бухштаб, А.Я.Кучеров, А.Г.Островский. Может быть, и еще кто-нибудь. Обсуждали преимущественно технические вопросы: к каким архивам в первую очередь обратиться, какие журналы просматривать, а также список условных сокращений и т.д. Главные же были намечены в статье самого Бориса Михайловича. По предложению самого Бориса Михайловича, шефом I половины XIX века был назначен В.Н.Орлов, а II половины — я, чем, как мне кажется, был горд. Предстояло договориться с издательством, но это оказалось делом нелегким. Книга составлена не была. Но весьма возможно, что основной причиной были не издательские затруднения, а то, что Борис Михайлович скоро сам охладел, почувствовав, что она не давала ощутительных результатов.

Общение с Борисом Михайловичем всегда одушевляло, подымало настроение. Был он, кроме того, человек веселый, умел по-настоящему, заразительно смеяться. Так, он весело смеялся по поводу моего рассказа о свидании с Н.Н.Гусевым. Помню еще такой эпизод. Стоим мы в конце университетского коридора, возле библиотеки, в ожидании начала занятий. И тут он рассказывает, что один из его учеников попросил его ознакомиться с подготовленной им к печати публикацией (кажется, писем Лескова). К словам, вроде «актеришка Несчастливцев был из рук вон плох» — бывают же такие затмения — было сделано примечание: «кто

такой актер Несчастливцев — выяснить не удалось. В "Хронике петербургских театров" имя его не упоминается». Как сейчас слышу громкий, но беззлобный смех Бориса Михайловича.

Борис Михайлович был постоянно увлечен своей работой, своей «веселой наукой», и редко тяготился ею, даже тогда, когда она шла не очень гладко, и это увлечение сообщалось всем, кто с ним общался, в том числе его ученикам. Своим примером он учил нас не только умению мыслить, но и терпению, трудолюбию, тщательной проверке тех выводов, к которым мы пришли, абсолютной точности.

Я не случайно упомянул о точности. У нас до сих пор бытует представление, что есть два типа литературоведов — одни преданы фактам и не поднимаются над ними, другие создают концепции, и для них, якобы, верность фактам не так уж обязательна. Я думаю, никто не упрекнет Бориса Михайловича — чем бы он ни занимался — в отсутствии общих идей. Но был он при этом скрупулезно точен. Мне пришлось редактировать некоторые университетские издания, в которых печатались работы Бориса Михайловича, а позже его посмертный сборник «О прозе», и я считал своей обязанностью проверить цитаты и даты. Я убедился, что иные крупные ученые были более или менее небрежны, но Борис Михайлович был безукоризнен в этом отношении. Думаю, что неточность, фактическая ошибка претили ему как нечто не только антинаучное, но и как антиэстетическое.

До самого 1959 года — года смерти Бориса Михайловича — я часто встречался и беседовал с ним в Ленинграде и Саратове (1943-1944), в Коктебеле, Сестрорецке и Комарове, в университете и в Пушкинском Доме; часто бывал у него дома. Встречались мы в разные — в том числе трудные для Бориса Михайловича (и в моральном, и в материальном отношении) — годы, когда он был изгнан из университета и Пушкинского Дома. Но и в эти годы он, за редкими исключениями, не терял присутствия духа и чувства юмора, был полон мыслей, планов и впечатлений. В 1949 г. в разгар «антикосмополитической кампании» Борис Михайлович был в больнице, где я его посещал. Он, к счастью, не знал о том, что происходит, и говорил, что по состоянию здоровья ему придется остаться либо в университете, либо в Пушкинском Доме, не подозревая, что его изгнали из обоих мест.

Следующие годы были для него очень трудными. Но он не терял присутствия духа. Во всяком случае, не обнаруживал этого. Мы с Г.А.Бялым, И.П.Ереминым и Г.П.Макогоненко часто бывали у него, предварительно захватив с собою продукты и выпивку. И разговоры велись прежние.

Борис Михайлович привык постоянно трудиться, а теперь долгое время у него не было никакой литературной работы. Но вот, благодаря помощи добрых людей (думаю, что главная заслуга принадлежит Ю.Г.Оксману) ему была поручена подготовка воспоминаний С.П.Жихарева для «Литературных памятников». Он выполнял эту работу с интересом, и это поддерживало его. А затем Бориса Михайловича вновь пригласили в Пушкинский Дом для редактирования коллективной «Истории русского романа». По чьей инициативе это было сделано — не помню. Вероятно, по инициативе В.Г.Базанова.

Весной 1959 года мы провели вместе месяц в Доме творчества писателей в Комарове. Как-то во время прогулки Борис Михайлович заговорил о стихотворении Лермонтова «Журналист, читатель и писатель», которое неизменно привлекало его внимание, о реалиях и прототипах. Борис Михайлович рассказал о своих новых наблюдениях на этот счет. Я мимоходом высказал мнение о том, были ли обязательно какие-нибудь вполне определенные прототипы, и вспомнил по аналогии «Поэта и Гражданина» Некрасова, где прямые подстановки — Некрасов, Чернышевский — не дают ощутительных результатов. Борис Михайлович произнес нечто одобрительное и сказал, что об этом надо подумать.

Запомнился еще один разговор, происходивший намного раньше. Речь зашла о том, что даже в гениальных произведениях замысел автора не всегда полностью осуществляется. В этой связи вспомнил о «Войне и мире», о месте и функциях историко-философских глав в романе. Насколько помню, я стал говорить о том, что они должны были, по-видимому, создавать те «подмости», которые придавали бы не только военной, но и «семейной» линии эпический характер. Судьба этих глав, сокращения и перемещение свидетельствуют о неудовлетворенности Толстого, о том, что это намерение не было до конца осуществлено. Хотя все это было выражено в довольно неуклюжей форме, Борис Михайлович внимательно выслушал меня и, как мне показалось, отнесся сочувственно*.

В заключение мне хочется подчеркнуть, что Борис Михайлович был идеальный собеседник. Его речь всегда была оживленной, остроумной, гибкой и изящной. Но что не менее важно и чем не обладали многие незаурядные люди — он умел, не только из веж-

* Об этом разговоре узнал — то ли от меня, то ли от Бориса Михайловича — Г.А.Бялый и в свою очередь рассказал о нем Я.С.Билинкису, и оба не раз подшучивали над тем, что я недоволен даже романом Толстого, к которому, кстати сказать, я всегда относился восторженно.

ливости, но по внутренней заинтересованности, слушать своего собеседника.

Прошло уже 25 лет, а я все еще временами чувствую острую необходимость поговорить с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, посоветоваться с ним, услышать о моей работе его доброжелательные и вместе с тем нелицеприятные, язвительные слова.

Андрей Белый, Владимир Маяковский

В феврале 1924 года в Киеве одновременно оказались Маяковский и Андрей Белый, и в один и тот же день были объявлены их выступления — Маяковского в цирке, а Белого, кажется, в Педагогическом музее на Владимирской улице или в б. Купеческом собрании. Пришлось выбирать. Так как Маяковского я слышал за месяц до этого (он целый вечер читал стихи, а после отвечал на вопросы), то пошел на вечер Белого. Белый незадолго до этого вернулся из Германии и делился своими заграничными впечатлениями, которые впоследствии легли в основу его книги «Одна из обителей царства теней». Хотелось услышать стихи Белого (я очень любил их тогда, особенно поэму «Первое свидание»), но стихов он не читал. Что именно говорил Белый — я в точности не помню (думаю, то, что я скоро после этого прочитал в книжке), но хорошо сохранилось в памяти общее впечатление от его рассказа, лекции — не знаю, как лучше назвать то, что я слышал. Теперь из воспоминаний современников известно, каким странным для Белого был последний период его пребывания в Германии; тогда ни о чем этом я, конечно, не подозревал и вообще ничего не знал об его личной жизни. Вероятно, это в какой-то мере отразилось в его рассказе, но самая манера была ему, по-видимому, вообще свойственна.

Белый ни минуты не оставался неподвижным. Он все время ходил по эстраде, жестикулировал, играл голосом; звучали подчас истерические ноты; глаза его блестели. Какое-то гипнотическое воздействие исходило от него*. На Белом был, насколько я помню, длинный сюртук, и он производил впечатление старого полубезумного профессора, сошедшего со страниц Гофмана. А ведь ему в это время шел всего 44-й год. Впоследствии я мельком видел Белого в начале 30-х годов (встретил его уже в Ленинграде

* Это было не только мое субъективное впечатление. Через много лет я прочитал нечто аналогичное в воспоминаниях о Белом В.Ф.Ходасевича, М.И.Цветаевой, Д.Е.Максимова. См. также: Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1990. С.8, 25; Гиппиус З. Живые лица: Воспоминания. Тбилиси, 1991. С.266, 267; Милюков П.Н. Воспоминания. Т.1. М., 1990. С.288 (о совсем молодом А.Белом).

на Греческом проспекте, он шел с авоськой в руках по направлению к Мальцевскому рынку, то ли на самый рынок, то ли к знакомым, которые жили в этом районе), и тогда, т.е. уже незадолго до смерти, он тоже резко выделялся своим внешним видом (я не мог не оглянуться), и его первоначальный образ еще более закрепился в моем сознании. Он, по-видимому, заметил мой пристальный взгляд, тоже оглянулся, и наши глаза встретились.

На следующий день после выступления Белого я зашел в редакцию «Пролетарской правды», где время от времени печатал статьи и рецензии и встречался с молодыми киевскими литераторами. Там я застал Маяковского; он сидел у стола и о чем-то беседовал. По молодости лет я не записал, вернувшись домой, то, что он говорил, чего не делал, к сожалению, и в других случаях. Но одну деталь я хорошо запомнил. Маяковский неожиданно спросил: был ли кто-нибудь вчера на вечере Андрея Белого? Я сказал, что был. Последовал второй вопрос: а народу было много? Я сказал, что полный зал. Маяковскому (хотя к Белому он, как известно, относился с явным интересом) это было неприятно, и он не скрывал этого. Мне почудилось в этом что-то детское. Он, пользовавшийся тогда огромной популярностью, выступивший в ломившемся от слушателей гораздо большем помещении, в цирке, ревновал к чужому успеху.

Ту же детскую обиду почувствовал я через два с лишним года, когда уже переехал в Ленинград. В Институте истории искусств на Исаакиевской площади Маяковский читал свою статью «Как делать стихи?»* Зал был переполнен молодежью; на эстраде сидели все мэтры формализма — Б.М.Эйхенбаум, Ю.Н.Тынянов и др., в то время как-то связанные с ЛЕФом. Одни сдержанно отозвались о статье, другие промолчали. И тогда мне тоже показалось (и не только мне), что Маяковский, огорченный таким приемом, не негодовал, а скорее был по-детски обижен и недоумевал.

В том же 1924 году Маяковский выступал в киевском Клубе рабочих корреспондентов. Отвечая на вопросы, был, как всегда, остроумен и находчив. Но когда один из присутствующих заикнулся о «непонятности» некоторых его произведений, Маяковский прибег к демагогическому средству. «Кому непонятно, подымите руку», — потребовал он. Разумеется, ни одна рука не поднялась.

К началу 1924 года относится стихотворение Маяковского «Киев». Когда я как-то зашел в «Пролетарскую правду», секре-

* Не знаю, отмечена ли где-нибудь перекличка этого названия с ранее появившейся статьей Б.М.Эйхенбаума «Как сделана "Шинель" Гоголя».

тарь редакции Х.Токарь попросил меня проследить за тем, чтобы машинистка правильно перепечатала стихотворение — чтобы была точно воспроизведена «лесенка». Я сделал это, а автограф оставил у себя и впоследствии передал в рукописный отдел Пушкинского Дома.

Март 1930 года, Институт речевой культуры (преобразованный ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока им. А.Н.Веселовского при Ленинградском университете, где в я 1926-1929 годах был аспирантом), сверхштатным научным сотрудником которого я числился. Он помещался в Институте истории искусств. Стоим мы как-то (я, А.А.Бескина, Л.В.Цырлин, может быть, еще кто-нибудь) перед кабинетом ученого секретаря — им был Л.П.Якубинский — и о чем-то разговариваем. Вдруг раскрывается дверь, и он зазывает нас к себе, берет со стола журнал и читает нам «Во весь голос» Маяковского, только что опубликованный. Прочитав, говорит: «А ведь это похоже на некролог...» Я очень ясно и отчетливо вижу эту сцену и слышу его слова. Вероятно, я не запомнил бы их, если бы это не случилось совсем незадолго до гибели Маяковского.

В феврале 1930 года в Ленинградском Доме печати была организована привезенная из Москвы выставка Маяковского «20 лет работы». Известно, что посетителей на ней было не очень много, и это произвело на поэта тягостное впечатление. К тому времени число почитателей его поэзии по разным причинам (рапповская критика в том числе) значительно уменьшилось. Но проходит месяц, и весть о самоубийстве ужаснула и взбудоражила всех. Я помню площадь между цирком и Домом печати, заполненную народом. Я пытался проникнуть в помещение, где происходил траурный митинг, заходил с черного хода, но безуспешно. С балкона какие-то деятели Союза писателей произнесли обращенные к взволнованной толпе речи. Все были потрясены гибелью поэта. И вот в моем сознании возникают рядом: немногочисленный зал Дома печати с выставкой «20 лет работы» и потрясенная толпа.

Г.А.Гуковский*

Я знал Григория Александровича Гуковского около четверти века и в течение многих лет был с ним в дружеских отношениях.

* Слово, произнесенное на вечере памяти Г.А.Гуковского в Ленинградском отделении Союза писателей 13 мая 1965 года.

Первое, что запомнилось (хотя я, вероятно, встречал его и раньше), — это солнечный осенний день 1926 года, когда я увидел его в Мраморном дворце, где держал экзамен в аспирантуру Ленинградского университета. Григорий Александрович, кажется, поступил в аспирантуру годом раньше. Уже тогда среди многих державших экзамен (а там были люди, впоследствии оставившие заметный след в нашей науке) мое внимание привлек молодой человек невысокого роста, блондин, удивительно оживленный, непоседливый, в глазах которого светилась живая мысль и неутомная деятельность. Я помню Григория Александровича не только в Ленинграде, но и в Коктебеле начала 30-х гг., где мы вместе провели лето, и в Саратове в 1943-1944 гг, и в послевоенной Москве. Я помню его и в домашней обстановке (как гостеприимного хозяина и как веселого гостя), и на научных заседаниях, и в университете и университетском исследовательском институте 20-х гг., и в Пушкинском Доме, и в Институте истории искусств на Исаакиевской площади. Я помню его и в рукописном отделе Публичной библиотеки, где нас встречал И.А.Бычков, как руководителя кафедры русской литературы, как лектора и докладчика. Я помню его в военной форме осенью 1941 г., когда мы оба были в рядах народного ополчения. Я помню его и в хорошие дни, и в состоянии подавленности и вместе с тем недоумения весной и летом 1949 г., когда он оказался — неизвестно за что — в числе несправедливо гонимых и преследуемых. В это время я очень часто бывал у него. Попытался как-то успокоить его. Он говорил, что, может быть, ему придется уехать в провинцию, но вместе с тем боялся ареста (никаких поводов для этого не было, но разве нужны были тогда поводья?) и как бы предвидел свою судьбу. Наконец, я никогда не забуду нашу последнюю встречу, когда вместе с его учениками Л.И.Кулаковой, Г.П.Макогоненко, А.В.Западовым, а также с О.Берггольц провожал его летом 1949 г. в Москву, откуда он уехал отдыхать на Рижское взморье, и затем уже никто из нас его больше не видел.

Все это возникает в сознании, одно вытесняет другое, и трудно сосредоточиться и выделить какие-нибудь отдельные встречи и разговоры. Прошу извинения за то, что мне — естественно — придется ограничиться лишь некоторыми беглыми штрихами.

Замечательный ученый, внесший много новых, плодотворных идей в изучение русской литературы, Григорий Александрович совмещал в себе самые разнообразные, поистине энциклопедические знания со стремлением проникнуть в суть дела, в глубинные основы литературного процесса в целом и творчества отдельных писателей. Даже близко знавшие его люди нередко удивля-

лись — когда он успел накопить столько знаний, когда он успевал все читать и внимательно обдумывать прочитанное. Как-то — это было в недолго существовавшем Филологическом институте Ленинградского университета, забыл по какому поводу, — В.М.Жирмунский спросил Григория Александровича: а знает ли он французский или немецкий роман (какой именно — я не запомнил), который имеет некоторое отношение к развивавшимся им идеям. Это был не столько вопрос, сколько совет — прочитать этот малоизвестный роман. Каково же было удивление всех присутствовавших, в том числе и самого Виктора Максимовича, когда Григорий Александрович ответил: разумеется, я его читал — и стал подробно рассказывать сюжет романа и чем он интересен. Мне вспоминается самый конец 20-х годов, диспут между Григорием Александровичем, тогда еще совсем молодым человеком лет 27, и В.Шкловским по поводу книги Шкловского «Чулков и Лёвшин». Это было в Союзе писателей, помещавшемся тогда на Фонтанке. Я шел туда, внутренне не сочувствуя Григорию Александровичу. Мне, а как я узнал через много лет, не только мне, но, например, и Л.Я.Гинзбург, его доклад казался несвоевременным — до этого был разгромлен Институт истории искусств, но я был потрясен тем арсеналом неопровержимых фактов, которым он оперировал. Мне показалось, что был удивлен и смущен и привыкший к литературным боям сам Шкловский.

Однако эрудиция никогда не была для Григория Александровича самоцелью и мертвым грузом, предметом одного щеголяния. Он умел отделять существенное и важное от пустяков и мелочей и искусно извлекать из запасов своей памяти то, что имеет отношение к идеям, которые волновали его в данный момент. В нем гармонично совмещались эрудит и мыслитель. Ему в равной степени были чужды и бескрылый эмпиризм, неумение понять смысл фактов, и скороспелые концепции, возникшие без учета фактов, высосанные из пальца и рушившиеся при обращении к фактам. Григорий Александрович, как и всякий крупный ученый, мог в чем-то ошибаться, что-то преувеличивать, но он никогда не настаивал, если убеждался, что нужно внести в свои построения те или иные коррективы.

Всех, кому приходилось близко сталкиваться с Григорием Александровичем, поражала энергия мысли, которая характеризовала его облик, изумительная работоспособность, напряженные поиски, которые волновали его, радовал его талант, его умение показать литературное обаяние исследуемого предмета. Он много сделал для того, чтобы привлечь широкий интерес к объекту его первой любви — русскому XVIII веку, показал, что литература

XVIII века может быть не только предметом изучения чудаков, любителей раритетов, но что в ней имеются замечательные эстетические искания и непреходящие ценности.

Для научного стиля Григория Александровича характерно стремление найти самое главное, найти, отнюдь не игнорируя всего многообразия фактов, ключ к творчеству писателей. Сошлюсь в качестве примера на блестящие страницы его книги «Пушкин и русские романтики», посвященные анализу стихотворения Жуковского «Невыразимое», в котором с поразительной яркостью и тонкостью показано существо и своеобразие лирики Жуковского, или на страницы его второй книги о Пушкине, посвященные анализу языка «Бориса Годунова».

Прочитав как-то мою статью о Д. Д. Минаеве, далекую от круга его непосредственных интересов (читал он, повторяю, буквально все), Григорий Александрович одобрительно отозвался о ней, но сказал при этом: «Все, что ты пишешь, интересно и правильно, но все-таки интересные мысли и наблюдения не всегда достаточно объединены, сцементированы; нужен еще какой-то ключ к поэту». Высказывание очень характерное для Григория Александровича.

О том, какой популярностью пользовались публичные лекции и научные доклады Григория Александровича, свидетельствует хотя бы следующий факт. Когда университет вернулся в Ленинград, Гуковский, по неясным мне сейчас причинам, задержался года на два в Саратове. Во время своего саратовского пребывания он как-то приехал в Ленинград для доклада в Пушкинском Доме. Трудно себе представить, какое здесь было столпотворение. Вся лестница, ведущая во второй этаж, была настолько заполнена людьми, что он еле пробрался наверх.

С юных лет Григорий Александрович занимался педагогической деятельностью, и это была не внешняя необходимость, а потребность его души, потребность поделиться своими мыслями, привить своим ученикам ту одержимость наукой, то стремление идти непроторенными путями, которые были свойственны ему самому. Многие видные ученые, которых все мы хорошо знаем, — являются его учениками. Он не любил и не считал нужным водить учеников за ручку, он, как всякий подлинный ученый, учил их думать и предъявлял им серьезные требования. Мне пришлось не раз присутствовать при разговорах Григория Александровича со своими учениками, слышать его отзывы о них, видеть, как он радуется их успехам. Иногда он преувеличивал эти успехи и сердился, когда кто-нибудь не разделял полностью его надежд, и в этом тоже сказывалась удивительная щедрость его души.

И здесь мне хочется сказать, что Григорий Александрович вообще радовался чужим успехам, радовался хорошим работам, был доброжелателен к людям, — разумеется, к тем, кто не делал из науки бизнес, кто действительно — пусть ошибаясь — стремился к научной истине, кому чужд был дух приспособленчества.

Как-то, разговаривая с Григорием Александровичем о нашей науке, я предложил шуточную классификацию современных литературоведов: одни повторяют, другие думают, а третьи придумывают. Григорию Александровичу это понравилось, но, как затем оказалось, мы вкладывали в слово «придумывают» разный смысл. Я употребил его иронически, как бы в кавычках — для обозначения легковесных выводов и концепций, он имел в виду обобщения на основании серьезных размышлений и размышлений.

Как и всякий доброжелательный по своей природе человек, он, правда, не всегда разбирался в подлинной ценности людей — и был за это горько наказан, испытал в конце своей жизни и черствость, и черную неблагодарность, и прямую клевету со стороны тех, которые были ему немалым обязаны. Но таких, к счастью, было все-таки немного*.

Мне пришлось в течение ряда лет работать бок о бок с Григорием Александровичем в университете. Это был идеальный заведующий кафедрой. Он досконально знал учебный процесс, он знал, где, кто и о чем в данный момент читает лекции, он у каждого бывал на лекциях. Делал он это деликатно. Помню, в Саратове я читал лекцию в аудитории, расположенной амфитеатром. В конце лекции сверху появился незамеченный мною Григорий Александрович. Оказалось, он все слышал, но не хотел меня смущать своим присутствием. Как я узнал впоследствии, подобным образом посещал он лекции и других преподавателей.

*По окончании моего выступления ко мне подошел Ф.А.Абрамов и спросил: «Это меня вы имели в виду?» (Григорий Александрович был его научным руководителем. Я ответил: «Если бы я имел в виду именно вас, я бы вас назвал». Но, конечно, я имел в виду не только Г.П.Бердникова, Е.И.Наумова, но и его тоже. Думаю, что Г.П.Бердников — в то время декан филологического факультета — не был инициатором этого позорного спектакля, но он проводил его не без усердия. Абрамов стал мне объяснять, что к статье в «Звезде» он имел косвенное отношение. Писали ее С.С.Деркач и Н.Лебедев. Но когда Деркач был арестован, он также, якобы, принужден был ее подписать. Как-то Г.П.Макогоненко, Г.П.Бердников и я возвращались вместе домой — мы жили в одном районе. Г.П. и я упрекали Бердникова в агрессивном по отношению к Григорию Александровичу Гуковскому тоне, за его крайне несправедливую, кем-то подсказанную оценку всей его деятельности. Он пытался оправдываться, но единственное из того, что он говорил, заключалось в следующем: «Он же не хотел работать вместе с нами». Что значит «не хотел» и с кем — «с нами» — он не уточнял, но больше ничего из его аргументов я не запомнил.

Григорий Александрович бывал напорист в суждениях, но он никогда не навязывал своей воли, пользуясь своим положением заведующего.

Большой ученый и педагог совмещались в Григории Александровиче. Для него не было двух истин — истины, добываемой им за своим письменным столом, и истины, преподносимой студентам. Он мог в лекциях и сжать материал, и упростить аргументацию — но его книги и лекции составляли одно целое. Его книги по существу рождались из лекций, его мысли проверялись на лекциях. И не случайно следы устной речи сохранились во всех его книгах.

Обаятельна была и самая манера его лекций и докладов. Слушатели его присутствовали как бы при рождении его мыслей, как бы при блестящей импровизации.

Как умел он, в частности, читать стихи, выявляя и смысл, и стилистическую ткань, и ритмическое обаяние читаемого.

Увлеченный наукой и педагогикой, Григорий Александрович умел также и развлекаться. Летом 1932 года я жил в Коктебеле, где открылся Дом отдыха Ленинградского отделения Союза писателей. Кроме нас с Григорием Александровичем Гуковским здесь был также и В.Н. Орлов. Мы много забавлялись игрой в цитаты. Выискивались забытые или не очень характерные для данного поэта стихи, а остальные участники игры должны были отгадать его имя. Помню, я очень гордился тем, что извлек из закров памяти стихотворение Бунина «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана...» и торжествовал победу. Подбирались также цитаты на определенные темы. За это нас прозвали «Господами Цитаткиными».

Запомнился еще один эпизод, происходивший там же, в Коктебеле.

Между нами возник спор о праве поэта на позу — в связи с А.Ахматовой. Григорий Александрович отстаивал это право, а же возражал против него. Спор был горячий, дело едва не дошло до драки, и нас не без труда разняли наши жены. Нужно оговориться, что через многие годы я напомнил об этом жене Григория Александровича — Зое Владимировне, но в ее памяти об этом ничего не осталось. Напротив, Григорий Александрович, по ее словам, резко возражал против права поэта на позу. Но, вероятно, это относилось к более поздним годам, поскольку я твердо помню этот эпизод.

Летом 1934 года мы снова взяли путевки в Коктебель, а Гуковские отдыхали в Полтавской области, откуда собирались приехать в Киев. В Киев их приглашал к себе вице-президент Укра-

инской АН (кажется, Семененко). Я приехал в Киев до них. Тут я узнал, что Семененко арестован, и дал телеграмму Григорию Александровичу, чтобы они прямо с вокзала приехали к моим родителям. Так они и сделали, поняв, очевидно, в чем дело. Мы с женой в тот же день вечером должны были уехать в Коктебель. Но необходимо было закончить подготовку рукописного собрания сочинений Помяловского, и ни минуты свободной у меня не было. Григорий Александрович стал мне помогать. Кто-то нумеровал страницы. Мы общими силами сделали все, что было нужно. Отправить рукопись в изд-во «Academia» я не успел, это сделал Григорий Александрович.

Круг интересов Григория Александровича не ограничивался наукой и университетским преподаванием. Придавая огромное значение роли литературы в умственной жизни человека и формировании его сознания, он всегда проявлял горячую заинтересованность в делах школы, школьного преподавания. Еще в довоенные годы в Союзе писателей им была организована дискуссия на тему «Литература и школа». Многие знают его работу по методике преподавания. Он принимал активное участие в работе Института усовершенствования учителей и умел привлечь к ней и других. Помню, например, как мы возвращались оттуда после лекций (ныне, увы, все покойные — Б.М.Эйхенбаум, А.Л.Слонимский, Л.В.Пумпянский и сам Григорий Александрович), обсуждая только что прочитанные лекции и то, как они восприняты слушателями-педагогами. Насколько был озабочен Григорий Александрович делами средней школы, видно и из такого эпизода, о котором мне рассказывал Г.А.Бялый. Радуюсь его успехам в университете (это был блестящий лектор), Григорий Александрович в шуточной форме спросил его: «Ну, а образá Вы разбираете?» И услышав положительный ответ, сказал: «Обязательно нужно разбирать образá». Григорий Александрович имел в виду то обстоятельство, что большая часть студентов будет преподавателями средней школы, и нельзя не учитывать это в университетском преподавании.

Оказавшись в Саратове, Григорий Александрович находился в центре культурной жизни. Он сблизился с театральными кругами, читал лекции актерам драматического театра, был в курсе всех их замыслов и вызывал их восторженные отзывы. Проживший большую жизнь и выдавший на своем веку много знаменитых людей, народный артист И.Слонов восклицал, слушая Григория Александровича: «Умница! Умница!»

Григорий Александрович был весьма разносторонней натурой, и разносторонним был его талант. Вероятно, не очень мно-

гие знают, что он пробовал свои силы и на литературном поприще. Кажется, это было в первые дни войны, добираться домой было сложно и трудно, и я остался у него ночевать. И неожиданно он стал читать мне главы из своей большой вещи, по-видимому, автобиографической. Я и сейчас не знаю, сколько он успел написать, но то, что я услышал, было по-настоящему талантливо и интересно. Очень жаль, если написанное не сохранилось.

Обычно такие вещи случаются с учеными в молодые годы, когда они еще не нашли своего призвания, и затем относятся к этому иронически — как к грехам молодости. Но у Григория Александровича это было тогда, когда он уже был признанным, широко известным ученым.

Григорий Александрович был удивительным собеседником. Он умел не только сам говорить, но и внимательно слушать — не меньшее искусство, — понимая с полуслова, иногда проясняя и формулируя то, что было еще не вполне ясно.

А каким он был рассказчиком. Я встречал у него как-то Новый год. Было сделано все, что в таких случаях полагается, и все тосты были произнесены, и немало было выпито и съедено, но уходить не хотелось; расположились под елкой, и всю ночь до самого утра Григорий Александрович неумоимо рассказывал — и мы все, словно очарованные, слушали его, не прерывая.

Я не хотел бы, чтобы из моих слов получилось впечатление, что у Григория Александровича был идеальный характер. Он иногда был слишком прямолинеен и категоричен в своих суждениях, бывал иногда не очень учтив, резок и несправедлив в оценках, кипятился и нервничал, когда ему возражали, но столь же быстро остывал и часто признавали свою неправоту.

Здесь присутствуют люди разных поколений — и те, кому выпало счастье хорошо знать и часто общаться с Григорием Александровичем, и те, кто знает его только по книгам. Разумеется, главное у ученого — его труды, главное, но не единственное, тем более, что и в его трудах просвечивает его личность, его человеческий облик.

Корней Чуковский

С Корнеем Ивановичем Чуковским я познакомился во второй половине 1920-х годов. До войны, когда он жил в Ленинграде, я встречал его довольно часто, а когда он переехал в Москву — всего несколько раз. Не раз мы обменивались письмами.

Не буду пытаться обрисовать его человеческий облик в целом, это задача нелегкая. Чуковский был человеком очень ярким, та-

лантливый, но в чем-то в писаниях своих и прямолинейным, грубоватым, к тому же человеком не всегда искренним, а может быть, такому впечатлению способствовало откровенное позерство, актерство, вошедшее в плоть и кровь. Я ограничусь лишь немногими эпизодами, сохранившимися в памяти.

Мы едем с ним в трамвае в начале Невского, по направлению к Пушкинскому Дому. Заходит речь о В.Шкловском, и он в какой-то связи произносит слово «отстранение». Тогда введенные формалистами термины были у всех на устах, и, помню, меня шокировало это «отстранение». Не «отстранение», а «остраннение» (от слова «странный»), которое помогает в литературе преодолеть автоматизм восприятия, привычные представления о вещах и людях, проникнуть в то, что скрыто от поверхностного взгляда. Но через некоторое время я подумал, что, допустив этот ляпсус, Чуковский вместе с тем не слишком погрешил против смысла: ведь «отстранение» в его словоупотреблении это и было отстранение того, что воспринимается так только по привычке и мешает свежему, непосредственному восприятию жизни.

Самый конец 1920-х годов. Доклад Чуковского в ИЛЯЗВе (в ректорском домике) о Н.Успенском. В тот же вечер в Пушкинском Доме был назначен доклад то ли В.Е.Евгеньева-Максимова, то ли В.В.Буша. Я пошел на Чуковского, жена — в Пушкинский Дом. Возвращались мы вместе с Чуковским, так как жили в одном районе: он на Кировной, мы на Греческом проспекте. Жена сказала ему с извинительной интонацией, что ее заинтересовала тема Евгеньева-Максимова. На это Чуковский в свойственном ему шутиливо-грубоватом тоне ответил: «Если еще случится, что одновременно будут доклады мой и Максимова, Вы, не задумываясь, пойдите на мой».

Май 1932 года. Я снова возвращаюсь с Чуковским с его доклада через весь Невский проспект. На углу Невского и Литейного мальчишка продает «Вечернюю Красную газету», робко выкрикивая новости, в том числе сообщение о смерти французского президента П.Думера. Чуковский останавливается и говорит: «Разве в дни моей молодости так продавали газеты. Тогда разносчик кричал бы...» И своим резким пискливым голосом Чуковский, не обращая никакого внимания на прохожих, закричал: «Думер умер! Думер умер! Две копейки!» Все оглянулись, и он был доволен и от души смеялся.

С 1929 года я жил в квартире Ю.Н.Тынянова, который был принужден «уплотниться». Как-то раздался стук в дверь, и в нашу комнату вошел еще молодой, веселый и стройный Чуковский. Он был в приятельских отношениях с Тыняновым и бывал у него.

Но о том, что он когда-нибудь завернет ко мне, мне, разумеется, не приходило в голову. Начал Чуковский с комплиментов по поводу «Поэтов "Искры"». Сборник вышел в «Библиотеке поэта» осенью 1933 года и вызвал интерес в литературных кругах. Похвалы Чуковского были, конечно, мне приятны, — это была моя первая значительная работа. Но что-то показалось преувеличенным и даже подозрительным — неужели он зашел только для этого? «Что-то ему от меня, по-видимому, нужно, но что?» — мелькнуло в голове. И действительно, скоро выяснилось. Ему стало известно, что я скопировал письма Николая Успенского к К.К.Случевскому, хранящиеся в московском Историческом музее, и он хотел бы их посмотреть. Были эти письма вовсе неизвестны Чуковскому или он хотел проверить только отдельные места — не знаю. Я их охотно дал ему. К тому времени одноотомник Успенского уже вышел, а до этого, прежде чем я узнал, что Чуковский им занимается, я имел желание издать его — и предложил Гослитиздату. Обратно я письма не получил, да и не напоминал Чуковскому; они не были уже мне нужны. Письма напечатаны в его сборнике «Люди и книги шестидесятых годов» (1934); в одном месте по частному поводу упомянуто мое имя.

Насколько я могу судить, Чуковский был по природе человеком добрым (разумеется, не по отношению ко всем), хотя и язвительным. Именно он устроил тогда нуждавшемуся Ю.Н.Тынянову договор на небольшую книгу о Кюхельбекере, и так родился его первый знаменитый роман. Когда А.Я.Максимович вернулся из ссылки, Чуковский взял его к себе в секретари. Уже после войны он подобным образом облегчил судьбу тоже вернувшейся из ссылки Е.Тагер*. Я не мог испытать на себе нечто в этом роде, но все же... В начале 1930-х годов в Гослитиздате готовился сборник «Шестидесятники» (вышел в 1933 г.), в котором он принимал ближайшее участие. Услышав от кого-то (кажется, от А.И.Дейча), что я хотел бы подготовить раздел, посвященный Помяловскому, Чуковский охотно уступил его мне. Для меня в то время это было важно не только в литературном (я занимался Помяловским), но и в материальном отношении — с 1931 до 1939 г. я нигде не служил и жил только литературным трудом.

Может быть, я и ошибаюсь; может быть, в какой-нибудь дневниковой записи или в письме и сказано обо мне что-нибудь злое, но мне кажется, что он сочувственно относился к тому, что я делал. Во всяком случае, в ответ на посылавшиеся ему книги я всегда получал лестные отзывы. Понимаю, что самый жанр таких

* Он, как известно, существенно помог и А.И.Солженицыну.

благодарственных писем отличается некоторыми условностями, и все же полагаю, что не все в них — дань этикету.

У меня сохранилось около пятнадцати писем Чуковского послевоенных лет. В них содержатся отзывы о моих работах. Приведу несколько отрывков.

«Все, что подписано Вашим именем, всегда казалось мне прочным, фундаментальным, надежным, но после того, как я изучил Ваши работы над Ал.К.Толстым, поэтами "Искры", Ив.Панаевым, Минаевым, Курочкиным, я искренно полюбил Ваш талант — не только исследовательский, но и писательский, ибо характеристики всех этих авторов сделаны Вами блестяще» (9 января 1958 г.).

«Вступительная статья (речь идет о статье к сборнику А.К.Толстого в малой серии «Библиотеки поэта». — *И.Я.*) — итоговая, окончательная. Ровным голосом, спокойно и матово, с предельной точностью, — нигда не нажимая педалей, — Вы даете характеристику этого большого литературных дел мастера, и хотя не гонитесь за открытиями, в каждой главе у Вас сказано новое слово о нем, какое еще не говорилось никем» (12 января 1959 г.).

«Я в больнице. Только этим объясняется, что я не поблагодарил Вас за Ваш дружеский подарок. Пишу лежа. Я знаю Ваши прежние работы на ту же тему, но эта книга как-то по-новому взволновала меня. Не могу решить, что внесли Вы в нее нового, но прежние Ваши статьи о Помяловском никогда не казались мне такими пронзительными. Это прототип сотен и сотен позднейших писательских биографий. Спасибо» (начало апреля 1968 г.).

В письмах Чуковского есть ряд интересных замечаний: о многостороннем даровании А.К.Толстого, «этого чудесного мастера, который одинаково силен и в медитациях, и в гротесках, и в чистой лирике, и в пародиях» — «многое из того, что он сделал, классически прекрасно» (сентябрь 1958 г.); о Минаеве, эпиграммы и «Евгений Онегин нашего времени» которого с хохотом читает его внучка-студентка и ее друзья-однокурсники, значит, он «жив до сих пор» (30 октября 1960 г.); о том, как он мучительно пересматривает свои сочинения для новых изданий, как ему все не нравится и хочется написать заново — так, 14-е издание «От двух до пяти», писал он, «будет сильнейшим образом отличаться от 13-го, вышедшего сейчас» (12 января 1959 г.)^{*}.

^{*} Не в укор Чуковскому хочу все же рассказать об одном анекдотическом случае со слов А.Я.Максимовича. В книге «От двух до пяти» Чуковский утверждал, что хорей — наиболее свойственный детским стихам размер. Когда Максимович указал на одно четверостишие, написанное ямбом, Чуковский тут же переделал его.

В послевоенные годы я несколько раз был у Чуковского. Весною 1947 г. я посетил его вместе с Г.А.Гуковским на городской квартире на улице Горького. Говорили о разных вещах, в том числе много о Герцене. Около 1960 г. мы были у него вместе с Г.А.Бялым, а через несколько лет с В.Н.Орловым в Переделкине. С Бялым мы приехали, предварительно созвонившись, конечно, без всякого дела, просто в гости; с Орловым по поводу антологии «Русские поэты», составлявшейся для Детиздата. Второй визит был относительно недолог — нас ждала издательская машина. Оба раза Чуковский был весьма приветлив. Бялого и меня угостили роскошным обедом с разнообразными бутылками на столе. Были также сын Чуковского Николай с женою, которая хозяйничала. Н.К.Чуковскому было запрещено пить, но когда жена его зачем-то вышла, Корней Иванович сказал ему: «Ну, выпей быстрее свою рюмку, пока Марины нет». Когда мы гуляли по Переделкину, зашли по пути в Дом творчества, я не переставал удивляться живости и жизнелюбию Чуковского, его неутомимому темпераменту и неистощимому остроумию. В одно из переделкинских посещений, когда мы находились в кабинете Чуковского, он указал на одну полку: «Вот, обратите внимание». Обратить внимание следовало на Дж.Босуэлла, его биографию С.Джонсона. Не могу сказать с уверенностью — похвалился ли Чуковский редким изданием или указал на него как на образцовую биографию.

Еще я помню, что видел Чуковского в Институте мировой литературы — по-видимому, на чеховской конференции 1960 г., где он сделал доклад. От этой встречи у меня где-то сохранилась коллективная фотография, на которой, кроме Чуковского, изображены Ю.Г.Оксман, Н.Л.Степанов, В.В.Жданов, Б.А.Бялик, У.А.Гуральник — увы, все покойники, и я. Не мог сейчас найти эту фотографию, чтобы уточнить дату.

Как-то (в 1961 г.) я зашел в редакцию «Нового мира» к А.Г.Деметьеву. Там оказался (а, может быть, пришел позже) Чуковский. Он был мрачен и раздражен. В статье о языке, которую он отдал в «Новый мир», от него потребовали каких-то исправлений или сокращений. Но вот нашли выход из положения при помощи пушкинских слов о «соразмерности и сообразности», и Чуковский сразу преобразился. Уходя, он устроил целое представление, веселился и веселил всех собравшихся из разных редакционных комнат.

В 1965 г. «Библиотека поэта» задумала трехтомное издание Некрасова. Было решено заново проверить текст по всем печатным и рукописным источникам, расширить отдел вариантов, пересмотреть вопрос об авторстве ряда стихотворений, упростить

композицию издания и т.д. Это издание вышло в 1967 г. Не лишнее отдельных промахов, оно стало заметным явлением в изучении Некрасова. Когда встал вопрос об общем редакторе издания (редактирование отдельных томов было поручено Б.Я.Бухштабу, С.А.Рейсеру и мне), все сошлись на Чуковском. Написали ему, но сначала он решительно отказался: стар, болеет, вряд ли может быть реально полезен. Тогда я решил все же уговорить его и написал новое письмо. Изложив все наши намерения и планы, я указал, что нам бы хотелось, чтобы издание, в котором будет сделано немало исправлений, послужило бы не в укор его неизменному издателю, а вышло под его же редакцией, — и Чуковский согласился. Издание стало интересовать его. В частности, очень беспокоил его вопрос о комментариях, об их языке. Вот что он писал мне 20 декабря 1965 г.: «Комментаторы? о если бы они могли сочетать лаконичность, научность, с правильной, привлекательной, не казенной формой речи! Некоторые из названных Вами комментаторов при всей своей учености не владеют искусством литературно излагать свои мысли. Блинчевская — умница, добросовестный, знающий работник, но фразеология у нее очень шаткая. Даже Гаркави в этом отношении слабоват. Школа Евгеньева-Максимова дает себя знать. Теплинский в последнее время преодолел эту слабость и стал писать почти безупречным "слогом", но многие из его сверстников остались в этой области на прежнем уровне. Это тревожит меня больше всего. Все же комментарии пишутся не только для узкого круга ученых, но — главным образом — для читательской массы». Чуковский в основном был прав, но недостаточно учитывал то обстоятельство, что, упорно ограничивая объем комментариев, издательства вынуждают к употреблению сухого телеграфного языка. Я сам испытал это, когда от свободного повествовательного тона комментариев к первому изданию «Поэтов "Искры"» должен был перейти к иному типу изложения. Впрочем, Чуковский, по-видимому, имел в виду не одну лаконичность. Предлагая Чуковскому взять на себя общую редакцию Некрасова, мы учитывали, что многого он сделать не сможет — по занятости и старости. Каково же было наше удивление, когда мы узнали от ездившей к нему К.К.Бухмейер (редактора «Библиотеки поэта»), что его замечания по поводу комментариев говорят о том, что он внимательно прочитал их сплошь. И это еще раз подтверждает, что, при всей легкомысленности и бойкости некоторых его суждений, он был до самой смерти великим тружеником.

В самом начале 1930-х годов (кажется, в 1931) позвонил по телефону мой дальний родственник А.И.Дейч. Я знал его еще в Киеве, но он был лет на десять старше, и я общался больше с его братом, увлекавшимся театром, но силою вещей ставшим врачом и погибшим на войне. Так вот, мне позвонил А.И.Дейч, сообщил, что приехал из Москвы (он оставил Киев задолго до меня), и просил зайти: «Мы давно не виделись». В назначенный час я пошел к нему в Европейскую гостиницу. Оказалось, что он приехал вместе с А.В.Луначарским; привезли какую-то переведенную и переделанную пьесу В.Газенклевера в Александринский театр. Скоро в номер зашли Луначарский и Н.А.Розенель, с которыми Дейч меня познакомил. Розенель тотчас же испарилась, отправилась по каким-то своим делам, а Луначарский сказал: «Что же мы будем сидеть здесь, посидим лучше в ресторане». В ресторане (где-то сбоку, не на виду) мы были довольно долго. Я, разумеется, все больше слушал, а говорил и рассказывал Луначарский, говорил живо, остроумно, упоминая о разных московских деятелях, преимущественно театральных, давая всем лаконичные и яркие характеристики. Почему-то запомнилось, что в какой-то связи фигурировал театральный критик и режиссер Б.Райх. Но меня поразило вот что. Я был для Луначарского совершенно неведомым молодым человеком, о котором он ровно ничего не слышал. Однако ни одним словом, ни одной интонацией он не показал той дистанции, которая разделяет его, многолетнего наркома просвещения, всем известного публициста и критика, и меня, начинающего историка литературы. В этом проявилась удивившая меня высшая интеллигентность Луначарского, которая, увы, встречается довольно редко даже у бесспорно интеллигентных людей, которые не могут удержаться от того, чтобы не показать свое превосходство.

Много лет спустя (в году 1948-м?) произошел следующий эпизод. Мы с женой захотели повидаться с нашими друзьями — Г.А. и З.В.Гуковскими. Позвонили им, но то ли телефон был испорчен, то ли не могли дозвониться, и решили — поедем; не застанем дома — вернемся. Они были дома, но не одни — у них сидели А.Г.Дементьев, Г.П.Бердников (ученик Г.А., сыгравший такую незавидную роль в его судьбе) и Ф.А.Абрамов, тогда аспирант, занимавшийся Шолоховым, теперь известный писатель. Это было неожиданно, думали провести вечер иначе, но делать было нечего. Разговор шел на разные темы, и вдруг я — не помню почему — рассказал о встрече с Луначарским. И тут меня поразила реакция Абрамова. Как всегда, он смотрел исподлобья, и в гла-

зах его я прочитал полное недоверие: ну что ты рассказываешь небылицы, с Луначарским провел вечер, да еще в ресторане. И его можно понять: он был значительно моложе, и он знал, что с те-перешними людьми такого ранга так не поговоришь...

У Александра Сергеевича Орлова

Это было в 1946 году. Я собирал очередной том «Ученых записок» кафедры русской литературы Ленинградского университета. Г.А.Гуковский сказал мне: «Зайди к Александру Сергеевичу Орлову, попроси его дать что-нибудь для этого тома; он, вероятно, ничего не даст, но ему будет приятно, что о нем вспомнили». Я был мало знаком с Орловым и попросил Г.А.Бялого отправиться вместе со мною. Орлов болел, и мы решили пробыть у него не больше минут пятнадцати. Но наши намерения были пресечены им; Александр Сергеевич не отпустил нас, и мы просидели у него часа полтора-два. При этом Александр Сергеевич, которому пришлось по душе наше посещение, говорил по преимуществу сам. Его монолог, с нашими небольшими вкраплениями, отчетливо делился на две части. В первой — очевидно, в связи с возможной темой его статьи — речь шла о Писемском, Лескове, может быть (твердо не помню), Мельникове-Печерском, и Александр Сергеевич большими кусками с явным удовольствием, смакуя, цитировал их. Во второй Александр Сергеевич перешел к злым, беспощадным характеристикам своих современников; он был любитель и мастер этого дела. Досталось Ю.М. и Б.М.Соколовым, М.К.Азадовскому и другим. Впрочем, я не уверен — может быть, он говорил не о них, а его отзывы о них я слышал от кого-нибудь раньше. Эти сочные, но в целом не очень справедливые слова заняли немало времени. Мы порывались уйти, но безуспешно. Наконец мы заметили, что Александр Сергеевич устал, и решительно поднялись. Как будто это было совсем недавно, вижу его в передней академической квартиры, когда он на прощание сказал нам: «Желаю вам дожить до моего возраста (ему было 75, а нам на тридцать с лишним меньше), но должен предупредить, что это...» — он улыбнулся и произнес: «говнецо». Эта ласкательная форма мне очень понравилась и запомнилась. Александр Сергеевич скоро после этого умер, а мы оба перешли за грань его возраста.

Анекдотов об Александре Сергеевиче ходило немало. Запомнились два. Первый связан с непрезентабельной наружностью Орлова. Однажды в Пушкинском Доме появился В.Д.Бонч-Бруевич. В вестибюле находился Александр Сергеевич. Приняв ака-

демика за швейцара, Бонч-Бруевич барственным жестом сбросил на его руки свою роскошную шубу.

Орлову часто приходилось председательствовать на научных заседаниях. Он был уже стар, а может быть, не только из-за старости это его тяготило. Александр Сергеевич подремывал во время доклада, но именно в тот момент, когда доклад кончился, он встряхивался и давал слово тому, кто желал принять участие в прениях. Один раз, во время шумных прений (это было уже после войны), Александр Сергеевич повернулся к своему соседу и сказал: «Подумать только, одна пулеметная очередь — и стало бы тихо...»

Максимилиан Волошин

Конец лета 1932 года я провел в Коктебеле. Там собралось много интересных людей: М.А.Дьяконов с женой и двумя сыновьями Алексеем и Игорем, впоследствии выдающимся востоковедом, Б.М.Эйхенбаум с женой и сыном, А.Б.Мариенгоф и А.Б.Никритина, В.А.Десницкий с сыном Алексеем и дочерью Агнией, впоследствии крупной лингвисткой, Г.А.Гуковский с женой Зоей Владимировной, В.Н.Орлов с матерью, преподаватель консерватории и композитор Ю.Н.Тюлин, Н.К.Чуковский и др.

Первые дни, когда все уходило кто куда, я, изнемогая от жары, в одних трусах, дописывал вступительные заметки к сборнику «Поэты "Искры"», вышедшему в следующем году в тогда еще начинавшей свое существование «Библиотеке поэта». Одолев их, я, как и все остальные, начал развлекаться... Мы много гуляли, купались, подолгу лежали на тогда еще пустынном пляже, лазили по горам.

В 70-е годы прошлого столетия В.И.Кельсиев, сподвижник Герцена, а затем разошедшийся с ним, писал, что подобно тому как быть в Риме и не видеть папы было невысказано, так же невозможно было быть в Лондоне и не видеть Герцена. То же можно сказать о Коктебеле. Как можно было жить в Коктебеле и не повидаться с его «хозяином» Максимилианом Александровичем Волошиным. И вот в один прекрасный день Гуковский и я с женами и Орлов решили отправиться к нему в его замечательный дом-музей, многократно описанный. Нас провела к нему на второй этаж его жена — Марья Степановна. Только мы вошли в кабинет и поздоровались, как я увидел на стене женскую маску и сказал, обращаясь к Волошину: «Она напоминает мне Ваши стихи о царице Таиах:

В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы».

Волошин был явно доволен и воскликнул: «Так это же она и есть!»

На нем был некий хитон, длинные волосы были охвачены повязкой. Он выглядел старше пятидесяти с небольшим лет, был грузен, передвигался и дышал не без труда. Своим внешним видом Волошин напоминал какого-то библейского патриарха. Завязался оживленный разговор. Почетнее всех говорил, естественно, сам Волошин. Говорил о живо интересовавших событиях и людях недавнего прошлого, но я, к великому сожалению, не записал по свежим следам его рассказов.

Я был у Волошина еще раз или два. По коктейльскому обычаю у Волошина происходили разнообразные чтения, и мы тоже решили последовать этому обычаю. В.Н.Орлов, в то время занимавшийся Николаем Полевым, сообщил о некоторых своих размышлениях о нем. Мы понимали, что это не может особенно заинтересовать Волошину, однако, как знак внимания к нему, это, думается, было ему приятно. Я в то время интересовался Брюсовым, и Волошин предоставил мне возможность ознакомиться с пачкой его писем.

Из рассказов Волошина сохранилось в памяти немного. Так, гостивший у него О.Э.Мандельштам попросил у него как-то «Божественную Комедию» Данте в итальянском оригинале. Покидая Коктебель, он увез Данте с собою. Через некоторое время, когда он снова приехал в Коктебель, ему опять понадобилась «Божественная Комедия». «Осип Эмильевич, да ведь Вы увезли ее с собою», — произнес Волошин и был совершенно обескуражен ответом: «Как? Вы до сих пор не восстановили ее? Значит, она Вам не нужна, и хорошо, что я ее увез».

Когда белые пришли в Крым, Мандельштам был арестован. Узнав об этом, Волошин отправился в Феодосию его спасать. Офицер белой разведки, по-видимому, человек интеллигентный, принял Волошину и распорядился привести Мандельштама. «Вы ведь понимаете, — сказал он, — каждая новая власть принуждена брать кого-нибудь...» — «Так возьмите его!» — воскликнул Мандельштам о своем спасителе. К счастью, все окончилось благополучно, Мандельштама выпустили, а брать вместо него никого не пришлось.

Третий эпизод относится к дореволюционным годам, точнее, к 1909 году. Речь идет о литературной мистификации Волошина и

молодой поэтессы Дмитриевой — о появившейся неведомо откуда талантливой поэтессе с экзотическим именем Черубина де Габриак, стихи которой появились в тогда начинавшем выходить журнале «Аполлон». О Черубине стали говорить в петербургских литературных кругах. Особенно заинтересовались ею редактор «Аполлона» С.К.Маковский и Гумилев. Несколько литераторов встретились как-то в мастерской художника А.Я.Головина в оперном театре — рассказывал Волошин. Заговорили о Черубине де Габриак и вспыхнула ссора между Волошиным и Гумилевым. Присутствовавший при этом А.Н.Толстой, опустив голову, как бык, по выражению Волошина, вклинился между ними, желая предотвратить драку. И все же раздалась пощечина. Тогда то ли Иннокентий Анненский, то ли Вячеслав Иванов сказал: «Теперь я понимаю слова Достоевского: "Звук пощечины был мокрый..."» Последовал вызов на дуэль, но все, как известно, кончилось благополучно.

В рассказах Волошина неизменно присутствовала ироническая нотка, и нельзя сказать с уверенностью, что все в точности соответствовало действительности, не присочинял ли он чего-нибудь. Я передаю только то, что слышал.

Уже после того, как эти страницы были написаны, в журнале «Вопросы литературы» (1987. №1) появилась публикация Купченко. Он напечатал некоторые мемуарные заметки самого Волошина, кое в чем отличающиеся от им рассказанного. В частности, это касается ареста Мандельштама. Трудно сказать, где он был более точен — в заметках, где мог устранить кое-что, что, показалось ему, может бросить тень на Мандельштама, или в устном рассказе, где нечто могло возникнуть «для красного словца». Но то, что слышал из уст Волошина, отчетливо помню.

Очень скоро после посещений Волошина, уже в Ленинграде, мы узнали об его смерти.

Анна Ахматова

Я познакомился с Анной Андреевной Ахматовой в 1946 году у О.Ф.Берггольц и Г.П.Макогоненко на Троицкой улице (ул. Рубинштейна), где они жили. Г.П. отмечал защиту своей кандидатской диссертации. На входной двери висел рисунок: пароход. Это был намек на допущенный им в диссертации промах, вышученный В.А.Десницким: пароход фигурировал у него в XVIII веке. Было человек двадцать пять, но, кроме хозяев и Ахматовой, я запомнил только отца Г.П. и В.К.Кетлинскую. Очевидно, хлебнув лишнее, я сказал Ахматовой: «А у меня дома имеются ваши гимна-

зические стихотворения». — «Вряд ли, — ответила она, ей это было явно неприятно, — но покажите их мне все-таки», — и она дала мне свой телефон.

Здесь мне придется сделать довольно длинное отступление. Еще до войны, весной 1938 года, я получил из Киева письмо Б.В.Якубовского: «Посылаю Вам наконец давно обещанные стихотворения Ахматовой, — писал он 26 марта. — Напомню их происхождение. 1918 или 1919 год. Сажу я у какой-то девушки, окончившей Киевскую Фундуклеевскую гимназию. Смотрю ее альбом гимназических лет. Попадаю на два стихотворения, написанные в разных местах альбома, однако — близко одно от другого, с подписью А.Г. Спрашиваю, — чья это подпись? Получаю ответ: "Моей товарищи по гимназии Анны Горенко..."»

Дальше следовал текст стихотворений*.

Я довольно долго не решался воспользоваться приглашением Ахматовой — а что если это была простая дань вежливости? Я всегда болезненно боялся и до сих пор боюсь быть навязчивым. Но как-то я встретил Ахматову на Невском, против Публичной библиотеки. Она стояла с кем-то. Я поклонился. Ахматова позвала меня и спросила: «Почему же вы не приходите?» Я пробормотал нечто невнятное, и мы условились о встрече.

В назначенный час я пришел в «Фонтанный Дом», бывший дворец Шереметевых. Пустоватая комната: длинный стол, за ним диван и книжная полка. Ахматова тотчас же захотела увидеть стихи. Она медленно и внимательно читала их про себя и затем сказала: «Одно, может быть, и мое, а другое не имеет ко мне никакого отношения». Не знаю, конечно, что она думала, читая, что вспоминала, но слова ее сразу вызвали сомнение. Два стихотворения, подписанные ее инициалами, в альбоме гимназической подруги, принадлежат разным авторам? Да и свидетельство этой подруги... Отрицать авторство одного из них («На руке его много прекрасных колец...») было невозможно. Это первое напечатанное ею с некоторыми исправлениями стихотворение в парижском журнале «Сириус». Забыть это она не могла, такое не забывается, — и все же сказала «может быть». А второе? Что же, она переписала чужое стихотворение, выдав его за свое? Просто не хотела, надо думать, чтобы рылись в ее молодых незрелых стихах, разыскивали еще что-нибудь неизвестное. Это было одно из «великого множества беспомощных стихов»**, которые

* «Это было вчера... На скамье, в отдаленной аллее...» и «На руке его много прекрасных колец...»

** Ахматова Анна. Соч. М., 1986. С.236.

она, по ее собственному признанию, писала в те юные годы, а затем, по-видимому, безжалостно уничтожала. Когда В.М.Жирмунский уже после смерти Ахматовой начал готовить собрание ее стихотворений для «Библиотеки поэта», я передал ему копии обоих стихотворений, рассказав о том, как она отнеслась к ним, но он не включил «Это было вчера. На скамье, в отдаленной аллее...» и даже не упомянул его. Почему? — узнать об этом было невозможно, так как Жирмунский не дожил до выхода книги*.

Не желая задерживать внимание на стихах, которые она оставила у себя (не сохранились ли они в ее архиве, нет ли на них каких-нибудь помет?), Ахматова сказала: «Что же, почитать вам что-нибудь?» Я с радостью услышал это, потому что сам не рискнул бы попросить. Ахматова прочитала мне несколько стихотворений, в частности, отрывок из «Поэмы без героя». Я тогда ничего не знал о поэме, и он произвел на меня сильное впечатление.

В течение многих лет я, в силу стеснительности своего характера, которая лишила меня многих интересных знакомств и встреч, не пытался снова повидать Ахматову. И вот уже середина 1960-х годов... Я жил в Доме творчества писателей в Комарове. На дорожке, ведущей на улицу, я обогнал Ахматову и, поздоровавшись, прибавил: «Вы, верно, меня не помните...» — «Почему же не помню, — возразила она, — я все помню, даже слишком много помню». Пригласила зайти к ней вечером. Незадолго до этого Ахматова вернулась из Италии, где ей вручили премию, и она показала мне фотографии всей церемонии, показала с явным удовольствием. Как мне сказала потом Наташа Гуковская (она навсегда осталась для меня Гуковской, хотя она и Долинина), она показывала их всем. В этой нескрываемой радости признания чувствовалось некое удовлетворение после стольких обид и горя, которые выпали на ее долю. Затем она дала мне прочитать несколько мемуарных страниц, которые я на следующий день вернул, спросив зачем-то об инициалах «Н.В.Н.» — не Недоброво ли это, что она подтвердила.

Это было незадолго до смерти Ахматовой. Скоро я увидел ее уже в гробу.

* Стихотворение «Это было вчера. На скамье, в отдаленной аллее...» напечатано мной в «Известиях АН СССР. Серия литературы и языка» (1982. Т.41. №4. С.377-378). Впоследствии Виленчик обнаружил это стихотворение с некоторыми вариантами в «Журнале для всех» В.С.Миролюбова. Подписано оно было «А.Дудин», как и ряд других, появившихся там стихотворений. Никаких сведений об этом поэте ему разыскать не удалось. Возникает, естественно, вопрос: не является ли А.Дудин псевдонимом юной Ахматовой?

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абдушели К. 293, 315
Абеляр П. 66
Абовян Х. 273, 313
Абрамов В.П. 430
Абрамов Ф.А. 483, 492
Аввакум Петрович 146
Аверин Б.В. 180
Аверроэс 280, 314
Аверьянова Л.И. 178
Авилов М. 80
*Авилов Мих. см. Санжарь Н.Д.
Авилова Н.М. см. Санжар Н.М.
Авиценна 280, 314
Авраамов А.М. 447
Адамович Г.В. 114
Азадовский К.М. 12, 14, 83
Азадовский М.К. 493
Азеф Е.Ф. 393
Азиатцев Д.Б. 79
Айхенвальд Ю.И. 113, 114, 121, 149, 151, 160
Акимова М.В. 5-55
Акинша К. 88
Аксельрод П.Б. 130, 152
Александр I, имп. 263
Александр II, имп. 7, 360
Александр Македонский 208, 266
Александра Федоровна, имп. 145, 358, 403
Алексеев А.Д. 113
Алексеев Н.Н. 231, 307
Алексеева А.А. 202, 219, 289, 303
Алексеева Е.Н. см. Кезельман Е.Н.
Алексеева К.Н. см. Бугаева К.Н.
Алексей Николаевич, вел.кн. 358
Аллой В.Е. 193
Альтшулер И.Г. см. *Лежнев И.
Алянский С.М. 188
Амфитеатров А.В. 119, 134-139, 142, 145, 153-156
Амфитеатров Д.А. 134, 136, 138-140, 153
Амфитеатров М.А. 134-136, 138, 140, 154
Амфитеатров Р.А. 134-136, 138, 139, 154
Амфитеатров-Кадашев В.А. 137, 138, 154
Амфитеатрова И.В. 134-140, 153, 154
Амфитеатрова С.А. 134, 136-139, 155, 156
Анаксимандр 182
Анаксимен 182
Анастасия Николаевна, вел.кн. 358
Андерсен Г.Х. 81
Андреев А.С. 83, 86
Андреев Д.Л. 377, 378
Андреев Л.Н. 82, 182, 377
Андреева А.А. 378
Андреева М.Ф. 148
Андрей, еп. (Ухтомский А.А.) 399, 400
Андрей Владимирович, вел.кн. 158
Андроников И.Л. 471
Анисимов С.С. 210, 305
Анненков П.В. 473
Анненков Ю.П. 164, 176, 178
Анненкова О.Н. 290, 315
Анненковы, семья 240, 308
Анненский И.Ф. 10, 20, 125, 126, 151, 496
Анненский Н.Ф. 120, 121, 124-126, 149
Анучин Д.Н. 308
Анчугова Т.В. 306
Аронсон М.И. 474
Арсенишвили А.И. 248, 310
Архипов Н.А. 20
Арцыбашев М.П. 65
Аршакиды, династия 315
*Ахматова А.А. 19, 62, 162, 484, 496-498
Ашукин Н.С. 20, 21
*Б.Г. см. Глинский Б.Б.
Багров Д.Г. см. Богров Д.Г.
Базанов В.Г. 476

* Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Байрон Дж. Н. Г. 287-289, 291, 293-301, 315, 316
 Баккал И. Ю. 465
 Бакрылов В. В. 447, 452
 Балиев Н. Ф. 26
 Балтрушайтис Ю. К. 428
 Бальмонт К. Д. 8, 9, 24, 123, 253, 311
 Баран Х. 176
 Баранцевич К. С. 81
 Барри Дж. 112, 115
 Барятинская Л. Б. см. *Яворская Л. Б.
 Барятинский В. В. 147, 159
 *Басаргин А. см. Введенский Арс. И.
 Бастамов В. В. 369, 370, 382, 393-395
 Батюшков Ф. Д. 82, 118
 Бах И. С. 96, 313
 Бебутов Г. В. 271, 313
 Безродный М. В. 180, 181
 Бекетова А. А. 86, 87
 Беклемишева В. Е. 82
 Белинский В. Г. 120
 Белоус В. Г. 447, 449, 455, 458
 Белоусов И. А. 18
 Белоусова И. П. 18
 *Белый А. 8, 12, 88, 162, 164, 182, 191-316, 427-431, 433-445, 447-450, 452-454, 462, 464-470, 477, 478
 Белый И. С. 310
 Белькинд Е. Л. 86
 Бенвенуто Л. 136-138
 Беннет А. 112
 Бenuа А. Н. 98
 Берберова Н. Н. 183, 191, 192
 Берггольц О. Ф. 480, 496
 Бердников Г. П. 483, 492
 Бердяев Н. А. 24, 85, 248, 428, 431, 442
 Березовская К. А. 128
 Берзенов Н. П. 314
 Берков П. Н. 473
 Берковский Н. Я. 473
 Бернард, сотр-ца Гос. Думы 336
 Берсенев И. Н. 306
 Бескина А. А. 479
 Бессонов Б. Л. 79, 119
 Бетховен Л. ван 96, 269, 313
 Билибин И. Я. 25
 Билинкис Я. С. 476
 Блаватская Е. П. 280, 288, 314
 Бласко Ибаньес В. 441
 Блинчевская М. Я. 491
 Блок А. А. 10, 12-14, 16, 19, 20, 72, 79-111, 162, 171, 175, 177, 182, 185, 186, 219, 221, 222, 306, 307, 310, 311, 427, 428, 431, 439, 440, 443, 445, 447-450, 452-455, 457, 459, 460, 462, 463, 465-468, 470
 Блок Л. Д. 82, 86, 87
 Блох Я. Н. 175
 Бломкин Я. Г. 458, 459
 Боане А. К. 61
 Бобриков Н. И. 394
 Бобров С. П. 12
 *Богданов А. А. 423
 Богданов М. 17
 Богданов М. А. 449, 457-459, 462
 Боголепов А. А. 27
 Боголюбов А. С. 129, 152
 Богомолов Н. А. 174, 175
 Богров Д. Г. 121
 Бодлер Ш. 57
 Бонч-Бруевич В. Д. 432, 493, 494
 Борисоглебский М. В. 162, 173
 Боровский А. К. 428
 Босуэлл Дж. 490
 Браун Ф. А. 306, 469
 Браун Я. В. 453
 Бриллиант Л. М. 98
 *Бриллиант Н. см. Санжарь Н. Д.
 Бриллиант С. М. 79-84, 93, 96, 98
 Брихничев И. П. 12, 14
 Бровар А. Я. см. *Мар А.
 Бровар Я. И. 56
 Брюсов В. Я. 8, 9, 11, 16, 20, 24, 25, 66, 76, 86, 98, 99, 101, 181, 241, 280, 287, 308, 311, 314, 315, 428, 495
 Бугаев Н. В. 223, 307, 435, 442
 Бугаева А. Д. 191, 233, 307
 Бугаева К. Н. 191-197, 197-301, 301-316
 Бузник В. В. 172
 Буланов, певец 456
 Булгаков В. Ф. 150
 Булгаков С. Н. 24
 Бунин И. А. 24, 27, 140, 141, 339, 397, 484
 *Буревой К. 451, 453
 Бухмейер К. К. 491
 Бухштаб Б. Я. 473, 474, 491
 Буш В. В. 487
 Быков П. В. 112, 113
 Бычков И. А. 480
 Бялик Б. А. 490
 Бялый Г. А. 475, 476, 485, 490, 493
 Вагаршак I, арм. царь 294, 315
 Вагаршак II, арм. царь 294, 315
 *Вагинов К. К. 162, 176
 Вагнер Р. 136, 215
 Ван-Орен, музыкант 177
 Варжапетян В. 175
 Васильев П. Н. 192, 193, 198, 202, 214, 215, 243, 244, 289, 295, 301-303, 305, 309, 316

- Васильева З. 214, 305
 Васильева К.Н. см. Бугаева К.Н.
 Вахтангов Е.Б. 443
 Ващенко Е.П. 28
 Введенский Арс.И. 84, 93
 Вейдле В.В. 27
 Вейнингер О. 249, 311
 Великанов М.А. 243, 309
 Венгеров С.А. 81, 112, 113, 315
 Венгерова З.А. 469
 Вербицкая А.А. 61, 74, 75
 Верди Дж. 313
 *Вересаев В.В. 86, 99
 Верлен П. 57, 58
 Верн Ж. 209, 373
 Вертинский А.Н. 74
 Верхарн Э. 16, 127, 151
 Верховский Ю.Н. 10, 11, 162, 431
 *Вершинина А. см. Даманская А.Ф.
 Викентьев В.М. 246, 309
 Викторович В.А. 104
 Виленчик Б.Я. 498
 Виноградов С.А. 8
 Витте С.Ю. 145, 157, 158
 Владимиров Л. 60
 Вовина С.Я. 13, 93, 104
 Войтоловский Л.Н. 84, 97
 *Волин В. см. Шмерлинг В.Г.
 Волковыский Н.М. 148, 160
 Волковский М.Н. 158
 *Володарский В. 455
 Волошин М.А. 11, 171, 172, 193, 306,
 494-496
 Волошина М.В. см. Сабашникова
 М.В.
 Волошина М.С. 494
 *Вольнский А.Л. 154
 *Волькенштейн В.М. 12
 Вольский В.К. 451, 453
 *Вольтер 81
 Воронин С. 304, 444
 Воронский А.К. 91, 92
 Врангель П.Н. 324, 341, 360
 Врубель М.А. 98, 207, 217, 227, 255,
 258, 306, 307
 Вульфус О.Г. 400-402
 Вульфус Э.Г. 400-403
 Выговский, сокамерник В.В. Шульгина
 398, 403
 Выговский И. 398
 Выгодский Д.И. 84
 Выставкина Е. 16, 64
 Гаген-Торн Н.И. 192
 Газенклевер В. 492
 Галимар Г. 185
 Галушкин А.Ю. 306
 Гальперин М.П. 20
 Гамсун К. 7
 Ганжулевич Т.Я. см. Проскурнина
 Т.Я.
 Гапон Г.А. 121
 Гарин Э.П. 303
 Гаркави А.М. 491
 Гарэтто Э. 119
 Гаутман Г. 57, 70
 Гейне Г. 136
 Геккель Э.294
 Гельцер Е.В. 20, 22
 Герасимов, подполк. НКВД 338-341,
 343, 344
 Герасимов М.П. 90
 Герасимова Н.М. 470
 Герцен А.И. 20, 452, 490, 494
 Герцен Н.Е. 20
 Герцен Н.П. 20
 Герцен П.А. 20
 Герцык А.К. 11, 14
 Гершензон М.О. 193, 428
 Гессен И.В. 117, 155
 Гете И.В. 291, 295, 315
 Гизетти А.А. 70, 71
 Гинзбург Л.Я. 481
 Гиппиус З.Н. 9, 19, 71, 84, 113, 123, 428,
 477
 *Гитлер А. 343, 344
 Глинский Б.Б. 83, 84
 Глиэр Р.М. 16
 Гобино А. 118
 Гогоберидзе-Лундберг Е.Д. 281,
 314
 Гоголь Н.В. 178, 199-201, 206, 303-305,
 339, 478
 Годар Б. 233
 Головин А.Я. 496
 Головин Ф.А. 429, 431
 *Голодный М. 92
 Голубев-Багрянородный Л.Н. 25
 Голубкина А.С. 428
 Голубовский Л.Б. 458, 459
 Гольденберг В. 323, 324, 326-328
 Гольденберги, семья 324
 Гольдони К. 154
 Гонкур Ж. 64
 Гонкур Э. 64
 Гончар Н.А. 195, 312
 Гораций 296, 316
 Горбачев Г.Е. 473
 Горлин А.Н. 154
 Горнфельд А.Г. 58, 62, 64, 68, 76, 118,
 120, 123, 124, 149, 151, 153, 160
 Городецкий С.М. 11

- *Горький А.М. 81, 83, 129, 136, 148, 154, 159, 161, 165, 167, 171, 172, 182, 185, 186, 465
 Гофман В.А. 473
 Гофман В.В. 61
 Гофман Э.Т.А. 81, 178, 477
 Градовская Е.Г. см. Шульгина Е.Г.
 Грачева А.М. 56-76, 157, 181
 Гребенщиков Г.П. 174
 Гребенщиков Я.П. 163, 174
 Гревс И.М. 306
 Гречанинов А.Т. 16
 Гречишкин С.С. 172, 183, 308, 452
 Грибоедов А.С. 208, 280
 Григорий, св. 280, 314
 Григорков Ю.А. 155, 156
 Григоров Б.П. 428, 431, 442
 Григорова Н.А. 442
 Григорович Е.А. 456
 *Грин А.С. 161
 Громов В.А. 310
 Гуаданини И. 431
 Гуковская З.В. 484, 492, 494
 Гуковский Г.А. 473, 479-486, 490, 492-494
 Гуль Р.Б. 165, 171, 182, 183
 Гумилев Н.С. 11, 12, 164, 496
 Гуральник У.А. 490
 Гуревич А.Я. 471
 Гуревич Л.Я. 471
 Гурлянд-Эльшева Э.З. 453
 Гурьянова Н. 176
 Гусев Н.Н. 86, 472, 474
 *Гусев-Оренбургский С.И. 123, 150
 Гуссерль Э. 294
 Гучков А.И. 341
 Гюббенет Л.Б. см. *Яворская Л.Б.
 Гюго В. 331
 Гюйсманс Ш.М.Ж. 57, 67
 Давыдов И.Ф. 462
 Давыдов К.Ю. 132
 Давыдов Н.В. 18
 Давыдова М.К. см. Куприна-Иорданская М.К.
 Даманская А.Ф. 112-119, 120-149, 149-160
 Даманский Б. 115, 157
 Д'Амелиа А. 176, 181, 193
 Данилова И.Ф. 180
 Данте А. 377, 495
 Данько Е.Я. 162
 Дарвин Ч. 294
 Дарский Д.С. 85, 101, 104, 107-109
 Даутендей М. 118
 Дворникова Л.Я. 5-55
 Дейч А.И. 488, 492
 Дейч Л.Г. 130, 152
 Делакруа Э. 288, 315
 Делянов И.Д. 126
 Дементьев А.Г. 490, 492
 Демидова О.Р. 112-160
 Державин Г.Р. 81
 Державин К.Н. 473
 Деркач С.С. 483
 Десницкая А.В. 494
 Десницкий А.В. 494
 Десницкий В.А. 494, 496
 Джаншиев Г.А. 195
 Джованьоли Р. 92
 Джонсон С. 490
 Дикий А.Д. 310
 *Дикс Б. см. Леман Б.А.
 Димант Х.Б. 113, 115
 Димитров К. 27
 Дмитренко А.Л. 175, 177
 Дмитриева Е.И. 496
 Добкин А.И. 119, 156
 Добровольская И. 349
 Добровольские, семья 136
 Доброхотов А. 17
 Доде А. 64
 Докучаев В.В. 239, 308
 Долгополов Л.К. 196, 430
 Долгоруков Павел Д. 388
 Долгоруков Петр Д. 386-388, 390-393
 Долнина Н.Г. 498
 *Дон Аминадо 12
 Дорин Д. 162
 Дорошевич В.М. 68, 71, 140-145, 156, 157
 Дорошевич М.И. 156
 Достоевский Ф.М. 84, 178, 389, 496
 Доценко С.Н. 182
 Дроздов А.М. 25, 26
 Друганов И.А. 25
 *Д-ская А. см. Даманская А.Ф.
 Дубин, сокамерник В.В.Шульгина 364-366
 *Дудин А. 498
 Думер П. 487
 Дунаевский Л.Р. 453
 Дуров В.Л. 411
 *Дымов О. 159
 Дьяконов А.М. 494
 Дьяконов И.М. 494
 Дьяконов М.А. 174, 175, 494
 Дюамель Ж. 233, 308
 Дюма А. 281, 314
 Евгеньев-Максимов В.Е. 487, 491
 Егорова А.Д. см. Бугаева А.Д.

- Егорова Е.Д. 233, 307
 Екатерина II, имп. 263, 267
 Енсен П.А. 181
 Еремин И.П. 475
 Ершов А.Н. 19, 20, 22
 Ершова А.М. 17, 19
 Ершова Л.Н. см. Столица Л.Н.
 Ершовы, семья 20
 *Ерь 5, 6, 23, 25
 Есенин К.С. 304
 Есенин С.А. 22, 205, 209, 221, 281, 304,
 306, 314, 447, 450, 453, 456, 460,
 464, 466, 467
 Есенина Т.С. 304
- Жакова В.Н. 161
 Жданов В.В. 490
 Желудков Н. 420
 Жемчужникова М.Н. 191, 193, 307
 Жирмунский В.М. 471, 481, 498
 Житков К.Г. 25
 Жихарев С.П. 476
 Жуковский В.А. 27, 199, 259, 303, 311,
 482
 Журавская З. 112, 151, 153
 Журин А. 16, 65
- Заблоцкая А.Е. 79-111
 Заборова Р.Б. 82
 Завадский Ю.А. 430, 436, 443, 444
 Зайцев К.И. 27
 Зайцев П.Н. 193-195, 243, 247, 256, 290,
 295, 305, 308-311, 316, 430, 444
 Зайцева Е.Д. 469
 Зайцева М.С. 243
 Замятин Е.И. 136, 162, 164, 167, 172-
 174, 178
 Замятина Л.Н. 136
 Западов А.В. 480
 *Заречная С. см. Качановская С.А.
 Засулич В.И. 129, 130, 152
 Захер-Мазох Л. 69
 Зелинский К.Л. 19
 Зиллер К.К. см. Чехова К.К.
 Злотницкие, семья 401
 Зноско-Боровский Е.А. 125, 151
 Зоргенфрей В.А. 162
 Зоценко М.М. 164, 168, 169, 177, 178
 Зубарев Д.И. 119
 Зунделович Я.О. 453
- Иаков I, король 288
 Ибн Рушд см. Аверроэс
 Ибн Сина см. Авиценна
 Иванов, сокамерник В.В. Шульгина
 334
- Иванов А.А. 352
 Иванов Вяч.И. 71, 82, 86, 98, 99, 176,
 198, 428, 429, 431, 436, 439, 444,
 496
 Иванов Г.К. 16
 Иванов Е.П. 83, 86, 100, 101
 *Иванов-Разумник Р.В. 175, 191-193,
 195, 430, 442, 444, 446-450, 452-460,
 462-469
 Иванова Е.В. 450
 Иванова Л.В. 429
 *Ивнев Р. 464
 Игнатов И. 443
 Измайлов А.А. 17, 71, 84, 88, 161
 *Икс 23
 Илиодор, иеромон. (Труфанов С.М.)
 419
 Ильинский И.В. 305
 Ильяшенко, кузен А.Белого 219, 220,
 306
 Инбер Н. 23
 Ингороква П. 249, 251, 310
 Иолшина-Чирикова В.Е. 25
 Иорданский Н.И. 131, 132, 152, 153
- *К.Ф. см. Фамарин К.
 Каган М.И. 452
 Казаков П.А. 27
 Казачков С.В. 315
 Кайдалова Н.А. 196
 Каляев И.П. 170, 171, 181
 Каменский В.В. 464
 *Камков Б.Д. 449-451, 454, 455, 457
 Кант И. 294
 Каплун С.Г. 469
 Капралова Л.Ф. 119
 Карелин В.А. 457
 Карпов П.И. 83, 85, 87, 88, 96
 Карташов, адвокат 376
 Каспарьян Э.И. 274, 275, 313
 Кауфман А.Е. 157
 Каховская И.К. 447, 455, 456
 Качановская С.А. 16, 17, 62
 Кезельман Е.Н. 289, 301, 315
 Келлерман Б. 112
 Кельсиев В.И. 494
 Керенский А.Ф. 117, 130, 131
 Кетлинская В.К. 496
 Кизеветтер А.А. 24
 Кийз Р. 301, 315
 Кин, сотр. НКВД 330
 Киплинг Дж.Р. 446
 Киреевская Г.С. 246, 247, 249-251, 309
 Киселева А.Н. 244, 309
 Клейнборг Л.М. 79
 Клеман М.К. 473

- Клепиков, сокамерник В.В. Шульгина
379-381
Клодт М.К. 56
Клычков Г.С. 22
*Клычков С.А. 11, 22
Клюев Н.А. 10, 12, 14, 20, 447, 450, 463,
465
*Книжник-Ветров И.С. 152
Князев В.В. 182
Кобылинский Л.Л. см. *Эллис
Коведяева М. 243, 309
Коган П.С. 115
Кодрянская Н.В. 165, 171, 172, 179,
183
Кожевников В.А. 423
Кожевников П. 172
Козлова М.Г. 303
Козьмин Б.П. 5
Кокошкин В.Ф. 431, 438, 444
Кокошкин Ф.Ф. 427-436, 439-442, 444
Кокошкина М.Ф. 427-433, 433-440,
441-445
Колеров М.А. 433
Колобова Н.А. 13, 93, 104
Коломийцев В.П. 136
Колгоновская Е.А. 70-72, 82
Коммиссаржевская В.Ф. 9
Кондратьев А.А. 428
Коненков С.Т. 11
Кони А.Ф. 152
Константинов В. 23
Коонен А.Г. 23
Копылова Л.Ф. 19, 20
Корганов В.Д. 269, 313
Корнеев И.А. 348, 376, 377
Королевич В. 76
Короленко В.Г. 81, 86, 124, 125, 151
Косолапый, сотр. НКВД 322-328
Костер Ш. де 118
Кострова Л.В. 120, 149
Котельникова Н.С. 25
Котляревский Н.А. 295, 298-301, 316
Котрелев Н.В. 19
Крандиевская Н.В. 19
Кранихфельд В.П. 114
Красюков Р.Г. 317-415
Крафт-Эбинг Р. 69
Крейд В. 27
Креннер Э.М. 368, 369, 414
Крестовская М.В. 394
*Кречетов С.А. см. Соколов С.А.
*Кривич В.И. 151
Кропоткин П.А. 115
Крыжановский И.И. 16
Крылов В. 159
Крылов И.А. 81
Крымов, морской офицер 136
Крымов Н.П. 9
Кугель А.Р. 124, 144-149, 157-160
Кугель Р.М. 146, 158
Кудрявцев В.Б. 119
Кузмин И. 363
Кузмин М.А. 14, 23, 162, 174, 423
Кузмин-Караваев, сокамерник
В.В. Шульгина 363, 364, 367
Кузнецов, полк. НКВД 351, 386
Кузько П.А. 79, 81, 83, 90, 92
Куинджи А.И. 56
*Куковников В. см. Ремизов А.М.
Кукольник Н.В. 170
Кулакова Л.И. 480
Кульбин Н.И. 176
Куприн А.И. 132, 153, 396
Куприна-Иорданская М.К. 132, 153
Купченко В.П. 496
Курочкин В.С. 489
*Кусиков А.Б. 174
Кускова Е.Д. 184
Кутепов, сын Кутепова А.П. 347, 348
Кутепов А.П. 347
Кучеров А.Я. 474
Кучумов А.М. 318, 319
Кушевский И.А. 148, 160
Кшесинская М.Ф. 145, 158
Кюхельбекер В.К. 488
*Л.В. см. Войтоловский Л.Н.
Лавров А.В. 308, 442, 452
Ладьженский В.Н. 25
Лазаревский Б.А. 25, 26
Лансере Е.Е. 25
Лебедев Н. 483
Левинсон А. 112
*Лежнев И. 249, 310, 311
Лейбова А.В. 79
Леман Б.А. 191
Лемонь К. 154
*Ленин В.И. 182, 342, 423, 451, 469
Ленский В. 162
Леншина А.Я. см. *Мар А.
Леонидзе Г.Н. 247, 251, 310
Леонтьев Я.В. 151, 446-469
Лермонтов М.Ю. 205, 206, 287, 308,
309, 311, 339, 342, 476
Лесков Н.С. 185, 471, 474, 493
Леткова-Султанова Е.П. 80
Либерман, проф. 376
Либерсон М. 86
Лидин В.Г. 17, 18
Линч Г. 262, 265, 270, 280, 312
Липскеров К.А. 22
Литвин-Эфрон С. 159

- Лозинский М.Л. 174
 Ломакин И.С. 25
 Ломан А. 22
 Ломан И. 22
 Лопатин Г.А. 129, 130, 151, 152
 Лосев А.Ф. 420
 Лохвицкая М.А. 19
 Лукирская К.П. 93, 104
 Луначарская А.Я. 200, 303
 Луначарский А.В. 91, 121, 136, 148, 200, 303, 423, 492
 Лундберг Е.Г. 179, 281, 286, 314, 447, 450, 469
 Лунц Л.Н. 178
 Львовский З. 308
 Любимов Л.Д. 165, 171, 183
 Ляцкий Е.А. 149
- Маделунг О. 181
 Маиони, консул 155
 Майоров И.А. 454
 Макарий Великий 267, 313
 Макашвили Н.А. см. Табидзе Н.А.
 Маковский С.К. 16, 125, 151, 496
 Макогоненко Г.П. 475, 480, 483, 496
 Макогоненко П. 496
 Максимов Д.Е. 100, 193, 477
 Максимович А.Я. 488, 489
 Малинин Н.С. 191-316
 Малларме С. 57
 Малышев В.И. 183
 Мальмстад Дж. 175, 191, 194, 301, 308, 310, 311, 430
 Малявин Ф.А. 16, 28
 Мандельштам О.Э. 459, 495, 496
 Маниковский А.А. 349
 Маннергейм К.Г. 137, 138
 *Мар А. 20, 56-76, 141, 142, 157
 Марат Ж.П. 454
 Мариенгоф А.Б. 494
 Мария Николаевна, вел.кн. 358
 Маркадэ Ж.К. 176
 Маркс К. 325
 Масанов И.Ф. 112, 156
 Масарик Т. 137-139
 Масловский С.Д. см. *Мстиславский С.Д.
 Матвеев, жених И.Добровольской 349
 Машбиц-Веров И.М. 221, 307
 Маяковский В.В. 251, 313, 423, 428, 477-479
 Медведев П.Н. 431
 Мейерхольд В.Э. 194, 203, 205-209, 271, 303-305, 430, 436, 437, 443, 444
 Мёллер П.У. 181
- Мельгунов М. 115
 Мельгунов С.П. 149, 462
 *Мельников-Печерский П.И. 493
 *Мельшин П. см. Якубович П.Ф.
 *Мендельсон Ф. 323
 Менжинская Л.Н. 192
 Менжинский В.Р. 192
 Мерзжковский Д.С. 113, 123
 *Мерич А. см. Даманская А.Ф.
 Метерлинк М. 57
 Метнер Э.К. 241, 308
 Мешков Н.М. 14
 Микеладзе, инженер 250, 311
 Микеланджело Б. 81
 Милашевский В.А. 162, 164
 Миллер О.В. 13, 93, 104
 Милвоков П.Н. 117, 477
 Минаев Д.Д. 482, 489
 *Минский Н.М. 469
 Минц З.Г. 19, 105
 Мирбах В. 446, 458, 459
 Миролюбов В.С. 69-71, 115, 116, 118, 122, 123, 150, 164, 173, 498
 Миткевич О.Н. 141, 144
 Михаил Николаевич, вел.кн. 158
 Михайловская Н. 453
 Михайловский Г.Н. 25
 Михайловский Н.К. 452
 Михаловский Д. 316
 Михин М.П. 194
 Молчанов А.Е. 80, 81
 Молчанов И.Н. 92
 Монахов Н.Ф. 146, 158
 Мопассан Г. де 68
 Моравская М.Л. 19
 Мордовченко Н.И. 474
 Морковин В. 172
 Мороз И.Н. 5
 Морозов А.В. 306
 Морозов В. 181
 Морозов Н.А. 128, 151
 Морозова М.К. 191
 Моцарт В.А. 269, 313
 *Мстиславский С.Д. 446-448, 452-455, 457, 465, 466
 Муйжель В.В. 161
 Муссолини Б. 134, 139, 154
 Мутафова З.К. 217, 220, 221, 305, 306
 Мякотин В.А. 120, 130, 149
 Мякотина В.А. 130, 152
- Набоков В.Д. 431
 Нагродская Е.А. 61
 Надирадзе Н.Г. 248, 310, 311
 Наполеон I, имп. 67, 142, 272, 315, 349
 Нарбут В.И. 10, 11

- Насер Г.А. 384
 Натансон М.А. 449
 Наумов Е.И. 483
 Неверов А.С. 174
 *Негорев Н. см. Кугель А.Р.
 Недоброво Н.В. 498
 Незлобин К.Н. 157
 Нейгауз Г.Г. 428
 Некрасов Н.А. 140, 156, 160, 476, 490, 491
 Некрасов Н.В. 320
 *Нельдихен С.Е. 176
 Немирович-Данченко Вас.И. 137, 140, 144, 155
 *Нерлер П.М. 305, 309
 Никитин А.М. 25, 26
 Никитин Н.Н. 178
 Никитина Е.Ф. 25, 26
 Николаевский Б.И. 179
 Николай II, имп. 145, 157, 158, 341, 358, 370, 379, 380, 392, 393
 Никольская Т.Л. 83, 309
 Никритина А.Б. 494
 Нилендер В.О. 199, 243, 302, 309
 Ница, св. 280, 314
 Ницше Ф. 57, 123, 248, 251, 288, 294, 295, 298, 300, 311
 Новиков Л.А. 309, 314
 Новиков М.М. 20
 Новинский Н. 12
 Новомирский Я.И. 452

 Обатнина Е.Р. 161-190
 Овидий 7
 Овсяннико-Куликовский Д.Н. 84
 Овцына Л.В. см. Кострова Л.В.
 Овчинников, певец 456
 *Одинокий см. Тиняков А.И.
 *Одоевцева И.В. 477
 Ожигов А. 69
 Оксман Ю.Г. 476, 490
 Олидорт Б.В. 26
 *Олалмпов К. см. Фофанов К.К.
 Оль А.А. 25
 Ольга Николаевна, вел.кн. 358
 Омельчукова Л.Д. 90
 Омельчукова Т.С. 90, 92
 Орешин П.В. 447
 Орлов А.С. 493, 494
 Орлов В.Н. 108, 474, 484, 490, 494, 495
 *Осоргин М.А. 118, 119, 442, 443
 Островский А.Г. 474
 Островский А.Н. 304
 Острогорский Л.Я. 121

 Павлова М.М. 162
 Палей А.Р. 162

 Панаев И.И. 489
 Панаиотти С. 19
 Панов А.Г. 376
 Пантвиц, ген. 350, 351
 Панченко А.М. 183
 Панченко Н.Т. 108
 Парнис А.Е. 79, 82
 Парнок С.Я. 19-22
 Пастернак Б.Л. 309
 Перельман И.И. см. *Дымов О.
 Персидский, сокамерник
 В.В.Шульгина 396, 397, 399, 403
 Петерсон Н.П. 423
 Петри Г.Э. 306
 Петров, провокатор 459
 Петров С.Г. см. *Скиталец
 Петровская Н.И. 241, 308
 Петровский А.С. 301, 304
 Пешехонов А.В. 120, 149
 Пешкова Е.П. 129, 151
 Пешкова-Толливерова А.Н. 80, 81
 *Пик В. см. Смиринский В.В.
 *Пильняк Б.А. 174
 Пинес Д.М. 304, 452
 Писаржевская Л. 69
 Писемский А.Ф. 493
 Пихно Д.И. 401
 *Платонов А.П. 423
 Плетнев В. 26
 Плеханов Г.В. 152
 Подгоричани-Петрович Н.М. 19
 Позняков Н. 162
 Полевой Н.А. 495
 Полонский Я.П. 113, 473
 Поляков-Литовцев С.Л. 117
 *Полянин А. см. Парнок С.Я.
 Померанцева Г.Е. 419
 Помяловский Н.Г. 485, 488, 489
 Поп А. 291
 Поплавская Н.Ю. 20
 Поталенко И.Н. 81
 Преображенская М.П. 225, 226, 230
 Пришвин М.М. 164, 170, 181
 Проскурнина Т.Я. 17, 83, 93
 Прянишников И.П. 395
 Пумпянский Л.В. 485
 Путинцев, майор НКВД 344, 345
 Пушкин А.С. 17, 168, 180, 205, 218, 219, 287, 291, 303, 306, 312, 339, 342, 412, 439, 440, 472, 482, 490
 Пфефер, сокамерник В.В.Шульгина 383
 Пшибышевский С. 70, 71, 181, 298, 316
 *Пяст В.А. 162, 179

- Раев М.И. 117, 150
 Раевская-Хьюз О. 179, 181
 Разгон А.И. 446
 *Разин С. см. Шрейдер А.А.
 Разин С.Т. 239
 Райт, бр. 333
 Райх Б. 492
 Райх З.Н. 203, 205-209, 303, 304
 Ратнер, марксист 324
 Рафаэль С. 81
 Рачинская Е. 19
 Ребиков В.И. 16
 Ребинский А. 308
 Редигер А.Ф. 394
 Резникова Н.В. 178, 179, 183-185
 Рейнгардт М. 310
 Рейсер С.А. 473, 474, 491
 Рейтблат А.И. 56
 Ремизов А.М. 105, 161-190, 469
 Ремизова Н.А. 174, 183
 Ремизова-Довгелло С.П. 166-168, 170-172, 181, 183, 185, 186
 *Ренский В. см. Смирнский В.В.
 Репин И.Е. 195, 394
 Респиги О. 153
 Робакидзе Г.Т. 194, 246, 248, 249, 251, 254, 256, 279, 281, 301, 309
 Робровский П. 314
 *Родиан Ю. см. Белый И.С.
 Рождественская Н.В. 306
 Рождественский В.А. 306
 Роза С. 288, 315
 Розанов В.В. 113, 182, 309
 Розенберг В.А. 429, 442
 Розенель Н.А. 492
 Роллан Р. 112, 124, 150, 151
 Романовский М.К. 458
 Ропс Ф. 66, 67, 70
 Ростовцев Д.И. 194, 199, 200, 218, 242, 293, 302, 303
 Ростовцев И.Я. 200, 303
 Ростовцев М.И. 303, 306
 Ростовцева А.Я. см. Луначарская А.Я.
 Ростовцева О.А. 194, 199, 214, 218, 242, 302
 Рощина-Инсарова Е.Н. 75
 Рубанович С.Я. 20, 21
 Рублев А. 6
 *Рудин И. см. Белый И.С.
 Рунт Б.М. 11, 16
 Русинов Г.П. 85, 88, 107-109
 Руссо Ж.Ж. 292
 Рыбин С.Ф. 465
 Рыбников Н.А. 419-424
 Рыбниковы, семья 420
 Рындина Л.Д. 19, 20, 26
 Сабашникова М.В. 191
 Савинков Б.В. 118, 119, 130, 131, 156, 342
 Савинкова С.А. 130, 131, 152
 Савицкий Д. 162
 Савонарола Дж. 222
 Садовской Б.А. 8, 9, 20, 84, 88, 93, 175
 Сажин В.Н. 470
 *Салтыков-Щедрин М.Е. 160
 Самсонов Т. 451
 Санжар Д.К. 79, 80, 90
 Санжар Л.Д. см. Омельчукова Л.Д.
 Санжар Н.М. 79, 80, 90
 Санжарь Н.Д. 79-93, 93-111
 Сарьян М.С. 194, 195, 263-266, 268, 269, 271-273, 275-278, 288, 312
 Свирская Ю.Н. 76
 *Северянин И. 16, 28
 *Седых А. 183
 Семевский М.И. 81
 Семеновский Д.Н. 20, 22
 Сементовский И.П. 80
 Семковский С.Ю. 484
 *Серафимович А.С. 85, 90-92
 Сергеев П.А. 156
 Сергей Александрович, вел.кн. 181
 Сергей Михайлович, вел.кн. 145, 158
 Сергей Радонежский 6
 Серпинская Н.Я. 19, 21, 26
 Сиверс М.Я. 442
 Сидельников Д. 349
 Сидельникова М.Д. см. Шульгина М.Д.
 Сизова М.И. 309
 Силян А. 26
 Сиповский В.В. 25
 Скворцова Л.А. 152
 *Скиталец 123, 150
 *Скорбный А. см. Смирнский В.В.
 Скорино Л.И. 312
 Скотт В. 287
 Славянова З.М. 16
 Слонимский А.Л. 485
 Слонов И.А. 485
 Случевский К.К. 488
 Смирнский Б.В. 162, 167, 168, 173, 179
 Смирнский В.В. 161-165, 166-171, 171 190
 Соболев А.В. 442
 Соболев Ю. 23
 Советов С.С. 473
 Согомонян Е.А. см. *Чаренц Е.
 Соколов С. 140, 156
 Соколов Б.М. 493
 Соколов С.А. 26, 175

- Соколов Ю.М. 493
Соколов-Микитов И.С. 164
Соколова И.В. см. Амфитеатрова И.В.
Соколова О.К. 88, 89
Соколова С.А. 140, 156
Солженицын А.И. 488
Соловьев В.И. 195
Соловьёва В.В. 247, 310
Соловьёва П.С. 81, 113
*Сологуб Ф.К. 16, 18, 68, 71, 162, 176
Сомов К.А. 82, 86
Спендиаров А.А. 269, 313
Спивак М.Л. 427-445
Спиридонова М.А. 446, 447, 449, 450, 455-458, 464
Споре К.В. 395
*Сталин И.В. 359, 360, 389
Сталь А.Л.Ж. де 292
*Станиславский К.С. 147, 148, 159
Стасюлевич М.М. 81
Степанов И. 277
Степанов Н.Л. 473, 490
*Степановы, знакомые А.Ф. Даманской 131
Стерн Л. 472
Столица Е.Р. 5, 25
Столица Л.Н. 5-29, 30-53
Столица М.Е. 6, 25
Столица Н.Е. см. Герцен Н.Е.
Столица Р.Е. 6, 7, 25
Стойлыпин П.А. 121, 357, 394
Столярова И.В. 470
Страхов Н.Н. 472
Стрепетова П.А. 146, 147, 158
Стриндберг Ю.А. 89
Струве П.Б. 24, 399, 400
Суворин А.С. 80, 81, 147, 159
Суворова К.Н. 108
Судаков, полк. НКВД 340, 345
*Сумбатов-Южин А.И. 72
*Сумской С. см. Каплун С.Г.
- *Т.Г. см. Проскурнина Т.Я.
Тагер Е.М. 488
Табидзе Г.Ю. 305
Табидзе Н.А. 195, 221, 224, 281, 291, 306, 314
Табидзе Т.Ю. 194-196, 209, 221, 223, 246, 248, 253, 281, 305-307, 311, 312
Таиров, агроном 379
Таиров А.Я. 23, 251, 311, 444
Талья Ф.Ж. 142
Таманов (Тамаян) А.И. 268, 271, 313
Тамара, груз. царица 211, 235
Тассо Т. 291
- Татьяна Николаевна, вел.кн. 358
Телешов Н.Д. 18, 20
Теплинский М.В. 491
Тёпфер Р. 472
*Терек А. см. Форш О.Д.
Терещенко В.Н. 88
Тименчик Р.Д. 27
Тимофеев А.Г. 174
Тимофеев Б. 162
Тимофеева З.В. см. *Холмская З.В.
Гиняков А.И. 19, 20, 167, 175
Тиридат III, арм. царь 314
Тиридаты, арм. цари 294, 315
Тозелли, композитор 381, 382
Токарь Х. 479
Толстая-Есенина С.А. 281, 314
Толстой А.К. 377, 489
Толстой А.Н. 11, 496
Толстой Л.Н. 84, 86, 125, 141, 151, 156, 159, 244, 245, 249, 250, 252, 262, 277, 287, 291, 309, 311, 314, 398, 463, 465, 470-474, 476
Томашевский Б.В. 471
Торшилов Д. 304
Трапезников Т.Г. 228, 263, 271, 282, 307, 312-314
Трепов Ф.Ф. 129, 152
Триоле Э. 183
Троицкий М.А. 343, 344
*Троцкий Л.Д. 182
Трутовский В.Е. 450, 454
Тунина А. 70
Тургенев И.С. 84, 339, 342
Тургенева А.А. 191, 192, 305, 428, 442
Тынянов Ю.Н. 471, 478, 487, 488
Тюлин Ю.Н. 494
Тютчев Ф.И. 104, 211, 305, 307
- Уайльд О. 57, 67
Уманский А. 17
Урванцев Л. 75
Урусов С.Д. 428, 431
Усов Д.С. 306
Усов П.С. 437, 444
Усова А.П. 437, 444
Успенский Н.В. 487, 488
Устимович П.М. 171
Ухтомский, кн. 399-403
Уэллс Г. 124, 150, 209
- Фамарин К. 23
Федин К.А. 164, 165, 171, 174, 182, 185
*Федор Б. 12, 16
Федоров Н.Ф. 422, 423
Фельштинский Ю.Г. 450
Фену А.Н. 155, 156

- Фет А.А. 470
 Фигнер В.Н. 120, 128, 129, 149, 151
 *Филиппов А. см. Даманская А.Ф.
 Философова А.П. 80
 Фишман Я.М. 464, 465
 Флейшман Л.С. 172, 179
 Фонвизин Д.И. 81
 Фортунатов М.А. 288, 315
 Форфунатов Л. 69
 Форш О.Д. 447
 Фофанов К.К. 162, 176, 179
 Фофанов К.М. 161, 162
 Франк С.Л. 104
 Франциск Ассизский 358
 Фролов А.А. 165, 167, 168, 170, 173-179, 186-188
 Фролов А.М. 168, 174, 177
 Фролов В.А. 174, 175
 Фролов Л.А. 175
 Фролов С.А. 175
- Ханенко Б.И. 88-90, 101, 104, 107
 Ханзен Э. 355, 356
 Ханжин, ген. 349
 Хачатрян Я.С. 270, 313
 Хлебников В.В. 176, 423
 Ходасевич В.Ф. 20, 21, 162, 175, 477
 *Холмская З.В. 147, 148, 157, 159
 Холодковский Н.А. 316
 Холодная В.В. 20
 Хохлова Н.А. 79, 119
 Хрущев Н.С. 378, 393
 Хьюз Р. 175, 179
- Цветаева М.И. 19, 192, 308, 477
 Цветков (Цветаев?), майор НКВД 342-344
 Цвибак Я.М. см. *Седых А.
 Цельтнер Е. 323, 324
 Церетели А. 283, 290, 311, 315
 Церетели Н.М. 23
 Цинговатов А.Я. 20
 Цурикова Г.М. 305, 307, 311
 Цырлин Л.В. 479
- Чаадаев П.Я. 309
 Чапыгин А.И. 174, 447
 Чаргонин А.А. 17
 *Чаренц Е. 271, 313
 Чарушникова М.В. 108
 Часовитинова Д.Н. 244, 309
 Чеботаревская Ан.Н. 18
 *Чебан А.И. 437, 444
 Черепанов Д.А. 450, 464, 465
 Чернов В.М. 116, 117, 122, 126, 127, 150, 151
- Чернышевский Н.Г. 476
 Чернышов А.М. 22
 Чернышов Н.М. 22
 Чертков В.Г. 156, 309
 *Черубина де Габриак см. Дмитриева Е.И.
 Чехов А.П. 84, 143, 159, 303
 Чехов М.А. 203, 206, 247, 271, 291, 303, 304, 306, 310, 315, 430, 437, 443, 444
 Чехова К.К. 247, 310
 Чижиков О.Л. 450, 453, 465
 Чириков Е.Н. 25, 26
 Чирикова Л.Е. 25
 Чичерин Г.В. 469
 Чичкины, купцы 353
 Чуваков В.Н. 119
 *Чудаков Г. см. Тиняков А.И.
 Чуковская М.Н. 490
 *Чуковский К.И. 178, 486-491
 Чуковский Н.К. 490, 494
 Чулков Г.И. 14, 24
 Чумаченко А.А. 19
 Чупров М.П. 310
 Чюмина О.Н. 315
 Чюрленис М.К.К. 258, 312
- *Ш.Вл. см. Шарков В.В.
 Шабалин И.А. 449, 460-462
 Шабанова А.Н. 80
 Шагинова Л.С. 269, 270, 313
 Шагинян М.С. 263, 264, 269, 270, 288, 312
 Шаляпин Ф.И. 140
 Шанявский А.Л. 22
 Шапошников Н.А. 174
 Шарков В.В. 17
 Шатов Е. 62
 Шаховской Д.И. 431
 Шекспир У. 304
 Шелепина М.Н. 438
 Шерон Ж. 455
 Шершеневич В.Г. 17, 459
 *Шестов Л.И. 182, 193
 Шингарев А.И. 427, 429, 441
 Шипов Н.Е. 243, 309
 Шипова Е.Т. 243, 309
 *Ширяевец А.В. 447, 450
 Шишкин И.И. 56
 Шишков В.Я. 161, 162, 164, 167, 172-174
 Шкловский В.Б. 162, 221, 306, 307, 481, 487
 Шмерлинг В.Г. 23
 Шолохов М.А. 492
 Шпет Г.Г. 452

- Шпильгаген Ф. 81
 Шрейдер А.А. 449, 450, 452-454, 459,
 460, 465, 467-469
- *Шт. Ал. 17
 Штейнберг А.З. 447, 450, 453, 454, 458,
 462, 468, 469
 Штейнберг И.З. 449-455, 457, 458, 462-
 467, 469
 Штейн фон, ген. 349, 356
 Штейнер Р. 191, 237, 248, 250, 272, 292,
 294, 295, 305, 307, 308, 310, 315, 316
 Шторм Т. 118
 Шульгин В.В. 317-320, 320-415
 Шульгин Д.В. 319
 Шульгина А.В. 323, 324
 Шульгина Е.Г. 326, 367
 Шульгина Л.В. 326
 Шульгина М.Д. 318, 326, 327, 334, 385,
 405, 412-415
 Шульговский Н.Н. 161
 Шумихин С.В. 154, 174, 444
- Щеголев П.Е. 175, 181
 Щепкина-Куперник Т.Л. 61
- Эйхгорн Г. 455
 Эйхенбаум Б.М. 470-478, 485, 494
 Элиасберг А. 27
 Элиасберг Д. 27
 *Эллис 198, 302
 Элькина Д. 456
 Эльснер В.Ю. 26
 Эпштейн М.С. см. *Голодный М.
 Эрарская Л.В. 19, 25
 *Эрберг К.А. 447, 449, 450, 468, 469
 Эренбург И.Г. 256, 311
 Эрн В.Ф. 435, 442
 Эткинд А.М. 419-426
 Эфрос А.М. 442
- Юлова А.П. 105
 Юренева В.Л. 19, 20
- *Юркун Ю.И. 162
 Юрьев К.С. 151
- *Яворская Л.Б. 147, 159
 Яковлев В. 153
 Яковлев Н. 27
 Яковлевы-Полетанские, сестры 403,
 404
 Якубинский Л.П. 479
 Якубович Д.П. 473
 Якубович П.Ф. 120, 149
 Якубовский Б.В. 497
 Ямпольский И.Г. 470-498
 Яновский В.С. 163, 179
 Ярцев П.П. 159
 Ясинский И.И. 71, 108
 Яшвили М.П. 281, 314
 Яшвили П.Д. 194, 195, 216, 217, 221,
 246, 249, 252, 255, 256, 279-282,
 305, 311, 312, 314
- Anemone A. 162
 Dumas A. см. Дюма А.
 Fitzpatrick S. 421
 Foster L.A. 149, 150
 *Homo Novus см. Кугель А.Р.
 Huges R. см. Хьюз Р.
 Lampl H. 172, 181
 Ledkovsky M. 150
 Malmstad J.E. см. Мальмстад Дж.
 Markov V. 176
 Martynov I. 162
 Naldi-Olkienizkaia R. 27
 *Old Gentleman см. Амфитеатров А.В.
 *Ptyx см. Садовской Б.А.
 Raeff M. см. Раев М.И.
 Rosenthal Ch. 150
 Sémenoff E. 84
 Stites R. 80
 Zervoz Ch. 305
 Zirin M. 150

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТРЕТЫ

- М.В.Акимова, Л.Я.Дворникова.* «Дионисов чудный дар».
Материалы для биографии Л.Н.Столицы 5
- А.М.Грачева.* «Жизнетворчество» Анны Мар 56

ПУБЛИКАЦИИ

- Письма Н.Д.Санжарь к А.А.Блоку.** Вступительная статья,
публикация и примечания А.Е.Заблоцкой 79
- А.Даманская.* **На экране моей памяти.** Вступительная статья,
публикация и комментарии О.Р.Демидовой 112
- В.Смиренский.* **Воспоминания об Алексее Ремизове.**
Предисловие, публикация и комментарий
Е.Р.Обатниной 161
- К.Н.Бугаева (Васильева).* **Дневник. 1927-1928.** Предисловие,
публикация и примечания Н.С.Малинина 191
- В.В.Шульгин.* **Пятна.** Предисловие и публикация
Р.Г.Красюкова 317

VARIA

- Александр Эткинд.* **Биографический институт:
Неосуществленный замысел Н.А.Рыбникова** 419
- М.Л.Спивак.* **Андрей Белый и Александр Блок глазами
«кадетской дамы» (Из воспоминаний
М.Ф.Кокоскиной)** 427
- Я.В.Леонтьев.* **К истории взаимоотношений левого
народничества и «Скифов»** 446
- И.Ямпольский.* **Из воспоминаний** 470
- Указатель имен 499

**Учредители акционерного общества закрытого типа
«Издательство “Феникс”»:**

Издательство «Atheneum» (Париж);
Российский институт искусствознания;
Школа-студия (вуз) им. Вл.И.Немировича-Данченко при
МХАТ им. А.П.Чехова;
Союз театральных деятелей России;
Международная конфедерация театральных союзов

ЛИЦА
Биографический альманах

7

Редактор-составитель А.В.Лавров

Редакторы А.И.Добкин, Е.В.Русакова
Корректор Т.Б.Притыкина,
Наборщик И.М.Курдина

ЛР №090022 от 10.X.1991

Биографический институт: 199134, СПб., наб. Макарова, 4, ИРЛИ
Издательство «Феникс»: 103009, Москва, Тверская ул., 6, строение 7

Сдано в набор 01.05.1996. Подписано в печать 15.10.1996. Формат 60×88/16.
Объем 32 п.л.+ 1 л. вкл. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 3270-II.

С.-Петербургская типография № 1 ВО «Наука»:
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12